

Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»

Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ: PRO ET CONTRA

*Личность и творчество
Дмитрия Мережковского в оценке современников*

Антология

Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт-Петербург
2001



А. НИКОЛЮКИН

Феномен Мережковского

Существуют писатели, которые постигаются в процессе «отторжения» общественным мнением, критикой. Таковы маркиз де Сад во Франции, Ницше в Германии, Генри Миллер в Америке. У нас долгие десятилетия таковым оставался Дмитрий Сергеевич Мережковский. У современников, как до революции, так и в эмиграции, он получал по большей части весьма критические оценки, хотя его эрудиция и ученость признавалась всеми.

А. П. Чехов, предложивший кандидатуру Д. С. Мережковского в почетные академики на 1902 год, писал ранее о лекции Мережковского, сделавшей его имя широко известным в литературных кругах: «В публичной лекции Мережковского, если судить о ней по печатным отзывам, немало правды и хороших мыслей. Но она не политична, или, вернее, не этична. В каждом обществе, будь то народность, секта, сословие или просто круг людей, связанных одной общей профессией, непременно существует этика отношений, не допускающая, между прочим, чтобы дурно отзывались о своих в присутствии чужих, если нет к тому достаточно сильных поводов вроде уголовного... Мережковский огулом, без достаточных к тому поводов дурно отзывался о своих в присутствии чужих... Дома у себя, т. е. в журнале или в литературном обществе, бранись и бей себя по персям сколько хочешь, но на улице будь выше улицы и не жалуйся барышням, полицейским, студентам, купцам и всем прочим особам, составляющим публику. Как бы низко ни пала литература, а публика все-таки ниже ее. Стало быть, если литература провинилась и подлежит суду, то уж тут публика все, что угодно, но только не судья»¹.

¹ Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1977. Т. 5. С. 143—144.

Александр Блок, читая роман Мережковского «Александр I», печатавшийся в 1911 году в «Русской мысли» и в газете «Русское слово», записывает в Дневнике: «Писатель, который никогда никогда не любил по-человечески, — а волнует. Брезгливый, рассудочный, недобрый, подозрительный даже к историческим лицам, сам себя повторяет, а тревожит. Скучает безумно, так же как и его Александр I в кабинете, — а красота местами неслыханная. Вкус утончился до последней степени: то позволяет себе явную безвкусицу, дурную аллегория, то выбирает до беспощадности, оставляя себе на любование от женщины — вздох, от декабриста — эполет, от Александра — ямочку на подбородке, — и довольно. Много сырого матерьялу, местами не отличается от статей и фельетонов»².

Наиболее определенно ту же мысль, то же впечатление от Мережковского и его произведений выразил В. В. Розанов, близко знавший его на протяжении многих лет. С присущей Розанову парадоксальностью он писал: «...мне кажется иногда (часто), что Мережковского *нет*... Что это — *тень* около другого... Вернее — *тень* другого, отбрасываемая на читателя. И говорят: “Мережковский”, “Мережковский”: а его вовсе нет, а есть 1) Юлиан, 2) Леонардо, 3) Петр, 4) христианство, 5) Renaissance... и проч., и проч. Множество. А среди его... в *промежутках* между вещами, кто-то, что-то, ничто, дыра: и в этой дыре *тени* всего... Но тени не суть вещи, и “универсальный Мережковский” вовсе не существует: а только говоря “o Renaissance’e” — упомянешь и “o Мережковском”. Оттого в эту “пустоту” набиваются всякие мысли, всякие чувства, всякие восторги, всякие ненависти... потому именно, что все сие место — *пусто*.

О, как страшно ничего не любить, ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и наконец, к последнему несчастью, — вечно писать, т. е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только в себе»³.

Может быть, единственной, кто понимал и, главное, принимал Дмитрия Сергеевича от начала до конца была Зинаида Гиппиус, жена, прожившая с ним 52 года и, по ее словам, не расстававшаяся с ним ни на один день за все это время. Случай поистине уникальный.

² Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 7. С. 76.

³ Розанов В. В. Собр. соч.: Мимолетное. М., 1994. С. 133.

* * *

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 г. в Петербурге, на Елагином острове, где его родители жили на даче. Прадед писателя Федор Мерёжки был войсковой старшина на Украине в городе Глухове, а дед Иван Федорович приехал в царствование Павла I в Петербург и как дворянин поступил младшим чином в Измайловский полк. Тогда, вероятно, и переименовал он свою малороссийскую фамилию Мерёжки на русскую — Мережковский. Из Петербурга он был переведен в Москву и принимал участие в войне 1812 года.

Отец писателя Сергей Иванович служил у оренбургского губернатора Талызина, потом у обергофмаршала графа Шувалова, а затем столоначальником в придворной конторе при царствовании Александра II, дослужившись до чина действительного тайного советника (2-й класс по Табели о рангах).

В семье было девять детей: шестеро сыновей и три дочери. Дмитрий был младший из сыновей, любимец матери. Родители часто уезжали в долгие служебные поездки за границу или на южный берег Крыма в Ливадию, где жила больная государыня. Дети оставались на попечении старой экономки — ревельской немки Амалии Христьяновны и старой няни, которая рассказывала русские сказки и жития святых. В рощах и на прудах елагинского парка дети, начитавшись Майн-Рида и Купера, играли «в диких», забирались в темные подвалы дворца или на плоский зеленый купол того же дворца, откуда видно взморье, катались на лодке, разводили костры на песчаных отмелях Крестовского острова, пекли картофель и чувствовали себя «дикими».

Иногда, по просьбе матери, отец брал Дмитрия с собой в Крым, где у Мережковских было имение по дороге на водопад Учан-Су. Там мальчик впервые ощутил прелесть южной природы: «Помню великолепный дворец в Ореанде, от которого остались теперь одни развалины. Белые мраморные колонны на морской синеве — для меня вечный символ древней Греции», — вспоминал он много лет спустя.

Стихи начал писать в гимназии с 13 лет. То было подражание «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина. Отец, познакомившись в 1880 г. с Достоевским, повез сына к нему. Краснея, бледнея и заикаясь, Дмитрий читал ему свои детские стихи. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою. А потом сказал:

— Слабо, плохо, никуда не годится. Чтобы хорошо писать, — страдать надо, страдать!

— Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! — возразил отец.

Так и запомнился Мережковскому этот разговор и пронзительный взор бледно-голубых глаз, когда Достоевский на прощанье пожимал ему руку. Больше он его не видел, а потом вскоре узнал, что он умер.

Мережковские жили в старом доме на углу Невы и Фонтанки у Прачечного моста, против Летнего Сада. С одной стороны — летний дворец Петра I, с другой, через Неву — его же домик и древнейший в Петербурге деревянный Троицкий собор. Квартира огромная, казенная, со множеством комнат, жилых и парадных, в двух этажах. Комнаты большие, мрачные. Отец не любил, чтобы дети шумели и мешали ему: мимо дверей его кабинета они проходили на цыпочках.

И вот 1 марта 1881 года, когда Дмитрий ходил взад и вперед по комнате, сочиняя подражание Корану в стихах, прибежавшая с улицы прислуга рассказала об оглушительном взрыве, слышанном со стороны Марсова поля и Екатерининского канала через Летний Сад. Отец приехал к обеду из дворца весь в слезах, бледный, и объявил о покушении на жизнь Государя.

— Вот плоды нигилизма! — говорил он. — И чего им еще нужно, этим извергам? Такого ангела не пощадили...

Старший брат Константин, студент-естественник, ярый «нигилист», начал заступаться за «извергов». Отец закричал, затопал ногами, чуть не проклял сына и тут же выгнал его из дому. Мать умоляла простить, но отец ничего не хотел слышать. Ссора длилась несколько лет.

В последних классах гимназии Мережковский увлекался Мольером и составил из своих товарищей «мольеровский кружок». Ни о какой политике и речи не было, что не помешало Третьему отделению заинтересоваться деятельностью этого кружка. Всех участников пригласили в известное здание у Полицейского моста, долго допрашивали и ни за что не хотели поверить, чтобы мальчики 16—17 лет не занимались «свержением существующего строя». Если Мережковского не арестовали и не выслали, то этим он обязан был только положению отца.

Мережковский продолжал писать стихи, познакомился с С. Я. Надсоном, тогда еще юнкером Павловского военного училища, с которым вел жаркие споры о религии, о смерти. Надсон познакомил его с поэтом А. Н. Плещеевым, секретарем «Отечественных записок». Позднее Мережковский вспоминал: «Помню мелькающие в дверях соседней комнаты худые, острые плечи, зябко укутанные пледом, похожим на старушичий платок, хрип-

лый, надрывный кашель и неистово рычащий голос М. Е. Салтыкова».

Первое стихотворение Мережковского «Нарцисс» появилось в литературном сборнике «Отклик», изданном в 1881 г. А. С. Суворинным в пользу студентов и слушательниц Высших женских курсов в Петербурге. Окончив в 1884 г. гимназию, он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В студенческие годы увлекался позитивной философией — Спенсером, Контом, Миллем, Дарвином, хотя уже тогда чувствовал недостаточность этого мирозерцания и искал выход в религиозном осмыслении жизни.

В доме директора петербургской консерватории, куда его ввел А. Н. Плещеев, Мережковский встречался с Гончаровым, тогда уже слепым стариком, поэтами А. Н. Майковым, Я. П. Полонским, — а когда в 1885 г. был основан журнал «Северный вестник», — с его ближайшими сотрудниками В. Г. Короленко, В. М. Гаршиным, Н. К. Михайловским, Г. И. Успенским. Сам Мережковский принимал довольно деятельное участие в журнале: опубликовал немало стихотворений, поэму «Сильвио» (1890), сочувственную статью о начинающем Чехове («Старый вопрос по поводу нового таланта», 1888), тогда почти никем еще не признанном.

Большое влияние на Мережковского оказал Н. К. Михайловский, и не только своими сочинениями, но и своей благородной личностью. Он заказал ему статью «О крестьянине во французской литературе», которую, однако, не принял, сочтя ее не отвечающей духу народничества. Среди своих первых учителей Мережковский называет Михайловского и Успенского. Он даже ездил в Чудово к Г. И. Успенскому и проговорил с ним всю ночь напролет о религиозном смысле жизни. Успенский доказывал ему, что следует обращаться к народному мирозерцанию, к «власти земли».

После этого Мережковский летом ездил по Волге, по Каме, в Уфимскую и Оренбургскую губернии, ходил пешком по деревням, беседовал с крестьянами, собирал и записывал свои наблюдения. В Тверской губернии он посетил крестьянина Василия Сютаева, основателя религиозного учения «непротивленчества и нравственного самоусовершенствования». Незадолго до того Л. Н. Толстой побывал у Сютаева, и последний много рассказывал о нем.

В зрелые годы Мережковский вспоминал: «В “народничестве” моем много было ребяческого, легкомысленного, но все же искреннего, и я рад, что оно *было* в моей жизни и не прошло для

меня бесследно». Тогда в списках распространялась «Исповедь» Толстого, которая заставила Мережковского почувствовать, что народничество еще не полная истина.

По окончании университета летом 1888 г. он уехал на Кавказ и познакомился в Боржоме с восемнадцатилетней Зинаидой Гиппиус, на которой в ту же зиму в Тифлисе женился, вернулся с ней в Петербург и всецело погрузился в литературную работу.

В 1888 г. в Петербурге вышла первая книга Мережковского «Стихотворения (1883—1887)», а в 1892 г. — «Символы (Песни и поэмы)», о которой он позднее скажет: «Кажется, я раньше всех в русской литературе употребил это слово. “Какие символы? Что значит: символы?” — спрашивали меня с недоумением». Действительно, он впервые в нашей литературе придал термину новое значение.

В 1893 г. появляется его первая литературно-критическая книга «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы», в которой обосновывается теория русского символизма, а тремя главными элементами нового искусства провозглашаются мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. «В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя... Еще Бодлер и Эдгар По говорили, что прекрасное должно несколько *удивлять*, казаться неожиданным и редким. Французские критики более или менее удачно назвали эту черту импрессионизмом».

Известность среди современников принес Мережковскому сборник статей «Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы», в который вошли очерки об Акрополе, Дафнисе и Хлое, Марке Аврелии, Плинии Младшем, Кальдероне, Сервантесе, Монтене, Флобере, Ибсене, Достоевском, Гончарове, Майкове и Пушкине.

В эти годы Мережковский много путешествовал. Он подолгу жил в Италии — в Риме и Флоренции, а также в Сицилии вблизи Мессины; побывал в Афинах и в Константинополе. Переводил античные трагедии.

В 1893 г. он начал работу над трилогией «Христос и Антихрист», продолжавшуюся 12 лет. Первую часть, «Смерть богов. Юлиан Отступник», долгое время нигде не хотели печатать. Наконец напечатал «из милости» и с большим трудом «Северный вестник» под измененным названием «Отверженный». Вторую

часть трилогии «Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи» опубликовал в 1900 г. журнал «Мир Божий».

Готовясь к третьей части «Петр и Алексей», напечатанной в 1904 г. в журнале «Новый путь» (в отдельном издании в 1905 г. названо «Антихрист. Петр и Алексей»; все три части переизданы в Берлине в 1922 г.), Мережковский ездил для изучения быта сектантов и староверов за Волгу, в Керженские леса, в город Семенов и на Светлое озеро, где находится, согласно преданию, невидимый Китеж-град. Здесь провел он ночь на Ивана Купала в лесу, на берегу озера, в беседе с богомольцами и странниками разных вер, которые сходятся туда в эту ночь со всей России. Зинаида Гиппиус рассказала об этой поездке в очерке «Светлое озеро» (Новый путь. 1904. № 1—2).

Крупнейшая литературно-критическая работа Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» печаталась в журнале «Мир искусства» в 1900—1902 гг. (отдельное издание в двух томах — СПб., 1901—1902). Н. Бердяев считал, что именно через Толстого и Достоевского открывал Мережковский конец великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому религиозному сознанию и новому религиозному действию (конец второго тома книги Мережковского).

В литературно-эстетическом кружке, образовавшемся около Мережковских, и на «воскресеньях» В. В. Розанова, постоянными посетителями которых были Мережковские, Н. Бердяев, А. Ремизов, Л. Бакст, К. Сомов, С. Дягилев, Вяч. Иванов, зародилась мысль организовать общество, чтобы расширить «домашние споры» об эстетике и религии и чтобы содействовать сближению и пониманию интеллигенции и духовенства. Об открытии общественных заседаний и думать было нечего. Хотя бы добиться разрешения в частном порядке, в виде частных «собраний».

С этими мыслями 8 октября 1901 г. к «строгому и неприступному» обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву отправились пятеро членов-учредителей «Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге»: Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Д. В. Философов, В. С. Миролюбов и В. А. Тернавцев. Вечером того же дня они посетили митрополита Петербургского Антония. Обещание разрешить Собрания — со строгим выбором и только для «членов» — было получено.

Первое заседание Собраний состоялось 29 ноября в зале Географического общества у Чернышева моста. Зинаида Гиппиус по этому поводу замечает: «Попустительство обер-прокурора, молчаливое обещанье терпеть Собрания “пока что”». Митрополит Антоний благословил ректора Духовной академии Сергия Фин-

ляндского (ставшего в 1943 г. патриархом) быть председателем. Он произнес вступительную речь с обещанием искренности и доброжелательности со стороны церкви и с призывом к тому же с «совершенно противоположной стороны», то есть интеллигенции-учредителей. «Да, это воистину были два разных мира», — вспоминала З. Гиппиус. Навыки, обычаи, даже сам язык, — все было другое, как из другой культуры. Дозволялось участие всему черному и белому духовенству, профессорам и даже студентам Духовной академии. Заседания были закрытыми, и для присутствия публики каждый раз требовалось разрешение духовных властей.

Отчеты о заседаниях Религиозно-философских собраний печатались в журнале «Новый путь». Победоносцев посмотрел на эти публикации да и закрыл 5 апреля 1903 г. Собрания. З. Гиппиус поясняет: «Отцы» давно уже тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стенке, — одолевали. Выписан был на помощь архимандрит Михаил, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил после двух собраний явно перешел на сторону интеллигенции, и, вместо помощника, архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас и «обвинителя».

После революции 1905 года вместо закрытого Религиозно-философского собрания по инициативе Мережковского и его друзей в 1907 г. было открыто многолюдное Религиозно-философское общество, весьма отличавшееся от прежнего, полуподпольного. Это было одно из обыкновенных интеллигентских обществ, повсюду возникавших в ту пору.

Шли годы, и отношения Мережковского со старыми друзьями становились все напряженнее. В годы Религиозно-философских собраний В. Розанов отзывался о нем как о человеке, который ни в одном народе, кроме русского, не видит интереса, занимательности, содержания. Высоко ценил Розанов и труд Мережковского о Толстом и Достоевском, на который напал Н. К. Михайловский. Розанов считал, что перед нами «совершенно новое явление в нашей критике: критика объективная взамен субъективной, разбор писателя, а не исповедание себя» (Мир искусства. 1903. № 2. Хроника. С. 16). Вместе с тем Розанов сочувствовал и соглашался с Мережковским в критике им религиозного учения Толстого: «Мережковский бросился грудью на Толстого, как эллин на варвара, с чистосердечной искренностью и большой художественной силой. Он вцепился в “не-делание”,

«не-женильбу», мнимое «воскресение» и всяческую скуку и сушь Толстого последних лет».

Не менее лестно отзывался Розанов и о книге Мережковского «Гоголь и черт», вышедшей в 1906 г., в основу которой положена столь «ненаучная» мысль: «Гоголь всю жизнь свою ловил черта». В работе Мережковского критик увидел попытку проникнуть в психологию творчества писателя, в «метафизическое существо душевной жизни Гоголя», ибо до того, в трудах П. А. Кулиша, Н. С. Тихонравова, В. И. Шенрока «мы имели какое-то плюшкинство около Гоголя: собирание тряпок, которые остались после великого человека».

В свою очередь, Н. Бердяев отмечал, что огромное влияние на Мережковского оказал Розанов, его постановка религиозных тем, его критика христианства. «Как ни враждебен сейчас Мережковский Розанову, — писал Бердяев в 1916 году, — но и доньше не может он освободиться от обаяния розановской религии плоти и ему импонируют те непосредственные розановские мироощущения, которых нет у него самого».

Так называемое «новое религиозное сознание», провозвестником которого выступал Мережковский, образовалось из двух течений: из того, что Достоевский в своей Пушкинской речи назвал «русским мировым скитальчеством» и из второго, более практического источника, который был ближе Розанову, а не Мережковскому — из нужд и потребностей семейной жизни человека. Историческое христианство, утверждал Мережковский, всемерно подчеркивало духовное начало, что привело к отрицанию святости плоти, мистического единства духа и плоти в их равноценности.

Мировая история проходит, по словам Мережковского, как триединый процесс. Язычество с его культом плоти сменяется антитезисом — церковным христианством (в отличие от истинного учения Христа) с его умерщвлением плоти и аскетизмом. Историческое христианство исчерпало себя, и перед нами открывается царство «Третьего Завета», соединения плоти и духа.

Идея «Третьего Завета» была высказана еще в XII веке итальянским монахом Иоахимом Флорским, идейным предшественником Франциска Ассизского. Суть ее сводится к следующему. Судьба мира проходит через три основных этапа: Бога-Отца, Творца Ветхого Завета, когда жизнь развивается по закону «господин и раб»; период Сына Божьего Христа (отношения «отец и дитя»), длящийся и поныне; в грядущем откроется «Третий Завет» — Царство Духа, когда жизнь будет проходить в любви и интимности. Истинная религия установится в результате сли-

ния плоти и духа, начнется новая религиозная эпоха в жизни человечества.

С этим учением связана и гносеология Мережковского, признающая три разновидности познания. Эмпирическое познание служит науке и основывается на пространственно-временном представлении о мире. Метафизическое познание определяется как логическая способность действовать в соответствии с определенными законами, конструируемыми ограниченным человеческим разумом. Наконец, мистическое познание исходит из интуитивного внерационального осознания неких надэмпирических истин, таких как христианские догматы веры.

* * *

Н. Бердяев, хорошо знавший Мережковского, отмечал, что он весь вышел из культуры и литературы. «Он живет в литературных отражениях религиозных тем, не может мыслить о религии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей. Прямо о жизни Мережковский не может писать, не может и думать. Он — литератор до мозга костей, более, чем кто-либо».

Сходную оценку дает Мережковскому и его бывший друг Розанов. «Сидели, сидели в одном гнезде и — рассорились», — так написал Розанов о Мережковском и Н. Минском, которые, сидя оба в Париже, присылали в петербургские газеты статьи друг против друга. То же можно сказать и об отношениях Мережковского и Розанова, которые еще недавно в зале Географического общества у Чернышева моста витийствовали и восседали за одним столом Религиозно-философских собраний.

Откровенно отрицательную характеристику Мережковскому дал Розанов в 1909 г. в связи с его выступлением в Религиозно-Философском обществе на тему любви и смерти: «Мережковский есть вещь, постоянно говорящая, или скорее совокупность сюртука и брюк, из которых выходит вечный шум. Что бы ему ни дали, что бы ни обещали, хоть царство небесное — он не может замолчать. Для того чтобы можно было больше говорить, он через каждые три года вполне изменяется, точно переменяет все белье, и в следующее трехлетие опровергает то, что говорил в предыдущее».

Это наблюдение перекликается с замечанием А. Блока, который начал свою статью о Мережковском, опубликованную в том же году, с припоминания розановских слов о трилогии «Христос и Антихрист»: «Вы не слушайте, что он говорит, а посмотрите,

где он стоит». «Это замечание очень глубокое, — добавляет Блок. — Часто приходит оно на память, когда читаешь и перечитываешь Мережковского».

Осмеиваемый журналистами, газетными обозревателями и бывшими друзьями, Мережковский ушел в себя, в книги, в упорное чтение, и из его огромной начитанности, из глубокого переживания множества чужих мыслей и родилась его философия «нового религиозного сознания» и многие его книги. Как говорил Розанов, он «всегда строит из чужого материала, но с чувством родного для себя».

К 1909 г. определились перемены в деятельности Религиозно-философского общества, вызванные Мережковским, Философовым и Зинаидой Гиппиус. Из религиозно-философского Общества превратилось в литературное с «публицистическими интонациями». Публика собиралась слушать о религии, а вместо этого присутствовала при сведении литературных счетов, при сшибке литературных самолюбий. Это вызвало протест в печати старых участников собраний, в их числе Н. А. Бердяева, Б. П. Струве, В. В. Розанова, С. Л. Франка, В. А. Тернавцева, П. П. Перцова, возражавших против превращения Общества в своего рода семейный кружок без всякого общественного значения.

Окончательный разрыв произошел после появления в феврале 1909 г. статьи Розанова «Трагическое остроумие», в которой приводятся слова Блока о Мережковском: «Открыв или перелистав его книги, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. “Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос”, — положительно нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной буквы написанных — такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает свою крестообразную тень».

Разделяя мысль Блока, Розанов замечает, что для Мережковского весь мир есть только огромный забор среди пустыни, где саженными буквами для всемирного прочтения начертано одно: Д. С. Мережковский. И заканчивается это отречение от Мережковского по-розановски грустно: «Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый дальний уголок сердца, хоть все еще капризно грустящего». Теперь Розанов прямо называет Мережковского «злым человеком», который выискивает для своих сочинений «злых людей», как язычник призывает Злого духа. «Мережковский, расшевеливая литературной палочкой огоньки в сердцах людей, — творит это же дело Злого духа, без малейшего понимания христианства».

Слушая Мережковского, выступившего с блестящей речью против авторов сборника «Вехи», Розанов размышлял: «Боже

мой, да ведь это все говорил Достоевский, а не Мережковский. Это — Достоевский блестел, а Мережковский около него лепился... Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им... не неподвижного мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламенных учеников».

В 1906 г. Мережковский выпустил книгу «Грядущий Хам» — о грядущей революции. А когда в канун мировой войны началось новое революционное брожение и русская земля разделилась на две бездны, то как ни презирал Розанов своего «друга» Мережковского, но все же понимал, что находится с ним по одну сторону бездны. Одно свойство сближало его с Мережковским, Гиппиус и Философовым: «И никогда, никогда, никогда вы не обнимете свиное, тупое рыло революции».

В своих статьях «Типы религиозной мысли в России», печатавшихся в 1916 г. в «Русской мысли», Н. Бердяев отмечал, что Мережковский из литературы, из своей родной стихии вечно убегает к религиозным тайнам жизни, предрекает неизбежный переход к новому религиозному откровению, к «апокалипсису всемирной истории».

С 1906 по 1914 г. большую часть времени Мережковские жили в Париже, временами наезжая в Россию. В 1907 г. в Париже на французском языке вышел сборник статей Мережковского, Гиппиус и Философова «Царь и революция». В следующем году в Петербурге появились сборники Мережковского «В тихом омуте», «Не мир, но меч: К будущей критике христианства». В 1910 г. вышло его «Собрание стихов, 1883—1910» и сборник статей «Больная Россия». В 1911—1912 гг. печаталось первое «Полное собрание сочинений» в 17 томах. Однако наиболее полным собранием сочинений дореволюционного периода является изданное в Москве в 1914 г. в 24 томах, после чего до эмиграции писатель опубликовал еще несколько книг в Петрограде: «Было и будет: Дневник, 1910—1914» (1915), «Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев» (1915), «Невоенный дневник: 1914—1916» (1917).

Вторая трилогия Мережковского носит название «Царство зла» и посвящена судьбам России. Это драма для чтения «Павел I» (1908), романы «Александр I» (печатался в «Русской мысли» в 1911—1912 гг., отдельное издание в 1913 г.; переиздан в Берлине в 1925 г.) и «14 декабря» (1918; переиздан в Париже в 1921 г.).

Когда свершилась Февральская революция, Мережковские были в Петрограде и искренне приветствовали происходящие перемены. В начале мировой войны они по религиозным мотивам отрицательно относились к войне как к осквернению человечества. Однако к 1917 г. пришли к мысли, что только «честная революция» может покончить с войной. Подобно другим символистам, Мережковские видели в революции великое духовное потрясение, призванное очистить человека и создать новый мир духовной свободы. Они верили, что установление демократии даст возможность расцвета идей свободы (в том числе и религиозной) перед лицом закона.

Мережковский не входил ни в одну из политических партий, но имел отношение почти ко всем, за исключением социал-демократической, которая была внутренне чужда ему. Временное правительство воспринималось Мережковскими и их друзьями как свое и близкое им. Они жили на Сергиевской улице рядом с Таврическим дворцом и весь 1917 год «сидели за событиями по минутам».

Государственный переворот 25 октября произвел на Мережковского «отрезвляющее впечатление». В России наступило, по его словам, «царство Антихриста». Индивидуальные свободы были уничтожены, и Мережковские оказались во «власти тьмы».

Последней точкой борьбы стало Учредительное собрание, собравшееся в Таврическом дворце. Мережковские подымали портьеры и вглядывались в белую мглу сада, стараясь различить круглый купол Дворца... «Они там... Они все еще сидят там... Что — там?» Лишь утром большевистский матрос Железняк (известный тем, что на митингах требовал непременно «миллион» голов буржуазии) разогнал Собрание. «Сколько ни было дальше выстрелов, — записывает З. Гиппиус в своем Дневнике, — убийств, смертей — все равно. Дальше — падение, то медленное, то быстрое, агония революции, ее смерть».

О трагическом пути от Февраля к Октябрю писал в своей «Записной книжке» Мережковский: «Как благоуханны наши Февраль и Март, солнечно-снежные, вьюжные, голубые, как бы неземные, горние! В эти первые дни или только часы, миги, какая красота в лицах человеческих! Где она сейчас? Вглядитесь в толпы Октябрьские: на них лица нет. Да, не уродство, а отсутствие лица, вот что в них всего ужаснее... Идучи по петербургским улицам и вглядываясь в лица, сразу узнаешь: вот коммунист. Не хищная сытость, не зверская тупость — главное в этом лице, а скука, трансцендентная скука “рая земного”, “царства Антихриста”».

В Петрограде в 1919 году был голод. Мережковские продали все, что могли — платья, мебель, посуду, книги — и предвидели, что скоро продавать будет нечего. «Когда фунт хлеба — 300 рублей, а фунт масла — 3000 — никаких денег не хватит, и голодная смерть глядит в глаза», — заносит Мережковский в «Записную книжку». И описывает массовые расстрелы интеллигенции, дворян, офицеров. По городу ходили слухи, что на рынках под видом телятины продавали мясо расстрелянных. «А в Европе гадают, — продолжает Мережковский, — возможна или невозможна постепенная эволюция от человеческой мясорубки к свободе, равенству и братству».

Характеризуя вождей революции, запустивших в действие эту «кровавую мясорубку», Мережковский утверждал: «Среди русских коммунистов — не только злодеи, но и добрые, честные, чистые люди, почти “святые”. Они-то — самые страшные. Больше, чем от злодеев, пахнет от них “китайским мясом”» (так называлось мясо расстрелянных, продававшееся на рынках китайцами).

Мережковские надеялись на свержение большевистской власти, когда Юденич подходил к Петрограду. Узнав о поражении Колчака в Сибири и Деникина на юге, они решили бежать из России. Исследовательница жизни и творчества Мережковского Темира Пахмусс пишет по этому поводу: «Их роль в культурной жизни столицы и влияние на прогрессивную часть столичной интеллигенции были исчерпаны. Не желая приспособливаться к большевистскому режиму, они решили искать в Европе ту свободу, которая была попра на родине»⁴.

Мережковский подал заявление в Петроградский совет с просьбой разрешить «по болезни» выехать за границу. Ответ был: «Не выпускать ни в коем случае», — в связи с чем он замечает: «С безграничною властью над полуторастами миллионов рабов, люди эти боятся одного лишнего свободного голоса в Европе. Замучают, убьют, но не выпустят».

В начале декабря 1919 г. Мережковскому предложили произнести речь в день годовщины восстания декабристов на торжественном празднике, устраиваемом в Белом зале Зимнего дворца. «Я должен был прославлять мучеников русской свободы пред лицом свободоубийц. Если бы те пять повешенных воскресли, — их повесили бы снова, при Ленине, так же, как при Николае Первом». Отказа же от выступления ему никогда не простили бы.

⁴ *Pachmuss T.* «Польша, 1920» // *Cahiers du monde russe et soviétique.* Paris, 1979. Т. 20. № 2. Р. 227.

В тишине холодных и бессонных петроградских ночей Мережковские обсуждали две одинаково странные возможности: «Жизнь в России — умирание телесное или духовное, — растление, оподление; а побег — почти самоубийство — спуск из тюремного окна с головокружительной высоты на полотенцах связанных... Что лучше, погибнуть со всеми или спастись одному?»

Сначала хотели бежать через Финляндию, потом через Литву и, наконец, решили через Польшу. Три раза все уже было готово и только в последнюю минуту срывалось. «В последнее время многие знали о нашем намерении, — записывает Мережковский, — слухи ходили по городу, и мы жили под вечным страхом доноса». В конце концов путем унижений и обманов удалось получить бумажку на выезд из Петрограда — мандат на чтение просветительных лекций в красноармейских частях.

И вот в морозную ночь 24 декабря 1919 г. чета Мережковских, их друг Дмитрий Владимирович Философов и Владимир Злобин, молодой секретарь Зинаиды Гиппиус, покинули Петроград. Мережковский вспоминал: «Мглисто-розовым декабрьским вечером, по вымершим улицам со снежными сугробами, на двух извозчичьих санях, нанятых за 2000 рублей, мы поехали на Царскосельский вокзал. На вокзале — последний митинг с речами коммунистов, с концертом оперных певичек и заунывным пением Интернационала». Вагон был завален сундуками и мешками. В купе для четырех было четырнадцать человек и такой воздух, что Гиппиус сделалось дурно.

Трое суток пути до Бобруйска были, по словам Мережковского, сплошным бредом. «Налеты чрезвычайки, допросы, обыски, аресты, пьянство, песни, ругань, споры, почти драки из-за мест, духота, тьма, вонь, ощущение ползающих по телу насекомых...» После прифронтового города латышский извозчик повез глухими лесными дорогами и целиной по снежному насту в деревню — крайний пункт, ближайший к польскому фронту. Латыш передал беглецов поляку-контрабандисту, который переправлял людей через фронт. Тот отправился на разведку и, вернувшись поздно ночью, объявил, что ехать опасно: по дорогам заставы. Но и ждать было опасно: по всему местечку — облавы и обыски. Посоветавшись, беглецы решили ехать.

Когда миновали последнюю хату на выезде, где могла быть застава, извозчик боязливо повернул к ней голову. «Мы тоже на нее взглянули, — продолжает рассказ Мережковский. — Не затеплится ли в темных окнах огонек, не выскочат ли из ворот люди с винтовками? Мы знали, что, если попадемся, лучше мгновенный расстрел, чем медленная пытка с издевательством. Слава

Богу, проехали!» Вскоре польский легионер пропустил их через линию польского фронта, и беглецы переехали заповедную черту, отделявшую «тот мир от этого».

Литературная репутация Мережковских привлекла внимание и вызвала интерес польской шляхты и русских эмигрантов в Минске, куда они попали. Мережковские читали лекции, писали политические статьи против большевизма в газете «Минский курьер». В середине февраля 1920 г. они переехали в Варшаву и там погрузились в антикоммунистическую деятельность Русского комитета в Польше. Гиппиус стала редактором литературного отдела выходившей в Варшаве газеты «Свобода».

По мнению Мережковских, после катастрофы Октябрьского переворота в России, Польша стала страной «потенциальной всеобщности», страной мессианства, которая может положить конец вражде разъединенных наций. Преодолев долголетнюю взаимную ненависть, Польша и Россия перед лицом общей опасности большевизма должны создать союз братских народов, объединенных любовью ко всему человечеству. Мережковский, Гиппиус и Философов написали воззвание к русской эмиграции и к русским в России, объясняющее войну в союзе с Польшей и призывающее присоединиться к этим силам.

Однако мир, заключенный Польшей в октябре 1920 г. с Советской Россией, положил конец так называемому «Русскому делу» в Варшаве. Мережковские обвиняли правительство Пилсудского и другие европейские страны в том, что они «упустили момент» для выполнения своей великой миссии и не распознали той опасности для будущего, которую представляет собой большевистский строй. 20 октября Мережковские выехали из Польши и после недолгой остановки в Висбадене прибыли в ноябре 1920 г. в Париж.

Обосновавшись в Париже, где у них издавна была собственная квартира, Мережковские возобновили знакомство с находившимися в эмиграции К. Д. Бальмонтом, И. А. Буниным, Н. А. Бердяевым, А. И. Куприным, Н. М. Минским, С. Л. Франком, Л. Шестовым, И. С. Шмелевым, А. В. Карташевым, бывшим председателем Религиозно-философского общества. Во время поездки в 30-е годы в Италию возобновились встречи и дискуссии с Вяч. Ивановым.

16 декабря 1920 г. в парижском Зале научных обществ Мережковский прочитал первую лекцию «Большевизм, Европа и Россия», в которой рассмотрел тройную ложь большевиков: «мир, хлеб, свобода», которая на самом деле означала: «война, голод, рабство».

В 1921 г. в Мюнхене вышла книга четырех авторов (Мережковский, Гиппиус, Философов, Злобин) «Царство Антихриста» — программное выступление в печати после бегства из Софдепии, полное страшных впечатлений от жестокостей жизни в большевистском Петрограде.

В 1926 г. Мережковские организовали в Париже литературное и философское общество «Зеленая лампа», председателем которого стал Георгий Иванов, а секретарем В. Злобин. Как вспоминает Ю. Терапиано, один из постоянных участников собраний «Зеленой лампы», Мережковские решили создать нечто вроде «инкубатора идей», род тайного общества, где все были бы между собой связаны («в заговоре») относительно важнейших вопросов. Общество сыграло видную роль в интеллектуальной жизни первой эмиграции и в течение ряда лет собирало лучших представителей русской зарубежной интеллигенции.

Первое собрание «Зеленой лампы» состоялось 5 февраля 1927 г. в здании Русского торгово-промышленного союза в Париже. Во вступительном слове Вл. Ходасевич напомнил о собраниях «Зеленой лампы» в начале XIX века, в которых принимал участие молодой Пушкин. «Пламя нашей Лампы светит сквозь зеленый абажур, вернее, сквозь зеленый цвет надежды», — сказал в своем слове Мережковский. Были прочитаны первые доклады: М. О. Цетлин «О литературной критике», Зинаида Гиппиус «Русская литература в изгнании», И. И. Бунаков-Фондаминский «Русская интеллигенция как духовный орден», Г. В. Адамович «Есть ли цель у поэзии?». Стенографические отчеты первых пяти собраний напечатаны в журнале «Новый Корабль», основанном З. Гиппиус. Однако ввиду возникших трудностей с проверкой стенографического текста и для того, чтобы не связывать выступавших на собраниях, решено было печатание стенографических отчетов прекратить.

Собрания «Зеленой лампы» были доступны только для немногих. На каждое собрание по списку приглашались литераторы, философы, журналисты, а при входе секретарь В. А. Злобин взымал с каждого небольшую плату для покрытия расходов по найму зала. Как вспоминает Ю. Терапиано, около девяти часов вечера зал обыкновенно был уже полный. И. А. Бунин с супругой, Б. К. Зайцев, М. А. Алданов, А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, Н. А. Тэффи и другие занимали место в первом ряду. Часто бывали в «Зеленой лампе» редакторы журнала «Современные записки» М. В. Вишняк, В. В. Руднев и И. И. Бунаков-Фондаминский, из «Последних новостей» приходили И. П. Демидов и С. И. Талин, из «Возрождения» С. К. Маковский. Участниками

прений выступали философы Н. Бердяев, К. Мочульский, Г. Федотов, Л. Шестов.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была очень внимательной и чуткой и, по воспоминаниям современников, каждый вечер вызывал потом долгие обсуждения присутствующих. После прений и ответов докладчиков Мережковский иногда также произносил заключительное слово по поводу доклада. Современники рассказывали, каким сильным и опасным противником был Мережковский, обладавший редким ораторским талантом и умевший вовремя бросить самые убийственные для оппонента реплики. Он говорил, как бы думая вслух — спокойным, всем слышным голосом, почти не делая жестов.

Особенно близкие друзья Мережковских собирались у них дома на «воскресенья», где обсуждались религиозно-философские вопросы. Как до революции, так и в период эмиграции распространялось немало легенд о религиозных воззрениях Мережковского. «Еще в Петербурге, — рассказывал как-то на одном из своих «воскресений» Мережковский, — когда начались собрания “Религиозно-философского общества”, какой-то рецензент объявил, что мы все занимаемся там “богоискательством”, хотя и я, и другие участники этих собраний ни в каком “богоискательстве” не нуждались». Однако с тех пор термин «богоискательство» прочно утвердился в марксистской критике, всегда выступавшей с осуждением христианской направленности русской литературы.

Деятельность «Зеленой лампы», исторические и философские романы, созданные Мережковским в эмиграции — свидетельства нового творческого подъема писателя, вступившего в наиболее зрелую и, может быть, наиболее эстетически значимую фазу своего развития. Появляются его новые романы: «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» (первоначально в «Современных записках», 1924, № 21 и 22; отдельное издание в Праге в 1925 г.), «Мессия» (в «Современных записках» в 1926—1927 гг.; отдельное издание в Париже в 1928 г.). Центральным философским трудом этого времени стала книга «Иисус Неизвестный» (Белград, 1932), завершившая трилогию о путях спасения человечества. Первая часть вышла в Праге в 1925 г. под названием «Тайна трех: Египет и Вавилон», а вторая в Берлине в 1930 г. — «Тайна Запада: Атлантида — Европа».

Цифра «три» играла исключительную роль в философии истории и культуры у Мережковского. Он часто группировал свои произведения в трилогии или придавал им трехчастный характер. Определяя жанр третьей части этой трилогии, книги «Иисус

Неизвестный», философ Б. П. Вышеславцев характеризует это сочинение как «не литературу, не догматическое богословие, не религиозно-философские рассуждения, а интуитивное постижение скрытого смысла, разгадывание таинственного “символа” веры, чтение метафизического шифра, разгадывание евангельских притч».

Георгий Адамович писал об исходящем от всего сочинения Мережковского «холодке» и объяснял это отвлеченностью и «внежизненностью» как самыми характерными чертами писателя. Еще резче оценил Мережковского в своей лекции в берлинском Русском научном институте в 1934 г. И. А. Ильин, считавший, что он художник внешних декораций, а не художник души: «Душа героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, как знает».

В сентябре 1928 г. Мережковские приняли участие в Первом съезде русских писателей-эмигрантов, организованном в Белграде королем Югославии Александром I. Мережковский и Гиппиус выступили в Белграде с публичными лекциями, организованными Югославской академией, а правительство создало при Сербской академии наук издательскую комиссию, которая стала выпускать «Русскую библиотеку», в которую вошли произведения русских писателей в эмиграции, в том числе Бунина, Мережковского, Гиппиус, Куприна, Ремизова, Шмелева, Бальмонта, Северянина и др.

Мережковский давно был известен как мастер жанра биографического романа. В годы эмиграции он создал еще две книги этого рода: «Наполеон» (Белград, 1929) и «Данте» (Брюссель, 1939). Роман о Наполеоне восходит к полемике Мережковского с Л. Толстым, прозвучавшей еще в первые годы XX столетия в книге «Л. Толстой и Достоевский». Мережковский выступил против развенчания, приземления Наполеона в романе «Война и мир», где он предстает «маленьким, плоским, пошлым, комическим». В 1913 г. он написал очерк «Св. Елена», в котором Наполеон изображен как сочетание аполлоновского и дионисийского начал.

В романе о Наполеоне французский полководец для Мережковского «человек из Атлантиды», «последнее воплощение бога солнца, Аполлона». Идеи книги о Наполеоне исходят из концепции «Третьего Завета», проповедовавшейся Мережковским с петербургских времен. Атлантида — это конец первого челове-

ства. Апокалипсис — конец «Второго Завета». Наполеон — одновременно воплощает в себе и то, и другое.

Философский смысл романа, его «метаисторическое значение» (М. Цетлин) определяется обращенностью к настоящему, к тому, что переживала Россия в ту пору. Книга написана с неизбывной думой о русской революции, о катастрофе 1917 года, после которой «бесы революции» установили в стране красный террор. Мережковский говорил о своих исторических сочинениях: «Большинство считает, что я исторический романист, и это глубоко неправильно; в прошлом я ищу будущее... Настоящее кажется мне иногда чужбиною. Родина моя — прошлое и будущее» (Звено. 1925. 16 марта).

Среди религиозно-философских сочинений, написанных Мережковским в годы эмиграции, выделяются три небольших исследования: «Павел. Августин» (Берлин, 1936), «Св. Франциск Ассизский» (Берлин, 1938) и «Жанна д'Арк и Третье Царство Духа» (Берлин, 1938) под общим заглавием «Лица святых от Иисуса к нам». Отмечая, что подход Мережковского к фигуре Франциска Ассизского не реально-исторический, а философский, П. Бицилли, один из наиболее глубоких филологов русского зарубежья, утверждал: «Цель автора — указать место св. Франциска не в истории Европы, а в «вечной», «идеальной» истории» (Русские записки. 1938. № 11. С. 199).

Посмертно на французском языке была издана трилогия Мережковского «Реформаторы», в которую вошли книги о Лютере, Кальвине и Паскале (1941—1942). Написанная незадолго до начала второй мировой войны, эта трилогия издана по-русски в Нью-Йорке в 1991 г. Наконец перед самой смертью Мережковский завершил свою последнюю трилогию об «испанских тайнах»: «Испанские мистики. Св. Тереза Иисуса» (Возрождение. 1959. № 92 и 93), «Св. Иоанн Креста» (Новый журнал. 1961. № 64, 65 и 1962. № 69), «Маленькая Тереза» (отдельное издание в США в 1984 г.).

В 1940 г. Мережковские переехали в Биарриц на юге Франции, а вскоре Париж был занят немцами, все русские журналы и газеты закрыты. Мережковский всегда оставался противником всех форм тоталитаризма. Его философия духовной свободы как основы Царства Божия на земле («Третьего Завета») делала для него невозможным сотрудничество как с большевизмом, так и с нацизмом. Он надеялся на взаимное уничтожение этих двух зол.

В радиоречи «Большевизм и человечество», произнесенной после нападения Гитлера на СССР, Мережковский остался верен

себе и повторил то же, что писал с 1920 года о большевизме как абсолютном зле и необходимости Крестового похода против него, к чему он в свое время призывал Пилсудского и папу римского: «Большевизм никогда не изменит своей природы, как угольник никогда не станет кругом, хотя можно увеличить до бесконечности число его сторон... Основная причина этой неизменности большевизма заключается в том, что он никогда не был национальным, это всегда было интернациональное явление; с первого дня его возникновения Россия, подобно любой стране, была и остается для большевизма средством для достижения конечной цели — захвата мирового владычества». Не случайно Гиппиус свою книгу о Мережковском закончила словами, что Мережковский и она «были и в начале, и в конце, и всегда “за интервенцию”».

Писатель верил, что духовное начало, культура и разум, планомерно уничтожавшиеся большевиками, возвратятся в Россию. Он был убежден, что именно повергнутая в кровь Россия духовно возродится и начнет «спасение мира», которое другие народы завершат.

Социал-демократическая, а затем советская критика всегда отрицательно относилась к Мережковскому как к «реакционеру от начала до конца» (статья в «Литературной энциклопедии»). Творческое наследие писателя представлялось в карикатурном виде. Так продолжалось со времен статьи Л. Троцкого «Мережковский» (1911), вошедшей затем в его программную книгу «Литература и революция» (1923), до недавних учебников и курсов русской литературы XX века.

В 1928 г. незадолго до возвращения в СССР М. Горький писал: «Дмитрий Мережковский, известный боголюбец христианского толка, маленький человечек, литературная деятельность которого очень напоминает работу пишущей машинки: шрифт читается легко, но бездушен, и читать его скучно» (Правда. 1928. 11 мая). Эта горьковская традиция непризнания художественного значения наследия Мережковского продолжалась долгие десятилетия, и только теперь туман советского литературоведения начинает рассеиваться.

Прошло сто лет с той поры, как появились первые отклики на книги Мережковского. Его репутация как писателя то поднималась до уровня живого классика, то катастрофически падала. Историческое значение Мережковского определяется тем, что он отразил колебания мыслей и чувств русской интеллигенции перед, во время и после революции. Той интеллигенции, которая способствовала развязыванию революции, а выпустив из бутыл-

ки «Грядущего Хама», первая же от него и пострадала. Такое самозаклание «во имя идеи» — наиболее значимая черта русской интеллигенции начала XX века. И художник живописал исторические процессы с постоянной мыслью о судьбах России нашего времени.





А. ВОЛЫНСКИЙ

Символы (песни и поэмы)

В 1888 г. г-н Мережковский издал небольшой томик стихотворений, не имевший никакого успеха. Легкий и плавный версификатор, г-н Мережковский поразил искусственностью тона, риторической декламацией, фальшивостью придуманных настроений. Книжка молодого автора появилась почти вслед за первыми изданиями стихотворений Надсона и Минского, и публика так же, как и литературная критика, не могла не заметить, что поэтическое песнопение г-на Мережковского в большинстве случаев представляет перепев — без увлечения, даже без особой внешней силы выражений — тех мотивов, которые, хорошо ли, худо ли, разрабатывались названными поэтами. У Надсона была одна болезненно дребезжащая струна, на которую откликнулось, по странной прихоти судьбы, такое множество народу, что получилась удивительная иллюзия: среднее, хотя в общем симпатичное дарование сделало впечатление чего-то оригинального и сильного. Шум рукоплесканий, громкие, настойчивые крики некомпетентной массы создали вокруг молодого поэта разгоряченную атмосферу, почти такую же, какая выпадает на долю истинных и замечательных талантов... А молва разносила от края до края печальное известие о неизлечимом недуге, физических страданиях Надсона. Писатель с невыяснившимся призванием, с неглубокими и не всегда правдивыми настроениями вдруг оказался славным преемником традиций Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Посыпались лавры, цветы, где-то сделана была Надсону шумная овация: взволнованная толпа, расступившись и рукоплеская, давала дорогу больному поэту, и, расходясь, восторженно повторяла знаменитые слова: «облетели цветы, догорели огни...». А тут еще приключилась в высшей степени импонирующая и романтически-обаятельная история: светская красавица с чудными глазами написала поэту золотым пером

девьянство второй пробы ряд писем, полных грациозного кокетства, возвышенной любви и восторженных похвал, похвал без конца. Графиня Лида так и писала Надсону: «Вы должны жить, вы будете жить, вы обязаны жить, так как ваш талант необходим для людей, как необходимы для них свет, тепло, воздух, пение и музыка». Когда после смерти Надсона обнародована была переписка его с графиней Лидой, впечатление получилось головокружительное. Казалось, будто вся Россия была у ног поэта: лавры от разночинной интеллигенции, благоуханные цветы от нежно влюбленных светских красавиц. Признание демократических масс и признание тонкое, опьяняющее, аристократическое — золотым пером на душистой веленовой бумаге. Такого почета не удостоился ни один поэт донадсоновского периода, и, можно сказать, литература наша раскололась на две половины — до Надсона и после Надсона, с цветами и без цветов, с нервными бурными аплодисментами и без аплодисментов.

Значительный успех выпал на долю и другого поэта — г-на Минского. Г-н Минский пользуется известностью и в настоящее время, и мы думаем, что эта известность основана на прочных началах. Несмотря на недостатки формы и стиля, в стихах его чувствуется глубина умственных настроений и серьезная вдумчивость незаурядной натуры. Философский элемент в произведениях г-на Минского очень часто выкупает неудачный оборот речи, искусственно патетические тирады и тот недостаток мягкости и нежности, который так мешает лирическому творчеству. Г-н Минский не имел успеха, равного успеху Надсона, но успех все-таки он имел — не большой, но искренний, без газетной рекламы, без романтических фальсификаций, без ненужных и раздражающих претензий и воплей. Писатель должен завоевать себе место честным трудом и посильным служением идеалам литературы, искусства. Всякое содействие со стороны, всякого рода принудительное воздействие на публику, слишком впечатлительную к газетному и журнальному шуму — литературное преступление по отношению к самому писателю. Каково бы ни было дарование г-на Минского, оно, во всяком случае, заслуживает уважения и симпатии, и место, занимаемое им в рядах действующей литературы, завоевано именно честным и самостоятельным трудом.

Таковы ближайшие предшественники г-на Мережковского — Надсон и Минский. Между этими двумя гранями сложились главнейшие его поэтические произведения, вошедшие в первый томик его стихотворений. И дребезжащая струна Надсона и расудочно-поэтическая диалектика г-на Минского отразились в

стихотворениях г-на Мережковского. Вся самостоятельная, не переводно-компилятивная часть книги оказалась каким-то литературным вариантом уже знакомых стихотворений, с очень крупными, бросающимися в глаза недостатками: перепев г-на Мережковского фальшиво-тенденциозен, резонерски холоден, то вял и растянут, то несдержанно-криклив и несдержанно патетичен.

В небольшом лирическом стихотворении — чтобы оно произвело впечатление, — должны сосредоточиться самые разнообразные достоинства: музыкальная форма, сжатые образные выражения, меткость и яркость поэтических уподоблений. В лирическом произведении должна быть красота, должно быть искреннее чувство, свободное излияние душевного настроения. Одна крикливая нота способна все испортить. Один ходульный, браваурный оборот речи может рассеять всю поэтическую иллюзию. В первом сборнике стихотворений г-на Мережковского мы не нашли ни одного стихотворения, в котором пустая и бессильная риторика не резала бы уха своею претенциозностью и манерностью. И при этом — ни тени простой сердечности, простого искреннего отношения к себе и к читателю. Одно стихотворение в этом сборнике можно считать в своем роде классическим. Была любовь, но вот наступило разочарование. Любовь не изображена, но разочарование обосновано в духе надсоновской музыки:

Не думала ли ты, что, бледный и безмолвный,
Я вновь к тебе приду, как нищий, умолять,
Тобой отвергнутый, тобою вечно полный.
Чтоб ты позволила у ног твоих рыдать?
Напрасная мечта! слыхала ль ты порою,
Что в милой праздности не все, как ты, живут,
Что *где-то* есть борьба, и мысль, и честный труд,
И что пред ними ты — ничто с твоей красою?
Смотри, — меня зовет огромный, светлый мир:
 Есть у меня бессмертная природа,
 И молодость, и гордая свобода,
 И Рафаэль, и Данте, и Шекспир!

.....

Ты гнева моего, поверь, не заслужила, —
Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих...

Стихотворение это подписано 1886 годом. Но в 1891 году горделивое самочувствие, сознание в себе огромной силы не покидало молодого поэта. В стихотворении «Везувий», напечатанном среди других многочисленных «символов» г-на Мережковского, поэт с высоты огнедышащей горы посылает сочувственный при-

вет, как равный равному, светлому легендарному герою Прометею:

...К бездне

Я подошел и в кратер заглянул:
 Горячий пар клубами вырывался...
 Я счастлив тем, что нет в душе смиренья
 Перед тобой, слепая власть природы!..
 Я здесь стою, *никем не побежденный*,
 И к небесам подняв чело,
 Тебя ногами попираю,
 О древний Хаос, праотец вселенной.

Это не поэма, а чистейшая рисовка. Когда поэт говорит, заглянув в кратер вулкана: «Тебя, о древний Хаос, ногами попираю» — читателю приходит на ум, что автор в своей неискренности сбивается на ложный путь чисто мелодраматических эффектов. Мало ли сколько ног перебивало на Везувии, мало ли кто взбирался на вершину вулкана, и однако же никто с такою откровенностью не состязался с ним в могуществе. В нашей литературе, кажется, только г-н Мережковский вздумал окончательно притоптать, раздавить или одним дыханием гения сгромыхнуть в бездну небытия этот злополучный вулкан.

Кроме оригинальных стихотворений в двух книжках г-на Мережковского есть немало поэтических компиляций на различные темы. «Протопоп Аввакум», «Дон Кихот», «Сакья Муни», «Франциск Ассизский», «Возвращение к природе» и другие вещи написаны по различным литературным пособиям и где было возможно — с фотографической верностью оригинальным документам. Г-н Мережковский — неутомимый работник, и путь стихотворных компиляций, переводов ему вполне по силам. В «Прометее» чувствуется способный переводчик, умеющий если не всегда верно и точно передать, то во всяком случае — понять основную мысль переводимого текста. В буддийских легендах некоторые отдельные строчки, так сказать, выписаны не без увлечения и чувства. Перевод, компиляция — естественная сфера для дарования г-на Мережковского, и в этой сфере поэта, по-видимому, привлекают имена действительно замечательных и достойных хорошей передачи авторов древнего мира.

Новый сборник стихотворений г-на Мережковского — «Символы» — отмечен такой своеобразной печатью, что о нем стоит сказать несколько слов. Г-н Мережковский, по-видимому, распрощился с прежними гражданскими темами. Новые веяния должны иметь своего поэтического истолкователя, а г-н Мережковский обладает достаточными дарованиями для всякого рода

литературных переделок и компиляций — то в форме стихотворного рассказа, то в форме полулирического, полурезонерского монолога. Между книжкой стихотворений г-на Мережковского, изданной в 1888 году, и только что появившимися в издании г-на Суворина «Символами» — пропасть очевидная и крайне любопытная.

Вся эта новая книжка г-на Мережковского представляет собою почти сплошное философствование на религиозную тему. Если бы все эти длинные поэмы — «Вера», «Смерть», «Возвращение к природе» — были одушевлены живым и искренним чувством, то при недостатках чисто художественного свойства — вымученных красках, подражательном стихе, отсутствии серьезного психологического материала и характеров — эти поэмы могли бы все-таки иметь некоторое литературное значение. Молодое литературное поколение воспитывалось до сих пор в слишком узком кругу односторонних, утилитарных понятий, и можно было бы только порадоваться всякой попытке расширить горизонт поэтического созерцания, раздвинуть пределы поэтического творчества. К сожалению, попытка г-на Мережковского имеет все признаки расчетливой тенденциозности: черты мистицизма, рассеянные в «Символах», являются какими-то случайными придатками к совершенно обычным и банально разработанным сюжетам. Это не увлекательная и чистая струя восторга, бьющая из глубины души, а какое-то случайное веяние извне, какая-то аффектация молодого стихотворца, легко отдающегося попутным течениям. Все эти длинные, растянутые и наполовину бессодержательные поэмы с удовольствием отдашь за одно небольшое, но искренно прочувствованное стихотворение, написанное с действительным талантом, не исковерканное никакою игрою на повышение тех или других философских принципов.

«Вера», быть может, лучшее поэтическое произведение г-на Мережковского, но и здесь слишком много деланных стихов, растянутых описаний и пылких возгласов. Лирические отступления в этой поэме либо чересчур прозаичны, либо чересчур приподняты в расчете на впечатление импонирующего величия. Герой рассказа, похоронив любимую девушку, сразу совершенно перерождается.

Он стал сердечней, проще и добрей,
Урок судьбы прошел ему не даром,
Сергей под первым жизненным ударом
Окреп душой...

Один удар — и глупый фразер обернулся блестящим, любящим и преданным отечеству ученым профессором.

В большой аудитории шумит
 Толпа студентов...
 Толпы затихли. Все внимания полны.
 Он говорил, и речь его лилась
 С волнующей сердца свободной силой...

Таков заключительный эпизод поэмы, а вслед за ним — лирическое отступление автора в четырех патетических куплетах:

Бог помочь всем, кто в наш жестокий век
 Желает блага искренно отчизне.
 В нем навсегда не умер человек;
 Кто ищет новой веры, новой жизни,
 Кто не изменит родине вовек!

Смысл всех своих символов г-н Мережковский сообщает нам в стихотворении «Бог», которым открывается его новая книжка.

Я Бога жаждал — и не знал
 Еще не верил, но любя,
 Пока рассудком отрицал,
 Я сердцем чувствовал Тебя,
 И Ты открылся мне: Ты — мир,
 Ты — все. Ты — небо и вода,
 Ты — голос бури, Ты — эфир,
 Ты — мысль поэта, Ты — звезда...

Чтобы все осветить лучом божественности — вопреки непосредственному и жгучему чувству разлада между миром внешним и внутренним, между поэзией внешних красок и поэзией внутренней скорби и внутренних радостей — нужны необычайные творческие силы, нужен талант Гете, Шелли, а не тот талант мелкого пошиба, с ничтожно-горделивыми мечтаниями, с вечным шатаньем справа налево и слева направо по всем путям возможного литературного успеха, которым наделены писатели наших дней. Для великих литературных задач требуются сильные характеры, величавые натуры.

Попроще, поменьше лomanья, побольше искренности! Таланты растут только в освежающей атмосфере искренней гуманности и труда в *поисильных* литературных пределах. Всякая фальшь перед самым собой отравляет душу, как яд. Она умалывает и при-нижает внутренние силы.





В. БУРЕНИН

Критические очерки

I

Г-н Мережковский, накопивший целых два тома посредственных и холодных стихов, вздумал обратиться к прозе и накопал посредственную статейку под длинным и претенциозным заглавием: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Накопив эту статейку, Мережковский сначала читал ее «публично» в петербургском литературном обществе и в Соляном Городке, затем «выпустил» отдельной книгой, с придачею, для балласта, еще более посредственных, мнимо-критических этюдов о поэзии Майкова и о романах Гончарова и Достоевского. Не знаю, какое впечатление произвела статейка г-на Мережковского при «публичных» чтениях. Я не был на этих чтениях, так как вообще избегаю чтений наших поэтов, и старых, и новых: за немногими счастливыми исключениями, все поэты наши читают и стихи, и прозу, как пономари. Г-н Мережковский не относится к числу исключений: у него тоже пономарская манера чтения, да еще не простого пономаря, а напыщенного, уверенного в своем двухвершковом величии. Что касается до впечатления статейки в печати, то о нем я могу дать сведения положительные и точные; мне довелось прочитать о ней три критических отзыва г-на Михайловского, Скабичевского и Волынского; во всех трех отзывах статейка г-на Мережковского аттестуется как продукт недомыслия ее автора, которому критики, как бы с презрительным снисхождением, дают понять, что он, говоря удачным выражением Кантемира, «уме недозревший, плод недолгой науки».

Признаюсь, и я отчасти согласен с таким отзывам трех критиков о статейке г-на Мережковского. Тем не менее, мне кажется, что статейка эта в иных отношениях очень характерна и в ней,

среди сумбурного целого, встречаются такие страницы, которые в своем роде очень милы. Прежде всего, мне понравился язык статейки: проза г-на Мережковского положительно лучше его стихов. Насколько его стихи прозаичны и сухи, настолько же его проза вдохновенна и поэтична. Г-н Мережковский в прозе сыплет образами, сравнениями, уподоблениями, принаряжает свои довольно убогие мысли, как московские барышни грибоедовского времени, «тафтицей, бархатцем и дымкой»; он старается выказать в каждой строке страшную, почти подавляющую эрудицию, глубокую и высокую философскую и эстетическую образованность. По-моему, относительно поэтичности своей прозы г-н Мережковский почти равняется с г-ном Волынским, который, как известно, в своих статьях подает читателям фразы, «как лепесток розы на блюдечке». Эрудиция и образованность г-на Мережковского точно также приближается к эрудиции и образованности г-на Волынского.

Боюсь, г-н Мережковский обидится на меня за такое приравнивание его к г-ну Волынскому. Дело в том, что почтенный исследователь падения современной русской литературы вообще очень нелестного мнения об этом новейшем критике и особенно об его языке. Он называет г-на Волынского «зловещею карикатурою на Спинозу», «молодым мертвецом, одаренным какою-то противоестественною жизнью»; он уверен, что г-н Волынский «своими мертвыми устами, своим деревянно-цветистым языком проповедует деревянно-мертвого талмудического бога» и т. п. Тем не менее, я все-таки подтверждаю, что г-н Мережковский очень близок по языку и претензиям на философско-эстетическое образование к этому «молодому мертвецу, одаренному какою-то противоестественною жизнью», что он таким же прекрасным «деревянно-цветистым» языком проповедует если не талмудического, то ерундического мертвого бога. А мимоходом сказать, который из сих двух богов почтеннее — это еще вопрос. Справедливость требует заметить, что в языке г-на Мережковского не встречается фраз на жидовский склад и лад, как в языке г-на Волынского. Но ведь уж это была бы излишняя роскошь у критика и поэта, рожденного от русских родителей и учившегося в русском университете.

II

Обращаясь от формы статейки г-на Мережковского к ее содержанию, следует вообще сказать, что это — претенциозная бол-

товня литературного подростка, которому хочется сказать много и о многом, но что именно и о чем именно — он сам не может дать себе ясного отчета. По-видимому, в статейке два основных, главных мотива: угнетающее чувство обиды, нанесенной г-ну Мережковскому критикой и читателями непризнанием его стихотворческого гения, с одной стороны, а с другой — желание показать и доказать критике и читателям, что и он, г-н Мережковский, несомненно, в Аркадии родился, что он поэт и мыслитель высокого сорта и самого последнего, самого свежего привоза. Критика и читатели, действительно, обидели г-на Мережковского. Он выступил на поэтическое поприще в качестве преемника «безвременно угасшего» Надсона. Безвременно угасший Надсон снисходительно, «в гроб сходя, благословил» г-на Мережковского и своевременно заявил в одной жидовской газете, что г-н Мережковский превосходит даже его, Надсона, «в эпическом роде». Но благословение и рекомендация безвременно угасшего не помогли г-ну Мережковскому: его стихи не только не приобрели такого успеха, как стихи Надсона, но даже никакого успеха не имели. Даже в тот недавний период стихобесия, когда у нас стихотворцы вырастали точно грибы, когда наивное невежество «молодых» читателей и разных газетных рецензентов простиралось до того, что «слабосильное» стихотворство безвременно угасшего Надсона признавалось выше лермонтовской могучей поэзии, — даже в этот краткий период г-н Мережковский, как стихотворец, не возбуждал восторгов той публики, которая восторгалась до одурения Надсоном. Стихи г-на Мережковского, и лирические, и эпические не привлекли к бедному стихотворцу обожания сорокалетних психопатов, гимназистов и кадетов. А ведь г-н Мережковский старался, ох, как старался привлечь эту публику своими стихами. Но, как говорится, дело не выгорело. Если оно не выгорело в то блаженное время, то, конечно, не могло выгореть уже и впоследствии, особенно теперь, когда гимназисты и кадеты выросли, а психопатки сорокалетние стали уже пятидесятилетними, утратили всякие резвые порывы и сделались добрыми старушками, способными только к вязанию шерстяных набрюшников и чулков. Теперь не только кадеты и гимназисты, обожавшие стихотворство Надсона, поуменьли, но даже и рецензенты, прежде прыгавшие в могилу «безвременно угасшего», значительно отрезвились и стали судить о надсоновском стихотворстве довольно верно. Я, например, еще на днях встретил в одном журнале такое основательное суждение о помянутом стихотворстве: «сумасшедшее увлечение Надсоном составляет позорнейшее явление в нашей литературно-

обывательской жизни. Нет ничего прискорбного, что Надсон увенчался чрезмерно роскошными лаврами, но очень прискорбно, что, увенчивая Надсона лаврами, читающая публика тем самым наглядно доказала свое полное, безнадежное невежество в отношении русской поэзии. Только не зная и не понимая Пушкина, только совершенно забыв о Тютчеве, Мее, Огареве, А. Толстом, Майкове и Фете, — можно было устроить эту дикую вакханалию, можно было признавать верхом совершенства кадетски-наивные вирши молодого стихотворца. У Надсона, как у снегиря, одна песня и один тон. Его стих постоянно звучит одинаково, в нем есть что-то расслабленное, ремесленно-прилизанное, без повышений и понижений» и т. д. («Наблюдатель», март). Вот как теперь уяснился Надсон: недавнее увлечение его кадетским стихотворством считается даже позорнейшим явлением.

Так-то время преходчиво,
Так-то нравы переменчивы!

III

Г-ну Мережковскому следовало бы принять в расчет эту переходчивость времени и не обижаться, что теперешние читатели и критики относятся с насмешливым пренебрежением ко всем затейливым претензиям его стихотворства. Стихотворство это, без сомнения, немножко позначительнее надсоновского. Надсон, хорошо подзубрив разных русских поэтов, подзадоривал свое мнимое вдохновение их звуками и перепевал эти звуки в одном банально-заунывном тоне. Г-н Мережковский, очевидно, подзубрил, кроме отечественных поэтов, кое-кого и из иностранных и старается в сюжетах своих стихотворений высказать как можно больше «европейской образованности». Но, несмотря на формальное разнообразие стихотворных сюжетов г-на Мережковского, несмотря на показную «европейскую образованность» его стихотворства, в этом стихотворстве все же есть нечто кадетское и гимназическое, нечто отдающее чувствами и мыслями недоростка, или холодным и бессильным напряжением литературного импотента, одержимого собачьей старостью. Критика указывала иногда на эти черты стихотворства г-на Мережковского; и, я уверен, чем далее он будет стихотворствовать, тем все отчетливее будет их указывать. Г-н Мережковский, как капризный младенец, начал обижаться на критику, визжать, кричать и плакать. Не знаю, какая нянюшка — по всей вероятности, сама муза г-на Мережковского пожелала утешить раскапризничавшегося литератур-

ного младенца и посоветовала ему «топнуть ножкой» на критику. «Кто тебя обидел, душенька? Топни, душенька, ножкой, топни хорошенько!» — эти слова следовало бы поставить эпиграфом к статейке «О причинах упадка»: они достаточно резюмируют содержание этой статейки. Г-н Мережковский топает ножкой на критику, его обидевшую. Главная причина падения современной русской литературы — это современная критика или, пожалуй, даже не критика, а три-четыре критика. Один из этих трех — ваш покорный слуга. Боже, как топнул на меня ножкой душенька Мережковский! Так страшно топнул, что даже ужаснул г-на Волынского: этот, как я уже заметил, отчасти родственный г-ну Мережковскому по языку и даже по своему «мертвому» духу еврей, испугался не на шутку: ему показалось, что г-н Мережковский убил меня. «Буренин ли — мечется в тревоге г-н Волынский — не был страшен для молодых поэтов! Не о нем ли все вопияли: нет острее его критических когтей? Но теперь баста, кончено! Г-н Мережковский сразил г-на Буренина! Выходите вы, маленькие, выходите вы, скромненькие!.. Свобода! Свобода!»

Да, да, именно так: выходите вы, маленькие, выходите вы, пархатенькие, выходите вы, Бердичевские, Шкловские, Минские, Волынские, выходите смело, вылезайте из всех щелей, как клопы, вылетайте, как мухи, загаживайте и засиживайте русскую литературу: я уже не могу больше посыпать вас персидским порошком и прихлопывать хлопушкой — я убит г-ном Мережковским. Мне остается только одно: лечь в гроб, закурить папироску и предаться размышлениям о вечности, бесконечности, райском блаженстве, адских мучениях и вообще о тому подобных душеспасительных предметах. А г-ну Мережковскому остаются ужасные муки раскаяния за великое преступление, им совершенное — за убийство меня. И за что он убил меня? Ведь я-то, как и другие критики, был самым полезным человеком для него, желавшим ему блага и наводившим его на истинный путь. Какая неблагодарность со стороны этого гнусного убийцы! Что может быть хуже неблагодарности? Сам г-н Мережковский уверяет с большим апломбом, что «в одном лишь из всех наших пороков — в неблагодарности — есть какое-то противоестественное, несвойственное человеческой природе безобразие». Положим, что это не совсем верно: много и других пороков, которые также противоестественны и несвойственны человеческой природе; но, конечно, неблагодарность — один из самых скверных пороков. И этим-то пороком отличился г-н Мережковский, убив меня, своего благодетеля. Кто, в самом деле, как не я, прозрел еще в первых опытах его стихотворства бессилие посредственности, пре-

тендующей на талант? Кто, как не я, насмешками над его гимназическими поэмами (о том, как Сереженька полюбил Верочку или о том, как Оленька полюбила Бореньку) старался отучить его от пустого стихокропательства? Старался, и старания были, кажется, небезуспешными: г-н Мережковский, вникая в мои насмешливые оценки его импотентного стихотворства, начал постепенно переходить к трезвой прозе, к переводам Софокла, Эврипида, Монтеня, т. е. начал заниматься кое-чем полезным для литературы. И вдруг, неблагодарный, он убивает меня, убивает того человека, который оказал ему самое доброе расположение и притом оказал совершенно бескорыстно. О чудовище, чудовище!

IV

Но преступление г-на Мережковского не только чудовищно, оно к тому же еще и совершенно напрасно. Дело в том, что я — сообщаю это к ужасу всех двухвершковых гениев новейшего стихотворчества и новейшей беллетристики — дело в том, что я и будучи убитым, лежа в гробу, пожалуй, окажусь еще более страшным для всех маленьких, хиленьких, пархатеньких, для всех Минских, Волынских, Мережковских. Дети мои, ведь я вампир! Сколько вы не убивайте меня, в какие глубокие могилы не погребайте, какими тяжестями не придавливайте, хотя бы всеми бесчисленными, гниющими на полках книжных магазинов, томами ваших стихов и вашей прозы, — я все-таки буду выходить из могилы и терзать вас теми «острыми критическими ногтями», о которых с трепетом заявил г-н Волынский, буду смеяться над вами тем смехом, который, по-видимому, так не нравится г-ну Мережковскому, хоть он и заявляет, что это «все-таки настоящий злой смех».

Ужасным признанием о том, что я вампир, я мог бы и кончить беседу о г-не Мережковском. Но мне хочется сказать этому стихотворцу, дебютирующему в роли критика, еще несколько слов именно по поводу моего смеха. Г-н Мережковский находит «диким и странным», что я, теперешний «ожесточенный насмешник», когда-то, во дни моей молодости, «был способен к почти искреннему лирическому пафосу, написал несколько поэтических любовных элегий». По мнению г-на Мережковского, «это что-нибудь да значит», по мнению г-на Мережковского, это свидетельствует о том, что я, если «и не вкусил капли нектара», то все-таки «слышал издали его благоухание». Я же думаю, вопреки мнению г-на Мережковского, что сочинение мною в молодос-

ти любовных элегий ровно ничего не значило и не значит. Г-н Мережковский, например, сочинил гораздо более меня «любовных элегий», проникнутых искренним и довольно глупым пафосом, но все-таки эти элегии не дают ему права на титул признанного поэта и не могут свидетельствовать о том, что он «вкушает капли нектара», а скорее о том, что он, даже достигши зрелого возраста, все еще питается детской манной кашкой. Кто не сочинял в молодости «любовных элегий»? Для этого нужна только именно молодость, со свежестью и страстностью чувств, да некоторая способность к версификации, в которой, вероятно, мне не откажет г-н Мережковский, как и я ему не откажу в такой способности. Скажу даже больше, если бы я думал, что мои любовные элегии могли быть кому-нибудь нужны, я бы и теперь писал их сколько угодно и притом они были бы нисколько не хуже тех, какие я писал в молодости, нисколько не хуже тех, какие пишут в наши дни г.г. Мережковские, Минские, Андреевские, Фофановы и прочие стихотворцы, вкушающие манную кашку — то бишь — капли нектара. Но т. к., по моему глубокому убеждению, «любовные элегии», и мои, и прочих нынешних поэтов, никому, кроме разве кадетов и гимназистов, не нужны, то я и не пишу их.

Но вот мой смех, который так не нравится всем литературным посредственностям, и в их числе г-ну Мережковскому, я имею смелость считать «чем-нибудь». Я имею смелость думать, что я этим смехом, может быть иногда действительно немножко грубым и резким, оказал кое-какие услуги литературе и в былые годы, да и до сих пор еще оказываю. Я имею смелость думать, что именно в наши дни упадка литературы, критический и сатирический смех нужен даже более надутой критики, претендующей на философскую и серьезную, а на самом деле оказывающейся только забавно-педантичной. Но, разумеется, такой смех может иметь значение лишь при том неперменном условии, чтобы он был действительно «настоящий злой смех». А так как этому условию мой смех удовлетворяет, по признанию даже моих литературных благоприятелей, разобиженных этим смехом, то, значит, я и могу продолжать смеяться с некоторою надеждою, что смеюсь не даром.





В. БУРЕНИН

Литературные эпигоны

Эпигоны — слово греческое. На российском диалекте обозначается так: послерожденные, или последыши. Последышами во многоплодных семьях именуются младенцы, порожденные последними, каковые младенцы бывают зауряд малосильными, слабыми в теле и уме.

Эпигоны от ироев тем разнствуют, что подвиги на себя приемлют ироические, но оных к совершению привести не возмогают.

Из старинной «Мифологии»

I

Г-Н МЕРЕЖКОВСКИЙ

— Мне кажется, ваш мрачный взгляд на современную литературу — результат вашего траурного настроения и вашей старости...

— Вы ошибаетесь. Мое траурное настроение тут ни при чем. Если бы у меня и не было траурного настроения, обуславливающегося личной потерей, если бы я чувствовал себя веселее веселого, все-таки мой взгляд на современную литературу был бы тот же. Что касается моей старости, то, конечно, доля ее участия в этом взгляде есть: это ее опыт, благодаря которому она «подозрительно глядит», или, вернее, глядит рассудочно, чуждаясь легкомысленных увлечений. Но ведь для критика рассудочность не может быть поставлена в ряд недостатков. Критика должна быть рассудочна, если она желает быть справедливой. Вам представляется мой взгляд на литературу современную безнадежно мрач-

ным. Но как же он может быть светлым и проникнутым какою-либо утешительною надеждою, когда, озираясь «с холодным вниманием вокруг», встречаешься с такими явлениями в литературе, которые прямо указывают на ее вырождение, на измельчание, на убогость ее самых видных деятелей?

— Разве уж эти деятели так мелки и убоги? Есть же среди них и таланты; вы не можете этого отрицать.

— Есть, конечно. Но возьмите самых первых из них, самых признанных, выставляемых нынешней критикой в качестве преемников недавних корифеев литературы. Переберите главных из этих деятелей — ведь это все несомненные эпигоны, а не герои литературы, какими были прежние крупнейшие художники слова и мысли. Как ни стараются они сами взаимными восхвалениями вознестись на пьедесталы героев, как ни старается об этом мелкая и бездарная критика «нового стиля», ничего из этого не выходит: у самых выдающихся из этих господ черта посредственности оказывается «чертою оседлости», которую они никак не могут перейти, хотя никаких внешних препятствий для такого перехода не имеется. Ни один из этих господ не стоит «с веком наравне», ни у одного из них не найдете «ни мысли плодovitой, ни главы начатого труда», не говоря уже о гениальном труде, вполне законченном.

— Это голословное отрицание. Это еще нужно разобрать, чтобы доказать.

— Хорошо. Назовите мне имена тех, кто стоит в первых рядах так называемой художественной литературы, и попробуем дать хотя бы сжатую оценку значения крупнейших представителей этой художественной беллетристики. Прошу вас, ну хоть два-три имени. Боюсь, вы вдруг их не припомните и даже, пожалуй, и не назовете.

— Ну, помилуйте, отчего же не назвать. Когда умер Толстой, в той критике, которую вы очевидно с насмешкой характеризуете как критику «нового стиля», было заявлено, что наиболее достойным преемником великого писателя земли Русской может теперь считаться г-н Мережковский... Вы смеетесь? Вам г-н Мережковский кажется смешным?

— Нет, я смеюсь не над г-ном Мережковским, а над теми критиками, которые уподобляясь известному герою басни, желая услужить г-ну Мережковскому, угодили ему булыжником в лоб. Что касается самого автора стольких томов стихов, беллетристики и критики, я отнюдь не расположен смеяться над ним. Напротив, я совершенно серьезно готов признать г-на Мережковского «первым среди равных», как говорят о председателях суда.

Но вот именно то, что такой писатель в наши дни мог показаться достойным преемником Толстого, — это и определяет очень наглядно, до какого незначительного уровня опустилась современная литература. Прежде первым был Толстой. А теперь г-н Мережковский. Какая перемена по милости Божией!

— Ну, конечно, до Толстого г-ну Мережковскому покуда еще далеко. Однако, во всяком случае, можно надеяться, что в будущем...

— Позвольте, как можно надеяться? Как — в будущем? Неужели вы причисляете г-на Мережковского к писателям, еще только подающим надежды? Да ведь ему уже пятьдесят годков без малого, он, если не ошибаюсь, в непродолжительном времени может уже справить тридцатилетний юбилей своей литературной деятельности. Проработав почти тридцать лет в качестве поэта, беллетриста, критика, он, стало быть, все еще не вышел из ряда талантов, «подающих надежды» в будущем? Если это так, нечего сказать, можно поздравить и г-на Мережковского, да и всю современную русскую литературу с замечательно быстрым прогрессом. Не стану тревожить великие тени Пушкина и Гоголя, которые в возрасте, значительно более раннем, дали несравненные произведения: «то был век богатырей». Но, обращаясь к более близкому к нам по времени Толстому, нельзя не указать, что Толстой к тем годам, в каких находится теперь уже г-н Мережковский, был автором «Войны и мира». Опять-таки, не для сравнения двух несоизмеримых величин говорю это, а для доказательства того, что апогей художественного творчества писателей и вообще деятелей искусства — годы от тридцати до пятидесяти лет. Наиболее крупные произведения, выражающие высшую степень напряжения всех творческих сил и определяющие вполне сущность и значение творцов, являются у писателей именно в эти годы. Далее обыкновенно начинается склон и уменьшение сил. Так что всякий настоящий художник должен считаться как бы законченным, приблизясь к полувекovому возрасту, хотя, конечно, его деятельность может продолжаться и еще на многие годы. Но писателя этого возраста уже никак нельзя считать подающим надежды в будущем, а наоборот уже исполнившим самые лучшие и самые большие надежды. А вы вот к почтенному г-ну Мережковскому обращаетесь с надеждами на будущую полную формировку его гения, на будущие его произведения, к которым уже данные им будут относиться, как стремление относится к достижению. Я не могу разделять такой взгляд. Нет, по моему, г-н Мережковский уже писатель законченный. Дай ему Господи прожить хоть до ста лет. Но сколько бы он ни

прожил, я убежден, что существеннее и значительнее тех художественных работ, которые он уже выполнил, ему не удастся подарить литературе. По части критики он, может быть, еще сделает несколько шагов более удачных, да и то эти шаги, так сказать, будут не вперед, а обратные: он убедится, что для настоящей плодотворной критики ему необходимо выйти на прямой путь трезвой мысли, оставив кривые окольные дорожки мистических блужданий. Но относительно художественного творчества, повторяю, невозможно ожидать в его будущем багаж новых вещей, более ценных, крупных и более совершенных.

А между тем попробуйте разобрать этот багаж с некотороюзыскательностью. Найдется ли в этом, довольно разнообразном багаже, нечто такое, что давало бы право г-ну Мережковскому на значение главенствующего представителя современной литературы, на значение одного из «властителей наших дум», говоря гениальным определением Пушкина? Увы, ответ на этот вопрос приходится дать отрицательный. Г-н Мережковский, как многие таланты, начал свое литературное поприще стихами. Первый том его стихов вышел двадцать пять лет назад. Затем им были даны, кажется, еще два стихотворных тома. В этих трех томах есть и лирика интимная и, так называемая, «гражданская» — и поэмы значительного объема, писанные октавами, и стихи на классические темы, и стихи на темы самых последних, самых современных настроений, начиная от декадентского ломания и кривляния и оканчивая пресловутым «символизмом». Вы знаете, я всегда очень любил стихи, — конечно, любил только те, которые проникнуты истинной поэзией. И всегда, читая сборники даже очень невеликих поэтов, я хотя что-нибудь сохранял в своей памяти, хоть одну какую-нибудь выразительную строфу, хоть одну удачную строчку, наконец. Представьте, что из многочисленных вдохновений г-на Мережковского у меня не запомнилось ничего — ни стиха. А своевременно, при выходе сборников автора «Символов», я их не только внимательно читал, но даже, кажется, смеялся над кой-какими стихами в пародиях. Этим я не хочу сказать, что стихи г-на Мережковского совсем плохи. Нет, стихи его и в отношении формы, и порой в отношении содержания очень хороши. Но это в высшей степени безыскусные и холодные стихи, в которых чувствуется полное отсутствие того, что один из самых наших вдумчивых поэтов, Боратынский, так метко назвал «необщим выражением». Это именно те общие стихи, которые забываются тотчас же по их прочтении. Кажется и сам г-н Мережковский очень скоро забыл их, перейдя на прозу критики и беллетристики. И право, он хорошо сделал.

Беллетристические произведения г-на Мережковского выдвинули его на гораздо более видное место, чем его мнимая поэзия, которой он обманывал самого себя, но не мог обмануть читателей. Его «трилогия»: «Отверженный», «Леонардо да Винчи» и «Петр» заслужила ему репутацию серьезного беллетриста, выдавшегося среди своих сверстников не только талантом, но и заметной образовательной подготовкой и широкой начитанностью. Ведь надо правду сказать, наши беллетристы-бытовики, за очень немногими исключениями, все больше народ «несколько беззаботный» насчет образования, даже самого элементарного. Учатся они почти всегда «чему-нибудь и как-нибудь», в своих сочинениях возвращаются больше в области повседневной житейской обстановки и не углубляются в такие, для них совершенно чуждые дебри, как воспроизведение исторических событий и лиц, особенно событий и лиц классической древности, или вообще эпох, отдаленных от нашего времени, воссоздание которых требует напряженного изучения и труда. А г-н Мережковский в первых двух романах не только именно в эти-то чуждые дебри и углублялся с самой беззаветной решимостью, но и доказал при этом, что может гулять в них с полной свободой, что дебри эти ему достаточно хорошо знакомы. Но эти исторические дебри были чужды не только большинству его сверстников, но также и большинству русских читателей. Вот потому две части его «трилогии» имели успех в переводах у французской и итальянской читающей публики, а русскою публикой были встречены довольно холодно. Нельзя не поставить на вид, что такого факта в нашей литературе, кажется, не было никогда прежде: русский писатель пожал лавры успеха сначала на чужих полях. Роман о римском цезаре и роман о художнике итальянского Возрождения выдержали, если не ошибаюсь, первый во Франции, а второй в Италии большее число изданий, чем в России.

Русская критика, кажется, и до сих пор не потрудилась обратить надлежащего внимания на оба эти романа. Какая-нибудь грязная эпопея г-на Арцыбашева о наглом пакостнике Санине или скучная и фальшивая повесть о глупом анархисте приготовительного класса Саньке Жигулеве вызвала и вызывает десятки всевозможных мнимо-критических статей, особенно жидовских. А вот о «Юлиане Отступнике» и о «Леонардо да Винчи» г-на Мережковского наши критики молчат. Эти герои для теперешней критики, говоря вульгарным выражением, «не по носу табак». Между тем Санины и Жигулевы как раз табак по носам господ аристархов бердичевского типа: они с наслаждением обоняют его крепкий аромат, громко счихиваются скверными ста-

тнями и здравствуют на всякое свое чиханье и себе самим, и гг. Арцыбашеву и Андрееву.

Простите, я чуть-чуть отвлекся от г-на Мережковского. Возвращаюсь к нему. Может быть, он и сам немножко виноват в том, что русские читатели отнеслись к «Юлиану Отступнику» и к «Леонардо да Винчи» с некоторым инстинктивным опасением: не принадлежат ли эти романы к тому нелюбимому читателями роду литературы, который называется скучным. Дело в том, что у нашего автора, при несомненной его даровитости, к сожалению, есть один досадный недостаток, очень парализующий многие хорошие качества его беллетрического творчества. Г-н Мережковский напряженно желает показаться в глазах читателей необычайно глубоким художником и мыслителем, который задастся и в своих романах, и в своих критических этюдах какими-то будто бы не только философскими замыслами, но даже мистическими. Не будучи на самом деле не только глубоким мыслителем, а, напротив, отличаясь, да извинит мне почтенный поэт, беллетрист и критик мою откровенность, — некоторою ограниченностью мысли, он упоенно стремится, подобно известному метафизику басни, к отысканию будто бы символического значения даже в «веревки вертии простом». Этим усиленным стремлением к проникновению таинственных глубин г-н Мережковский очень вредит и своей беллетристике, и своей критике: он постоянно, так сказать, роет глубокие колодцы и, погружаясь в них, сам неведомо для чего, приглашает и читателей погрузиться вместе с ним. Есть поговорка о склонности жидов даже повеситься «для компании». Но, к сожалению, или, пожалуй, к счастью, русские читатели не обладают подобной удивительной склонностью, и потому «для компании» г-ну Мережковскому они не желают погружаться в колодцы, в которые их заманивает г-н Мережковский, так как не находят в этом ни удовольствия, ни пользы.

Неодолимое стремление к рытью глубоких колодцев г-н Мережковский применил и в своей «трилогии». Дай он читателям три отдельных романа: один из эпохи классического Рима, другой из эпохи итальянского Возрождения, третий из эпохи Петра — и не заявляй при этом претензий указать какое-то таинственное соотношение в этих исторических эпохах, — читатели, может быть, отнеслись бы к его художественным вымыслам с большею доверчивостью и с большим интересом. Но этим таинственным соотношением трех совершенно различных исторических эпох и героев, которые воспроизводятся в трех романах, г-н Мережковский смутил и себя самого, и читателей. И ведь

сколько и каких глубоких колодцев нарыл он в своих романах! Как усердно в эти колодцы он жаждет погрузить и читателей! А читатели-то именно в колодцы и не полезли: страшно, мол, оно немножко, а, главное, скучно...

II

Закончил свою трилогию г-н Мережковский «Петром», которого он по каким-то, едва ли самому себе ясным соображениям, поставил рядом с Юлианом Отступником и Леонардо да Винчи. Я думаю, если бы г-н Мережковский мог познакомить ученого цезаря и гениального художника с Петром, то-то эти два иностранца подивились бы, что наш романист находит в них нечто идейно-родственное с русским «чудотворцем-исполином». Но, впрочем, это в сторону — идейное объединение трех совершенно различных исторических эпох и совершенно различных выразителей этих эпох. Дело не в этом, собственно, а в том, что последняя часть романической «трилогии» г-на Мережковского оказалась и в смысле интереса содержания, и в смысле художественного выполнения слабее, чем две первые части. По-видимому, прикоснувшись к родной земле, г-н Мережковский на манер Антея должен был бы почувствовать в своем творчестве прилив сил. Но вышло наоборот. Он ослабел, он даже размяк и притом в такой степени, что и Петр у него вышел не тем, почти ужасающим своей мощью сверхчеловеком, каким он был в действительности, а чуть ли даже не неврастеником в декадентском стиле. Говоря вообще, роман «Петр» никак не может быть зачислен в разряд крупных шедевров русской литературы, и вернее его следует отнести к тому роду беллетристических работ, сравнительно с которым все остальные роды хороши, т.е. к роду скучных и притом растянутых.

После первой «трилогии» г-н Мережковский дал пьесу «Павел I», потом обширный роман «Александр I». Чего доброго, он, пожалуй, сочинит еще «Николая I» и таким образом явится в некотором смысле певцом выдающихся монархов. Пьеса «Павел I», по правде сказать, не из удачных пьес. Она скомпонована в сценическом отношении плохо и обработана очень грубо. Несмотря на трагический сюжет и на трагическую судьбу главного героя, трагедии у г-на Мережковского не вышло. Заговор против императора и убийство производят не трагическое впечатление, а как будто впечатление скандала, может быть и кровавого, но все-таки скандала.

Представьте себе, что какой-либо драматург понял и изобразил личности Цезаря, Брута и Кассия в качестве скандалистов. Мыслима ли такая «обработка» исторических лиц? Положим, Павел I не Цезарь и в компании заговорщиков, его убивших, едва ли кто-либо окажется похожим на Брутов и Кассиев. Но все-таки касаться такой трагической темы с таким грубым и примитивным разумением ее смысла, по меньшей мере, было странно.

Г-н Мережковский, такой архи-серьезный почти всегда и во всем — и в своих романах, и в своих критических статьях, претендующих на бездонную глубину, — вдруг почему-то в драме решил проявить только поверхностно-либеральную развязность и ничего больше. Можно было бы еще понять такое отношение к трактовке исторических героев и исторических событий расчетом на так называемую «сценичность», ради которой господа драматурги очень часто допускают малохудожественные приемы. Но пьеса «Павел I», как я уже упомянул, и в отношении пресловутой сценичности едва ли удачна. К сожалению, проверить это на практике нельзя: по цензурным условиям «Павел I» не может быть поставлен на русской сцене, хотя г-н Мережковский был столь наивен, что воображал это возможным. Он предлагал покойному А. С. Суворину поставить «Павла» в Малом театре. Недавно промелькнуло в газетах известие, что «Павел» переведен на немецкий язык и ставится не то в Германии, не то в Австрии. Если это верно, дай Бог стяжать г-ну Мережковскому иностранные лавры в качестве драматурга, как он стяжал их в качестве романиста. Однако я крепко сомневаюсь в успехе «Павла» у немцев. Сюжет для них не нов: есть старая немецкая трагедия «Павел I» Гудкова, если не ошибаюсь. Либерализмом «приготовительного класса» немцев не удивишь. Да и заменю истинного художественного драматизма грубыми приемами бульварной драматургии тоже их не очень-то надуешь. На одно лишь разве может г-н Мережковский понадеяться: на ненависть к России немецких критиков из жидов, которых так много и в Германии, и в Австрии: им будет приятно видеть на сцене изображение нашего исторического прошлого «немножечко-столечко» в позорном свете. За это автору простят все недочеты пьесы и поощрят его, наконец, скверно-жидовскими похвалами...

Роман «Александр I», кажется, должен быть признан лучшим из беллетристических произведений г-на Мережковского. Это, по всей вероятности, его «Война и мир»: значительнее он уже ничего не напишет. Но если это будет именно так, если в этом он сойдется с Толстым, который выше «Войны и мира» ничего не создал впоследствии, тем меньше у нашего романиста права на

претензии разыгрывать роль законного преемника великого монарха русской литературы. Сколько бы ни пророчили г-ну Мережковскому разные услужливые... критики, что после Толстого некому другому занять место великого писателя земли русской, такие пророчества кажутся смешными. Увы, шедевр творчества автора «Александра» перед шедевром творчества автора «Войны и мира» представляется столь незначительным, что даже и сравнений никаких тут не приходится. Сравнение может повести только к тому, что сам по себе достаточно заметный талант г-на Мережковского умалится до очень скромных размеров. Сравнение непременно приведет к сознанию, что «преемник» Толстого отнюдь не годится для высокого пьедестала героя литературы и несомненно представляет «из себя», как любят говорить критики-жиды, только одного из эпигонов. Я знаю, что современные авторы из категории не очень удачных поэтов, беллетристов и драматургов весьма недолюбливают, когда критики для постановки этих обыкновенно заносчивых господ «на свое место» припоминают произведения гениев прошлого. Господа заносчивые неудачники признают это «скверным приемом унижения живых гениев с помощью мертвецов». Но я знаю также, что без этого приема, ненавистного заносчивым мнимым гениям современности, невозможно установить никакой правильной оценки настоящей стоимости литературных произведений и талантов. И вот именно потому, что я все это знаю, мне невольно приходится остановиться несколько дольше на вопросе, в сущности, пустом, о притязании г-на Мережковского на пост Толстого.

Кажется, не одни только представители современной критики из категории тех, что услуживают авторам пусканием в авторские лбы булыжников, но как будто и сам г-н Мережковский немножко уверовал в то, что в наше время он стоит на посту «властителя дум». Так, по крайней мере, можно заключить из тех «выступлений» г-на Мережковского то в печати, то на кафедре, какие он теперь делает нередко по поводу различных, так называемых, «инцидентов» текущей русской жизни. Г-н Мережковский, по-видимому, серьезно воображает, что он должен, обязан время от времени нечто изрекать и нечто возглашать, изрекать и возглашать в качестве если не совсем «великого писателя земли русской», то в качестве какого-то литературного «мэтра». И вот г-н Мережковский возглашает и изрекает. Толстой на старости лет заявлял: «не могу молчать». Г-н Мережковский, хотя еще не так уж стар, но, видите ли, тоже, не может молчать. А между тем, право, ему было выгоднее помолчать в тех случаях, когда им овладевает порыв изреканий и возглашений. Может быть, его

тогда бы считали не только за более скромного писателя, но и за более умного. А теперь своей склонностью к публичным «выступлениям», или, точнее говоря, к публичным выпрыгиваниям, он нередко возбуждает насмешливые отзывы о недостаточно высокой степени его ума.

Дело вот в чем. Гениальные люди во всех сферах и больше всего в сфере литературы наряду с талантом всегда отличаются большим, чрезвычайным умом. Не заходя далеко, возьмите наших литературных гениев: Пушкина, Толстого. У Пушкина не только в его глубоких поэтических созданиях, но даже в мимолетных заметках, случайных сюжетах, в письмах, всюду виден необычайный ум. Про огромный ум Толстого и говорить нечего: он поражает великим умом в такой же степени, как и своим художественным гением. Не то бывает у писателей, даже очень талантливых, но все же далеких от гениальности: они зачастую обладают совсем не выдающимся, а самым обыкновенным умом. Мне кажется, я не сделаю ошибки, если скажу, что талантливый г-н Мережковский по воле небес наделен очень обыкновенным, так сказать, средним умом. Это, впрочем, еще бы ничего, это беда небольшая: можно и с обыкновенным умом писать и говорить достаточно умно, что мы нередко замечаем и признаем у многих совсем негениальных писателей. Но вот где начинается уже настоящая беда: это, когда писатель талантливый, но в умственном отношении, не бог весть какого высокого полета, вообразит себе, что он могучий орел мысли и призван именно ширять под облаками. При таком настроении писатель во что бы то ни стало хочет казаться необыкновенно умным. Известно, что мудренее быть умным, когда хочешь казаться таковым. Именно при стремлении-то казаться умным делаются почти всегда довольно глупые дела и говорятя глуповатые речи, или пишутся глуповатые сочинения...

Г-н Мережковский в сильной степени одержим этим стремлением казаться умным, фигурировать в роли литературного мэтра. Отсюда проистекают всякие его публичные выступления или выпрыгивания в качестве искателя каких-то новых религиозных основ, в открывании какого-то нового бога в модернистском, даже чуть ли не в декадентском стиле, бога, впрочем, очевидно, непонятного для самого г-на Мережковского, хотя он и рекомендует этого бога как своего хорошего приятеля и уверяет, что от веры в этого бога-модерн могут проистечь великие блага для всего человечества. Носится со своим курьезным богоискательством г-н Мережковский чрезвычайно усердно, желая, очевидно, чтобы его, г-на Мережковского, признали в некотором роде не только сочи-

нителем, но даже еще и пророком какой-то новой веры. В результате всего этого не выходит, однако, ничего, кроме конфуза для богоискателя, того самого конфуза, которым, как я уже заметил, всегда сопровождаются усилия казаться умным...

Такой же конфуз получается для г-на Мережковского и во всех случаях, обуславливающих эту прискорбной манией. Заявит ли наш автор о том, что он презирает и ненавидит родную землю и русский народ, выпрыгнет ли он с фальшиво-либеральным визгом о позоре для всей России киевского процесса, выскочит ли с нелепым приветом заезжему, очень неважному бельгийскому поэту Верхарну, — конечный результат все тот же, результат прискорбный для нашего писателя. В чем бы он ни обнаружил своей склонности казаться необычайно умным, г-н Мережковский достигает только того, что упрочивает каждый раз за собою подозрение в некоторой, так сказать, умственной несостоятельности, в некоторой ограниченности мысли. И зачем, подумаешь, человек сам себе портит приличную репутацию? Вот подите же. Все неотвязно щекочущее самолюбие: «не могу молчать»! Другими словами: не могу удержаться, чтобы не посягнуть на позу, чтобы не пофигурить в роли литературного героя, «владельца дум», «мэтра». А еще другими словами: не могу удержаться от того, что составляет главную сущность каждого подлинного эпигона, не могу быть, чем есть на самом деле, т. е. талантливый, но отнюдь не гениальным писателем, а желаю казаться преемником Толстого. И ведь сколько теперь таких эпигонов! И ведь все-то они так мнят о себе, что могут и должны быть героями литературы: и г-н Максим Горький, и г-н Короленко, и даже гг. Брюсов и Бальмонт — эти последыши из последышей современной литературы.





М. МЕНЬШИКОВ

Клевета обожания (А. С. Пушкин)

I

Два забвения угрожают великому человеку за гробом: одно от недостатка внимания к нему потомства, другое — от избытка внимания. Забвение полное еще выносимо: как смерть, оно не лишено величия. Если потомство не в силах дать жизни великой душе в недрах своей собственной, то единственно, чем оно может почтить покойного — предать его полному забвению. Как океан, принимающий в темные бездны свой труп пловца, полное забвение потомства — могила не худшая из всех для гения. Несравненно обиднее, когда незначительное потомство все-таки пытается вместить в тесноту своей природы великий дух и искажает его до неузнаваемости. Под имя, которое носил замечательный человек, подставляется чуждая ему фигура и ей воздаются поклонения, в сущности оскорбительные для души покойного. Если бы великий, кроткий Будда вновь пришел на землю, и по медным идолам его, легендам и суевериям узнал бы, каким его представляют себе буддисты, он был бы огорчен глубоко. «Я совсем не такой! — воскликнул бы он. — Меня подменили!..» Он мог бы негодовать сколько угодно: на его глазах поклонялись бы уродливой карикатуре его, а его сочли бы за дерзкого самозванца. Ничто так не искажает образа великого человека, как слишком пылкий культ его, ведущий к преувеличениям. Истинное представление о человеке постепенно вытесняется ложным, которое идет вглубь истории, как нарастающая, никем не подозреваемая клевета на него. И это *неполное* забвение, согласитесь, несравненно большее полного. Лучше великой душе совсем погибнуть, чем быть пересозданной в памяти потомства по *его* плохому образу и подобию...

Эта жестокая сторона культа великих людей особенно заметна в юбилейные годы, подобные нынешнему *. Наблюдая со стороны шумные юбилейные торжества, въявь видишь, как чистое божество постепенно грубеет и превращается в идола, может быть в блестящего, пестро украшенного, но мертвого. В обыкновенные годы, какого-нибудь покойного писателя только читают и редко пишут о нем, если же пишут, то спокойно. В такие годы память о нем состоит не столько в суждении о нем, сколько в созерцании его, и потому она близка к правде. В годы же юбилейные созерцание уступает место суждению, и тут начинается быстрый рост лжи. Под влиянием праздничного восторга, желания порисоваться в роли чествователя, желания почтить гения (единственным знакомым способом — лестью) — в юбилейные годы говорится и пишется невероятное количество слов, — все «слова, слова», туча которых на некоторое время совсем закутывает, подобно саранче, образ юбиляра или придает ему неестественные очертания. Свежий пример этому — не остывшая еще годовщина 100-летия со дня рождения Пушкина. По случаю ее снова были разворочены груды старого материала для его биографии (все еще не существующей), и еще раз в разных вариантах пересказаны воспоминания, мнения, анекдоты о Пушкине. Во всем этом хламе чувствуется какая-то крупица правды, но затерянная в такой массе лжи, вольной и невольной, что образ души поэта, нарисованный его музою в нашей мысли, образ тонкий, как видение, начинает снова облекаться в лубочные краски и принимать грубые черты. Придется, может быть, еще десятки лет потратить на то, чтобы забыть все ненужное о Пушкине и восстановить все необходимое, что рассказано им самим о себе. Творения писателя, да и то лишь лучшие из них, — единственная достойная его биография. Только эти творения и дают верное понятие о том, что было *жизнью* писателя, подробности же о его увлечениях, страстях, пороках, приключениях и пр. говорят о том, что препятствовало этой жизни. Останавливаться на них долго — решительно опасно для памяти покойного: воскресает при этом то, что было мертвого в нем и заслоняет оставшееся живое. Воскресшие черты, растянутые непропорционально, смотря по усердию воспоминателей, слагаются в карикатуру, которая и закрепляется в памяти как истинный образ писателя. Критики продолжают работу мемуаристов. Разменяв подлинный капитал духа великого человека на мелочь, на тысячи цитат из него, они связывают их в другом порядке, разносят по клеточкам своего бухгал-

* Писано в 1899 году.

терского отчета, подводят актив и пассив, причем покойный обыкновенно еще раз признается кредитоспособным в смысле славы. Почти каждый критик навязывает покойному юбиляру что-нибудь свое, о чем тому и не снилось, и это-то *свое* искусственное и незначительное и возводит в особую заслугу покойного. И чем продолжительнее и строже культ великого человека, тем эта *клевета обожания* все больше искажает его образ. Не избежал этой благожелательной клеветы и Пушкин. Если бы он прочитал все то, что ему приписывают теперь — хорошего и дурного — он бы развел руками, и может быть вздохнул бы о том, что не забыт вовсе.

II

Из числа множества клевет, которыми почтили Пушкина в нашей печати, я остановлюсь на одной, принадлежащей известному поэту Д. С. Мережковскому. Обширная статья его о Пушкине появилась незадолго до юбилея, но вызвана, видимо, подъемом культа к этому писателю в последние годы. Статья г-на Мережковского, замечательная вообще, конечно, самая блестящая из посвященных великому поэту в наше время. Д. С. Мережковский сам поэт, и не меньше всех других современных поэтов имеет право считать себя преемником Пушкина. Даже несколько более их: в ряду так называемых «молодых поэтов» г-н Мережковский никому не уступает в таланте и всех превосходит разнообразием его. Подобно Пушкину, он владеет своею прозой не хуже, чем стихом (чего о большинстве поэтов сказать нельзя); подобно Пушкину, г-н Мережковский отличается образованностью, знакомством с западными литературами. Лирика и роман интересуют его не менее, чем история, и впечатлительности его хватает не только на то, чтобы уловить новые веяния, но и на то, чтобы — к сожалению — преувеличить их. Я настаиваю на полной аналогии г-на Мережковского с Пушкиным, — но все же это писатель выдающийся, все же достойный развязать ремень у ноги великого поэта. Его суждение о Пушкине интересно во всяком случае, и статья его — полная блеска и жара — могла бы быть событием в нашем образованном обществе, если бы такое как общество существовало. Но среди множества красивых мыслей, своих и заимствованных (у Гоголя, Достоевского и других критиков Пушкина), у г-на Мережковского и в этой статье поражает то, что составляет язву его таланта: отсутствие чувства меры. Над ним не бодрствует гений, который пре-

достерегал бы его от ложного шага, от слишком поспешной мысли. Как и у огромного большинства современных дарований, у г-на Мережковского слабо действует главный из органов чувств — нравственное зрение. Всякое другое зрение у него очень остро, но он не замечает иногда чудовищного безобразия чисто нравственного, до которого договаривается в своих писаниях. Это тем более жаль, что г-н Мережковский по другим данным своей природы мог бы быть силою в литературе значительною и полезною.

В статье «А. С. Пушкин» наговорено множество истин и ошибок, на которых я останавливаться не стану; предложу лишь читателю обратить внимание на «второй главный мотив пушкинской поэзии», как понимает его г-н Мережковский. Этот мотив — «полубог и укрошенная им стихия».

III

Как читателям г-на Мережковского известно, этот молодой поэт — ницшеанец и символист; он в русской литературе является самым пылким и чуть ли не единственным проповедником «язычества». Страстно увлеченный эпохою Возрождения, воскресшими преданиями языческого искусства, будто бы задавленного христианством, г-н Мережковский не может простить последнему этой обиды, и сколько есть у него вдохновения — взывает о восстановлении Олимпа. По мнению нашего автора, в истории человечества действуют *«две силы, два начала, два течения, вечно враждебные друг другу и вечно стремящиеся к новым примирениям... я разумею христианство и язычество»**, — говорит он. «Упадки» (*Décadences*) сменяют «Возрождения» (*Renaisances*), причем светлое, полное жизни язычество гаснет в сумрачном и мертвом христианстве. «И вот теперь, на рубеже неведомого XX века, мы стоим перед тем же великим и неразрешенным противоречием Олимпа и Голгофы, язычества и христианства, и опять надеемся, опять ждем. *Renascimento*, чей первый, смутный лепет называем символом». Любимый герой г-на Мережковского — Юлиан Отступник, сделавший, по его словам, «прометееву» попытку эллинского возрождения. В одном месте он утверждает, что тень Голгофы легла мраком на последующие тысячелетия; слово «Галилеянин» употребляется им как презрительное — в противоположность «Эллину». Эллинизм он понимает как торжество силы и сладострастия, как культ чело-

* «О символизме» Дафниса и Хлои. С. 13.

веческого самообожествления, при котором будто бы нет ни добра, ни зла, а одна ничем не омрачаемая радость прекрасной плоти.

Надо отдать справедливость г-ну Мережковскому: увлечение язычеством у него не поверхностное; оно в нем достигает религиозного восторга. Это не атеизм и не нигилизм, а своего рода вера, которой он посвящает все благородство своего сердца. Но фанатизм, как известно, уродует даже истинную религию; не менее терпит от него и ложная. В древнеэллинском миропонимании была некоторая абсолютная и вечная правда, которая (в лице Платона, Сенеки, Марка Аврелия) целиком совпала с вечною правдою христианства. Была в язычестве и другая, *относительная* правда — в поклонении красоте телесной и радости существованья. В меру чистоты своей, как поклонение совершенству, — эта правда не была чужда и истинному христианству. Но в том же язычестве было много и вечной лжи, которая опорочивала все священное, что таилось в язычестве. Ложь эта была — преувеличение правды. Красота и сила плоти в мере невинности их есть правда жизни, но, выходя из этой меры, становятся ложью. Чрезмерное поклонение красоте повело к культу сладострастия, чрезмерное поклонение силе — к культу жестокости. И сладострастие, и жестокость, как блестяще раскрыто историей Греции и Рима, суть не более как пороки, которые ни в какой религии не могут играть иной роли, кроме гибельной. Но фанатизм язычества (как и некоторых христианских лжеучений) возвел и эти явные недостатки в нечто священное. Г-н Мережковский, сам не подозревая, что он изменяет языческому идеалу, страстно защищает грехи язычества: под видом красоты он воспекает сладострастие, под видом силы — грубую жестокость.

IV

Молодой поэт имеет, конечно, бесспорное право думать и проповедывать, что ему угодно. Но совершенно напрасно он приписывает свои думы и проповеди другому, более авторитетному лицу, хотя бы с целью почтить его этим. Пушкин, конечно, прекрасный союзник, но навязывать ему даже по поводу юбилея свое язычество, свой культ насилия и сладострастия — более чем неосторожно. А г-н Мережковский проделывает это с величайшею энергией. Под видом возвеличения великого поэта он возводит на него очень серьезное обвинение — будто Пушкин ненавидел и презирал народ, будто он воспевал тех тиранов, которые не заду-

мывались проливать кровь народную, как воду. Мне кажется, что это клевета на Пушкина, хотя бы и высказанная как восторженный комплимент. Сам г-н Мережковский пламенно выражает свое презрение к народу и любовь к тиранам — это его добрая воля и вопрос, может быть, моды, — но утверждать, что и Пушкин был того же кровожадного мнения — это несправедливо. «Как Галилеянин, — пишет г-н Мережковский, — Пушкин противопоставляет первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противопоставляет он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, пророка или героя. Полубог и укрощенная им стихия — таков второй главный мотив пушкинской поэзии». Демократия ненавистна г-ну Мережковскому до глубины души, и он не может простить сочувствие правам народным со стороны Гюго, Шиллера и Гейне. Даже Байрон — «лорд до мозга костей, благороднейший из благородных», возвеличивший в угоду г-ну Мережковскому Наполеона и Прометея, Каина и Люцифера, — даже Байрон уронил себя во мнении нашего критика тем, что был отзывчив на народные страдания. Он был поклонник Руссо, а Руссо по мнению г-на Мережковского — «проповедник самой кощунственной из религий — большинства голосов». Байрону г-н Мережковский не может простить и того, что «потворствуя духу черни», он снизошел «до роли политического революционера (?), предводителя восстания, народного трибуна». Хуже выражения, как «трибун народный», наш молодой поэт уже и придумать не мог. Не то Пушкин: «рожденный в той стране, которой суждено было с особенной силой подвергнуться влияниям западноевропейской демократии, как враг черни, как рыцарь вечного духовного аристократизма, безупречнее, бесстрашнее Байрона». И в доказательство этой безупречности, г-н Мережковский выписывает стихотворение «Чернь». С торжеством выписываются знаменитые строки:

Молчи, бессмысленный народ,
 Поденьщик, раб нужды, забот.
 Несносен мне твой ропот дерзкий.
 Ты чернь земли — не сын небес...

На основании этого стихотворения — вызвавшего столько бурь в критике, г-н Мережковский торжественно возводит Пушкина в злейшие враги народные, крича, что это-то и есть величайшая заслуга поэта.

V

Пушкин — душа огромная; это была не одна жизнь, а как бы тысяча жизней, сплетенных в одну ткань. Пушкину были доступны все страсти человеческие и увлечения, вся правда и вся ложь бытия. Пушкин искренно переживал и язычество, и христианство, вмещал в себе все человеческое. Как поэт — он был эхом жизни, «ревел ли зверь» в его сердце, «гремел ли гром» или слышался голос «девы» — на все давал он отклик. Поэзия — упоенье, и он искал его всюду — и в трогательной любви, и в героизме, и «в дуновении чумы». Недолго он прожил, и многое заветное еще не дало в нем расцвета. Но и в том, что осталось от него, можно почерпнуть достаточно доказательств для какого хотите настроения. Если стихи его подбирать как документы, то с одинаковым правом вы можете утверждать, что Пушкин был и истинный христианин, и грубый язычник; и народолюбец, и противник народа; и человек целомудренный, и цинический грешник; и враг насилия, и сторонник его. В разный возраст, в разные моменты того же возраста, смотря по преобладанию той или другой из стихий, его составлявших, он выказывал совершенно различные взгляды, которые со своей, относительной точки зрения одинаково верны, и с абсолютной — одинаково ошибочны. Когда Пушкин утверждал, что народ подл, то *относительно* он был столько же прав, как тогда, когда утверждал, что народ благороден. Народ одновременно и подл, и благороден, смотря по тому, какие струны души его приведены в действие. Но Пушкин был бы абсолютно не прав, утверждая что-нибудь одно из двух; но он этого и не делал. За него услужливо проделывает это г-н Мережковский. Ему хочется во что бы ни стало записать Пушкина в свой исключительный лагерь, и, ухватившись за одно-два стихотворения, он тащит его непременно в язычники, непременно в ненавистники народные. Он ухватывается за «Чернь» — сильное по форме, но одно из самых загадочных по замыслу стихотворение Пушкина, и на невыясненности его строит духовный образ Пушкина, его отношение к человечеству. О «Черни» в литературе было много толков, но определенного толкования, как известно, не установилось. По словам Шевырева, стихотворение это написано под влиянием новой тогда художественной теории Шеллинга, проповедовавшей освобождение искусства, равноправность красоты истине и добру. Другие думают, что дав этому стихотворению название «Ямб», Пушкин подражал в нем сатирам Шенье. Еще ближе, вероятно, к истине мнение, что в «Черни» Пушкин дал отповедь той великосветской черни, кото-

рая обвиняла его в безнравственности и лицемерно требовала, чтобы он морализировал в стихах. Шевырев рассказывает, что Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили о стихах его в большом свете. «У княгини Зинаиды Волконской, на литературном собрании, к Пушкину пристали, чтобы прочесть. В досаде он прочел «Чернь», и кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не станут просить». Что Пушкин обращался в этом стихотворении не к народной черни, видно из того, что незадолго до смерти он дал ему название — «Поэт и толпа». Толпа, окружающая поэта, была не народная, — и отнюдь не простонародная. Если бы Пушкин хотел изобразить поэта среди народа, то он вспомнил бы, каким уважением окружает народ своих баянов. Примеры «хладнаго и надменнаго» отношения к поэту Пушкин видел не среди народа, а в светской толпе, и критика на тему: «О чем так звучно он поет, напрасно ухо поражая?» — была именно тогдашняя литературная критика в лице Булгарина и иных. Знать все это, как знает, конечно, г-н Мережковский, и все-таки приписывать Пушкину презрение к *народной* черни, к демократии, — недобросовестно. Вспомните еще эпитафия к «Черни» — *procul este, profani...* * Что Пушкин питал презрение к профанам — это несомненно, но профаны и *народ* — не одно и то же. Профаны не невежды только, а надменные невежды, и такие встречаются чаще в светском кругу, нежели среди народа. «Поденщик, раб нужды, забот» — относится одинаково и к нищему классу, и к той аристократии, которая связана корыстной службой и вечными заботами тщеславия. Не в иной, а именно в этой среде Пушкин наблюдал своих профанов. Возможно допустить, что «Чернь» навеяна была Пушкину, как свидетельствует эпитафия, отчасти и Горацием, и он соединил свои чувства с мыслью древнего поэта. Подобно тому, как подражая Данте или Корану, Пушкин дал блестящее выражение чуждым ему настроениям XIII или VII века, так и в «Черни» он воспроизвел, может быть, еще более далекую от него гордость языческого поэта I века до нашей эры. Если предполагать, что Пушкин выразил в «Черни» *свою* поэтическую веру, *свое* отношение к народу, то этим были бы вычеркнуты другие исповедания веры, написанные им заведомо как характеристика своего призвания. Как бы в предчувствии близкой смерти создавая себе «памятник нерукотворный», Пушкин утешал себя тем, что «к нему не зарастет *народная* тропа». Едва ли подумал бы о ней ненавистник черни. Его слова —

* Прочь, непосвященные (*лат.*).

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу,
И милость к падшим призывал...

Эти слова — оправдание бессмертия, «вечного памятника», который, по мнению Пушкина, он воздвиг себе в народном сердце. Эти слова — достойный ответ на голос черни:

Если ты небес избранник...
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцем хладные скопцы.
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

VI

На этот вопль раскаяния, обращенный чернью к избраннику небес, истинный избранник ответил бы так, как отвечали все великие христианские писатели, как отвечали пророки, как ответил сам Пушкин. Избранники небес раскрывали черни всю святость своего сердца, возбуждали чувства добрые, боролись с жестокостью своего века, восславляли свободу, и как венец всего — призывали «милость к падшим». Не праздно, перед смертью (в 1836 г.) написал Пушкин эту эпитафию себе. Она — его завещание, его скрижали, где начертаны заветы поэтического долга, как он понимал его. Но сопоставьте эти благородные слова с крайне грубым и злобным ответом поэта кающейся черни:

Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас.

Душе противны вы как гробы:
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры.
Довольно с вас, рабов безумных!

Сопоставьте со всею деятельностью Пушкина этот бесчеловечный ответ поэта «падшим», и вы допустите, что *поэтом* в данном случае был не сам Пушкин, и не христианский поэт вообще. «Поэтом» здесь мог быть стихотворец двора Августа, окруженный чернью эпохи упадка, чернью развратной и кровожадной и вовсе не кающейся. Для язычника времен цезарей такое жестокое отношение к народу было бы естественным; — Пушкин, перенесшись душой в век Горация, очень точно нарисовал портрет поэта, аристократа (по воспитанию) и эпикурейца. Сам же Пушкин таким не был, или точнее, не был таким *сплошь*. Ему, повторяю, не чуждо было и язычество, и высокомерное барство, и озлобление на народ, — но на другой подкладке. Припомните стихотворение 24-летнего Пушкина:

Свободы сеятель пустынный
 Я вышел рано, до звезды,
 Рукою чистой и безвинной
 В поработанные бразды
 Бросал живительное семя.
 Но потерял я только время,
 Благие мысли и труды...
 Паситесь, мирные народы,
 Вас не пробудит чести клич!
 К чему стадам дары свободы?
 Их должно резать или стричь;
 Наследство их из рода в роды
 Ярмо с гремушками, да бич.

Эти строки, по-видимому, далеки от того чистого сострадания к народу, каким дышит написанная четырьмя годами ранее «Деревня». Здесь вы слышите решительную злобу. Но примите в расчет, что она вызвана ничем иным, как отчаянием поэта пробудить тот же народ, и истинное отношение Пушкина к черни станет ясно. Он болел и скорбел за чернь, и ненавидел ее в минуты отчаяния, и проклинал ее, и горячо любил. Вспомните пророков — те громили народ свой с не меньшей беспощадностью, и тоже предрекали «бичи, темницы, топоры»... Не очевидно ли, что и в «Черни» Пушкин присоединяется к языческому поэту лишь на минуту горького разочарования в народе. Как поэт иного духа и иного века, Пушкин знал хорошо, что навсегда отойти от народа — это значит отказаться от своего призвания; он знал, что «служенье, алтарь и жертвоприношение» — бессмыслица, если они не вместе с народом и не для народа, что «вдохновение» и «звуки сладкие» — бред, а «молитвы» и вовсе невозможны для поэта, сказавшего падшим людям: «Подите прочь!».

VII

Не было никакого основания ни Писареву в свое время, ни г-ну Мережковскому теперь брать «Чернь» как поэтическое *credo* Пушкина; нет нужды по поводу этого стихотворения ни уничтожать поэта, ни его возвеличивать. Но г-н Мережковский повторил писаревскую ошибку, хоть и навыворот, но с большею пылкостью. Он не только присоединился к проклятиям поэта, обращенным к черни, но и довел их до забавного преувеличенья. Раскаяние черни, мольба употребить небесный дар поэзии на *благо* людям, причем точно говорится, в чем это благо: «сердца братьев исправляй», — эта мольба черни кажется г-ну Мережковскому дерзостью и самым пошлым «утилитарианизмом», «духом корысти». Благо, даже небесное, ему кажется мерзостью: «Когда великий художник, — пишет Мережковский, — во имя какой бы то ни было цели — корысти, пользы, блага земного или небесного; во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству, — философских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость во святом месте, приобщается духу черни». Признав «мерзостью» в поэзии даже религиозный идеал, г-н Мережковский продолжает: «Вот как истинный поэт — служитель вечного Бога — судит этих сочинителей полезных книг и притч для народа, этих исправителей человеческого сердца, первосвященников, взявших уличную метлу, предателей поэзии. Вот как Пушкин судит Льва Толстого, который пишет нравоучительные рассказы:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас и пр.

Почувствовав комизм этих слов в применении к Льву Толстому, г-н Мережковский благоразумно выпустил из цитаты ее продолжение: «В разврате каменейте смело» и пр., но не догадался опустить последние две строчки:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Если поэты рождены для *молитв*, то г-н Мережковский излишне поспешил провозгласить «мерзостью» религиозный идеал в поэзии, а также «вдохновенья» нравственные и философские. Если бы Пушкин слышал о таком покушении молодого

поэта на изгнание вдохновений нравственных и философских, даже он бы содрогнулся — или, может быть, улыбнулся бы. Во что, в самом деле, обратился бы бедный Данте или Мильтон, если бы отнять у них религиозный идеал? Или Гете, у которого вытравить философское вдохновение? Или Байрон, или Лермонтов, если отнять у них вдохновение нравственное? Право, можно подумать, что г-н Мережковский — будучи сам недурным стихотворцем — неясно понимает, что такое истинная поэзия. Возможна ли поэзия, отрешенная от всякого содержания — религиозного, нравственного и умственного? Не есть ли наоборот, поэзия — именно какое угодно содержание, лишь бы оно было *вдохновенно* понято? Вдохновенный вероучитель, охваченный «божественным глаголом» — разве он не поэт в то же время? Или вдохновенный философ, или пророк-нравоучитель — разве они не поэты в минуты высокого их служения? Что же останется тогда на долю поэзии, если выкинуть из нее самые благородные из вдохновений — идеалы религиозный, нравственный, философский? Пушкин понимал поэзию как стоголосое эхо, дающее отзвук сердца на все явления бытия, он едва ли согласился бы, без тяжкого над ним насилия, откликаться только на самое низкое, что остается в природе вне религии, философии и морали. Ему пришлось бы отказаться от лучших своих созданий, проникнутых мудростью и верой, — пришлось бы отказаться и от «Черни», — потому что что же такое это стихотворение, как не мораль? В «сладких звуках» его нет молитвы, но есть ясно выраженное нравственное вдохновение, — доброе или злое — это другой вопрос.

VIII

Пушкинского поэта, который так капризно разговаривает с толпой, г-н Мережковский считает олицетворением аристократизма духа. Вся русская литература после Пушкина «обратилась (будто бы) против своего учителя, «изменила» ему в лице Гоголя, Достоевского, Толстого, которые «обошли, замолчали, презрели эту героическую сферу пушкинской мудрости». Но «Чернь» еще не совсем удовлетворяет г-на Мережковского. «Избранник небес удостоивает говорить с толпой, слушать ее и даже спорить. Это слабость... Для такой откровенности гениев не созданы ее звериные уши». Вот до какой степени молодой поэт презирает толпу. Он утверждает далее, что в минуту вдохновения, «лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» поэт «уже более не

человек: в нем рождается высшее, непонятное людям существо. Звери, листья, воды, камни ближе к сердцу его, чем братья». Не замечая комического смысла этой фразы, где «не человек», «высшее существо» приближается к зверям и камням, г-н Мережковский возносит поэта и героя (для него это все равно) на недостижимую высоту над родом людским. «Герой есть помазанник рока, естественный и неизбежный (!) владыка мира». Тут опять жестоко достаётся современной демократии, неохотно подставляющей шею для «неизбежного владыки». Г-на Мережковского возмущает, что в современной демократии «нет меньших и больших, а есть только малые... только равные перед законом, основанном на большинстве голосов, на воле черни, на этом худшем из насильий: ибо — подлые столь же, как и малые — от всей души ненавидят они единственный закон, освященный единственной бесспорной святыней — волей героя, Божьего избранника». Таким образом, равенство перед законом объясняется подлостью толпы, а самый закон, признанный желанием большинства, отвергается. Воля героя — вот бесспорная (!) святыня, единственный закон, который допускает г-н Мережковский. *Suprema lex — regis voluntas* *. Начальники в современной демократии тоже отрицаются по той причине, что они подчиняются закону: «Нет героев, — вопиет наш критик, — а есть начальники, такие же бесчисленные, равные перед законом и малые, как и их подчиненные; или же... один большой начальник... который, сильный “силою черни”, большинством голосов, преподносит ей идеал ее собственной пошлости — буржуазное, умеренное, безопасное “братство”, это разогретое вчерашнее блюдо». Далее описывается, как такой большой начальник, «Наполеон III — сын черни (?) — с нежностью любит чернь (это Наполеон-то III?!), свою мать, свою стихию». Героев г-н Мережковский уподобляет «хищникам небесным, орлам»: «...Когда слетает к людям божественный хищник — герой, то равенству и большинству голосов и добродетелям черни... смерть всему». Такие налеты на толпу «божественных хищников» г-н Мережковский называет «праздниками истории», но с грустью признается, что такие праздники редки, и между ними «царит добродетельная буржуазная скука, демократические будни». Кесарь, венчанный Римом (т. е. закономерный начальник народа) не удовлетворяет г-на Мережковского: гораздо выше «Кесарь, венчанный Роком», вроде Наполеона I, которого г-н Мережковский считает образцом героя, «последним героическим воплощением дельфийского бога солнца и горды-

* Высший закон — воля короля (лат.).

ни». Отсюда же симпатия молодого поэта «благородной мусульманской культуре, которой суждено дать миру сладострастную негу Альгамбры». Дело в том, что этой культуре дал начало Магомет, герой, «бич и гроза неверных, суетных и велеречивых, непокорившихся воле Единого». Гибелью окружен разгневанный пророк, хотя г-н Мережковский отмечает, что где гнев, там и милость: «жестокость и милосердие соединяются в образе Аллаха. Это две стороны единого величия... Только беспощадность Аллаха равна его милосердию, и как чудно они сливаются в одном ужасающем и благодатном явлении», восклицает молодой поэт, и приводит пушкинское подражание Корану:

Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй...

.

И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом,
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

IX

Жестокость г-ном Мережковским выставляется как свойство божественное, с которым может сравниться только сладострастие. Именно этим гневом прекрасен Аполлон. Тут наш молодой поэт позволяет себе разойтись с Пушкиным. Из двух изображений, пленивших юного Пушкина, Аполлона и Диониса, один

Был гневен, полон гордости ужасной
И весь дышал он силой неземной.
Другой женоподобный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон, лживый, но прекрасный.

Г-н Мережковский с последним мнением не согласен, т. е. что сладострастный демон лжив. «Для нас, нашедших единство в двойственности, — говорит он, — это уже не лживые идола, не призраки умерших богов, а вечно живые демоны, два идеала героической мудрости... Аполлон, бог знания, солнца и гордыни и Дионис, бог тайны, неги и сладострастия». Последним воплощением Аполлона, бога солнца и гордыни, по мнению г-на Мережковского, был Наполеон I, а Вахх воплотился — в оргиях во время чумы...

Чем дерзновеннее сладострастие, тем в больший пафос приходит г-н Мережковский. Говоря о «Египетских ночах», о трех поклонниках Клеопатры, предложивших жизнь свою за ее объятия одной ночи, — наш автор захлебывается от благоговенья перед ними: «Они достойны этого фимиама — земные боги, избранники Диониса, герои сладострастия, ибо увлекаемые безмерностью своих желаний, они преступили пределы человеческого существа и сделались «как боги». Все чрезмерное, противоестественное оказывается божественным. В страстях самых уродливых и низких г-н Мережковский видит черты героизма и царственного величия. «Человек не хочет быть человеком, возглашает наш автор: все равно, в какую бы то ни было пропасть — только бы прочь от своей человечности. Всякая страсть тем и прекрасна, что она окрыляет душу для возмущения, для бегства за ненавистные пределы человеческой природы», поэтому Скупой Рыцарь будто бы столь же пленителен, как и Клеопатра. Поэт не замечает, что его героизм — похож на маниакальное помешательство. Таких людей — пусть они будут искренние злодеи, развратники, скупцы и т. п. — г-н Мережковский называет истинными героями. Герои же-«неудачники» — это те, у которых осталась еще крупица совести. Это — «старшие братья Раскольниковы, преступившие закон и ужаснувшиеся, не имеющие силы для бесстрастия и беспощадности истинных героев: царубийца Годунов, убийца гения Сальери». Г-н Мережковский оправдывает самое низкое преступление под условием, чтобы оно было вполне бессовестно, без тени страха или стыда. Он приходит в величайший восторг перед самыми кровожадными из деспотов истории. Самым вещим из великих произведений Пушкина он считает «Медного Всадника», и именно за то, что в этой поэме выведена гибель слабых людей от произвола сильного. Вместе с Пушкиным и, конечно, на сто верст впереди его г-н Мережковский прославляет императора Петра I как «одного из величайших всемирных гениев», как «благодатного бога брани», как гиганта и полубога. Пушкинская формула Петра: «*Pierre I est tout a la fois Robespierre et Napoléon [la révolution incarnée]*» * кажется г-ну Мережковскому величайшею похвалой. Для него восхитительно то, что Робеспьер-Наполеон не остановится ни перед какою гибелью обыкновенных смертных. «Какое дело гиганту до гибели неведомых бесчисленных? Какое дело чудотворному строителю (Петербургу) до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника?

* Петр I одновременно и Робеспьер, и Наполеон (фр.).

Он гибнет? И пусть! Не он первый, не он последний. Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Это — рок. *Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям?..*» (мой курсив. — М. М.).

X

Вот оно, новое слово! Я не помню, чтобы в русской литературе кто-нибудь раньше г-на Мережковского договорился до такого, с позволения сказать, бесстыдства. Необходимо остановиться на этих словах: смысл их приписывается Пушкину, как похвала этому великому поэту. Неужели, в самом деле, для того рождаются на свете обыкновенные мирные люди, чтобы *«по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям»*? Вдумайтесь, читатель, внимательно вчитайтесь в патетические вопли г-на Мережковского. Ведь дело идет ни более, ни менее как о *костях* ваших, по которым молодой поэт приглашает идти каких-то «великих избранников» к каким-то «неведомым» целям. Причем оговаривается, что вы должны считать за честь, если кости ваши будут втоптаны в грязь каким-нибудь «божественным хищником». «Что если червь земли, вызывает г-н Мережковский, возмутится против своего бога? Неужели злобный шепот этого презренного, жалкие угрозы этого безумца достигнут до медного сердца гиганта?»

Г-н Мережковский отлично сознает, что в цинизме своем он совершенно одинок в литературе, если не считать горсточку несчастных декадентов и ницшеанцев. Он знает, что идет против преданий если не всемирной, то всей русской литературы. Он прямо так и говорит, что вся русская литература в лице величайших своих писателей впала в безумие, именно безумие христианской жалости. «Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гигантского всадника, который над бездной “Россию вздернул на дыбы”. Все великие русские писатели, — не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров, — по наружности западники, по существу такие же мистики и враги культурного язычества, — будут звать Россию прочь от единственного, непонятого русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать народ к

материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимую Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке идиота, к блаженному “неделанью” Ясной Поляны; — и все они, все до единого, быть может сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмущившейся черни: “Добро, строитель чудотворный! Ужо тебя!”»

XI

Что г-н Мережковский смешал с чернью «всех до единого» великих писателей наших — Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Льва Толстого — это небольшой грех, это клевета предубеждения, не больше. Но что он путем величайших натяжек выводит Пушкина из среды этих великих и ставит его во враждебное к ним положение — это клевета более серьезная, клевета обожания. В своем необузданном идолопоклонстве пред языческим принципом *силы* (понимаемой им как жестокость), молодой поэт столь же серьезно оклеветал и обожаемого им Петра I. Я вовсе не поклонник этого «медного гиганта» нашей истории, но вынужден защитить его от клеветы г-на Мережковского. Что Петр I был человек грозный и в борьбе с врагами не щадивший людей — это верно; но выставять его каким-то Атиллою или Тамерланом, шествующим «по костям» бесчисленных «малых» — несправедливо. Это преувеличение, искажающее истинный образ Петра I. Мережковский выставляет этого царя как некоего гневного бога, который во время стихийного бедствия, разразившегося отчасти по его вине, уничтожает безумцев, дерзнувших поднять на него ропот. На самом деле Петр I был не таков; во время наводнения в Петербурге в 1824 году ему, конечно, ничего не оставалось, как стоять в горделивой позе «медного всадника» над бушующими волнами. Поза красивая, и Пушкин создал из нее чудный рассказ. Но случись подобное же бедствие при Петре, то нет никакого сомнения, что он первый бросился бы спасти тонувших людей, как он бросился спасти солдат на Лахте (от чего, как говорят, и умер). Бедному Евгению, «презренному и ничтожному», пришлось бы увидеть Петра во время наводнения не в позе медного идола, а в виде хоть и могучего, но крайне участливого и совсем простого человека. Нет сомнения, что и Пушкин в «Медном Всаднике» отошел от правды в изображении Петра, идеализировал, или, точнее, идолизировал этого царя. Петр в «Медном

Всаднике» не тот, что в «Полтаве» и не тот, что в «Арапе Петра Великого». Но в «Медном Всаднике» Пушкин рисовал не живую личность Петра, а его образ, постепенно разросшийся в истории, и в памятнике, как водится, преувеличенный. Для пушкинской полуволшебной повести это героическое преувеличение было нужно, как приняты подобные же гиперболы в былинах о богатырях. И все же Пушкин не дошел до того, чтобы воспеть именно жестокость Петра, как это доделал за него г-н Мережковский. Напротив, при всем поклонении Петру, гений Пушкина подсказал ему невыразимо грустный конец истории «Медного Всадника», до того грустный, что он звучит прямым укором Петру. «Печален будет мой рассказ», предупреждает Пушкин, — и в самом деле он печален. Рассказывается трагедия живого человеческого сердца, неизвестного, бедного, но полного нежной любви — и растоптанного чьим-то грозным произволом. Рассказывается, как ошибка в великом замысле поражает безвестные человеческие существования, с их самыми чистыми радостями.

ХII

Пушкин не говорит прямо об ошибке Петра, но ему было известно о существовании целой исторической школы, доказывавшей эту ошибку. «На берегу пустынных волн», среди болот и лесов, вне границ своего народа — пример в истории небывалый — Петр задумал основать центр народной жизни, и с величайшими жертвами и насилиями достиг того, что устроился если не центр, то красивый город. Карамзин признал эту затею «блестящею ошибкою» Петра, и, нет сомнения, сам Петр теперь согласился бы с ним. Петр не знал о наводнениях Невской дельты, о неизбежном засорении фарватера, не предусмотрел невозможности устроить здесь удобного порта и вообще наделал множество чисто практических ошибок, объясняемых поспешностью и незнанием. Он выбирал между Таганрогом, Астраханью, Ригию, Ревелем и устьями Невы и сделал плохой выбор, чтобы поддержать свою другую колоссальную ошибку — перенос столицы за границу, — ошибку, объяснимую только рабским преклонением царя перед тогдашней заграницей. Как теперь совершенно ясно, «на берегу пустынных волн» Петр стоял с думами, полными великих недосмотров. Но он умер, и недосмотры эти пришлось расхлебывать тем бесчисленным, «ничтожным и малым», судьбою которых распорядился царь. Сравните блестящую картину Петербурга в начале «Медного Всадника» — и щемящий сердце конец:

Остров малый
На взморье виден.

.....
Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст —
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Он был пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего...
И тут же хладный труп его
Похоронили, ради Бога.

Если бы г-н Мережковский бросил хоть на минуту свои ходули, свой ложный пафос и взглянул бы по-человечески на эту печальную картину, — он подметил бы, что это не «отвратительная скука петербургских будней», как он выражается, а глубокая драма, к которой Пушкин был вовсе не равнодушен. Пушкин мог бы возбудить в читателе презрение к своему герою, но возбуждал глубокую жалость, — ясно, что он сам ее разделял. Навязывать Пушкину по поводу этой драмы жестокую мысль, что «смирный коломенский чиновник погибнет — и пусть! Не он первый, не он последний... Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям», — навязывать Пушкину эту тупую жестокость — поистине клевета. На самом деле Пушкин, при всей безалаберности своего характера, обладал мягкой и жалостливой душой. Наводнение петербургское его страшно встревожило, и он в письме к друзьям просил оказать помощь пострадавшим из его «онегинских денег». Пушкин терпеть не мог ходулей и к страданию человеческого относился просто, как и все простые люди — с состраданием. Пушкину и во сне не снилось в лице маленького чиновника, сошедшего с ума от горя по своей Параше, выводить «мировое начало», которое находится будто бы «в ужасающем столкновении» с другим «мировым началом» — волею «сверхчеловеческого демона», как напыщенно выражается г-н Мережковский. По мнению г-на Мережковского, слова бедного Евгения: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебя!» были не простою бранью несчастного, — а вот что: «Мы слабые, малые, равные идем на тебя, Великий, мы еще поборемся с тобой, сильные нашею жалостью, и как знать, кто тогда победит?» Скажите, как хитро! Но навязывать эту хитрость чистосердечному гению Пушкина — просто забавно. В глазах г-на Мережковского

несчастный чиновник не более как «дрожащая тварь». Ну и пусть так, но приписывать Пушкину это глупое презрение к человеку бедному, обезумевшему от горя — клевета и ничего больше.

ХIII

Все навыворот — вот тайный лозунг г-на Мережковского. Увлечшись «переоценкой» вечных ценностей человеческого духа, в качестве рабского подражателя Ницше г-н Мережковский восстает против «галилейской жалости» как против какой-то подлости, думая, что он говорит этим что-то умное. Но то, что у Ницше достаточно объясняется начинавшимся сумасшествием, у г-на Мережковского я уж не знаю, чем объяснить, не обижая его. Поэтический талант нашего поэта не уравновешен и потому договаривается до безумия, первый признак которого, как известно, состоит в потере нравственного чувства. Поэтому, за что бы наш поэт ни ухватился, во всем у него ускользает самое драгоценное — нравственный смысл, и получается часто блестящая, но очевидная бессмыслица. Увлекаясь всей душою язычеством, красотой, силою, любовью, героизмом, — г-н Мережковский оклеветывает все эти явления, навязывает им преувеличенные, карикатурные черты. Например, героизм. Жизнь тысячелетий человечество выработало нравственный взгляд на героев как на людей *долга*, людей нравственного подвига.

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран!

— справедливо говорит Пушкин, и во всех героях своих, которых любит, он неизменно отмечает эту черту — сердце. Даже в Наполеоне, тоскующем «один, один о милом сыне в изгнании горьком» он нашел это человеческое чувство. Герой — носитель долга, защитник справедливости, поборник правды — такими рисуются наши богатыри, таково западное рыцарство, таковы все истинные герои столь любезного г-ну Мережковскому язычества. Даже у Гомера, наряду с стихийным Ахиллом, выдвинута светлая фигура Гектора, и сам Ахилл был бы простым животным, если бы участие его в битвах не объяснялось нравственным мотивом: защитой Менелаева дома и жалостью по Патроклу. Так что даже первобытному варварству не чужд этот взгляд на героизм. Но г-н Мережковский все это перерешил наоборот; для него герой — воплощение права без тени каких-нибудь обязанностей. Герой, видите ли, имеет «великое дерзновение» — и довольно.

До сих пор думали, что героизм — это самоотверженность, жертва ради блага других, — теперь навыворот: благо других, самое идеальное, ставится ниже воли героя. Он, видите ли, «венчанный Роком» идет к «неведомым целям», и потому, что эти цели неведомы, человечество приглашается своими костями устилать путь ему. Человечество — ведь это презренное большинство, это чернь, для «звериных ушей» которой слишком много чести, чтобы объясняться с ней: «божественный хищник» должен «налететь» на толпу, как орел на стадо гусей, и выбирать любую жертву молча, — ведь это не более как «тварь дрожащая». Право, почитав г-на Мережковского, можно подумать, что он сам близок к тому, чтобы почувствовать себя хищной птицей, и может быть в качестве таковой и налетел на стадо гусей — Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Льва Толстого...

XIV

Урезонить г-на Мережковского, конечно, невозможно; единственный довод, ему приятный — какое-нибудь жестокое насилие, за которое он — по его логике — должен бы тотчас же возвести вас в герои. По понятным причинам, приходится отказаться от такого довода. Не для г-на Мережковского, а для более здоровых последователей его — у него есть последователи — можно заметить, что жизнь большинства человеческого рода не так глупа, как кажется, что презренная чернь, так или иначе, зарабатывает честно свой хлеб и жизнь проводит так, что она продолжается и даже расцветает. Но стоит появиться «божественному хищнику» — Атилле, Тамерлану, Батыю — и цветущие страны превращаются в пустыни, в песке которых до сих пор валяются черепа и кости народов, стертых с лица земли. Даже небольшие хищники, вроде Наполеона, успевали за короткое время наделать столько бед, что загладить их не удается в целое столетие. Если бы эти «божественные хищники» оставили в покое чернь презренную, не налетали бы на нее от времени до времени и не расстраивали нежной ткани народной, не губили бы плоды целых поколений, может быть «тварь дрожащая» устроилась бы очень недурно. вспомните, что именно против подобных «божественных хищников» и одурачиваемых ими полчищ содержатся армии, под гнетом которых народы изнемогают. Даже одна возможность этих хищников изнуряет человечество. Если обожать подобных героев, то г-ну Мережковскому следовало бы, подобно дикарям, обожать и тигров, и львов, и крокодилов, и волков, —

ведь это те же четвероногие Тамерланы и Наполеоны. Роль их в мировом хозяйстве та же самая. Я вовсе не отрицаю героизма, но истинные герои шествовали не по костям народов, а умирали на крестах, на кострах или с чашею яда в руке... Не они были истребителями, а их истребляли. После них осталась мысль, которая и продолжала героическое служение человечеству, и мысль эта была не за насилие, а против него. Есть, значит, герои и герои...

XV

Психология героев и толпы не так уж хитра, но г-н Мережковский понимает ее наизусть. Он полагает, что такие «герои», как Наполеон I, Робеспьер и проч. относились с величайшим презрением к черни. Он грубо ошибается. Именно хищные герои ухаживали за чернью и ставили себя в уровень с нею, — иначе им и не увлечь бы своих полчищ. Явись «герой» г-на Мережковского перед чернью и скажи ей откровенно, что считает ее сволочью, «дрожащей тварью», которой если и погибнуть по его мановению, так что за беда, — он не далеко бы ушел со своим героизмом. Чернь пришла бы в понятное недоумение, то самое, какое встретил пушкинский поэт. «Нет, если ты небес избранник», сказала бы чернь, то «свой дар, божественный посланник, на благо нам употребляй». И если герой не признал бы этих претензий уважительными, то и чернь не признала бы героя. Признал бы его — без всяких условий — разве уж последний отброс черни, да и то в тайной надежде, вступив в союз с «героем» против толпы, поживиться на ее счет. Все сомнительные герои, вроде Наполеона, Цезаря и пр., добивались добровольного признания толпы (напр. солдат) и добивались не жестокостью, не криками «Подите прочь! Какое дело» и пр., не презрением к толпе, а напротив, — лестью и преклонением пред ней. Наполеон, если бы вместо «mes braves», называл своих гвардейцев в глаза пушечным мясом — едва ли продержался бы хоть полчаса на своей высоте. Ему — как и другим великим полководцам — приходилось вести жизнь солдата, разделять все опасности и невзгоды и показывать вид, что он избранник и любимец своих приверженцев, их порождение, и что не он ими движет, а их воля заставляет его вести их. Истинные герои, пророки и мудрецы не прибегали к такому подлаживанью к своей среде — и конец их был иной...

Г-н Мережковский с негодованием набрасывается на *демократическое равенство* современного культурного общества, считая его свойством черни. «Народ, толпа, чернь» у него неот-

делимые понятия. Но ничего подобного нельзя приписать самому Пушкину. Крестьянство наше Пушкин любил, тяготел к нему душою, учился у него языку и поэзии и сам, судя по письмам — говорил почти простонародным языком, несравненно более народным, чем язык тогдашней словесности. Пушкин гордился своим дворянством, но не больше, чем гордились своими дворянами и мужики: этот предрассудок у него был народен. Пушкина постоянно тянуло к народу, как Алеко. Он чувствовал, что народ скорее понял бы истинного поэта, нежели изуродованное, хуже, чем невежественное — полуобразованное тогдашнее общество, проникнутое сверх своих еще и заграничными суевериями. Уж на что цыгане похожи на чернь, а Пушкин — сам бегавший к ним — заставляет их принять поэта (Овидия) как святого старика. Пушкин охотно читал старой няне свои стихи, и встречал в ней больше сочувствия, нежели, напр., в Сенковском, человеке, по-тогдашнему, с огромным образованием. Портрет этой чудной няни или старика Савельича в «Капитанской дочке» — разве мог бы нарисовать их с такой любовью поэт, презиравший народ?

Кого Пушкин искренно презирал, так это свое общество, среди которого вращался, за исключением немногих избранных и друзей. Именно к этому классу обращал он свои громы, как бы предчувствуя, что не народ, а именно эта «светская чернь» пожрет его.

XVI

Противопоставляя поэта и чернь, г-н Мережковский с бесконечным презрением говорит о принципе большинства в западноевропейском обществе. Этот принцип, опирающийся на подсчет голосов, будто бы враждебен всему высокому и есть отрицание аристократизма духа. Но не говоря о том, что этот принцип в управлении некоторых стран (как напр. Англия) в течение столетий не повел к особенно дурным результатам, не низвел эти страны на низшую ступень просвещения, богатства, творчества в науках и т. п., нужно вспомнить, что принцип большинства применяется лишь в исключительной области, в сфере материальных прав. Г-н Мережковский мог бы знать, что ни один парламент не решает вопросов искусства, науки, техники, религии, поэзии — во всех этих областях решающий голос принадлежит меньшинству, группе гениев в каждой области, и «чернь» не нужно обращать в «тварь дрожащую», чтобы она слушала «проповедь» этих гениев, — она охотно их слушает — если эти гении

истинны. Вот разве для не истинных, дутых гениев, для тех, пожалуй, нужно было бы покорять толпу бичами... Толпа (на Западе) если предъявляет свою «волю большинства», то главным образом в расходовании материальных средств, с нее же собираемых, в решении вопросов общей безопасности, здоровья, комфорта и т. п. Тут спор идет не о каких-нибудь абстрактных началах, не об истине и красоте, а об удовлетворении более скромных нужд; заявляются не идеи, а желания. Парламент выражает не мысль страны, а ее волю, ее преобладающее желание. Когда речь пойдет об интересе отвлеченном, даже в сфере законодательства, решающий голос принадлежит не представителям большинства, а единицам — современным представителям науки. Скромная чернь охотно предоставляет выработать основания законов избранному меньшинству — государственным людям, академикам и т. п. Законопроекты вносятся всегда не «большинством», а отдельными лицами и делаются знаменем партий не прежде, чем эти отдельные лица сумеют убедить большинство, т. е. покорить себе «толпу». Парламент охотно предоставляет себя влиянию «героев», — и если они есть среди депутатов, каждому дано право взойти на трибуну и увлечь силою своего знания и таланта всю «чернь». Не дано только право единицам, как некогда баронам, убеждать «большинство» кулачною расправой. Если оратор даровит, умен, знающ и т. д., он и увлекает толпу, — подсчет голосов является до некоторой степени лишь показателем гениальности этих отдельных лиц. Ясно, что принцип большинства не только не враждебен аристократизму духа, но скорее благоприятен для него. При обратном начале не было бы соревнования между «героями», не было бы нравственной победы над чернью. Без арифметики совершенно нельзя обойтись, если вы хотите узнать, покорили ли вы толпу или нет. Ведь даже Тамерланы и Наполеоны, прежде чем «налететь» на «тварь дрожащую», считают число своих сообщников и противников, — как же не считать голосов в общественных учреждениях? Скажут: «Мнение одного мудреца более ценно, чем мнение толпы». Бесспорно, — но вопрос идет не о мнениях, а о желаниях толпы, которые нужно покорить. Если бы в каждую минуту в человечестве был всего лишь один «герой», ну, тогда рецепт г-на Мережковского о «дрожащей черни» имел бы некоторый, хоть и некрасивый, смысл. Покориться всем одному, заведомо великому — куда ни шло. Но что если «великих» явится несколько, и все они одновременно предъявят требования покорности? — как это и бывает в современном обществе. Ничего не останется, как подсчитать число увлеченных теми и другими, чтобы выяснить влияние сильнейших,

т. е. выделить, некоторым образом, аристократию парламента. Не станете же вы отрицать, что вожди партии — самые талантливые в своей партии, самые блестящие. Правда, парламент не включает в себя *все* таланты страны, но это потому, что он не включает в себя и всех функций страны, а лишь *одну*. Ренан и Дарвин не были депутатами потому, что не были политиками и их огромные познания в библейской истории и биологии не имели бы никакого приложения при вопросе о налоге на спички или ассигновке на вооружения. Эти — *политические* вопросы — решают, так сказать, аристократы политики, хотя и аристократы химии, анатомии, живописи, музыки в качестве граждан не лишены права подать свой голос, имея каждый своего поверенного в парламенте. Аристократы музыки или нумизматики не потому не заседают в палате, что их туда не пускают, а потому, что они и сами туда не идут, — нельзя же их тянуть туда насильно.

XVII

Отрицать «большинство» в политике значит отрицать самые основы современного общества, но и в таком случае следовало бы предложить другой, более высокий принцип. Христианские идеалисты указывают этот принцип — в повиновении воле Бога (раскрытой Христом). Г-н Мережковский указывает этот принцип — в повиновении воле героя, осязаемого, живого «полубога». Но если можно представить себе общество, — основанное — как первые христиане — на любви (к Богу и человеку), то «общество», основанное на страхе есть в сущности орда, человеческое стадо, не более. Как ни презирает г-н Мережковский «тварь дрожащую», но она успела во многих местах выйти из состояния стада. Современной общественности еще далеко до «общества любящих», но она уже сложилась в «общество уважающих» друг друга, в чем и состоит начало большинства. Это начало всюду принято, где общество уже вышло из состояния стада, но еще не вошло в Царство Божие, где большинство голосов всегда «абсолютное». От скромного семейного до государственного совета, от волостного правления до сената, от собрания учителей любого училища до академий и факультетов, от артели рассыльных до всемирных съездов разных деятелей — всюду господствует принцип большинства и счета голосов. Наивно думать, как по-видимому думает г-н Мережковский, что этот ненавистный ему принцип есть новость в истории — «демократическая» новость. С доисторических времен, с тех пор, как установился общинный

строй, существовал *совет*, а совет невозможен без отображения голосов. Самые аристократические корпорации — дружины князей, боярские думы, судебные коллегии — не обходились без счета голосов. Военный совет, суд пэров, конклав, конгресс государей, вселенский собор — пусть г-н Мережковский укажет хоть одно собрание, не исключая столь любезных ему богов Олимпа, где бы *общий* вопрос решался без счета голосов, без узнания мнения «большинства». И никто не называл этих собраний «толпой» и «чернью» за то только, что они решают сообща. Отрицать большинство — значит отрицать не только демократию, но и такие аристократические установления, как церковь, «общество верующих», как нация, «общество единокровных» (так как и церковь, и нация есть *большинство* в отношении веры, языка, племени и т. п.). Для сведения г-на Мережковского замечу, что у нас коллегиальное начало с ненавистным ему счетом голосов введено обоготворяемым им Петром I.

Большинство, точно выраженное (для чего необходим счет), есть столько же признак черни, сколько аристократии. Толпа перестает быть бесформенною массой, чернью, только тогда, когда начинает выясняться большинство — только счет одинаковых признаков организует хаос людской в стройное общество. Не было бы счета, не было бы и аристократии; все элементы, лучшие и худшие, сливались бы в одну массу. Вне собраний и учреждений, в обществе, среди свободных профессий всегда идет непрерывный подсчет мнений, выдвигающий таланты на череду общественного внимания. Слава Пушкина, как и всякая иная, создалась именно разграничением его поклонников от непоклонников.

XVIII

Г-н Мережковский, говоря о Наполеоне, вместе с поэтами 30-х годов плачет над судьбой великого, павшего жертвой малых, над судьбой героя среди черни. Но именно Наполеон-то и опровергает г-на Мережковского. Наполеон унижен был не чернью, а союзными монархами Европы, т. е. аристократией по преимуществу. Чернь его вознесла на высоту, аристократия низвергла. Точно так же и Пушкин, прославившись преимущественно в средних кругах публики, пал жертвою аристократических интриг: «демократия» в его гибели неповинна. Если вспомнить судьбу героев — ложных, как Наполеон, Атилла, Цезарь и т. п., или истинных, как герои христианства, Сократ, Сенека, Гусс и т. п. увидим, что их губит не чернь, а современная аристократия. «Бес-

смысленный народ» обыкновенно стоит в стороне, а когда мысль героя проникает в его толпу, то народ высылает пророку лучшую свою кровь, благороднейших поклонников, которые, подняв знамя его, растоптанное «меньшинством» — фарисеями и первосвященниками, возносят его на мировую, всенародную высоту. Великое учение орошает и животворит сердце толпы, пока не сделается аристократическим, пока не попадает в заведывание замкнутой касты, и чем более эти касты, «аристократическое меньшинство», отгораживают истину от толпы, тем более истина мертвеет и превращает в ложь. История великих учений полна примерами их гибели не на площади, среди толпы, а в скиниях завета, палладиумах и храмах, воздвигнутых для их бережения. Напротив, дух истины часто сохранялся в сердцах «черни», или в отдельных, гонимых аристократией «сектах», или в народной массе, которая при первом же дуновении свободы обнаруживала понимание древней истины в ее первобытной чистоте.

Г-н Мережковский говорит, что со стороны пушкинского поэта было «слабостью» даже разговаривать с чернью. Но представьте себе, в самом деле, если бы все поэты и герои приняли бы этот совет. Пророки должны были бы бежать не к народу, а из народа; Будда, Сократ, Христос, и те же самые «Олимпийцы» Гете и Пушкин должны были бы обречь себя на одиночное заключение и не только не говорить, но даже не писать своих вещей (так как писание — тот же разговор, но с еще большими массами народа). Хорош был бы Прометей со своим огнем без человечества, или Моисей со скрижалями — без Израиля! Хорош был бы «поэт действия» Наполеон — без своей великой армии!

Преклоняясь пред героями вроде Наполеона без всякой критики, возводя их в герои только за внешний успех, закрывая глаза на их чудовищные недостатки, на их низость, г-н Мережковский поступает сам как представитель черни. Именно ведь чернь идеологизовала генерала Бонапарта и возвела его в герои. Именно толпа подхватила его «на щит» и вывела в полубоги. Но толпе простительно: она невежественна, ей виден лишь внешний блеск «героя», лишь его успехи, ему приписываемые, но достигнутые менее всего им. Для толпы невозможен критический взгляд на «героя», ей неизвестны настоящие замыслы героя, бесчисленные условия, из которых слагается настоящая, нелегendarная его жизнь. Толпа, возведя Наполеона в герои, пользуется им лишь как громким именем для цикла громких событий, как знаменем или символом их, и потому часто наделяет своего идола свойствами, каких тот и не имел. Но прилично ли писателю становиться

на эту точку зрения «черни»? Надо заметить, что и из черни-то могут разделить взгляды нашего просвещенного поэта разве лишь подонки ее, те отбросы, которые уважают в идоле только физическую силу, только способность ко злу. Масса же народная всегда обоготворяет «героя» не за силу, а за что-то божеское, благое, что желает видеть в этой силе.

ХІХ

Молодой поэт, столь высоко возносящий героя над толпою и отделяющий его от нее пропастью презренья, забыл из своей же поэзии урок, который один индусский пария, представитель черни, дал — и не только аристократу, а — самому Будде, когда тот на мгновение позволил себе рассуждать так, как г-н Мережковский. У меня нет под руками стихотворений г-на Мережковского, но расскажу одно из них сухою прозой. В пустынный храм с изваянием Будды зашли нищие, умирающие от голода. Один из них захотел взять драгоценный камень, украшавший чело идола. Но разгневанный бог отогнал несчастного своими громами. Тогда тот возопил: «Вседержитель! Ты не прав! — Мы умираем с голоду, а ты, обладатель мира, ты, учивший милосердию, жалеешь какого-то камня, чтобы нас насытить!» Божество устыдилось этой смелой речи и наклонилось до земли, чтобы дать возможность снять со своего чела алмаз.

Это прекрасное стихотворение — достойный ответ поэту в «Черни» и теперешнему г-ну Мережковскому. На гневное, надутое «подите прочь! какое дело...» и пр. следует кроткое: «ты не прав». Рассердиться-то, оттолкнуть-то от себя живое, страдающее существо, темное и бедное — нетрудно, — это не большой подвиг для полубога. Посулить «бичи, темницы, топоры», или подобно г-ну Мережковскому заметить: «Он погибнет. И пусть! Не он первый, не он последний» — все это, право, звучит не по-божески; это совсем не аристократизм, а нечто чернее черни. О, если бы грубые слова г-на Мережковского сказал бы не просвещенный поэт, а какой-нибудь дворник — ни на одно мгновение сам г-н Мережковский не усомнился бы, что они злы и бездушны, что в них говорит черное варварство дикаря. Ибо «бичи и топоры», или шествие героя «*по костям бесчисленных, малых*» считается варварством всюду, кроме Дагомеи и Афганистана. «Вседержитель, ты не прав!» И тем более не прав г-н Мережковский, который все-таки не Будда, при всем величии. Молния божественного разума озаряет часто и «ничтожного» парию, тогда

как полубог остается во тьме. То, что есть истинный аристократизм, искра чистейшего света, не есть сплошное состояние ничьей, даже самой великой души, не есть принадлежность какой-либо группы в обществе, хотя бы самой избранной. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», даже поэт, «небес избранник», может быть ничтожнее «детей ничтожных мира», т. е. и он тогда чернь. Но к «священной жертве» призваны бывают не только дети меньшинства, но и такие пролетарии, как древние пророки, апостолы и мудрецы. Дивным светом сверкают вершины гор, но искры того же света горят и в пылинках дольного инея.





В. РОЗАНОВ

Среди иноязычных (Д. С. Мережковский)

Не без внутреннего стеснения, и имея в виду лишь пользу *дела*, — я согласился на предложение г-на редактора «Н. Пути» дать в перепечатку настоящую статью свою, уже напечатанную в № 7—8 «Мира Искусства». По его специальным задачам и содержанию, последний журнал *вовсе не читается* нашим духовенством; между тем статья эта, будучи, конечно, обращена вообще к русскому обществу, в частности «просит рассудить» гг. духовных положение вещей, ход спора, силу тезисов, к ним обращенных Д. С. Мережковским. — «Несмотря на обилие речей г-на Мережковского, я не ясно понимаю» или «не понимаю вовсе, что он говорит», или «чего он хочет»: так заявляли не раз (напр., М. А. Новоселов) в *религиозно-философских собраниях*. Ну, вот как бы в ответ на эти недоумения, и перепечатывается эта статья в «*Нов. Пути*», который уже читается всеми участниками и гостями *религиозно-философских собраний*, да и вообще обильно читается духовенством.

В. Р.

Года три назад, на видном месте газет печаталось о трагическом происшествии, имевшем место в Петербурге. Англичанин со средствами и образованием, но не знавший русского языка, потерял адрес своей квартиры и в то же время не помнил направления улиц, по которым мог бы вернуться домой. Он заблудился в городе, проплутал до ночи; и как было чрезвычайно студеное время, то замерз, к жалости и удивлению газет, публики, родины и родных.

Судьба этого англичанина на стогнах Петербурга чрезвычайно напоминает судьбу тоже замерзающего, и на стогнах того же города, Д. С. Мережковского. Еще эту зимой я читал перевод восторженного к нему письма, написанного из... Австралии! Автор письма называл его самым для себя дорогим, ценным, глубокомысленным писателем из всей современной всемирной лите-

ратуры. Он писал это по поводу «Смерти богов» и «Воскресшие боги», — двух романов, только что переведенных на английский язык и как-то попавших в Мельбурн.

Помню, однажды, в сумерках вечера, попрощавшись с г-ном Мережковским на улице, я отыскал себе извозчика, и когда затем, нагнав его, идущего по тротуару, вторично ему поклонился, то с высоты пролетки следя за его сутуловатой, высохшею фигуркою, идущею небольшим и вдумчивым шагом, без торопливости и без замедления, «для здоровья и моциона», я подумал невольно: «так, именно *так*, — русские никогда не ходят! ни один!!» Впечатление чужестранного было до того сильно, физиологически сильно, что я, хотя и ничего не знал о его роде-племени — но не усомнился заключить, что так или иначе, в его жилах течет не чисто русская кровь. В ней есть несомненные западные примеси; а думая о его темах, о его интересах — невольно предполагаешь какие-то старокультурные примеси. Что-нибудь из Кракова или Варшавы, может быть из Праги, из Франции, через прабабушку или прадеда, может быть неведомо и для него самого, но в нем есть. И здесь лежит большая доля причины, почему он так туго прививается на родине, и так ходко, легко прививается на Западе. Сюда привходит одна из трогательнейших его особенностей. Что бы ему стоило, и без того уже почти «международному человеку» по образованию и темам, — всею силой души отдаться западной культуре, «отряся прах с ног» от своей родины, где он был столько раз осмеян и ни разу не был внимательно выслушан. Мало ли в России было эмигрантов из самых старых русских гнезд, часто оставлявших не только территорию отечества, но и его веру. Для Мережковского это было бы тем легче, что, воистину, он долгое время из всей России знал только Варшавскую жел. дорогу, по которой уезжал за границу, да еще одно-два дачных места около Петербурга, где отшельнически, без разъездов по сторонам, проживал лето. Когда я его впервые узнал лет семь назад, он и был таким международным воляшюком, без единой-то русской темки, без единой складочки русской души. У него был чисто отвлеченный, как у Меримэ, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой более конкретной и осязаемой связи с Россией не было. Заглавие его книжки «Вечные спутники», где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере — хорошо выражает его психологию, как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством. Он был

глубокий индивидуалист и субъективист, без всякого ведения и без всякой привязанности к глыбам человечества, народностям и царствам, верам, обособленным культурам. Ничего «обособленного» в нем самом не было; это был человек без всякой *собственности* в мире и это составило глубоко жалкую в нем черту, какую-то и грустную, и слабую; хотя в себе *сам* он ее и не замечал. Все потом совершилось непосредственно: сейчас я его знаю как человека, который ни в одном народе, кроме русского, не видит уже интереса, занимательности, содержания. У него есть чисто детский восторг к русскому «мужику», совершенно как у Степана Трофимовича (из «Бесов» Достоевского), где-то заблудившегося и читающего с книгоношею Евангелие мужикам. Год назад, собирая материалы для романа о Царевиче Алексее, он посетил знаменитые Керженские леса Семеновского уезда, Нижегородской губернии, — гнездо русского раскола. Невозможно передать всего энтузиазма, с которым он рассказывал и о крае этом, и о людях. Все звали его там «болярином». «Болярин» уселся на пне дерева, заговорил об «Апокалипсисе», излюбленной своей книге — и с первого же слова он уже был понятен мужикам. Столько лет не выслушиваемый в Петербурге, непонимаемый, он встретил в Керженских лесах слушание с затаенным дыханием, возражения и вопросы, которые повторяли только его собственные. Наконец-то, «игрок запойный» в символы, он нашел себе партнера. «Как же, белый конь! бледный всадник!! меч, исходящий из уст Христовых и поражающий мир!!! понимаем, без этого и веры нет! тут — суть!!». Можно сказать, народ упивался «болярином», который его слушал и разумел и даже вел дальше, говоря о каком-то «крылатом Иоанне Крестителе» (в некоторых древних русских церквах, напр., в Ярославле, есть изображения Иоанна Крестителя — с огромными крыльями), а «болярин» в свою очередь наконец-то, наконец нашел аудиторию, слушателей, друзей и паству! Прямо из Таормины (чудное местечко в Сицилии, с классическими остатками), попав на Керженец, он не нашел здесь разницы с собою в темах, духе, в настроении духа. «Что Запад, — там уже все изверилось: Россия — вот новая страна веры! Петербург, с его позитивизмом и общественными вопросами — это отрывок Запада: но коренная Россия, но эти бабы и мужики на Керженце, с их легендами, эти сосновые леса, где едешь-едешь и вдруг видишь иконку на дереве, как древнюю нимфу в лесах Эллады: эта Россия есть мир будущего, нового, воскресшего Христа, примирения нимф и окрыленного Иоанна, эллинизма и христианства, Христа и Диониса. Ницше был не прав, их разделяя и противопоставляя: возможно их объединение!!

Западные народы просмотрели Христа истинного, цельного, полного, усвоив в Нем только одну половину, аскетически-темную, но не увидев в Нем же стороны белой, воскресающей, оргийной, Дионисовой».

Здесь я теряю возможность следить дальше и излагать мысль Мережковского. Она ясна в своей заглавной теме, но непонятна и им самим, не высказана в своих *документальных* основаниях. Михайловский, в одной из критических статей о Мережковском, статей грубых и плоских, передает правильно от них *впечатление*: «в каждой строке автора бьется одна и та же, очевидно очень ценная мысль: но так и остается на степени скрытого пульса».

Я знаю Мережковского более, чем читатели, только знающие его печатные труды: но и я никогда не слышал и не знаю того «в высокой степени ценного, что бьется в каждой строке его последних произведений, а высказаться — не может». Не хочет ли он, не может ли высказаться, об этом мы не имеем средств судить. Но я не знаю другого литературного явления, чем «Д. С. Мережковский» (беру попен взамен «opera omnia»), которое бы так вразумительно и наглядно подводило нас к постижению другого, тоже никогда не разгаданного, огромного исторического явления. Я говорю о знаменитых и древних Элевзинских таинствах, — которым малые аналогии были и в разных других пунктах Греции, в Самооракии, на Крите, в Сицилии и пр. Это не были «таинства» эпической древности: Гомер ничего не знает о них. Итак, это было явление образованной Греции, явление греческого образования и фаза культуры. Кто-то, тогда-то их завел, начал, а имя «таинства» они получили не в том смысле, как мы теперь понимаем это слово: и что совершаемое и могущее быть совершенным одним священником. Наши таинства (все) совершаются на глазах всех людей, а чин (порядок) совершения таинства напечатан в каждом требнике, продающемся в каждой лавке. «Таинства» в Греции, напр., Элевсинские, буквально совпадали со своим именем и обозначали сокровенную, в безмолвии и темноте хранимую вещь (или действие), которая не открывалась никому, кроме членов содружного общества. Они одни, «посвященные», и знали это. Известно, что в истории чрезвычайно много разболтанных секретов, личных, кружковых и политических «тайн», которые стали явными. «Тайны Версальского двора» или личные тайны, напр., Казановы, давно рассказаны и напечатаны, хотя в ограниченном количестве экземпляров. Болтливость человеческая с одной стороны и любопытство человеческое с другой — желание узнать и желание похвастать: «а вот — я знаю, чего никто не знает», можно сказать, дало историкам как бы рентгеновские лучи

ранее Рентгена. Но было что-то особенное, специфическое в Элевзинских таинствах, в силу чего их никто не захотел рассказать, из посвященных в них тысяч людей, мудрецов, писателей, историков, риторов, поэтов, как, впрочем, и обыкновенных смертных! Очевидно, «Ἐλευσίνια» * не снаружи только носили имя «таинств», не по наречению от человек и условию между ними: но в самой сердцевине их в точности содержалось таинственное, как нераскрываемое. И таким образом охраняла их не скромность человеческая, но они сами неизглаголанной сущностью своею охранили свою сокрытость. «Тайны», настоящие, не мнимые, и пребывали в тайне, несмотря на всю слабость и любопытной, и болтливой человеческой природы. «Тайн» нельзя было раскрыть: не потому что страшно, не потому что стыдно, не потому что было запрещено: все эти три категории мотивов не оберегли же других в истории рассказанных «тайн», но оттого, что — *нельзя, невозможно!* «не изреченно»! И не только *рассказать* их было невозможно, но и передать, напр., в *рисунке*. Особенно ценится в науке одна ваза, изображающая, так сказать, «отпуск народа» или напутственное благословение *после таинств*, т. е. в момент, когда «тайны» уже нет, она прошла; когда нечего и видеть, и узнавать. Между тем, кто видел собрания древних vaz в Неаполе, в Риме, в Петербургском Эрмитаже — знает, что их так много сохранилось, как у нас глиняных горшков на горшечной ярмарке: мириады! И нет ни одного взмаха кисти безымянного художника, который хотя бы анонимно передал потомству исторический секрет! — Заметим для историков, что построение «Святого святых» равно в Скинии Моисеевой и в Соломоновом храме представляет наибольшую известную в истории аналогию этим «таинствам». За завесу его также никто не проникал, кроме первосвященника раз в год: но он там ничего не видел, ибо «Святое святых» не имело окон, ни дверей; а завесы его так заходили друг за друга, что ни единый луч света не мог туда проскользнуть. Во всяком случае закон сокровенности, как главный, равно выражен в эллинском секрете и в иудейской святыне. Что же это такое, само себя охраняющее в тайне? Рассказчиков этого мы не имеем, а рассказчиков о *действии* этого на «посвященных» есть несколько, и слова их еще увеличивают наше удивление. «Жизнь» для эллинов будет невыносима, если отнимутся у них священные мистерии, связующие человеческий род, — выразился проконсул Претекстат (записано у церк. ист. Зосимы, IV, 3). «Много прекрасного произвели Афины, но прекраснее всего эти

* Элевсинские празднества (*греч.*).

мистерии, возвысившие нас до истинной человечности», написал Цицерон («De legibus»*, II, 14). «Участие в этих таинствах освобождает душу от земных пут и возвращает ее к небесной родине. В энтузиазме, их сопровождающем, есть какое-то божеское вдохновение... Таинственный характер священнодействий возвышает благоговение к божественному, соответствуя Его природе, ускользящей от наших чувств; а музыка и другие искусства, во время их совершения, сближают нас также с божественным. Хорошо сказано, что человек особенно подобится богам, когда благодетельствует, но еще лучше сказать: когда блаженствует, т. е. радуется, празднует, философствует, предается музыке», сказал Страбон («География», X, 3). Казалось бы, как такого не рассказать? не дать человечеству явно и днем, устно и письменно, теперь и навсегда того, без чего «жизнь невыносима»?! Но «посвященные» промолчали: промолчали люди «с примиренною совестью и незапятнанною честью», каковые одни только допускались к «таинствам». Один немец написал обширное двухтомное исследование о них, озаглавив его именем одного исторически известного жреца этих таинств**. В исследовании этом собраны и критически расследованы все до малейшего известия и слухи о них: и оказались как одни, так и другие настолько сдержанными, что трудолюбивый немец пришел к «положительному и непререкаемому выводу», что в «таинствах» нечто *показывалось*, были *видения*: но каждый из зрителей («посвященных») толковал их по-своему, и не было никакой «тайной науки», «тайного знания», «тайного объяснения» их, которое давалось бы участвующим. Но у читателя его заключений невольно возникает вопрос: отчего же тогда «таинства» эти «суть лучшее в Греции» — неужели наиболее пластическое?! Но вот, во всяком случае, комбинация трех признаков: 1) увидеть можно; 2) рассказать нельзя; 3) а кто им причастился — стал ощущаемо ближе к Богу или «божественным вещам».

Я так подробно остановился на этом общеизвестном и обширного значения факте, чтобы показать, что в самом деле есть в мире... *истины ли, ценности ли*, которые никак не могут быть выявлены, *не выявляются сами по себе*, и вместе могут стать... скрытым пульсом жизни нашей, мыслей наших, нашей веры и самых страстных и прочных тезисов. В философии Декарта нет «таинств», у Бэкона нет «умолчаний», у Канта их нет тоже: но

* «О законах» (лат.).

** Лобек. *Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres*. Regiom, 1829.

ведь кто же не знает, что все эти философы, по крайней мере первый и последний, томилась тем, что они знают только феномены, тогда как суть вещей, даже исследуемых ими, от них скрыта, *хотя она есть*. В «тайнствах», кто бы их ни открыл и ни начал в Греции, в таинственном «вот закон (метод построения и освящения) жертвенника», «таков закон храма» у Иезекииля в видении, или в тайной мысли, с которою Моисей построил скинию, дав до последнего гвоздика ее *непременный* план: во всем этом проглядывает такое особое ведение, которого не было дано ни Канту, ни Декарту, не говоря об эмпириках. Но ведь в Греции *кто-то* начал (учредил) Элевзинские «сокровенности», человек смертный, человек обыкновенный: и в наше время, да всегда (как равно возможно, что и *никогда!*) может появиться человек, который набредет на подобное, если и не то же самое, открытие, и тогда непременно в отношении его почувствует то же, что древний грек: «этого нельзя *рассказать*», «это можно было бы только *показать!*», «но непременно одним *посвященным!*»! Когда читаешь десяток страниц за десятком у Мережковского, и наконец большие тяжелые его тома, и видишь усилия человека, страсть его, удрученность какою-то истиною, и вместе недосказанность, вас раздражающую, которая вырывает положительно крик: «да что же, что это такое наконец?!» — то невольно приходит на мысль, что у автора дело заключается именно в *показе*, а не *рассказе*: что книга давно уже кончилась, напрасно шуршат ее листья; но автор *боится ли, стесняется ли* перейти к какому-то действию. Да он почти это самое, почти этими самыми словами и говорит о себе, о своем времени, о задачах эпохи и человека. Но читатели и зрители молчат, ожидают. Вопрос, кажется, не в мудрости Мережковского, а в мужестве Мережковского; и томительное недоумение не длилось бы так долго, если бы сверх первого у него было и второе. Молчание так же может разразиться *смешным*, как и потрясающим. И вот опасение-то первого и удерживает его, может быть, от второго. «Нужно иметь мужество, чтобы пройти перед улицей нагишом: одного из тысячи после этого венчают. Аполлона венчали бы; но 999 из тысячи, но всякого смертного, но меня — побьют камнями, освищут, заплкуют». В самом деле — трагедия: иметь *секрет* мага, но не быть *магом*.

* * *

Вернемся от этих гаданий об его писаниях к тому, что есть в них обыкновенного и ясного. В разные эпохи и разные люди пытались *примирить* мир христианский и внехристианский, до-

христианский: через уменьшение *суровости* требований первого, через *обеление* некоторых сторон второго. «Я христианин, но люблю читать и *классиков*», «я *добрый католик*, но философия *Платона* меня трогает не меньше, чем *отцы церкви*. Некоторые *уступочки*; стирание всего *острого* равно в христианстве, как и в язычестве; вяленькое *благодущие* — вот, что всегда клалось фундаментом примирительных между христианством и язычеством построений. «Нагорная проповедь ведь не отрицает геометрии *Эвклида*, ни *Эвклид* — небесного учения нашего Спасителя» — так примиряли два мира, «*безнравственный и умный*» мир язычества и нравственный мир христианства. Отбросив некоторое «юродство» христиан, легко соединяли их религию с культурой языческой, выбросив из последней «*блестящие пороки*». Между тем явно, что если развились две культуры столь могущественно и самоуверенно, то, очевидно, каждая из них питалась некоторой *остротой* собственного запаха; что в «юродстве»-то и лежит корень обеих вещей, христианской и языческой: в «юродстве христианском», «юродстве языческом». Было и остается нечто весьма непереносимое для обыкновенного *третейского* суждения, и в христианине-затворнике-молчальнике — «питающемся акридами и медом». — «К чему эти *излишества!*» сказал бы о таком прохожий. Но в *излишествах-то* и суть дела: это лишь сконцентрированная форма того, что *разрознено* во всех христианах есть, было во всех христианских эпохах. И *непереносимы-то* для первых христиан были вовсе не *Эвклид* и геометрия, а совершенно другие специальные выразители специальных сторон античной жизни. Новизна и великое дело Мережковского заключалось в том, что он положил задачей соединить, слить *остроту* и остроту, острое в христианстве и острое в язычнике; обоих их «юродства». Открыть (перефразирую задачу так) в «величайшей добродетели» — «*соблазнительный порок*», а в «*соблазняющем пороке*» — «*величайшую добродетель*». Я заключаю в кавычках обычные штемпеля, привычные человеческие определения: ибо, очевидно, исполнись задача Мережковского, все в этой области стало бы так одно в отношении к другому, что к одной и той же вещи, поступку, приложимы сделались бы всякие имена. Открылся бы, так сказать, «пантеизм» единичных вещей: «сколько богов (и демонов) в каждой вещи!» Из этого содержания вещей нам, христианам, видна только одна часть, да и язычникам была видна часть же. Задача ведет уже не к вялому, через уступочки, а к *восторженному* признанию, к *утверждению* обоих миров; ведет к прозрению, как бы через прозрачный, сзади освещенный транспарант — уже в язычестве и его «таин-

ствах» («юродстве») — христианства, а в христианстве, при его раскрывшихся наконец тайнах — язычества. Оба мира имеют свой ноуменальный секрет, не рассказанный, не выведенный, «скрытый от мудрых мира сего» и тогдашнего: и секреты эти как бы в длани одного Господина. Здесь задача Мережковского и достигает своего апогея: найти в Христе (я не отвечаю за его задачу, а только принимаю на себя смелость формулировать ее) лицо древнего Диониса-Адониса (греческое и сирийское имя одного лица, мифического, «угадываемого»), в Адонисе-Дионисе древности прозреть черты Христа и, таким образом, персонально и религиозно слить оба мира, в отличие от слияний художественных, поэтических, философских, вообще *краевых* по метафизике и *вьялых* по темпераменту, как они делались до сих пор в истории.

В подтверждение своей мысли, конечно, Мережковский мог бы сослаться на то, какая вообще малая доля Евангелия получила себе историческую разработку и обработку. Возьмем притчу о десяти девах, ожидающих со светильниками жениха в полночь. Какая картина для пластических повторений, для поэтических воплощений, для размышлений моралиста и метафизика. Но вот мы наблюдаем, что тогда как притча о богатом и Лазаре выступила живописью на церковных стенах, создала вокруг себя легенды, дала начало множеству биографических, житейских копий, и служит опорой постоянных ссылок, постоянной аргументации у богословов, — эти самые богословы просто не имеют ни внутреннего пожелания, ни художественного искусства как-нибудь подступить к притче о Женихе и его десяти Невестах. Между тем притча эта изошла из уст Спасителя. Ведь Он не сказал же ее «только так». Невеста мыслилась именно как невеста, а не как манекен с накладными волосами и щеками из картона. Живое, жизнь, кровь и плоть, опущенные долу глаза и длинные таинственные ресницы, как покрывало Востока, их закутывавшее — все было в мысли Христа не как *poem*, а как *res viva* *. Мы имеем службы церковные, где священник изображает собою Христа; а движения его, слова, «выход большой и малый» знаменуют собою служение миру Спасителя. Что если бы в такое же церковно-драматическое движение, пусть однажды в год в воспоминание дивной притчи, была воплощена эта аллегория о десяти девах, сретающих в полуночи жениха? Мережковский несомненно может указать, что в таком литургийно-церковном воплощении дивной притчи мы получили бы как бы волос, пусть один, с голо-

* Живое дело (*лат.*).

вы Адониса, павший на нашу почву, да и прямо найденный среди наших евангельских сокровищ. Или предсмертное возлияние блудницею мира на ноги Спасителя в доме Симоновом и отирание ног Его волосами своими. Опять Мережковский может спросить: какое же это получило литургийное воплощение себе, как получило же подобное воплощение омовение Спасителем ног апостолов? Да и это самое омовение, и вся Тайная Вечеря протекала в ночи: между тем как у нас вкушение Тела и Крови Спасителя происходит (за позднюю обедней) в 12 часов дня, самую рациональную и будничную часть суток; и не «возлежа» вокруг Трапезы Господней, а стоя... точно перед зеркалом в присутственном месте. Словом, в мистике Евангельской, без сомнения, многое обойдено молчанием, не пошло в разработку. Мережковский может указать, что и до сих пор мы имеем в сущности то же сухое книжничество и фарисейство, но только не Ветхозаветное, а Новозаветное: как будто, под ударом укоров Христа, фарисеи и книжники, поговорив между собою, решили *согласиться* с Ним и пойти за Ним: и тем однажды и навсегда победить Его в *главном*; победить — и господство свое над Иерусалимом превратить в господство над миром, несокрушимое и вечное. Они стали *позади* Его, «как ученики», и изрекли: «гряди Ты вперед, мы — за Тобою». И все осталось после этого выверта в мире по-прежнему: все тот же перед нами Христос и книжники с фарисеями: ибо как Он оспаривал не *доктрину* фарисейскую, а *душу* фарисейскую, то соглашение с доктриною (учением) Христа их фарисейских душ в данном историческом моменте равнозначуще стало соглашению Христа с душою фарисейскою. Ибо подойдешь ли ты ко мне, или я к тебе, обнимешь ли ты меня, или я тебя: все равно — мы *одно* в объятии. «Ты дал нам ключи Царства Небесного», «Он дал нам власть вязать и решать», «нарекать одно — добром, а другое — злом», — услышал мир от старых формалистов, ритуалистов, постников и молитвенников.

* * *

Против всех этих указаний Мережковского было бы трудно спорить. Но, и согласившись, мы все же имеем в них слишком малое для его темы. Ему предстоит, очевидно, сделать то, что некогда сделал Толстой: тот выпустил Евангелие с *значительными пропусками* неудобного для него текста, и с *переменами перевода* некоторых речений Спасителя, чтобы указать в нем людям свое «Учение о смысле жизни». Мережковский, сколько мы знаем, имеет взгляд на Евангелие как на книгу, в которой

перемене или пропуску не подлежит «иота». Итак, ему предстоит выпустить Евангелие в окружении нового комментария: заметить, подчеркнуть и дать истолкование бесчисленным изречениям Спасителя и событиям в жизни Его, которые до сих пор или не попали на острие человеческого внимания, или истолковывались слишком по-детски, или, наконец, прямо перетолковывались во вкусе и методе старых фарисеев и книжников. Наконец, здесь очень много значит *тон, оживленность* перевода. Перевод св. Писания на *мертвый церковно-славянский язык*, можно сказать, определил уже изначала *мертвенное* его восприятие, *неживое* к нему отношение. Не забудем, что на языке этом нет и никогда не было ни одного поэтического произведения; ни одной песни, ни сказки, ни былины; что «Слово о полку Игореве» написано на древнерусском, а не на церковно-славянском языке; и, словом, что четыре Евангелиста восприняты были на языке, как бы нарочно приготовленном для изложения предметов величественных и сухих, не интересных, не «хватающих за сердце», а только «важных, серьезных» и «должностных», и мы пойдем, до чего от влияния самого языка перевода Евангелие представилось сознанию читавших его как некоторый «божественный» *Corpus juris* *, как вещание и завет «Судии мира» в потусветной тоге. Ни один цветочек не мог удержаться, *если он был* на ветви этого слова: но как в старом ящике, в котором везут из-за моря фрукты, эти фрукты опадают, оставляя ветви голыми, и, словом, все ссыхается, распадается и теряет свежесть и ароматичность, — так и Евангелие, кириллицей начертанное, не могло не распастись на «тексты» и в этом виде дать лишь неистощимый запас для разных споров и доказательств «книжнического» характера. Словом, как Евангелие «в издании» Толстого положило начало толстоизму как направлению религиозной мысли, как явлению церковной (или ех-церковной) жизни, так лишь Евангелие «в издании» Мережковского могло бы дать торжество его теме: примирению христианства и язычества в лице Единопоклоняемого, Общепоклоняемого Христа-Диониса. Без этого, до этого мы имеем попытки с весьма проблематическим исходом. «Дай вложить персты и *осязать*», отвечаем мы невольно на все уверения.

Впрочем, и как *попытка* — его усилие велико. «Икар, Икар, не приближайся к Солнцу», — много значит уже и услышать позади себя эти крики. Мы можем к попытке его подойти критически с другой стороны: со стороны *естественности и невольно-*

* законодательство (лат).

сти (исторической) его задачи. Здесь мы введем в рассмотрение его темы одного его антагониста, который первый дал, в публичных лекциях в Соляном городке, определение его тенденций. Это — молодой и пылкий, но недостаточно осмотрительный монах, переведенный недавно в Петербург из Казани и читающий в здешней Духовной Академии каноническое право. Он назвал проповедь Мережковского «дрянным учением»; его тенденции соединить Христа и Диониса — безнравственными, извращенными. Он остановился на определении Христа в известном стихотворении гр. Алекс. Толстого: «Грешница».

В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,

и, приведя его, *воскликнул*: «вот истинное и глубокое понимание Лица Христова и самой сущности христианства».

Примем этот тезис о. Михаила, бесспорно в то же время тезис всего исторического христианства, и посмотрим, до какой степени именно он и толкнул Мережковского к его специфической задаче как «единоспасительной». — «Господь мой и Бог мой», воскликнул невольно он, как бы уцепясь за ноги Распятого и Воскресшего, и защищая божество Его против отрицания в Нем божества со стороны таких людей, как о. Михаил. «*Вся Им быша и без Него ничто же бысть*»: вот определение Бога не только метафизическое, но и по Слову Божию. Полнота, *закругленность*, «богатство» Его входит даже в филологию слова «бог», «Бог». «Не пиши бог с маленькой буквы, как одно из простых нарицательных имен, а напиши Его большими буквами, как бы распространяющимися по всем вещам мира» — таков в сущности лозунг Мережковского. Его тенденция существенно *увеличительная, громадная, раздвигающая*: тогда как о. Михаил и все, «*иже до него и с ним*», век за веком все суживали Бога, расхищали Его богатства, соделывали Его бедным, неимущим, ничего почти не имеющим. Шаг за шагом теснили они Бога и вытеснили из мира, суживая владения Его, власть Его, дыхание Его — до затхлых коридоров каких-то «духовных» и департаментов, одной «духовной» канцелярии, и даже, наконец, одного «столоначальничества» в ней, как некоего специфического места богословского скряжничества. Вот уж «*соделали богов литых, по образу и подобию своему*», можно сказать об этих «духовных» Плюшкиных. Гр. А. Толстой, конечно, не был гениален, и, начертав:

В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,

не сказал ли этим, что «все восторженное и вдохновенное» на земле не от Христа и против Христа? Так что из собственных его стихотворений неудачные, «не вдохновенные», пожалуй, «от Христа и в христианском духе написаны», а вдохновенные, как

Колокольчики мои
Темно-голубые,

— все «от Велиара». Обмолвка Толстого, не умная, но удивительно отвечающая историческому положению вещей, как они сложились в мире, и объясняет, каким образом все талантливое и вдохновенное, наконец просто все *искреннее*, одно за другим отталкивалось от себя «подлинными христианами», и тем самым очутилось и сбилось в великий стан «анти-христианства», «внехристианства». Стан, победа которого предрешена уже просто тем, что в самое определение его входит: «талант, вдохновение, искренность», тогда как круг христианства определился условиями: «скудно, не вдохновенно». Ну, где же Тредьяковскому победить Пушкина, хотя он и был «действительный статский советник», а Пушкин какой-то регистратишко. У христианства и остались одни «чины», претензии, титулы; а все «богатство» Бога (см. филологию словопроизводства) очутилось собственностью людей без чинов, но с силами. «Диониса, Диониса сюда!» закричал Мережковский обо всем этом лагере: «таланта, вдохновения, и Того, из Коего по древним проистекает всякое в мире вдохновение, но не как собственность и мифическое изобретение древних, а как нашего подлинного, исторического Христа! Мы — христиане; но от Христа текут не только бедность и бездарность, худоумие и худородность, Он не принес на землю скряжничества: но *Им вся быша, и без Него ничтоже бысть*.

Вот и вся тема Мережковского в ее историческом обосновании.

«Скряжники» довели христианство до атеизма. Соделав «литого Христа, по образу и подобию своему» и плюшкинскому, они подвели христианство к краю пропасти, куда еще один прыжок — и ничего не останется. Мережковский, может быть, говоря иногда бестактные слова (впрочем, я их не знаю), спасает то самое судно, на котором наивно и благодушно плавает сам о. Михаил, не подозревающий, за неимением морских карт, его географического положения.

Власть Христа, «область Христова» уже сейчас лишь номинально, а не *эссенциально* (не «по существу») распространяется на такие области, как семейство, брак, единение полов, и далее — как наука и искусство, и, наконец — как весь технический и

материальный быт народов. Всмотримся во вздохи «бездарных»: они ведь сами вздыхают, прерывая вздохи скрежетанием зубным, зачем все это (семья, брак, искусство, наука, экономика) принадлежит им лишь платонически, по одному имени: «*искусство христианских народов*», «*семья у христианских народов*»; зачем везде они (скряжники) являются не подлинными обладателями, а лишь в качестве «имени прилагательного» около иных и единственно значущих имен существительных: «народ», «искусство». «Ах, *если бы* нам это все, но не платонически, а *эссенциально!*» — вот вздох богословов и богословия за много лет уже, за многие века. Мережковский со своим «Дионисом» и предлагает им все это невероятное богатство, предлагает *эссенциально*; но требует... Или, точнее, он ничего *сам и от себя и ради себя* не требует, а просто предлагает *самим христианам* разрешить почти математически-точную задачу:

- 1) кто хочет обладать кровью — должен быть сам *кровен*;
- 2) кто хочет обладать плотью — должен быть сам *плотянен*;
- 4) кто хочет обладать богатством — должен быть именно *богат*,
- 5) и *вдохновенен*,
- 6) и *обилен*,
- 7) богом и «Богом» быть: дабы стать Отцом и «главою» церкви обильной, «божественной».

И тогда — все пожелания богословов и богословия исполнятся. Бог — вечен и одно; но *сознание* Его «верующими» может быть различно: и вот *черты* этого-то сознания непременно сформируют *тип* или, *иначе*, «предикаты» религии-церкви. Если вся боль богословов свелась почти к воплю: «отчего мы не по *существу* владеем миром», то позади его лежит та ошибка их же, что вообще все *эссенциальное* они выпустили, враждебно вытолкнули из собственного представления «Бога» и прирав Его, как великое *Nomen*, образовали не *Religio*, а *номинализм* с религиозными претензиями.

Ну, хорошо: согласимся с о. Михаилом, что «ни восторга, ни вдохновения» религии не нужно; что, не содержась в исповедуемом Боге, они не содержатся и в исповедующей Его церкви. Отлично, мы успокоились. Но что же у нас осталось? Например, не осталось ли у нас пронырство, каверзничество, — добродетели холодные, качества ледяные, в которых непременно напутает «вдохновенный», а вот без вдохновения человек весьма далеко может пойти в практике этих душевных способностей или «немощей»? Да, принципиально они не исключены. Обратим внимание. Действительно, не найдется ни одной строки во всей не-

обозримой богословской христианской литературе за 2000 лет, «потворствующей разврату»; ну хоть бы пятистишие за 2000 лет:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени...

Ни одного такого или приблизительно подобного пятистишия в 390 томах in-folio «Patrologiae cursus completus» * Миня, который обнимает всю совокупность трудов древних писателей христианства. Ни цветочка. Ни лучика. Ни росинки. Была же причина, так радикально подсекая

Шепот, робкое дыханье.

Но сказать и исповедать, что так-таки нигде, ну хотя бы у Тертулиана или вообще кого-нибудь, из *западных* отцов (ибо о восточных мы не смеем говорить), не было решительно ни одного слова «пронырливого» и «каверзного» — этого сказать невозможно. Познаем истину из взаимных упреков. Ни один восточный апологет не упрекал западного богослова в «потворстве чувственности», в дифирамбах «робкому дыханью и вздохам»: до такой степени их действительно не было! А вот упреков в «пронырстве и каверзничестве» — сколько угодно. И значит, подлинно эти качества были! Были они в одной западной части христианского мира, и может быть не вовсе лишена их и другая. Не смеем здесь указывать, но вправе сослаться на о. Михаила. На магистерском диспуте в Казани, перед защитой диссертации он произнес речь: «Две системы отношений государства к церкви. Римское и Византийско-славянское понимание принципа отношений государства к церкви» (Казань, 1902). В ней изображены идеалистические течения Византийской истории, как они выразились в совместной работе государства и церкви. Государство имело самое возвышенное воззрение на церковь, и то *помогало ей силой* (школа Юстиниана Великого, партия, группировавшаяся около Св. Софии), то само, так сказать, сгибалось и мякло в руках людей церкви, отказываясь даже и для себя, в своих собственных недрах, от жестких и твердых форм юридического существования (партия, группировавшаяся около Св. Непорочности, т. е. Церкви Влахерны вместе со Студийскою обителью). В конце концов победило второе течение, наиболее идеалистическое, небес-

* «Полный курс патрологии» (лат.).

ное. И вот результат этого, т. е. результат того, что государство как бы передало в руки церкви, в лице ее самого кроткого и нежного, идеалистического течения, некоторые свои функции. «В последние дни Византии создан институт *вселенских судей*. Вселенские судьи, ведавшие важнейшие преступления граждан, были в большинстве священники. Они перед Евангелием давали обещание судить по правде и судили в обстановке, не похожей на суды мира сего. Суд часто происходил в церкви; на первом месте между книгами закона было Евангелие, и суд производился более по правде Христовой и апостольской, чем по институтам и пандектам. Имена Тита и Кая, которые так часто встречались в прежнем римском праве — заменены были здесь именами Петра и Павла» (с. 18). Так рассказывает о. Михаил одну половину дела и продолжает о другой: «Но сами вселенские судьи через несколько времени оказались под судом за лихоимство и неправые суды. Убийства, ослепления, кровь, казни и пытки — все это было кощунственным ослеплением Евангелия, хотя это Евангелие и заменило в судах свод законов» (с. 19). Так на двух страничках рядом изображает историк, канонист и монах царство «бедных» по принципу, «не вдохновенных» по обету, которым, за исключением горячих сторон души, остались холодные: корысть, коварство, хитроумие и хитросплетения.

«Нет оргийного начала в религии» (тезис о. Михаила): это значит только, что в ней оставлены одни холодные качества, между которыми из первых — дипломатия, казуистика, суд и администрация. На вопрос, почему так обильно эти качества привились повсюду к европейскому «духовному строю», отчего воловьи жилы повисли на арфе Давида, — и можно ответить почти восклицанием Мережковского: «нет и не было здесь бога вина и веселья, веселого и опьяняющего, который... чему-чему ни научил бы людей, но уж во всяком случае не научил бы их юриспруденции». Тут и входит струя «сладких соблазнов» (не в худом смысле), которые несомненно включены в природу Диониса-Адониса: она острым и горячим своим дыханием убивает то смертное начало в смертном человеке, которое помешало служителям Влахерны и Непорочности выполнить не то, что небесную свою задачу, но хотя бы соблюсти обыкновенную человеческую добросовестность. Вечен плач богословов: «почему *мы* не таковы, как наши *принципы*». Но потому и не «таковы» вы, что принципы ваши лишь *алгебраически*-прекрасны, а не *истинно*-прекрасны; что они хороши — если их написать; а для исполнения... они *сами* не дают силы, ибо не эссенциальны, а номинальны, не вдохновляют и, словом:

Восторга нет, ни вдохновенья.

Византия *оклеветала* те принципы, которые дают ей место в истории культурного самосознания человечества... Византийцы убили ту правду, которою жива была Византия, сами лишили себя света и разрушили грандиозное здание, какое создали. Учреждения, формы жизни приняли культурные начала Влахерны, *но не нашлось людей, чтобы вместить эти начала*. Сами вселенские судьи очутились «под судом за лихоимство» и т. д., и т. д. Так плачется автор. Все — «не по существу»; «только — форма», «шелуха и шелуха», «нет Диониса» — подводит итог этим «плачам» Мережковский*.

* Касательно этой статьи надлежит заметить следующее. Св. Евангелист Марк предварительному повествованию о Предтече Господнем Иоанне, приводя ветхозаветное пророческое место, говорит: *Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою* (Марк. 1, 2; ср. Малах. 3, 1). Здесь «Ангел» относится к Предтече Иоанну. Ангелы изображаются с крыльями, поему и св. Иоанн иногда изображается на иконе окрыленным в некоторых древних русских церквах. — Сопоставление в статье священных христианских имен с античными мифологическими «представлениями» следует понимать, конечно, не по существу, а лишь потенциально. Язычники *славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся* (Римл. 1, 23). Истинный Бог Иисус Христос неизменяем; всегда «новый», Он *и вчера, и сегодня, и вовеки Тот же* (Евр. 13, 8); в Нем *ей и аминь* (Откров. 22, 20). — У народов древних, дохристианских, данное еще в земном раю божественное обетование о Спасителе, Избавителе мира, истинные понятия о Боге Вышнем, с течением времени, по мере того как народы все более и более «отходили на страну далече», затемнялись, помрачались. Но Создатель «не забывал убогих Своих до конца» и, хотя отрицательным путем, Он руководил их к Небу. Конечно, у народов древности, «не имеющих закона», было представление неясное о спасительном Промысле Божиим. Указателем этого могут служить выражающие идею чего-то тяготеющего над ними слова «*моїра*», «*fatum*», «*fortuna*» и др. Ведь душа человеческая, по выражению древнехристианского церковного писателя Тертуллиана († в начале III ст. по Р. Хр.) есть «христианка»; и язычники, будучи *сами себе закон и по природе делающие законное* (Римл. 2, 14), временами обращали взоры в «превыспренняя». Отсюда и объясняется их духовное миробытие, их религиозные искаженные верования, мифология. Помраченные черты Искупителя-Христа, допустимо, могли отразиться в Адонисе—Дионисе—Вакхе древности. Но пришел в мир Спаситель Христос Иисус, рассеял тьму «людских невежествий». Совершилось величайшее в мире чудо, которого решительно никто не признать не может и пред которым совершенно бледнеет, как мираж, всякое дионисово начало. Простые рыбаки-

В другом месте («Психология таинств») тот же о. Михаил пишет о браке, что он свят и чист, насколько из него исключена страсть; то есть, опять же: «нет Диониса — будет добродетель». Но «добродетель» ди будет? не просчитался ли он как «психолог» таинств, просчитавшись как историк и канонист? Несколько лет назад печатался рассказ: уже подходившей к пристани пароход (на Волге) вспыхнул пожаром, и сгорел — как куча стружек. На нем обгорела жена одного художника, ехавшая с детьми. Она выскочила на пристань, едва подошли к ней — и *спряталась за поленницами дров*, обычно заготавливаемыми на берегу для пароходов. Когда ее там нашли, она закричала: «не приводите сюда детей — они испугаются», т. е. при виде обгоревшей матери. Несчастливая, но и прекраснейшая из женщин, чуднейшая из тварей Божиих. До того она насыщена была заботою о детях, что всего за несколько часов до смерти (она скоро скончалась от ожогов) думала: как бы они не *испугались* изуродованного огнем вида матери. Это уже не «судьи Влахерны». Но откуда взялась эта необыкновенная и, смею сказать, неслыханная любовь к ближнему, к другому человеческому существу? Да из того, что

апостолы привели ко Христу эллинских мудрецов и всю эллинскую мудрость и «буйством Евангельской проповеди» покорили «все концы вселенные». *Когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Немудрое Божие премудрее человеков и неможное Божее сильнее человеков.* (1 Коринф. 1, 21, 25). — Конечно, в христианстве нет струи «сладких соблазнов», входящих в природу Диониса. Христианская религия есть особенная религия — богооткровенная, принесенная с Неба. В ней есть спасительная благодать, *немогущая врачующи и оскудевающая восполняющи*. Она первая идет навстречу каждому человеку, желающему с верою принять ее. Как *Пиво новое*, Божественная благодать нравственно смягчает человека и постепенно возрождает его для жизни духовной: *Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа* (Иоанн. 3, 8). Христианский Бог есть *Любовь* (1 Иоанн. 4, 8), и принципы христианской религии — *истинно-прекрасны*. «Законы — святы», но исполнители их не всегда на подобающей высоте. — Притча о богатом и Лазаре одною своею стороною — богатством и бедностью — ударяет по самому жизненному нерву, касается области социальной; притча же о десяти девах первее всего выражает момент эсхатологический, более или менее далекий от внимания члена Церкви. Этим и можно объяснить распространенность первой названной притчи и в меньшей степени жизненное развитие второй. К притче о десяти девах приурочена церковная песнь: *Се, жених грядет в полунощи...* — *Примечание архимандрита Мефодия.*

это «иное человеческое существо» было из ее *крови* и сотворено было в ее *недрах*, — о чем всем один единомышленник о. Михаила, М. А. Новоселов, выразился, критикуя Мережковского же:

«Их конец — погибель, их Бог — *чрево* (его курсивы) и *слава их в сраме*: они мыслят о земном» («Нов. Путь», июль, с. 277).

Так вот как именуются эти недра, дающие такую неслыханную любовь. Но, озирая неудачи Византии, хотя бы в цитатах из о. Михаила, не вправе ли был бы Мережковский перефразировать:

«Ваш конец — гибель, ибо ваш бог — *Номен*, и слава ваша в лжесловесничестве: ибо вы мыслите о воздушном и химерическом».

Да, эта мать, сгоравшая, не ознакомленная с «психологией тайнств» по о. Михаилу, некогда просидела лунную ночь, не хуже фетовской:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья...

В юном художнике, потом ее муже, она увидела «Адониса», точь-в-точь его: сквозь черты, обыкновенные, человеческие, ни для кого, кроме ее, не интересные, она прозрела «бога», «ангела»:

И лобзания, и слезы...
И заря! заря!

И сокровенное для всего мира, для отца и матери, подруг и даже детей, она раскрыла для него, как *единого и исключительного* во вселенной существа; раскрылась — и зачала, и понесла; а потом умерла с испугом: «как бы они все не *обеспокоились* — видя меня болеющей и умирающей».

Так вот почему «муж и жена — одно», а не по предписанию «судий Влахерна»; и отчего это святое соединение — «тайнство», а вовсе не по определению, вышедшему из того же судилища. Не слова святы, а вещи. «Исключите страсть — и будет добродетель!» — учат человечество аскеты. Так ли это? «Трелей соловья» не заслушивался Домби-отец, когда зачинал Домби-сына, как бы прочитав из о. Михаила эти тезисы:

«Муж и жена сходятся всегда и обязательно в целях созидания новой жизни в детях».

«Ребенок и любовь к нему, хотя бы будущему, есть с самого начала несознанная причина связи между супругами, которая соединяет двоих в плоть едину».

«Мысль о ребенке необходимо предносится мужу и жене в их отношениях, — конечно, если этот брак не для похоти».

«По требованию церкви, для брака нужно святое бесстрастное настроение как *conditio sine qua non* *. Для того, чтобы брак был свят и ложе не скверно, чтобы от страстного не родилось страстное, человек должен победить свою страстность, похоть, даже в момент зачатия ребенка, — более всего в этот момент» («Нов. Путь», июнь, с. 252 и 253).

Вся Европа плакала, читая, как рожденный приблизительно по таким предписаниям Домби-сын хирел. Чудными глазками смотрел он на пылающий огонь камина, и чах — неудержимо, как этот огонь, по мере перегорания в нем угольев. Без болезней и боли, он умер — как многие дети, как вообще дети, бесстрастно (без «Адониса») зачинаемые. А общества европейские, без согласования с принципами Влахерны, назвали откровенно Домби-батюшку негодяем, а такой брак, в целях поддержания фирмы «Домби и Сын» заключаемый, называют «браком корысти», «браком-гадостью», «браком, как обманом и жестокостью». О. Михаил никогда не имел детей. Он не имел дочери, и не может вовсе представить ужаса и отвращения родителей при открытии, что с выходом замуж их дитя получило лишь производителя-Домби для производства Домби-сына, имеющего поддержать знаменитую фирму; или, как формулирует о. Михаил:

«Цель брака — будущие люди, дети. Вступая в брак, им передоверяет человек дело служения Церкви, в лице их он хочет дать жизни лучшего слугу, чем сам» (*ibid.*, с. 250).

Благочестивые пожелания. Но слабость их в том, что целый час и наконец вечер предаваясь таковым размышлениям, никак не почувствуешь того специального в себе движения, волнения, которое и «прилепило бы мужа к жене», до плоти единой, между тем как это может сделать единая соловьиная трель, прорвавшаяся в оставленное незакрытым окно.

Бедный Филиппов, издатель «Научного Обозрения» и магистр каких-то наук, погиб, начав производить опасные опыты, основанные на совершенно глупой и очевидно неверной мысли Бокля: «Усовершенствование орудий войны сокращает войну». Сравнить только войны Наполеона с войнами Фридриха Великого, а эти последние — с рыцарскими ломаниями копий. Но Бокль написал «*History of civilization*» **, с мириадами цитат, и напечатал в Лондоне: достаточная причина, чтобы петербургскому магистру наук сойти с ума от восхищения, покорности и всяческих

* Необходимое условие (*лат.*).

** «История цивилизации» (*англ.*).

рабских чувств к заморской мысли, которая в самой Англии никого не заинтересовала. «Никто не бывает пророком в отечестве». Жалкая смерть «магистра наук» заинтересовала прессу, хотя бы легким интересом дня, и если никто при жизни не знал, кто и что Филиппов, все узнали о нем по крайней мере после смерти и по поводу смерти. Так вихрь улицы несет всякий сор, какой на ту пору будет выброшен из окна. И вот этот-то «вихрь улицы» более всего и мешает «восстанию пророков в отечестве»: он поднимает легкое и носит-носит его, показывая глазам зевак; а тяжеловесное камнем падает на землю, непосильное крыльям воздушной стихии. И прохожие топчут ценность, в тоже время любуясь красной тряпкой или разноцветным перышком, носимым туда и сюда. Бэкон на этом построил свою гипотезу, конечно ошибочную, что от древних литератур, греческой и римской, до нашего времени дошло только малоценное, а все тяжеловесное забывалось и исчезло без возврата. Из греков и из римлян выбирали избранные умы: Свиды, Фотий, Августин; выбирали из них и хранили избранное тихие, созерцательные времена. «Вихря улицы» еще тогда не образовалось. Но вот он настал в Европе, понес легкое: и подите-ка, переборите его! Так же трудно, как повелеть: «стой, солнце, не движься луна». Победить ветер может только ветер же: нужно возникнуть чему-нибудь тоже легкому, но легкому, так сказать, обратного смысла, дабы овладеть вниманием улицы, перенести его на другие предметы, к другим горизонтам. Но качества «легкости» останутся, т. е. главный враг серьезного. Это — то же, что «фарисейство», о котором выше мы объясняли, как оно победило Христа. Однажды и навсегда фарисейство и «легкость» победили искренность и серьезность, и как одно убило религию, вообще всякую на земле религию, так второе на наших глазах убивает литературу, и трудно предвидеть, как далеко пойдет омертвление последней.

Мережковский попал именно в полосу этого омертвления, особенно быстрой и сильной фазы его, по крайней мере у нас. Можно представить себе, как принята была бы его мысль в пору Герцена, Грановского, Белинского. Бедные, ведь они все питались, до ниточки, западною мыслью: туземная почва не рождала ничего, кроме альманахов и «альманашников». Вся русская мельница 40-х годов молола привозную муку: молола превосходно, с энтузиазмом и добросовестностью. И выходил хлеб, достаточный для туземного прокормления. Можно представить себе, как заработала бы мысль Герцена, Грановского, Белинского, если бы ей представилось это особенное сцепление тезисов, сделанное Мережковским, где мир древний и новый становятся один к

другому в совершенно новое отношение, еще ни разу не показанное в истории. Теперь... только староверы на Керженце, да еще о. Михаил и «Миссионерское обозрение» внимают нашему литератору. «*Ни Христос, ни Дионис*» — отвечает согласно ему литература на его призыв «и Христос, и Дионис». Вот связь таинственная, в пользу Мережковского: на Керженце или страницах «Миссионерского обозрения» все же чувствуют вопрос о Дионисе, именно потому, что там не умер и Христос. В его *зерне* античный мир разгадываем только через призму христианства. Лишь через Христа и веру в Него мы можем прийти и до постижения... «Элевзинских таинств». Там, где умер Христос и христианство, окончательно, неживимо, — не могут воскреснуть и Адонис, и адонисово. Исчез самый вкус к этому. Мы не всегда замечаем, что, напр., проблема пола, страсти, брака, — так или иначе все же воспринимается духовными писателями, и притом одними ими во всей литературе: вне их круга, т. е. вне круга религии, христианства, вопрос этот никак, вовсе не воспринимается, нет ни малейшего и ни у кого чувства к нему, органа соответственного обоняния. Это показывает, что, хотя (тезис о. Михаила) христианство и «убило оргийное в человеке начало», однако само оно еще полно запахом убитого. Немного времени пройдет, улетучится окончательно этот запах, и поле победы покроется тою мглой, косной и холодной, из которой уже сейчас несется крик: «*ни Диониса, ни Христа*, а давайте нам анекдоты о Филиппове, как он делал опыты и умер, вычитав какую-то из Бокля глупость». Я хочу сказать, что Мережковский прав в той части своих утверждений, где он говорит, что окончательная победа Христа, как Он до сих пор понимался и понимается, каким-то образом ведет к исчезновению и Самого Христа. Сперва — Голгофа, потом — один Крест, и наконец — пустыня, в которой ни Креста, ни Голгофы, *ничего*.

Вот в эту-то пустыню «после Христа» и врезывается его проповедь, никого не пробуждая к вниманию. От нее больно духовенству: и отсюда слышатся на него окрики. Но вне духовенства решительно никому не больно от нее, как и не сладко от нее. И Мережковский, со всем богатством совершенно новых тем — тем, наконец, житейски важных, ибо они или *рушат*, или *преобразовывают*, но ничего не оставляют в прежнем виде — являет сам вид того жалкого англичанина, который года три назад замерз на улицах Петербурга, не будучи в силах объяснить, *кто он, откуда* и чего ему нужно.





В. РОЗАНОВ

Трагическое остроумие

Безо всякого намерения быть остроумным, поэт Блок невольно сострил; и верно оттого, что самое дело, о котором он пишет, заключает остроумие внутри себя, остроумно само по себе... В статье с приглашающим заглавием: «Мережковский», он пишет: «Открыв или перелистав его книги, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. “Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос”, — положительно, нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной, что она все заслоняет, на все бросает крестообразную тень, точно вывеска “Какао” или “Угрин” на Загородном, и без нее мертвом поле, над холодными волнами Финского залива, без нее мертвого».

Подвернулось же сравнение поэту и другу... Именно, как «Какао» и «Угрин» тычутся вам в глаза, когда вы подъезжаете к городу отнюдь не затем, чтобы напиться там какао, а за чем-то нужным, дельным, важным, наконец, тревожным, и оно никому не нужно, кроме торгующего ими, — так точно и Мережковский поступает с религиею, страшно ее понижая, страшно от нее отталкивая. Своим невольно удачным сравнением (дело за себя говорит) Блок чрезвычайно много разъяснил и сделал почти излишним тот комментарий, о каком просит поднявшееся вокруг Мережковского недоумение. Именно, как «Угрин», «Какао», «Угрин», «Какао», чередуются священные имена... Гадко, невыносимо.

Забыл он древнее: «имени Господа Бога твоего не произноси всуе»... Забыл и другое: что страшное Имя никогда даже и не писалось народом, знавшим *вкус* в этих вещах. Позволяю употребить грубое слово: «вкус». Да, есть *вкус* и к религии, к религиозным вещам; не эстетический вкус, а другой, высший и соответственный. Можно быть глубоко *безвкусным* человеком в религии, хло-

поча вечно о религии, не спуская ее с языка. Ведь не таковы ли ханжи и все ханжество? На совершенно противоположном полюсе с ханжеством, в другом совершенно роде, но Мережковский есть также *религиозно-безвкусный* человек, и, придя к этой мысли, начинаешь почти все разгадывать в нем.

Да... Буквы огромные, слова всегда громкие: но кроме слов, букв, *видности* — и нет ничего.

Бог — в тайне. Разве не сказано было сто раз, что Он — в тайне? Между тем Мережковский вечно тащит Его к свету, именно как вот рекламы — напоказ, на вывеску, чтобы все читали, видели, знали, помнили, как таблицу умножения или как ученик высекшую его розгу. Что за дикие усилия! «Бог в тайне»: иначе Его нельзя. Не наблюдали ли вы, что во всем мире разлита эта нежная и глубокая застенчивость, стыдливость, утаивание себя, — что уходит, как в средоточие их всех, в «неизреченные тайны Божия» и, наконец, в существо «Неисповедимого Лица»? От этого все глубокие вещи мира не выпячиваются, а затеняются, куда-то уходят от глаза, не указывают на себя, не говорят о себе. *По этим качествам* мы даже оцениваем достоинство человека. Но это — качество не моральное, а космологическое, хотя оно простирается и в мораль, властвуя над нею. Мне прямо не хотелось бы жить в таком *плоском* мире, где вещи были бы лишены этой главной прелести своей, что они *не хотят* быть *видимы*, что они вечно *уходят, скрываются*. Это во всей природе. Брильянты и все драгоценные вещи глубоко скрыты внутри каменной твердыни гор, и без науки, без искусства, без труда, работы — недостижимы, как фараоны, уснувшие в пирамидах. Вот пример этой тайны мира: она начинается в камнях, а оканчивается в человеке, который творит поэзию и мудрость в глубоком *удинении*, в *одиночестве*, точно *спрятавшись*, никогда не на глазах другого, хотя бы самого близкого человека: «Нужно быть *одному*», — тогда выходит святое, лучезарное, чистое, целомудренное! Но в человеке это еще не кончено: есть Бог, которого «нигде же никто видел», как говорится в книгах. Бог как бы впитал в себя всю мировую застенчивость и ушел в окончательную непроницаемость. Вспомним закон устройства Святого Святых, где было Его присутствие. Вечная тьма там. Никому нельзя входить. Вот — закон. Да, «закон Божий» — застенчивость. Без нее тошно жить, без нее невозможно жить. Цена человека сохраняется, пока он «не потерял стыд», т. е. вот затененности поступков и лица, скромности, вуалированности всего около себя и в себе... Как будто все скрыто под вуалью: ест, действует, но — невидимо. Это и в быте, это и в лице. «Падение» начинается с «наглас-

ти», со сбрасывания одежд — не физических, а вот этих бытовых, личных, психологических...

Что же такое делает Мережковский со своими вывесочными криками? Он как бы арестует Бога и требует от Него отречения от извечной сущности Его — скрытности, тайны... Не безнаказанно г-н Мережковский столько времени возился с «белыми дьяволицами» (в романе «Леонардо-да-Винчи») да с Юлианом Отверженным. Конечно, он теперь совсем на других путях. Но прием мысли, но испорченность привычек осталась, и он как бы просит Бога «раздеться и показаться». Так выходит. Иначе нельзя понять его «Угри-Какао-Бог». Соглашаюсь, что это безвинно, ненароком, «так вышло», но признаю, что все-таки отвратительно и несносно.

Кто не знает особенным таинственным постижением *ночи* — не может постигнуть или приблизиться к постижению и существа Божия. И кто, как бы вкогтившись глазом в звездную глубину, не забывал вовсе о земле, до *недоверия к ее существованию*, — тот не знает ни молитв, ни алтарей, сколько бы ни стоял перед медными алтарями. Это уже почувствовали греки, у которых «элеусинские таинства» происходили ночью; те таинства, в которых что-то, доселе неизвестное, открывалось во Боге. С таким же инстинктом у нас все службы церковные приноровлены не ко дню: поздняя обедня — в снисхождение лености богатых верующих. Но *настоящая обедня* — рано утром; заутреня, и всенощная — или *до* света, или *после* света. Все подобно тому ландышу, который у Лермонтова «из-под куста таинственно кивает головой»... У ночи совсем другая *душа*, чем у дня, у которого душа суетная, мелочная, заботливая, трезвая, позитивная. Огюст Конт родился днем и сам будто никогда не видел ночи. Точно так вот и наш ученый и все-начитанный Д. С. Мережковский точно родился днем и закрывает глаза к вечеру, а открывает их, когда уже совсем рассвело. К числу магически-позитивных особенностей его относится то, что неодолимая дремота одолевает его в 11¹/₂ час. ночи; и в 12, когда начинаются «чудеса», — он непременно спит, как младенец. Такого *трезвого* и *аккуратного* писателя я еще не встречал. Несмотря на вражду к позитивизму, чисто словесную, на вражду как пьяницы к погубившему его вину, он на самом деле весь позитивен, трезв, не опьянен, не задурманен, не заражен никакими чарами. Темноты в его книгах много, но это просто путаница мысли. В его книгах нет ночи, а от этого нет и тайны Божией. Сумрака много, но это просто — чердак, куда не пробивается дневной свет от плохого устройства, а не оттого, чтобы чердак имел какое-нибудь родство с ночью. И уж если сде-

лать экскурсию к давно-прошлому Мережковскому, — то на этом чердаке и всегда-то водились одни мыши, а отнюдь не «интересные» демоны.

Все это страшно грустно. Он так много читал... Так много учился, знает... Все обещало в дальнейшем хотя и трезвую, позитивную, немного мещанскую работу, однако отличного ученого. На Руси их так мало! Никто не умеет так хорошо *сопоставлять* и *критиковать* идеи; таким *верным глазом* оценивать недостаточность какой-нибудь идеи для того-то и того-то или способность идеи к тому-то и тому-то; так разбирать *источники* идей; *исходные* пункты грядущих умственных и нравственных переворотов. Я говорю, может быть, не ясно, но в *подробностях* знаю и видел эту превосходную способность Мережковского. Но он — не пророк, *именно* не пророк. Он ученый, мыслитель, писатель, и только. Мне все это печально говорить, ибо дружба, как и вражда, имеет в себе что-то, уже никогда не улегчивающееся: в долгие годы дружбы мне были видны такие стороны его, которые пробуждали к нему если не любовь (как к абсолютно холодному человеку) и не уважение (ибо у него всегда была путаница и «Угрин»), то что-то, заменяющее вполне их и им равноценное. В нем есть человеческие качества в таком особенном оттенке и сочетании, как мне не приходилось встречать в других людях, — и от этих качеств его и не любишь, и не уважаешь, а привязан; находишь смешным, бессильным, неудачным, и ценишь и уважаешь гораздо более, чем удачных и счастливых людей. В нем есть стиль, какая-то своя порода. Эту холодную блестящую вещицу кладешь в особенное место той внутренней сокровищницы, какая есть у каждого и куда каждый складывает все лучшее... Но... Мережковский сам себе изменил, сам себя предал, сам от себя отказался: в каком-то новом обольщении он решил привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч. и проч., слив политику и Евангелие, и притом просто то Евангелие от Матфея, Марка и Луки, какое читает церковь, с учением Карла Маркса из Берлина, без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем Христе и Третьем Завете. Здесь я должен определенно назвать тот важнейший мотив, который побуждает меня сказать, что «Мережковский отрекся от себя»: именно он мне сказал, что находится теперь совсем в других мыслях, нежели прежде, что я, должно быть, не читал его последних книг, а если бы читал, то знал бы, что ни о каком грядущем Мессии теперь он не думает, ни о каком Третьем Завете. Когда же я изумился и спросил: «Как же он раньше об этом говорил», то он ответил: «Это было так, слова!» позволю себе этот единственный и последний раз сказать

нечто из личных бесед, во-первых, по крайней важности этого для всех, кто заинтересован его проповедью, во-вторых, потому что это будто бы (чему я не верю) уже сказано где-то у него в книгах (вероятно, в намеках), и, наконец, оттого, что однажды в «Русской Мысли» он допустил изложить в целом диалоге мой очень ответственный разговор с ним, который, вероятно, был, хотя я его и не помню. Так что я не нарушаю «стыдливости бесед» более, чем он это сделал. Когда же он о всем «прежнем Мережковском» выразился, что это были «одни слова», мне осталось подумать или повторить за Блоком:

— Э, и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него — есть только огромный забор среди пустыни, где сажеными буквами для всемирного прочтения начертано одно:

Д. С. Мережковский

Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый далекий уголок сердца, хоть все же капризно грустящего.





Л. ШЕСТОВ

Власть идей

(Д. Мережковский. Л. Толстой и Достоевский. Т. II)

De la musique avant toute chose...
.....
Et tout le reste est littérature*.

Paul Verlaine.

I

Мне уже пришлось однажды говорить с читателями «Мира Искусства» о книге Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» по поводу 1-го тома этого сочинения, вышедшего в 1901 году отдельным изданием**. Между прочим, указывая как на недостаток работы на слишком резко выраженное стремление автора к синтетическому объединению добытого им у Достоевского и Толстого психологического материала, я заметил: «Впрочем, у меня осталось впечатление, что и для самого г-на Мережковского синтез имеет только внешне-объединяющее, формальное значение и принят им лишь для литературных целей, так что я советую читателю: по прочтении книги больше размышлять об ее материальном содержании, чем о формальной цельности».

Я и сейчас продолжаю думать, что общая идея, последний синтез имеет в книге только формальное, литературное значение. Когда-то мне пришлось прочесть известную сказку о том, как солдат сварил щи из топора. Беднягу определили на постой в деревне к очень скупой бабе, которая ничего, кроме черствого хле-

* О музыке прежде всего... а все остальное — литература (*фр.*).

** См.: Мир Искусства. 1901. № 8—9.

ба, не давала своему жильцу. Ни просьбы, ни убеждения не помогали. Тогда солдат пустился на хитрость — предложил изготовить отличные щи из обыкновенного топора. Хозяйку эта идея очень прельстила. Затопили печь, налили в горшок воды, положили в воду топор и стали ждать. Когда вода закипела, солдат сказал, что совсем были бы хороши щи из топора, кабы прибавить кусочек мяса. Заинтригованная хозяйка, забыв скупость, пошла в погреб и принесла мяса. Потом, под тем же предложением, солдат спросил капусты, сала, соли и т. д. В конце концов щи вышли превосходны, и хозяйка, вместе с жильцом, поужинали на славу. Что же до топора, то он, разумеется, не «доварился», и солдат обещал его доварить с другой раз.

На мой взгляд, общая идея всегда играет в книге ту же роль, что и топор в щах солдата. Сколько ни возись с ней, она так и останется недодваренной. И главное — книга от того несколько не страдает: были бы только в ней все остальные элементы, из которых составляется духовная пища человека.

Когда я читал первый том книги «Л. Толстой и Достоевский», мне казалось, как я и высказал тогда, что г-н Мережковский и сам не придает большой цены синтезу. И в этом смысле второй том этого сочинения явился для меня совершенной неожиданностью. Правда, я позволяю себе думать, что в значительной степени он явился неожиданностью и для самого автора: мне представляется, что в то время, как он начал писать свой труд, он — «даль свободного романа сквозь магический кристалл еще не ясно различал». Может быть, он даже и не предвидел, что задумает выпустить огромный отдельный том под заглавием «Религия Л. Толстого и Достоевского». Пожалуй, ему тогда, как мне теперь, казалось, что на такую тему и писать нельзя, не нарушив великой 3-ей заповеди — нельзя, по крайней мере, светскому человеку, не искушенному в богословских тонкостях. Говорить на пространстве 600 страниц большого формата о религии — т. е. о Боге — кто из нас может быть настолько уверен в себе, чтоб не бояться соблазна суесловия?! А ведь нет большего греха, чем упоминать всуе имя Господа!

И в самом деле, нарушение 3-ей заповеди привело г-на Мережковского к дурным последствиям. Человек, весь пропитанный современными идеями, поэт, романист, критик — по своему призванию, он попытался в новой для него области применить те приемы и следования, которые приняты в науке и литературе. До сих пор он занимался научными и литературными вопросами, теперь он, по его собственным словам, стал «заниматься вопросами религиозными». Уже самое выражение это «занимать-

ся религиозными вопросами» — выражение, в последнее время ставшее входить в употребление — (я его у г-на Минского в «философских разговорах» встретил и еще кое-где) заключает в себе большое недоразумение. Религиозных «вопросов» нет и быть не может, и «заниматься» тут нечем. Существуют вопросы политико-экономические, социальные, если угодно — даже теологические, и на Западе поэтому развились соответствующие дисциплины, которые постепенно переносились и на русскую почву и даже в некоторой степени акклиматизировались у нас. Но религия — это не дисциплина и не наука, и всякая попытка приравнять ее к какой бы то ни было области человеческого знания должна считаться по существу своему незаконной и встретить потому надлежащий отпор. Мне кажется, что отчасти и сам г-н Мережковский предчувствовал это — и отсюда у него такое невероятное количество совсем не идущих к светской книге богословских выражений, для которых он, по возможности, даже сохраняет особенности их традиционного правописания (стыдно признаться — но грех утаить: я совсем было позабыл о существовании в русском алфавите прописной ижицы, так что, встретив ее в книге г-на Мережковского, не сразу распознал, в чем дело, и принял было ее за римское пять). Но этим приемом он скорее испортил, чем исправил дело. Ему представилось, что, произнося часто святые слова, он уже этим самым в достаточной степени воздает Божье — Богу, и что, следовательно, ему разрешается без всякого стеснения воздавать кесарю — кесарево. Вся огромная книга целиком почти посвящена доказательству той «философской» идеи, что в мире существует некое единство, которое — не знаю, как уже правильной выразиться — не то представляет собой религию, не то должно заменить ее. Ни одна из форм существующих и существовавших религий не удовлетворяет г-на Мережковского. Даже исторические формы христианства кажутся ему в высокой степени несовершенными, и он стремится к отысканию какой-то новой формы. История человечества представляется ему одним непрерывным стремлением к отысканию этой, пока еще неизвестной формы. Он думает, что на нас и на ближайшие к нам поколения возложена задача отыскать новую религию, что с задачей этой близкое будущее справится, а затем — наступит конец мира...

Мне эта схема представляется очень подозрительной — прежде всего потому, что я под новыми, вернее, обновленными словами узнаю старые идеи. Снимите с теорий г-на Мережковского рясы и ризы, в которые он без всякого на то права облачил их, и вы увидите пред собой давно знакомую и очень светскую особу,

которая в миру называлась прогрессом. Прогресс тоже всегда держал при себе блестящий штат возвышенных, отвлеченных идей; он тоже любил в свое оправдание ссылаться на более или менее отдаленное будущее. Сходство даже в том, что прогрессивным поколениям обыкновенно казалось, что самая великая и трудная задача выпала именно на их долю, и что им суждено сыграть в истории очень выдающуюся роль. И конец мира вовсе уже не так несвойствен современному миросозерцанию: ученые не раз соображали, что рано или поздно остынет солнце, и, следовательно, земля замерзнет. Правда, они клали более значительные сроки. Но «скоро» г-на Мережковского — тоже очень условное скоро. Он сам оговаривает, что мерило у него — вечность. А в сравнении с вечностью — даже тысячелетия суть мгновения. Я бы, впрочем, все-таки довольно легко примирился с общей идеей г-на Мережковского, если бы во втором томе, как и в первом, она играла бы только внешнюю роль. Прогресс — так прогресс: идея — не хуже и не лучше всяких других идей. Я бы и синтеза не стал очень оспаривать: *de gustibus aut nihil aut bene* *, как говорит один из героев чеховской «Чайки». Но на этот раз г-н Мережковский ради своих идей забывает решительно все на свете, — а этого уже никоим образом простить нельзя.

И прежде всего, он забывает самого себя, так что мне придется выступать в странной роли защитника г-на Мережковского против г-на Мережковского. Вся огромная книга написана так, как будто бы автора ее совсем не было на свете, или как будто бы все может быть важно, интересно, значительно, кроме г-на Мережковского. Откуда такое самоунижение? Любопытно, что в конце концов он и сам как будто догадывается, что что-то у него неладно, и в предисловии пытается *ex post facto* оправдаться. «Темысли, — пишет он, — которые я желал бы здесь высказать, не мысли самоуверенного бунтующего против церкви нигилиста, ницшеанца, западника, декадента, — я не знаю, как еще меня называют, ругают — а мои самые робкие, мучительные сомнения, мои болезни и немощи, от которых я ищу исцеления — отчасти моя исповедь» **. Если бы это было так! Но, как мы увидим дальше, г-н Мережковский не только никогда не смеет сомневаться, болеть и тем паче еще исповедываться — он никому не прощает ни болезни, ни слабости. (Напомню здесь пока, что князя Андрея из «Войны и мира» он «называет, ругает» — «неумным неудачником!»). Я уже не говорю о сомнениях. Стоит толь-

* О вкусах — либо хорошо, либо ничего (*лат.*).

** Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. XXIV.

ко человеку на мгновение задуматься или опечалиться — и г-н Мережковский теряет всякое самообладание. «Синтез, идея идет, гляди веселей, чего волком смотришь!» — вот слова команды, непрерывно срывающиеся с уст г-на Мережковского, и горе тому, кто ослушается его приказания — будь то «великий писатель земли русской» граф Толстой, будь то знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше или даже сам Достоевский, зачастую являющийся для г-на Мережковского пророком. Порядок, равенство во фронт — прежде всего, иначе не получится той идеальной законченности, которая называется синтезом, и которая, как нам говорили немцы, составляет конечную цель всяких умственных исканий... Нам теперь нельзя исповедываться, т. е. говорить правду. Нам нужно быть строго объективными, научными, т. е. высказывать о вещах, до которых нам нет решительно никакого дела, суждения, к которым мы совершенно равнодушны. И при этом еще «глядеть весело»!

II

В этом смысле второй том книги г-на Мережковского является полной противоположностью первому. В первом он внимательно, неторопливо, без всяких предвзятых мыслей вглядывается в жизнь и только от времени до времени, словно против воли, чтоб не спорить с традициями, морализирует и делает обобщения. Во втором — он раз навсегда закрыл глаза на действительность и, весь отдавшись во власть идей, начинает обобщать и судить, или, как ему кажется, созидать новую религию.

Уже в самом начале книги мы наблюдаем первые вспышки гнева у г-на Мережковского по поводу того, что гр. Толстой в «Войне и мире» непочтительно отнесся к Наполеону и, таким образом, оскорбил идею всемирного единения, которую будто бы представлял собой французский император. Нисколько не колеблясь, придав возможную твердость своему по природе мягкому голосу, г-н Мережковский восклицает, что Толстой «нарисовал на Наполеона карикатуру, не смешную, не злую, а только позорную — надо уже когда-нибудь прямо признаться — позорную уже, конечно, не для Наполеона» *. Я думаю, что не следовало бы торопиться с такого рода признаниями. Но, как известно, только первый шаг труден. Раз произнесши роковое слово и убедившись, что оно не повлекло за собой никаких видимых послед-

* Там же. С. 56.

ствий, что небо осталось спокойным, да и земля не содрогнулась, г-н Мережковский почувствовал себя совершенно свободным и стал говорить о Толстом решительно невероятные вещи, которые — я в этом глубоко убежден — нисколько не выражают собой его действительных суждений о великом писателе. Здесь следует отметить любопытную черту литературного творчества г-на Мережковского, которую можно назвать идейным радикализмом. Он по натуре своей представляется мне страстным охотником за идеями, в своем увлечении способным даже дойти до браконьерства. Но не всякая добыча в этой области соблазняет его. Он признает и любит только самые крайние, самые радикальные идеи. Оттого-то в его сочинениях он совершенно обходится без положительной степени: все у него превосходные. И затем вы у него редко найдете страницу, на которой не было, примерно, десяти или больше сильных и резких выражений. В этом, правда, отчасти можно видеть влияние Достоевского и Ницше — но, может быть, и обратно; может быть, он оттого и избрал себе в учителя Достоевского и Ницше, что они отвечают его радикальным вкусам. Г-н Мережковский всегда чувствует неодолимую потребность негодовать, умиляться, отчаиваться, выходить из себя, совершенно примиряться и т. д. И что особенно ценно в нем — его настроения обыкновенно возникают самостоятельно, совершенно независимо от того, дает ли к ним настоящий повод предмет, о котором у него идет речь. Точно так же и убеждения его — вовсе не такого рода, чтоб однажды их высказав, никогда бы уже нельзя было отречься от них. Наоборот, внутренне он относится к ним с почти идеальным, суверенным презрением. Эта черта делала бы его оригинальнейшим русским писателем, если бы он имел смелость быть самим собой и не считал необходимостью так последовательно и упорно скрывать свою истинную сущность под немецкими идеями. Когда он возвещает какую-нибудь истину, от которой ему так же легко отказаться, как переменить перчатки, и от которой он не сегодня-завтра наверно отречется, так как он достаточно утонченный человек, чтоб *à la longue* * не выносить ни одной из выдуманных им самим или другими людьми истин, он при этом делает такой торжественный, убежденный, я чуть не сказал вечный — вид, как и любой из публицистов толстого журнала, 25 лет подряд долбивший своих читателей какой-нибудь гуманностью или прогрессом. Или когда он возмущается и негодует, — неопытный человек и в самом деле может подумать, что г-н Мережковский узкий и нетерпимый фанатик, готовый

* в конце концов (*фр.*).

сжечь на костре всякого, кто вздумает ему противоречить. Ни-
чуть не бывало: завтра он будет, разумеется, негодовать по пово-
ду того, что его сегодня умиляло, и прославлять то, что его воз-
мущало. И, кто имел терпение изучать г-на Мережковского — тот
ни на минуту в том не усомнится. Г-н Мережковский высказы-
вает то или иное убеждение лишь потому, что оно сейчас при-
шлось ему по вкусу и соблазнило его с чисто эстетической сторо-
ны; он негодует или умиляется только потому, что ему пришла
пора умиляться и негодовать. Его мысли и настроения чудесно
независимы от чего бы то ни было внешнего. Монтень нашел бы
в г-не Мережковском идеального собеседника! И как обидно ви-
деть, что столь свободный человек насильно втискивает себя в
рамки обыденных схем и чуть ли не на каждой странице отрека-
ется от своей глубочайшей сущности. При его литературном та-
ланте, при его искусстве изобретать новые и эксплуатировать
старые идеи, при его способности быстро переходить от одного
настроения к другому, какой великолепный образец свободной,
д о в е р я ю щ е й с е б е непоследовательности мы бы могли
иметь в его лице! Как отрадно было бы увидеть не только в сти-
хотворных, но и в прозаических произведениях пример того по-
этического беспорядка, того живого хаоса, о котором мы, запуган-
ные немецкими учителями, скоро не будем уже сметь даже
мечтать. Я всегда надеялся, что г-н Мережковский скорей, чем
кто-нибудь другой, решится требовать и для прозы той magna
charta libertatis *, которая уже давно считается неоспоримой пре-
рогативной поэзии. И вместо того, во втором томе я встречаю те
же однообразные, серые немецкие мундиры, те же краткие сло-
ва команды, что и везде... Даже своим объемом и форматом кни-
га г-на Мережковского напомнила немцев: огромный, толстый
том... Г-н Мережковский уступил по всей линии вечно торжеству-
ющим победителям при Седане. И только изредка замечается у
него робкий, вопросительный, недоумевающий взгляд живого че-
ловека: — да полно, точно ли вся эта военщина так нужна...

А меж тем, именно Ницше мог бы научить г-на Мережковско-
го совсем иному. Прежде всего — иной форме изложения мыс-
лей. Ницше, как известно, в этом отношении, совсем не был по-
хож на немца. Он писал краткие афоризмы и до такой степени
повлиял на немецкий язык, что в настоящее время большие пе-
риоды встречаются только в газетных передовицах и у ученых
профессоров, профессионально охраняющих все умирающее и
даже умершее. На мой взгляд, афоризм — есть лучшая литера-

* великая хартия вольности (лат.).

турная форма. Конечно, и в афоризме человеческая мысль окажется более или менее помятой и раздавленной. Но афоризм дает одно неопределимое преимущество: он освобождает от последовательности и синтеза. Поэта никто не проверяет, думал и чувствовал ли он вчера, в прошлом году, пять лет тому назад, когда писал свои старые стихи — то же, что думает сегодня. А если проверяют и отмечают разницу, — то отнюдь не затем, чтоб укорять его, скорей — чтоб похвалить. Прозаикам необходимо добиться той же свободы, и Ницше, как и Достоевский (писавший тоже и публицистические статьи), нимало не заботились о «единстве», да еще всемирном. Все еще помнят, в каких несомненных противоречиях уличали Достоевского, — о Ницше я уже не говорю. Разумеется, если бы вместо того, чтобы писать небольшие статьи, они сочиняли бы огромные книги, им бы ничего не стоило подогнать под ранжир свои идеи и сгладить все неровности: премудрость, как известно, небольшая. Но они никогда не имели времени об этом думать — а может быть, и сознательно не хотели: ведь отлично знали они, что никакого единства в мире нет, не может — да, пожалуй, и не должно быть, и что идея нисколько не выигрывает от того, что ее бесплотные соседки маршируют с ней в ногу.

Меня очень удивляет, что человек с таким эстетическим чутьем, как г-н Мережковский, соблазнился исключительно радикальными идеями, которые как материал для творчества так мало соответствуют характеру его литературного дарования. Если позволительно — а я думаю, что позволительно — сравнивать литературные дарования с вокальными талантами, я бы сказал, что у г-на Мережковского *tenore di grazia* *. Поэтому хорошо могут ему удаваться только лирические роли. Меж тем его всегда тянет к драматическим партиям. И, чувствуя, что они ему не вполне даются, он прибегает к разного рода искусственным приемам — чтоб усилить впечатление: к форсировке голоса, к вставочным высоким нотам, к бесконечным повторениям. Разумеется, это ни к чему не ведет. Читатель вскоре привыкает к громким звукам и однообразным высоким нотам; а повторения не только не убеждают, но еще раздражают. Впервые высказанная мысль почти всегда привлекает наше внимание, но стоит ее прослушать 3-4 раза (а г-н Мережковский по десяти и больше раз повторяет одно и то же) — и вот она уже примелькалась и потеряла все свое обаяние. И отчего, собственно, г-ну Мережковскому героические партии кажутся почетнее лирических? Ведь вот, например, та-

* лирический тенор (*ит.*).

кой замечательный писатель, как Монтень, никогда не драматизирует, а пишет чудесно! Или, в наше время, Метерлинк, всегда поющий *mezza-voce* *. Я думаю, что оба они ничего не теряют даже по сравнению с Достоевским, Толстым или Ницше. У г-на Мережковского, желающего непременно быть не самим собою, несоответствие характера его дарования с характером взятой им на себя задачи сказывается часто очень невыгодным для него образом. В самых драматических местах, он, уступая никогда не замолкающей в человеке потребности держаться естественно, вдруг каким-нибудь небольшим замечанием, иногда даже одним словом, портит цельность впечатления. Так иногда итальянский певец, исполняющий партию в опере Вагнера, вставив крохотный форшлаг, изогнутое *sostenuto* ** или столь любезное лирическим тенорам *fermato* *** на высокой ноте — нарушает стильность музыки и вызывает в слушателе досадное чувство. Приведу один-другой пример из книги г-на Мережковского. Повторяя слова Христа: «Думаете ли вы, что я пришел принести мир на землю? Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить», он прибавляет от себя: «Конечно, это меч для высшего мира, это разделение для высшего соединения» ****. Или вот отрывок из «Войны и мира» с пояснениями: «“Мари, ты знаешь Еванг., — но он вдруг замолчал. — Мы не можем понимать друг друга”. Какое страшное молчание! Сколько в нем жестокости. Была ли вообще на земле большая жестокость, большее проклятье жизни? И в этом-то проклятьи, которое ведь в конце концов есть, быть может, лишь обратная сторона цинического, животного себялюбия — “все это ужасно просто, гадко; — все вы живете и думаете о живом, а я”, — заключается, по мнению Л. Толстого, вся “благая весть” Евангелия. Полно, не злая ли весть?» ***** Или еще: «Нет, — пишет г-н Мережковский, — кого другого, а нас этими “воскресениями” не обманешь и не заманишь — слишком мы им знаем цену: “мертвечиной от них припахивает”. Бог с ними, мы их врагу не пожелаем» 6*. Можно было бы привести и больше примеров, но, вероятно, и этих достаточно для пояснения сказанного. Форшлаг «конечно» в первой фразе, длинное *fermato* — во второй, и неожиданная браваурность в третьей — таких вещей

* вполголоса (*ut.*).

** сдержанно (*ut.*).

*** увеличение длительности ноты (*ut.*).

**** Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. 65.

***** Там же. С. 185.

6* Там же. С. 156.

следует всеми силами избегать. Разумеется, на своем месте форшлаг не мешает, а *fermato* и бравурный тон — могут быть красивыми. Но там, где нужно быть простым и кратким — а после цитат из Евангелия, после упоминания о Евангелии обязательно говорить просто и кратко — все риторические украшения строжайше возбраняются. От логики мы освобождаемся, но поэтика, видно, еще на долгое время останется в силе.

III

От общих замечаний перейдем к идеям г-на Мережковского. Он считает, что только тот человек заслуживает внимания и уважения, который сознательно и прямолинейно стремится создать религию. В этом коренится и его уважение к Наполеону: «Да, — пишет он, — в эгоизме Наполеона, безумном или животном, с точки зрения нравственности “позитивной”, не желающей быть и не смеющей не быть “христианской”, скрывается, с иной точки зрения, нечто высшее, потустороннее, первозданное, премирное, религиозное: “Я создавал религии”. — Как будто не себя он любит в себе, а ему самому еще неоткрывшееся, неведомое» *. Правда, г-н Мережковский недолго верит Наполеону и со свойственным ему чарующим непостоянством, через 35 страниц, приводя вновь слова Наполеона: «я создавал религию», уже не придает им большого значения. «Ну, конечно, — говорит он, — никакой религии Наполеон не создавал, а, если и создавал, то не создал и не мог создать» **. Тут и форшлаг «ну, конечно» годится, тут и трель и даже самое продолжительное *fermato* было бы кстати. А уместнее всего была бы ссылка на 41 страницу, где утверждается противное. Таким образом, как я уже заметил, г-н Мережковский достиг бы высшей цели, какая только возможна в настоящее время в литературе — провозглашения свободы человеческого суждения от всего, навязанного извне.

Вторым великим качеством Наполеона г-н Мережковский считает его убеждение, что власть его, хотя она и добыта им силой, собственно, все-таки дана ему Богом. И он, с восторгом, десятки раз повторяет сказанную Наполеоном фразу: «*Dio mi la dona, guai a chi la tocca*» ***.

* Там же. С. 41.

** Там же. С. 77.

*** Бог мне ее (корону) дает, и горе тому, кто ее тронет (*ит.*).

Но если пошло на убеждения, то я позволю себе высказать убеждения прямо противоположные. Я считаю, что никто из людей не вправе создавать религию и что тут нечего создавать. Ибо одно из двух: либо Бог есть — и тогда религия дана нам Библией; либо Бога нет — тогда нам с Мережковским лучше всего замолчать. Что же касается Наполеонов, то в обоих случаях их деятельность — только возвышенное комедианство и кривлянье, которое с таким неподражаемым искусством изображено в «Войне и мире» гр. Толстым — одним из тех русских людей, который — что бы про него ни говорили — все-таки больше всех других сделал для разрушения престижа господствующих ныне научно-позитивных идей. А к этому и только к этому и сводится в настоящее время истинное дело тех, кто хочет оберечь религию от всепобеждающей обыденности. Обыденность тем и страшна, что она умеет все эксплуатировать в свою пользу и не раз уже обесценивала высшие религиозные истины, заставляя их служить своим целям. И далее, на мой взгляд, утверждения вроде тех, которые скрываются в итальянской фразе Наполеона, не только не свидетельствуют об особой близости человека к Богу и о серьезных религиозных исканиях, но наоборот, указывают на совершенный религиозный индифферентизм. Ибо вообразить себе, что первенство на земле, хотя добытое и собственными силами, а не по праву рождения, есть признак первенства также и перед Богом — значит забыть величайшее слово Евангелия о том, что первые здесь будут последними там... Когда Толстой писал о Наполеоне, он исходил из этой великой мысли (о которой, к слову сказать, г-н Мережковский ни разу в своей книге не вспомнил) — и опровергать его цитатами из Тэна не приходится. Чтоб окончательно противопоставить свое убеждение убеждениям г-на Мережковского, я скажу: страницы «Войны и мира», посвященные Наполеону — суть слава и гордость русской литературы.

Пусть, однако, читатель не думает, что я имею целью защищать писательскую репутацию гр. Толстого. Нет, к счастью, в этом надобности не представляется. Здесь речь идет о г-не Мережковском и о его «религии» — и только об этом. Я хочу установить тот факт, что г-н Мережковский под видом религии предложил нам пользующийся ныне в Европе таким исключительным успехом обыкновенный морализирующий идеализм. Почти каждая страница его книги служит тому доказательством.

«Если, — пишет он, — Наполеон погиб, то не потому, что слишком, а потому, что все-таки *недостаточно* любил себя, любил себя не до конца, не до Бога (везде курсив автора), не вынес этой любви, ослабел, потерял равновесие и, хотя бы на одно мгно-

вание сам себе показался безумным, смешным: “от великого до смешного только один шаг”. От этого маленького сомнения, а не от веры в себя он погиб». Не стану оспаривать этого, но полагаю, что дозволительно спросить: откуда это известно г-ну Мережковскому, как мог он проникнуть в такие глубокие тайны человеческих судеб? Нужно заметить, что в приведенных словах заключается не мимолетная, случайно забредшая в голову автора мысль и не простое предположение, а одна из основных его идей, которую он с несвойственным ему постоянством и с обычным пафосом проводит через всю книгу. К сожалению, г-н Мережковский сам не нашел нужным дать ответ на этот вопрос, а так как ответом решается судьба книги, то волей-неволей приходится пуститься в догадки. И я полагаю, что этот догмат о спасительности бесконечной любви к себе, как и весь идейный радикализм, внушен г-ну Мережковскому Фридрихом Ницше. Если бы кто стал мне возражать, я берусь соответствующими цитатами из сочинения этого последнего доказать справедливость своего предположения. Между идеями г-на Мережковского и мыслями Ницше есть, правда, трудно уловимое, но очень существенное различие — на первый раз даже представляющееся различием только в форме изложения. Ницше удалось счастливо избежать слишком резкой отчетливости и определенности в выражении своих мыслей. Он умел — и в этом его главная заслуга — не переступить ту тонкую чуть видную черту, которая отделяет действительные переживания человека от выдуманных им идей. Он — замечательный представитель той почти божественной беспочвенности, о которой мечтали древние греки: иногда ему удавалось ходить, не касаясь ногами земли. У него нигде нет той тяжеловесной принципиальности и того неповоротливого догматизма, которые г-н Мережковский, вслед за другими моралистами, хочет во чтобы то ни стало внести в свое мировоззрение. Исключением является только VIII том, написанный после того, как Брандес уже успел представить его европейской публике, и когда Ницше, увидев, что на него глядит чуть ли не весь цивилизованный мир, перестал думать для себя и стал поучать людей. Вероятно, именно по этой причине г-н Мережковский, часто вспоминающий и цитирующий Ницше, всегда обращается к самым последним его сочинениям — к «Антихристу» и «Сумеркам идиолов». Раз нужны догматы, все остальное, написанное Ницше, представляет мало интереса. А г-ну Мережковскому на этот раз нужны догматы и только догматы. Он во что бы то ни стало хочет доказать, что моралисты правы, что могут быть у людей прочные убеждения, что земля на трех китах стоит, и что каждый

желающий может этих китов увидеть собственными глазами. Вот два новых образца рассуждений г-на Мережковского: «Раскольников нарушил заповедь Христову тем, что любил других меньше, чем себя; Соня — тем, что любила себя меньше, чем других; а ведь Христос заповедал *любить других не меньше и не больше, а как себя* (курсив разумеется, опять авторский, да и как не подчеркнуть так слова!). Оба они “вместе прокляты”, вместе погибнут, потому что не умели соединять любовь к себе с любовью к Богу». Оставляю на совести г-на Мережковского истолкование слов Христа — в уверенности, что он не долго будет на нем настаивать. Но каков принцип?! Нужно уметь соединять с любовью к другим любовь к себе! Сколько моралистов позавидуют твердости и определенности убеждений г-на Мережковского. Другой пример: — «О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой», — говорит Ставрогину Шатов. И это, — выясняет г-н Мережковский, — верно только отчасти. В своих бессознательных поисках последнего соединения Ставрогин иногда действительно “летит вниз головой”. Но в своем религиозном сознании он именно только бродит, блуждает, блудит “с краю”. *Если бы он бросился вниз головой, то спасся бы, почувствовал, что у него уже есть крылья — и перелетел бы через бездну*». (Курсива у г-на Мережковского нет, но, на мой взгляд, последняя фраза вполне его заслуживает). Опять вечный принцип: бросайся вниз головой, — вырастут крылья! Ницше говорит, что в тех случаях, когда при нем высказывают новую и смелую мысль, он никогда не обсуждает ее, а всегда предлагает ее автору попытаться осуществить ее. Подождем и мы: когда личный опыт г-на Мережковского подтвердит его идею, быть может, мы станем доверчивей относиться к морали.

Из всего этого, между прочим, следует, что г-н Мережковский, — хотя он и стоит далеко от русских литературных кругов и говорит за свой страх, — по-видимому, всецело разделяет давно укоренившееся у нас убеждение, что писатель должен говорить не то, что он думает, а то, что в данное время полезно и нужно публике. Не знаю, может быть, он и прав. Но, если это и так, если и в самом деле писатель должен всю свою жизнь обманывать читателя и подслащать литературной ложью (или идеалами) горестное существование интеллигентного человека, то ведь это следует делать с большой осторожностью — так, чтобы люди не заметили, что их обходят. И успеть в этом трудном деле можно только в том случае, если писатель, обманывая других, ни на минуту не забывает, что он говорит неправду и неправдой этой мучается. Таким образом, благодаря постоянно живущему в нем

тягостному и неестественному раздвоению, его речь приобретает тот особенный характер взволнованности и мятежной напряженности, который всегда свойствен проповедникам, и в котором неопытная, вечно наивная и вечно жаждущая сильных впечатлений толпа обыкновенно видит признак сошедшей на человека небесной благодати. «Как дрожит у него голос, как сверкает его взгляд, как бледнеет и меняется его лицо! Все существо его — один трепет! О, тут не может быть сомнения — его устами говорит божество» — непосвященные всегда так рассуждают... Но, если человек станет необыкновенные вещи говорить обыкновенным тоном, и если, чтоб не слишком тратиться, он, прежде чем выступить пред людьми, постарается сам убедиться в своих истинах, примириться с собой, устранить внутреннее раздвоение, то это кончится тем, что он будет единственным верующим последователем своих идей. Поэтому я опять высказываю сожаление, что г-н Мережковский хотя бы на минуту, на ту минуту, когда нужно написать о Наполеоне, Раскольникове или Ставрогине, верит в истинность того, что он говорит. Выходит уже слишком просто и обыкновенно. Чтоб убеждать человека в пригодности различных метафизических идей, нужно либо сразу оглушить его отчаянным криком, как это делал Достоевский, которого многие (даже Вл. Соловьев) серьезно принимали за настоящего пророка Божия, — либо, если голоса не хватает, говорить меньше, чем знаешь, но с таким видом, как будто бы мог сказать еще многое: так советовал опытный в этих делах старик Вольтер.

Разумеется, возможен и третий выход: нисколько не заботясь о читателях, прямо высказывать все, что ты думаешь. Но, в настоящее время, кроме А. Чехова, нет ни одного человека, который бы имел достаточно внутренней веры, религиозности, чтобы не побояться принять такое предложение. Все глубоко убеждены, что если открыть глаза на действительность, если захотеть говорить правду — то в результате получится одно отчаяние. А читатель требует во чтобы то ни стало от писателя «положительных» идеалов. Тут с одной правдой далеко не уйдешь:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

IV

В силу своего недоверия к действительности (к действительности в самом широком смысле этого слова: не надо забывать,

что Достоевский называл себя реалистом — и с полным правом) Мережковский перенес, как сказано, спор с религиозной на моралистическую почву и вместо Бога предлагает нам под именем «всемирного объединения» идеализм. Отсюда и его в своем роде беспримерная нетерпимость по отношению к гр. Толстому. Как известно, идеализм, добившийся «общеобязательных» суждений, был всегда деспотичнейшим учением — даже в устах тех лиц, которые в силу своего зависимого общественного положения, совершенно искренно мечтали о свободе мысли и слова. Если идеалисты и готовы уничтожить всякого рода внешние стеснения — они никогда не откажутся от права нравственного суда и осуждения. Г-н Мережковский являет тому превосходный пример. Вполне либеральный по натуре и своим симпатиям, он, соображая, что гр. Толстой не признает и никогда не признает высказываемые им суждения общеобязательными и единственно истинными, в буквальном смысле слова, иногда смешивает с грязью великого писателя земли русской. И притом — действует *bona fide**, т. е. решительно не испытывает ни малейших признаков угрызения совести или даже чего-нибудь похожего на угрызения совести. Наоборот, так как он убежден, что действует во имя великой идеи и, так как для идеи, вообще говоря, ничем не жаль пожертвовать, то он, по-видимому, даже чувствует известное нравственное удовлетворение: маленький Давид, сильный только правдой, побивает огромного Голиафа. История интересная: она лишней раз может выяснить нам, чего добивается мораль или идеализм, когда они начинают настаивать на общеобязательных суждениях.

Г-ну Мережковскому не нравится в гр. Толстом то, что он в нем называет рационализмом, поклонением здравому смыслу, ибо в рационализме он видит помеху свободному движению мистической мысли. Это, разумеется, вполне естественно. Читатели, которые следили в прошлом году за «Миром Искусства» или знают мою более раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» ни на минуту не заподозрят во мне сторонника толстовской морали и ее главной идеи — «добро — есть Бог». Но из этого только следует, что на людях, не желающих превращать Бога в отвлеченное понятие, лежит обязанность доказать свою правоту. И, разумеется, г-н Мережковский, как человек достаточно образованный, превосходно знает, что *onus probandi*** — лежит на нас, а не на сомневающихся скептиках. Но, вместе с

* чистосердечно, доверчиво (лат.).

** время доказательств (лат.).

тем, г-н Мережковский достаточно искушен в этих делах, чтобы брать на себя подобного рода *opus* и, так как при том он считает, что от читателей нужно всячески скрывать внутренние сомнения писателей и что суть не в том, насколько ему действительно удастся поразить Голиафа, а в том, насколько удастся убедить публику в одержанной победе, то он, не делая даже попытки вдуматься в смысл толстовского рационализма, поднимает вопрос о нравственных качествах своего противника. А в таких случаях, как известно, всегда оказывается правым тот, кто успеет первым рассердиться, раскричаться и даже, как мы сейчас увидим, ударить — не в переносном, а почти в буквальном смысле этого слова — ударить врага... Читатель, вероятно, помнит еще ту сцену в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, в которой изображается, как старый лакей Григорий побил молодого лакея Смердякова за то, что этот последний во время урока не побоялся указать на замеченные им в словах Св. Писания противоречия. На месте Григория другой учитель, более толковый и терпеливый, вероятно, умел бы ответить своему ученику и смирил бы строптивого спорщика. Но неуклюжая мысль бывшего дворового человека растерялась при первом возражении, и он наградил мальчика полновесной пощечиной. Тут есть много любопытного, но во всяком случае, мы несомненно находимся в области комического, и пример Григория нас менее всего может соблазнить к подражанию. Григорий первый раз в жизни услышал возражения от Смердякова: но для нас возражения ведь не новость. Г-н Мережковский, как это ни невероятно, соблазнился: ему во что бы то ни стало захотелось приобрести общеобязательные суждения — хотя бы по способу Григория. «Вот славная пощечина!» — восклицает он и считает, что «рационализм», а с ним и гр. Толстой окончательно раздавлены, и что яснополянские сомнения отныне не должны приниматься в соображение. Моралисты так всегда поступали. Как только они замечали свое бессилие, они тотчас же начинали возмущаться и негодовать, что осквернены их светлые идеалы, что погублены надежды и т. д. Если же негодования оказывалось недостаточно, они иной раз не брезгали обращаться и к «пощечине» — к поддержке организованной или неорганизованной внешней силы. И раз вступивши на этот путь, г-н Мережковский считает, что сделал все: ему остается только придумывать различные вариации на тему о смердяковской пощечине. Что бы ни сказал Толстой — г-н Мережковский вспомнит Смердякова. Под конец, так как и Ницше ему мешает, он начинает поносить и Ницше, забывая благодарность, которой мы обязаны учителям своим. Приведу один-другой пример вариаций г-на Мережков-

ского на тему о Смердякове, так как «своими словами» мне никогда не удастся должным образом объяснить, что, собственно, он предпринял. Выписав из «Бесов» фразу Ставрогина, оканчивающуюся словами «я точно заражен смехом», и желая доказать, что смех Ставрогина неуместен, г-н Мережковский пишет: «Это то и есть наш современный и будущий, западноевропейский и русский всемирный демон — отец нашей “лжи”, нашей середины, нашего мещанства, нашей позитивной, либерально-консервативной, смердяковской, толстовской и ницшеанской пошлости (курсив мой. — Л. Ш.) — самый “маленький и гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся”, и в то же время, самый великий, с каждым днем растущий, наполняющий собою мир, и, однако, еще никем не признанный (!), невидимый бес» *. Или еще по поводу идеала великого инквизитора: «“В идеале великого инквизитора”, в “тысячемиллионном стаде счастливых младенцев”, поросят эпикуровых, учеников Карла Маркса, у которых пар вместо души — бесчисленных маленьких, успокоенных под властью Зверя, Карамазовых и Смердяковых, даже не в зверином, а в скотском царстве, противопоставленном царству Божьему, в страшной социал-демократической Вавилонской башне, “хрустальном дворце” всемирной сытости — не называется ли эта именно, угаданная Смердяковым глубочайшая сущность Ивана — любовь к “спокойному довольству” во что бы то ни стало, любовь к беспочвенной середине? — Сущность всей нашей европейской и американской белолицей китайщины, грядущего “серединного царства” с его “бесчувственной космополитической мразью”, сущность нашего современного позитивного и буржуазного Черта, бессмертного Чичикова, купца “Мертвых душ” и купца Брехунова, душа барина помещика Нехлюдова, Ростова, да и самого Л. Н. Толстого (опять мой курсив. — Л. Ш.) и душа лакея Лаврушки, барина Карамазова и лакея Смердякова» **. Эх, угораздило написать человека! Положительно, по мне должно быть стыдно чувствовать себя таким благородным и возвышенным! И этот огромный период à la Ницше... А ведь я бы мог выписать десятки, чуть ли не сотни таких периодов, в которых Толстой, Ницше, а подчас и сам Достоевский оказываются пошляками, Смердяковыми, лакеями, Чичиковыми, «поросятами, у которых пар вместо души» и т. д. И этот тон настолько доминирует в книге, что остается впечатление, будто Мережковский ни о чем больше не говорил. В сущности,

* Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. 351.

** Там же. С. 391.

впечатление не совсем правильное. Г-н Мережковский не только разносит Толстого и Ницше: он не забывает и свой синтез. Толстого и «рационализм» ему нужно только устранить, чтобы, как указано выше, открыть путь своей мистической идее.

Кстати, о слове «мистический». Скажу откровенно: не люблю я этого слова и дивлюсь тому, что г-н Мережковский так часто пользуется им. Правда, когда-то, по всем видимостям, это было хорошее, живое, значительное слово. Но, походив долго по рукам, оно от частого употребления совершенно выветрилось и в нем, как в потертом золотом, давно уже нет драгоценного металла — остались только надпись, да лигатура, и в настоящее время ему та же цена, что и фальшивой монете.

V

Лучшие страницы второго тома — это те, которые посвящены Достоевскому. Достоевского г-н Мережковский слушает и внимательно слушает, редко стесняет его свободу и только иногда исправляет и дополняет. Без исправлений и дополнений моралисты, как известно, обойтись не могут: они стремятся к «совершенству» и знают — одни во всем мире — что такое истинное совершенство. Уже в первом томе, где г-н Мережковский, держась метода Ницше, умел счастливо избежать ницшеанских идей, он иногда, в интересах синтеза, то вытягивал, то укорачивал разбираемых им писателей. Тем более — во втором, где вся почти задача сводится к синтезу. Так, на с. 397 он пишет: «Понимает ли, по крайней мере, сам Достоевский, что другого черта вовсе нет, что это подлинный, единственный сатана, и что в нем постигнута последняя сущность нуменального “зла”, насколько видимо оно с нашей планеты категориям нашего разума и переживаемому нами историческому мгновению? Кажется, Достоевский это лишь пророчески смутно — сознавал, но не сознал до конца. Если бы он сознал, то был бы весь наш, *а таков, как теперь, он почти наш...*» (курсив мой. — Л. Ш.). И еще на с. 445: «Да и здесь, на этих высочайших крайних точках западноевропейской и русской культуры, в Кирилове и Ницше, так же, как, может быть, *отчасти и в самом Достоевском* и наверное во Льве Толстом, все еще господствует “дух времени”, страшный демон середины, непроницаемой, нейтрализующей среды между двумя полюсами (“две нити вместе свиты”), наш демон, наполнивший собою мир, самый великий и самый гаденький золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся, дух, смешивающий и смеющийся, дух рус-

ского лакея Лаврушки и всемирного лакея Смердякова». Не мог удержаться г-н Мережковский — даже Достоевского принялся стыдить! И как только не пришло ему в голову то простое соображение, что лучше «не понимать» и быть вместе с Достоевским, Толстым и Ницше, чем «понимать» и остаться в стороне от них. И что, с другой стороны, если Смердяков и Лаврушка попали в такую почетную компанию, как Толстой, Достоевский и Ницше, то тем самым они настолько возвысились, что, пожалуй, теперь и не стыдно быть на них похожими — в конце концов не только не стыдно, но даже лестно.

Жаль, страшно жаль, что г-н Мережковский уступил традициям и погнался за объединяющими идеями! Я не говорю уже о первом томе, но даже во втором встречаются превосходные страницы о Достоевском. Считаю своей приятной обязанностью сделать здесь из его книги большую выписку о Раскольникове, как потому, что мне хочется воздать должное г-ну Мережковскому, так и потому, что это даст возможность читателю оценить все преимущества ницшевского психологического описательного метода пред навязчивым и беспощадным общенемецким морализированием... «Раскольников испытал подобное тому, что должен был бы испытать человек, который вдруг потерял бы ощущение веса и плотности своего тела: никаких преград, никаких задержек; всюду пустота, воздушность, беспредельность; ни верху, ни низу; никакой точки опоры; оставаясь неподвижным, он как будто вечно скользит, вечно падает в бездну. После “преступления” Раскольников испытывает вовсе не тяжесть, а именно эту невероятную *легкость* в сердце своем — эту страшную пустоту, опустошенность, отрешенность от всего существующего — последнее одиночество: “точно из-за тысячи верст я смотрю на вас”, — говорит он своей сестре и матери. Он еще среди людей, но как будто уже не человек; еще в мире, но как будто уже вне мира. Ему легко и свободно. Ему слишком легко, слишком свободно. Страшная свобода. Создан ли человек для такой свободы? Может ли он ее вынести, без крыльев, без религии? Раскольников не вынес. И как могли, как могли подумать, как до сих пор еще думают все, что он оправдывает себя, потому что боится вины своей, боится “угрызений совести”. Да он их только и жаждет, только и ищет сознания вины своей, раскаяния, как своего единственного спасения» *. Вот как надо писать, вот как надо думать, искать, смотреть! Вот где виден истинный и достойный ученик Ницше! И ведь обошлось без синтеза. Разумеется, читатель, ко-

* Там же. С. 128.

торый ищет метафизических, нравственных и иных утешений, взвоят, может быть, даже взревет от негодования, прочитав эти строки — и отвернется от писателя, который столь бесстрашно говорит правду о жизни; но нужно уметь выдержать негодование и даже презрение толпы, нужно уметь, сохранив все возможное спокойствие, ответить воющим, ревушим и негодующим читателям: за метафизическими, нравственными и иными утешениями извольте обратиться к немцам, к толстым, многотомным немцам. У них этого добра — хоть отбавляй, особенно у Канта, специально занимавшегося изготовлением таких вещей, как «постулаты» свободы воли, бессмертия души — и даже Бога! К сожалению, г-н Мережковский, вместо того, чтобы отсылать к Канту ищущих идеалов читателей, сам идет к нему на поклонение. Я знаю, что г-н Мережковский никогда не уделял слишком много внимания вопросам теоретической философии, и я не стану, конечно, требовать от него обширной философской эрудиции и основательного знакомства с деталями Кантовской системы. Если бы даже он допустил какую-нибудь ошибку, я бы не поставил ему этого в упрек. Но он оберегся от ошибки — зато сделал худшее. Он повторил общее место о заслугах Канта и сознательно присоединил свой голос к огромному хору хвалителей и почитателей кенигсбергского философа.

Повторяю: он знал, что он делает; он не мог не знать, что, становясь на сторону Канта, он зажимает рот Раскольниковым, Карамазовым, Достоевским, Толстым, Ницше, и прерогативу свободного слова делает исключительным достоянием немецких идеалистов. Вот его подлинные слова, в значительной степени являющиеся итогом всей книги: «одно из двух: надо или опровергнуть Канта, или принять его и, в таком случае, согласиться с ним, что область, доступная исследованию нашего разума, есть только область явлений, область чувственного опыта, происходящего во времени и пространстве; Бог — вне явлений, вне пространства и времен; а следовательно и вопрос о бытии или небытии Божиим находится вне области, доступной исследованию разума. “Бог необходим” — это не разумная, не опытная, а мистическая посылка, не опровергаемая и не доказуемая разумом. Разум не утверждает и не отрицает, он только говорит: “я не знаю, есть ли Бог или нет его”» *. Г-н Мережковский так рассуждает не потому, что он лично проверил, насколько Кант и его критцизм действительно неопровержимы: ему, вероятно, некогда было заниматься этим. Вероятно, он никогда даже и не поинте-

* Там же. С. 440.

ресовался допросить, как следует, знаменитого философа, для какой собственно надобности потребовалось ему принизить права человеческого «разума». Г-ну Мережковскому в настоящую минуту нужно было лишить права голоса Ницше (см. 441 страницу), и он наскоро заключил союз с Кантом, позабывши, что Кант есть, был и будет основателем того идеализма, к которому обратились столь презираемые им бывшие марксисты. Кант не только не может поддержать человека, ищущего Бога, но своими «постулатами» он в зародыше убивает всякую надежду на возможность найти Бога. «Разум не утверждает и не отрицает бытия Божия» — это прежде и после всего значит, что *нам до Бога нет и не должно быть никакого дела*, — а раз так, то никакие мистические послышки уже не спасут ничего. Мы можем доказать незыблемость научных принципов, мы можем обосновать вечную мораль — ограничимся этим, а с Богом — как будет, так и будет; это дело чистого случая или, как говорит Кант, веры. Не нужно, однако, смешивать Кантовской веры с религией: *они ничего общего между собой не имеют*. Позитивизм ведь тоже не отрицает веры, даже веры в Бога! В конце одной из глав своей логики Милль, несомненный позитивист, поместил небольшое примечание, приблизительно строк в двадцать, в котором он со свойственной ему ясностью и убедительностью (*beleidigende Klarheit* * — говорит Ницше) высказывает ту мысль, что позитивизм не исключает веры в Бога. Мне жаль, что у меня нет под рукой его книги, и я не могу привести этого места, никогда, насколько мне известно, еще не оцененного по достоинству. Но за смысл я ручаюсь. Здесь, впрочем, форма дело второе: главное, что *Бог, о котором в тексте книги никогда не упоминается, попал в примечание*. Это характерно и многозначительно: г-н Мережковский наверное со мной согласится. Но еще интереснее, что ведь Кант сделал то же, что и Милль. Его постулат Бога — есть тоже Бог «в примечании». Все нужно доказывать (напр., закон причинности, нравственный закон), в Бога же можно верить, ибо в конце концов не так и важно — существует ли Он на самом деле или не существует: главное, чтоб Его не оспаривали. В *этом* смысле и значение критицизма, как и миллевского позитивизма. Нужно было сосредоточить все внимание и весь интерес на мире явлений (и не всех, а только некоторых явлений, не возмущающих душевного спокойствия человека), нужно было придать прочность научным положениям и моральным принципам, которым стал угрожать английский скептицизм — и Кант прибегнул к ге-

* оскорбительная ясность (нем.).

ниальнойшей из возможных уловок. Увидев, что борьба невозможна, что выдержать напор нового течения — безнадежная затея, Кант решил *пригнуться*, в расчете, что вихрь пронесется над ним, не задев его. И расчет его оказался математически верным.

Кант спасся от скептицизма! — Стоило на мгновение проснуться от «догматической дремоты», чтобы потом иметь право спокойно, в сознании полной безопасности, уснуть на всю жизнь! Наука и мораль обеспечены, в мире явлений, соприкасающихся с философами, беспорядка не будет — ну, а дальше? Дальше — кому охота заглядывать так далеко! И по настоящий день, как только Раскольниковы, Толстые, Достоевские и Ницше начинают бить тревогу — им в ответ тотчас раздается стройный хор вышколенных голосов: назад к Канту, Кант защитит, Кант уймет бунтовщиков! И если бы Кант прочел приведенные мною выше рассуждения г-на Мережковского о Раскольнике или иные места из первого тома «Толстого и Достоевского» он, разумеется, счел бы себя обязанным погрозить пальцем и напомнить о мире явлений, синтетических суждениях *a priori*, антиномиях, категорическом императиве, *Ding an Sich* * и т. д. Но г-н Мережковский и сам спохватился. Ему понадобились положительные выводы, идеалы, логика, мораль, мировоззрение — а в таких делах без гениального Канта, разумеется, обойтись нелегко.

VI

А теперь спросим, наконец, в чем же последний синтез г-на Мережковского? У него на этот вопрос есть очень определенный ответ: в чем другом, а в неясности его упрекнуть нельзя. Уже с начала 5-й главы он приводит стихотворение З. Н. Гиппиус — «Электричество», стихотворение, которое ему кажется до такой степени полно и удачно выражающим его основную мысль, что он заключительные его строки цитирует до десяти раз. Стихотворение небольшое, и я его приведу целиком, ввиду той значительной роли, которую оно играет в книге г-на Мережковского.

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» не слиты,
Не слиты — сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно и мертво;

* вещь в себе (*нем.*).

Но ждет их воскресенье,
И ждут они его:
Концы соприкоснутся,
Проснутся «да» и «нет»,
И «да», и «нет» сольются,
И смерть их будет свет.

Как видит читатель, стихотворение едва ли может быть названо удачным. Оно схематично отвлеченно — в сущности, рифмованное переложение параграфа из элементарной физики. В том же 5 номере «Мира Искусства», в котором появилось «Электричество», напечатана еще одна вещь З. Н. Гиппиус — «До дна». «До дна» — прелестное, истинно поэтическое и глубоко правдивое стихотворение. А г-ну Мережковскому оно не понадобилось: в нем нет принципов, общих выводов, синтеза. Там, непосредственно за такими, как будто бы подающими надежду стихами, как:

Люблю я отчаяние мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана

следуют два других, исполненных столь человеческой, презирающей синтез, горечи:

И только одно я здесь знаю верное:
Нужно всякую чашу пить до дна.

Это — очевидное противоречие, невыдержанность, — а с тех пор, как немцы установили, что противоречий быть не должно, г-н Мережковский теоретически не выносит непоследовательности, а потому не слушает и не слышит человека, так мало «знающего», как автор стихотворения «До дна». И заглушив в себе природную эстетическую чуткость, г-н Мережковский бесконечно повторяет «Электричество», не соображая, что при многократном чтении даже неопытный читатель может догадаться, что «электричество» — слабая вещь. По содержанию «Электричества» уже видно, каких «выводов» добивается г-н Мережковский. Подобно всем идеалистам, и он убежден, что звание писателя обязывает его сделать знаменитое *salto mortale* *, — перескочить через всю жизнь к светлой идее. Но *salto mortale* поражает только у акробатов. Здесь на самом деле отчаянный прыжок заставляет биться человеческие сердца. Мы боимся за смелого гимнаста и со стесненным дыханием следим за его дви-

* смертельный прыжок (*ит.*).

жениями. В области же мысли прыжки — самый безопасный, а потому мало на кого действующий прием. И даже обещание света, кажется, никого уже не прельщает. Боже, сколько раз нам уже говорили об этом свете, и как бы нам хотелось, чтоб хоть на время прекратились светлые разговоры!

И ведь чтоб добиться света, вовсе не нужны мистические «посылки». Как превосходно на эту тему говорят позитивисты — хотя бы тот же Тэн, на которого ссылается по поводу Наполеона г-н Мережковский. Посмотрите, какой пышной тирадой заканчивает он свою последнюю главу «истории английской литературы»... «Кто не чувствует восторженного удивления при виде колоссальных сил, находящихся в самом сердце всего существующего, которые беспрерывно гонят кровь по членам старого мира, распределяют массу соков по бесконечной сети артерий и раскидывают по поверхности вечный цвет юности и красоты? Наконец, кто не почувствует себя выше и чище при открытии, что этот ряд законов примыкает к ряду форм, что материя переходит постепенно в мысль, что природа заканчивается разумом и что идеал, около которого вращаются после стольких заблуждений все человеческие стремления, есть та же самая конечная цель, в виду которой работают, невзирая ни на какие препятствия, все силы вселенной?»... Чем это не «свет»? И какое блестящее, вдохновенное, великолепное красноречие!

Но, слушая его, хочется, вместе с Верленом, крикнуть вдогонку окончившему свое дело и удаляющемуся на покой Тэну: *Prends l'eloquence et tords lui son cou!* * Не нужно, не нужно нам всего этого...

Нельзя не упомянуть, хотя вскользь, о предисловии г-на Мережковского. Это не предисловие, а большая статья в 4 печатных листа. Странно оно начинается, странно и кончается. Автор, по-видимому, задался державинской задачей:

В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

«Довольно, — пишет г-н Мережковский, — мы говорили — надо делать: русская литература есть великое слово России, за словом — дело, и дело России должно быть достойно ее великого слова. Начнем же делать».

Что делать? К сожалению, прямого ответа на этот вопрос нет, и мне во второй раз приходится догадываться. По-видимому, г-н Мережковский приглашает нас, писателей, вмешаться в обще-

* риторике сломай ты шею! (фр.).

ственные дела России. Если моя догадка справедлива, — а ни в каком ином смысле я не могу понять его слова — то, собственно говоря, он запоздал, и сильно-таки запоздал со своим призывом.

Вот уже более полустолетия, как наша литература только и делает, что занимается общественными делами, и если ее можно в чем упрекнуть, то разве в том, что она чересчур усердствовала в этом направлении и вносила общественно-политическую точку зрения решительно повсюду, даже в те области, где она была совершенно неуместна.

Но это дело второе. Гораздо интереснее, что г-н Мережковский, по-видимому, уже в самом предисловии делает попытку вмешаться в общественные дела.

Обсуждая вопрос о так называемом «отлучении от церкви» гр. Толстого, г-н Мережковский начинает подавать советы св. Синоду. И к моему удовольствию (почему к удовольствию — об этом ниже), его первый опыт оказывается совершенно неудачным. Он, напр., предлагает такую меру: разрешить гр. Толстому печатать в России все свои «богословские» произведения.

Вот эта аргументация: «Свобода мысли и слова никому в России в настоящее время так не нужна, как именно русской церкви, между прочим, и для борьбы с Л. Толстым. Если даже безоружность его, вследствие цензурных запрещений, есть только предлог, то насколько все-таки выгоднее было бы для церкви, чтобы и этого предлога не существовало: ведь мнимая безоружность и есть главное оружие Л. Толстого, кажущаяся беззащитность — настоящая крепость, в которую этот Голиаф спасается от камня Давидова. Нужно отнять у него оружие, выманить его из этой крепости, ибо церкви нужна победа не лукавая, открытая, а, следовательно, и борьба открытая и т. д.». Увы! все эти соображения слишком элементарны и едва ли на кого подействуют. Любому священнику или начальствующему лицу они уже давно и очень хорошо известны, и если все-таки гр. Толстому не разрешают печатать его сочинения, то вероятно для этого имеются очень и очень серьезные основания, которых не знает и не умеет угадать г-н Мережковский. Правда, может быть, г-н Мережковский пустился на хитрость: он думает, что, если назвать Толстого безопасным, то удастся выманить у власти имеющих лишнюю прерогативу. Но это такой избитый способ, им так часто пользовались либералы в своей борьбе с консерваторами, что им уже никого не обманешь и ничего не выманишь. Г-н Мережковский в своем предисловии хлопочет не только о привилегиях для гр. Толстого, но еще о многих вещах. И приблизительно с таким же искусством. И я очень рад, что он оказался плохим по-

литиком. Это значит, что он скоро вернется обратно в свою родную стихию — литературу. А раз еще вернется — то наверное убедится, что здесь еще многое, многое осталось сделать, и что при всевозможных обстоятельствах всегда найдутся люди, которых, в силу их характера и дарования, дело и борьба мысли будет занимать больше, чем политика. Ибо и в литературе есть дело, есть страшная борьба, более опасная и кровавая, чем борьба политическая и общественная...

Подведу итог сказанному: идеи г-на Мережковского — хорошие, благородные, возвышенные идеи — не хуже, может быть, лучше других идей, обращающихся ныне в обществе. Беда в том, что идеи не нужны. *De la musique avant toute chose — et tout le reste est littérature.*





Ф. СОЛОГУБ

О Грядущем Хаме Мережковского

Глядя на молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, г-ну Мережковскому хочется воскликнуть (конечно, воскликнуть, а не сказать):

— Милые русские юноши! Не бойтесь глупого старого черта политической реакции. Не бойтесь никаких соблазнов, никакой свободы. Одного бойтесь — рабства, и худшего из всех рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.

Итак, надо бояться. И есть чего бояться. То, что всегда казалось вовсе не страшным, обыкновенным, ежедневным, общепринятым и общепризнанным, это-то и есть самое страшное для поэта, философа и христианина, потому что это — пошлое, а черт и есть вечная плоскость, вечная пошлость. Бессмертная людская пошлость, созерцаемая за всеми условиями местными и временными, — историческими, народными, государственными, общественными, — есть безусловное, вечное и всемирное зло. И эта плоскость, эта нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин, этот вечно серый, неизменно ничтожный и истинно страшный черт, созерцаемый в мире феноменальном, в условиях теперешней действительности, вывертывается из своей вневременной оболочки, являет легкомысленно мятущемуся миру свое страшное лицо уже почти без маски, дерзко отрицает Бога, истерически кричит: я! я! я! и собирается воцариться, поработив духовно свободного доньше человека скверными соблазнами безмятежного мещанского житья-бытья. И этот новый царь будет Хам, вечный Смердяков, духовный босяк. Он с превеликим озорством осмеет наготу отца своего Ноя, пренебрежет гне-

вом упившегося старца, махнет рукою на его злобные проклятия и выстроит для себя и для детей своих очень удобное и благопристойное, но очень мещанское, а потому гнусное и безбожное жилище.

Так как это — очень страшные перспективы, то необходимо найти спасение. А спасение одно, — в Боге. А к Богу нельзя прийти без Христа. Итак, предлагается, убоявшись Хама, прийти ко Христу. А так как в господствующей церкви, как и в существующем государстве, действительно много нагажено, то надо устроить новую церковь, вечную, апокалипсическую, и туда загнать человеческое стадо кнутом духовной свободы, которую отнюдь нельзя смешивать со свободой гражданской или политической.

Такова болезнь, и таково лечение. И так как лекарство не слаще лечимого, то хочется проверить: так ли?

Г-н Мережковский боится Грядущего Хама. В этой формуле почтительные критики остановятся на последнем термине: Грядущий Хам, и разберут эту размалеванную страшными красками фигуру. И в этом анализе встретится много интересного, потому что все, что пишет г-н Мережковский, не может не быть интересным в высокой степени. Но я предпочел бы остановиться на другом термине: боится.

Вслед за политическим освобождением русского народа, за его Лазаревою субботою, ему угрожает новая опасность, горшая прежнего порабощения, горшая того могильного смрада, в котором он пробыл многие столетия, — господство Хама, впадение в нестерпимую плоскость мещанского благополучного прозябания. И эта опасность представляется мне совершенно фантастическою. Думать, что за политическим освобождением придет торжествующее хамство, думать, что русского четырехдневного Лазаря воскрешает корыстолюбивый Иуда — значит, по-моему, не верить в свободу, приходящую из надмирных высот, не верить в творческий характер свободы, бояться свободы. Откуда же явилась эта боязнь, эта странная ненависть к освобождению в его современной форме, к современному фазису политической борьбы?

Эта боязнь, сколь ни удивительна она на первый взгляд, имеет глубокое основание в прошлом русской художественной литературы. Пройти по вершинам этой литературы — это означает осмотреть печальное зрелище великого, созданного маленькими людьми. Может быть, люди в множестве никогда и нигде не были так малы и так ничтожны, как в России XIX века. Русская государственность осуществила худшие стороны человеческих сожитий. Так как она была чрезвычайно последовательна, то, создан-

ная великим народом, она наивернейшим способом давила и гнала людей. Укрепленная в зловещем гении Петра Великого, этого грубого и кровожадного вампира, вволю упившегося горячею кровью свободолюбивых стрельцов, этого первого и увенчанного бессердечного чиновника, творца табели о рангах, человека, которого г-н Мережковский называет первым русским интеллигентом, эта государственность обратила русскую действительность в кровавый туман кошмарной фантазмагии. Воздвигнутая государственным строительством народа, она стала проклятием и язвою этого народа. Она довела его до самого края той бездны, куда уже и до нас сваливался не один народ в безумном стремлении к обманчиво-всемирным фантомам. Давя звериными лапами и чаруя змеиными очами, эта свирепая и коварная государственность влила свой ужасный яд и в высокое делание свободного искусства.

И вот в истории русской литературы прошлого столетия, с золотого, будто бы, века, мы видим безобразную коллекцию искаженных и погубленных фигур. Всегда несвободная, всегда колебавшаяся от хвалений «в надежде славы и добра» к пустым излияниям вольнолюбивых чувств на чаемых «обломках самовластья», а чаще по чаемому «манию царя», русская литература только в лице Лермонтова представила чистый и обаятельный образ доподлинно великого поэта и воистину великого человека, никогда не заставившего свою музу лизать превознесенные стопы.

Самое гениальное и проникновенное создание Пушкина — Савельич, прирожденный холоп. Конечно, из глубин своей души изнес Пушкин этот удивительный образ, нарисованный с таким тщанием, с такою трогательною любовью. Как Савельичу, и самому Пушкину дороже всего в жизни был барский тулупчик, — строй, предания, традиции. В комедии «Горе от ума» самый жизненный образ — Молчалин, гениальный автопортрет преуспевшего карьериста, сделанный в самом начале карьеры, и сделанный с тою же очаровательною и ненарочною откровенностью и непосредственностью, с какою Мартышка в басне Крылова хихикала над своим отражением в беспощадном зеркале. В галерее гоголевских типов героические образы совершенно меркнут перед истинными выходцами из его души, мертвой и темной: Хлестаковым, Чичиковым и другими в том же милом роде. Собакевич не нашел в русской жизни ни одного порядочного человека.

Но литература, по самому основному свойству своему, все же таки не могла не стремиться к свободе и к ее движущему началу — к истине. Застойное болото русской жизни не давало ни сво-

боды, ни истины, ни движения к истине и свободе, того движения, которому присвоено несколько смешное и отчасти уже скомпрометированное название «прогресс». Все эти блага оказались столь же недоступны, как виноград в басне был недоступен голодной лисице. Жалкий стыд голодной гордости подсказывал унылые заявления: «Да зелен, ягодки нет зрелой». — «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». — «Запад гниет, разлагается». — «Царю — сила власти, народу — сила мнения».

И в глазах г-на Мережковского прогресс, капризом мысли голодной и жадной, оказался опасным как лучший союзник Грядущего Хама, бессмертного будто бы Ермолая Лопухина, который придет в грубом торжестве и на место вишневого сада, полного поэзии и преданий, нарубит мещанских, хамских дачек, — и там, где прежде задумчиво и красиво по расчищенным аллеям в изысканно-простых нарядах проходили изящные барышни, нашептывая скромные и милые речи и застенчивые признания любезным и остроумным кавалерам, там пойдут под яркими ситцевыми зонтиками девушки с исколотыми иголками пальцами, и засмеются громко, и будут бегать и возиться со своими возлюбленными и женихами, какими-нибудь приказчиками из суровских лавок. У хамов, известно, и забавы хамские. Барину Мережковскому они не могут нравиться.

В ряде поколений развращенная тираническим самодержавием русская современная литература являет образец грустного разъединения, — или слишком она материалистична, без Бога и против Бога — у Чехова, у Горького, или она — у г-на Мережковского — очень с Богом, но зато опасливо поглядывает на политическое освобождение и с нескрываемым аристократическим презрением воротит нос от хамства. Но в хамстве нет ничего страшного уже потому, что оно не приходит, а уходит.

Хамство — грязный пережиток старых лет, издыхающее порождение старого строя. Кто бы ни пришел в ближайшее будущее на политическую арену, царство Хама не грядет, а кончается. Мы пережили хамский период нашей общественности. Бояться Грядущего Хама станет только тот, кто не верит свободе, кто не любит ее превыше всего на земле и в мире нездешнем. В свободе — творчество и радость жизни, в свободе — и восторге смерти. Нельзя войти в свободу для того только, чтобы закиснуть в болоте мещанского и хамского благополучия, пошлой самоудовлетворенности. Свобода непрерывно разрушает и непрерывно созидает. Она влечет и волнует. К ней мечты и любовь, за нее первая и последняя кровь, в ней жизнь, за нее смерть. Радостны муки

и желанны страдания за нее. Сладким пламенем восторга она льется по жилам, и вкусивший из ее кубка приобщается к такому мощному потоку жизни и восторга, вливает свой голос в такой могучий гимн, при которых нет места мелким, пошлым бедам пережитой нами многовековой ночи.

Но г-н Мережковский боится свободы в ее историческом, сегодняшнем воплощении. Он слишком литератор для того, чтобы отдаться свободному и пламенному пафосу великого исторического момента. Ему кажется, что люди, отыскивая свои маленькие политические и гражданские права, забудут свое великое всемирное дело, забудут Бога живого.

Ну, а Бог живой не напомнит им о себе?

Да и не забудут люди Бога. Только пойдут для всемирного дела, может быть, и не по тем тропинкам, которые столь милы сердцу г-на Мережковского, но которые уже не однажды заводили человечество в тупик. К истлевшим костям привязывая мечту о спасении, г-н Мережковский хочет отомолиться от Грядущего Хама, отчураться от него словами древних заклятий, откадиться от него палестинским ладаном. Он боится Грядущего, и, плюя в него против дико веющего ветра, называет Грядущего Хамом. Но не может скрыть, да и не хочет скрывать, что Грядущий есть человек в его совершенном самоутверждении, в конечном торжестве его личного освобождения. Голый человек, по терминологии г-на Мережковского, босяк. Всякий, отвергший божественность Галилеянина, есть внутренний босяк. Человек без Бога, говорит г-н Мережковский, есть зверь, и хуже зверя — скот, и хуже скота — труп, и хуже трупа — ничто.

Такими страшными словами, напоминающими свирепые формулы жреческих проклятий, заклинает г-н Мережковский человеческий путь, только человеческий, слишком человеческий путь самоутверждения. Но что же делать? Путь самоотрицания пройден до конца, и ныне путь самоутверждения — единственный для нас путь спасения.





К. ЧУКОВСКИЙ

Д. С. Мережковский

(Тайновидец вещи)

1

— «У нас есть гении, есть таланты, большие и малые, таланты-самородки, — а искусства нет. Искусство создается работой, культурой и средой. У нас ничего этого пока еще не было... Поразительно слабо у нас движение, развитие идейное, без которого невозможно и движение культурное».

Это говорит не Чаадаев в «Телескопе», а г-н Антон Крайний в «Весгах», и уже одно то, что памятники нашей общественной мысли могут у нас воскресать через семьдесят лет, показывает, насколько прав г-н Крайний.

«Надо всеми литературными произведениями, — говорит он далее, — революционными и пустяковыми, над талантливыми авторами и полуграмотными стоит общий чад русской некультурности», — и стоит только вспомнить всех этих незаконнорожденных гениев нашего времени, без предков и без наследства, не имеющих за душою ничего, кроме «безумства храбрых», и за три года приведших нас к духовному банкротству, к Цусиме духовной, — к эротизму, порнографии, революционному хулиганству, — чтобы снова согласиться с г-ном Крайним.

До того вдруг дошла ненависть к этой духовной незаконнорожденности, что культурностью стали хвастаться, и щеголять, и носить ее всюду с собой напоказ, как дикари носят подаренную им зубную щетку, — и уж это ли не свидетельство «некультурности?»

Настоящий культурный человек вымоет зубы и спрячет щетку, а г-н Бердяев, напр., предпочитает вывешивать ее у себя на груди и ходить с нею, как с орденом:

— «Я получил наследство от предков своих и должен обрабатывать и умножать полученные богатства, — кичится он в недавней своей книге. — Аристократичность духовного происхождения — моя исходная точка... Нужно почитать своих предков и любить полученное от них наследство. Истина не с меня начинается, и я бы не поверил в истину, которая с меня начиналась бы... Я обязан быть не только революционером, но и консерватором. Отрицание этого консерватизма, столь распространенное в нашу эпоху отрицания, есть нигилизм и хулиганство, есть страшная распущенность» (Новое религиозн. сознание и общественность. СПб., 1907).

И г-н Бердяев прав, — как же не носить у себя на груди зубную щетку и не гордиться тем, что меняешь белье, если хулиганство, неслыханное, сверхъестественное, апокалипсическое какое-то, нахлынуло и грозит снести все песочные сооружения почтенных предков г-на Бердяева. Всюду в газетах теперь натискаешься на такие рекламы:

- 1) Герцен. «Былое и думы».
- 2) Мартино. «Садизм, содомия и онанизм».
- 3) Дальний. «Четыре царевубийства».
- 4) Ренан. «Жизнь Христа».
- 5) «Хиромантия и ее история».

Такие премии сулит читателям некий журнал «Былое—Грядущее», издаваемый одним почтенным литератором, при сотрудничестве других почтенных литераторов.

Прочтите эти заглавия, и вы с жутью почувствуете, что где-то для чьей-то психики есть такая точка зрения, с которой и царевубийства, и садизм, и хиромантия, и ренановский Христос покажутся явлениями равноценными; что для какого-то безмерного хама, «с провалом вместо души», свободного ото всяких традиций и всякой культуры, они одинаково приманчивы, одинаково интересны; что чудовищный синтез хиромантии и Герцена, садизма и царевубийства теперь самый нужный и жизненный синтез для кого-то «безумно храброго», кто пришел в русскую жизнь и диктует ей свои веления.

Хам пришел, и как тут культурным людям не ухватиться за зубную щетку и носовые платки своих покойных родителей!

Зубрами какими-то среди всех духовных босяков кажутся эти несколько культурных людей, — и мифическим существом, за-

гадочным, непостижимым представляется нам культурнейший из них — Д. С. Мережковский.

Д. С. Мережковский любит культуру, как никто никогда не любил ее. Любит все эти «вещи», окружающие человека, созданные человеком для человека, и кажется — вынь Мережковского из культурной среды, из книг, цитат, памятников, идеологий, оторви его от Марка Аврелия и Достоевского, Софокла и Леонардо да Винчи, — и ему нечем будет жить, нечем дышать, и он тотчас же погибнет, как медуза, оторванная от морского дна.

Никто так, как Мережковский, не понимает жизнь «вещей», жизнь всяческих книг, картин, лоскутков — жаль, что только эту жизнь он и понимает.

Он написал трилогию: о Юлиане, Леонардо да Винчи и Петре, — прекрасную трилогию, у которой только один недостаток, что в ней нет ни Юлиана, ни Леонардо да Винчи, ни Петра, а есть вещи, вещи и вещи, множество вещей, спорящих между собою, дерущихся, примиряющихся, вспоминающих старые обиды через десять веков и окончательно загромоздивших собою всякое живое существо.

Трилогия г-на Мережковского написана для того, чтобы обнаружить «бездну верхнюю» и «бездну нижнюю», «Богочеловека» и «Человекобога», «Христа» и «Антихриста», «Землю и Небо», слитыми в одной душе, претворившимися в ней в единую, цельную, нерасточимую мораль, в единую правду, в единое добро. Он выбрал эпохи, наиболее раздираемые верхней и нижней бездной: эпоху борьбы христиан и язычников, эпоху борьбы древней и новой России, эпоху борьбы Ренессанса и феодализма, и для каждой эпохи нашел ее гения, примирившего «да» и «нет» в одну какую-то мучительно-сладкую, страшную и нечеловечески-прекрасную гармонию: Юлиана, Леонардо и Петра.

Замысел великий, философские и психологические задачи необъятные, — но вещи, куда денешься от этих вещей, если они сыплются без конца, засыпая собою и верхнюю, и нижнюю бездну, и Мережковского, и Петра, и Леонардо, и читателя.

3

«Комнату загромождали казенки, поставцы, шкафы, скринки, шкатуни, коробья, ларцы, кованые сундуки, обитые полосами железа подголовки, кипарисные укладки со всякими мехами, платьями и белою казною — бельем. Посредине комнаты возвышалось царицыно ложе, под шатровую сенью — пологом

алтабаса пунцового с травами бледно-зеленого золота, с одеялом из кизыбалшской золотной камки на соболях, с горностаевой опушкой. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната, крестовая; там хранилась всякая святыня, кресты, панагии, складни, крабицы, коробочки, ставики с мощами; смирна, ливан, чудотворные меды, святая вода в вощанках; на блюдечках кассия; свечи, зажженные от огня небесного; песок иорданский, частицы Купины Неопалимой, дуба Маврикийского; млеко Пречистой Богородицы» и т. д., и т. д., и т. д. (Петр. С. 97).

И еще:

«Комната была загромождена машинами и приборами по астрономии, физике, химии, механике, анатомии. Колеса, рычаги, пружины, винты, трубы, стержни, дуги, поршни, и другие части машин — медные, стальные, — как части чудовищ или громадных насекомых, торчали из мрака, переплетаясь и путаясь. Виднелся водолазный колокол, мерцающий хрусталь оптического прибора, изображающего глаз в больших размерах, скелет лошади, чучело крокодила, банка с человеческим зародышем в спирту, похожим на бледную огромную личинку, острые лодкообразные лыжи для хождения по воде и т. д., и т. д., и т. д. (Леонардо. С. 51).

Сыплются, сыплются «вещи» без конца. И очень это нравится Мережковскому. Вот у Толстого, например, этих «вещей» совсем нет, и Мережковский недоволен: «О внутренней домашней обстановке русского вельможи александровского времени, — говорит он, — встречается на всем протяжении “Войны и мира” одно упоминание, занимающее полстроки: в московском дворце старого графа Безухова “стеклянные сени с двумя рядами статуй в нишах”». То ли дело для Мережковского Гомер, с его бесконечным описанием чертогов царя Алкиноя, тратящий столько слов на изображение внешности и внутренности человеческого жилища, расположения покоев, стен, кровли, потолков, столбов, стропил, перекладин и всех мелочей домашней утвари!

Нравится Мережковскому также у Пушкина любовное внимание «к модным прихотям Онегина, разнообразным щипчикам, щеточкам в его уборной».

«Все культурное, все человеческое, все искусное», — есть для Мережковского продолжение внутреннего существа человеческого, и он не простит такого пренебрежения Толстому.

Но Толстой пренебрегает не только такими «вещами», как «лодкообразные лыжи» или «пунцовый алтабас», а несколько иными: «тщетно старались бы мы угадать, — жалуется Мережковский, — кто больше нравится Анне Карениной — Лермонтов

или Пушкин, Тютчев или Баратынский. Ей, впрочем, не до книг. Кажется, что эти глаза, которые так умеют плакать и смеяться, вовсе не умеют читать и смотреть на произведения искусства».

Толстой пренебрегает «влияниями, наслоениями, наваждениями прошлых веков и культур», духовными «вещами», которыми уж он, Мережковский, никогда не пренебрежет.

По отношению к внутреннему существу человека всякая идеология, все эти верования, песни, легенды, философические доктрины, которые характеризуют человека как порождение данной эпохи, — все они суть такие же «вещи», как и пунцовый алтабас, и в уловлении этих «идеологических» вещей Мережковский не знает себе равного.

Дошло даже до того, что в уме Мережковского «вещи» эмансипировались от людей, получили самоцельное бытие, стали какими-то фетишами, а люди оказались только жрецами, кадящими им.

Почти каждое переживание героев Мережковского сопровождается той или иной цитатой, — и часто герои эти являются только для того, чтобы выразить собою ту или иную полюбившуюся автору цитату — ну, хоть вспомнить ее через тридцать лет после прочтения — и навсегда исчезнуть.

Царевич Алексей, на с. 430, вспоминает цитату из св. Дмитрия Ростовского, и еще из одного раскольничьего старца. На с. 591 Тихон вспоминает цитату из одной песни и еще из поучений одного валаамского инока; на с. 589 он вспоминает цитату из Спинозы, на с. 603 — еще одну цитату из Спинозы, на с. 604 — некоторые цитаты из поучений «нетовцев».

На с. 496, тот же Тихон вспоминает:

- a) отвлеченные математические выводы;
- b) сравнение математики с музыкой, сделанное Глюком;
- c) спор Глюка с Брюсом о комментариях Ньютона к Апокалипсису;
- d) мнение Брюса о раскольниках;
- e) еще одно изречение Ньютона с точной цитатой из Библии;
- f) трактат Леонардо да Винчи о живописи;
- g) еще одно изречение Ньютона;
- h) отрывок из раскольничьей песни.

Потом этот мнемонический гений засыпает, и ему снится цитата о странном каком-то городе, подобном «стклу чисту и камени иаспису кристаловидному», и это совершенно неудивительно, ибо полуграмотная царица Марфа, на с. 102, **т о ж е в о с н е** цитирует Ефрема Сирина о втором пришествии Христовом:

«Во имя Симона П е т р а имеет быть гордый Князь мира сего — Антихрист».

Вот до чего переполнено культурой творчество Мережковско-го. Даже во сне его герои не избавлены от цитат и к у л ь т у р н ы х переживаний... Человека всегда изображает Мережков-ский в аспекте культуры. Человечества копошащегося, вечного в своем рождении и смерти, «пушечного мяса», «миллионов дву-ногой твари», которых мы только что видели у Зайцева, у Ме-режковского нет нигде.

Думаю, что оно для него просто не существует.

Юлиан влюбляется в Арсиною потому, что она осуществляет для него ту культуру, которая ему дорога, культуру древней Ла-кедемонии, о которой он тотчас же вспоминает цитату из Про-перция.

Кассандра обольщает Бельтраффио цитатами из астрологов и святых отцов и рассуждениями о верхней и нижней бездне, — доказывающими, что она очень внимательно прочла некоторые сочинения Мережковского (с. 122).

Тихон сближается со скотницей Софьей и целует ее «с жадно-стью», и ласкает, «как Дафнис Хлою», на почве общих «убежде-ний», — общей «идеологии» — раскольниковства, и, конечно, не обходится без цитат из разных песен и книг (с. 463) и без «воспо-минания» о «лике земном в Лике Небесном».

Джоконда и Леонардо объединены очень утонченными, высо-ко-«культурными» отношениями, в которых участвуют музыка, живопись, цитаты из легенд и песен.

Единственная не-«культурная» или а-«культурная» связь — у Алексея с Ефросиньей, без цитат и без идей, но за то же она и разрывается жестокой изменой Ефросиньи, и измена эта имеет основой опять-таки не эффект, не обычную человеческую злобу, а опять-таки «убеждение», мысль, идеологию. Ефросинья гово-рит Алексею:

— Кем я была, тем и осталась: его царского величества, госу-даря моего, Петра Алексеевича, раба вечная. Куда царь велит, туда и поеду. Из воли его не выйду. С тобой против отца не пой-ду.

Идеи и цитаты властительны в мире Мережковского необык-новенно.

Ученик Леонардо — Бельтраффио цитировал-цитировал за-писные книжки учителя, его слова и стихи, священное писание и св. Франциска, а потом пошел и удавился. Процитирует пять-шесть отрывков и воскликнет: «О, горе, горе мне окаянному!» или: «Не могу я больше терпеть!» и т. д.

Это страдание от «вещей», от «цитат», от «мыслей», от «культуры» преследует также и Тихона, литературного двойника Бельтраффио.

Раскольники от таких же «цитат» лезут в огонь и сгорают тысячами.

Отношения Петра и Алексея, Юлиана и галилеян, Леонардо и всех его окружающих — это отношения культуры и культуры, их противоположность — противоположность двух «цитат».

Самые лучшие страницы трилогии — описание разных отвлеченных споров и идейных несогласий: «ученого поединка» при дворе Моро, церковного собора при Юлиане, и словопрения раскольников петровского времени, т. е. те, где цитатами определяются люди.

Жизнеописание Петра, Юлиана и Леонардо Мережковский ведет так, что о молодости их мы почти ничего не знаем. Петра и Леонардо он изображает на склоне лет, а Юлианову молодость совсем замалчивает. Мережковскому молодость не выгодна: там человек идет от Я к вещам, а не от вещей к Я, там культура растворяется в животности, а не наоборот.

Мережковский становится истинным виртуозом, тонким и богатым художником только тогда, когда он рассматривает человека сквозь наложение созданных человеком вещей — религии, языка, литературы, искусства.

Он назвал Толстого «тайновидцем плоти», а Достоевского «тайновидцем духа». Но между духом и плотью стоит «вещь», которую пренебрегли и Толстой, и Достоевский.

Воистину, г-н Мережковский есть «тайновидец вещи».

5

Мережковский любит идейную симметрию. Вы помните, как он характеризует Чичикова и Хлестакова:

«У Хлестакова необыкновенная легкость, у Чичикова необыкновенная вескость в мыслях. Хлестаков — созерцатель; Чичиков — деятель. Для Хлестакова все желанное — действительно. Для Чичикова все действительно — желанно. Хлестаков — идеалист; Чичиков — реалист; Хлестаков — “либерал”. Чичиков — “консерватор”» и т. п. (Гоголь и черт. С. 33).

Точно так же сближает он, разъединяя, Христа и Антихриста, Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Петра и Алексея. Дуализм — стихия Мережковского.

В трилогии такие симметричные сближения двух «бездн» — на каждом шагу. Где ни увидит Мережковский две совершенно противоположные вещи, так сейчас же подойдет и свяжет их одной ниточкой.

В «Леонардо» Евтихий связывает звериный образ и образ ангельский, крылья Дедала и крылья Предтечи (с. 808), венец Христа и венец Антихриста, именно потому, что они противоположны (817). Макиавелли связывает по тем же причинам добродетель и свирепость (513); Борджиа — Бога и Зверя (574); Мона Кассандра — Диониса и Христа (677), небо вверху и небо внизу (671) и т. д. Сам Леонардо ежеминутно связывает истину и ложь (203); Христа и Антихриста (219): мудрость змия с простотою голубя (220); святую Анну и машину, дух и механику (597); сладострастную Леду и святого Иеронима (591); бурную реку Адду и тихий канал Мартезану (436); два лика Господни противоположные и подобные, как двойники (382 и 396); в «Петре» Брюс связывает крайний Запад с крайним Востоком, величайшее просвещение с величайшим невежеством (83), а Тихон Китеж-град и Петербург (85), а фрейлина Манкгейм божеское и бесовское начало (133); страшные глаза и нежные губы (137); марсово железо и евангельские лилии (142) и т. д., и т. д., и т. д.

Чтобы все эти сближения не были невиннейшей чехардой — нужно одно: нужно показать душу человеческую, где они отзываются болью, или радостью, или ужасом, где они проявляются как молитва или проклятие.

Этой-то души и не дает Мережковский. Я напрасно искал во всех сотнях и сотнях страниц «Трилогии» хоть одно место, где бы было показано, как этот обоюдоострый меч двух культур пронзил живую плоть конкретного человека и как оттуда полилась живая красная кровь конкретного человеческого страдания. Ни один Диоген не найдет у Мережковского человека — живого, еще не ставшего вещью, еще вещь не порабощенного.

Правда, Тихон в «Петре» и Бельтраффио в «Леонардо» мечутся между двумя «безднами» и часто восклицают:

— Господи, избавь меня от этих двоящихся мыслей! Не хочу двух чаш! Единой чаши Твоей, единой истины Твоей жаждет душа моя, Господи!

Но ведь восклицания — не есть еще психология, и так как мы понимаем (да и автор этого не скрывает), что оба они, и Тихон, и Бельтраффио, только затем и созданы автором, чтобы восклицать, то остаемся к ним совершенно равнодушными.

И Леонардо, и Юлиан, и Петр — этого обещанного синтеза двух «бездн», о котором так много вокруг них говорится слов, тоже не

дают. Они то — то, то — другое, то с «голубем», то со «змием», то с «Богом», то со «Зверем», — и оба эти состояния сменяются у них довольно методически: вот Бог, вот Зверь, — а сразу, в химическом, так сказать, соединении мы этих двух начал у них не видим.

Правда, Леонардо создал Джоконду и Иоанна, где соединение это несомненно, но ведь это творчество Леонардо, а не Мережковского, и указать на чужой синтез — не значит еще синтезировать самому. Но разве Мережковский не взялся дать нам человека, не обещал нам его? Когда мы читали о двух безднах в прекрасных его статьях, мы верили, что бездны эти встречаются где-то в нас самих, в иных из нас, и что Мережковский кое-что знает об этой встрече. И вот настало время художественной расплаты по векселям теорий, — и он злостный банкрот, потому что, не умея дать синтез в душах, он дает его только в вещах:

«Царь сидел за токарным станком и точил из кости паникадило в собор Петра и Павла; потом из карельской березы — маленького Вакха с виноградной гроздью — на крышку бокала» (Христос и Антихрист. Т. III. С. 371).

Души Петра, где умещались две «бездны», мы не видим; но вот вам *вещи* Петра с этими безднами: с одной стороны — кадило, с другой — бокал. С одной — христианские мученики, с другой — Вакх.

Или вот еще:

Мастер Саломоне да Сессо вырезал на изумруде Венеру. Она так понравилась папе Александру VI, что он «велел вставить ее в крест, которым благословлял народ во время торжественных служб» (Христос и Антихрист. Т. III. С. 577).

Души этого папы, где умещалось сладострастие с молитвою, мы не видим; но вот зато *вещи* этого папы: с одной стороны Венера, с другой — крест.

Даже в книге, специально посвященной душе и личности Гоголя, Мережковский с самого начала махнул рукой и на эту душу, и на эту личность и занялся все той же тяжбой все тех же враждующих вещей:

— «И насколько этот кусок грешной бычачины ближе ко Христу, чем та страшная сухая просфора, которую впоследствии запостившийся Гоголь будет глотать, умирая от истощения и упрекая себя в обжорстве» (Гоголь и черт. С. 193).

Безгрешная бычачина и греховная просфора! — Эти две вещи все время сталкиваются и отталкиваются где-то над Гоголем,

делают друг другу реверансы, барахтаются, прыгают, а Гоголь лежит бездыханный, где-то внизу, и его душа есть лишь некоторая арена для их турниров, и рядом с ним в таком же положении повержены Леонардо, Петр, Юлиан, и порою кажется, что пропади они все — эта бычачина и эта просфора по-прежнему продолжали бы свою пляску.

И таких синтетических «вещей» буквально миллионы у Мережковского, — и их он всегда располагает рядышком, бок о бок, думая таким невинным способом слить две различные «бездны». Два противоположных отрывка из песни, две противоположных цитаты, два противоположных учения он непременно соединит так, чтобы **м е х а н и ч е с к и** напомнить нам о том, что **д у х о в н о** передать он не властен.

В «Юлиане» чуть мальчик-пастух заиграет гимн Пану, так сейчас же и жди, что старцы-отшельники в ту же самую минуту затянут:

— Да будет воля Твоя на земле, как на небе! (с. 364).

Или в «Петре», чуть где-нибудь раздастся песня «на Версальский манир».

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы, —

Так тотчас же, в ту же минуту, ей в пандан, послышится песня гробокопателей:

Дровяной гроб сосновое
Ради меня строен.
Буду в нем лежати
Трубна гласа ждати (с. 67).

Или в «Леонардо», чуть ведьма произнесет свои дьявольски-искусительные слова:

— На шабаш! Как в раю, там все позволено. Полетим туда, где дьявол. На шабаш! —

Так тотчас же, в ту же минуту — «раздастся унылый, мерный звон монастырского колокола, вечерний Angelus» (с. 124).

Такие совпадения случаются. Но для Мережковского все вещи должно быть заколдованы, ибо всегда, на протяжении этих сотен и сотен страниц, они совершенно волшебным образом движутся перед нами именно в таком порядке, выполняя собою незамысловатую формулу Мережковского.

И так велик фетишизм этого писателя, что на с. 392 «Леонардо» он доходит до такого образа:

Озеро, и в озере лебеди, — «качаются **м е ж д у д в у м я н е б е с а м и, н е б о м в в е р х у и н е б о м в н и з у,** одинаково чуждые и близкие обоим».

Это есть явление оптическое; человека оно не касается ни- сколько, и все же оно кажется Мережковскому таким значитель- ным, что в «Петре» он снова возвращается к нему. Там на с. 600, Тихон точно так же видит остров, отражающийся в озере, — «словно там внизу был другой остров, совершенно подобный вер- хнему, только опрокинутый, и эти два острова висели между двумя небесами».

Так загромоздил себя Мережковский вещами о двух безднах, что когда один раз в жизни выкарабкался из-под них и вышел на свежий воздух к озеру, то и озеро принял за «вещь» и его награ- дил двумя безднами.

Вот до каких страшных пределов чужда Мережковскому душа человеческая и человеческая личность.

Русский индивидуализм получает с его стороны неожиданный и бессознательный удар. Фетишист и тайновидец вещи, Мереж- ковский заменил души Леонардо, Петра, Юлиана огромными кучами разнообразных вещей. И не этот ли грех Мережковского бессознательно обличает Бердяев, когда среди разных похвал, мельчайшим шрифтом, в подстрочном примечании, укоряет сво- его духовного вождя за то, что «он почти не раскрывает религи- озной идеи о безусловном значении человеческого лица, плохо понимает личность, мистически ее недостаточно ощущает» (*Sub specie aeternitatis* *. С. 335). Не это ли отмечает Андрей Белый, говоря: «Мережковский смотрит сквозь человека» (*Утро России*. 1907). Не та же ли мысль сквозит во всех писаниях Розанова о Мережковском? Только один Мережковский не хочет заметить этого и на словах ежеминутно готов вступить за столь чуждую ему конкретную человеческую личность:

— «Самого драгоценного, единственного, неповторимого, что делает меня мною — в лопухе уже не будет. Не только человека, но и травяную вошь можно ли насытить лопушиным бессмерти- ем», — возмущается он в великолепной своей статье об Андрее- ве «В обезьяньих лапах».

Воображаю, как возмутился бы он самим собою, если бы су- дил свою «Трилогию» тем же судом, что и андреевскую.



* С точки зрения вечности (*лат.*).



А. Г. ГОРНФЕЛЬД

Г-н Мережковский и черт

Неожиданнее всего в новой книге г-на Мережковского ее подзаголовок. Книга называется «Гоголь и черт», а подзаголовок гласит «исследование»: не баллада, не фантастический рассказ, не шарж, а исследование — опыт объективного изучения взаимоотношений между великим русским писателем и самым настоящим чертом. «Настоящим» — это надо понимать всесторонне. Ибо для г-на Мережковского черт действителен и реален во всех смыслах и во всех видах. Когда для хода «исследования» надо, то это черт абстрактный, символический, не только метафизический, но просто метафорический: некоторое поэтическое олицетворение, в которое нет нужды верить или не верить. Но иногда, когда словесность — этот первоисточник творчества г-на Мережковского — требует, его черт очень далек от метафизики и аллегории. Как отец Ферапонт в «Братьях Карамазовых», г-н Мережковский просто ущемляет *ему* хвост во всей его прямолинейной реальности: «Как стал от игумена выходить, смотрю — один за дверь от меня прячется, да матерый такой, аршина в полтора или больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади, а я не будь глуп, дверь-то вдруг и прихлопнул, да хвост-то ему и защемил. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знаменем, да трижды, — и закрестил. Тут и подох, как паук давленный».

Этот подвиг заклинания беса поднял на свои рамена в последние годы г-н Мережковский, и надо сознаться, что если уж кому-нибудь надо заняться этим литературным экзорцизмом, то это, конечно, лучше всего сделать автору «Грядущего Хама», «Пророка русской революции» и «исследования» о «Гоголе и черте»: уже хотя бы во внимание к тому многообразию, в котором является ему черт. Он усматривает черта в самодержавии и в босяке, в позитивизме и православии, в Чехове и Чичикове. Отец Ферапонт тоже не ограничивал число и разнообразие своих чертей:

«Видел, — рассказывает он, — у которого на персях сидит, под рысу прячется, токмо рожки выглядывают; у которого из кармана высматривает, глаза быстрые, меня-то боится; у которого во чреве поселился, в самом нечистом брюхе его, а у некоего так на шее висит, уцепился, так и носит, а его не видит».

Последние слова наводят на раздумье. «Носит, а *его* не видит»; печальный удел. Не носят ли его те, которые его видят повсюду? Вот, г-н Мережковский назвал свою книгу «исследованием», зная, что тут не может быть исследования, быть может, даже желая посмеяться над «исследованиями» и теми, кто верит в их выводы. Вы, вот, полагаете, что куда-то пришли или придете с вашим суверенным и позитивным разумом и его «исследованиями»; а я «исследую» то, что никакому исследованию не подлежит: прищемлю мистико-метафизической дверью чертов хвост, «толстый, бурый и длинный». Но — не рано ли смеется г-н Мережковский? Принимая его таинственный, много говорящий и потому удивительно удобный тон, позволим себе спросить: не подсмеялся ли здесь кто *другой*? Нет ли пророческого в судьбе Гоголя?

Судьба Гоголя, согласно результатам исследования г-на Мережковского, заключается в следующем. Главной мыслью всей жизни и всего творчества Гоголя было «выставить черта дураком», посмеяться над ним; на самом же деле черт посмеялся над Гоголем.

Гоголь разоблачил черта, сорвал с него маску и увидел «подлинное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью». За двумя главными героями Гоголя, Чичиковым и Хлестаковым, при всем их несходстве, «скрыто соединяющее их третье лицо», лицо черта «без маски», «во фраке», «в своем собственном виде», лицо нашего вечного двойника, который, показывая нам в себе наше собственное отражение, как в зеркале, говорит: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь».

Как известно, Гоголь писал Хлестакова с себя; в научной литературе об этом говорилось не раз. Чтобы согласиться с признанием автора «Ревизора» — «есть во мне что-то хлестаковское» — достаточно пары цитат из его писем вроде: «Историю Малороссии я пишу всю от начала до конца. Она будет или в шести малых или в четырех больших томах» (Максимовичу, 1834 г.); или: «Я пишу историю средних веков, которая, думаю, будет состоять томов из восьми, если не из девяти. Авось-либо и на тебя нападет охота и благодатный труд. А нужно бы, право, озарить Киев чем-нибудь хорошим». Гоголь любил чудовищную гиперболу, чувствовал, что в жизни может согрешить отсутствием чувства

меры — и не была ли, в самом деле, нелепой хлестаковщиной его профессура? Как и другие, он очищался посредством творческого воссоздания своих недостатков: объективируя, он сознавал их, а сознание есть первый шаг в борьбе. «Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, их осмел я в них и заставил других над ними посмеяться». Кажалось бы, — здесь есть действительно повод для «исследования», но нет материала для того мистико-декадентского «углубления», которое г-ну Мережковскому представляется исследованием. Но этот материал найдется, если из Чичикова и Хлестакова сделать черта. И это, конечно, нетрудно тому, кто, как отец Ферапонт, готов видеть черта повсюду.

Попытаемся обозреть основания, по которым Хлестаков и черт едино суть. Прежде всего, Хлестаков «в качестве реальной величины в государстве — ничтожество»; но как личность умственная и нравственная — отнюдь не полное ничтожество... Но главные силы, которые движут и управляют им, — не в общественной и не в умственной или нравственной личности, а в безличном, бессознательном, стихийном существе его — в инстинктах. Тут, прежде всего слепой животный инстинкт самосохранения — неимоверный волчий голод... Природа, наделив его такой потребностью, вооружила и особою силою для ее удовлетворения — силою лжи, притворства, умения казаться не тем, что он есть. Он лжет чистосердечно, лжет как гений лжи. «Легкости в мыслях» его соответствует «легкость» в чувствах, в действиях, во всем его существе. Он эпикурейски вольнодумен, не знает нравственных уз, неудержимо опошляет все, чего ни коснется. «Дух его родственен духу времени» — и он бессмертен: дух его сказывается не только в романтических «кровавых незабудках» начала XIX века, но и в нашей современной декадентской резвости, в нашей ницшеанской дерзости, за которые здравый смысл, как старый барин, если бы узнал в чем дело, не посмотрел бы на то, что ты декадент или ницшеанец, а, «поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почесывался» (к слову сказать, у г-на Мережковского рубцы, очевидно, зажили; верно, поэтому он так весело смеется над своим вчерашним днем). В оперетке, заглушающей (?) Бетховена и Вагнера, в современном театре, в печати, в гласности, «с каждым днем все растет и растет Хлестаков». До сих пор чертом и не пахло; тут надо перебросить к нему словесный мостик. «Что значат все незаконные эти законы, которые, видите, в виду всех чертит исходящая снизу, нечистая сила, и мир это видит весь, и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над челове-

ством? Эта исходящая снизу нечистая сила и есть, конечно, сила Хлестакова». Она растет, растет, как видение. «Выше, выше, excelsior! это бранный клич Хлестакова, клич современного прогресса». «Я вездь, вездь» — бормочет пьяный Хлестаков. «Вот нуменальное слово — объясняет г-н Мережковский: вот уже лицо черта почти без маски: он вне пространства и времени, он вездущ и вечен... Зрители смеются и не понимают страшного в смешном, не чувствуют, что они, может быть, обмануты еще больше, чем глупые чиновники. Никто не видит, как растет за Хлестакова исполинский призрак, тот, кому собственные страсти наши вечно служат, которого они поддерживают, как поскользнувшегося ревизора — чиновники, как великого сатану — мелкие черти».

При помощи таких же критических и убедительных приемов доказано, что *Чичиков есть антихрист*. Не остановимся на них, чтобы дать г-ну Мережковскому показать, как нечистая сила Чичикова и Хлестакова восстала на Гоголя и посмеялась над ним.

Внутреннее противоречие было трагедией Гоголя. Христианство и язычество боролись в нем со стихийным ожесточением. Он был сладострастен и не знал любви к женщинам, он любил франтить, но был щеголем дурного вкуса; «отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутренняя неустойчивость, неравновесие ставят его в течение всей жизни в самые нелепые и смешные и даже прямо унижительные положения, делают его «комическим» или, вернее, трагикомическим лицом, собственною карикатурой». Противоречие везде: в его отношениях к матери, к которой он как будто был холоден и, однако, пламенно взывал в роковые минуты своей жизни; в его странной бесчувственности, смешанной с чрезмерной, болезненной чувствительностью; в его языке, то правдивом и точном, то гиперболическом и неправильном; в его болезни — неуловимой, как будто выдуманной и, однако, сведшей его в могилу; в его одиночестве, не нарушаемом ни дружбой, ни славой. Все это увенчивается «перепиской» с его высоким замыслом — и ее гигантским провалом, не только внешним, но и внутренним. Власть изувера отца Матвея, уверившего великого писателя в том, что творчество его с точки зрения православия есть грех, лишь довершила то, что в сущности было готово в больном сознании Гоголя: он отрекся от себя и сжег рукопись «Мертвых душ»; ему оставалось только умереть.

Трагедия Гоголя, вероятно, долго еще будет призывать к себе усилия исследователей. Быть может, даже тогда, когда будет сделано все возможное, — придется покорно сказать: «ignoramus».

Но путь к этому один — он идет по земле; г-н Мережковский вырывает его из области трех измерений — и попросту преграждает его Чертом. Сам Гоголь в эту страшную ночь, показывая на догорающие углы бумаги, сказал гр. Толстому: «*Как лукавый силен! Вот он до чего довел меня*!» Стало быть, дело просто: антихрист Чичиков, обратившись в ржевского протоирея, заставил самого автора сжечь обличающую нечистого книгу.

Такова основная мысль, и надо сказать, что она не вызывала бы никаких курбетов, если бы черт г-на Мережковского оставался в законной области метафоры. Но нечистый вновь посмеялся над своим обличителем — и угостил его таким же гигантским провалом. Надо проследить только ураган доводов, которыми г-н Мережковский пытается обставить свою идею. Это Бедлам. Здесь все так произвольно, так натянуто и в тоже время так легкомысленно, что диву даешься, как может уже немолодой и желающий быть серьезным писатель придавать какое-нибудь значение этому набору бессодержательных утверждений. Ничего не говорим против вывода. Хлестаков черт, и за ним черт — хорошо; но нужны же доводы, а не каскады слов. Это какой-то вихрь отдельных афоризмов, преувеличений, оторванных от текста и смысла цитат. Критического отношения к материалу — ни тени; не чувствуется никакого желания прочитать в произведении писателя то, что он вложил в него, а не то, что мне хочется. Сказанное метафорически можно понимать буквально; в словах писателя нет иносказания — вложим в них аллегория; есть факты противоположного свойства — тем хуже для этих фактов: они будут обойдены. Трудно себе представить, как можно одновременно любить истину и насиловать ее столь необузданным образом. Один незначительный, случайный пример. Надо подчеркнуть, что у Гоголя даже в этой мелочи, в недоумении одеваться, обнаруживается основная черта всей его личности — дисгармония, противоречие. Щегольство дурного тона». Для этого предпосылаются общее положение и иллюстрирующие примеры: «В заботе человека об одежде сказывается любовь и уважение к своему телу. Байрон и Пушкин хорошо одевались; у них выходило это так же просто и естественно, как и то, что они хорошо писали: во внешнем их изяществе невольно выразились соответствие, гармония между внешним и внутренним. В древней лютеранской статуе Софокла складки одежды кажутся столь же гармоничными, как и стихи его сочинений». Но — ради Создателя — какое отношение имеет лютеранская статуя Софокла к его уважению к своему телу и гармонии его стихов: ведь свою статую делал не он. Ведь складки пушкинского сюртука ни на одном его изображении —

вплоть до московского памятника — ни в малой степени не соответствуют гармонии его стиха. Одно из двух: или здесь есть внутренняя связь — тогда ее надо раскрыть; или здесь нет никакой почвы для сопоставления — тогда не надо его делать. Но бег г-на Мережковского неудержим в этой скачке с препятствиями логики, он смело и красиво перепрыгнул через дважды два четыре — стоит ли оглядываться? Однажды Гоголь, несмотря на свою крайнюю зябкость, всю зиму «отхватал в летней шинели». Эти подробности как будто заимствованы из жизнеописания Хлестакова. Но, кто знает? Не внушила ли Гоголю одного из глубочайших, гениальнейших его созданий, «Шинели», эта именно хлестаковская, подбитая ветром, шинель. Она была ему нужна (?), нужнее чем Пушкину изящество петербургского денди, чем Софоклу — красота величавого гиматиона».

Кто знает? Конечно, никто. Но всякий знает, что такими вопросами и гипотезами можно заполнить без труда и без нужды целые тома. Их содержание — оптическая иллюзия; но по существу это возрожденный схоластический номинализм: кажется, что речь идет о вещах; на самом деле нет ничего, кроме слов.

И оттого нет ничего проще, как принять критические приемы г-на Мережковского, написать целый ряд книг: Тургенев и черт, Стессель и черт, Бальмонт и черт, — Гапон и черт, Сигма и черт, Мережковский и черт без конца. Когда учитель географии предлагает первокласснику указать на карте город, местоположения которого тот не знает, злополучный мальчик обыкновенно мажет неопределенно всей ладонью по карте, в расчете, что где-нибудь под этой ладонью окажется и требуемая точка. Так, в сущности, делает и г-н Мережковский — он так растягивает своего черта, что его туманный фантом готов охватить что угодно. Он думает, что убедил кого-то. А на самом деле нечистый зло посмеялся над ним, как посмеялся некогда на учеником волшебника. И Мережковский, как *Zauberlehrling*, вызвал черта и заставил его лить — на этот раз словесную — воду, но загнать его не сумел, и «логорея» его становится неукротимой.

А между тем, ведь средство от черта есть, и довольно обыкновенное: то самое, которое старец Зосима в «Братьях Карамазовых» рекомендовал единому от иноков, видевшему во сне и наяву нечистую силу. Правда, отец Ферапонт с негодованием возмущался этим средством и у гроба старца обличал его неверие: «Пурганцу от чертей давал! А днесь и сам провонял!». Но, полагаем, и сам г-н Мережковский, в нынешнем своем воплощении, чувствует себя ближе к старцу Зосиме, чем к изуверу Ферапонту.

Здесь есть, несомненно, все элементы трагедии, но трагичнее всего то, что именно трагедии нет никакой: нет, ибо нет для нее

героя. В самом деле, что может быть мрачнее такого удела. Писатель искренний и образованный, симпатичный и умный, г-н Мережковский всегда в своей деятельности поглощен чем-то серьезным и важным; оправдывал он чистое искусство или отвергал его, он никогда в своих произведениях практически не был его жрецом. Он продуктивен и разнообразен, но во всех его сочинениях — в лирике и в поэме, в романе и критике — основу составляет искание смысла жизни. Это искание порывисто и благородно; он ищет истину со всем пылом, на который способен, и не отказывается во имя вновь обретенной истины отвергнуть то, что признавал не так давно. Этапы его развития заслуживают всяческого внимания; он отдал дань легкому либерализму, был туманным индивидуалистом в эпоху первоначального декадентства, усложнил этот индивидуализм знакомством с Ницше, потом от Антихриста перешел к Христу, пришедшему во плоти. С вдохновением верующего и проникнутого навеки обретенной истиной, он проповедует новое христианство, связанное с христианством историческим, но во всей своей полноте еще грядущее.

И однако, никто его не берет всерьез. Если не считать нескольких литераторов, для которых религия — литературный мотив, и только, — у него нет публики. Его читают, но с ним не считаются; он не импонирует. Легко ответить на это, что вина не в нем, что русское большое общество всегда было «постыдно равнодушно» к вопросам религиозности, а теперь тем более. Однако вот — не говоря уж о Владимире Соловьеве, — даже к Розанову относятся иначе: соглашаются с ним или нет, восхищаются или возмущаются, в нем признают умственную силу, признают право на учительство, — хотя бы для того, чтобы страстно отвергнуть его доводы и выводы. А Мережковский именно страсти не вызывает, потому что неизменно вызывает — улыбку. Есть что-то роковое в той пропасти, которая отделяет его приподнятое настроение от равнодушно-смешливого настроения, его окружающего. Чего-то незаметного, совсем ничтожного недостает ему, чтобы быть на настоящей высоте, чтобы истина, исходящая от него, всем казалась истиной, лишь переданной через него свыше: *gesta Dei per Demetrium*. Но этого ничтожного нет, а в нем все. Без него неизбежен тот страшный, «один», всего один шаг, который отделяет великое от смешного. Легкое веяние усмешки развеивает величавую манию пророка, и сочувственный взгляд уже почти преклонившегося адепта с ужасом открывает под ее сакральными складками — ходули, пошлые, деревянные, «человеческие, слишком человеческие» ходули.





П. СТРУВЕ

Спор с Д. С. Мережковским

І. ПЕРВЫЙ ОТВЕТ*

Есть два вида полемики. Один — полемика ради уничтожения противника. Другой — полемика ради раскрытия всех сходжений и расхождений мысли, полемика «по существу».

В своем нападении на меня Д. С. Мережковский отдал дань и первому, и второму типу полемики.

Лучше, чтобы первого не было... Но раз он есть, то необходим и в этом направлении отпор со стороны того, кто испытал нападение. К тому же у полемических эксцессов Мережковского есть своя хорошая сторона, о которой я скажу ниже.

Никакой ни проповеди, ни даже оправдания «зверства» в моей статье не было. Я рассматривал проблему государственного могущества под углом зрения государственности. Для того, чтобы это доказать, необходимо и достаточно привести то место из статьи «Великая Россия», в котором я формулирую основной ее тезис:

«Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его “отношением” или системой “отношений”. Это не уничтожает того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный закон бытия.

Для государства этот верховный закон его бытия гласит: всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридически “самодержавное” или “суверенное”, но и фактически самим собой держащееся государство желает быть могущественным. А быть могущественным значит обладать непременно “внешней” мощью. Ибо из

* Газета «Речь», 1908 г., № 47 от 24 февраля.

стремления государств к могуществу неизбежно вытекает то, что всякое слабое государство, если оно не ограждено противоборством интересов государств сильных, является в возможности (потенциально) и оказывается в действительности (de facto) добычей для государства сильного.

Отсюда получается девиз, который для обычного русского интеллигентского слуха может показаться до крайности парадоксальным;

Оселком и мерилom всей т. н. «внутренней» политики как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует т. н. внешнему могуществу государства.

Это не значит, что «внешним могуществом» исчерпывается весь смысл существования государства; из этого не следует даже, что внешнее могущество есть верховная ценность с государственной точки зрения; может быть, это так, но это вовсе не нужно для того, чтобы наш тезис был верен.

Но, если верно, что всякое здоровое и держащееся самим собой государство желает обладать внешней мощью, — в этой внешней мощи заключается безошибочное мерило для оценки всех жизненных отправлений и сил государства, и в том числе и его внутренней политики».

Очертив такими границами свой тезис, я не касался проблемы отношения государства к культуре и нравственности. Это и не было для меня нужно, в виду моих практических выводов. Если бы я в своей статье доказывал государственную необходимость угнетения поляков и евреев, — я был бы обязан тут же показать, как подобные выводы из моей государственной идеи относятся к идеям культуры и нравственности. Но ничего подобного я не доказывал, и потому мне не приходилось расширять своей темы.

Нет в моей статье ни малейшего намека и на ту мысль, которую мне приписывает Мережковский, а именно, что «в преобладании внешней политики над внутренней, силы меча над силой духа, государственной мощи над мощью культурной заключается залог государственного величия».

Проблема государства в окончательной своей постановке соприкасается для меня в настоящее время с проблемой не только культуры, но и религии. И потому «напоминания» Мережковского о «силе духа» отскакивают от меня. Они мне не нужны, как прописи, ибо я знаю, что ни культурно-исторические, ни религиозно-философские проблемы не выясняются и не разрешаются прописями. Когда Мережковский посрамляет меня «зооло-

гическим патриотизмом», то это тоже отскакивает от меня. С «зоологическим патриотизмом» я давно считался не только как практический деятель, но и идейно, еще в той, посвященной памяти Владимира Соловьева, статье «Что же такое истинный национализм?»*, с которой у меня связаны одни из самых драгоценных, незабываемых переживаний моей личной и политической жизни, в статье, которую я прощался с родиной, отправляясь в добровольное изгнание... С тех пор я многое пережил и многому научился. И если я стал отчетливо понимать и ощущать, что такое государство, — то этому научила меня не «превратная эстетика чудовищного», не «картонный ницшеанский инвентарь», а живая и пережитая мною история русской революции.

Нападение Мережковского на меня, наверное, встретит сочувствие и вызовет даже восторг в тех кругах, которым не нравится моя критика русского интеллигентского сознания, которые видят в этой критике «реакционерство» и «черносотенство». Она увеличит мое духовное и политическое одиночество в той среде, которую обычно зовут интеллигенцией. Мережковский смело сближает меня с... Меншиковым. Как ни неудобно в практическом отношении, как ни тягостно подобное непосредственно-политическое и почти личное обострение культурно-философского спора, оно имеет свои хорошие стороны в идейном отношении. Им подчеркивается глубочайшее расхождение идей.

В статье «Великая Россия», я говорил не только о балтийском и черноморском флоте, о сближении России с Англией и т. п. Я отправлялся от идей. И я благодарен Мережковскому за его резкое нападение, потому что оно показывает, что я затронул большое идейное место. В самом деле, суть моей статьи вовсе не в рецептах внешней политики и не в тактических директивах, а в идеях.

К этому я и перехожу.

Мережковский со смелостью, достойною всяческого признания, исповедует свойственный всей русской интеллигенции «враждебный государству дух» и в свидетели этого духа призывает Лермонтова, Герцена и Льва Толстого. «Эти три столь крайние и противоположные точки — Лермонтов, Герцен и Толстой — показывают всю площадь противогосударственной заразы, с которой борется Струве: эта площадь так велика, что истребить за-

* По цензурным соображениям — я находился в то время в административной высылке — она была напечатана под псевдонимом Н. Борисова в «Вопросах философии и психологии» за 1901 г.; перепечатана в сборнике моих статей «На разные темы».

разу — значит истребить едва ли не всю русскую интеллигенцию».

Странным образом Мережковский назвал людей, в сущности, вовсе или почти вовсе не принадлежащих к русской «интеллигенции» в культурно-философском смысле. Я не буду здесь характеризовать Лермонтова и Герцена в этом смысле. Скажу только: Лермонтов и Герцен были противогосударственниками, скорее всего, с точки зрения 3-го отделения.

А Толстой, ведь он не только отрицание государственности, он — воплощенное отрицание и русской «интеллигенции».

Для русской «интеллигенции» — в другом месте я покажу это подробно — характерно противогосударственное отщепенство, но отщепенство безрелигиозное и во имя *общественности*. Толстой же *религиозно* отрицает государство, во имя **личного** подвига, отвергая общественность.

В этом огромная, неизмеримая разница между русской «интеллигенцией» и Толстым. С легкой руки Владимира Соловьева, Волжанского, Мережковского религиозность русской революционной «интеллигенции» стала общим местом, но не сделалась от этого истиной.

Религиозности у «интеллигенции» не может быть вне религиозных идей. Религиозных идей у русской «интеллигенции» никогда не было. Религиозность русской революционной «интеллигенции» есть благочестивая легенда. «Враждебный государству дух» питается у Толстого и у самого Мережковского из религиозных источников. Но у русской-то «интеллигенции» этот дух лишен всякого религиозного питания. Поэтому-то он так беспомощен, убог и противокультурен. Мережковский — повторяю — сам идейно стоит вне русской «интеллигенции». Более того, он сам — «истребляет» ее. Ибо в чем его мечта и жизненное дело? В том, чтобы привить русской «интеллигенции» религию. Ну, а если есть в России «фантастичнейшая сказка, отвлеченнейшая утопия», так это мечта — привить русской «интеллигенции» религию, не истребив идейно «интеллигенцию». Религиозная «интеллигенция» есть твердая жидкость, *contradictio in adjecto* *. Возможны разные компромиссы, но не такие.

Безрелигиозное противогосударственное отщепенство выступает в духовной истории русской «интеллигенции» в двух формах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме — в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и кн. Кропоткин).

* противоречие в определении (*лат.*).

Относительным это же отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. *Исторически* это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же, как принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е., в сущности, государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и ступшевывается перед враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и о государстве как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства*.

Присоединяя себя к «враждебному государству духу», проникающему русскую революционную общественность, Мережковский вместе с ней становится перед тупиком. Государство есть важнейшее орудие создания культуры в общественной форме.

С точки зрения общественной культуры самое преодоление государства мыслимо только в формах государства. Враждебность интеллигенции к государству есть психологически величайший тормоз развития культуры.

В этой враждебности, приравнивающей «государство» к «начальству» и отечество к «его превосходительству», «государственное начало» к «старому» или «существующему порядку», сказывается рабья психология, образовавшаяся в невольной отчужденности от государства, которая стала привычным, нормальным, единственным «приличным» к нему отношением. Это, в то же время, полицейская психология навыворот.

Толстой на почве своего внеисторического противогосударственного мировоззрения вполне прав, отрицая государство. Но, как Мережковский, прославляющий и проповедующий общественность, может это делать? Этого я не понимаю. Отрицание государства есть программа либо «неделания», либо разрушения, но не культурного творчества.

Пусть отречение Мережковского от родины не есть бутада банального радикализма, — во всяком случае, это не общественная программа, а личный вопль политического и культурного бессия-

* Приписка к отдельному изданию. Это место было мною заимствовано из написанной в 1907 г. статьи, которая потом вошла в сборник «Вехи».

лия. Этому воплю я противопоставляю строгие и мужественные слова Тургенева, вложенные им в уста Лежнева:

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто, действительно, без нее обходится. Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии».

Возражая мне, Мережковский все танцует от печки «существующего» или «старого порядка». Но ведь в том-то и центр моих рассуждений, что «враждебный государству дух» «интеллигенции» есть порождение «старого порядка». И оба они живы лишь друг другом.

«Всечеловечность» русской интеллигенции, в которую так верит Мережковский, восторгается, по его учению*, тогда, когда Россия вовлечет старый западный мир в свою «абсолютную» и «универсальную» революцию.

Все это старая революционная перелицовка славянофильства и его мессианизма.

Перефразируя Мережковского, я скажу: меня, старого западника, на этой славянофильской мякине не проведешь.

Я западник и потому — националист.

Я западник и потому — государственный.

При всем моем национализме, я настолько уважаю религию и государство, что Оливера Кромвеля ставлю выше Стеньки Разина и Карлейля выше Бакунина. Мне даже стало неловко от сравнительной степени, мною употребленной при сопоставлении этих имен.

Мережковский изливает моральное негодование и иронию на то, что я якобы «благоговею» перед «величием» Бисмарка. У нас принято в широкой публике считать Бисмарка «хищником», а Чемберлена — прямо «мошенником». Боюсь, что Мережковский близок к такому историческому пониманию, хотя ему и чужда та наивно-националистическая точка зрения, с которой производятся подобные оценки. Для меня «величие» Бисмарка есть в известном смысле исторический факт, и я думаю, что Мережковский лучше понимал бы этот факт, если бы сквозь «хищничество» Бисмарка рассмотрел его религию. Ее хватило бы на миллион

* Изложенному им — совместно с З. Н. Гиппиус и Дм. В. Философовым — в их французской книжке, о которой в «Речи» уже писал А. С. Изгоев.

Бакуниных. Историческое величие Бисмарка остается фактом, хотя бы мы к его имени приписали слово «хищник» или даже «Зверь» с большой буквы. «Все мировые хищники, — пишет Мережковский, — оказывались железными колоссами на глиняных ногах». Для политической ориентировки в делах современности следовало бы условиться только, кого признавать «хищниками». Если — как это часто принято опять-таки в широкой публике, где банальный радикализм идет рука об руку с наивным национализмом — «мировыми хищниками» считать Германию (Бисмарка) и Англию (Чемберлена), то я бы — в порядке «феноменального», а не «ноуменального», или апокалиптического — предостерегал бы от веры в глиняный состав ног этих колоссов.

Идеи Мережковского — последняя яркая вспышка славянофильства и в то же время последний *идейный* якорь русского революционизма.

Далеко заброшен этот якорь: в христианский апокалипсис. Есть что-то трогательно детское в этом сочетании апокалипсиса и революционного социализма. Это самая художественная и в то же время самая детская, самая наивная форма славянофильства и революционизма. По точности методов и осторожности Герцен, в сравнении с Мережковским, какой-то Ньютон, Бакунин — какой-то Дарвин. Должен сознаться, апокалиптических теорий Мережковского о русской революции я на французском языке не мог читать без улыбки. Блестящий русский стиль скрадывает наивность мысли. Перевод убивает стиль, и детскость мысли забавно выступает наружу.

В то же время Мережковский и его друзья живо чувствуют и чтут культуру. Мережковский, один из самых «воспитанных» русских писателей, весь пропитан культурой. Это — несмотря на весь апокалиптический революционизм вчерашнего мистического поклонника самодержавия — сближает Мережковского с нами, «кадетами», «либералами», «умеренными».

Марксист Неведомский* с великолепным, истинно «классовым» чутьем в сотрудничестве Мережковского в «кадетских» изданиях усмотрел молчаливый «контрреволюционный» заговор; официозная «Россия», наоборот, может быть, в том же факте завтра усмотрит заговор «революционный». Пусть оба лагеря успокоятся. Нас с Мережковским и людьми подобного типа сближает один только заговор — заговор в защиту культуры. Эта тяга к культуре заставила Мережковского найти на Западе «праведное,

* См.: Современный мир. Февраль. 1908.

мудрое, доброе, *святое* мещанство», и возвысить голос в его защиту против старого русского «варварства» и, «нового русского хулиганства» *. Так уважение к культуре сбивает Мережковского с его славянофильской позиции. И, если бы он к «социально-славянофильской браге» ** Герцена не примешал еще более опьяняющей апокалиптической эссенции, он сам был бы просто «добрым европейцем» из сословия «святых мещан» и хорошим русским... западником.

Да, такова логика идей и игра истории. Самодержавие протянуло жизнь и славянофильству, и революционизму. И до сих пор оно их поддерживает и создает новые их сочетания.

Тургенев в 1867 г. писал Герцену: «Дай Бог прожить тебе сто лет, и ты умрешь последним славянофилом». Теперь Герцену было бы почти сто лет. Я, в 1908 г., желаю Мережковскому тоже прожить сто лет, но в таком случае ручаюсь, что он умрет не славянофилом, и перестанет в Великой России и в русской государственности видеть — волка. Конечно, если он будет не только жить, но и переживать историю.

II. КТО ИЗ НАС «МАКСИМАЛИСТ»?*** НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СПОРА

Мы не можем убедить друг друга. Но зато мы могли бы обозначить для читателя свои позиции с полной ясностью, не допускающей никаких сомнений. К сожалению, ответ Мережковского снова запутывает и затемняет истинное соотношение наших идейных позиций. Конечно, не намеренно, а в силу неспособности Мережковского понять иное отношение к вещам, кроме «максималистского».

Поэтому, вместо того, чтобы признаться в своем религиозно-общественном максимализме, он мне приписывает максимализм «религиозно-государственный». Сам он, правда, чувствует какую-то неуверенность в этом и как будто готов признать меня не максималистом, а прямой противоположностью такого типа, скептиком. Но возражает он мне как религиозно-государственному максималисту. Иронию мою насчет Бисмарка как «Зверя с большой буквы» он, очевидно, не понял, как не понял и того, что

* См.: Речь. 11 февраля. 1908.

** Выражение Тургенева в его письме к Герцену от 8 ноября 1862 г.

*** Газета «Речь», 1908 г., № 66 от 18 марта.

моя точка зрения не требует вовсе «преклонения» ни перед какими идолами Бога и Зверя.

Мережковский, при всем своем замечательном историческом образовании, при всей своей художественной интуиции отдельных исторических эпох, как настоящий религиозно-общественный максималист, верующий в апокалипсис, не способен ощущать историю и мыслить исторически. Он верит в изменения катастрофами, скачками, разрывами. В этих разрывах: революция — реакция, Бог — Зверь противопоставляются друг другу с остротой отвлеченных понятий, между которыми не может быть никакого иного отношения, кроме противоборства. «Превратить реакцию в революцию сверху — это такое же чудо, как превратить камни в хлеб, змею в рыбу». Отрицание «чуда» странно звучит в устах Мережковского. Но по существу гораздо важнее, что *история полна такими «чудесами»*, которые отрицает Мережковский. И г-н Столыпин — пусть он просто-напросто реакционер, водворяющий старый порядок — был бы величайшим чудотворцем, если бы он мог предотвратить ход вещей в таком направлении. Я не считаю г-на Столыпина чудотворцем. Величие Бисмарка состояло именно в том, что он с гениальной смелостью и мощью превратил реакцию в революцию сверху. Но такие «чудеса» — без всяких гениальных людей — с исторической неизбежностью совершались и будут совершаться постоянно в творческом процессе *живой истории* народов. Манифест об освобождении крестьян был *optima forma** издан впервые 31 июля 1774 года Емельяном Ивановичем Пугачевым. Это был акт несомненно революционный, за которым в истории последовала жестокая реакция, длившаяся почти сто лет, пока манифестом 19 февраля 1861 г. эта реакция не превратилась в революцию сверху. Я думаю, что никакая революция сверху не совершается без революции снизу, но, с другой стороны, никакая революция снизу ни к чему не приводит, не захватив верхов...

Пусть история требует для разрешения и завершения своих процессов мучительно долгих сроков. Но и апокалипсиса пока еще не обещают нам без всяких сроков; до сих пор он заставлял себя ждать и в своей богоматериалистической и даже в своей социалистической версии: ни конца мира вообще, ни конца мира буржуазного еще не видится.

Я прекрасно вижу, что понимание государства как «соборной личности» связано с теоретическими и практическими опасностями; эти опасности указаны в моей статье «В чем же истинный

* в лучшем виде (*лат.*).

национализм?» * Но все-таки это понимание правильное и плодотворное, и из-за опасностей, с ним связанных, нельзя живую ткань государства, от колыбели до могилы объемлющую личность, и, несомненно, питающуюся глубочайшими религиозными переживаниями, превращать в мертвое орудие, в безжизненный механизм. Это то варварское противоорганическое и противоисторическое воззрение, на которое еще в 1800 г. с таким пафосом восстал в своих «Монологам» Шлейермахер. Конечно, культура и национальность не создаются только государственностью. Но многие драгоценнейшие плоды культуры и национальности выросли именно на стволе государственности.

Отрицание государства Мережковским апокалиптически и максималистично; мое признание государства исторично и органично. Совершенно верно, что соотношение между государственностью и культурой чрезвычайно сложно. Но разве можно сказать, что македонская государственность просто понизила уровень эллинской культуры? Ясно, кажется, что македонская государственность была повивальной бабкой универсальной фазы эллинской культуры, эллинизма.

А христианство есть если не более, то столько же творение этой фазы эллинской культуры, сколько и еврейской. «Шиллер и Гете невозможны после Бисмарка в объединенной Германии». Почему? Только потому, что они вообще не могут повториться. Но Германия Бисмарка дала Вагнера и Ницше. Важнее, однако, для исторической оценки связи между культурой и государством то, что Бисмарк и объединенная Германия были невозможны без Гете, Шиллера, Канта, Фихте, Вильгельма ф. Гумбольдта и Гегеля, без романтики; что великая национальная культура духовно предвосхитила и подготовила великое государственное объединение, что германское «Weltbürgertum» ** есть материнское лоно национально-государственной идеи. «Ангелы» культуры родили «Зверя» государственности. Такова история. Религиозный мессианизм всечеловеческого, универсалистического характера был воспреемником итальянского национализма и итальянского объединения (Джиоберти). Если государственность несущественна для культуры и национализма, то чем Мережковский объяснит жгучую «тоску по государству» безгосударственных национальностей, немцев и итальянцев до объединения, а в наше время поляков? Культура универсальнее государственности; национальность мягче ее. Но отношение между ними не есть

* В сборнике «На разные темы».

** Мировое гражданство (нем.).

отношение ни антагонизма, ни механического подчинения. Кн. Е. Н. Трубецкой уже указал Мережковскому, что «всечеловечность» и признание национального начала, сочетающегося с государственностью, не противоречат друг другу.

Универсализмом, идеей объективного всемирно-исторического призвания одухотворен и столь часто поносимый английский империализм, который, вопреки мнению кн. Трубецкого, в общем и целом есть движение прогрессивное и проникнутое идеализмом.

Я хорошо знаю, что «Апокалипсис сочетался с революцией» у солдат Кромвеля. Но тут опять-таки в истории «Бог» родил «Зверя», или даже прямо: «Бог» трудился для «Зверя» — я говорю о «Боге» и «Звере» с точки зрения Мережковского. Из пуританского духа английской революции — как это с поразительной ясностью показал в своих замечательных исследованиях Макс Вебер — родился капиталистический дух и экономическая дисциплина английской буржуазии, а Кромвель был творцом «Великой Британии» и ее военно-морского могущества.

Ясно, что с апокалиптическими категориями «Бог» — «Зверь», которыми орудует Мережковский, нельзя подступиться ни к одному историческому явлению. А потому — при помощи этих категорий — нельзя понимать и оценивать и живых, совершающихся при нашем участии, процессов истории.

В споре Мережковского со мною апокалиптическое и отвлеченное понимание противостоит пониманию историческому и живому.

Но этим не исчерпывается наше разногласие. Оно идет еще глубже. Мы разную носим в себе религию. Мы разное понимаем религию и разное ощущаем Бога. Апокалиптическая религия основана на вере в сверхъестественную материализацию Царства Божия. Это тот христианский «богоматериализм», который в России философски основан Владимиром Соловьевым. Но есть другая религия, которая из христианства взяла в качестве основной, определяющей мысли: «Царство Божие внутри вас есть». Это разное понимание религии определяет различное отношение к русской революции и «интеллигенции». С революцией и интеллигенцией Мережковского и субъективно-психологически, и объективно-догматически связывает тот материализм, который заключен в его богоматериалистической религии. На место более скромной социально-экономической феерии капиталистического *Zusammenbruch*'а, верой в которую живут социалисты, он лишь ставит роскошную космическую феерию христианского апокалипсиса. Но то иное, «внутреннее» понимание религии не

знает веры ни в какие феерии, ни в социально-экономическую, ни в апокалиптическую. Поэтому, как это ни странно, оно гораздо ближе к подлинному мистицизму, чем богоматериализм. Ибо мистицизм состоит в прикосновении к тайне, а не в раскрытии ее, не в материальном и всецелом овладении ею. Богоматериализм развертывает религию в материализованные догматы, мистицизм таит ее в интимных переживаниях. Мир объят тайной, но ее никто не может преподнести мне ни на каком апокалиптическом блюде. Поэтому мистицизм всегда сродни тому, что всяческий догматизм, и в том числе богоматериализм, едва ли не презрительно именуется скепсисом: великие тому примеры в литературе: свободные от догматизма мистики — Гете и Тургенев. Подлинный мистицизм отличается тем, что есть некоторая моральная аналогия здорового умственного скепсиса: стыдливостью и мерой. Это необходимо подчеркнуть в наше время, когда именем мистицизма прикрываются бесстыдство и наглая чрезмерность.

Философский итог нашего спора можно формулировать так: *апокалипсис против истории, богоматериализм против мистицизма*. Два различных понимания исторического процесса и религии стоят одно против другого. Между ними не может быть никакого идейного примирения.

Я не буду опровергать воззрения Мережковского на русское государство как на «полупризрачное тело химеры». Воззрение это как общая формула столь неисторично, что против него не стоит и спорить. В этом воззрении, конечно, выражается не «химеричность» самого русского государства, а лишь глубокий противогосударственный или негосударственный дух, разлитый в русском обществе. Согласен, что этот дух — огромная реальная опасность для самого бытия государства. Готов допустить, что он разлит не только в образованном обществе, но и в народных массах. Отсюда, однако, для меня вытекает лишь еще большая обязанность проповедывать идею «Великой России» и работать над ее созиданием. Ведь и самая государственность, если ее понимать не механически, а органически, есть лишь общественное воплощение другой более общей идеи: идеи дисциплины. А без дисциплины невозможна культура.

Что касается печи Навуходносора, то я не желаю сажать Россию ни в какую печь. Но в случае эмпирического осуществления апокалиптической программы Мережковского дело не обойдется без «огненной печи». Недаром «белое каление в мистике дает красное каление в политике». А последнее неизбежно даст «белое каление» уже снова и в «политике».

И со «сковороды» таким порядком мы попадем в целое пекло или даже в последовательные пекла разных степеней каления.

Основная ошибка Мережковского заключается в том, что он ведет спор сразу в двух плоскостях: в плоскости конечных философских вопросов и в плоскости текущей политики, в плоскости «Бога—Зверя» и в плоскости... г-на Столыпина. Большинству читателей Мережковского доступна и интересна только вторая плоскость. Апокалиптические чаяния и предвидения Мережковского для этих читателей только эмпирический, практически-политический смысл и «вкушаются» ими только с этой точки зрения (см. разные «Свободные Мысли» и т. п.). Но эмпирическое осуществление какой бы то ни было революции только отодвигает во времени, а не устраняет те политические и культурные проблемы, которые я выдвинул в своей статье.

Проблема «Великой России» станет в известном смысле еще несомненное и резче перед сознанием русской нации, когда исчезает политическая злоба текущего дня.

Спор мой с Мережковским ведется, конечно, не об «его превосходительстве», а об «отечестве», не о г-не Столыпине, а о русском государстве. Кстати, формула «Великая Россия» взята в моей статье из речи г-на Столыпина, но если она откуда-нибудь мною действительно *заимствована, как лозунг*, то вовсе не из этой речи, а из книги англичанина Сили «Расширение Англии», изданной еще в 1903 г. в русском переводе по моей инициативе *. Эти классические лекции кембриджского профессора — историческое евангелие английского империализма — оказали на родине автора огромное влияние на умы. У нас они — в эпоху успеха разной макулатуры и полумакулатуры — залежались в книжном складе издательства, и даже в переводе известны только немногим специалистам...

Но, если спор идет не о начальстве текущего дня, не о министре внутренних дел, а о русском государстве и, в конечном счете, о государстве вообще, то кто же из нас «максималист»? Тот ли, кто, как Мережковский, в государстве видит «Зверя», или тот, для кого, как для меня, государство есть великая культурная сила, в борьбе за которую, средствами которой нация упорным, дисциплинированным трудом подымается с одной ступени исторического бытия на другую?



* Издание О. Н. Поповой, перевод В. Я. Герда под редакцией В. А. Герда.



Н. М. МИНСКИЙ

Абсолютная реакция

Леонид Андреев и Мережковский

I

Всякий, кому дороги интересы истины вообще и русского самосознания в особенности, не может без грусти смотреть на рецидив самой грубой, самой суеверной религиозности, в который впала некоторая часть наших писателей. Среди них первое место по таланту и трудолюбию, несомненно, занимает Мережковский, с его проповедью новой апокалипсической церкви и теократического государства. Впрочем, свою сектантскую проповедь Мережковский заботливо кутает в формы критических статей, и таким образом он сделался творцом особого, еще небывалого рода литературной критики. До сих пор мы знали критику эстетическую, психологическую, общественную, философскую. Мережковский создал критику миссионерскую, проповедническую. Каждая проповедь, как известно, должна быть обмотана вокруг какого-нибудь текста. Мережковский избрал текстом для своей «неохристианской» проповеди всю русскую литературу. Как будто он опасался, что в неприкрытом виде его религиозная идея не будет принята русским читателем. И вот он делает над читателем некоторое неприметное насилие, заставляет слушать себя, скрываясь за словами, мыслями и образами любимых писателей. Не он, Мережковский, раскрывает тайны Апокалипсиса, а старец Зосима, Раскольников, Иван Карамазов. Миссия Мережковского стала, таким образом, делом всех русских писателей, всех созданных ими героев. Мережковский никогда не проповедует своими словами, — всегда чужими, всегда цитатами. Но Мережковский на самом деле устраняет подлинного автора, скрывает его от глаз читателя и создает из цитат своего собственного, са-

модельного Толстого, Достоевского, Андреева, которые, конечно, подтверждают все, что угодно критику. В Англии, говорят, есть адвокаты, которые так умело ставят вопросы свидетелю и так искусно толкуют его ответы, что желательный тезис всегда является доказанным. То, что для такого опытного адвоката ответы свидетеля, то для Мережковского — цитаты, и нужно сознаться, что в искусстве пользоваться цитатами у него нет равных. Мережковский во главе своих цитат — это Наполеон во главе своих воинств. Он тайновидец книжных цитат. Есть цитаты, — некоторые слова Достоевского, — которые Мережковский приводит сто, несколько сот раз — и каждый раз они сверкают, как новые. Мережковскому достаточно фразы, одного выражения, намека, чтобы создать целое словесное событие. Благодаря этому необычайному мастерству, критические этюды Мережковского на первый взгляд кажутся блестящими маневрами, парадными мыслями и слов, но вскоре начинаешь находить их бессодержательными. В них нет главного достоинства критики — искания в разбираемом писателе его индивидуальных, неповторяемых, неожиданных черт.

Мережковский, наоборот, находит в писателе лишь то, чего ищет, свои же вопросы получает перечеканенными в ответы. Страстность же, умственное кипенье, нервная напряженность этой сектантской проповеди сильно утомляют, — и один знакомый психиатр говорит мне, что второй том о Толстом и Достоевском напоминал ему буйное отделение, в котором пациентка, вообразив себя роженицей, кричала голосом в течение двух лет. И если бы еще Мережковский рожал истину! Когда-то, проповедуя ницшеанство, он написал замечательную статью о Пушкине. Но с тех пор сколько таланта, сколько нервной силы, сколько труда ушло на борьбу с разумом, на защиту слепой и ослепляющей веры, на завязывание критических узлов, распутать которые очень нелегко. По существу, каждый критический этюд Мережковского является исповеданием веры и спором о вере. Но как только захочешь вступить с проповедником в спор и доказать ему и другим ложь и обветшалость его веры, как проповедник давно исчез и перед тобою переговариваются Достоевский, Герцен, Бакунин, о. Паисий, Ставрогин, — и то не подлинные, а призрачные, составленные из цитат. Для того, чтобы распутать эти критические узлы, приходится совершать тройную работу. Во-первых, показать, каков подлинный критикуемый автор. Во-вторых, каким представил его Мережковский. И, в-третьих, подвергнуть критике ту религиозную идею, для проповеди которой критикуемый автор был лишь поводом. Я постараюсь совершить эту трой-

ную работу на примере критической статьи Мережковского об Андрееве, как наиболее близкой нам по времени и наименее сложной по содержанию.

Легко понять, чего искал Мережковский в Андрееве, что он хотел и должен был отыскать. Безбожие и пессимизм Андреева — вот текст, который должен был показаться Мережковскому особенно заманчивым. И позиция Мережковского, на первый взгляд, представляется очень сильной. В самом деле, если Василий Фивейский, усомнившись в Боге и в чуде воскресения, видит в человеке только «проклятое мясо» и сам падает мертвый от ужаса, если атеист Андреев всю «Жизнь человека» сводит к бессмысленному и болезненному верчению в колесе, под хохот уродливых старух и равнодушное молчание «некто в сером», то отсюда вывод, казалось бы, только один: для того, чтобы человек перестал быть «проклятым мясом», а жизнь — бессмысленным злом, необходимо снова уверовать в чудесное. Мережковский был бы прав, если бы человеку не оставалось другого исхода, как сделать выбор между слепой верой и слепым отчаянием. К счастью, в действительности оно не так. Есть еще третье отношение к жизни, равно далекое от веры и отчаяния, есть высшая религиозность, почерпаемая не из мертвых книг и не из преданий, а из вечно живого, вечно светлого источника разума, и весь вопрос в том, что ближе к этой высшей истинной религиозности — атеизм ли отчаявшегося и «глупого» Фивейского, или неохристианство жизнерадостного и умного Мережковского.

Может быть, Мережковский прав, называя Фивейского «просто глупым». В своей простоте и глупости Фивейский полагал, что если чудесное благо воскресения возможно, то оно не должно висеть, словно прикрепленное на ниточке к небу, маня и дразня испуганное смертью, беспомощное человечество, а должно быть доступно людям в тех случаях, когда злодеяния смерти слишком жестоки. Фивейскому в его глупости кажется, что если Бог уже дважды победил смерть — в первый раз воскресив Лазаря, а во второй раз воскресши сам, то Он должен теперь помочь верующему в него сельскому попу Фивейскому и воскресить мертвого Семена, у которого остались беспомощные вдова и дети. Чудо не совершается, «гниющая масса» не оживет, и вот неумный, а, может быть, безумный или, всего вернее, безумно любящий и до безумия веровавший Фивейский бросается вон из церкви и умирает. «Так зачем же я верил? Так зачем же Ты дал мне любовь к людям и жалость — чтобы насмеяться надо мною!» вопиет он перед смертью. Фивейский сразился с верой, — но можно ли признать его побежденным? Физически он, конечно, был побежден.

Сердце его порвалось, не выдержало ни ужаса перед «гниющей массой», ни скорби о своей бессильной любви. Но кое в чем Фивейский победил. Одно духовное благо он спас невредимым: сознание верховных прав своей личности. Всем своим существом он чувствует, что есть какие-то весы, на которых разум и любовь неведомого сельского попа весят столько же, как страдания и любовь сына человеческого. Он требует у Христа чуда, как равный у равного. Фивейский потерял веру в Бога, но сохранил уверенность в своей личности. А так как личность является единственным источником всякой религиозности и святости, и истины, то возможно, что Фивейский и вовсе не был побежден. Возможно, что, ужаснувшись при виде невоскресшей «гниющей массы», Фивейский за своим же ужасом сам обрел воскресение духовное, ибо, умерши как член церкви, он воскрес как личность; умерши как верующий, воскрес как познающий. Отрицание чуда окрылило Фивейского, и он побежал из церкви с такою силой, что, свалившись в пути, «сохранил в своей позе стремительность бега, как будто и мертвый продолжал он бежать». Как ни мал совершенный Фивейским подвиг, как ни отстал он в своем развитии от таких титанов мысли и чувства, как Кант и Штирнер, все же нужно сознаться, что побежал он в том же направлении, в каком шли все освободители человеческой личности, ибо бежал Фивейский, обращенный спиной к гробу с «гниющей массой», к мертвой вере, а лицом — к простору космоса, к действительным благам свободы и разума. Его слабое сердце было полно отчаяния недавних разочарований, но те, что пойдут по его следам, поймут его победу и почувствуют светлую радость. Атеизм и материализм — только первые этапы на его пути; за ними выход к высшей религиозности и откровениям мистического разума, к которым Фивейский, сам того не сознавая, и стремился из духовты суеверий.

Нечто противоположное произошло с Мережковским как с религиозным мыслителем. Свои поиски истины он начал далеко от церкви, на вольном просторе эллинской красоты и ницшеанства, и первые его труды — Юлиан Отступник и Леонардо да Винчи — еще проникнуты буйным духом возрождения и гордостью «сверхчеловека». Но и Мережковского, как Фивейского, охватил ужас смерти, и он, как Фивейский, захотел победить смерть чудом воскресения во плоти, с тою, впрочем, разницей, что «глупый» поп пожелал воскресения не ради умершего Семена, а ради жены и детей Семена, из великой жалости к страданиям маленьких, никому не зримых, где-то неслышно плачущих людей, — между тем, как образованный писатель возжаждал

воскресения во имя последнего, абсолютного комфорта жизни. Принять мир он согласен лишь под тем условием, чтоб трагедия смерти потеряла свою трагическую безвыходность и превратилась в комедию умирания, чтобы крестные муки приготовленной каждому Голгофы, укоряющий вопль каждого: зачем? и согласие немногих лучших на то, чтобы совершилось трагическое таинство, — чтобы все это существовало так себе, для сценического эффекта, а чтобы на самом деле умерший сейчас же или со временем, с соблюдением очереди, опять очутился в живых, подобно герою мелодрамы, воскрес не только духом и разумом, а плотью, приобрел свою прежнюю плоть, но уже непроницаемую для смерти, плоть с вечными волосами и нетленной кожей. А так как разум твердит нам, что в условиях реальности такое воскресение невозможно, то Мережковский отрекся от разума во имя веры. И вот в то время, когда Фивейский, потеряв веру в воскресение во плоти, сам воскрес как разумная личность, Мережковский, укрепившийся в этой вере, умертвил разум и способность свободной критики, без которой личность немислима. Фивейский, ужаснувшись гроба с «гниющей массой», бросился на вольный простор космоса — Мережковский, под влиянием этого ужаса, побежал назад. Фивейский устремился от гроба, Мережковский к гробу. Подобно птице, которая до самозабвения испугавшись раскрытой пасти змеи, от испуга и забвения падает в эту пасть, так Мережковский, сосредоточившись на мысли о зияющей, безвоскресной смерти, сам очутился в зияющем гробе мертвых слов и цитат, сам сделался религиозным мертвецом и призраком и примкнул воображением, прилепился мыслью к сонму других религиозных призраков — к разным Антихристам, Сатанам, князьям мира, дьяволам и дьяволицам, бесам большим, средним и малым — словом, ко всем чертям.

Неудивительно, что Мережковский не понял трагедии Фивейского, не мог, и, что всего грустнее, не хотел ее понять. В ослеплении своею религиозною миссией он сделал критическое упущение, граничащее с курьезом, — проглядел в психологии Фивейского и в творчестве Андреева основной их мотив — мотив любви к людям, т. е. проглядел все.

Мережковский представляет дело так, будто Фивейский по глупости искушал Бога, сам искушаемый дьяволом, будто, обращаясь к Богу, он говорит: «Сказано, что вера в Тебя творит чудеса. Вот я уверю в Тебя и потребую совершить чудо, чтобы увидеть, действительно ли Ты существуешь». Если бы это было так, если бы Фивейский сказал: сперва уверю, а потом посмотрю, то, конечно, он был бы «просто глуп» и его трагедия несколько

не свидетельствовала бы против чуда. В действительности же Фивейский подкапывается под веру и под чудо с той стороны, которой не затрагивал европейский атеизм. Трагедия Фивейского раскрывает нам, что чудо несовместимо не только с разумом, но еще более с совестью, что вера всего больше противоречит любви, ибо если мы допустим, что какой-нибудь бог или человек или богочеловек когда-либо совершил одно чудо, вернул из жалости зрение одному слепому или воскресил одного умершего, то тем самым мы признаем такого Бога ответственным за слепоту всех, кого он не пожалел, за смерть всех, кого он не воскресил. Такой Бог, который мог бы исцелить и воскресить, но не исцеляет и не воскрешает, кажется любящему Фивейскому не богом любви, а богом ненависти и злорадства, и такого Бога он действительно проклинает или отрицает, из церкви такого Бога Фивейский убегает, и не один, а вслед всему человечеству. Если человек, искушающий Бога, требующий чуда как доказательства его бытия, антирелигиозен, ибо безбожен, то и Бог, искушающий человека, дающий ему от времени до времени чудо как доказательство своего бытия, столь же антирелигиозен, ибо бесчеловечен.

Наша совесть, как и разум, мирятся с божеством только в мзочническом постижении, при котором исключается самое понятие о возможности вмешательства в мире явлений, с таким Богом, который не может ничего давать и дарить, ибо уже отдал, уже принес в жертву ради мира всего Себя; наша совесть и наш разум приемлют только такую религию, в которой трагедия мира переходит в трагедию Бога, в ней оправдывается и освящается.

Не поняв и не хотев понять трагедии Фивейского, Мережковский не понял и не хотел понять всех других произведений Андреева. Подлинный Андреев показывает нам, что анархист Савва, «взрывающий Бога», не только не теряет любви к людям и правде, но становится титаном любви, с такой нетерпеливой страстностью влюбляется в будущую правду, что из-за нее готов сжечь огнем всю теперешнюю ложь, оголить землю. Подлинный Андреев показывает, что астроном Сергей Николаевич, отрицая внешнего миру Бога, находит свою радость и свое бессмертие в созерцании этого закономерного и гармонического мира, признает себя в этом мире «сыном вечности». Но Мережковскому до этого нет дела. Он вопрошает своего собственного, из цитат созданного Андреева, и тот подтверждает, что Савва хотел сжечь землю не из избытка любви, а потому, что никого не любил, а не любил он никого, потому что он — слуга дьявола, а служит он дьяволу потому, что расходится с Мережковским в понимании чуда.

Идет свободный «голый человек» — восклицает Мережковский, ставя в кавычки слова, взятые у Андреева, — абсолютный босяк, «сын вечности», победивший Сына Божьего. Это — обратный Апокалипсис с победою зверя над Богом. Савва постоянно говорит об огне всемирного разрушения. И Апокалипсис говорит о том же... Савва не безбожник. Он только верит в противоположного Бога — Дьявола.

Чтобы окончательно доказать адово, антихристово происхождение непримиримого революционера и мирного ученого, Мережковский прибегает в приему словесных сближений. Иуда, обращаясь к распятому Христу, говорит у Андреева: «В ад меня пошлешь? Ну, что же. Я пойду в ад. И на огне твоего ада буду ковать железо, ковать железо и разрушу Твое небо».

В этой фразе есть слово «железо». Затем Савва, как известно, подкладывает под икону разрывной металлический снаряд. Металлический, может быть, железный. Опять слово «железо». Сергей Николаевич говорит о силе железного тяготения, которая держит гармонию мира. Железного! Наконец, в «Жизни человека» «некто в сером» упоминает о круге железного предназначения, который проходит человек. У Мережковского в руках неоспоримое доказательство в пользу воскресения во плоти.

— Это иудино железо, — спрашивает он, — не железо ли адской машины, которою Савва хочет «взорвать бога», не «сила ли железного тяготения», которой покорствуют звезды, не «круг ли железного предназначения», в который «некто в сером» включил «Жизнь человека» и самого Сына Человеческого? И, приведя еще две-три цитаты, Мережковский заключает: «Все так, и не может быть иначе, если Христос не воскрес».

Но ведь, пользуясь таким критическим методом, можно причислить к исчадиям ада кого угодно: Бисмарка, которого прозвали Железным Канцлером, Петра Великого, который обладал железной волей, и, наконец, первого встречного, ибо каждый из нас прикосновенен к железу, хотя бы тем, что ездит по железной дороге. В этом бесподобном рассуждении Мережковского особенно поразительно отношение его к закону тяготения, которому покорствуют звезды. Когда Галилей провозгласил о движении земли, святая инквизиция привлекла его к суду за дьявольскую ересь. Но с тех пор церковь, казалось, примирилась с законом тяготения, о котором даже при старом режиме позволялось упоминать в правительственных семинариях. Неужели Мережковский, защищая чудо против закономерности, в своем религиозном рецидиве уже дошел до той черты, на которой стояла святая инквизиция? Неужели в русской литературе, наряду с великим

инквизитором, завелись и маленькие инквизиторы, которые будут пытаться и мучить разум и истину во всех их проявлениях, до закона тяготения включительно? Или же слова об иудинном происхождении закона тяготения сорвались с пера Мережковского без смысла, среди опьянения цитатами?

Но вернемся к Андрееву. Последняя его повесть озаглавлена «Тьма». Мережковский, в интересах своей миссии, не мог не использовать этих обстоятельств, и то, что она последняя (т. е. последняя в прошлом году) и что она так называется. И в том и другом Мережковский видит неоспоримое доказательство пребывания Андреева в сетях дьявола. И вот почему. Дьявол, — догадывается Мережковский, — «ведет человека сквозь все проклятия, безумства и муки свободы к последней мудрости вольного рабства, к последнему отдыху в сладчайшей тьме небытия».

Написав слова о «тьме небытия», Мережковский продолжает: «Тьма» называется последний рассказ Андреева.

Итак, дьявол ведет к тьме, а рассказ Андреева называется «Тьмою». Мостик перекинут. После этого Мережковский приводит одну цитату из «Тьмы», именно обращение террориста к проститутке («пей за нашу братию, за подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью, за всех слепых от рожденья... Зрячие, выколем себе глаза» и т. д.) — и делает такое заключение: «это и значит: долой революцию, долой солнце свободы! Да здравствует “тьма”, да здравствует реакция!»

Тот, кто не читал подлинного Андреева и узнал бы о нем только по критике Мережковского, решил бы, конечно, что герой «Тьмы» разочаровался в свободе (прошел «сквозь все проклятия, безумства и муки свободы»), изверился в революции («долой революцию!»), пожелал «вольного рабства» («да здравствует реакция!»), отвернулся душой от презренной жизни и ненавистных людей и обратился к самодовольству забвения — «к последнему отдыху в сладчайшей тьме небытия». Но мы, читавшие подлинного Андреева, можем заключить лишь об одном: как, однако, непроницаемо толсты должны быть бельма слепой веры, если ослепленный ими такой когда-то зоркий критик, как Мережковский, если автор статьи о Пушкине мог пройти мимо Андреева, не увидав его лица. Поистине, рукою Мережковского, когда он писал об Андрееве, водила мстительная или насмешливая судьба, и, говоря о вольном рабстве и сладчайшей тьме небытия, он, сам того не ведая, точнейшим образом определял ту непроглядную тьму и слепоту веры — не добродушно-детской, а старчески-разогретой, не просто мертвой, но напитанной трупным ядом, — в которой Мережковский очутился в конце своих рели-

гиозных исканий и куда он считает своей священной миссией завлекать других.

«Тьма» Андреева не такова, и мы, читавшие ее в подлиннике, знаем, что герой этого рассказа добровольно гасит огонь и уходит в тьму не из ненависти и не из усталости, а во имя высшей, последней любви. «Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, погасим же огни и все полезем в тьму», — говорит он, предпочитая, из любви ко всем, быть со всеми в темноте, чем самому держать фонарик. Там, куда приводит Мережковский, — последнее спасение понимается не так. Лишь бы самому спастись, самому с нетленными волосами и кожей пробраться в жизнь вечную, а остальные — осужденные на последнем полевом суде — пусть будут ввергнуты в тьму вечную в озеро, горящее огнем и серою. Но недаром герой последнего рассказа Андреева состоит в родстве с Василием Фивейским и Саввою. Он поклоняется духу живому и поэтому спасение понимает по-иному: если всем нельзя жить на свете, то и он хочет жить во «тьме»; ибо тьма в любви светлее, нежели свет в разделении.

Мережковский хотел бы видеть во «Тьме» Андреева проповедь самодовольства, призыв к сладчайшему усыплению в небытии. Но едва ли во всемирной литературе отыщется другое произведение, в котором чувство самодовольства было бы преодолено до такой глубины, почти абсолютной, как во «Тьме». Может быть, ни в какой другой литературе, кроме русской, этот рассказ не мог бы появиться. В нем заключается завет какой-то новой любви, с культурно-европейской точки зрения, может быть, и не понятной, любви как бы бездейственной и не греющей, а, на самом деле, наиболее энергичной и сжигающей. Припоминается притча о несчастном и его друзьях. Потерял некто близких сердцу и предался безутешному горю. Пришли его друзья и стали его утешать словом. Один убеждал его не убиваться об умерших, ибо все люди смертны; другие убеждали его не убиваться, ибо все люди бессмертны. Но несчастный не утешался. Тогда пришли другие друзья и стали утешать его делом, привели в порядок его дом, накормили детей. Но несчастный этих забот не заметил и продолжал отчаиваться. Наконец, пришел его последний лучший друг и, не утешая ни словом, ни делом, сам предался безутешной скорби, сел рядом с ним, разодрал свои одежды, чем и утешил скорбящего, который увидел, что он не один в своем горе. Точно так же герой «Тьмы» спасает падшую душу тем, что отказывается, из любви к ней, от служения людям словом и делом, дабы эта падшая душа почувствовала себя не одинокой в своем падении, дабы своим падением добровольным оправдать ее невольное падение.

Критики, и в их числе Розанов, упрекали Андреева в парадоксальности и даже несбыточности его темы. Однако стоило бы критикам обернуться на нашу действительность, и они увидели бы, что герой «Тьмы» не придуман Андреевым, что этот герой не кто иной, как вся дореволюционная русская интеллигенция, вся русская литература, вышедшая из народа в своих настроениях, и вернувшаяся к нему в своей любви. Разве Достоевский не погрузился добровольно в тьму наших «исконных начал», лишь бы быть вместе с народом во мраке суеверия и рабства, чем отдельно от него в свете разума и свободы. Разве Толстой добровольно не ушел в тьму неделания и непротивления, чтобы быть вместе с народом во мраке невежества, чем отдельно от него в свете культуры. Разница между ними и героем «Тьмы» та, что они идеализировали народную тьму, возвели ее в перл созидания, а анархист Андреев идет во «тьму», называя ее тьмою. Но ведь нужно помнить, как различен объект их любви.

Герой рассказа Андреева стоит перед проституткой, создавшей тьму своим собственным падением, а Достоевский и Толстой любили народ, никогда ни в чем не падший, сохранивший нетронутой всю свою правду, пребывавший во тьме лишь потому, что дикая история помешала ему выбраться на свет и проявить эту скрытую в душе правду. Тем не менее, психологическая сущность и тут и там одинакова: добровольный отказ от света, от разума, от культуры из любви к тем, кто пребывает во тьме. Андреев унаследовал от творцов русской литературы их драгоценнейшее достояние — чувство неутолимой, всеобъемлющей любви к тем, кто пребывает во тьме. Но Андреев не унаследовал их веры в святость этой тьмы, и отсюда вся кажущаяся безвыходность его пессимизма. Он любит тех, кто в его глазах остается неоправданным, он любит тех, кто не любит, он любит тьму, которую не в силах осветить, — вот ключ к пониманию всего творчества Андреева. Этот основной разлад проходит через все его произведения, в одних звуча сильнее, в других — слабее. Особенно резко звучит он в «Иуде Искарите», в «Жизни человека» и в «Тьме». Иуда любит Христа, но считает, что мир недостойн Христа, любит любовь, но презирает человечество, презирает объект любви.

В чем же он прав, в своей любви или в своей ненависти? Кто обманул Иуду — вот вопрос, который он разрешает опытом своего предательства. Он предает Христа, он ставит Христа в такое положение, когда толпа и апостолы, если в их душе горит хоть один луч света, должны откликнуться, засиять любовью, заступиться за Христа. Если они заступятся, он, Иуда, был неправ, но зато оправдана жизнь. Если не заступятся, он, Иуда, победит, но

жизнь осуждена. «Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Христа, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал»... «Так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искарriot ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут»... «Вдруг всею своею грозною массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!» Но апостолы разбежались, толпа не восстала, и Христос умер. Свершилась «ужасная победа» Иуды, жизнь осуждена, и он умирает, как Христос, на дереве, умирает от любви к неоправданной любви, из любви к неосвященной Тьме. И кто знает, может быть, в каком-то порядке жертва Иуды, любившего не мир, не человечество, а только любовь, является самою бескорыстною.

В «Жизни человека» та же мука, тот же разлад. Если бы раскрыть то, что заключено в этом заглавии, то следовало бы написать: «Жизнь одного из человечества, смотревшего на распятого Христа, одного из тех, из любви к которым умер Христос и из ненависти к которым повесился Иуда, одного из тех, ради кого приносит себя в жертву любящий, но кто сам ничем не жертвует и никого не любит». «Жизнь человека» трагична не тем, что «некто в сером» смотрит на нее с равнодушием, а тем, что, лишенный божественного оправдания, человек сам себя уже ничем не оправдывает, любит, страдает, радуется, как зверь. В «Жизни человека» снова одерживает свою «ужасную победу» Иуда, а не Христос. И само собою разумеется, что Иуда же побеждает в «Тьме», где любящий, жертвуя собой, становится не спасителем, не искупителем, а погибшим и падшим.

Андреева нельзя понимать вне русской литературы и даже вне русской истории. Отчаяние Андреева могло вырасти только в такой духовной атмосфере, где любовь к людям проповедывалась в общественной пустоте, и сама была надрывом, результатом и протестом слишком жестокой истории. Любовь к ближнему, без промежуточной любви к своей личности и к предметному миру, — такая любовь, которою поневоле питалась русская народолобивая интеллигенция, не могла не привести к разладу и пессимизму. Чем оправдывалось русское народолюбие? Верой в православие — у славянофила Достоевского, в душевную святость — у Толстого, в общину — у Герцена, в какую-то темную правду земли — у Златовратского и Успенского. Какая из этих вер дожила до наших дней? Все они умерли; осталась лишь неоправданная и тем более страстная любовь, и ее глашатаем явля-

ется Андреев. Но там, где умирает вера, рождается личность — и поэтому тьма Андреева кажется не непроглядной. Мертвящий взор Элеазара притупился о жизнерадостную волю Августа. Те два элемента, из которых возникает новая религиозность, — личность и мир — уже присутствуют в творчестве Андреева, в лице Саввы и Сергея Николаевича. Старое жизнеоправдание утрачено, но заслуга Андреева в том, что принять жизнь человека без оправдания он не хочет.

Но как все это далеко от самодовольной, ослепленной критики Мережковского, который ведь тоже объявляет себя одним из наследников русских классиков, по крайней мере, Достоевского. В последнее время Мережковский не пишет иначе о Достоевском, как о своем учителе или предтече, называя его «первым из нас», а о себе, как о продолжателе миссии Достоевского. «Мы ничего не прибавляем от себя к пророчеству Достоевского, мы только завершаем его, доводим до степени нашего религиозного сознания», — говорит про себя Мережковский в «Пророке русской революции», и в известном смысле он, может быть, прав. Если Андреев унаследовал от Достоевского его любовь к пребывающим во тьме, без оправдывающей веры, то Мережковскому в наследство досталась одна религиозная тьма Достоевского, без оправдывающей ее любви.

Творчество Андреева является сплошным воплем о муке неоправданной любви к людям. Религиозная проповедь Мережковского является столь же вопиющим свидетельством о том, что вера, которая, будучи наивной, некогда оправдывала жизнь, в ее теперешнем рецидивном состоянии, несет с собой отраву и проклятие. Как умершая плоть не может воскреснуть, так не может ожить умершая идея или умершая вера. И мне кажется психологической загадкой, каким образом Мережковский, столь пытливый, столь ищущий, столь стремящийся пошел в религиозном сознании не вперед, а назад. Может быть, с ним случилось то же, что с римскими императорами времен упадка, которые, думая, что они стоят во главе своих войск, в действительности сами были орудием и игрушкой в руках преторианцев. Может быть, и Мережковский, этот император цитат, желая использовать в своих целях слова Достоевского и старца Зосимы, сам подпал под их влияние. Может быть, идея Мережковского оттого мертва, что он обрел ее не в живом чувстве и не в живом разуме, а отыскал на мертвых страницах книг и нарядил в безжизненные цитаты? Рассмотрим же теперь содержание и объем этой идеи.

II

Спор о вере и о чуде — вот что представляют из себя все критические работы Мережковского, если выкинуть из них литературные цитаты, т. е. те вспомогательные средства, при помощи которых автор освещает и приближает свою религиозную идею, а сосредоточить свое внимание на самой этой идее, на цели Мережковского, на его миссии. Нужно поставить вопрос ребром: что именно, разбавив сиропом литературных цитат и характеристик, стремится Мережковский с таким упорством привить русскому сознанию: жизненный ли эликсир религиозной истины, или трупный яд религиозного суеверия? Не решив этого вопроса, нельзя установить какое бы то ни было отношение к деятельности Мережковского, а желая решить его, мы роковым образом вынуждены вмешаться в спор о вере и чуде. И вот тут, прежде всего, возникает тревожный вопрос: возможно ли вообще в двадцатом столетии поднимать распрю о вере? Не решен ли бесповоротно спор о чуде в сознании всего культурного человечества? Ведь есть же такие вопросы, о которых уже нельзя возбуждать споры, например, вопрос о рабстве. Это не значит, что рабовладельцы перевелись на свете, но тот, кто стал бы в наше время доказывать безнравственность и незаконность рабства, взял бы на себя работу слишком легкую, позорно легкую. Не ставлю ли и я себе такую позорно легкую задачу, желая доказать неприемлемость религиозных суеверий, которые Мережковский считает своею миссией навязать нам?

Я предвижу это возражение и если, тем не менее, вступаю в спор о вере и чуде, то делаю это по двум соображениям.

И сам Мережковский в своих писаниях, и по поводу их критики часто говорят о новом религиозном сознании. Дело нового религиозного сознания мне бесконечно дорого, и я ему служу по мере своих сил, ибо я уверен, что для устойчивости духовного равновесия необходимо не только житетворчество в науке, в искусстве, в социальных отношениях, а еще жизнеоправдание, обожествление личности и мира, но обожествление в разуме и свободе, а не в вере и авторитете. Новое религиозное сознание, или, как я его называю, мэонизм, имеет то общее с атеизмом и материализмом, что, подобно им, видит в мире только личность и только материю, и только их двуединство. Но атеизм и материализм, не обретая в мире Бога, отворачиваются от мысли о нем, оставляют мир не оправданным, идут в ту тьму, к которой привела Андреева его неоправданная любовь. Между тем мэонизм, не открывая в мире Бога, видит в самом мире процесс и акт божье-

ственной жертвы. Идеал, влекущий нас, недостижим, потому что мы на всех путях и в науке и в половой любви стремимся к абсолютному единству, а единое, по самой своей сущности, отрицает множественный мир. Но если единство кажется нам и сущностью и целью любви, то не вправе ли мы создать новый мир и заключить, что единое из любви к миру принесло себя в жертву, дабы множественный мир мог существовать и стремиться к единому? Мы не в силах одолеть смерть, но мы можем жить так, чтобы смерть наша была жертвой во имя любви; и тогда, умирая во мгновении, мы воскресаем в вечно длящемся акте божественной жертвы. Иного воскресения нам не дано, но иного просветления душа и не пожелала бы.

Я знаю, что мэоническое миропонимание отпугивает своею философичностью. Ведь нужно сознаться, что если рыба ищет где глубже, то мысль среднего человека ищет где мельче. К тому же, философски мэонизм основывается на двуединстве, понятии, намеченном у Канта, но до сих пор еще столь новым, что на некоторых языках, например, на французском, даже нет слова, которое выражало бы его, а мысль среднего человека обыкновенно влечется от наивного дуализма к наивному монизму. Кто может вместить новое религиозное познание, да вместит его. Оно, не обещая и не давая никакой чудесной мнимой действительности, дает оправдание действительности реальной. Кто же не может вместить религиозной идеи, тот да держится крепко за культ личности и материи, ибо, утвердившись в своем «я» и в мире, он стоит в том месте, в котором рождается всякая божественность. Но пуще огня, пуще моровой язвы да боится каждая живая душа возврата к старой, умершей, истлевшей религиозности, к обожевлению определенных событий и книг, к чаянию небесных фокусов, к ожиданию пришествий и конечных апотеозов.

Еще в начале своих религиозных исканий Мережковский проявил как бы некоторую чуткость к философии двуединства и оправдания, и то, что он писал о синтезе духа и плоти, земли и неба, было единственным зерном истины среди бесплодных песков его теологии. Но, позаимствовав вывод чужой и чуждой ему философии, без его разумных оснований, Мережковский оказался не в силах применить его к жизни и вскоре впал в старую, наивную ложь, наскочил на старую зарубку дуализма, стал противопоставлять Христа Антихристу, Бога Дьяволу. Мережковский смеется над шаманом, который мажет своего боженьку сметаной по губам, когда им доволен и бьет его по щекам, когда им недоволен. Мережковский не видит, что и он такой же наивный дуалист-шаман, который, когда доволен жизнью, отдает ее во власть

Христа и славословит, а когда недоволен, передает во власть Антихриста и проклинает. Мережковскому казалось, что двуединство может быть соединено с дуализмом, но легче представить себе центавра или грифона, чем такую двуснастную философию. Оправдание мира возможно лишь при понимании мирового процесса как двуединого добра, в котором зло является условием развития и результатом совершенствования. Если в мире существует абсолютное добро и абсолютное зло, то почему бы добру не быть духом, а злу плотью, по слову апостола: «плоть желает — противного духу, а дух — противного плоти». Вызвав на свет дьявола, Мережковский забыл, что его надо содержать и кормить. Сначала Мережковский уступил черту все срединное, все царство пошлости и мелочности, чичиковщину, ноздревщину и маниловщину. Ну, а как же быть с безбожниками, с предателями, с Иудой? Очевидно, и они от Антихриста. И так во власти дьявола оказались низы и середина. Но голод дьявола не утолялся. Еще несколько лет тому назад Мережковский говорил, что русская церковность и государственность от Христа. «В том-то и заключается главная идея самодержавия, — писал он в 1902 г. в предисловии ко 2-му тому о Толстом и Достоевском, — что это есть идея не разумного, не логического, а мистического порядка: сердце царево в руке Божьей». И дальше: «идея самодержавия, по существу своему, не терпит никаких ограничений; она безусловна, как все вообще религиозные идеи». Словом, православие и самодержавие от Христа. Но ненасытная утроба дьявола требовала все новой и новой пищи, и в 1906 году, в «Пророке русской революции», а затем в статье об Андрееве Мережковский отдает без остатка дьяволу и абсолютизм и церковь.

О католическом папском Западе и говорить нечего: он давно был отдан в снедь дьяволу. Не лучшая доля досталась и азиатскому Востоку. «Антихрист — религиозный предел всякой реакции», — заявляет Мережковский и в доказательство этого тезиса ссылается на то, что «принявшая религию небытия, антирелигию, буддийская Азия — вся в реакции». «Религия же дьявола — религия небытия». Вывод: буддийская Азия от дьявола. Остается будущее, тот новый мир, который созидает революция. Но и тут дело обходится не без дьявола. «Что в русской революции есть между прочим и бесы, в этом нет сомнения», — догадывается Мережковский, причем милостиво прибавляет: «но одни ли бесы?» Однако, если внимательно прислушаться к мысли Мережковского, то окажется, что почти одни бесы. Слова «абсолютизм от Антихриста» служат у него ответом на следующий вопрос: «Откуда всякая власть человеческая, откуда всякое государство?»

И ответ: от Антихриста. Следовательно и демократия и республика, т. е. цель, к которой стремится революция — от Антихриста. Можно бы думать, что Мережковский защищает идеал безвластия, идеал анархии. Нет, и анархия оказывается «зверем, выходящим из бездны», так же как монархия — «зверем, выходящим из земли». Вместе с анархией бросается в утробу дьявола и «военная диктатура пролетариата, социал-демократия».

И вот таким способом Мережковский скормил ненасытному Антихристу весь мир, буддийский Восток и христианский Запад, церковь и государство, прошлое, настоящее и будущее, оставив Христу самый ничтожный, самый жалкий удел — себя самого, Мережковского, с двумя-тремя последователями, с двумя-тремя цитатами из Достоевского и с мечтой о грядущей апокалипсической теократии, сущность которой известна ему же, Мережковскому, и двум-трем его последователям.

Подобно всем сектантам, Мережковский очень бы хотел показаться новым, в чем-нибудь разойтись с существующей церковью, но, лишенный религиозного творчества, он попадает в обычную для всех сектантов колею адвентизма и мессианства. Из ста возникающих в Америке религиозных сект девяносто девять имеет своим содержанием толкование Апокалипсиса, ожидание второго пришествия и уверенность в своем избранничестве, в том, что они, основатели секты, первые открыли настоящую, подлинную сущность христианства. Исходя от того же отрицания разума, все они — и Мережковский в их числе — приходят к тому же безумию. Мережковский делает необыкновенные усилия, чтобы как-нибудь оградить себя от исторического христианства, но когда он желает определить сущность этого различия, то получается лишь лихорадочная раздраженность, метание из жара в озноб, от Христа к Антихристу, от человекобога к богочеловеку, от земного к небесному, от св. духа — к святой плоти, блуждание между двумя-тремя цитатами, словами старца Зосимы, теми же словами, которыми Мережковский прежде доказывал совершенство православной церкви, а теперь доказывает ее несовершенство. «Не люби земного, люби небесное, таков закон христианства — только христианства. Люби земное в небесном, небесное в земном, — таков закон религии св. духа — св. плоти», — дальше этих бессодержательных антитез Мережковский не идет. В чем новизна его религии, чем отличается она от исторического христианства, сказать трудно. Но в чем обветшалость его религии, чем она примыкает к исторической церковности, указать весьма легко. Церковь строит свое здание на вере в событие, нарушающее закономерность явлений, на возможности невозмож-

ного и грозит всякому неверующему вечным осуждением. Из той же веры исходит и к изуверству приходит Мережковский, говоря: «если Христос не воскрес, то все человечество — “проклятое мясо” и “гниющая падаль”».

Итак, все человечество, жившее до Христа, не могшее спастись верой в «единое, единственное чудо», весь античный мир — проклятое мясо и падаль...

Среди католического духовенства в настоящее время происходит движение, известное под названием модернизма, представители которого, как о. Луази, позволяют себе критически относиться к тексту Евангелия и к чудесам. Папа обрушился на модернизм в своем послании, и о. Луази грозит отлучение. Мережковский идет дальше: в пределах своей власти, в пределах слова он произносит осуждение и проклятие над всем неверующим человечеством, над всею новою философией, над всею новою общественностью. Поистине, извинение его в его слепоте, оправдание в его бессилии.

Нет, религиозная идея Мережковского слишком похожа на ту старую религиозность, которую мы считали давно умершей. Для людей нового религиозного сознания было бы несчастьем, если бы их дело отдаленнейшим образом смешивали с проповедью Мережковского, и я пишу настоящую статью с таким же чувством, с каким окружил бы свой дом высокою стеною, если бы мне пришлось жить рядом с местом запустения.

Но есть еще причина, заставляющая меня участвовать в поднятой Мережковским распре о вере: это — мысль о великой нашей умственной отсталости. То, что на культурном Западе стало невозможным труизмом, у нас еще надолго пребудет нуждающейся в защите истиной. Не забудем, что религиозное суеверие было похоронено на Западе более ста лет тому назад; сперва на поверхности сознания — энциклопедистами, а затем на глубине — немецкой философией. Вольтер, Гете, Байрон, Шелли навсегда утвердили в литературе культ личности и мира. Не то мы видим у нас. Какова бы ни была причина, толкнувшая Достоевского в тьму церковности, но он в этой тьме пребывал до смерти.

То же самое происходит в области мысли. Величайший, как принято говорить, русский философ В. Соловьев сам, своими глазами, видел перед собою на подушке хвостатого черта, который его искушал и, может быть, искусил бы, если бы философ не спохватился и не задал бы ему вовремя вопрос, верит ли он в Христово Воскресенье? Последнее пророчество Соловьева было написано об Антихристе. Все это было недавно, до революции. А теперь, по мере того, как общественная временная реакция грязным по-

током разливается по лицу русской земли, над нами, на русском небе серой тучей разрастается религиозная, абсолютная реакция. Мережковский не один. Жалобы его на то, что он пишет свои откровения на тонущем корабле, преждевременны. В журналах, в сборниках, в квази-ученых собраниях подняли голос Булгаков, Эрн, Свенцицкий, проповедуя о спасении верой и чудом. И эта проповедь соблазняет, трупный яд заражает.

Укажу хотя бы на Н. Бердяева, который, вторя Мережковскому, защищает возможность чуда доводами, нисколько не уступающими тертуллиановскому: *credo quia absurdum* *. «Положительная наука, — говорит Бердяев, — может только сказать: по законам природы, открываемым физикой, химией, физиологией и прочими дисциплинами, Христос не мог воскреснуть, но в этом она только сходится с религией, которая тоже говорит, что Христос воскрес не по законам природы, а преодолев необходимость». Выходит, таким образом, что законы природы обязательны для тех явлений, которые согласны им подчиняться, и что есть другие явления, для которых необходимость не необходима. Невольно возникает вопрос: к какому же разряду явлений принадлежала мысль Бердяева, когда он писал приведенные строки? Подчинялась ли она законам природы или работала, преодолев необходимость логики? Впрочем, я понимаю, как бесполезны доводы в подобном споре. В таких мыслителях, как Бердяев или Мережковский, мы имеем дело не с наивным суеверием, которое можно просветить и даже не с фанатизмом, который можно убедить, а с рецидивом суеверия и фанатизма, с сознательным самоослеплением, уже непроницаемым для мысли. Невольно вспоминаются рассказы путешественников о представителях низших рас, которые получали воспитание в европейских школах, но потом, попав на родину, добровольно дичали, сбрасывали с себя европейскую одежду, возвращались к людоедству и к бешенству колдовских плясок, в голом виде, среди сумерек девственного леса. Давно ли Мережковский красовался в одежде грека, сверхчеловека? Давно ли Бердяев носил костюм марксиста, неокантианца! И вот они, подчиняясь силе стихийной, непреодолимой, последней искренности, служат неприкрытой бессмыслице чуда, с упоением участвуют в бамбуле суеверного сектантства, увлекая за собою, будем надеяться, немногих.

При таком уровне общественной мысли, при таких устремлениях литературы и философии не очень уже, быть может, позор-

* верю, ибо невероятно (*лат.*).

но бороться с суевериями в защиту истин, хотя бы слишком очевидных.

Обличая глупость Фивейского, Мережковский упрекает его в том, что этот «колоссальный мужичище ступил своим сапожищем в вопрос о чуде, — эту страшную звездную паутинку, которой и мудрецам не распутать». Сам Мережковский, допускающий чудо, эту страшную паутинку, очевидно, распутал, но он горько ошибается, думая, что мудрецы ее не распутали. Вопрос о чуде — такой же навеки и бесповоротно решенный в области мысли, как вопрос о вращении земли. Нужно по нежеланию этого не знать или по слепоте не видеть, но дело от этого не меняется.

Феномен веры заключается в том, что реальная действительность человека не соответствует действительности желанной. Человек желал бы быть сильным, богатым, нестареющим, нестрадающим, но в реальности он слаб, беден, старится и страдает. Реальная действительность постигается при помощи чувств и разума, желательная действительность строится воображением, по образу и подобию реальной. Между тем у отдельных людей, как у целых народов, желание, воображение развиваются раньше, нежели разум, достигают зрелости, когда разум лежит в пленках. И вот при таком отношении духовных сил возникает феномен веры, т. е. желаемое принимается за реальное. Таким образом, вера есть ни что иное, как допущение желаемого, как бы осуществившегося. Поэтому все религии, возникшие из веры, насквозь корыстны.

Вера дает человеку все те блага, которые он желает иметь, но дает не в реальности, а в воображении. Человек или народ желает быть всех сильнее, и он верит в свою исключительную силу, желает быть лучше всех и верит в свое избранничество, желает воскреснуть таким, как жил, и верит в воскресение во плоти. Все, что мы внесли в религию в виде желаний положительных или отрицательных, мы получаем обратно в виде чудес. В этом смысле каждая религия, основанная на вере, есть религия небытия, ибо дает нам блага мнимые, не существующие, отражающие наши собственные желания или страхи.

Нечто подобное замечается в детстве, в феномене увлечения игрушками. Желает ребенок иметь лошадь и палка превращается в лошадь, желает он иметь солдата — и та же палка превращается в солдата.

Мережковский с большой наивностью раскрывает перед нами причины, почему он верит в воскресение Христово. «Перед несомненной “гниющей массой” что значит сомнительное нетление в славе, в памяти человеческой?» — спрашивает он. «Ведь

самого драгоценного, единственного, неповторяемого, что делает меня мною — Петром, Иваном, Сократом, Гете, в лопухе уже не будет». Словом, причина ясна: Мережковский боится смерти и желает бессмертия. Страх и желание вполне человечесны, хотя есть другое желание, столь же человеческое: жертвовать собою ради того, кого любишь, воля к смерти в любви.

Но пока ребенок превращает палку по своему желанию то в лошадь, то в солдата, а верующий верит в осуществление своих желаний, разум открывает глаза и спрашивает: реальны ли чудеса, обещанные верою? Разум начинает испытывать возможность чуда и в этом процессе проходит следующие три определенных ступени.

На первой ступени разум, принимая образ Фомы неверующего, требует чудо для того, чтобы верить. Начинаются поиски, ощупывания, вкладывания перстов — очевидно бесполезные. Ибо если не было чуда вчера, почему ему не быть завтра. А если сегодня мне явилось чудо, то почему я уверен, что завтра в нем не усомнюсь? Мережковский, кажется, стоит на этой ступени развития: он в доказательство воскресения еще приводит свидетельские показания...

На второй ступени разум, в лице точной науки, спрашивает, не противоречит ли чудо законам природы. Так поступали английские и французские скептики, отвергшие чудо потому, что в природе нет ни одного явления, которое не подходило бы под условие закономерности. Но и это доказательство не в силах пошатнуть веру верующего. Разум, исследуя мир, может лишь свидетельствовать, что он чуда нигде не обрел. Но как в силах он доказать, что чудо невозможно?

Наконец, на последней ступени, разум обращается к себе самому, исследует свою собственную природу, берется за критику разума — и тогда невозможность чуда раскрывается с очевидностью аксиомы. Разум отвергает чудо не потому, что не видит чудес, и не потому, что все явления умещаются в условия закономерности, а потому, что у него, у разума, у мыслящей личности вообще, нет органов и способностей для постижения чудесного: нам «нечем» воспринимать чудо. Кант, анализируя процесс знания, нашел, что оно двуедино, состоит из двух элементов, — случайного, который привносится внешними чувствами, и необходимого, аподиктического, общеобязательного, привносимого самим разумом. Разум по своей природе может мыслить только общеобязательное и закономерное. Для того же, чтобы постигнуть чудо, т. е. нарушение закономерности, разум должен заранее отказаться от своей природы, перестать мыслить, перестать

жить. Вот близкий нам пример. Возьмем Мережковского, доказывающего истинность веры в «единое, единственное чудо» Христова воскресения.

Но доказывать, сознавать, мыслить, мыслить свою веру — значит действовать по общеобязательным законам мышления. Если бы Мережковский сомневался в том, что законы его мышления обязательны для всех, он не мог бы обращаться к нам со своею мыслью. Более того: он не мог бы мыслить сам про себя, если бы не был уверен, что закономерность мышления остается неизменной во всякий день и час. Одним тем, что он нас убеждает, Мережковский свидетельствует о ненарушимости законов природы, т. е. сам отвергает возможность чуда, хотя желает доказать его.

Мережковский полагает, что чудесное приемлемо, потому что наука не знает сущности явлений, основа которых — тайна, и не умеет даже объяснить, каким образом шарик, ударяясь о другой, передает ему свою энергию. Конечно, основа явлений, «вещь в себе», нам не известна. Закон причинности не предполагает знания внутренней связи явлений, а лишь уверенность, но уверенность органически абсолютную, в том, что при одинаковых условиях получаются одинаковые результаты. Мы не знаем, *каким образом* шарик передает другому свою энергию, но мы знаем, *как* все шарики при одинаковых условиях действуют. Мы не знаем, каким образом умирает плоть, но мы знаем, что во всякой мертвой плоти совершаются одни и те же процессы разложения. Мережковский хотел бы для одного шарика, для одной плоти сделать исключение — допустить «единое единственное чудо». Такое его желание закономерный разум, оставаясь сам собою, отвергает как абсолютную неприемлемость. Если бы на наших глазах произошло непонятное явление, ну, мертвецы что ли стали бы вставать из гробов, мы вынуждены были бы исследовать его, как все непонятное, как, например, явления радия, в обычных условиях лабораторного опыта, ибо у нас нет другого выхода: или мыслить закономерно, или не мыслить вовсе.

Когда критика разума таким образом убила чудо в его познавательной возможности, и рухнуло все основанное на вере в чудо здание религиозности, — человеческая душа на первых порах почувствовала себя как бы обедневшей на все свои отныне несбыточные чаяния, на отнятую помощь, на утраченное бессмертие. Критика Канта в первое время подняла в литературе и философии волну небывалого по силе пессимизма, но это длилось недолго. Человечество, подобно Фивейскому, потеряв мнимые блага веры, обрело святыню личности. Разум стал дорожить трагиче-

ской истиной, потому что это была его, им рожденная, им выстраданная личность. В сущности, сознательная личность создана Кантом, явилась на свет только с той поры, как закономерность и общеобязательность были перенесены в разум, и субъект познал себя единственным источником истины. Вслед за волной пессимизма и даже одновременно с ней, в сознании того же Шопенгауэра и Байрона возникает волна гордого неукротимого титанизма, рождается революционный индивидуализм, культ самодержавной личности, который у Фейербаха превращается в обожествление человека вообще, а у Штирнера в обожествление конкретного человека. Главная победа была одержана: человек утвердился в личности и в мире. Оставалось сделать царство личности устойчивым — освятить жизнь и оправдать смерть, преодолеть отчаяние и самодовольство, настроить душу на новый лад благородного, жизнерадостного трагизма. Ницше пытался освятить мировую трагедию, преодолевая человека во имя любви к дальнему, во имя сверхчеловека. Мэонизм освящает мир во всяком мгновении как вечно длящийся процесс божественной жертвы и таинства любви.

Таков путь, пройденный личностью и разумом. Мережковский и все его единомышленники, возвращаясь к вере и чуду, идут против потока жизни, служат абсолютной реакции и, в силу железной необходимости логики, осуждены утверждать все то, что разум отрицает, и отрицать все то, что разум утверждает. И прежде всего Мережковский утверждает абсолютное рабство. Главный упрек, который он делает Фивейскому, заключается в том, что тот, будучи только Фивейским, только человеческой личностью, будучи «он» с маленькой буквы, а не с прописной, посягает на совершение чуда. «О. Василий воскрешающий вовсе не думает о Христе воскресшем, — говорит Мережковский. — Ему до него нет дела, потому что в лучшем случае по глупости человеческой, в худшем по гордости бесовской, он себя самого ставит на место Христа, на ту страшную высоту, где одним человеком за все человечество решается вопрос: быть или не быть религии». Написав эти слова, Мережковский навеки унизил личность перед кем-то, стоящим вне ее и над нею, утвердил абсолютное рабство или, употребляя слово из его словаря, абсолютное хамство.

Вместе с тем, Мережковский утверждает абсолютный комизм. Красота трагична и не мирится с мыслью о вечной плоти. Даже богов, называя их *aei eontes* *, греки подчиняли судьбе и смерти, хотя в далеком будущем. Вечная плоть уродлива. Бессмертные

* вечно живые (*греч.*).

пятки, вечные ноздри, нетленный кишечник и мочевой пузырь... Представление о богочеловеке, воскресшем таким образом, скорее кощунственно, чем религиозно. Сами верующие вынуждены вместо нашего тела воображать другое, преображенное. Но при чем тогда плоть? Недаром народная фантазия одаряла физическим бессмертием только образы отрицательные: Вечного Жида, Кащея Бессмертного.

Еще Мережковский утверждает абсолютное мещанство, желая подменить трагедию смерти водевилем воскресения во плоти. До сих пор трагизм смерти клал последнюю печать благородства на жертву любящего, будь это подвиг революционера из любви к свободе или подвиг полусожженных *икс*-лучами Эдиссона и доктора Эдвардса из любви к научной истине. Отблеск этого трагизма облагораживал жизнь самых мелких и самолюбивых, убивал самодовольство, рождал трепет чего-то священного, антимещанского. Мережковскому хотелось бы утвердить окончательное самодовольство, застраховаться от смерти, платя в виде премии частичным отказом от разума. Он зовет на путь, ведущий к каменной улыбке фарисея, который ведь тоже заключил договор с Богом и тоже ничего не боялся.

Затем, ставя в центр истины и спасения единую, единственную точку в истории, Мережковский сам себя ставит в антагонизм со всею историей, утверждает абсолютное изуверство, абсолютную вражду к жизни. Мы уже видели, как он должен был отдать на съедение дьяволу все прошлое и будущее человечества. Но с не меньшей ненавистью он относится к миру, к природе. «Если Сын вечности смертен, — говорит он, — и лопух из него вырастет, то чем он лучше мертвого пса?» «Не сообразнее ли с человеческим достоинством вовсе не быть, чем быть в лопухе». «Если такова «Жизнь Человека», то лучше быть не человеком, а зверем, — не зверем, а деревом, — не деревом, а камнем, — не камнем, а ничем». — Откуда такая гордыня? Откуда такое презрение к зверю и лопуху? Ведь та плоть, которая Мережковскому так драгоценна, что он хотел бы ее спасти для вечности — есть не что иное, как результат съеденных бифштексов и салатов, видоизменение того же зверя и того же лопуха. Помню время, когда Мережковский, еще не имея религиозной миссии, а будучи только поэтом, воспевал Франциска Ассизского. Тогда он понимал, что зверя, лопух и камень можно называть братьями, а теперь лопух для него хуже бытия, а камень — преддверие к «ничто». Какой скачок назад!

Наконец, что всего важнее, религия веры и чуда делает Мережковского служителем абсолютной небесной реакции, которая

тысячью нитями связана с реакцией временной и земной. Мережковский, всего более боящийся этого возражения, в котором скрыт смертный приговор его религиозной миссии, сам как бы предвидит его и пишет статью за статьей в доказательство того, что религия не только совместима с революцией, но тождественна с нею, что религия и революция «одно и то же явление в двух категориях». Однако спросим: какая религия? Если религия свободной личности, то она, конечно, совместима с революцией. Протестантство, которое, как показывает слово, было протестом личности против авторитета Рима, послужило делу гражданской свободы в Швейцарии, в Англии, в Америке. Но насколько тождественна с революцией религия чуда и авторитета, видно по тому, как относится католическое духовенство к республиканскому правлению во Франции или наше духовенство к освободительному движению в России. Если пример исторической церкви неубедителен для Мережковского, который мечтает о новой церкви Иоанновой, то пусть он спросит себя, как относились к революции первые пророки этой новой церкви — Достоевский и старец Зосима, «ученик или учитель самого Достоевского».

Я не стану, по примеру других критиков, попрекать Мережковского тем, что и он сам прежде был апологетом самодержавия. Я не согласен со словами Бердяева, будто «ничем так не повредил Мережковский себе и великому делу религиозного возрождения России, как фальшивыми нотами в вопросе о государстве и общественности». Право личности на свободное самоопределение выше всех других прав. Кто сознал прошлую ошибку, тот от нее освободился. Безусловная искренность Мережковского, его нравственная смелость слишком для всех очевидны. Но ведь нашей критике подлежит не личность писателя, не его намерения, а его религиозная идея. Идеи же подчиняются законам, не зависящим от намерений. Изменив свой взгляд на самодержавие, отняв его у Христа и отдав Антихристу, Мережковский обрубил одну из веток на своем прежнем миросозерцании, но оставил нетронутыми корни и ствол, на котором ветка выросла и должна была вырасти, ибо между реакцией абсолютной и реакцией общественной связь органическая.

В самом деле, революция, в отличие от реакции, есть устремление вперед, а Мережковский видит цель и спасение позади, в событии, случившемся тому назад 19 веков. Как же может глядящий назад двигаться вперед, если у него глаза не на затылке? Если Христова Европа находится в революции, а буддийская Азия в реакции, то это не потому, что Европа исповедует веру бытия, а Азия религию небытия. Евреи момент бытия поставили

в самом центре своей религиозности и все же два тысячелетия коснели в той же реакции, как и буддийская Азия. С возникновением христианства и революционная Европа чуть не погрузилась в реакцию, чуть не загнулась о слова Апостола: «Не любите мира, ни того, что в мире; кто любит мир, в том нет любви отчей». Если же Европа все-таки осталась революционной, то потому, что она не переставала быть Европой Ренессанса, никогда не изменяла духу античного мира, который боготворил личность и материю.

По поводу «Жизни человека» Мережковский спрашивает: на что Андрееву революция и прогресс, если человек замкнут в круг железной необходимости? Но этот вопрос еще более применим к нему самому. На что верующему революция, прогресс науки, дальнейшие применения Иудиной силы железного тяготения, борьба за справедливое распределение труда и продуктов труда, когда все равно без веры в «единое и единственное чудо» человечество — «гниющее мясо», а с этой верой оно спасено? Зачем от совершенного добра искать добра несовершенного, от бессмертия в духе и во плоти улучшения временной жизни? Я даже не постигаю, как может верующий «в единое и единственное чудо» ожидать второго единственного чуда, второго пришествия, второго спасения, второго искупления. Если цель человеческой жизни достигнута, то дальнейшая история бессмысленна. Если назначение человечества в подражании Христу, то история превращается в ученическую мазню, в изготовление плохих копий с уже готового оригинала.

Нет, религии веры и чуда революция не нужна, но она же кует для реакции оружие и подводит под нее основание.

Ибо если Книга «истинна от первого слова до последнего», то почему не истинен завет о подчинении властям предержащим, о повиновении рабов господам своим по плоти? Если чудо вообще приемлемо, то почему неприемлемо чудесное происхождение земного абсолютизма от небесного «божией милостью»?

В последние два года над русской литературой и русским сознанием пронесся вихрь какого-то безумия. Ценности, вместо того, чтобы быть переоцененными, оказались подделанными, обесцененными. Мания величия, принимаемая за индивидуализм, блудливость, назвавшая себя оргиазмом, бессилие мыслить, возмнившее себя интуицией, и над всем этим пронзительное, режущее слух, как карусельная музыка, взаимное рекламирование, — таковы отличительные черты нашего ренессанса. Но как ни печальны явления русской пореволюционной действительности, в каждом из них я чувствую и провижу зер-

но, крупицу чего-то необходимого и разумного. В мании величия и жажде рекламы я вижу уродливо отраженное чувство личности, в оргиазме — столь же уродливо выраженную любовь к миру. Ничего нет удивительного в том, что русская личность, просидевшая сиднем тысячу лет на запечье русской государственности, теперь, вскочив на ноги, делает первые шаги неуклюже и болезненно. Но богатырь разомнет свои члены, и походка его станет легкой и сильной. Где выразилась любовь к личности и к миру, хотя бы в самых уродливых чертах, там все остальное приложится. Одно лишь есть явление в нашей умственной жизни, в котором, при всем желании, не могу отыскать самонаименьшей частицы исторического смысла. Это неохристианство, или, вернее, неовизантийство Мережковского, Бердяева, Булгакова и всех их последователей. Тут перегоревший пепел, бесплодный песок, бесцельный атавизм, явное заблуждение. В последнее время Мережковский вступил в спор с империализмом Струве, в надежде, не удастся ли ему сделать приемлемой свою религиозную мысль в сиропе антигосударственности. Нет, не удастся, ибо мы знаем, что значит на языке Мережковского антигосударственность. Уходя от государства, он, как волк в лес, смотрит сам и норовит завести читателя в зыбучие и унылые пески теократии, Иоанновой церкви, тысячелетнего царства и второго пришествия. Пока Мережковский не признает святыню разума и святыню личности, все его слова как религиозного и общественного мыслителя останутся мертвою и мертвящею буквою.





В. БАЗАРОВ

Христиане Третьего Завета и строители Башни Вавилонской

I

«Есть ли Бог или нет? Вот, кажется, самый нелюбопытный вопрос в наши дни». Так начинает г-н Мережковский свою книгу: «Не мир, но меч».

Пока говоришь о религии, как об идеале, все соглашаются или, по крайней мере, никто не спорит — кажется, впрочем, потому, что всем наплевать, но только что пытаешься связать религию с реальной действительностью, оказываешься или в дураках или в подлецах.

На первый взгляд, именно со стороны Мережковского и именно «в наши дни» такое вступление менее всего уместно. Со времен масонского движения в первой половине царствования Александра I ни разу еще религия не была в такой моде среди русской «прогрессивной» интеллигенции, как *в наши дни*. «Новое религиозное сознание», «мистический опыт», «касание мирам иным» — вот термины, мелькающие на столбцах нашей периодической прессы почти так же часто, как «противохолерные прививки», «мероприятия г-на Шварца», «конституционная Турция» и т. п. О бытии Божиим трактуется в самых популярных газетах, и притом не только в отделе *большого* серьезного фельетона, но и в отделе, так называемого «маленького фельетона», — каких же еще надо доказательств *любопытности* этого вопроса для современной публики! Говорят даже, что типографии вынуждены были пополнить запасы совсем было пришедшей в забвение «ижицы» по случаю необычайного спроса на слово «Vпостась».

Казалось бы, г-н Мережковский — еще недавно столь одинокий, столь непризнанный пророк религиозного возрождения русской интеллигенции — должен чувствовать себя как нельзя луч-

ше. И вдруг «всем наплевать... Оказываешься или в дураках или в подлецах»... Нотки такого глубокого уныния не срывались у него даже в 900-х годах, когда он, не встречая еще нигде отклика, вынужден был утешаться то пророчесственными «прообразами» грядущего религиозного интеллигента у Достоевского, то «бессознательной религиозностью» русских революционеров. Выходит как будто бы, что среди современной интеллигенции, на разные голоса воспевающей святость своих мистических переживаний, г-н Мережковский чувствует себя еще более одиноким, чем 5 лет тому назад, в атмосфере откровенного безбожия.

И это действительно так. Не то, совсем не то рисовалось г-ну Мережковскому в его мечтах о религиозном возрождении. Он верил в «подвижнический» дух русского интеллигента, по слову учителя своего — Достоевского.

Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертия и Бог существуют, то тотчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю» ...

...Сказано: «Раздай все и иди за мной». Не могу же я вместо «всего» дать два рубля, а вместо «иди за мной» ходить лишь к обедне.

Вместо этого величественного внутреннего и внешнего переживания, вместо этой «молнии, рассекающей небо от востока до запада» получилось нечто обидно-мизерное. Не только не потребовалось отдавать «всего», но даже и два-то рубля благополучно остались в кармане, даже и «половинный»-то компромисс оказался «бременем неудобноносимым». Религия отнюдь не внесла никакого нового огня, никакого нового вдохновения в нашу общественную жизнь. Произошло прямо обратное: как раз те элементы русской интеллигенции, которые решили, что отныне следует раз навсегда изгнать из общественности вредный «романтизм», что наступила пора трезвой, позитивной реальной политики, как раз они и почувствовали тотчас же необходимость отвести в своей душе уголок для религиозных переживаний, — уголок совершенно интимный, потусторонний, ничем не связанный с внешней жизнью и деятельностью. Наоборот, интеллигенты, сохранившие склонность к «романтизму» в политике, и поныне продолжают коснеть в своем прежнем безверии.

Интеллигенту первой категории — позитивному политику с мистическим изолятором в душе — принадлежит ближайшее будущее, — это господин завтрашнего дня. Безбожный «романтик» призван сменить его на арене истории послезавтра. Таким образом, в пределах исторического предвидения религии г-на Мережковского, по-видимому, не предстоит играть сколько-нибудь за-

метной роли. Г-н Струве был, конечно, совершенно прав, когда в своем возражении на доклад Мережковского, читанный в религиозно-философском обществе, заявил, что «представители нового религиозного сознания в сущности являются глашатаями старой религиозности, которая уже умерла». Г-н Мережковский со своими единомышленниками, — т. е. с г-ном Философовым и г-жой Гиппиус, если не считать довольно сомнительного христианина 3-го Завета, г-на Бердяева, — это, несомненно, последние могики, эпигоны многочисленной некогда армии воинов «тысячелетнего царства». Но именно как последние могики они и интересны. Возродить на рубежах XX века халиастическую мечту во всей ее догматической чистоте и во всей ее действительной мощи, притом не на почве слепого отрицания современной культуры, а на почве включения в свое *credo* всех ее завоеваний, — такая попытка не только в высшей степени любопытна, но в своем роде и очень трогательна.

* * *

Краеугольным камнем веры г-на Мережковского является христианский догмат о воскресении мертвых.

Я знаю, что умру, но хочу жить и после смерти — вот начало религии... Едва ли даже люди, чуждые всякой религии, не согласятся с тем, что цель и смысл жизни есть счастье, и что счастье — любовь... Всякая жизнь побеждается смертью. Чтобы дать жизни смысл, мы должны в любви утверждать вечное бытие личности; но смертью, уничтожающей личность, уничтожается и любовь, единственный возможный для человека смысл жизни*.

Если нет *лично* бессмертия, если нет полного настоящего воскресения, воскресения *во плоти*, то жизнь — сплошная бессмыслица и нелепость, издевательство дьявола над человеком. Именно бессмыслица и нелепость эмпирического существования, дух пошлости, убивающий смысл и интерес жизни и составляет, по Мережковскому, сущность Дьявола, как злого начала. Всякая *крайность*, всякая глубокая страсть сама по себе благодна и свята. Зло — это «середина», беспорядочная, тусклая, «серая» смесь противоположностей. Добро — не один из полюсов и не механическое смешение разных начал, а их органический синтез, тот «белый цвет, в котором все цвета радуги сливаются в один»**.

Противопоставление «плоти» как злого начала, «духу» как началу доброму, столь характерное для исторического христи-

* Не мир, но меч. С. 4.

** Гоголь и черт. С. 153.

анства, совершенно не удовлетворяет г-на Мережковского. Тем более, что на практике христианство привело не к победе духа над плотью, а к половинному компромиссу между ними. Половая любовь — это, по выражению Мережковского, «острие» плоти — в глазах исторического христианства есть лишь мерзостная похоть. Святой «ангельский» чин жизни — абсолютная девственность, монашество. И, тем не менее, брак есть «тайнство». Отрицая внутреннюю святость брака, церковь, тем не менее, освящает его как внешнюю эмпирическую необходимость: «могий вместити, да вместит», — а для немощных «лучше жениться, чем разжигаться». Тем же духом «середины» отмечено отношение исторической церкви к общественности и всем вообще вопросам земной жизни и культуры. С одной стороны: «не убий», — а с другой — «православное воинство». С одной стороны, токмо Христос есть «Крайний Судья» и Господь (т. е. государь) всякой христианской общины, а, с другой стороны, присяга членов Св. Синода гласит: «Исповедую же с клятвою («вы же не клянитесь вовсе», сказано в Евангелии) крайняго судии духовныя сея коллеги быти самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего». И т. д., и т. д.

Однако эта, в принципе антимирская, на практике же половинчатая, полумирская-полудуховная тенденция современного христианства представляет не случайное уклонение или злонамеренное историческое развитие. Плоть так же изначальна и свята, как и дух, а потому не может быть побеждена духом. Ложное направление исторического христианства нельзя устранить простой церковной реформой, возвращением к первоначальному христианству. Тут нужна не реформация, а революция, не восстановление второго Завета, а новый, *третий*, Завет, новое откровение, дающее высший и окончательный синтез отдельным моментам религиозной истины, раскрытым в Ветхом и христианском Заветах.

Ветхий Завет — откровение о Боге-Отце и Создателе мира — утверждает божественность космоса или вселенской плоти. В христианском Завете раскрывается вторая Ипостась Божества — Логос, разум, одухотворяющий косную материю — плоть мира. Грядущий третий Завет — Завет Духа Святого — будет состоять «в совершенном соединении Логоса и Космоса — во вселенской церкви как царстве не только духовном, но и плотском, не только внутреннем, но и внешнем, не только небесном, но и земном» *.

* Не мир, но меч. С. 37.

Таким образом, до сих пор еще не было, да и не могло быть истинной христианской церкви.

Как Израиль, стремясь к Божественной Личности, сам остается безличным, остается религией только природного и родового единства, так христианство, стремясь к общественности, церковности, само остается безцерковным, безобщественным, остается религией только уединенной личности. Но точно так же, как исполнилось чаяние безличного Израиля о Личности, исполнится и чаяние безцерковного христианства о Церкви*.

Церковь есть возведенное апокалипсисом «тысячелетнее царство святых на земле», «совершенное соединение Богочеловека с Богочеловечеством в безгранично-свободной и безгранично-любовной религиозной Общине».

Разрешить противоречие между плотью и духом, между мирской культурой и религиозной верой, сможет только это, третье откровение.

Религия Троицы, религия всеобъемлющая, не только созерцательная, но и *действенная*, принимающая в себя всю настоящую и будущую культуру, все откровения и знания, соединяющие в себе «разум — волю — чувство», как соединены в человеке «дух — душа — плоть». К этой силе, одной побеждающей, мы и должны стремиться**.

Самая интересная черта в учении Мережковского — это, бесспорно, включение в апокалипсический идеал *всей* культуры, т. е. не только культурного «быта», не только создаваемого культурой телесного и духовного «комфорта», но и самого *духа* культуры, всех ее «откровений и знаний», прошедших, настоящих и будущих. Г-н Мережковский доказывает, что апокалипсический идеал, несмотря на преобладающий в нем элемент чудесного, сверхъестественного, нимало не противоречит истинно понятой науке. Мало того, — только при свете апокалипсического идеала работа человеческой культуры приобретает свой смысл и свою ценность. Культура без религии, или культура, заменившая религию, религия человеческого, «только человеческого» разума приводит не к идеалу, достойному человека, а к окончательному и безысходному царству срединной пошлости: к человеческому «муравейнику», устроенному столь рационально и целесообразно, что людям уже нечего больше желать и искать, а остается только спокойно наслаждаться раз навсегда упроченным моральным и умственным благосостоянием. Наиболее ярким выражением этой атеистической культурной тенденции г-н Мережков-

* Там же.

** Грядущий Хам. С. 155.

ский, вслед за Достоевским, считает современный социализм. «Социализм, по словам Достоевского, есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но, по преимуществу, есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю».

Тысячи миллионов счастливых младенцев, — пишет Мережковский, — умеренная сытость, «спокойное довольство» всего человечества в комфортабельных «алюминиевых дворцах», в Вавилонской башне социал-демократии есть не что иное, как царство Чичикова, всемирного вечного Чичикова *sub specie aeterni*, ибо царство его есть именно царство «от мира сего»: в Чичикове, — говорит Гоголь, — было *«все, что нужно для этого мира»*.

Подчеркнутые мною выше слова Достоевского метко и верно схватывают основную тенденцию современного социализма как культурного течения. Социализм — это действительно не только «реформы в интересах рабочего класса», но и особое, насквозь иррелигиозное миросозерцание. Социалистическая «Вавилонская башня» — это действительно «воплощение современного атеизма», или, точнее, та материальная предпосылка, при которой атеистический дух современной культуры впервые сможет свободно развернуть свои силы. Мы убеждены, однако, что в итоге получится не успокоенный «муравейник», которым пугают нас г-н Мережковский и иже с ним, а небывалый еще подъем творческой энергии человека. Убеждение это связано с совершенно иным, нежели у Мережковского, пониманием движущих сил культуры и ее внутреннего смысла.

Но для того, чтобы уяснить себе ту «апокалипсическую» психологию, ярким выразителем которой является г-н Мережковский, мы пока допустим, что он правильно определяет дух современной культуры. Мы допустим, следовательно, что *идеал* культуры — окончательно разрешит все загадки мира и тем самым устранил всякую возможность новых проблем, что конечная цель безбожного прогресса — *достроить* свою Вавилонскую башню, т.е. создать силами человеческой мысли и воли такой же вековечный апофеоз, такое же претворение всех красок мира в единый белый цвет удовлетворенного познания и чувства, какое обещает даровать нам силой божественного Логоса апокалипсическое христианство.

Г-н Мережковский не отвергает безусловно *возможности* такого научного конца истории, — он думает только, что человечество никогда не помирится с ним, никогда не удовлетворится сво-

ей земной истиной, хотя бы это последняя достигла высшего торжества, сделала все тайны мироздания ясными и прозрачными как « $2 \times 2 = 4$ ». Именно « $2 \times 2 = 4$ » более всего и пугает г-на Мережковского. В самом деле. Была «тайна». Человек мучился, страдал перед лицом ее, — то преклонялся трепетно перед ее непостижимой властью, то поднимал против нее гордое знамя бунта. И вдруг тайна «разгадана»: на место всего этого богатства эмоциональных переживаний — холодная ясность, серая скука математической формулы. Есть от чего в отчаянье прийти!

Вот на случай такого окончательного торжества математики г-н Мережковский и возлагает надежды на восстание излюбленного Достоевским «подпольного человека». Если наступит на земле полное господство разума, так что все будет рассчитано «по табличке логарифмов», то, по уверению Достоевского, непременно возникнет какой-нибудь джентльмен с насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет всем: «а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить!» Это бы еще ничего, но обидно то, что непременно последователей найдет...

Пусть так. Пусть даже все человечество, истомленное гнетом математических формул, пойдет по стопам подпольного человека, «столкнет к черту», сожжет на кострах логарифмические таблицы и их изобретателей, воспретив под страхом смертной казни утверждать, что $2 \times 2 = 4$. Но что же дальше? Получится ли отсюда какая-нибудь «своя воля», хотя бы и самая «глупая»? Увы, нет! От сожжения таблиц не изменится значение начертанных на них формул; и если будет предписано говорить, что $2 \times 2 = 5$, то из сего проистечет отнюдь не освобождение от законов математики, а самая маленькая реформа математической терминологии: под «пятью» будут отныне разуметь то, что раньше называлось «четыре». Вот и все. Право же из-за такого мизерного результата не стоит копыя ломать, даже с «подпольной» точки зрения.

Тем-то и неприятна власть математических формул, что восстание против нее лишено всякого поэтического ореола и в самой основе своей высококомично. Объявить решенную задачу нерешенной, нарочно зажмурить глаза, чтобы создать себе иллюзию тайны там, где все ясно, как день... дальше этого в области пошлости, плоскости и скуки уже некуда идти.

Итак, если верно, что все задачи, не только данные, но и возможные для человеческого разума, будут когда-нибудь оконча-

тельно разрешены, если верно, что смысл атеистической культуры состоит в достижении этого разумного конца жизни, то, конечно, *в итоге* прогресса людям предстоит только царство безысходной скуки, от которой решительно нигде, даже и в «подполье», нельзя найти спасения. Этот, бесспорно неутешительный вывод должен бы, кажется, прежде всего, зародить сомнение в правильности исходной посылки. Допускает ли, вообще, прогресс разума какой-либо заключительный «итог», апофеоз, конец? Не противоречит ли идея апофеоза самым основам деятельности человеческого сознания? Вот вопрос, который сам собою напрашивается при созерцании бесконечной тоскливости всяких конечных апофеозов.

Но г-н Мережковский как нельзя более далек от сомнения в необходимости всеразрешающего финала истории. Мысль о безначальности и бесконечности развития пугает его чуть ли не больше, чем самый плохонький конец. В вечном движении он усматривает чуть ли не самую худшую разновидность «середины». Он неоднократно повторяет, что жаждет, — и что всякий человек, достойный этого имени, должен жаждать — «конца». Конец, доступный человеческой культуре, есть только скука. А посему да здравствует сверхчеловеческий конец, разрешение всех противоречий жизни не в человеческом разуме, а в божественном логосе и преображенном силою его мире!

Г-н Мережковский потратил немало труда на опровержение того «позитивного и материалистического догматизма», который мешает современному культурному интеллигенту раскрыть свое сердце для возвышенных откровений апокалипсической религии, но ему и в голову не приходит, что «тысячелетнее царство» можно отвергнуть в силу отсутствия в этом идеале всякой внутренней ценности, что можно *не желать* его самого по себе, совершенно независимо от всяких «научных предрассудков». А, между тем, в этом-то вся и суть. Для человека, проникнутого *духом* культуры — а также для его антипода, «подпольного» человека Достоевского — религиозный апофеоз неохристианства еще менее соблазнителен, чем апофеоз человеческого разума.

Согласно апокалипсическому учению г-на Мережковского — и в противоположность подлинному Апокалипсису — с наступлением кончины мира логос воплощается не в единичном индивидууме, как это было во время первого пришествия, а в самой человеческой общине. Преображенное человечество сознает себя единой личностью, и эта вселенская личность, этот единый всечеловеческий разум, с которым отныне тождествен разум каждого отдельного человека, и есть божественный логос. Поэтому-

то грядущая церковь «извне кажется анархией», а внутри есть «теократия», «взаимовластие»: «в царстве Божиим — все цари, все господа, и единый Царь царствующих и Господь господствующих — сам Христос» *. Если бы Христос царствовал в этой чаемой теократии, воплотившись в отдельном человеческом образе, то церковь казалась бы «извне» не анархией, а *монархией*. Лишь постольку все члены церкви могут быть названы царями и господами, поскольку Царь царствующих и Господь господствующих осуществляет свою власть не вне, а внутри каждого человека. Не подлежит, таким образом, никакому сомнению, что в апофеозе г-на Мережковского человеческий разум сливается с божественным, претворяется в логос.

Как известно, логос не только безмерно превосходит человеческий разум по степени, но и отличается от него по существу. В то время как человек противопоставляет себя внешнему миру, который он познает как нечто *данное*, логос творит мир. «Вещи суть мысли Божества»; каждая идея Бога материализуется; божественная воля тождественна с ее осуществлением. Если наш разум стал логосом, то этим уже достигнуто преобразование внешнего мира. Тогда мир утрачивает для нас свою материальность, свою способность к сопротивлению. Нам уже не надо *знать* законы мира, чтобы пользоваться ими как орудием для осуществления наших желаний, но сами желания наши становятся законами природы: когда мы чего-либо хотим, то самим этим актом хотения уже реализуем желаемое в действительности.

На первый взгляд — это идеал совершенной, абсолютной свободы. Но только на первый взгляд. В действительности свобода — и в ее отрицательной форме как *освобождение* от чего-нибудь, и в ее положительной форме как *способность* создать что-нибудь, — существует лишь до тех пор, пока мы боремся с каким-нибудь сопротивлением, преодолеваем «косную» материю, с некоторым усилием воплощаем в ней наш замысел. *Наличность сопротивления есть необходимое условие самого сознания.*

Когда г-н Мережковский думает об Антихристе и его соблазнах, сознание его горит ярким светом, — но, когда он произносит или пишет на бумаге слово «Антихрист», его органы речи и его руки выполняют свое дело бессознательно. Почему это так? Да только потому, что «вопрос» об Антихристе полон для г-на Мережковского неразгаданных тайн: если теоретически он уже стал выше всех соблазнов антихристовых, то на практике только еще ищет путей для их преодоления. Наоборот, ему не прихо-

* Грядущий Хам. С. 169.

дится ничего преодолевать, не приходится прокладывать никаких путей для того, чтобы произнести слово «Антихрист»: здесь все пути давно уже проложены, здесь «желать» — значит «исполнять желаемое», — и именно поэтому весь процесс совершается *автоматически*, почти без участия сознания.

Такие автоматические действия, такие *инстинктивные* реакции как раз и представляют чистейший тип того якобы «высокого» бытия, о котором грезят верующие в преображение разума в логос. Как известно, инстинктивные акты «совершеннее» сознательных, плохо рассчитанных движений, которые характеризуют всякую сознательную работу, — они в высшей степени гармоничны, точны, божественно целесообразны. Но беда в том, что эта божественная «законченная» гармония инстинктивной жизни существует как таковая только для наблюдающего ее *со стороны* сознания. В «самом себе» инстинкт есть не высшее торжество сознания, не апофеоз, а полная бессознательность, царство «Мудрого Духа» отрицания и небытия.

Г-н Мережковский противопоставляет «безмерной полноте бытия» в грядущей церкви дьявольский идеал нирваны, угашения бытия, на сторону которого стала историческая церковь, проповедуя отрешение от мира, «лежащего во зле». Но тут не два идеала, а один. Различны только пути к его достижению. Буддист не верит в преобразование мира и потому старается «преобразить» человеческую волю, привести ее к совпадению с *данным* миром и таким образом раз навсегда устранить возможность столкновений между желаниями человека и объективным ходом вещей. Неохристиане надеются, что космос «в конце концов» приспособится к человеческой воле, станет простою эманацией богочеловеческого логоса. В обоих случаях результат очевидно один и тот же: *абсолютное* единство воли и мира, которое, раз оно достигнуто, не может сознаваться ни как торжество воли над миром, ни как торжество мира над волей, ибо оно вообще никак не может сознаваться, ибо оно угашает самое сознание, превращает никогда не завершающуюся борьбу разума за целесообразность в завершенную целесообразность неразумного инстинкта. Даже та надежда на «бесстрастное блаженство созерцания», которая вдохновляет подвижников нирваны, совершенно неосуществима. Созерцание — не бесстрастное состояние, а *деятельность*, особого рода борьба, — и хотя «страсть», одушевляющая работу созерцания, очень своеобразна, тем не менее, она столь же реальна, как и всякая другая страсть. «Созерцать» — значит фиксировать энергией нашего внимания одни линии и краски и устранять другие, координировать движения нашего зрительного органа

так, чтобы выделить из созерцаемой картины одни контуры и устранить другие, и т. п. Подобно всякому другому сознательному акту, созерцание требует усилий, преодолевает известные препятствия, может быть удачным и неудачным, ложным и истинным, — и только при этих условиях существует как таковое, как *сознательное* созерцание.

Всякий идеал абсолютного «конца», последнего завершения и разрешения всех противоречий, каков бы ни был его исходный пункт — атеизм или вера, аскетизм или обожествление плоти — в своей глубочайшей сущности есть религия Бессознательного, стремление к дочеловеческому или животному, а не сверхчеловеческому или божественному блаженству.

Как мы видели выше, в «вавилонской башне» позитивного устройства человечества г-н Мережковский усматривает дух Чичикова. Чичиков для него — типичнейшее воплощение дьявола пошлости и середины.

В Чичикове преобладает начало равновесия, устойчивости... Это — «хозяин, приобретатель». Но не самое приобретательство составляет конечную цель Чичикова, а доставляемое им физическое и умственное «довольство», все-сторонний «комфорт» жизни. Так называемый «комфорт», то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покоренные наукой силы природы — звук, свет, пар, электричество, — все изобретения, все искусства — вот последний венец земного рая для Чичикова *.

А «последний венец» небесного рая для г-на Мережковского? В чем он заключается? Разве не в том же?

В царстве победоносных Чичиковых пытливость ума засыпает в спокойном довольстве достигнутыми «приобретениями»: все уже известно, все уже добыто и больше не к чему стремиться. Царство это пошло и скучно, но все же в нем есть хоть какая-нибудь сознательная жизнь. Не нужны и невозможны новые откровения, но для поддержания «муравейника» необходимо целесообразно применять к делу старые истины, пользоваться «табличкой логарифмов», — а это требует известных усилий, известного напряжения и, так или иначе, поддерживает слабо теплящийся огонек сознания.

В тысячелетнем царстве неохристиан угасает эта последняя искра человеческого. Тут даже для использования накопленных приобретений не приходится тратить никаких сил, ибо все делается «само собою», явления природы совершаются по указу воли

* Гоголь и черт. С. 33, 34, 41.

человеческой. Если «вавилонская башня» — идеал Чичикова, то хилиастическое блаженство — идеал Пацюка, который хочет, чтобы вареники *сами* прыгали в сметану и лезли ему в рот. И неужели же Пацюк по духу своему противоположен Чичикову, отделен от него целой *бездной*, как агнец от зверя? Не есть ли он, наоборот, лишь дальнейшее развитие Чичикова: та же самая «пошлость» успокоения и довольства, но лишь доведенная до своего логического конца, до абсолюта или — что то же — до абсурда?

II

Я понимаю, конечно, что все эти соображения, несмотря на их очевидную правильность — и именно в силу их слишком большой очевидности — не могут произвести никакого впечатления на человека, искренно взыскующего апофеоза. Разве можно, скажет такой человек, оценивать божественное царство абсолютной гармонии с точки зрения позитивного «эвклидовского» разума? Тут необходимо постигать или, по крайней мере, предчувствовать «четвертое измерение»... То, что представляется абсурдом эвклидовскому разуму, есть высшая истина в логосе, и т. д., и т. п. — К счастью, однако, я могу опереться в данном случае на авторитет разума, «многомерность» которого признана всеми современными мистиками, а хилиастами в особенности, на авторитет *самого* Достоевского.

Достоевский является излюбленным пророком христиан третьего завета. На откровениях Достоевского, в гораздо большей степени, чем на откровении Иоанна, «сына Громова», базируется учение Мережковского. И тем не менее Достоевский не был хилиастом, он остановился где-то на полдороге между историческим христианством и тысячелетним царством.

Если Достоевский думал о втором пришествии, — пишет г-н Мережковский, — то все-таки он больше думал о первом, чем о втором; больше думал о царстве Сына, чем о царстве Духа; больше верил в Того, кто был и есть, чем в Того, кто был, есть и будет; то, что люди уже «вместили», заслоняло для Достоевского то, что они еще «теперь не могут вместить»*.

Почему же сам-то Достоевский не «вместил» окончательной истины? Потому ли, что мысль его была недостаточно смела и последовательна? Или потому, что сердце его было слабо, не совсем еще освободилось от соблазнов антихристовых? Или же,

* Толстой и Достоевский. Т. I. С. 350.

наконец, он просто боялся соблазнить «малых сих», не способных еще вместить откровение Духа? Мережковский указывает и на ту, и на другую, и на третью причину, но не видит, или не хочет видеть, что Достоевский вполне сознательно *отвергал* «последнюю гармонию», хотя, конечно, в то же время жестоко мучился тем, что не может принять ее.

Каким-то довременным назначением, — рассказывает черт Ивану Карамазову, — я определен «отрицать», между тем, я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать... Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны»... Если бы на земле было все *благоразумно*, то ничего бы и не произошло. *Без тебя не будет никаких происшествий*, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия... Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое бы было в ней удовольствие; все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато.

Итак «осанна», «бесконечный молебен» тысячелетнего царства — в основе своей та же тоска безысходного «благоразумия», как и вавилонская башня: спору нет, «оно свято», но «скучновато». Правда, это говорит не сам Достоевский, а только Карамазовский черт, воплощение «самых глупых и пошлых» мыслей Ивана Карамазова. Но недаром же эти «пошлые» и «глупые» мысли так назойливо лезут в голову Ивана Карамазова в самый критический момент его жизни, недаром они так мучат и сверлят его душу, недаром он ничего не в состоянии им противопоставить, кроме ругательств!

Даже г-н Мережковский, столь плененный красотой «осанны», чувствует, что тут не одна только пошлость. Он цитирует следующую, еще более характерную тираду черта:

Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило на небеса, неся на персях своих душу одесную распятого разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «осанна», и громовой вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь всем, что есть на свете, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна». Уже слетало, уже рвалось из груди...

Но здравый смысл, — о, самое несчастное свойство моей природы, — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в эту минуту, что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы угасло все на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я должен был заданно в себе хороший порыв и остаться при пакосях...

Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, *рвякну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему...* Но пока это не произойдет, — пока

не открыт секрет, для меня существуют две правды, одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище...

Г-н Мережковский находит, что под «кажущейся» пошлостью, под «прозрачной корой пошлости и насмешки мысль углубляет-ся здесь до нуменальной бездны».

Сам «великий умный Дух пустыни», светоносящий, мог ли бы сказать Ивану что-либо страшнее, неожиданнее, чем эти слова о двух существующих, вечно соединяемых и несоединимых правдах?..

От соприкосновения, столкновения «двух правд» родился огонь, раскаливший горнило сомнения, через которое прошла «осанна» и самого Достоевского*.

В том-то и дело, что «осанна» самого Достоевского не «прошла сквозь» горнило двух правд, а безвозвратно сгорела в этом горниле.

До сих пор мы имели дело лишь с чертом, духом лжи и небытия. Послушаем теперь, что говорит о райском блаженстве и адских мучениях старец Зосима, один из тех одиноких праведников, которыми, по словам Достоевского, держится мир.

Отцы и учителя, мысля: «что есть ад?» Рассуждаю так: *страдание о том, что нельзя уже более любить*. Раз в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «я емь и люблю». *Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки*, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило, ни взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший от земли, видит и лоно Авраамово, и беседует с Авраамом как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и к Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что к Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: «ныне уже и знание имею и, хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею *воды живой* (т. е. вновь даром *земной жизни, прежней и деятельной*) прохладить пламень жажды любви духовной, которою пламенем теперь, на земле ею пренебрегши: *нет уже жизни, и времени больше не будет*.

Итак, деятельная, живая любовь возможна только в этой, земной жизни, со всеми ее противоречиями. В лоне Авраамовом никакая деятельность уже не мыслима, там нет уже времени, т.е.

* Толстой и Достоевский. Т. I. С. 342.

не совершается никаких событий, никаких «происшествий», нет, следовательно, ни любви, ни жизни. Как видим, Зосима, а его устами и сам Достоевский, говорит то же самое, что и карамазовский черт.

Г-н Мережковский лелеет надежду — «такую новую, такую робкую» *, — что с наступлением апофеоза и черт будет прощен, т.е. «рвякнет» в конце концов свою осанну, позабыв о жизненной необходимости «минуса». Зосима — Достоевский утверждает, что никогда не прейдет царство сатаны:

О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание беспспорное и на созерцание правды неотразимой, есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело... ненасытими во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают... и будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получают смерти.

Не дух ветхозаветной «справедливости», ветхозаветной идеи о Божественном возмездии сказывается в этом признании вечного ада. Бог и после кончины мира не перестает «звать» к себе грешников, проклинающих Его, — они сами не идут в рай. Адское самоистязание грешников необходимо в системе грядущего миропорядка, как тот «минус», без которого вечный «живот» праведников превратился бы в пустоту вечного небытия.

При внезапном прекращении какой-нибудь острой мучительной боли самое это прекращение, самое «небытие» боли ощущается на момент как интенсивнейшее блаженство. Но, увы! — от этой мгновенной иллюзии блаженства через минуту не остается и следа, — и чтобы возродить ее, недостаточно простого воспоминания о былых муках, необходимо их новое реальное переживание. Страдания грешников — это тот вечно ноющий зуб, по контрасту с которым праведники только и могут воспринимать свое благополучное здравие как райское блаженство. Не будь вечного ада, рай был бы подобен блаженной секунде перед эпилептическим припадком, о которой Достоевский устами князя Мышкина говорит: «Да за этот момент можно отдать всю жизнь». Тотчас же за последним звуком последней трубы архангела — мгновение «неслыханного и негаданного дотоле чувства полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни», ... а затем вечный «трансцендентный» обморок, вневременной мрак «нуменальной» эпилепсии. Мережковский справедливо называет эпилепсию «вещей» болезнью, — но этого мало: эпилепсия не только «вещает» о грядущей гармо-

* См. его статью «О новом религиозном действии».

нии, как ее таинственный символ, она сама есть точный дубликат этой гармонии.

Припомним исходный пункт учения г-на Мережковского: теперешняя жизнь сама по себе нелепа и ужасна, — только вера в апокалипсический «Конец» может придать ей смысл и значение. Оказывается, однако, что и конец *сам по себе* лишен всякого смысла и даже всякого содержания, что не он сообщает значение теперешней жизни, а наоборот, эта последняя, со всеми ее страданиями, нужна для того, чтобы придать абсолютному нулю конца некоторую видимость положительной величины. — Этот безвыходный, тусклый тупик, эта свидригайловская «баня с пауками» вместо той светозарной перспективы, которую рисуют наивные пророки конца à la г-н Мережковский, и лежит в основе известного «бунта» Достоевского — Карамазова. За последнее время очень много писалось о «слезинке замученного ребенка» и о невозможности «принять» наш земной мир с его бессмысленными страданиями и жестокостями. Но ведь «неприятие» Карамазова относится не только к *этому*, но и к будущему миру и даже к будущему-то в первую голову:

Пока еще есть время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка... Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании *моем, хотя бы я был и не прав*. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно.

Не от земной жизни отрекается здесь Карамазов. Свое плавание по морю житейскому, хотя бы и в качестве безбилетного пассажира, он не намерен заканчивать «ранее 30 лет», — а в действительности его стихийная жажда «клеяких листочков» жизни не утолится и в течение трижды тридцати лет. Но зато от «билета на вход» в будущий мир, в царство гармонии, он отказывается бесповоротно. *Этого* билета он не потребует назад даже в том случае, если окажется «не прав», т. е. если действительно существует какой-то «четырёхмерный» разум, воспринимающий мрак конца как свет, а ужас бессмысленного страдания как необходимый момент конечной гармонии. Карамазов *не хочет для себя* этот четырёхмерного разума, и в этом он бесспорно «прав». Если уж говорить об «искушениях дьявола», то, конечно, величайшим издевательством над людьми духа пошлости и подлости является идея всеосвящающего и всеоправдывающего конца, — идея, что не только свободные страдания творчества, которые сами себя оправдывают, но и рабские муки бессильной истязаемой жертвы

в глубочайшей сущности своей «святы», имеют внутренний нравственный «смысл», пока еще «сокровенный» от нас, но имеющий раскрыться при ослепительном свете конца.

III

Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage, — говорит Мефистофель. Это не издевательство дьявола над святынею «истины», а одно из глубочайших откровений о природе человеческого разума. Всякая вполне осуществленная, вполне постигнутая разумом «истина» становится рано или поздно Unsinn, т. е. не только банальностью или пошлостью, но и реальным препятствием, сковывающим дальнейшие шаги разума. Лишь выйдя за пределы наличной истины и, следовательно, признав ее относительной и условной, разум достигает истины более глубокой, включающей в себя предыдущую как частный момент. Если бы это было иначе, если бы каждая истина не превращалась «в конце концов» в Unsinn, если бы существовала какая-то предопределенная, неизменная абсолютная истина, то сам разум как деятельность, как творчество и как *пафос* творчества был бы Unsinn.

Сотни тысяч лет протекли с тех пор, как сознательная, т. е. творческая работа разума сделалась преимущественной особенностью животного «человек», — но и до сих пор чувство человека не может примириться с этим, до сих пор человек не перестает скорбеть о том, что «дьявол» попутал его вкусить от древа познания и лишил первобытной райской гармонии. Революционный разум становится добровольным рабом консервативного чувства: все свои силы — зачастую далеко не заурядные — он употребляет на демонстрацию своего собственного ничтожества, своей неспособности постигнуть «вечные проблемы мироздания», и под видом «религии» создает жалкий, срединный, полусознательный, полуинстинктивный суррогат того целостного блаженства зоологической «невинности», которое безвозвратно утрачено нами еще в дочеловеческий период нашей истории.

И любопытно, что тенденция эта свойственна не только мистикам, поносящим безбожный дух современной культуры, но и многим крупным деятелям самой этой культуры.

Мережковский видит в чеховщине яркий образчик той психологии, которая создается на почве атеистической *веры* в культуру.

Теперешняя культура, — пишет Чехов в одном письме, — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть

может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы, хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога — т. е. не угадывало бы, не искало в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре.

Г-н Мережковский остроумно показывает, что эта *религия культуры*, эта вера в рационального Бога, ясного, как «дважды два четыре», неразрывно связана с пессимизмом чеховских героев, с их никчемностью, с их «трансцендентной» скукой.

Мы знаем ту социально-политическую среду, в которой выросло поколение «чеховских типов», мы знаем *те веяния времени*, которые нашептывали «восьмидесятнику» и трансцендентную скуку, и бессильные грезы о торжестве разума «через несколько сотен лет». Но Мережковский с полным основанием мог бы возразить, что этих специально русских условий недостаточно для объяснения тесной связи между пессимизмом и религией разума. Он мог бы указать на Мечникова — гораздо более француза, чем русского, — который тщетно старается преодолеть тоску жизни «естественным инстинктом» смерти. Он мог бы сослаться на другого крупного французского ученого, биолога Ле-Дантека, пессимизм которого также сводится, в конечном счете, к неутолимой жажде раскрыть научным путем «абсолютную» истину жизни.

Да и незачем ссылаться на отдельные имена. Достаточно раскрыть первый попавшийся трактат из области точных наук, чтобы убедиться, что стремление рассматривать научное творчество только как средство для отыскания всеразрешающего *конца познания*, характерно для большинства ученых нашего времени. Невозможность этого конца или, по крайней мере, неосуществимость его в ближайшее время есть типичный источник современного познавательного пессимизма, той научной «скромности», которая видит в объектах разума лишь несущественную внешность, лишь «явления» мира, и тем самым постулирует сверхразумную «внутренность» или «сущность» вещей — область, так называемого, интуитивного или мистического познания. А если ученый не признает мистического откровения, то почти наверное вы найдете у него какой-нибудь суррогат мистики в области откровений самой науки. И такая научная «смелость», такое гипостазирование отдельных приобретений разума, возведение их в сан конечных истин, представляет для развития творческой мысли препятствие чуть ли не горшее, чем самоограничение «научной скромности».

Среди построений научной мысли принято различать две категории, — так называемые «рабочие гипотезы» и «теории».

Познавательные конструкции первой категории потому и называются «рабочими», что именно они являются орудием научной *работы* в собственном смысле этого слова, орудием научного творчества, — тем не менее, ученые относятся к ним как-то двойственно и как бы конфузливо. Рабочей конструкцией можно пользоваться, но нельзя придавать ей серьезного научного значения: ведь это только «гипотеза», — она еще не определилась, не выяснена еще область ее применения; «в конце концов» она, быть может, вовсе не верна, не обнимает всей той суммы фактов, для которых придумана. Это нерешительное полупризнание «гипотезы» * ставит ученого почти в безвыходное положение, когда к нему с торжественным видом приступает «великий инквизитор» науки, «критический философ», и строго спрашивает: «А позвольте узнать, милостивый государь, на каком основании оперируете вы не одними бесспорными истинами, вытекающими из вечных законов разума, но также произвольными измышлениями вашей субъективной фантазии?» Ученый не знает, куда глаза девать от сраму, — он чувствует, что перед святейшим трибуналом гносеологии его незаконная связь с легкомысленной «гипотезой» ничем не может быть оправдана... Гипотеза принесла с собой расцвет научного творчества, целый ряд гениальных прозрений, неожиданных открытий, изобретений, предсказаний... Но разве все это имеет *абсолютную* ценность, разве все эти завоевания науки не эмпирический тлен и суета? И ученый, заикаясь от смущения, начинает приводить смягчающие его вину обстоятельства: он и не думал никогда придавать гипотезам какую-либо научную *ценность*, — это только так... «леса», которые тотчас же будут убраны, когда достроится до конца здание науки; научную ценность имеет, само собой разумеется, только этот грядущий «через несколько столетий» конец, это завершенное, абсолютно достоверное здание, а не процесс постройки и его временные, случайные орудия...

Но вот «гипотеза» выдержала все испытания: область ее применения определена окончательно, и само это применение не связано уже ни с каким творчеством, ни с какими открытиями, но совершается с правильностью и отчетливостью раз навсегда установленного шаблона. Познавательная конструкция приобретает *прочную научную ценность*, она именуется теперь уже не «гипо-

* Самый термин «гипотеза» в применении к рабочим конструкциям, строго говоря, неуместен, но здесь я не могу касаться этой стороны дела. См. об этом статью «Мистицизм и реализм нашего времени», главу об эвристических конструкциях и гипотезах.

тезой», а «теорией», и сама гносеология спешит освятить ее сожителство с разумом, установить ее связь с «вечными законами» последнего.

Сто с лишним лет тому назад принцип «неразрушимости материи» был робкой гипотезой; семьдесят лет тому назад принцип «сохранения энергии» казался настолько произвольной конструкцией, что солидная наука отказывалась признать за ним какое-либо серьезное значение. — После того как Гельмгольц доказал всеобщность закона сохранения энергии в области всех известных тогда физических и химических процессов, гносеология немедленно выяснила, что и доказывать-то тут было нечего, так как закон сохранения энергии — не вывод из эмпирических фактов, а *предпосылка* их исследования, покоящаяся на априорных категориях «чистого» рассудка. Сами же эти категории, как известно, не зависимы от каких-либо эмпирических данных, одинаково достоверны на Земле, на Марсе и на Сириусе, теперь и через миллиарды лет: земля и небо прейдут, но категории чистого рассудка не прейдут вовек.

С тех пор, как основы классической механики были, таким образом, незыблемо обоснованы *sub specie aeternitatis*, прошло всего полвека. Земля и небо еще далеко не «прешли», а между тем появились удивительные тела, вроде радия, которые, не желая знать ни о каких категориях чистого рассудка, отказывают в повиновении закону неразрушимости материи. Мало того. Французский физик Ле Бон доказал экспериментально, что материя *всех решительно тел* нашего опыта непрерывно разлагается, превращаясь, быть может, в световой эфир, во всяком случае, в нечто, лишенное основного свойства «материи»: инерции, постоянной *массы*. Всякая материя, по выражению Ле Бона, «дематериализуется». Но вместе с тем падает и закон сохранения энергии, по крайней мере, в его классической форме: если то «нечто», которое образуется из материи при ее разложении, не обладает постоянной массой, то оно не может обладать и постоянной энергией, которая измеряется половиной произведения массы на квадрат скорости.

Гносеология пока совершенно игнорирует работы Ле Бона — как игнорирует она современную философию математики (т. е. «логистику» *), в корне подрывающую кантовское учение о «синтетических суждениях a priori». Солидные ученые-специалисты относятся к разрушителю постоянства энергии — Ле Бону —

* Я имею в виду ту школу математиков, основателем которой является итальянец Реапо.

почти так же, как их деды относились к основателю этого принципа, Майеру, т. е. не говорят ни да, ни нет, и стараются вообще по возможности о его выводах не думать.

Перспективы, открываемые работами Ле Бона, колоссальны. Вот некоторые из них. «Дематериализация» заставляет думать, что возможен и обратный процесс — «материализация», создание химических элементов из общей им всем эфирной праматери, а если так, возможен и процесс превращения одного элемента в другой. Далее: искусство усиливать процесс дематериализации обещает отдать в распоряжение человека практически безграничные запасы даровой энергии. Из тех трех основных задач, над которыми бились когда-то алхимики — открытие философского камня, *perpetuum mobile* и жизненного эликсира, — две первые становятся *научными* * на том пути, который наметен Ле Боном.

Но разве эмпирические перспективы, как бы обширны они ни были, могут вознаградить истинного солидного мужа науки за потерю той абсолютной гармонии, которая царствовала до сих пор в его области? Когда-то еще удастся вполне овладеть этими новыми, могучими и непокорными силами и уложить их в такие изящные, законченные, неподвижные формулы, в которых покоится классическая механика! А пока какой-то неопределенный хаос, ряд неуверенных гипотез, жалкое шатание мысли. И ученый приступает к новым открытиям не только с критической осторожностью, всегда необходимой, но и с явным недоброжелательством; втайне он лелеет надежду, что все эти неприятные новшества окажутся недоразумением и пустяком, что ему не придется ломать самые основы своего мирозерцания, которые он привык считать абсолютной истиной.

Бесчисленны и многообразны проявления психологии «конца» в области познания. Одним из наиболее ярких образчиков этой психологии является стремление априори наметить *границы* науки. Между тем, если есть какие-либо «априорные» предпосылки научного исследования, то невозможность априори определить границы познания — самая очевидная из них. Нет и не может быть *принципиально* неразрешимых для науки проблем. Неразрешимы только неправильно заданные, внутренне противоречивые проблемы. Но внутреннее противоречие нельзя и представить себе как *задачу*, подлежащую решению: достаточно

* Само собой разумеется, что теоретически понятие *perpetuum mobile* нелепо; я имею в виду ту практическую задачу, которую преследовали алхимики, отыскивая «вечное движение».

вскрыть противоречие, лежащее в основе неправильно заданного вопроса, для того чтобы он тотчас же перестал быть *вопросом* и превратился в бессмысленный набор слов.

Нет *неразрешимых* задач, весь данный мир принципиально познаваем. Но так как сами эти мировые «данные», которыми мы стремимся познавателью овладеть, не представляют чего-либо законченного, а постоянно нарождаются вновь, то всегда будут *нерешенные* задачи. Г-н Мережковский упоминает о прогрессе зрения со времен Гомера, в эпоху которого люди, по-видимому, не различали цветов спектра, лежащих за зеленым в сторону фиолетового конца. В бесконечно более сильной степени раздвинулось наше зрение по ту и другую сторону видимого спектра благодаря тем искусственным органам восприятия, которые были изобретены в 19-м веке. И эти новые «данные» опыта, эти невидимые «лучи» не только дополняют кое в чем картину мира, не только присоединяют к 35 000 известных видов 35 001-ый, как жалуется один разочаровавшийся в науке чеховский герой, но преобразуют самый фундамент науки, ниспровергают те коренные «законы» материального мира, в которых великий предтеча современной науки, Леонардо да Винчи, усматривал предвечную целесообразность самого строителя вселенной, самого «Primo Motore».

Как видим, идеология конца, в корне враждебная духу культурного прогресса, духу всякой вообще *человеческой* жизни, далеко не является исключительно особенностью христиан третьего завета. Эти наивные люди представляют лишь ее наиболее яркое, целостное воплощение. Они смело возводят в ранг религиозного догмата ту психологическую тенденцию, которая в смягченном и преобразованном виде живет в душе многих и многих борцов за культуру, отравляя их творческое вдохновение, нашептывая им тоскливые, ленивые мысли о тщете всех усилий человеческого разума, о недостижимости «последнего» откровения, и т.п. Не много найдется людей, совершенно свободных от этих искушений дьявола лени, покоя и скуки, выступающего под маской жажды «абсолютной истины». Но бесконечно различно отношение искушаемых к «соблазнам» дьявола. Если одни стараются побороть в себе голос дочеловеческого инстинкта, зовущего к «блаженному усению и вечному покою», то другие падают ниц перед этой недотыкомкой, провозглашают ее святым духом и смиренно молят даровать людям «новый завет», окончательно упраздняющий за ненадобностью работу творческого разума.

IV

Философы не раз демонстрировали на примере собственных систем, что мистическое устремление к грядущему апофеозу, к божественному свету абсолютной истины, в действительности приводит к абсолютному мраку бессознательной стихийной жизни. Самым смелым из философов этого типа был Гартман, провозгласивший бессознательное божеством, а сознательный разум жалким убудком, продуктом печального недосмотра в порядке мироздания: *du bist das Produkt eines Aktes, der nicht hätte sein sollen, darum musst du auslöschen, sterben!* К сожалению, Гартман задался противоречивой целью доказать несостоятельность разума с его же собственной, с *научной* точки зрения. Выхватывая первые попавшиеся аргументы из области естествознания, он создал целый ряд явно несостоятельных построений, и что хуже всего — совершенно затемнил свой собственный исходный пункт: само «бессознательное» превратилось у него в какое-то разумное существо, в ходячий абсурд, в бессознательное сознание.

Гораздо тоньше, интереснее и правильнее по существу поставил аналогичную задачу Бергсон, философ, лишь за последнее время получивший широкую известность. Бергсон дает остроумный анализ интеллекта, как специфически сознательной активности, и показывает, что идея абсолютной истины противоречит самой природе интеллекта, что лишь в области не интеллектуального, инстинктивного может найти себе почву стремление проникнуть в *сущность* вещей. Выводы Бергсона тем интереснее, что сам он чистейшей воды мистик; с его точки зрения интеллект пригоден лишь для «внешних» механических целей, инстинкт же представляет не особый вид окостенелых жизненных процессов, а творческое начало всякой жизни вообще. Но и Бергсон не довел и, как мистик, жаждущий интуитивного постижения мира, не мог довести своего анализа до конца: до знака равенства между мистической интуицией и полной бессознательностью.

Подобного рода непоследовательность вполне понятна и притом вполне извинительна в устах мистика. Быть последовательным принципиальный враг «пошлого» разума отнюдь не обязан, но и отказаться от разума, от сознания, *всерьез* никакой мистик, конечно, не желает. Действительные корни мистики лежат вовсе не в области сверхразумного; всякий мистицизм порождается потребностью установить в пределах самого разума, в пределах сознательной жизни человека, некоторую неприкосновенную для

разума «святыню». И такой святыней оказываются всегда известные законы человеческого общежития, известный тип отношений между людьми, известные формы культурного быта. — Законы природы, открываемые наукой, лишены всяких атрибутов святости; эти «резвые» формулы *сами по себе* совершенно неспособны вызвать чувство восторженного преклонения; они являются лишь орудием дальнейшей работы разума, которая носит так называемый «диалектический» характер, т. е., отправляясь от данного закона или теоретического постулата, приходит к его «отрицанию», к познанию его ограниченности и условности. Новое, более широкое научное обобщение, включив в себя как частный момент закон, низвергнутый с пьедестала конечных истин, в свою очередь подвергается той же участи, и т. д. *ad infinitum*. Очевидно, сама жажда «конечной истины», сама психология, требующая осуществления этого научно несостоятельного, противоречивого внутреннего понятия, внедряется сюда извне. Культура как *быт*, как совокупность «освященных» социальной традицией, «святых» и «самоценных» форм жизни, и есть эта постоянная лаборатория мистических чувств, столь враждебных культуре как живой, движущей силе человеческого прогресса.

Я вовсе не хочу сказать, что «святость и самоценность идеала» есть просто возвышенная фраза, прикрывающая интересы, связанные у той или другой группы людей с данными формами сложившегося быта. Только противники исторического материализма, усердно упрощающие его для удобства полемики, утверждают, будто марксист обязан видеть в идеализме *сознательное* «прикрытие» материальных интересов. Именно с марксистской точки зрения эта теория совершенно несостоятельна, ибо она прежде всего не материалистична. В самом деле, трудно понять, для чего бы могло понадобиться данному классу сознательно, т. е. лицемерно, *прикрывать* свои интересы несоответствующей им «возвышенной» идеологией. Это имело бы смысл лишь в том случае, если бы существовала какая-то *абсолютно* возвышенная идеология, не зависящая ни от каких конкретных интересов, одинаково обязательная и святая для всех без различия людей. Но раз этого нет, раз всякая, и даже самая искренняя и возвышенная, с нашей точки зрения, идеология, напр. идеология борющегося пролетариата, имеет лишь исторически ограниченное значение, вырастает лишь на почве определенных «производственных отношений», то необходимо допустить, что и самые несимпатичные нам «идеалы» вполне искренни, действительно «святые» и

«самоценны» для той общественной группы, которая их исповедует.

Возьмем для примера «патриархальный» быт доброго старого времени. Жизнь помещичьей усадьбы протекала тем гармоничнее, *интересы* помещика обеспечивались тем лучше, чем интенсивнее были развиты «патриархальные» чувства, связывавшие помещика с крестьянами и детей с родителями, как в крестьянских семьях, так и в самой помещичьей семье. Но из этого вовсе не следует, что сам помещик рассматривал патриархальные отношения только как орудие своих материальных интересов. Наоборот, *настоящий* «хороший» барин ценил поэзию патриархальных чувств как таковую, — именно это внутреннее «благолепие» дворянского гнезда, его своеобразная психическая атмосфера, так ярко воспроизведенная в «Войне и мире», и составляла главную прелесть, основной *смысл* жизни для идеальных помещиков крепостной эпохи. У толстовских героев, как и у самого Толстого, этот барский «идеализм» является обыкновенно не вполне осознанным, но выступает от этого еще отчетливее. Николай Ростов первоначально не чувствовал никакого призвания к хозяйству, он занялся своими поместьями только для того, чтобы обеспечить благосостояние семьи. Но и впоследствии, став идеальным помещиком, он продолжал истолковывать свою тягу к хозяйству с этой материалистически-утилитарной точки зрения.

Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: «с нашим русским народом» и воображал себе, что терпеть не может мужика. Но он всеми силами души любил этот *наш русский народ* и его быт...

Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать... Она не могла понять, отчего он был так оживлен и счастлив, когда, встав с зарею, и, проведя все утро в поле или на гумне, он возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он так восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермилина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал частый теплый дождик...

Жена Ростова вполне понимала и разделяла его заботы о благосостоянии детей, но с ее высшей христианской точки зрения строй барской жизни представлялся греховным, и потому она не могла понять *поэзии* этого строя, не могла разделять тех «любвных», «восторженных», «радостных» чувств, которыми была преисполнена хозяйская душа Ростова. Заботы о семье являлись не основным движущим мотивом деятельности Ростова, а толь-

ко рационалистической мотивацией. Поддержание «идеальных» форм крепостного благоустройства — вот та святыня, та самодовлеющая ценность, которая скрашивала жизнь Николая Ростова, придавала ей смысл и значение.

По поводу этого хозяйственного идеализма толстовских героев и самого Толстого г-н Мережковский пишет:

Он (Толстой) каждый раз выражал свое волнение так: «только бы дома все было благополучно!»

Это — не мещанство, это неизмеримо глубже и первобытнее: это вечный голос природы, неодолимое чутье жизни, которое заставляет зверя устраивать логово, птицу — гнездо, человека — зажигать огонь семейного очага...

Это — покорное воле природы свивание гнезда, благолепное *домостроительство*.

радость жизни, которая была у Гете.

Мы слишком слабые, дерзкие, слишком жадно устремленные к будущему, привыкли слишком мало ценить законченные формы прошлого, это «благолепие», «благообразие», эти цепкие *животно-растительные корни всякой человеческой культуры* (курсив мой. — В. Б.), глубоко уходящие в подземную, родную, живую, животную темноту и глубину, которыми, однако, только и питается и, наперекор всяким «серым теориям», вечно зеленеет «золотое дерево жизни» *.

Это едва ли не единственное место, где г-н Мережковский верно и точно определяет свое отношение к многосмысленному понятию «культура». Живой дух культуры, дух «жадного устремления к будущему» его совершенно не увлекает, он видит в нем лишь «серую» теорию. Во «всякой человеческой культуре» ценны ее «животные», даже «растительные» корни, — то инстинктивное, «темное» — но зато такое «родное», такое «теплое» — чувство «благообразия» и «благолепия», которым согревают душу «законченные формы прошлого», формы освященных веками человеческих «гнезд».

Чуть не на каждой странице каждой своей статьи г-н Мережковский сражается с «мещанством», с буржуазным отношением в культуре; он и в данном случае не преминул, как мы видели, оговориться: «это не мещанство, это неизмеримо первобытнее, и глубже».

К сожалению, несмотря на эту оговорку, остается совершенно непонятным, почему «комфорт» мещанского гнезда менее свят, нежели «благолепие» гнезда дворянского. Разве хорошо налаженное торговое предприятие не пробуждает в душе владельца

* Толстой и Достоевский. Т. I. С. 33, 35, 32.

такого же благолепного самочувствия, какое охватывало Николая Ростова, когда он созерцал свое благоустроенное хозяйство? Разве банкир не расцветает душою, разве он не «улыбается под усами и не подмигивает», когда биржевые бюллетени приносят ему весть об удачной спекуляции? И почему же бескорыстный, чисто эстетический восторг, испытываемый каждым «деловым человеком» при виде идеально поставленных торговых книг, нельзя свести к «той великой и простой любви к жизни, той вечно детской радости жизни, которая была у Гете»? Ведь эту возвышенную тираду о «великой и простой» любви г-н Мережковский произносит по весьма, на первый взгляд, прозаическому поводу, — по поводу того удовольствия, которое доставляло Толстому образцово поставленное в его имени откармливание свиной. Неужели же благолепие свиного хлева представляет нечто до такой степени возвышенное и святое, что, по сравнению с ним, все формы буржуазной культуры только пошлость, плоскость и середина?

Но в том-то и дело, что на все эти вопросы нет и не может быть ответа. Здесь кончается компетенция разума. Мы наконец вступаем в область подлинной мистики, видим воочию ее темные и теплые подземные корни и ощущаем их полную независимость от всякой серой теории или логики. Тут совершенно нечего *понимать*. Надо *родиться* в дворянском гнезде, надо с колыбели дышать его атмосферой, чтобы *почувствовать* святость этого жизненного уклада. То же самое относится и к буржуазному гнезду: оно так же имеет свой «идеал», который сам по себе ничуть не ниже и не выше поместно-дворянского благолепия, — он просто «иной», чуждый, психологически недоступный для человека, проникнутого традициями старого барства.

«Мы с г-ном прокурором идиоты друг для друга», — заявил в одной из своих защитительных речей Лассаль, пояснив, что тут нет никакого оскорбления для г-на представителя обвинительной власти, так как «идиот» в своем первоначальном смысле значит лишь «своеобразный человек». — В области святых форм общежития, в области «святыни» вообще, первоначальный смысл слова «идиот» совпадает с его теперешним ходячим смыслом. Здесь быть совершенно своеобразным, по сравнению с другим человеком, — значит, быть для этого другого идиотом, пошляком. Построенный на культурном комфорте мещанский идеализм в глазах г-на Мережковского безгранично пошл, но точно так же — и, быть может, в еще большей степени — пошлы в глазах идеалиста-мещанина те формы добуржуазного барского «комфорта», которые г-н Мережковский воспринимает как «благолепие».

Оба эти идеалиста одинаково правы или неправы, — и оба они одинаково скучны, неинтересны, «пошлы» для человека, не испытывавшего обаяния никаких вообще законченно-комфортабельных форм жизни и потому незнакомого с чувством бытового благолепия.

V

Можно ли, однако, идеализм г-на Мережковского назвать дворянским? По-видимому, нет. Пожалуй, это было бы еще позволительно несколько лет тому назад, когда мистика г-на Мережковского санкционировала самодержавие. Но что же осталось от этого дворянства теперь, когда не только «старый порядок», но и всякую вообще власть г-н Мережковский объявил дьявольским «антихристовым» началом?

Если под «дворянской» идеологией разуместь комплекс идей, непосредственно отражающих в себе конкретные интересы каждого данного дворянина-помещика, то, разумеется, апокалипсическую проповедь г-на Мережковского придется признать затеей, совершенно не дворянской. Нимало не защищая и даже не «прикрывая» ближайших помещичьих интересов, эта идеология может повести только к конфликту с местным батюшкой и соответственным отделом «союза русского народа», — перспектива не особенно страшная, но отнюдь не заманчивая. Но если мы обратим внимание не на интересы г-на Мережковского как помещика, а на его жажду абсолютно оконченных, безусловных, неизменно-святых форм жизни, то дворянское происхождение его религиозных исканий станет более чем правдоподобным.

Бытовые формы буржуазного общества никогда не могут отлиться в такую строго выработанную, целостную систему священных отношений, о какой говорят нам идеалистические стародворянские предания. Формы эти слишком подвижны, темп ненавистного для г-на Мережковского «прогресса» слишком быстр для того, чтобы могла сложиться священная, в бездонную глубь времен уходящая, традиция. И хотя буржуа не только позитивно ценит комфорт жизни, но, несомненно, чисто эстетически воспринимает благолепие и благоустройство своего бытия, тем не менее, это чувство эстетической гармонии быта никогда не может приобрести у него той «первобытной» мощи и ясности, той стихийно-религиозной силы, какая была свойственна патриархальному барству. Этому мешает еще и другая специфическая особенность буржуазного уклада. Идеология крепостного быта —

по крайней мере, в «идеальных» случаях — могла быть двусторонней. Не только Николай Ростов любил мужика в той роли, которая была отведена ему в рамках патриархального поместья, но и мужик «любил» Николая Ростова:

Долго после его смерти в народе хранилась *набожная* память об его управлении. «Хозяин был... наперед мужицкое, а потом свое. Ну, и потачки не давал. Одно слово — хозяин».

В буржуазном обществе такая гармония невозможна уже по одному тому, что здесь исчезает непосредственная *личная* связь между исполнителем и организатором и заменяется вещной связью. Нарождается то, что Маркс называл «товарным фетишизмом». Одни люди поработают других при посредстве вещей, и кажется, что не люди, а сами вещи — товары, деньги — какую-то присущую им таинственную властью устанавливают «существующий порядок», создают формы быта. Если даже рабочий и не сознает, что интересы его противоположны интересам предпринимателя, то, во всяком случае, его внутренний мир представляет нечто обособленное, отличное, чуждое внутреннему миру предпринимателя, — интимное, духовное подчинение раба «идеальному» в его глазах барину уже не может иметь места при наличии этой чисто внешней, материальной, вещной зависимости. «Патриархальные отношения на фабрике» — фраза, столь обычная в нашей официальной литературе 90-х годов, представляет чистейший продукт казенного сикофантства. Уже с самого зарождения фабрики ни о каких «патриархальных» отношениях не могло быть и речи.

В буржуазном обществе совершенно нет почвы для выработки такого бытового идеала, который мог бы претендовать на общепризнанность, на одинаковую благолепность в глазах «добрых людей» всех социальных положений. Между тем идеал завершенной, «конечной» гармонии бытовых форм невозможен без такой всесторонней, всеми *хорошими* людьми признаваемой, санкции.

Вот почему мещанский идеализм, ничуть не менее возвышенный и искренний, чем идеализм барский, никогда, однако, не принимает такого универсального целостного характера. Само стремление к законченности, сама «психология конца» расплывается буржуазным строем. Буржуа не хочет никаких апофеозов — ни в виде божественного преображения мира, ни в виде радикальной перестройки его силами человеческими. Все эти «феерии» нам ни к чему, писал г-н Струве, полемизируя с г-ном Мережковским, ибо мы, культурные люди, друзья прогресса, вовсе не хотим конца, а потому «перед идолами Бога и Зверя» не

преклоняемся. — Значит, вам, *культурным людям*, никакие абсолюты не нужны? Значит, вы цените в культуре не застывшие формы, а вечно живой дух творчества? — Что вы, Бог с вами, — испуганно отвечает наш культуртрегер, — как же без абсолютов-то?! При всем нашем отвращении ко всяким «разрывам», «скачкам», «революциям» и «катастрофам» мы без абсолютной приправы едва ли бы могли благополучно переварить нашу «историческую», нашу позитивно-прогрессивную идеологию. Абсолюты необходимы, но не для переустройства внешнего мира, а для внутреннего благолепия нашей души. Совершенно не касаясь «феноменального порядка», они должны царствовать в «порядке нуменальном».

Это иное, «внутреннее» понимание религии не знает веры ни в какие феерии, ни в социально-экономическую, ни в апокалипсическую. Поэтому, как это ни странно, оно гораздо ближе к подлинному мистицизму, чем богоматериализм. Ибо мистицизм состоит в прикосновении к тайне, а не в раскрытии ее, не в материальном и всецелом овладении ею*.

И тут же, в этих же фельетонах о «Великой России», дается великолепный образчик такого «прикосновения к тайне», исключаящую всякую возможность «овладеть» ею.

Как истинно культурный друг прогресса, г-н Струве не может не защищать безусловной автономии личности... в «порядке нуменальном», само собою разумеется. В своей старой статье «Что же такое истинный национализм», о которой он и теперь вспоминает с умилением**, он признал, между прочим, ту самоочевидную истину, что с абсолютной автономией личности не совместим основанный на принуждении государственный строй. Но это все в порядке *нуменальном*. А в порядке феноменальном г-н Струве с тех пор «многое пережил и многому научился»: «понимать и ощущать, что такое государство... научила меня... живая и пережитая мною история русской революции»***. С одной стороны, революция испугала и возмутила г-на Струве своей *антикультурностью*, выразившейся, как известно****, в том, что типографщики и почтари примкнули ко всеобщей забастовке и таким образом — о варвары! — на целые две недели лишили г-на

* См. фельетон г-на Струве в газете «Речь», № 66, 1908 года.

** С этой статьей «связаны одни из самых драгоценных и незабываемых переживаний моей личной и политической жизни» («Речь», № 47).

*** Там же.

**** См. «Полярную Звезду» (разумеется, не герценовскую).

Струве возможности удовлетворять свою культурную потребность в газетах и журналах. С другой стороны, во время революции с полной отчетливостью выяснилось, что очередной культурный идеал нашего огражденного таможенным покровительством и фактически трестифицированного капитала — отнюдь не социально-политическая «феерия» и даже не демократический парламентаризм, а *империализм*, опирающийся на «сильную» умеренно-конституционную власть. Но для того, чтобы буржуазный империализм с надлежащим блеском выполнил свою культурную миссию, недостаточно одних симпатий к нему со стороны непосредственно заинтересованных промышленников. Необходимо бескорыстное воодушевление, искреннее увлечение новым государственным идеалом в рядах профессиональной интеллигенции, состоящей на службе у капитала. Между тем профессиональная интеллигенция до сих пор заражена «банальным радикализмом», видит в государственном насилии не святое начало, а печальную эмпирическую необходимость, исповедует демократический символ веры как средство свести это неизбежное зло к минимуму. Очевидно, одним обличением «банальности» радикализма делу не поможешь, — тем более что по части банальности и сам империализм даст кому угодно десять очков вперед. Необходимо, во что бы то ни стало, создать *религию* империализма.

И немедленно же новое «ощущение» государства зародилось в просветленной душе г-на Струве, немедленно же его мистическое сознание обогатилось новой «тайной», с которой он отныне неустанно «соприкасается», на поучение и удивление «банальных радикалов» из кадетской партии. Г-н Струве заговорил о «святости» власти и «религиозном» значении Бисмарка, он возвысился даже до постижения государства как самостоятельной, не зависимой от составляющих его индивидуумов, верховной «личности».

Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его «отношением» или системой «отношений». *Это не уничтожает того факта (!), что психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой свой верховный закон бытия**.

Ну, чем ни религия? Налицо не только «ощущение» божественности государства, но и вера в личное бытие этого бога. Г-н Струве имел полное право сказать, что проблема государства «соприкасается» для него «в настоящее время с проблемой не

* «Речь», № 47.

только культуры, но и религии» *. Вот только слова «как бы не-которая» в основном догмате новой веры надо устранить, — да и не «личность» следовало сказать, а «Ипостась». Не привык еще г-н Струве к мифотворчеству.

Как бы то ни было, наряду с нуменальной религией абсолютного самоопределения человеческой личности мы получаем феноменальную — поистине «феноменальную»! — религию абсолютного самоопределения государственной Ипостаси.

Эта чудовищная двойная бухгалтерия — и притом не в какой-либо второстепенной области, а в сфере самых заветных идеалов, в сфере конечных откровений и верований — так огорошила г-на Мережковского, что он даже сопоставил, правда без обдуманного намерения, г-на Струве и г-на Меньшикова. Сопоставление, на мой взгляд, действительно неуместное. Нет никаких оснований к тому, чтобы заподозрить г-на Струве в неискренности. В том-то и состоит психологический интерес буржуазной религиозности, что здесь эта двойная, а иногда и тройная бухгалтерия есть продукт чистейшего «правдоискательства». *Извне* такого сорта «религии» бывают порою как две капли воды похожи на идейные товары, поставляемые по специальному заказу г.г. Меньшиковыми, но *изнутри* это действительно религия, истинная вера, наполняющая душу ее обладателя не желчной злобой против всех и всего в мире, а глубоким, благолепным чувством высшего самоудовлетворения. Если тут и есть лицемерие, то совершенно особого рода: это чистое, безгрешное, *святое лицемерие*, — последний термин, в добавление к многочисленной коллекции народившихся за последнее время «святынь», я рекомендую в особенности.

Эта глубокая внутренняя раздвоенность всякого буржуазного идеализма, этот «свято-лицемерный» пафос буржуазной религиозности и отталкивает г-на Мережковского. Он с негодованием обрушивается, например, на «умеренный и тепловатый» идеализм современных культурных людей, которые, отвергая воскресения тела, довольствуются «бессмертием души».

Воскресение Плоти, которое требует безмерного и огненного мистического реализма, можно бы почти сказать, мистического материализма, нечувствительно подменилось так называемым «бессмертием души», которое довольствуется умеренным и тепловатым идеализмом, этим подогретым блюдом дохристианской философии...

Уклон современного христианства к догматическому спиритуализму соответствует уклону современного внехристианского человечества к догматическому материализму: это две противоположные стороны одной и той же от-

* Там же.

влеченной догматики, одинаково бесплодные и одинаково произвольные... никакой бесплотный идеализм не может победить реализма плотской смерти. И ежели бессмертное начало есть только духовное, бестелесное, то зачем было телу Христа воскресать?

Совершенно очевидно, в самом деле, что «бессмертие души» не только не побеждает «реализма смерти», но, наоборот, утверждает его. Эта пустая, бессодержательно-словесная уловка людей, которым страх смерти мешает признать личное уничтожение, а «культурный» склад психики не позволяет допустить тех материальных предпосылок, без которых так называемая «будущая жизнь» никоим образом не может быть *личным* бессмертием, т. е. продолжением «моего» теперешнего существования.

Ведь не о бессмертии формальной, объединяющей функции сознания, а о бессмертии конкретной живой личности думает человек, когда говорит: «я» буду жить вечно. Сохранение формального «я» обеспечивается даже верой в переселение душ. Так как всякий человек, и даже всякое живущее сознательной жизнью животное обладает таким же «единством» сознания, какое есть у меня, то решительно ничто не препятствует думать, что любой человек и даже любой бык, родившийся после моей смерти, воспринял «в себя» мое формальное «я». Но это новое существо представляет, очевидно, совершенно не зависимую от «меня» эмпирическую личность, в единстве его сознания организуется материал, не имеющий ничего общего с материалом «моих» переживаний, умерших вместе с моим телом. Для моего реального «я», которое создается *непрерывностью памяти*, абсолютно безразлично, переселяется или не переселяется формальное «я» в новый индивидуум, ничего не помнящий о моей теперешней жизни, ничего не воспринявший и не могущий ничего воспринять из моей «вот этой» действительной, эмпирической личности. — Между тем верование в переселение душ все-таки допускает кое-какое воплощение. Какое же содержание остается для «жизни» души, эмансипированной от всякой плоти? Бытие «в себе» категорий чистого рассудка? Но ведь даже по Канту, тщательно отделявшему категории от всего эмпирического, они «сами по себе» пусты, они не могут *пребывать в себе*, а могут лишь *функционировать* в применении к эмпирическому материалу плотской жизни. Таким образом, бытие бесплотной души есть просто небытие, ничто, — даже с точки зрения той самой «критической» философии, которую принято считать тончайшим цветком современной культуры.

Г-н Мерезковский потратил очень много пороку на борьбу с «научными предрассудками», мешающими культурному чело-

веку воспринять веру в настоящее личное бессмертие. Он даже пытался обосновать грядущее преобразование плоти с точки зрения — *horribile dictu!* — эволюционной теории... Бедный Дарвин! Хорошо еще, что он, как пошлый материалист, умер окончательно; не поздоровилось бы его бессмертному духу от таких продолжателей его земных идей! Но как ни слаба аргументация г-на Мережковского от науки, в своей защите «мистического материализма» от половинчатого «абстрактного спиритуализма» он, безусловно, прав. Бессмертие души с научной точки зрения ничуть не выше бессмертия во плоти, а по своей внутренней конструкции еще гораздо нелепее.

И в вопросе о «бессмертии» точно так же, как в вопросе о «святости власти», центр тяжести лежит вовсе не в науке и ее требованиях, а в органическом отращивании буржуазного идеализма ко всему целостному, последовательному. Буржуазному идеалисту последовательность мысли и в особенности последовательность чувства совершенно искренно кажется чем-то «низменным», «банальным», в лучшем случае, «детским», недостойным тонкой и сложной психики истинно культурного человека. Он не только думает и чувствует в обыденной жизни, но даже *молится* по классической формуле: «С одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой, необходимо признаться».

Куда же бежать от этой буржуазной серединности, где искать законченного благолепия жизни?

Само собою разумеется, не в реставрации добуржуазного строя. Даже в период своего мистического преклонения перед самодержавием г-н Мережковский не был славянофилом, не проповедовал возвращения к конкретным историческим формам старобарской общественности и отвечающей ей государственности. Он видел в старом порядке лишь ценный символ того святого благоустройства жизни, которое *могло бы быть*, но фактически еще никогда не имело места. Однако и в такой условно-символической модификации славянофильская идеология не могла овладеть г-ном Мережковским. Для этого он слишком европеец, слишком заражен ненавистной буржуазной культурой. Порожденная этой последней автономная личность, безжалостно разрушающая все обаяние патриархально-святого быта, стоит в основе религиозных построений Мережковского. Личность, сознавшая себя абсолютной, не может, конечно, видеть никакого абсолютного, религиозного начала в идее господства и подчинения. Она уже не верит, что власть Бога над людьми может воплотиться в образе отдельного властвующего человека, как бы ни назывался этот последний: священник, пророк, кесарь или папа.

И если она принимает догмат о воплощении Божества в человеческом индивидууме, то лишь как исторически необходимое, но *одностороннее* откровение. Индивидуальное воплощение годится как «прообраз», как «символическое» обетование, но не как апофеоз, не как окончательное водворение благолепия на земле. В апофеозе Божество — объект «безгранично-любовного» преклонения — воплощается поэтому не в человеке, а в человечестве.

Самодовлеющее «я» уже отрезало все пути назад, к идеалу патриархально-аристократического быта; но оно еще не убило тоски по законченным, застойно-гармоничным формам прошлой, добуржуазной жизни; в результате возникает концепция, на первый взгляд, одинаково чуждая и патриархальному, и буржуазному миросозерцанию; революционное христианство, апокалипсический анархизм.

VI

Какую же общественную роль может сыграть эта концепция? Действительно революционную, или реакционную, или умеренно-прогрессивную? На мой взгляд, ни ту, ни другую, ни третью. По всей вероятности, в недалеком будущем, быть может даже в наступающем «сезоне» *, апокалипсическое христианство станет модным направлением, как был моден два года тому назад «мистический», а год тому назад «половой» анархизм. Но это, конечно, не сделает его знаменем какого-либо серьезного общественного движения. Только для «усталых душ» может оно послужить прочным прибежищем.

Как от земной жизни нет никакого перехода к преобразению плоти, кроме ожидания и молитвы, точно так же и от грезы «Царства Божия на земле» тщетно было бы ждать каких-нибудь указаний относительно желательных путей в этой, земной жизни. Апокалипсический идеал не освещает, а ослепляет, так что решительно все земные дороги становятся одинаково темными, запутанными и ненужными. Г-н Бердяев, довольно близко подошедший в своих религиозных исканиях к Мережковскому, признал это. Он заявил, что исповедуемая им вера ни либеральна, ни консервативна, ни революционна, ни реакционна, а стремится к «четвертому» измерению. Искать четвертое измерение — это

* Предсказание это, как известно, блестяще оправдалось. Неохристианство г-на Мережковского с братией было бесспорно «гвоздем» сезона 1908—1909 гг., по крайней мере в Петербурге.

и значит *ожидать* («Царствие Божие уже при дверях») и *молиться* («Да будет воля Твоя на земле, как на небе!»).

Но г-н Мережковский ни за что не хочет согласиться с этим. Он уверяет, что его религия «самое нужное из всех человеческих дел». От религиозной революции он ждет великих и богатых милостей для революции социально-политической.

В сотрудничестве с г-ном Философовым и г-жой Гиппиус г-н Мережковский выпустил книгу, специально посвященную русской революции («Le Tsar et la Révolution»). — Казалось бы, тут должно, наконец, раскрыться, каким образом идеология тысячелетнего царства может оплодотворить собою земную революцию. Начинается книга предисловием, действительно многообещающим. Судите сами:

Нас трудно сдвинуть с места, но раз мы сдвинулись, нам нет удержу, — мы не идем, а бежим, не бежим, а летим, не летим, а падаем и притом «вверх ногами», по выражению Достоевского... Вы (европейцы) сберегаете душу свою, мы всегда ищем, за что бы ее потерять. Вы «град настоящий имеющие»; мы — «грядущего града взыскующие».

В этом полете «вверх ногами» из феноменального мира в трансцендентный г-н Мережковский видит «движущую душу русской революции», «первооснову» русской души, русскую «мистику воли», угрожающую не только русскому, но и европейскому обществу строю:

Мы — ваша опасность, ваша язва, жало сатаны или Бога, данное вам в плоть.

После такой торжественной увертюры вы ожидаете, конечно, что в дальнейшем изложении вам дадут анализ революционной борьбы русского народа с точки зрения этой его «мистической воли» (*la volonté mystique*), взыскующей града путем «полета» или — что то же — «падения» вверх ногами. Но вы будете жестоко разочарованы. Во всех книге нет ни звука о революционном движении русского народа. Перед читателем проходит длинный ряд русских интеллигентов — предтеч революции, начиная от Новикова и Радищева и кончая Львом Толстым. «Души» их более или менее остроумно интерпретированы в желательном г-ну Мережковскому революционно-мистическом смысле. Но чем ближе к революции, тем труднее такая интерпретация; и как раз те идеологии, которые играли действительно крупную роль в революционном движении русского народа, совсем не подходят под мерку апокалипсической революции. И г-н Мережковский с

легким сердцем проходит мимо них, но зато целый ряд страниц посвящает описанию «метафизических крайностей бунта», скрытых под маской обывательщины в душе Василия Васильевича Розанова!

Если оставить в стороне эти одинокие светочи, раскрывающие не в действиях, а в своих индивидуальных чаяниях «мистическую первооснову русской души», то, по-видимому, эта последняя вообще решительно ни в чем не проявляется. — Среди более или менее оформленных массовых течений русской мысли и жизни только одно декадентство обратило на себя благосклонное внимание нашего мистического истолкователя революций. Правда, и декадентство далеко еще не то, что нужно: «декаденты совсем ушли из общественности в последнее одиночество, зарылись в подземную тьму и тишь, спустились в страшное «подполье» Достоевского» *. Но Мережковский думает, что это временное уклонение, обусловленное той «слишком дорогой ценой», которой декаденты купили «свободу искусства». В будущем они естественно перейдут от «религии искусства» к настоящей религии, к христианству 3-го Завета, а вместе с тем перед ними раскроется путь к массе народной. Тогда-то из слияния декадентской «плоти» и народного «духа», присущей декадентам *европейской культуры и мистической воли* русского народа, возникнет революционно-христианская общественность. Двумя анекдотами пытается г-н Мережковский доказать, что такая тяга декадентов к народу и народа к декадентам уже имеется налицо.

Первый анекдот — это «кающийся» декадент Добролюбов. После горячего увлечения «сатанизмом», «искусственными эдемами» и т. п. он «бросил все», пошел в народ и теперь странствует по деревням, «проповедуя всюду евангелие царствия Божия». Вот как рассказывает г-н Мережковский о своей встрече с опростившимся Добролюбовым:

Я пошел на кухню и увидел двух «нездешних мужичков»: один — маленький, косолапый и чрезвычайно безобразный, похожий на калмыка или татарина; другой — самый обыкновенный русский парень, в тулупе, в рукавицах и валенках, с красным от мороза, очень здоровым и спокойным лицом.

- Не узнаешь меня, брат Дмитрий?
- Не узнаю.
- Я брат твой Александр.
- Какой Александр?
- В миру меня звали Добролюбовым...

* Не мир, но меч. С. 100.

Они остались у меня обедать. Оба не ели мяса, и для них сварили молочную кашу. Иногда, во время беседы, брат Александр вдруг обращался ко мне со своей детской улыбкой.

— Прости, брат, я устал, помолчим...

Если этот эпизод и доказывает что-нибудь, то как раз противоположное тому, чего так хочется г-ну Мережковскому. Ведь никакого слияния культуры и христианской мистики не произошло. Ведь Добролюбову для его христианско-проповеднической работы в народе пришлось просто выкинуть всю культуру за ненадобностью, пришлось отречься от мира. — «В миру меня звали Добролюбовым». И этот культурный «мир» так далеко отошел теперь от Добролюбова, что, встретившись после долгой разлуки с одним из его представителей, он не знает, о чем заговорить с ним. Г-ну Мережковскому ничего не припомнилось из этой «беседы», которую они вели с Добролюбовым за обедом. Очевидно, Добролюбов и не сказал ничего значительного, ничего намекающего на тот «синтез», для демонстрации которого рассказывает самое происшествие. Но г-н Мережковский припомнил, что его гость часто прерывал беседу: «Прости, брат, я устал, *помолчим*». Добролюбов вежливо отклоняет разговоры, — до такой степени стало ему чуждо и неинтересно все то, что он может услышать из недр «культурного мира».

Второй анекдот иллюстрирует тягу народа к декадентам:

Осенью 1906 года, во время второго севастопольского бунта, пришел ко мне беглый матрос черноморского флота... Тоже пришел поговорить о Боге, *в Бога, однако, не верил*: «*Во имя Бога слишком много крови человеческой пролито — этого простить нельзя*» (курсив мой. — В. Б.). Верил в человека, который станет Богом, в сверхчеловека. Первобытно-невежественный, почти безграмотный, знал понаслышке Ницше и хорошо знал всех русских декадентов. Любил их, как друзей, как сообщников, не отделял себя от них. По словам его, целое маленькое общество севастопольских матросов и солдат, — большинство из них участвовало впоследствии в военных бунтах, — выписывало в течение нескольких лет «Мир Искусства», «Новый Путь», «Весы» — самые крайние декадентские журналы. Он долго пролежал в госпитале; казался и теперь больным: глаза с горячечным блеском, взор тупой и тяжелый, как у эпилептиков; говорил, как в бреду, торопливо и спутанно, коверкая иностранные слова, так что иногда трудно было понять. Но, насколько я понял, ему казалось, будто бы декаденты составляют что-то вроде тайного общества и что они обладают каким-то очень страшным, но действительным способом, «секретом» или «магией» — он употреблял именно эти слова, — для того, чтобы «сразу все перевернуть» и сделать человека Богом. Сколько я не убеждал его, что ничего подобного нет, он не верил мне и стоял на своем, что секрет есть, но мы не хотим сказать.

Г-н Мережковский сильно налегает на первобытное невежество», «безграмотность», «спутанность» мысли матроса А. и, по видимому, именно этому обстоятельству склонен приписать его дикую фантазию, что декаденты обладают особым «секретом» или «магией». — Между тем тут дело вовсе не в «спутанности», а наоборот в *цельности* психики, в той *последовательности* мысли и чувства, которая так чужда «культурному» человеку. Что кружок революционно настроенных матросов и солдат увлекался декадентскими журналами, в этом нет ничего удивительного. Смелые, яркие слова о сверхчеловеке, о его абсолютной свободе от всяких внешних цепей и норм, естественно, увлекали черноморских революционеров. Но им, конечно, и в голову не приходило, что люди, достигшие этой «последней» свободы и воспевшие ее в таких красивых стихах, — что эти сверхлюди так же беспомощны перед сложившимися формами жизни, как и самые смиренномудрые обыватели. Они не заметили, что *практический* девиз «Весов»: «Поэт должен жить как все». А если и заметили эту назойливо повторяющуюся там фразу, то, конечно, истолковали ее иносказательно, заподозрили тут *конспирацию*.

Иного выхода с их стороны и быть не могло, — и вовсе не от малокультурности, а наоборот, от слишком серьезного отношения к культуре, к запросам пробудившегося сознания. В самом деле, даже они, севастопольские матросы, которые далеко еще не достигли «последней» свободы, а лишь еле-еле ощутили ее первое робкое дуновение, — даже они почувствовали повелительную необходимость немедленно же порвать с традиционными формами жизни, сделали ряд мощных попыток вырваться на вольную волю. И вдруг «сверхчеловек» уверяет, что никакого секрета у него нет, что пути к полной воле ему совершенно неизвестны, что единственный путь, который он смог проделать, — это «забиться в страшное подполье Достоевского». Этому невозможно поверить! «Значит время еще не пришло, и вы от людей таитесь», — говорит матрос А., уходя от Мережковского.

И когда он убедится, что декаденты давно сказали все, что могли, что ничего уже более не «таится» у них за душой, от тотчас же поймет, что с декадентами ему не по дороге. — Я, конечно, говорю не об индивидуальной судьбе матроса А. Г-жа Гиппиус рассказывает («Речь», № 23), что после декадентов он ходил искать правды к Толстому и тоже не нашел. Возможно, что он так и не найдет ничего или успокоится в недрах какой-нибудь секты. — Но матрос А. как *символ* тяги народной очевидно знаменует совсем не то, что хочет вложить в него Мережковский. Если даже согласиться с Мережковским, что линия развития

интеллигенции, отправляясь от позитивизма Чичикова и Хлестакова, через декадентского человекобога приходит к апокалипсическому богочеловеку, то путь матроса А. только в средней точке, и притом совершенно случайно, соприкоснулся с этой линией. От богочеловека исторического христианства через сверхчеловека декадентов ведет этот путь... и приводит, надо думать, просто к *человеку*, к человеку, освобожденному от тех уходящих в «темную» и «теплую» глубь корней, которые придают его теперешней жизни полузоологический характер.

Г-н Мережковский и сам имел опыт слияния с народом. Это было

За Волгою, на Светлом озере, куда каждый год, на Иванову ночь, сходятся пешком из-за сотен верст тысячи «алчущих и жаждущих правды» говорить о вере и где, по преданию, находится «невидимый град Китеж»...

Мы говорили о кончине мира, о втором пришествии, об антихристе, о грядущей церкви Иоанновой.

— А что знаменуют семь рогов зверя?

— А что есть число 666?...

Первый раз в жизни мы чувствовали, как самые личные, тайные, одинокие мысли наши могли бы сделаться всеобщими, всенародными. Не только средний русский интеллигент, поклонник Максима Горького, но и такие русские европейцы, как Максим Ковалевский или Милуков, ничего не поняли бы в этих мыслях; а простые мужики и бабы понимали. Все, с чем шли мы к ним из глубины всемирной культуры, от Эхсила до Леонардо, от Платона до Ницше, было для них самое нужное не только в идеальном, но и в жизненном смысле, нужное для первой нужды, для «земли и воли», ибо «вся воля» надо «всею землею» есть для народа «новое небо над новой землею».

Не правда ли, какая трогательная картина! Г-н Мережковский принес простым мужикам и бабам «глубину всемирной культуры», т.е. точнее говоря, идею Иоанновой церкви, которая, по его мнению, есть венец этой культуры, а простые мужики и бабы тотчас же согласились, что их «первая нужда» в земле и воле, получить полное удовлетворение в тысячелетнем царстве, где будет «новое небо и новая земля». И в эту торжественную ночь, близ «невидимого града Китежа», иная постановка вопроса о земле и воле показалась бы, конечно, неуместной самим мужикам и бабам. Но ведь нельзя же сидеть у берегов Светлого озера вплоть до наступления тысячелетнего царства. Правда, царство это «стоит при дверях», — но вот уже скоро 2000 лет, как оно заняло эту преддверную позицию, и совершенно неизвестно, когда именно оно намерено, и намерено ли вообще, с нее сдвинуться. Поэтому, нимало не сомневаясь в том, что под новым небом вопрос о земле

и воле будет разрешен вполне удовлетворительно, мы все-таки хотели бы знать, какое из предлагаемых его решений под *этим* небом и на *этой* земле правильно, с точки зрения Иоаннова христианства. На этот вопрос — а именно его поставил сам г-н Мережковский, пообещав «связать религию с реальной действительностью», как «самое нужное из всех человеческих дел» — мы не находим никакого ответа, ни малейшего намека на ответ, или хотя бы на возможность ответа в апокалипсических изысканиях г-на Мережковского...

В тяжелую годину русской истории, в годину нашествия двенадцати языков, добрый русский барин Пьер Безухов также толковал Апокалипсис, также испытывал значение числа 666. Вечно недовольный мерзостью и пошлостью окружающей и своей жизни, мечтательно-бескорыстный, жаждущий высшей гармонии, Пьер решил, что именно ему надлежит совершить подвиг освобождения русского народа от власти «зверя». Но, конечно, такой подвиг он может выполнить не как «Пьер», воспитавшийся в Париже, восприявший «глубину культуры от Эсхила до Леонардо», — вернее, *не только* как Пьер, а, прежде всего, как *русский*, как носитель сущности русского духа. И Пьер вычисляет, подходит ли цифровое значение слов «русский Безухов» к апокалипсическому числу. Но, странное дело, он забыл, что буквы славяно-русского алфавита также имеют цифровое значение, он пишет свое имя по-французски, и, как оказывается, с самой маленькой ошибкой («l'russe Besuhof» вместо «le russe Besuhof»), оно вполне удовлетворяет апокалипсическому критерию.

Когда читаешь французскую книжку Мережковского о русской революции, о ее апокалипсическом смысле, о трогательном слиянии всемирной культуры и русской *volonté mystique* у врат незримого Китежа, то не можешь отделаться от мысли, что маленький апокалипсический эпизод с Пьером Безуховым имеет глубокое символическое значение, пророчесвенно предрекает судьбы христианства третьего завета.

С одной стороны, перед вами несомненный европеец. «Культура», «Леонардо» — в его устах не фраза. Никто лучше Мережковского не смог бы нарисовать жизненной трагедии Леонардо, этого великого провозвестника грядущей человеческой культуры, этого поистине «слишком раннего предтечи слишком медленной весны», *слишком* раннего даже для нашего времени. — Но, с другой стороны, самого духа Леонардо, самой «первоосновы» его творчества как будто и вовсе не видно в изображении Мережковского. Он смотрит на внешние проявления внутренней работы своего героя глазами ученика его, Бельтраффио. «Что

это — Христос или антихрист?» — поминутно спрашивает он себя, и, если под гнетом этого безвыходного сомнения не кончает с собой, подобно Бельтраффио, то, кажется, только потому, что в итоге исследований Леонардо фигурирует обыкновенно «Первый Двигатель», «Primo Motore». Но верно ли, что этот «Motore» для самого Леонардо играл такую крупную роль? А что, если бы Леонардо да Винчи написал не с большой, а с маленькой буквы, и не в мужском, а в среднем роде — вместо «Primo Motore» — «primum movens»? Не повесился ли бы тогда и г-н Мережковский? Ведь от такой перемены Леонардо не превратился бы в «пошляка», в Хлестакова или Чичикова, все величавое обаяние его духовного облика сохранилось бы и тогда, а между тем он стал бы несомненным «антихристом» уже не только для Бельтраффио, но и для Мережковского.

Бельтраффио из «Леонардо да Винчи», Тихон из «Петра и Алексея» с их бессильными колебаниями между Леонардо и Савонароллой, между Ньютоновскими «principia» и догматами самосожжения — вот сам г-н Мережковский. Где же обещанный нам *белый* цвет, органически сливающий воедино «европейскую» культуру и «русскую» мистическую волю?.. О, конечно, когда наступит «новое небо и новая земля», воссияет ослепительно-белый свет, — *слишком* ослепительный и *слишком* белый!.. Но под этим небом на эту землю апокалипсическое христианство не бросает ни одного «синтетического» луча. Перед нами только «серое» смешение, только «смесь французского с нижегородским», только «*l'russe Merejkovsky*».

VII

Человеческий, только человеческий разум, отказываясь от единственно возможного утверждения абсолютной свободы и абсолютного бытия человеческой личности в Боге, тем самым утверждает абсолютное рабство и абсолютное ничтожество этой личности в мировом порядке, делает ее слепым орудием слепой необходимости — «фортепьянной клавишей или органом штифтиком», на котором играют законы природы, чтобы поиграв, уничтожить. Но человек не может примириться с этим уничтожением. И вот, для того, чтобы утвердить, *во что бы то ни стало*, свою абсолютную свободу и абсолютное бытие, он принужден отрицать то, что их отрицает, — то есть, мировой порядок, законы естественной необходимости, и, наконец, законы естественного разума*.

* Грядущий Хам. С. 59.

По г-ну Мережковскому, свобода есть уничтожение естественной необходимости и ее законов. — «Свобода есть познание необходимости», — говорит Энгельс. Только познание дает человеку свободу: только научно-целесообразная, ясная, как «таблица логарифмов», как « $2 \times 2 = 4$ » организация общественного хозяйства, создаст материальные предпосылки для истинной человеческой свободы.

Вот два полюса, между которыми колеблются современные «миросозерцания».

В настоящее время даже самые принципиальные, самые непримиримые враги социалистической «таблицы логарифмов» не спорят против того, что только социализм может сделать «культуру» доступной для всех без различия людей, — это слишком очевидная, слишком «банальная» истина, для того, чтобы стоило ее доказывать. Борьба против социализма направляется по другой линии. «Социализм, — говорят его противники, — убивает высшие культурные ценности, те сверхразумные святыни, без которых была бы слишком серой и скучной область нашего человеческого, слишком человеческого разума». И это, безусловно, верно. Социализм действительно убивает «святость» сложившихся культурных *форм*, а следовательно, и самое чувство святости, — но тем самым он освобождает *дух* культурного творчества, впервые создает возможность «чистой», самодовлеющей культуры, свободной от подчинения посторонним интересам отдельных личностей или групп.

Освободительное значение этого культурного переворота громадно. Я укажу только на два его главнейшие момента. Во-первых, умирает «психология конца», исчезает, следовательно, главный тормоз современного культурного развития: жажда *абсолютной* истины, приводящая одних к научному пессимизму и мистике, других к обоготворению преходящих и условных научных конструкций. Во-вторых, рамки культурного творчества расширяются экстенсивно. Раз формы быта уже не являются сами по себе святыми или греховными, возвышенными или низменными, а только целесообразными или нецелесообразными, то психологически немислим пафос современной мещанской пошлости: «быть как все», жить «не хуже других», — еще того менее мыслим пафос современной антимещанской пошлости: быть «единственным», «исключительным», жить «не как все». Человеку остается быть просто «самим собою», найти свое *призвание*, ту область, в которой он способен «творить» самостоятельно, т. е. наслаждаться не независимо от всяких извне установленных и внутренне санкционированных святынь.

Нет ничего нелепее довольно популярной в наши дни теории, что творчество есть удел исключительных людей, а средние люди «толпы» способны лишь пассивно воспринимать и усваивать себе культурные продукты, создаваемые «духовной аристократией». В действительности средний «нормальный» человек — только абстракция, — каждый реальный человек, как бы ни были ограничены его силы, всегда имеет какую-нибудь непропорционально, «ненормально» развитую способность, т. е. какое-нибудь призвание, какую-нибудь сферу, в которой он чувствует себя «господином», самостоятельным работником-творцом. И чем легче «средние люди» находят свое призвание, чем энергичнее кипит их культурная работа, тем значительнее прозрения гениальных умов. Без этого массового коллективного творчества культурных ценностей гигантские синтетические дарования гения были бы *пусты*, как кантовские «категории» за пределами эмпирического мира, — гений мог бы создать не *великую* систему, а, в лучшем случае, *чудовищную* фантазмагорию.

Но откуда же возьмут будущие люди *силу* для своего культурного творчества? — спросит г-н Мережковский. Как переварят они «сознание смерти»?

Если я не более, чем явление, пузырь, сегодня вскочивший на поверхности неведомой стихии, чтобы завтра лопнуть, то уже лучше бы мне ничего не знать, чем, зная это, согласиться на такой бессмысленный позор и ужас*.

Это «я» — эта альфа и омега всех теперешних рассуждений о «безвыходном трагизме» мира «явлений» — вовсе не такая безусловная ценность, как думает г-н Мережковский. Однако анализ современного «я» и его эволюции — тема слишком сложная, для того, чтобы касаться ее в нескольких строках. Я допущу поэтому, что индивидуалистическая психика остается, что человек по-прежнему воспринимает смерть как уничтожение «всего».

«Ежели я *в конце концов* умру, — то жизнь бессмысленна» — вот схема всех рассуждений г-на Мережковского о жизни и смерти. Очевидно, здесь уже заранее предположено, что жизнь *сама по себе* не имеет ценности, что она лишь *средство* для достижения какого-то «конца концов». Но такая предпосылка вовсе не обязательна даже для индивидуалиста. Даже индивидуалист может ценить жизнь как таковую, и, следовательно, видеть в смерти лишь «эпизод» жизни, правда весьма неприятный, но ничуть не затрагивающий ценность *самой* жизни.

Конечно, человечество было бы очень благодарно г-ну Мережковскому, если бы он дал людям возможность свободно распоря-

* Не мир, но меч. С. 7.

жаться смертью, научил их безошибочно исправлять все те повреждения, которые испытывает человеческий организм в жизненном процессе, и вследствие которых он рано или поздно должен разложиться. Такое *научно* осуществленное бессмертие не имеет, однако, ничего общего с идеалом г-на Мережковского. Это идеал Энгельса: свобода как результат познания необходимости; здесь человек *знает*, как избежать смерти, но сама по себе смерть все-таки остается возможной. Между тем, для г-на Мережковского уже одна «возможность» смерти делает жизнь бессмысленной.

И как отдельному человеку, достигшему той степени сознания, на которой смерть становится реальной из реальностей, так и всему человечеству, достигшему этой же степени сознания, — совершенно безразлично, наступит ли конец завтра или через много тысячелетий. Если даже этот конец только может наступить, одна такая возможность уничтожит всякую реальность временного бытия*.

Жизненный эликсир, открытый г-ном Мережковским в Апокалипсисе, обеспечивает не эмпирическую, а абсолютную победу над смертью, — не умение исправлять повреждения организма, а невозможность таких повреждений. Отныне мир абсолютно не может действовать на нас разрушительно. Но так как каждое его действие на нас в большей или меньшей степени разрушительно, мало того, лишь постольку и воспринимается как «действие на нас», поскольку что-нибудь «в нас» разрушает, — то, очевидно, при осуществлении абсолютной гарантии против смерти мир совершенно перестает на нас действовать. Но тем самым и мы лишаемся возможности действовать на мир. Прекращается то взаимодействие между нами и внешней природой, без которого невозможна никакая *сознательная* жизнь, невозможно, в частности, сознавать и то самое «я», которое так дорого г-ну Мережковскому.

Таким образом, даже с чисто индивидуалистической точки зрения, основному тезису г-на Мережковского придется противопоставить прямо противоположный. Если бы какой-нибудь «богоматериалистический» переворот даровал нам *абсолютное* бессмертие, то мы немедленно утратили бы «всякую реальность бытия», утратили бы не только смысл, но и самое сознание жизни.



* Не мир, но меч. С. 9.



А. БЛОК

Мережковский

Когда-то Розанов писал о Мережковском: «Вы не слушайте, что он говорит, а посмотрите, где он стоит». Это замечание очень глубокое; часто приходит оно на память, когда читаешь и перечитываешь Мережковского.

Особенно — последние его книги. Открыв и перелистав их, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. «Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос», положительно нет страницы без этих Имен, именно *Имен*, не с большой, а с огромной буквы написанных — такой огромной, что она все заслоняет, на все бросает свою крестообразную тень, точно вывеска «Какао» или «Угрин» на Загородном, и без нее мертвом, поле, над «холодными волнами» Финского залива, и без нее мертвого.

Кто же автор этих *огромных букв* и холодных слов? Вероятно, духовное лицо, сытое от благодати духовной, все нашедшее, читающее проповедь смирения с огромной кафедры, окруженной эскадроном жандармов с саблями наголо, — нам, «светским» людям, которым и без того тошно? Кто он иначе? Это в двадцатом-то веке, когда мы, как говорят передовые люди, слава богу, наконец становимся атеистами, наконец-то освобождаем окончательно от всякой религии свои «творческие энергии» для возведения Вавилонской башни науки?

Если бы Мережковский действительно был таким духовным лицом, не то в клобуке, не то в немецком кивере, не то с митрополичьим жезлом, не то с саблей наголо, — он бы не возбуждал в нас, светских людях, ничего, кроме презрения, вынужденного молчания или равнодушия. Но в том-то и дело, что он возбуждает в нас еще иные чувства. Он тоже «светский», как будто «наш», хотя и не совсем «наш». Постоянно мы к нему прислушиваемся, постоянно он нас беспокоит, возбуждает в нас злобу, негодование, досаду, радость какую-то, какую-то печаль иногда. Но, бу-

дучи тончайшим художником, он волнует нас меньше, чем некоторые другие, менее совершенные художники современности. Будучи большим критиком, даже как будто начинателем нового метода критики в России, он не исполняет нас духом пытливости, он сам не исполнен пафосом научного исследования. При всей культурности, при всей образованности, по которым среди современных художников слова, пожалуй, не найти ему равного, — есть в его душе какой-то темный угол, в который не проникли лучи культуры и науки. В этом углу — все темно, просто и, может быть, по-мужицки — жутко. Может быть, в этот угол проникает какой-нибудь другой свет? Мережковский своими речами и книгами часто заставляет нас думать так. Часто, но не всегда.

В последнее время особенно неотступно вопрошают Мережковского, в чем его вера? Ясно, есть уже люди, которых влечет задавать эти вопросы не простое любопытство. Уже никого не удовлетворяет «отсылание к пятнадцати томам сочинений»; и когда Мережковский молчит в ответ на прямые вопросы, всё больше негодуют на него, иногда — святым негодованием; негодуют уже не литераторы, которые все равно редко способны понимать друг друга, а просто люди бескорыстные, которым нужен ответ не для статьи, а для жизни.

Не потому ли молчит Мережковский, что Имя, Которое он знает, и дело, которому он служит, уходят корнями в тихую темноту, в тот угол его души, где все слишком просто и безглагольно?

Не знаю, почему многие не хотят верить — или, точнее, хотят не верить — Мережковскому. Такова, должно быть, привычка к озлобленному скептицизму. Скептицизм ко всему, что «не мое», ужасно легок; а вот если представить себе, что тихое «дело» свое Мережковский делает в момент почти полного торжества совершенно иных дел, среди людей ему враждебных, в политическом центре России, под свист и ненависть со всех сторон, — придется призадуматься. Какая уж тут «корысть», когда Мережковский своей деятельностью только множит врагов и мало приобретает друзей? Не верить ему во что бы то ни стало очень легко, потому что в таком случае, кажется, можно сохранить мир со всеми. Оставив совершенно этот легкомысленный и ребяческий прием «доверия» или «недоверия» к писателю, который написал пятнадцать томов и «известен в Европе», придется стать с Мережковским лицом к лицу, вчитаться в него, а это совсем не так легко.

Поскольку Мережковский моден, постольку публика читает его романы и ломится в религиозно-философские собрания. Очень

многим кажется, что он красиво пишет и говорит, и почти никому не приходит в голову, что он тоже человек и что у него тоже есть натруженная и переболевшая многими сомнениями душа. Все слышали о «двух безднах», и почти никто не замечает этих двух бездн в нем самом.

Когда крестоносцы шли освобождать гроб господень, они знали, конечно, чей это гроб, и все сказания о главе Адама и о древе крестном и все рассказы о благоуханиях лампад и кипарисов и о синем небе Палестины были для них волнующе живы.

И однако, проходя через Рим и Константинополь, многие из них, конечно, промедлив, оставались здесь, придя в неопишное волнение от чудес совсем другого порядка, от пестроты зданий, пышности одежд, городского разгула и женской красы.

Два волнения боролись в них — «ревность по Дому» и волнение от прелести человеческой, от прелести культуры. Эти самые волнения знаем мы в двадцатом столетии, как они знали в одиннадцатом. Их знает и Мережковский, и яростны они в нем, потому что он, глубоко культурный писатель, до изнеможения говорит о Христе, и только о Нем: точно страж какого-то одинокого храма, вечно простертый перед древлепрославленным ликом, который медленно стирается временем и не может стереться, — все вновь и вновь возникает на треснувшем дереве ослепительно юный лик; но стража-то в его всеощном бдении посещают соблазны; прекрасная блудница мерещится ему в темноте храма; он боится заглядеться на нее и не может не глядеть.

Крестоносцы должны были только миновать Рим, пройти мимо «прелести», хотя бы зажмутив глаза. Мережковский хочет взять Рим с собою, ввести всю культуру в религию, потому что его «новое религиозное сознание» не терпит никакой пустоты. Зная это центральнейшее место его учения, уже совершенно забываешь всякую «веру» и «неверие» в него самого, потому что здесь он или превосходит самого себя, или омертвел, как дерзкий воздухоплаватель, погибший среди крыльев воздушного корабля (в одном рассказе А. Белого). И не так важна здесь судьба самого Мережковского, — омертвел он или только замер в трепете перед тем, что увидел, — как важно то, что открывается за его словами: это уже не личное, а всечеловеческое дело: надо ли остановиться, запечалиться о старой религии, оглянуться назад, как Орфей? Но тогда Евридика — культура опять станет тихо погружаться в тени Аида. Или — надо принять на себя небывалый подвиг: обладать «прекрасной блудницей» культуры так, чтобы союз с нею стал вратами в Новый Иерусалим.

В этих теснинах духа и стоит Мережковский; может быть, сам для себя он уже решил здесь что-то, но пока это не перестало быть вопросом для всех, до тех пор убийственно неясны и запутаны здесь вопросы о взаимоотношении дела и слова, жизни и схоластики. И сам Мережковский не защищен от нападков таких критиков, как, например, Базаров («Литературный распад», кн. 2-я) с его отчетливостью и внимательностью. Этот критик среди своих товарищей по «Литературному распаду» производит странное впечатление, так он индивидуален и вдумчив; при всей своей несомненной любви к ценностям вечным и нелюбви к агитационной трескотне перед лицом их, он, однако, подобен им в одном очень важном пункте: позволительно сомневаться в его любви к искусству, пусть он любит его даже больше, чем гг. Луначарский или Стеклов. Между тем, говоря о Мережковском, едва ли можно упустить из виду то, что он *художник*. А это очень важно.

Мережковский кричит, что культура — не проклятая блудница, так же громко, как то, что Иерусалим, сходящий с неба, не есть старая церковь. Между тем люди «позитивной культуры» не слышат его или вежливо делают вид, что услышали; когда же дело доходит хотя бы до полемики, то оказывается, что у очень многих является потребность защищать что-то свое, культурное, — от религиозных посягательств Мережковского.

Это — сложнейший и интереснейший пункт внутренней биографии Мережковского. Казалось бы, совершенно ясно, что он любит всю культуру и стоит за нее, что он не войдет в град небесный, пока не будет оправдано все земное — от «слезинки ребенка» до Венеры Милосской; и, однако, достойнейшие критики, иногда почти бессознательно, защищают от него что-то, и защищают, может быть, *справедливо*. Что это значит?

Я боюсь быть неосторожным и невнимательным, но мне кажется, что Мережковский не просто любит культуру, он еще влюблен в нее. Здесь-то и лежит корень тревоги за нее людей позитивных. Сознательно и бессознательно современные люди больше всего *боятся романтизма*, «феерий», как говорят они, или того огня, непременно следствие которого — влюбленность. Ведь влюбленные, кумиротворцы — самые большие собственники и самые тревожные собственники. Сложнейшее сплетение, томный вихрь чувств иногда заслоняет предмет любви, иногда уничтожает его своею погибельной силой. Потому-то люди, чуждые влюбленности, романтизма, но обладающие силой, так сказать, «позитивной» любви, — инстинктивно берегут свое сокровище от влюбленности и романтизма.

Всякий художник — безнадежно влюбленный. А Мережковский — художник. О влюбленности его свидетельствуют не только многие образы его романов, но также самые на первый взгляд прозаические страницы его критических статей. Когда он с подробной брезгливостью исчисляет стилистические грехи Леонида Андреева, когда говорит, что «без русского языка и русской революции не сделаешь», когда цитирует два-три стиха (и редко больше) какого-нибудь поэта, когда бросает вдохновенное слово о звездах, видимых днем только в черной воде бездонных колодезцев, — в нем говорит художник брезгливый, взыскательный, часто капризный, каким и должен быть художник. Когда он бранит русских декадентов, иногда сомневаешься, за что он больше бранит их: за то, за что хочет, — за «мистическое хулиганство», или за то, что они оскорбляют его тонкий, воспитанный на великих классиках вкус? И чем более вникаешь в Мережковского, чем больше уясняешь себе основную страсть его воли, — тем яснее становится, что он родился художником и художником умрет, хотя бы даже эту черту он сам в себе возненавидел и пожелал истребить.

Я вовсе не думаю, что быть художником значит быть обреченным на бездействие. Я только понимаю позитивистов, которые боятся художественного пафоса, и верю им, что они действительно любят с благородством прозаическим то, во что влюблен художник Мережковский.

Влюблен — значит, стремится обладать безраздельно. И он, больше всех нас «взыскующий града», медлит в Риме и Византии только оттого, что влюблен: он не смеет покинуть культуру, как верную супругу, унося ее образ в сердце, он медлит с нею, потому что ревность любовника открывает ему в ней неверную блудницу, которая изменит ему, лишь только он переступит порог. И сияющие святые обетованного града постоянно затмеваются чадными факелами безумных, безнадежно-страстных ночей. Только в темном углу сердца, в одинокой спальне, в безглагольных думах горит лампада — граду обетованному.

За пышными, блестящими и оспоримыми теориями и построениями стоит вера безглагольная, неоспоримая. Когда Мережковский говорит о луче, о мече, пронизающем мрак, его устами говорит как будто русский раскол с его сверхъестественной простотой и страхом; и потом снова и снова небо его веры как бы застигается мраком, и влюбленное воображение рисует «бледные радуги», не способные рассеять этот мрак.

Когда-то в букет скорпионовских «Северных цветов» уронил Мережковский четыре стиха, лучшие из всех своих стихов:

Без веры давно, без надежд, без любви,
О, странно веселые думы мои!
Во мраке и сырости старых садов —
Унылая яркость последних цветов.

Здесь как бы навеки дал Мережковский расписку в том, что он художник. Может быть, теперь он старается заслониться от «провокации» этих веселых дум. Не напрасно ли? Жить в наши дни очень больно и очень стыдно; художнику — особенно. Но, кажется, «веселые думы» и есть тот тяжелый наш крест, который надо нести, пока сам себе не скажешь: «Отдохни!»





ЭЛЛИС

О современном символизме, о «черте» и о «действе»

«Цель поэзии — поэзия!»

А. Пушкин

I

Несмотря на то, что с внешней стороны не остается никакого сомнения в окончательной и бесповоротной победе в нашей литературе «*нового направления*» (другими словами, — «*декадентства*», «*символизма*», «*модернизма*»), по существу едва ли уместно говорить о какой-либо «*победе*». Русский символизм (как оказывается, для многих весьма неожиданно) не только не отменил, не победил какую-то старую школу во имя бесконечного нового или «*нового слишком нового*», а, наоборот, явился органическим, глубоко последовательным и неизбежным исторически и психологически дальнейшим развитием, уточнением и усложнением *всех* самых заветных, самых глубоких и прочных течений и устремлений русского словесного творчества. Обнаружилось, что «*первые русские декаденты*» — не варвары, разгромившие Рим, а единственные преемники, единственные последователи его вековой культуры, представители как бы своего рода *ренессанса*. Достаточно указать на интимную связь романтизма Бальмонта с романтизмом Фета, пластической строфы Брюсова с твердыми и лишенными всяких швов строфами Баратынского и Тютчева, с выразительной простотой Пушкина и Лермонтова; достаточно отметить преемственность самых лучших молитвенно-лирических мест А. Белого и А. Блока (у последнего даже до текстуальной близости порой) с сокровенной, мистической лирикой Вл. Соловьева, — увы! — не вполне оцененной; достаточ-

но уяснить неоспоримую связь лучших образов, проникновенно-обыденных, Ф. Сологуба со странно-двойственными, реально-фантастическими и бытовыми и, в то же самое время, вневременными видениями Гоголя, а глубокие и страстно-догматические искания Д. Мережковского сопоставить с сверхлитературными исканиями и исповеданиями классических писателей русских — Гоголя, Толстого и особенно Достоевского, даже, если хотите, с социально-мистическими учениями славянофилов, — достаточно этих грубых, бесспорных сопоставлений, чтобы сразу стала ясной та преемственность, которая существует между теми «двумя берегами» русской литературы, о которых еще так недавно кричали все идейные реакционеры из толстых журналов, столь же мало имевшие корней в прошлом, сколь побегов в будущем.

Кого же отменили и разбили наголову, кого доконали «декаденты»? Критиков из толстых журналов, хранителей авторитетов или публицистов-фельетонистов, специальные функции которых — приспособлять вечное к литературному завтра, у которых часы всегда лишь с одной секундной стрелкой. *Но разве возможно отменить пошлость?* Разве под гордо бьющимся новым флагом не привозятся и теперь все те же залежные товары, на которых изменен только этикет? Разве критика современных «толстых журналов» чем-либо отличается от своих прежних двойников, и разве разные «Образования», «Современные Миры» — не родные потомки прежних «Артистов», неизменных «Русских богатств» и т. п.? Разве приемы их критики и уровень их культурности изменились?

Увы, здесь «исконное старье» не облеклось в новые формы. Теперь мы переживаем период живого расслоения временно взбудораженных и случайно перемещенных слоев русской общественной и литературной мысли. Но как поразительно закономерно и точно совершается этот процесс! Все больше и больше «толстые журналы» воротят от «мистики» и «эстетства», т. е. от того самого, от чего искони бесновались враги гордой пушкинской музыки, враги фетовского романтизма и классицизма Майкова, от того самого, от чего воротило искони реалистических противников безумно смелых исканий Вл. Соловьева.

А наши обличители «литературных распадов» разве не родные внуки «Отечественных Записок» и не является ли для них единственными заветными символами все тот же «базаровский лопух»? Увы! — все идет если не по-старому, то к старому!..

Скоро снимутся все маски, и мы увидим, что для кадетов «Русской мысли», как и для прежних «либералов» не стоят ни гроша все новые мистические грезы, что для «социалов» всех видов рав-

но ничего не значат все «символисты» без различия, т. е. значат столько же, сколько раньше значили для «писаревцев» и «михайловцев» все представители чистого и строгого искусства.

Мы, считающие себя поклонниками старого, как мир, и вечно юного лозунга *самоценности и вечности искусства*, лишь снова повторенного и снова прозвучавшего, как повсеместное, громовое эхо, деятелями «нового искусства» (т. е. «символистами»), мы, не боящиеся и теперь, во времена реакции, как мы не боялись заявлять это и во время революции, во всеуслышание повторять, что искусство не может существовать как средство чего бы то ни было, мы считаем себя лишь продолжателями того культа *Истины*, открывающейся в *Красоте*, который существует с тех самых пор, как явилось на свет первое истинно художественное произведение!

Для нас «символизм» — лишь наша родная, наша интимная, специфически свойственная нам, с нашей сложной, больной от утонченности и принявшей в себя весь опыт прошлых веков душой неразрывно слитая, форма постижения все того же от века Единого, Истинно-Сущего, лишь новая форма поклонения все той же Красоте!

Наша миссия — *не варварская*, не разрушать академии, музеи и освященные тысячелетиями храмы, а научиться прозревать в каждом из них частицы Единого, Неведомого еще Бога и, служа Ему по-новому, быть может так, как до сих пор не служил еще никто, в то же время стремиться воссоздать Его образ, собрав воедино все эти, просеянные через века, отдельные частицы. Наши враги — не частные, односторонние служители прошлых, кристаллизовавшихся в русле истории форм, а исключительно те гунны и вандалы, которые, прикрывшись маской «новых исканий», полюбили лишь одну сторону всякой перемены — разрушение старого, те, для которых нет вообще ни истории, ни исходной точки, заветный идеал которых — начать историю с года собственного рождения, а метод — беззастенчивое обещание всех возможных и невозможных синтезов, сочетаний и соединений. Имя этим врагам — легион, но всех этих объединяет в настоящий момент одна «идея»: идея о *преодолении символизма*, а вместе с тем и искусства вообще. Скучно и бесплодно полемизировать со всеми этими «сверхиндивидуалистами», «мистическими анархистами», «сверхэстетам», «сборными индивидуалистами», «мистическими реалистами», — одним словом, со всеми этими «мистическими хулиганами» (пользуясь метким выражением Д. Мережковского).

Мы не думаем, чтобы вся эта саранча, все эти тучи moskitov дожили до будущего лета. Они обречены всем существом дела, всем стремлением исторического потока современной мысли и творчества. Символизм как мировое явление, как лозунг, соединивший два смежных века, не только не изжит, но еще далеко не осознан даже там, где им пущены особенно глубокие корни. Постепенно растущее осознание его, точнее — самосознание, приводит его теоретиков к неожиданным выводам, основная тенденция которых — убеждение в его глубокой преемственной связи с самым существом прежних литературных «школ», ощущение глубоких идейных корней в прошлом.

Кажется теперь все более и более парадоксальным принципиальное, абсолютно несовместимое противопоставление Бодлера Виктору Гюго или Мюссе; все более и более вырисовывается преемственность учения Малларме (особенно его теория идеального театра) с фантастическими грезами Р. Вагнера, с очень многими выводами классической германской философии (учение о системе символов); О. Уайльд все более и более интересует нас не как «чудовище извращенности», а как самая свежая и оригинальная попытка соединения музыки романтизма с пластикой эллинизма; в Ст. Георге, этом Эмпедокле современного символизма, мы всего более изумляемся, при всей его несравненной оригинальности, его одновременной преемственности в отношении Гете и Бодлера, мистическому тяготению к еще так недавно игнорируемому Данте; нам не без основания начинает казаться, что даже в наших снах мы уже когда-то бродили в сумрачных бесконечных залах метерлинковских «драм»; не в первый раз романтизм и церковная символика слились в одну цельную готическую арку в трогательных образах Роденбаха; и разве не рождается в нас все большее и большее желание найти прочный, незыблемый и уже неоднократно испытанный фундамент для наших самых заветных и горячих исканий в бессмертных и несравненных страницах 3-й книги «Мира»... Шопенгауэра?

С другой стороны, можем ли мы считать уже разрешенными основные проблемы современного символизма и связанной с ним «переоценки всех ценностей»? Разве мы уже отыскали ключ к разрешению, быть может, самой сложной и наиболее современной проблемы, *Ницше-вагнерианского вопроса*, особенно теперь, когда едва-едва опубликована интимная исповедь Фр. Ницше, его «Ессе homo»? * Разве настал срок отрешить себя от плуга

* «Все Человек» (лат.).

Заратустры, проводящего борозду, быть может, на рубеже тысячелетий?

Разве теоретики *символизма* и проповедники *индивидуализма* и *интуитивного* познания творчества успели уже с достоинством ответить на все новые запросы снова возрождающейся философской мысли Европы, неокантианства в Германии и неогегельянства в Англии?..

Общее сознание настоящего момента, связующего два столетия, — во всех своих точках решительно против быстрого «преодоления» или погребения всего того, что еще так недавно рассматривалось как задача столетия. Только поверхностное, недобросовестное и невежественное понимание «символизма», только внешняя рецепция этого сложнейшего культурного явления, только слишком скорая и трусливая усталость способны примкнуть к становящемуся теперь модным лозунгу о «преодолении символизма», о «гибели эстетизма» или о «конце литературы».

Когда же этот лозунг присоединяется вдобавок к явно клерикальной программе или к замаскированным, кабинетно-беспочвенным и исключительно словесным призывам к «народности», то он становится просто смешным!..

II

И, тем не менее, среди всех бесчисленных криков о гибели искусства звучит один голос, заставляющий нас невольно прислушиваться к себе, прислушиваться тем более почтительно и серьезно, что он принадлежит человеку, наиболее, быть может, из всех переболевшему все проблемы и искания символизма, писателю, внесшему в его сокровищницу один из самых драгоценных вкладов. Наше внимание к этому призыву становится еще более чутким от того, что каждое его слово искажается и переиначивается как его врагами, так в особенности и его последователями, до полной неузнаваемости, от того, что все почти современные «мистические хулиганы», замалчивая первоисточник и, всячески искажая его выводы, безданно и беспощинно черпают из него же *. Мы говорим о *Д. Мережковском*.

* Достаточно прочесть любую программную статью «Золотого Руна» или любую страницу «Покрывала Изиды» Г. Чулкова, чтобы убедиться в справедливости наших слов.

Среди всех «сверхиндивидуалистов» Мережковский занимает исключительное, несоизмеримое ни с кем и единственное в своем роде место. Он давно уже открыто, благородно и страстно выступил против того, что было в значительной степени провозглашено им же самим, как одним из самых первых «русских символистов». Это самоотрицание — не игривость, не случайность, а «дело»; это — серьезная и глубокая душевная трагедия. Без колебания мы сравниваем этот процесс самоотрицания с душевной драмой Гоголя, сжегшего продолжение «Мертвых душ», с глубокими сарказмами Л. Толстого, направленными против себя самого. Кто слышал простую, живую и беспристрастную речь Д. Мережковского, тот никогда не забудет его внушающего, содрогающего душу голоса, звучащего из страшной глубины.

Все этапы этой трагедии, все ступени этого перехода от творческого созерцания к жажде «действия», к желанию творить жизнь и переродить современное человечество — перед нами в последовательных творениях Мережковского. Не случайность, а неизбежность этой драмы очевидна; глубокая преемственность ее с аналогичными внутренними переворотами в творчестве и жизни самых замечательных русских писателей становится все более и более несомненной. Недаром за последние годы пытливая мысль Мережковского исключительно билась около этих заповедных и едва ли понятых во всей их интимной глубине трагедий. Другой особенностью Мережковского является его открытая честность: он не прибегает подобно многим другим полудекадентам, полунедкадентам к смутному, смешанному словарю мистико-эстетических комбинаций, — он ясно, четко и определенно выступает против *всей* русской современной литературы, обвиняя ее в легкости и несерьезности. Конечно, мы не согласны с таким огульным обвинением, зная, что и раньше верхний слой нашей литературы был почти хулиганский; конечно, мы не пойдем за ним к Чехову, как единственному положительному антиподу всей современной литературы, хотя мы умеем воздать должное этому последнему из реалистов, чутко почувствовавшему веяния будущего; мы не пойдем за Чеховым именно потому, что помним апокалиптический призыв того же Мережковского быть лучше холодным и горячим, но не *теплым*, каковым в сущности и был всегда и везде А. Чехов.

Мы думаем, что Мережковский от сильной душевной боли как бы ослеп временно и не видит спасительных оазисов в пустыне современной нашей литературы. Тем не менее, во многом, — о, как во многом! — прав Мережковский, бичующий современную русскую литературу. Не будем спорить с ним о последнем, но

лучше спросим его: если наша литература так низко пала, и современный читатель, действительно, чуть ли не папуас, то каким же образом должен именно сейчас совершиться никогда еще не бывалый, почти волшебный переворот общего сознания и переход от литературы к жизненному коллективному «действию», и к чему-то, почти эсхатологическому? Каким образом на падение и измельчание художественного творчества можно ответить не призывом к его углублению и пересмотру, не борьбой с бактериями, которыми дышит современный «литератор» и читатель, не серьезной работой над первоисточниками того течения, которое мы называем современным, а призывом всех и каждого к тому сверхчеловеческому подвигу, о котором великие лишь смутно мечтали, на порывах к которому погибали такие гении, как Р. Вагнер, Фр. Ницше. Разве гибель Гоголя, практическая тщетность и бесплодность так называемой «философии» Л. Толстого, извращение идей Достоевского чуть ли не до смешения их с «идеями» наших истинно русских патриотов, превращение в течение нескольких лет целой мистической системы Вл. Соловьева в какой-то жалкий компромисс синодального стиля, а его социальных, фантастических грез — в тощую партийную программку, и многое, многое другое — разве все это не является целым рядом симптомов, доказывающих лишь одно, а именно: что рано, безумно рано, преступно рано превращать в общественное слово, в проповедь, в коллективный призыв — то, что живет и дышит только на высотах, на вершинах, недоступных толпе? О какой «общественности» без масс и толпы, о каком действии и без конкретной цели и определенной программы можно говорить в настоящее время?

Психологически, индивидуально мы понимаем крик Мережковского как сознание, что и он дошел до края бездны, что и он, пережив все трагедии индивидуализма, пришел к великому зиянию небытия, к *самоотрицанию*, подобно многим самым великим вождям индивидуализма; а *contrario* *, инстинктивно, быть может, диалектически, по-гегельянски возопил он о спасении от этой бездны через противоположное, через «соборность», но этот крик остался и всегда останется неслышанным той воющей стихией, которая омывает великий утес его духовного одиночества.

Не первый, не последний Д. Мережковский убоился и убоится *безумия одиночества*, не первый он стал порываться заговорить с массой о «сокровенном», не первый он останется без отве-

* От противного (лат.).

та. Не первый он не найдет слов для выражения своего безумного порыва «действовать», лишь бы не молчать и не быть одному!

Мы говорили все это не со злорадством или хохотом, но с самым глубоким почтением и грустью, ибо мы знаем неизбежный конец всех таких нечеловеческих исканий, а еще и потому, что и у нас в глубине души есть своя бездна, не менее ужасная, хотя, быть может, и укрытая нашим молчанием*.

Вот почему Мережковский говорит о самых даже «злободневных» вопросах из какой-то страшной глубины, которая следует за ним, подобно бездне *Паскаля*, всегда зиявшей в его душе. Вот почему понять смысл тех условных, неизбежно туманных, несоизмеримых почти ни с чем жестов, значков и терминов, которыми пытается Мережковский сигнализировать нам по поводу сокровеннейших переживаний его «внутреннего опыта» — оказывается возможным лишь частично. Вот почему, притягивая почти магически смутным сообщением нам какой-то скрытой в нем *великой тайны*, он роковым образом отталкивает нас, лишь начинает говорить о ней, приспособляя свой язык к понятиям и терминам уже избитым, уже обыденным и многосмысленным.

Путь от *символа к догмату* — вот путь Мережковского.

Путь от созерцания к действию, от литературы к новой церкви.

В этих формулах все слова звучат иначе, все термины переоценены. Десятилетия пройдут, прежде чем Мережковский сумеет раскрыть смысл главнейших из них в достаточной мере.

Символически борьба Мережковского с мировым злом выражается в борьбе с «чертом».

Однако и здесь он впал в роковые противоречия. С одной стороны, его борьба с чертом похожа на гоголевскую иронию, *высмеивания черта* как чего-то серединного, грязного, комичного, шутовского, сходного даже с датской собакой, во всяком случае — чего-то *серенького*; с другой стороны, он, видя в нем *главного* врага всего прекрасного, главный узел всей мерзости и источник всех ужасов, — как бы соглашается вслед за христианством признать в нем «князя мира сего». Каким же образом «что-то серенькое, комичное» оказывается в конце концов победителем вселенной и царствует надо всем? Мы думаем что «высмеивание черта» — плохая штука, что не этим способом можно спасти свою душу, ибо при этом преуменьшается смысл мирового зла, забывается

* Отрицаая общественное значение идей Мережковского, мы не сомневаемся в глубочайшем *индивидуальном их значении* как сложнейшего процесса самых мучительных и коренных исканий.

Тот, Кто действует за спиной черта, т. е. *Сатана*. Последний же, что, впрочем, издавна замечено поэтами, едва ли может вызвать смех. Борьба с *Сатаной* должна вестись иными путями. Впрочем, не лучше ли все-таки *Сатана*, чем добрая часть того человеческого рода, который мы спасаем от него, не чужды ли именно ему те низкие формы теплого зла-добра, которые горше абсолютного зла?





А. БЕЛЫЙ

Мережковский

У Эйфелевой башни четыре основания — четыре металлических ноги. На металлических ногах утверждается площадка. С площадки и начинается тело башни. Между основаниями башни просторное пространство.

В России есть места, где сходятся три губернии на небольшой площади. Можно было бы соорудить башню наподобие Эйфелевой в три подножия. Каждое подножие начиналось бы в разной губернии. Тело башни принадлежало бы трем губерниям, или ни одной, а, пожалуй, облакам, небу, птицам.

Если собрать книги, написанные Мережковским, можно сложить из них книжную башенку. О, конечно, эта башенка меньше Эйфелевой: она с удобством уместилась бы на чайном подносе. Но если анализировать содержание каждой из написанных книг, это содержание оказалось бы столь значительным, что могли бы мы сравнивать его, несомненно, разве только с большой башней. Вместе с тем нас поразила бы одна особенность каждой из сложенных воедино книг: каждая опирается на другую, все же они созданы друг для друга, все они образуют связное целое. Между тем: Мережковский — романист, Мережковский — критик, Мережковский — поэт, Мережковский — историк культуры, Мережковский — мистик, Мережковский — драматург, Мережковский — ...

Каждая из книг, написанных Мережковским, вовсе не представляет собой отдельную сторону его дарования, хотя он и является перед нами в разнообразных одеяниях: здесь как критик, там как мистик, а там как поэт. Но лирика Мережковского — не лирика только, критика — вовсе не критика, романы — не романы. В каждой из книг его вы найдете совокупность всех сторон его дарования: изменена форма выражения, изменен метод. Мережковский старается быть тактиком. Часто это ему удается.

И весьма. Только что он пленил нас тончайшим анализом Достоевского, и мы начинаем верить ему как критику, — он обращает все богатство своей критики на то, чтобы сделать экскурсию в область истории и осветить ее как-то необычайно. Вы примирились и с этим смелым прыжком: вы следуете за ним вглубь истории. Миг: и всемирную историю превращает он в пьедестал к прекрасной, как мраморная статуя, лирической скульптуре слов. Итак, под критиком и историком таился поэт? Не тут-то было: поэзию риторики превратит он в изящный покров своей огненной мистики, обожжет вас огнем, приблизит мистику невероятно. Если вы критик, поэт и мистик, он заставит поверить вас, что наступил конец мира... и потом закончит схоластической схемой: «везде раздвоение: это сила Христа борется с силой антихриста». И тут скроется от всех — по всей пирамиде книг пройдет на вершину своей башни, усядется в облаках с подозрительной трубой. Определите-ка его, кто он критик, поэт, мистик, историк? То, другое и третье, или ни то, ни другое, ни третье? Но тогда, кто же он? Кто Мережковский?

Вот ход его лирико-критических пророчеств.

С холодной жестокостью опытного анатома он вскроет перед вами душу Анны Карениной, проведет вас по своим путям, пряча вывод. Выводом озадачит. Например: станет вас уверять, что астартические культы древности предопределяют и регулируют психологию Анны, что она — воплощение, скажем, Астарты. Способен он не только осветить астартизмом Анну, но и приблизить астартизм, преломив его в образе Анны. Анна-Астарта окажется далее апокалиптической Женой, преследуемой Драконом. Облеченная в солнце Жена Астарта-Анна Каренина! Это ли не безвкусица, не чудовищный «grotesque»? Или... послушайте: у вас голова пойдет кругом, почва зашатается под ногами. Вам может показаться, что все — только прообраз единой силы. Иван Иванович, задолжавший вам без отдачи, станет Иваном Ивановичем Хлестаковым, и далее: Тифоном, Ариманом, Драконом... Василиса Петровна, в которую вы влюблены, превратится в Жену Василису. Ваша жизнь окрасится необычайным. Вы будете проводить свои дни в борьбе с драконо-тифонным Иваном Ивановичем Пло, ополчившимся на солнечную Василису Петровну. Желтое ее платье назовете вы солнечным. Ведь можно сойти с ума! Пойдите теперь к Мережковскому, скажите ему: «Вы учили меня относиться к действительности как к символам. Я превратил свою жизнь в символ: везде вижу враждующие начала. Всемирная история только ореол к символизму моих переживаний. Но да-

лее: вы учили о том, что символы ведут к воплощению, писали: “Здесь кончается наше явное, здесь начинается наше тайное, наше действие”. Я увидел в Ногаткине драконизм, а в Цветковой — софианство. Ногаткин женится на Цветковой. Что мне делать?»

И Мережковский ответит: «Есть вечно женственное начало и есть черт с хвостом, как у датской собаки, а вам я советую избавиться от кошмаров».

Ничего не ответит. Не знает, что сказать. А ведь поэзию, мистику, критику, историю — все превратил Мережковский в ореол вокруг какого-то нового отношения к религии — теургического, в котором безраздельно слиты религия, мистика и поэзия. Все остальное — история, культура, наука, философия только подготавливали человечество к новой жизни. Теперь приближается эта жизнь, упраздняется чисто искусство, историческая церковь, государство, наука, история.

И каким огнем залита проповедь Мережковского, как преломляется она в существующих методах творчества: в романах, в критике, в религиозных исследованиях! Привлекает она к нему эстетов, мистиков, богословов, просто культурных людей. Воистину что-то новое увидал Мережковский! И оно несоизмеримо с существующими формами творчества. И потому-то башня его книг, уходящая в облака, не имеет общего подножия. Как и башня Эйфеля, она начинается многими подножиями; подножия эти упираются в несоизмеримые области знания и творчества: в религию, историю культуры, в искусство, в публицистику, во многое другое. Вершина же башни принадлежит только воздуху. Она над облаками. Там уселся Мережковский с подзорной трубой и что-то увидел. Мы не увидели: облака закрыли твердь. Мережковский спустился к нам рассказать о каких-то результатах своих надоблачных вычислений в формах, нам известных (иных форм не сумел создать — они будут созданы, быть может, будущим гением): стал одновременно критиком и поэтом, и мистиком, и историком. Станет всем, чем угодно. Но он ни то, ни другое, ни третье. Скажут, пожалуй, что он эклектик. Неправда. Просто он специалист без специальности. Вернее, специальность его где-то ему и ясна, но еще не родилась практика в пределах этой специальности. И оттого-то странным светом окрашено творчество Мережковского. Этот свет неразложимый. Его не сложить из суммы критических, мистических и поэтических достоинств трудов писателя. И в то же время Мережковский при всей огромности дарования нигде не довоплощен: не до конца большой ху-

дожник, не до конца пронизательный критик, не до конца богослов, не до конца историк, не до конца философ. И он больше, чем *только* поэт, больше, чем *только* критик.

Оставаясь в пределах строгого искусства, почти невозможно говорить о его «Трилогии». Все равно вырвешься в мистику, в историю культуры, в идеологию. И безобразны многие страницы величественной «Трилогии», — то мертвые схемы дают многообразную серию его дивных образов, то мелочи, быт, «вещи» опрокидываются на эти образы. Мережковский подчас устраивает из своих романов археологический музей: здесь и одежды эпохи Возрождения, и «пурпуриссима» — румяна, которыми пользовались византийские императоры, и тиара «византийского папы» эпохи Петра I. Стены и потолок этого музея не соответствуют пестроте и богатству археологического материала: стены серые, казарменные: потолок образуют грязно-голубые доски, именуемые «бездна верхняя», пол, серый, каменный, — «бездна нижняя». На двух парах стен дощечки с надписями: «Идея богочеловечества», «Идея человекобожества», «Аполлон», «Дионис». Скучное, казарменное помещение и в нем пестрота богатых археологических коллекций: «purpurissima» и «идея человекобожества». Археология и схоластика! И вот через все три романа проходит перед нами ряд богатейших картин. Мережковский прекрасный костюмер. Ему надо изобразить жизнь Юлиана, Леонардо, Петра. Прекрасно: есть воск, — можно вылепить из него желтые статуи, раскрасить их «пурпуриссима», а что касается до обстановки — в ней недостатка не будет. Собрано все, что нужно.

Выбрав в своем музее свободное место у одной из стен (археологические коллекции — шкафы — сдвинуты к середине), Мережковский окружает свои статуи всеми атрибутами эпохи. «Жизнь Юлиана? — давайте сюда материал из шкафов № 1, 2, 3 и т. д. Вот вам картина малоазиатского городка: война, костюмы, шлемы воинов той эпохи. Вот языческий храм: статуи, аромат»... Все названо своими именами, к каждому предмету быта приставлена этикетка. Так изображает Мережковский Юлиана в храме, при дворе, в Афинах, в походе. Ряд богатых и пышных картин. Но фон этих картин? Фоном послужит природа. Мережковский — нежный лирик природы. Он ее глубоко понимает. И дивными образами неба, серебряного месячного серпа над статуей перескажет он музыку, которой хотел бы аккомпанировать свои археологические группы восковых кукол. Юлиан у Мережковского часто не Юлиан в смысле конкретного человека, а юлианова кукла. Но небо у Мережковского — всегда небо. Оно жи-

вет, говорит, дышит. И вот Юлиан на фоне неба, одушевленного Мережковским, уже не только Юлиан, а символический образ того, что желает вложить в него автор. Но чтобы символ не был слишком груб (восковая кукла на фоне неба), Мережковский чуть-чуть стилизует свое небо, à la Ботичелли, Леонардо, Филиппино Липпи. Для этого он слишком хорошо знает живопись итальянских мастеров. Получается подобие жизни и действительная утонченность культуры в сценах его «хроник». Вот зрительный образ готов. Надо, чтобы действующие лица панорамы заговорили. Но куклы не говорят. Предоставьте говорить Мережковскому от их имени. Он сумеет сказать в стиле эпохи. Он для этого достаточно начитан. И вот выступит на авансцену сам Мережковский: будет говорить то басом, то дискантом, то комически, то трагически, и всегда стильно. О, это будет не просто разговор! Это будет диалог: будут ссылки, цитаты из замечательнейших умов того времени, расположенные в таком порядке, чтобы совокупность этих в форме диалога изложенных цитат служила незримым указательным пальцем к дощечке, повешенной на стене. Не забудьте, что археологическая группа на фоне картины итальянского мастера расположена у одной из стен музея, а на стене дощечка: «Идея человекобожества». Потом вся группа кукол будет перенесена к противоположной стене под дощечку: «Идея богочеловечества». Та же группа, то стоит под «Аполлоном», то под «Дионисом». Потом, при помощи камеры-обскуры, проецирует нам Мережковский ту же группу на пол, называемый «нижняя бездна», проецирует на «бездне верхней». Так покажет Мережковский несколько немых пантомим у всех четырех стен своего здания; переменит не раз фон у восковых групп; проговорит у каждой стены свой диалог в стиле группы и сообразно со стеной. И пройдет перед нами и вся жизнь Юлиана, и быт той эпохи, и религиозно-философский смысл этой жизни. Потом, убрав свои восковые куклы, наряды, утварь, статуэтки в нумерованные шкафы, он принимается за Леонардо. Прodelывает ту же процедуру. Группы пропутешествуют от Христа к Антихристу, от Антихриста к Аполлону, от Аполлона к Дионису, от Диониса к Христу. Все это путешествие будет потом проецировано на *верхнюю и нижнюю бездну*.

Получится полная аналогия с путешествием Юлиана от стены до стены.

То же с Петром.

В результате геометрическая правильность его громадной «Трилогии». Труд необыкновенно почтенный и солидный. Далее. Нужна не простая геометрическая правильность: Мережковско-

му нужно показать эволюцию двух борющихся в истории сил: христианства и язычества. Для этого Мережковский: 1) Располагает группы своих образов так, чтобы конфигурация групп одной части «Трилогии» соответствовала в целом конфигурации групп смежной части. 2) Дает несколько образов (иногда предметов), которые пройдут сквозь все части. Например: мраморную статую поставить в храме. Затем в виде археологической раскопки воскресит ее в эпоху Возрождения. И наконец во образе и подобии «венецейского истукана» перевезет ее в Россию. Или в хлыстовских радениях отыщет черты, сходные с оргиастическими культами древности. 3) В одной части «Трилогии» он переставляет свои группы справа налево, в другой — одновременно расставляет группы и слева направо, и справа налево, так что путешествие совершается одновременно в двух направлениях; наконец, в последней части расположение групп идет слева направо. Соответственно этому он слегка меняет конфигурацию цитат и своих комментариев в форме рассуждения к этим цитатам. Получается ясная и простая идеология. Во всем раздвоение: между хаосом и космосом, плотью и духом, язычеством и христианством, бессознательным и сознанием, Дионисом и Аполлоном, Христом и Антихристом. Противоположение между верхней и нижней бездной раздваивает, в свою очередь, каждую антиномию. Так: дух Христов оказывается и под маской аполлинизма, и под маской дионисизма; то же происходит и с духом Антихриста. Получаются сложные фигуры, точно кристаллографические модели. Раздвоенный Юлиан: потом Юлиан расчетверенный. Студенты долго сидят над сложными кубиками, прежде чем научатся определять кристаллические системы. Неопытные читатели Мережковского часто запутываются в сложных фигурах его исторического контрапункта идей. А он так прост: надо найти лишь принцип классификации. Далее: в Юлиане идеи человекобожества, язычества, плоти, государства, аполлинизма, антихристианства как будто преобладают. Как будто: потому что на дне их (в бездне нижней) открываются идеи противоположные (бездна верхняя). Юлиан этого не понял. Во второй части изложенным идеям противостоят идеи противоположные: контрапункт сложнее. В «Петре» перед нами трехъярусная идеология: 1) язычество с пролетом в свое противоположное, 2) историческое христианство с пролетом в свое противоположное, 3) противоположное двух противоположностей (исторического язычества и исторического христианства) становится искомым единством. Тут и мистика, и гегелианство, и шеллингианство, и гностика, и символизм — одно, слитное с другим:

целая коллекция идей и целая коллекция костюмов, цитат, выписок.

Археология и идеология — вот смысл «Трилогии» Мережковского. В этой мертвой броне трепещет и бьется его огромный, позагнанный талант. Неужели это так?

Нет. — Нет, не так.

Та многогранная идеалистическая броня, в которой закован творческий полет Мережковского, — броня прозрачная, вся сквозная.

Мы видим сквозь нее. Бесчисленные холодные грани, изнутри озаренные ярким светом, переливаются всеми цветами радуги. И идеи Мережковского только, видимо, сковывают богатство его образов: они преломляют образы, направляя их к одному фокусу. И этот фокус вовсе не идея, а какой-то символический образ: к нему стекаются для Мережковского все лучи жизни. Про автора «Трилогии» можно сказать, что он имел «одно виденье, непостижимое ум».

Как прекрасно объясняет автор «Трилогии» это стихотворение Пушкина! Не потому ли, что оно самому ему чересчур близко? Был Мережковский-художник, пленялся свободой художественного творчества, проповедывал культ красоты. И красота мира явилась ему в Лике Едином. Увидел он Лик Единый.

Понял, что многообразие образов, их красота — только бесконечность личин до времени укрытого Лика. Ему показалось, что увидел он тот предел красоты, который доступен человечеству. И, увидав, не захотел видеть он больше ничего. Знал, что еще нет слов, чтобы описать то, что видел, нет понятий объяснить красоту, нет красок изобразить. И все засквозило ему одним, навек одним. С той поры стал рыцарем будущего — рыцарем бедным: все богатства науки, искусства, жизни померкли в немеркнущем свете. Все стало лишь средством: хоть вздохом передать зарю новой, грядущей, последней красоты.

Невольно опустил «стальную решетку» рыцарь бедный — Мережковский — на лицо свое: этой стальной решеткой стала для него идеология. Но свет, горящий в нем, сквозь него сияющий, лучится из-под забрала. «Стальная решетка» — забрала *убогого шлема*: вот идеология Мережковского.

Образы прибирает он к схемам. От этого живые лица, проходящие в его романах, превращаются в кукол, разукрашенных археологической ветошью. Становятся эмблемами мертвых схем.

Но идеи Мережковского, — только вера, только символы, обсаженные аллеей красочных образов. Аллея ведет к горизонту: там яркое его ослепило, яркое солнце. Оно восходит. И каким

золотым блеском сверкает красный песок аллеи: — песок идей! Это не песок: это огненный бархат, которым восходящее солнце устало путь человечества. Этот свет освещает пригнанные к схемам образы «Трилогии». Восковые куклы только потому куклы, что история, люди, как люди, — все это умерло для Мережковского. Все это воскресло в одном, живом. В жизни то — жизнь, что запечатлело в себе несказанный образ — «непостижное виденье». Мы все — мертвецы. История мертва тоже. Только луч будущего ее озаряет. Юлиан, Леонардо, Петр вовсе не интересуют Мережковского сами по себе: только как символы.

Метерлинк неспроста писал для марионеток свои первые драмы. Он знал невозможность воплощения их в условиях современной сцены. И неспроста превратил Мережковский историю в археологический музей: он захотел распоряжаться с историей по-своему. Превращая ее в музей при своем кабинете, он убил в искусстве искусство, в истории — историю. История для него — «театр марионеток»; наука, культура, искусство — атрибуты марионеточного действия. Он сказал: «Скоро кончится действие — начнется жизнь». В новой жизни разглядел красоту он иную; для нее еще нет форм. И потому-то творчество его обращается к самым разнообразным формам, и ни к одной. «Трилогия» продолжается в его критической трилогии: «Гоголь и Черт», «Толстой и Достоевский», «Грядущий Хам». Теперь задумал он трилогию драматическую. Скоро у него будет три трилогии. Но это — все то же, все одна трилогия: тройственный знак Единого Лица, Единого Имени — «Непостижного Виденья». Не понять его романов без его критики. И критики — без романов.

Вероятно, драмы еще раз по-иному объясняют нам и критику, и романы, — в свою очередь, объясняясь ими.

«Бедный рыцарь» — как часто его упрекают в схоластике! Между тем, и схоластика, и археология, и вся мертвенность некоторых художественных групп, — не придает ли все это Мережковскому подчас неуловимую прелесть? У него есть своя прелесть. Может быть, эта прелесть несоизмерима с прелестью строго художественного творчества. Но Мережковский не художник. Его нельзя мерить чисто эстетическим масштабом. А если приходится мерить, — удивляешься, как еще его высоко ставят, как не видят грубых и ясных недочетов в его творчестве!

Но как бы строго ни осуждать художника-Мережковского, всегда найдем мы в нем нечто, неразложимое ни на искусство, ни на критику; вместе с тем, это «нечто» не идет в счет художественных достоинств его «Трилогии».

Я нарочно старался разложить «Трилогию» на схоластику и археологию, чтобы иметь право сказать о Мережковском то, что думаю: — *он не художник*. Но он и не «не-художник». Он не художник только.

Я не хочу сказать, что он больше художника. Еще менее хочу я сказать, что он меньше. Для уяснения его деятельности придется придумать какую-то форму творчества, не проявившуюся в нашу эпоху. Эта эпоха наша, должно быть, подходит к новым творческим возможностям. Об этих возможностях заговорил Мережковский (о, нет — не словами: музыкой слов!). Он как будто лучше знает неведомый нам язык. Но мы этого языка не знаем. Мережковский пытается привести свой язык к нашим понятиям, путается, смешивает слова. Но культурные люди стараются не замечать акцент иностранца.

Настаивать на том, что «Трилогия» Мережковского страдает многими художественными недочетами, и при этом смотреть на Мережковского только как на художника, — значит совершать бестактность: надевать на него «тришкин кафтан». Анализировать его идеологию — значит укорачивать рукава этого кафтана.

Мережковский — вопиющее недоумение нашей эпохи. Он — загадка, которая упала к нам из будущего.

Построил книжную башенку; ее можно было бы подать на чайном подносе. Из щепотки порошка растут *фараоновы змеи* *. Из книжной башенки Мережковского выросла вавилонская башня — идей, символов, загадок? Не знаем. Сам Мережковский с подозрительной трубой в руках взошел по ней и скрылся от нас в облака. Мы не ведаем точно, где он и что с ним. Анализируем фундамент башни: одно подножие ее — искусство, другое — религия, третье — схоластика, четвертое — критика. Сама башня — ни то, ни другое, ни третье. Иногда сверху падает на нас дождь печатных листов: это Мережковский пытается с нами разговаривать.

На одном свитке написаны стихи, на другом — замечательное исследование о Серафиме Саровском. На третьем странное словопроизводство: будто бы «пошло то, что пошло» (предполагается «пошло в ход»).

Но все, что бы ни писал Мережковский, странным каким-то сияет светом. Мы ждем, позовет ли он нас на свою башню, сойдет ли к нам со своей подозрительной трубой; иногда нам кажется, что башня его рассыплется, как рассыпаются «фараоновы змеи», когда к ним прикасаешься пальцем.

* Известный химический опыт.

Может быть, снимется он со своей башни и улетит; может быть, уже летел (почем мы знаем, кто там сверху нас окликает). Может быть, Мережковский уже замерз там, за окнами, а разговаривает с нами ветер: ветер свегает его листки, а мы думаем, что это нам посылает грамоты наш заоблачный звездочет. Нет, это не так.





А. БЕЛЫЙ

Начало века (отрывки)

МЕРЕЖКОВСКИЙ И БРЮСОВ

С Брюсовым встретился я 5 декабря 1901 года; с Мережковским — на другой же день. Совпадение встреч — жест; Брюсов меня волновал «только» литературно; а Мережковский — не только; анализ, произведенный Д. С. Мережковским образом Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де собой мировую словесность:

«От слова — к действию, к преображению жизни, сознания!» По Мережковскому, Толстой ведает плоть; Достоевский же — дух; Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание; его ошибка: за поиском знания он убегает в мораль; Достоевский же не понимает, что дух обретается в теле, не в вырыве в небо; чиста-де плоть у Толстого, здорова, а он, больной духом, бежал от нее; дух-де здоров в Достоевском, а он — эпилептик.

Литература в обоих есть выход из литературы; в обоих уж слово становится делом. Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознание Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы третьим заветом, сливающим Новый и Ветхий.

— «Иль — мы, иль — никто!» — восклицал Мережковский, грозяся пожаром вселенной; ходил по Литейному, будто в кармане он держит флакон с эликсиром; глотни — и заплывятся души, тела.

Мой отец, далеко отстоявший от преи, поднимаемых Розановым, Мережковским и Минским с епископами, видел в Д. С. Мережковском проблему романов его: т. е. — видел тенденцию правой культурной борьбы с заскорузлым церковным монашеством;

мы, изучавшие пристальной книги писателя, не ограничивались таким трезвым разглядом. И М. С. Соловьев полагал: Мережковский — радеющий хлыст, называющий пляс и, как знать, свальный грех свой огнем, от которого-де загорится вселенная.

Все то, что до нас доходило о деятельности религиозно-философских собраний, тогда начинавшихся в Питере, сосредоточивало интерес к Мережковскому.

Коль он зенит, то В. Брюсов — надир: «Только литература!» Но Брюсов вкладывал в «только» весь пыл проповедника; миф для него был лишь материалом к сочетанию слов: он с одинаковым пылом готов был отдаться анализу слов Апокалипсиса, рун, магических слов обитателей острова Пасхи, проблем Атлантиды; писал он:

И господу и дьяволу
Хочу прославить я.

Прославить для Брюсова — вылепить в слове. Д. С. Мережковский мирился со всем, но не с этим; «народник», «марксист», ницшеанец, поп и атеист еще находили убежище в его пустой, но красивой риторике; Брюсову ж не было места в ней; так что «декаденты», по Мережковскому, — валежник сухой; малой искры достаточно, чтобы они вспыхнули; они — трут, на который должна была пасть искра слов его; вспыхнувшими декадентами эта синица хотела поджечь свое море: ему ли де не знать «декадентов», когда он и сам — декадент, победивший в себе «декадента».

Д. С. Мережковского не понимали в те годы широкие массы; его понимал Михаил, православный епископ; да мы, «декаденты», читали его. Брюсов, тонкий ценитель «словес», был в те дни почитателем этого стиля — «и только»: о всяком «не только!». Как мог он обидеться на отведенную роль ему? Умница, он понимал: исцеленье его Мережковским есть «стиль» Мережковского; Брюсов-стилист был не прочь исцелиться для... Гиппиус, чтобы отобрать в «Скорпион» цикл стихов у нее; он ковал ведь железо, пока горячо, для готовимого альманаха и для «Скорпиона»; точно торговец мехами, в Ирбит отправляющийся, чтобы привезти с собой мех драгоценный, таскался он затем в Петербург, чтобы у Гиппиус для «Скорпиона» стихи подцепить; подцепив, привозил, точно мех черно-бурой лисицы.

— «Привез...»

— «Стихи — дрянь; ну, а все-таки — Гиппиус... «Скорпиону» приходится денежно жаться... Они запросили... Ну что же, Баль-

монт даст задаром, и кроме того: Юргис *, я, вы — напишем; не правда ли?»

Не раз меня Гиппиус спрашивала:

— «Платить будут? Колю платить будут, то — дам... Вы наверное знаете, — будут?»

Венец юмористики: Гиппиус и Мережковский прекраснейше сознавали вес Брюсова: в «завтра»; и даже — значенье расширенного «Скорпиона», который и им служил службу; они были гибкие в смысле устройства своих личных дел; так антидекадент и враг церкви печатался сам в «Скорпионе». Венец юмористики: когда в 1903 году начинался журнал «Новый путь», Мережковские никого пригласить не сумели для заведования отделом иностранной политики, кроме «беспринципного» Брюсова; он, кажется, прозаведовал... с месяц; и — бросил.

При встречах друг с другом они осыпали друг друга всегда комплиментами:

— «Вы, Валерий Яковлевич, человек будущего!» — вопил Мережковский.

— «Прикажете, и — “Скорпион” к вашим услугам», — изысканно выгибался перед Гиппиус Брюсов. Заочно ругали друг друга:

— «“Новый путь”, Борис Николаевич, заживо сгнил», — с восхищением докладывал Брюсов, вернувшийся из Петербурга: мне.

— «Зиночка сплетничает», — он докладывал.

— «Боря, как можете жить вы в Москве: “Скорпион” — дух тяжелый, купецкий. Как можете вы с этим Брюсовым ладить?» — кривила накрашенный рот свой мне Гиппиус.

— «Боря, вам гибель в Москве!» — Мережковский. И я распинаялся:

— «Да вы не о том», — распинался с отчаяньем я на Литейном.

— «Да вы не о том», — распинался с отчаяньем я в «Скорпионе».

Две эти фигуры, возникнувши в 1901 году предо мной, в те же дни, в декабре (один пятого, другой шестого), вдруг быстро приблизились, как бы хватая: Д. С. Мережковский за левую руку и Брюсов — за правую: Брюсов тащил меня в литературу: в «реакцию» по Мережковскому; а Мережковский — в коммуны свою:

— «Боря, бойтесь Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его!»

* Ю. К. Балтрушайтис — в те годы «молодой» поэт «Скорпиона».

— «Зина думает...» — скалился Брюсов, глумясь над жалкостями беспринципных «пророков».

Как странно: тащивший «налево» Д. С. Мережковский пугался меня в девятьсот уже пятом как «левого»; «правый» же Брюсов стал не на словах, а на деле: действительно левым.

Я в 1901 году лишь испытывал трудность раздваиваться меж Д. С. Мережковским и Брюсовым, не примыкая к обоим в позиции, в идеологии; сложность ее — в иерархии граней; в одной допускались условно и временно оцупи Д. Мережковского; в другой же выметались проблемы формы по Брюсову; центр, ориентирующий обе эти проблемы, — та именно теоретическая проблема, для формулировки которой еще надо было одолеть, по моим тогдашним планам, Канта.

И тут мне влетало от всех: студент Воронков, застревая в тенетах гносеологических терминов («апперцепция», «коррелат», «факт, идентичный идее»), махал лишь рукой:

— «Бугаев точно говорит по-китайски».

Заноза Петровский подтрунивал:

— «Знаете, философутики я не люблю», — уж и слово приду- мал!

Прималкивал скорбно М. С. Соловьев. Брюсов в первой же встрече воскликнул:

— «Зачем с философией вы, когда песни и пляски есть!»

Как впоследствии воспринимал Мережковский мои «коррелаты» — не знаю, потому что — молчал лишь: глазами похлопывая.

Блок — тот рисовал на меня безобидные карикатуры.

Не видели стержня теорий моих, моего устремления к «критицизму»; для Брюсова он — игра скепсиса; для Мережковского — моя тоска по действительности.

В. Брюсов играл в философские истины; и на «критические» рассужденья весело подсыпал он софизм; а Мережковский любил философствовать: не от меня — от себя, и тут делался Кифой Мокиевичем*; употребление им терминов — просто юмора.

Брюсов и Д. Мережковский меня не желали понять, полагая, что точка, центральная, моих теорий есть «муха», заскок, в лучшем случае лишь извиняемый ввиду неопытной молодости; эту «муху» стирал Мережковский, старался мне доказать, что она лишь препятствие в жизни в их «общине»; Брюсов доказывал, что эта «муха» препятствует моим стихам.

* Кифа Мокиевич — гоголевский тип (см. «Мертвые души»).

Мои близкие связи с Мережковским и с Брюсовым длились до 1909 года; к концу 908-го рвались нити, связывавшие с «общинной» Мережковского *, и рвались нити «Весов», иль культурного дела с В. Брюсовым; это я выразил в лекции «Настоящее и будущее русской литературы», прочитанной чуть ли не в дни семилетия с дней первых встреч: декабря этак пятого или седьмого; в той лекции я сформулировал полный расщеп между словом и делом: у Брюсова и у Мережковского.

Оба — присутствовали на лекции: Мережковский вставал возражать; Брюсов, кажется, нет.

Семь лет ширились ножницы между обоими; силился согласовать себя: с тем и с другим; мои ножницы после сомкнулись: вне Брюсова, вне Мережковского.

ВСТРЕЧА С МЕРЕЖКОВСКИМ И ЗИНАИДОЙ ГИППИУС

Шестого декабря, вернувшись откуда-то, я получаю бумажку; читаю: «Придите: у нас Мережковские». Мережковский по вызову князя С. Н. Трубецкого читал реферат о Толстом; он явился с женой к Соловьевым: оформить знакомство, начавшееся перепиской.

Не без волнения я шел к Соловьевым; Мережковский — тогда был в зените: для некоторых он предстал русским Лютером **.

Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского выглядеть «делом»; а в 1901 году после первых собраний религиозно-философского общества заговорили тревожно в церковных кругах: Мережковские потрясают-де устои церковности; обеспокоился Победоносцев; у Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском; находились общественники, с удовольствием потиравшие руки:

— «Да, реформации русской, по-видимому, не избежать».

В «Мире искусства», журнале, далеком от всякой церковности, только и слышалось: «Мережковские, Розанов». И в соловьевской квартире уже с год стоял гул: «Мережковские!» В наши дни невообразимо, как эта «синица» в потугах поджечь океан так могла волновать.

* Он хотел видеть общиной кружок «близких» ему литераторов.

** Разумеется, эти представления оказались иллюзиями уже к 1905 году.

Гиппиус, стихи которой я знал, представляла тоже большой интерес для меня; про нее передавали сплетни; она выступала на вечере, с кисейными крыльями, громко бросая с эстрады:

Мне нужно то, чего нет на свете.

И уже казалось иным: декадентка взболтнула устой православия; де синодальные старцы боятся ее; даже Победоносцев, летучая мышь, имел где-то свидания с ересиархами, чтоб образумить их.

В тесной передней встречаю О. М.; ее губы сурово зажаты; глаза — растарачены; мне показала рукою на дверь кабинета:

— «Идите!»

Взглянул вопросительно, но отмахнулась:

— «Нехорошо!»

И я понял: что в Соловьевой погиб ее «миф»: что-то было в лице, в опускании глаз, — в том, как, приподымая портьеру, юркнула в нее, точно ящерка; и я — за ней. Тут зажмурил глаза; из качалки — сверкало; З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов «пленительницы» (перо — Обри Бердслея); ком вспученных красных волос (коль распустил — до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пята пламень губы, осыпаясь пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блесками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.

Сатана же, Валерий Брюсов, всей позой рисунка, написанного Фелисьеном Ропсом, ей как бы выразил, что — ею пленился он.

И мелькнуло мне: «Ольга Михайловна: бедная!»

«Слона» — не увидел я; он — тут же сидел: в карих штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, карей бородкой, с пробором зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком вырезался человек из серого кресла под ламповым, золотаватым лучом, прорезавшим кресло; меня поразили двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек; синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный; точно попал не туда, куда шел; и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократором; и вместе с тем — «башка». Это был Д. С. Мережковский!

И с ним стоял «черный дьявол», написанный Ропсом в сквозных золотых косяках, или — Брюсов; О. М., как монашенка, писанная кистью Греко, уставилась башенкой черных волос и болезненным блеском очей; сам голубоглазый хозяин, М. С. Соловьев, едва сохранял равновесие.

Я же нагнулся в лорнеточный блеск Зинаиды «Прекрасной» и взял пахнущую туберозою ручку под синими блесками спрятанных глаз; удлиненное личико, коль глядеть сбоку; и маленькое — с фасу: от вздерга под нос подбородка; совсем неправильный нос.

Мережковский подставил мне бело-зеленую щеку и пальчики; что-то в жесте было весьма оскорбительное для меня.

Я прошел в угол: сел в тень; и стал наблюдать.

Мережковский в ту пору еще не забыл статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в «Мире искусства»; М. С., брат философа, чуялся ему — врагом; я как близкий дому Соловьевых, наверное — враг; вот он и хмурился. Гиппиус, оберегая достоинства мужа, дерзила всем своим вызывающим видом (а уме-ла быть умницей и даже — «простой»).

Понесло чужим духом: зеленых туманов Невы; Петербург — хмурый сон.

Мережковский впервые ж предстал как итог всех будущих наших встреч и хмурым и мелочным.

Сколько усилий позднее я тратил понять сердца этих «не только» писателей! Буду ж подробно описывать, как и я уверовал в их головные сердца, как пускался слагать слово «вечность» из льдинок, отплясывая в петербургской пурге с Философовым Дмитрием и с Карташевым Антоном. Что общего? Семинарист, правовед и естественник, сын профессора!

Нет, я не помню решительно, о чем говорилось в тот вечер; борода М. С. Соловьева высывалась из тени и точно тщетно тщи-лась прожать разговор:

— «Не хотите ли чаю?» ...

— «Нет», — нараспев, пятя талию, Гиппиус; ее крест на груди стрекотал; вот в нос В. Брюсову вылетел из губы ее синий дымок; она игнорировала тяжелое напряжение, потряхивая прической ярко-лисьего цвета.

А Брюсов ей славил и бога и дьявола!

С легкостью, уподобляясь прашинке, «знаменитый» писатель, слетевши с кресла, пройдясь по ковру, стал на ковре, заложивши ручонку за спину, и вдруг с грацией выгнулся: в сторону Гиппиус:

— «Зина, — картавым, раскатистым рыком, точно с эстрады в партере, — о, как я ненавижу!»

И из папиросного дыма лениво, вращаясь раздалось:

— «Ну, уж я не поверю: кого можешь ты ненавидеть?»

— «О, — хлопнувши веком, точно над бездной партерных голлов, — ненавижу его, Михаила!»

Какого?

Викария *, оппонента религиозно-философских собраний.

Нет, почему «Михаил» этот выскочил здесь!

— «Я его ненавижу», — повторил Мережковский и выпучил темные, коричневатые губы; но блеск обведенных, зеленых, холодных, огромных пустых его глаз — не пугал: ведь Афанасий Иванович дразнился, откушавши рыжиков, перед Пульхерией Ивановной: саблю нацепит и в гусары пойдет.

О, синица не раз поджигала моря, закрывала даже Мариинский театр 9 января; и пугался: де полиция явится! Так же она одно время старалась в Париже привлечь к себе внимание Жореса **, пугаясь Жореса, привлекала к изданию сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан; въехала она благополучно в Россию и забрасывала правительство из окон квартиры на Сергиевской градом бомб, но — словесных.

— «Нет, вы — не общественник! А революция — есть ипостась».

— «Как, четвертая?»

От подлинной революции улепетнула: в Париж.

В тот же вечер, не зная синичьих свойств этих, и я содрогался рыканию: за... «Михаила» несчастного.

После дружили они...

Кто-то, помнится, тщился высказать что-то: про чьи-то стихи (чтобы — «ярость» погасла); став пасмурным «бляшкой», Мережковский похаживал по ковру, в карих штанишках, руки закинув за спину, как палка, прямой: двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек, пометался вдоль коврика из синей тени — на ламповый золотистый луч; и из луча — в тень, бросал блеск серых, огромных, но пустых своих глаз; вдруг он осклабился:

— «Розанов просто в восторге от песни». И — маленькой ножкой такт отбивая, прочел неожиданно он:

* Позднее Михаил, став епископом, дружил с Мережковским, порвал с православием и перешел в старообрядчество.

** Мне по странной случайности судьбы пришлось знакомить Мережковских с Жоресом. Это было в Париже: в 1907 году.

Фонарики-сударики горят себе, горят;
Что видели, что слышали — о том не говорят.

И на нас пометался глазами: «Что?.. Страшно?..»

И сел; и сидел, нам показывал коричневые губы: пугался фонариков!

Думалось: что это продувает его? И припомнились вновь сквозняки Петербурга, дым, изморозь, самые эти «фонарики»: из-за Невы; в рое чиновников тоже чиновник — от церковочки собственной. Победоносцев синода, в котором сидели: Философов, Антон Карташев, Тата, Ната и Зина, — таким был в действительности Мережковский.

— «Аскетом — веригами уgomонить свои плоти пудовые, — свесилась слабая кисть, зажимавшая дамскими пальчиками темно-карее тело сигары с дымком сладковатым, как запах корицы, — плоть наша, — схватился за ручку от кресла, чтобы не взлететь в ветре голоса, — точно пушинки».

И стал арлекином, беззвучно хохочущим: видно, опять нака- тило.

— «Да тише ты, Дмитрий!»

Он тут же ослаб, ставши маленькой бляшкой.

Я же думал: «Какой неприятный!»

Мне все это — с места в карьер; и я обалдел от бессмысленных фраз (потому что даже не знал я начала беседы), от блеска лорнеточного Зинаиды Гиппиус, от растера хозяев, который во мне отозвался двойким растером: описываю так, как виделось, воспринималось; а виделось, воспринималось — абракадаброю.

Но тут Гиппиус, прерывая тяжкое сиденье, встала, моргая ресницами, желтыми, брысами, личика точно кривого; за ней встал Мережковский, — удаленький и неприятный такой; очевидно, его «дьяволица» * водила на розовой ленточке при исполнении миссии очаровать сатану, чтобы в нужный миг он, спущенный с розовой ленточки, начал откалывать скоки и брыки в набитом «чертями» театре вселенной.

— «Пора и честь знать!»

Чета в сопровождении хозяйки — прошла в переднюю; чер- ный дьявол, Валерий, — за ними.

М. С. Соловьев, нос повеся, в дымках нас оглядывал: с юмором вышмыгнула из передней О. М.; подняла на меня напряжен- ные очи:

— «Что?»

Губы дрожали.

* «Белая дьяволица» — выражение из романа Мережковского.

— «Сомнения нет никакого», — сказал Соловьев, стряхнув пепел в массивную пепельницу; и пошел открыть форточку: выветрить запах сигары.

ПРОФЕССОРА, ДЕКАДЕНТЫ

А на другой день Д. С. Мережковский читал в Психологическом обществе, в зале правления университета, которая окнами полуовальной стены закругляется на Моховую; в этой комнате я отсидел год назад реферат «Математика и научно-философское мировоззрение»; странно мне было увидеть в почтенном сем месте прически а-ля Боттичелли среди роя седин и мастило лоснящихся лысин; вот — старый Лопатин, Лев, князь Сергей Трубецкой; а вот — быстрый Рачинский, угрюмый Бугаев; вот — канцлер традиций, весь седенький: доктор Петровский; вот — окаменелость: профессор Огнев; как, как, — Иловайский? Матрона багровая загородила его: не уверен; и тут же — как странно их видеть: Сергей Поляков, Балтрушайтис и Брюсов; и юноши дерзкого вида среди тихих магистриков, просто студентов, при профессорах.

В. Я. Брюсов, взяв под руку, меня ведет к сестре своей, Надежде Яковлевне; она пырскает молодо глазом; маленькая, большелобая, сухо-живая; она — точно ящерка; рядом с нею я сел; она — шепчет мне:

— «Скажите, а кто этот свирепого вида профессор?»

— «Отец!»

— «Ах!» — сконфуженно вспыхивает.

Мой отец — оппонент неизменный — сутуло засел за свирепые торчи усов; и горбатую грудью сорочки отчаянно щелкает в споре, потягивает, как большой цепной псище.

В дверях, — точно палочка: черная талия Зинаиды Гиппиус; сыплется в лысины острый лорнеточный блеск; обалдел входящий Мережковский, проваливаясь у нее за плечами и выглядывая из-за плечей и хлопая пусто-сквозными глазами; он ей — по плечо; князь Сергей Трубецкой приближается к ним; рядом с «крошкой»-писателем кажется как на ходулях: худой, сухой, длинный; с верблюжьей, протянутой шеей, ведет Мережковского; вот уже у стола они; вот Мережковский стоит под микиткой его, подпирая ручонку в бочок; Трубецкой, опустив волосатые длинные руки, с надменством согнулся под ухо; и что-то твердит, объясняя: он здесь председательствует; вот уж все сели; про-

фессора губами жуют, протягиваясь за бумагой, за карандашами; Лопатин пропятился из-за плеча под зеленым сукном, точно леший из чащи, мотаясь заранее злыми глазенками и выдаваясь губой, — красной, нижней: почти на вершок из усов; и над головой, точно скифское идолице, каменеет безруко профессор Огнев; что за достойная мумия, великолепная и седо-серая, выщербленная в спинке кресла? Владимир Иваныч Герье.

Но — звонок; Мережковский, посаженный в центр, ниже всех, как мертвец, потемневший от всосов почти до скул зарастающих щек, с перепугу картаво завякал коленчатую загогулиной фразы, составленной из друг друга пронизывающих придаточных лишь предложений, весьма нарумяненных и набеленных: кричащей метафорой; и даже я за него потрясен: можно ль, идя сюда, приготовить такую штуковину? Рукопись, верно, — для «Мира искусства»; расписанная киноарьями риторических великолепий, пленила бы она «дидаскалоса» времен Юлиана отсутствием понятий; и — букетом метафор; одни импрессию: второе пришествие-де уже близко (у старцев подпрыгнули плечи, подпрыгнули даже очки на носсах); наша интеллигенция-де своего «да» не имеет еще (старцы прянули стадом седастых козлов); «плоть»-де Толстого — свята («хе-хе-хе» — и шепот анекдотов про Софью Андреевну седыми усами под уши: друг другу); а бледный «барашек», глаза уронив в свою рукопись, бледно оскалась с искусственным рыком, под «левика», чуть ли не плача, не может все кончить коленчатой фразы; наконец — кончил; и хлопает оком: на матрону багровую; эта матрона — опаснее мужа! Синклит закусивших губы строчит возраженья свои: «контрадикцию» или — «петицию»*; превосходен стиль реферата, но им красоваться в сем месте — Рафаэля подставить: под гиппопотамову морду; и — фырк; мне, ценителю стиля, и жутко и грустно: все ж — жалкая схемочка! И гимназист не осмелится: ей разразиться; и все мы — я, В. Брюсов, мадам Образцова, мясистая дама-модерн, в перерыве не говорим о случившемся.

Мережковский среди гробового молчания, отойдя к жене, лишь для вида — ручку свою под бочок: всеми брошенный, — силится он повеселеть; а кругом раздается:

— «Вы поняли?»

— «Нет».

— «Я — ни слова!»

Сергей Трубецкой переносит головку над всеми седидами, ею вертя, как верблюд средь пустыни, ища оппонентов: их — нет;

* Термины логических ошибок.

никому не охотно запретить о «собаке», когда, может быть, она — «лев»; загрызение — тоже реклама; и кроме всего: бить лежачего, выписав из Петербурга его, — просто даже — смешно: Мережковским подвел Трубецкого М. С. Соловьев, Трубецкой — подвел общество; этот скандал заминаем молчанием (старцы горазды в искусстве замина); о главном, конечно, ни слова; а о мелочах — можно.

И выпускают отца; он — смелее; не спец в философии он; он ценитель романов Д. С.; уцепившись за замечанье о том, что у интеллигенции есть только «нет», а не «да», прибодрясь, точно на коня, он сияет, рукой, головою показывая перед собою висящие в воздухе «да»: пункт, подпункт, — довод «а», довод «b», довод «с»; и окидывает нас довольными глазками; он — убедит Мережковского! Тот только хлопает оком, не слушая, видно, и не понимая: его нагота все ж любезно прикрыта отцом, ничего не понявшим; и вот Мережковский, осклабясь, рыкает отцу, отца не поняв: де отцу, убежденному позитивисту (вздор!), материалисту (вздор!), вовсе не виден мир нуменов (нумен — понятие; видеть нельзя его!); мой же отец, ничего не поняв в новой ерунде, где и Кант видит нумены, где и Мошотт смешан с Миллем, ему не перечит, поглаживая бороду и с любопытством разглядывая сей курьез, поднесший белиберду эту; совершив свою миссию, отец успокоился.

Далее — хуже: внезапно восстал над зеленым столом сам Владимир Иваныч Герье, как мертвец «Страшной мести» из гроба; брезгливый, прямой, оскорбленный и бледный — пускается плакать в свою седоватую бороду, перечисляя все промахи против истории в сей «меледе», именуемой странно — «Научный доклад»! Как Рамзес, из стеклянного гроба глядящий в Булакском музее, поплакав в свою седоватую бороду, он опускается в свой саркофаг: умирает на тризне печальной; вскочил, ставя руки костяшками длинных своих волосатых пальцев на стол, князь Сергей Трубецкой (силуэтом — верблюду, фасом — пес); начинает с картавым надменством, с убийственным, — с княжеским, — сухо цедить:

— «Вы сказали, а... сказано тут: между тем...»

Что «белиберда» — князь не сказал; но движение плечей, поворот головы, то к Герье, то к Лопатину, явно кричали:

«Вы видите — что?»

И Лопатин, взусатясь, запрыгал овечьими глазками; и с перетером ручончек, маленьких, точно у девочки, что-то рокочет; и бороду старого лешего тычет под чье-то ушное отверстие; и слышится:

— «Хо!..»

Он, как мне потом передали, все кому-то шептал, тыча бороду в сторону Гиппиус:

— «Хо-хо... хорошенькая!..»

А выступать наотрез отказался: «князь» — малый ребенок, что выступил; старый леший Лопатин себя не унизит до спора; вместе с него встал чернобородый какой-то; про что-то свое говорил.

— «Кто?»

— «Шарапов, Сергей!»

Издавал журнал «Пахарь»; последняя жердь от традиций Самарина.

Был-таки, был Иловайский, развалина дряхлая, или блондин в парике (кудерьками, колечками); он, говорят, щелкал только мазурками по паркетам в те годы, впав в детство, — на журфиксах своих, а не «Историями» — древней, средней и новой; и тоже престранный листок издавал: под названием «Кремль».

Все!

Писатель стоял, окруженный «своими», и хлопал глазами растерянно, отколовши скоки и брыки под черной вселенной Коперника, — не перед этими старцами; о, о, — багровые ужасы пучились в шеях багрового вида матрон; и как свеклы всходили у них на щеках; реферат — не провал, а — похуже; стилистически статья бы прекрасна была, — напечатай ее в декадентском журнале; только чтение ее в университете — нелепость во всех отношениях; идя в это общество, он бы мог фиговый вывесить листик: понятие; хоть бы для виду прикрыл неприлично пропущенную напоказ, налитую соками метафору; мог не читать — рассказать языком, всем понятным; читать же стилистику этого рода — романсик «Уймитесь, волнения страсти» пропеть, чтобы страсть разбудить в груди плаксы Герье, вынимая ее из постели повесткой: «Научный доклад!»

О, на вечер дуэтов (сопрано — Оленина-д'Альгейм, баритон — Мережковский) Герье бы охотно пошел; но не тащат д'Альгейм — в зал правления университета.

И было обидно.

— «Ведь вот недотяпа!»

И давнишнее неприятное впечатление от Мережковского, злого и хмурого, смылось другим:

«Прост до ужаса, коли полез, как куренок, во рты пожирал схоластических тонкостей!»

И пробудилась симпатия: сквозь антипатию.

Утром узнал продолжение вечера: от Соловьева, М. С.: «старцы», общий конфуз обсудив, порешили забыть реферат, чтобы

как романиста «honoris causa» Д. С. предложить в члены Общества; даже они — захотели: поужинать с ним.

Соловьев фыркнул в руки, — из тальмы:

— «Ну вечер же... Неописуемое... Вы и представить не можете; уж и не знаю, как вылетел с ужина я, не увидав конца!»

— «Что же было?»

М. С. принялся мне описывать в лицах: я передаю итог слов.

Были: князь Трубецкой, Лев Лопатин, Рачинский, отец, кто еще — не упомянул; Д. С. Мережковский с своей стороны пригласил: В. Я. Брюсова и «скорпионов»; на ужин явился поклонник писателя, Скрябин; едва они сели за стол, начались инциденты: сперва — с Трубецким; он, сев рядом с писателем, со снисходительно-непереносным, сухим любопытством пустился оцупывать «зверя», и — слышалось:

— «Вы говорите, а...»

Д. Мережковский, «простая душа», тут же пойманный в сеть паука философского, мухой подергавшись, — бацнул в лицо Трубецкому, доверчиво склабясь, как будто ему собираясь поведать приятную новость:

— «Вам, как человеку вчерашнего дня, не дано понимать это!»

— «Как?.. Но позвольте, — пришел в ярость “князь”, — на каком основании? Мы одного ж поколенья с вами!»

Д. С., вдруг расклабясь, резиновой дугою на Брюсова, руки бросая к нему, как ребенок, просящийся на руки, с легкостью, уподобляясь пушинке, взвешиваемой в воздух, забыв, что в его ж построении Брюсов — труха, им сжигаемая для пожара вселенной, с восторгом прорывал:

— «Вот, вот — кто о будущем!»

Сказано; с воплем поставлено старцам под нос: старцы побагровели, а «князь» стал зеленый, увидев не фигу под носом своим — декадента: с таким мефистофельским профилем!

Он был сражен: «декадента» просил читать; и случился скандал номер два, когда Брюсов поднялся: и — руки по швам — с дикой нежностью проворковал:

Приходи путем знакомым
Разломать тяжелым ломом
Склепа кованую дверь:
Смерти таинство — проверь.

Мертвеца изнасиловав (таков сюжет стихотворения), сел, с невиннейшим видом потупив глаза.

Чувство, всех задушившее, — было ужасно: Лопатин обдал своим шипом, как паром, пускаемым паровиком на дрожащий, взволнованный стол:

— «Он — бездарность махровая!»

Из тишины разорвался надтреснутый вывизг отца:

— «За такие деяния — знаете что? Да — Сибирь-с!»

В пику Брюсову, тут же отец заявил, что и он — стихи пишет: да-с, да-с! В пику Брюсову — с ревом восторга просили отца: прочитать; в пику Брюсову — с ревом восторга ему выражали восторги; отец раздовольный (поэта за пояс заткнул), подобрев, стал громчайше описывать шутки из жизни чертей (из программы своих каламбуров); тут каждый принялся кричать про свое. Лев Лопатин же дернул за Гиппиус, как холостяк — за хорошенькой горничной.

— «Что было дальше, — не знаю, — закончил М. С. Соловьев, — я сбежал!»

Вечер — разъединил еще более: и Мережковского забаллотировали; о Гиппиус вспыхнули рои легенд; репутация Брюсова как скандалиста ствердилась: в гранит.

Числа эдак девятого я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус; и — поразился иной ее статью; она, точно чувствуя, что не понравилась, с женским инстинктом понравиться, переродилась; и думал:

«Простая, немного шутливая умница; где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу?»

Посетительница, в черной юбке и в простенькой кофточке (белая с черною клеткой), с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с лорнеткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто; и розовый цвет лица, — не напудр, — выступал на щеках; улыбалась живо, стараясь понравиться; и, вероятно в угоду хозяйке, была со мной ласкова; даже: держалась ровней, как конфузливая гимназистка из дальней провинции, но много читавшая, думавшая где-то в дальнем углу; и теперь, «своих» встретив, делилась умом и живой наблюдательностью; такой *стиль* был больше к лицу ей, чем стиль «*сатанессы*». Поздней, разглядевши З. Н., постоянно наталкивался на этот другой ее облик: облик робевшей гимназистки.

И Соловьева оттаяла; хмурь, — та, с которой молчала о Гиппиус, точно рассеялась; но вскоре — усилилась хмурь.

Я прочел поэтессе стихи А. А. Блока, еще неизвестного ей; З. Н. губы скривила, сказав что-то вроде:

— «Как можно увлечься таким декадентством? Писать так стихи — старомодно; туманы и прочая добролюбовщина * — давно изжиты».

На стихи Блока она реагировала совершенно наоборот: через года три; и произошли неприятности с С. Н. Булгаковым, забравшим статью.

Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке **.

Мы просили З. Н. прочитать нам стихи; и прочла:

Единый раз вскипает пеной,
И разбивается волна:
Не может сердце жить изменой,
Любовь — одна: как жизнь — одна!

В ее чтении звучала интимность; читала же — тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот, — уводя их в глубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где — задумчиво, строго.

То все поразило меня; провожал я в переднюю Гиппиус, точно сестру, — но не смел в том признаться себе, чтобы не изменить своим «принципам»; и, держа шубу, я думал: она исчезает во мглу неизвестности; будут оттуда бить слухи нелепые о «дьяволице», которая, нет, — не пленяла; расположила же — розовая и робешшая «девочка».

С этой поры я внимательно вчитываюсь в ее строчки; и после А. Блока сильно на них реагирую: символистами умалена роль поэзии Гиппиус: для начала века; разумею не идеологию, а стихотворную технику; ведь многие размеры Блока эпохи «Нечаянной радости» ведут происхождение от ранних стихов Гиппиус.

Я ПОЛОНЕН

Мережковские тут же уехали; у Соловьевых молчали о них; я считал себя в стане врагов их; но я отклонял обвиненья в раденьях.

И вот: сформулировав в тезисах свое «нет» Мережковскому, тезисы эти прочел Соловьевым; они согласились с ними; тогда я

* Она разумела стихи Александра Добролюбова, декадента, ставшего главарем секты.

** Напоминаю: в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало еще: был юноша «Саша Блок», родственник моих друзей; и его-то мы, как еще никому не известного поэта, и пропагандировали, кому могли.

решил превратить их в письмо к Мережковскому: пусть он ответит: в печати; под ним подписался: «студент»; и — отправил.

Через несколько дней присылают за мной; лечу вниз, меня встретила Ольга Михайловна:

— «Письмо — от Гиппиус!»

Гиппиус просит О. М. раскрыть ей «псевдоним» — письма, ими полученного: моего: автор-де из кружка Соловьевых, — и, конечно же, «Боря Бугаев», ругающий-де их в Москве (Поликсена, наверно, насплетничала); письмо — первый-де ответ на вопрос, ими ставимый обществу: Д. С. — взволнован-де; Розанов-де счел письмо «гениальным»; они же не выскажутся: до свидания с автором; оно должно состояться на лекции: Д. С. читает в Москве; пусть же автор зайдет после лекции: в лекторскую.

Был я взволнован согласием на возражение: в сущности, я написал на жаргоне тогдашних «Симфоний» моих, не подозревая, что именно этот жаргон и понравится, а возражение, написанное на «жаргоне», проглотится; так что: меня пугал разговор; Соловьева его представляла готовящимся ратоборством «Зигфрида» с ужасной змеей, в результате которого «Боренькой-Зигфридом» глава змеи — будет стерта; так кончится спор, начатый Соловьевым с Василием Розановым; Мережковский, иль — «детище» Розанова, будет-де «Борей», их «детищем», — бит.

В этой гипертрофии меня изживалась болезнь, подступающая уже к Ольге Михайловне; «Зигфридом» не ощущал я себя; Мережковского не ощущал я «змеей»; фальшивейшее положение не сознавалось Ольгой Михайловной, которая мое возражение поворачивала на возражение от... Владимира Соловьева; тут сказывалась меня все более мучившая, скажу прямо, неподготовленность Соловьевых понимать меня в наиболее одушевлявших стремлениях; уже естественно-научные интересы находили мало в них отклика; скоро потом: выявленные несогласия с Соловьевыми и оговорки, делаемые Владимиру Соловьеву, воспринимали они как оговорки «от Мережковского»; и никто уже ничего не хотел понимать, когда я проповедовал четвероякий анализ явления, — каждого: как простой данности факта иль тезы, как выпещленного из него отвлечения или понятия, являющего с фактом двоицу, как идентичности факта — понятию, понятия факту (триадность) и как, наконец, проницания факта понятием, факт перестраивающим.

Я в первом разгляде выглядел студентом-естественником, без тенденции к механицизму; во втором разгляде я определял себя как методолога-формалиста; в третьем приеме подхода к

фактам я выглядел для себя самого синтетиком, но в трех этих гранях я чувствовал себя тесно; в четвертой и был символистом*.

Моя авантюра с письмом к Мережковскому до такой степени переволновала меня, что я, разумеется, перенес ее и в химическую лабораторию, где работал я и два будущие «аргонавта». Петровский, Печковский и я, то и дело бросая приборы, друг к другу шли и, перекинув прожженные полотенца через плечо, обсуждали с волнением мои тезисы возражения Мережковскому; удивлялся шнырявший Крапивин (вероятно, рос счет битых склянок); юморист же С. Л. Иванов являлся, болтая заткнутою пальцем колбою; и вдруг, отомкнувши ее, совал ее в нос мне:

— «Чем пахнет?»

— «Сероводородом».

— «Ага!» — угрожающе он говорил; и шел прочь. Этот жест предостережения значил: «Смотри — зарвешься»; но я, не внимая, кипел; опыт молодости и крик доказыванья, с резолюцией на него все равно чьей, — Мережковского, отца, Соловьевых, Петровского, С. Л. Иванова:

— «Мало понятно!»

Малопонятность — не только от перегруженности моего словаря терминами, но и от постоянного стремления, изучив технический жаргон того, что стояло в поле внимания, упражняться в нем, независимо от согласия или несогласия с мыслью; я устраивал семинарии по изучаемому предмету, выбирая слушателей, чтобы говорить не им, а себе самому.

Сознавал: происходит несносная путаница, в результате которой возникнет лишь большая: в случае близости, как и вражды с Мережковскими; это меня угнетало.

Доклад Мережковского, кажется «Гоголь», прочитан был им в феврале 902; я с чувством «быть худу» отправился на него с А. С. Петровским; Соловьева, взволнованная, прилетела в «Славянский базар» к Мережковским; присутствовавший при свидании Брюсов записывает, что «пришла... Соловьева»; «она была немного больна и напала на Дм. Серг. яростно: “Вы притворяетесь, что вам есть еще что-то сказать. Но вам сказать нечего. У кого действительно болит, тот не станет говорить так много”»**

Она, пригласив Мережковских, С. А. Полякова, Ю. К. Балтушайтиса, Брюсова, — вдруг отменила свиданье, сказавшись

* Напоминаю: речь идет о прошлом, которому давность 31 год; я привожу эти мысли как образец витиеватости моего тогдашнего жаргона.

** Брюсов. Дневники. С. 118.

больной; это было — разрывом: с Мережковским; не высидев лекции, она — уехала; передавали, что Гипшиус, сидя лицом к многочисленной аудитории (амфитеатром), с ботинок сияющей пряжкой своею лучи наводила: на лбы и носы.

Мы с Петровским сидели в четвертом или пятом ряду Исторического музея, волнуясь мне предстоящим заходом к Д. С. Мережковскому: в лекторскую; вижу: Брюсов ведет на меня невысокого, одутловатого, голубоглазого, бледного очень блондина, лет средних:

— «Борис Николаевич, — прошу покорнейше вечером, завтра — ко мне: Мережковские будут... Позвольте, — он мне показал на блондина, — редактор журнала “Новый путь” Петр Петрович...»

Блондин перебил его:

— «Перцов», — и руку мне подал с приветливо-добрым нахмуром, сказав глуховатым, невнятно лопочущим голосом:

— «Просьба к вам: вы разрешите печатать отрывки письма к Мережковскому, — вашего, в нашем журнале... Об этом потом перемолвимся... Дмитрий Сергеич вас ждет: в перерыве...»

Петровский заметил ехидно:

— «Попались!»

— «Ох — в пятках душа!»

— «Коли груздем назвались, пожалуйста в кузов».

Я лекции так и не выслушал; сердце стучало: ну, как я войду, что скажу?

Перерыв: плески аплодисментов; и я потащился, как на эшафот, переталкиваясь средь плечей и локтей; еле лекторскую отыскал; стал под дверь, войти не решаясь; и ждал: кто пройдет, чтоб за ним проюркнуть; никого; наконец — я решился: толкнулся; дверь с легкостью необычайной распахнулась — в лоб Мережковскому.

— «Зина, вот он», — раздалось.

Мережковский сидел, очень маленький, ноги расставив, на стуле, платком отирая испарину, другую руку повесил на спинку; свисала изящная, маленькая кисть руки, точно дамская.

Перегибаясь вперед, точно жердь помавающая, ручку слабую не дотянул, не вставая со стула, — такой изможденный и точно расплавленный лекцией; множество мелких морщинок изрезали кожу лица.

— «Вы после лекции к нам заезжайте, в “Славянский базар”; будут наши друзья; о дальнейшем условимся; будете завтра у Брюсова?»

— «Буду».

Испуганно стал отговариваться:

— «Тут приятель мой...»

— «Вы приводите приятеля».

Бросив меня, Мережковский себя по коленке захлопал, уставился в Гиппиус; и ей кивком — на меня:

— «Зина, стыдно!.. Такой молодой он! А мы-то?»

Я же — стремглав: вон из лекторской.

— «Едете?» — я обратился к Петровскому, очень надеясь, что он не поедет (и — я).

— «Едем, едем!»

Предлог улизнуть — ускользал.

Вот и давка разъезда; Петровский, мой якорь спасения, — куда-то исчез; осенило:

«Не еду один!»

Подколесин сбежавший, — бежал разговора: ведь завтра же встречусь: на людях, у Брюсова!

А. С. Петровский, меня потерявши, поехал один; на другой день рассказывал об этом чае с каким-то Алехиным, бывшим сектантом: Д. С. с ним носился:

— «Жалели, что не было вас, удивлялись... Представьте-ка: Гиппиус мне протянула бокал, чтобы чокнуться: “За конец мира!” Ну, я ей ответил, что я отвергаю подобные тосты... И главное: я не взял денег, а подали счет».

— «Ну?»

— «Я занял у Брюсова».

Чувствовал, как поднимался во мне этот страх: разговор предстоял-таки: «Зигфрид», придуманный Ольгой Михайловной и аттестованный Розановым, ощутил себя «Боренькой» глупым.

И помню, как я должен был объяснить отцу, что у меня завязалось знакомство с Мережковским.

— «Я, Боренька, не понимаю, собственно говоря, — почему», — произнес он со страхом; и тут же себя оборвал и награнивал по столу пальцами:

— «Да-с... Писатель... Пишет... Ох-хо-с...»

И пошел от меня.

Со страхом отправился я к Брюсову.

Там произошел новый номер: Д. С. Мережковский — центр вечера; Брюсов и гости обстали его (из гостей помню Минцлову); он, ставши хмуриком, не отзывался; меня взявши под руку, к столу повел, рядом сел, не повертывая головы на меня; все исчезло — стол, Брюсов; в тумане — глаза из лорнетки: не Гиппиус — Минцловой! Влипла. Мы, сидя вполупорот, глядя в пере-

сечение прямых, произведенных от наших носов, ткнулись в точку расстеленной скатерти.

Д. С. забрасывал роем вопросов; и после молчал; формулировал мне он мои же вопросы, придав им свой стиль, свою лепку, в которой силен был; но кружево мыслей моих, в его новой редакции, огрубевая, рождало рельеф; так он, перелепив мой вопрос в свой фасон, подавал свой ответ: на фасон его собственный; мысль оставалась, но смысл в ней менялся; и я ему ставил вторично вопросы: по-моему, — не по-его: разговор протекал в специальном жаргоне, которым владел, проштудировав Розанова и раскрасив его моей палитрой схем, моих красочных уподоблений; Д. С. же внимал с напряжением; как сел за стол, так остался, не переменив своей позы: в полуобороте видел ухо, растительность (почти до скул), нос, меня поразивший размерами, странной неправильностью, вздерг затылка, являющего продолжение спины, зализь жидкой прически, пробор очень чистенький; глаз я не видел, вперяся в пересечение перпендикуляров от наших носов — в кусок скатерти; точно играли в невидимые шахматы: сделавши ход, ожидали подолгу ответного хода, обдумывая положение: невидных фигурочек.

Так протекал разговор; он — единственный в своем роде; в нем Мережковский прослушал меня, поняв порами кожи, а не разумением, явивши искусство больших игроков, ставя мат мне в три хода своим доказательством на специальном наречии, мне отвечающем: все возраженья мои — диалектика мысли, его же де!

Я еще не знал обычного его приема спорить: там именно, где вы с ним не согласны, он подменяет вопрос о согласии или несогласии вопросом о действии и созерцании:

— «Может быть, вы и правы, а мы не правы, но вы — в созерцании, а мы — убогие, слабые, хилые — в действии; вы — богаты, мы — бедны, вы — сильны, мы — слабы».

Стоишь оболваненный: слушаешь:

— «Но в немощи нашей создается наша сила; мы — вместе, а вы — одни, мы ничего не знаем, а вы все знаете, мы готовы даже отказаться от своих мыслей, а вы — непреклонны».

Сконфуженный, начинаешь отнекиваться:

— «Помилуйте, я и сам отнекиваюсь».

И тут, обойдя, поднимает он рык:

— «Так идите, учите нас».

— «Просто не знаешь, что делать, — юморизировал позднее Бердяев: — они обволакивают!»

Так и меня обволокло-таки в тот незапамятный вечер. Да, да, — «партию» я проиграл: этот проигрыш — плен мой в годах; плен — в том, что я мог бы де их переучивать.

Было странно сиденье писателя маленького, с длинным носом, вперенного в скатерть, с юнцом, тоже в скатерть вперенным; сей стиль был несвойственен здесь; неприлично писателю на званом вечере ставить гостям хмурый профиль свой; и неприлично юнцу непрославленному («Что ты, Боренька?») так отнимать «имени-того» гостя у общества; я упустил простой факт, что я — притча уже «во языцех»:

— «Смотрите-ка: Брюсов ухаживает!»

— «Мережковский лишь с ним говорит!» Через два с половиной месяца вышла «Симфония», и объяснилось — все.

Разговор прервал Брюсов, косившийся явно; он высадил из разговора меня, подав хмурого гостя гостям; зачитали стихи: З. Н. Гиппиус и Балтрушайтис; прочел В. Я. Брюсов впервые:

И лестница все круче,
Все круче, круче всход!

Мережковский читать свое отказался: прочел Тютчева; вдруг он осклабился строчкой последней, со странной любезностью выгнулся, схватываясь за коленку; строка прозвучала по-новому от потрясающей простоты интонации:

Вот почему нам ночь страшна!

— «А?» — он рыкнул, приглашая дивиться: осклабом лица. Между прочим: хвалил стихи Брюсова.

Мы с ним условились: завтра приду я в «Славянский базар», чтобы договориться: втроем; для других они будут невидимы.

Не возвращался — летел как на крыльях, ликуя, что вышел союз с Мережковским, и не понимая, что партия — бита, что — мат и что — пленник на годы! Смущало: что скажет О. М.?

На другой день я к ней забегал; отправляла меня к Мережковским все с тем же упорством; зачем этот аллегорический меч?

Я же шел договариваться, а не биться.

Но точно меня опоясала им.

ХМУРЫЕ ЛЮДИ

Результат договора ударил как громом: О. М. бы сказала: «пакт с дьяволом!»

Комната в «Славянском базаре» — в кирпично-коричневом тоне: в таком, как обертки всех книг Мережковского; мебель — коричневая; Мережковский связался с коричневым цветом — обой, пиджака, бороды и оберток томов; фон квартиры, что в доме Мурузи, — такой же; обои, и мебель, и шторы — вплоть до атмосферы, которую распространяла она; и та — коричневая; очень часто я в ней ощущал сладковатые припахи, точно корицы, подобные запахам пряных бумажек; и припах корицы мне нос щекотал; я сразу же обратил внимание на специфическую атмосферу, поздней столь известную мне; атмосфера висела, как облако дыма курительного. Куда б ни являлись они, — возникала: в Петербурге, в «Славянском базаре», в Париже и в Суйде, где жили на даче они и где я у них был.

А на уличном свете она становилась точно туман, и лицо Мережковского казалось в тумане зеленым; вне дома, теряясь, терял он: подозревал, что шушукаются, что обстание всякое — враждебно ему; вне дома он умел иногда брать приступом целые аудитории, вдруг разоравшись; а в гостях он просто боялся и иногда говорил совершенные глупости; дома — он в туфельках шмякал; и, точно цветок на заре, раскрывался в курительном облаке, — под абажуриком; а вот выйдет, бывало, на Невский; смотришь — не тот: зеленее зеленого; глаза — в провалах; как тени от облака, злого, холодного, — перебегали по нем; в квартире же повиснувшая атмосфера его точно ширилась; делалась — золотокарей, немного пожухлой, немного потухшею.

Пахло корицами.

В гостях маленький, постно-сухой человечек с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз, — многим он напоминал проходимца.

И даже: казался он глуп.

Лишь в присутствии близких импрессия эта менялась: и то, что казалось извне подозрительным, выглядело как пленительное; Мережковский казался своим.

Отдались, — все менялось!

Поздней я не верил — ни в хмурь, ни в пленительность; морок пустой; глупо дуться на то, что из пальца, насыщенного электричеством, искрой уколёт: булавок тут нет никаких!

«Электричество» — тот особый, пленяющий с непривычки «шарм», которым они обволакивали того, кто им вдруг начинал казаться нужным; и тут — невнимательные — они делались — само внимание; это внимание, соединение силы (муж, жена, Философов), — они направляли на старцев, дам, девочек, юношей и старушек; кого-кого в свое время не пленили они на час:

старика-миллионера Хлудова, Бердяева, Волжского, еще гимназисточку, Мариэтту Шагинян, Борю Бугаева, анархиста Александрова; ведь пленили же... Савинкова!

Многочратно встречался с людьми, пережившими фазы колючек и шарма.

Д. С. и З. Н., точно кружковые трубки из хладных стекляшек, простым поворотом каких-то винтов начинали в интимной среде точно фосфоресцировать.

Мне Мережковский, пленяющий, напоминает портрет Леонардо осклабом смешков, пуком глаз, лаской жестов, каких-то двузначных, картавыми рыками; сидя в коричневом кресле, полуразвалясь на него, упав корпусом в локоть, как бы казался порой прозрачным лучами осеннего, мглистого солнца и белою женщиной с ярко-сапфировым глазом, метаемым как из-за красных лисичьих хвостов: волос; так чету Мережковских сработал бы, думаю я, Леонардо да Винчи, назвав свой портрет «Улов рыбы».

Опять-таки — Бердяев был прав:

— «Спорить нельзя: протестуете, — Дмитрий Сергеич зарывает на вас: “Прекрасно, вы не критикуйте, а нам помогайте: вы — наш, а мы — ваши!” Оказываешься с своим “против” — внутри кружковой атмосферы их».

И это же высказал раз В. В. Розанов, зайдя в гостиную к ним: — «У вас духом особым несет: что вы делаете, оставаясь одни?»

Разумел — то же самое: стиль коллективного шарма, в который З. Н. приносила ум и хитрую ласку; Д. С. приносил свою хмурь, тень Рембрандта, напуг, выпук глаз, всосы щек, что-то постное в поступи.

«Рыбе», ловимой в сетях рыже-красных волос, из которых сиял этот «сестринский» вид, говорящий о том, «чего нет», — начинало казаться: в сетях атмосферы укрыто, что завтра откроется!

Не открывалось. Мелочные люди замыслили общину, в недрах которой зажжется огонь: всей вселенной!

Не вспыхивал!

И завлеченная «рыба», — Антон Карташев, Философов, — за полным отсутствием дела «четой» отсылались в газеты: устраивать вспыхи бумаги.

Не вспыхивала публицистика слабая!..

Бедная Ольга Михайловна, перепугавшаяся там каких-то радений: пристойная община! Бедный Д. С., сколько шепотов он возбуждал! Не намерен его защищать: в светской жизни они были мелочны; лучшее приберегали для общины.

Участь «своих», посылаемых за неимением религиозного дела в газеты, — остаться в газете; и даже в газетной общественности: позабыть свою «миссию».

На атмосферу ловился и я с того мига, как дверь отворил в номер, занятый ими в «Славянском базаре»: в сквозном рыже-красном луче из окна, озарявшем коричнево-серое кресло и карюю пару писателя, маленького, раздалось из-за взрыва сигарного дыма рыканье картовое.

Пахло корицами.

Стиль всей беседы:

— «Вы — наши, мы — ваши!»

Расплыв черт лица, зараставшего почти до скул волосами, белейшие зубы, оскаленные из коричнево-красных разорванных губ, эти легкие, плавные, точно тигриные жесты, с которыми Д. С. усаживал, рядом садясь, — взволновали меня; в незакрытой двери — видел: Гиппиус тихо прошла белой талией, почти невидной в распущенных, золото-розовых космах: до пят; через пять минут вышла, сколов кое-как свои космы: дымок, восклицанья отрывистые:

— «Дмитрий, ты понимаешь его?»

После открылось уже, что сердца — в голове, что в груди вместо сердца — оскаленный череп, что в эти минуты они, как пылинки, — на ветре идей: ветер — северный, дующий с озера Ладожского, переверты пылей поднимающий; в выпри взлетов, остывали они столь же искренне, сколь закипали, чтоб жизнь прокрутить на холодных проспектах холодного города: преть, планы мыслить, — журналов, газет, — с Богучарскими, со Струве, Базаровыми, с Вильковысскими и даже... с Румановыми, точно с близкими; и рассыпать даже эти проекты: пылями проспектными.

Я же поверил, что я — полноправный, что я — нареченный Д. С. «младший брат», когда слушал:

— «Вы — близкий; мы вас оставляем здесь, как в стане врагов; верьте нам, не забудьте; не слушайте сплетен!»

В решительный миг под писателем кресло сломалось: он с креслом упал; поднимаясь, счищая с коленок соринки, осклабился, вспомнив, что так упал Розанов прямо под кафедрую Соловьева, читавшего «Три разговора».

Прощаясь, мы обнялись и условились: будем друг другу писать; я дал адрес химической лаборатории; было удобнее так.

Но, звонясь к Соловьевым (я дал обещанье О. М. рассказать о свидании), был не в себе еще, точно клочок атмосферы, как лег-

кий дымок папиросный, пристал к волосинкам тужурки, отвеваясь и дымясь вокруг меня.

Дверь открыла О. М.:

— «Ну, — и что?»

Но, увидев меня улыбающимся, только махнула; и — бросила:

— «Вижу: пропала Катюша!»

Какая такая?

Но, перевернувшись, О. М. пошла — прочь, ни о чем не спросив; я — поплелся домой.

ИЗ ТЕНИ В ТЕНЬ

Впечатлением от встречи с Мережковскими я ни с кем не делился, как тайной, и ждал их отклика из Петербурга;

и он появился; скоро швейцар мне подал в лабораторию темно-синий конверт; разрываю: в нем — красный конверт, его разрываю: в нем белый, с запискою, несколько слов: лишь — «ау» — в стан «врагов».

Началась оживленнейшая моя переписка с Зинаидою Гиппиус; изредка и Мережковский писал мне.

Оба звали меня в Петербург, но я не поехал уже: «Симфония» Андрея Белого вышла; я делал усилия, чтобы сохранить псевдоним; мать с отцом поехали в Питер: в конце апреля.

В начале мая вернувшись в Москву, мать спросила меня с удивлением:

— «Ты переписываешься с Мережковским? Зачем ты скрываешь?»

Кузен Арабажин, знакомый Барятинского, друг Яворской, сотрудник «Биржовки» и «Северного курьера», закрытого вскоре, явился к родителям и с удивлением им сообщил, что на днях, повстречавшись с Д. С. Мережковским, он слышал, как этот писатель хвалил в выражениях для Арабажина необъяснимых, — меня:

— «Понимаешь ли, дядя, — он читает вслух письма «Бориса» своим друзьям?»

Арабажин, поверхностный фельетонист, меня знавший как «Бореньку», спрашивал, в чем корень дружбы с «Борисом» салонных львов.

Мережковские портили мне разговоры с О. М.; я не мог уже слушать стиля ее рассуждений о Гиппиус; и мы прекратили бе-

седы на эти тяжелые для меня темы; в поджиге губы и во взгляде О. М. на меня установился между нами порог: до конца ее жизни.

И Брюсов весьма любопытничал. Весь тот период густо окрашен мне Мережковскими; куда ни придешь, — говорят о них; в лаборатории говорим о них; в студенческой чайной, бывало, соберемся: Петровский, Печковский, Владимиров, я, — тотчас же разговор поднимается о Мережковских: ведь тайну синих конвертов, подаваемых мне швейцаром лаборатории, мои друзья знали: бывало, Печковский спрашивает, взглянув на конверт:

— «От Гиппиус?»

С Гиппиус переписывались мы чуть ли не каждую неделю; а так как дома мать неизбежно спросила бы, кто это пишет мне (характерные очень конверты), то пришлось бы признаться, что я веду усиленную переписку с писателями, которые все же внушали тревогу отцу (боялся за сына); поэтому я и дал адрес лаборатории.

Брюсов тоже расспрашивал меня о Мережковских так, как будто я «спец» по ним; и делалось неприятно от этого назойливого любопытства; Мережковские ведь умели кружить головы людям; холодные «в себе», они могли казаться такими нежными; меня — захваливали они; я-де и замечательный, и новый; и «Симфония»-де моя — замечательная; было от чего потерять голову юноше, которого до сих пор жизнь держала скорее в черном теле.

Только О. М. Соловьева — мне ни звука о Мережковских; и вдруг:

— «Гиппиус — дьявол!»

И хотя я знал, что злость О. М. на Гиппиус — не идеология, а недомогание, я вскакивал и в совершенной ярости убегал. Через день О. М. прислала письмо: мириться.

Верен я был Михаилу Сергеевичу Соловьеву, когда я некогда встал: против Гиппиус и Мережковского; но, оставаясь верным своей переписке с З. Н., встал я самостно против О. М. Соловьевой; и это все выразилось: в автономно возникшей для меня квартире Владимировых, куда я стал чаще теперь убежать; и также — квартире Метнеров; на Соловьевых в одном (лишь в одном отношении) гляжу как на прошлое, уже законченное семилетие; во мне нудится новое, будущее именами, которые вместе — зенит и надир: Мережковские, Брюсов, уже обещающие мне блестящую литературную деятельность; Брюсов — толками о «Скорпионе», Д. С. Мережковский — зовами в проектируемый «Новый путь»; Брюсов мне в эти дни — новая литература; и — только; а путь с Мережковским — «не только» литература.

Ты пойми: мы — ни здесь, ни — тут.
 Наше дело — такое бездомное.
 Петухи — поют, поют...
 Но лицо небес еще темное.

Гиппиус.

«Только», «не только» — Москва, Петербург: и восьмерки, мной писанные, семилетье меж ними есть ужас, мне еще не видный в 1902 году; отход огорченный без ссоры от Брюсова, от Мережковского кончился бегством моим из Москвы, Петербурга, России: на Запад.

.....

Уже с 1902 года Брюсов втягивал меня в жизнь «скорпионовской» группы; З. Н. меж интимных строчек ознакомляла меня с петербургскою жизнью; весной сообщила, что был у них Блок и что он произвел впечатление (я ей завидовал); она звала меня в Петербург, чтобы я в настоящем общественном воздухе выветрил дух «Скорпиона» в себе (тут она сфантазировала: больше дух «анилина», которым несло в нашей лаборатории): не понимала она: «декаденты» — для меня лишь нота в октаве, лишь краска на спектре, октавой моею была не поэзия: была... культура!

З. Н. в письмах обещала меня познакомить не с «выродками», а с людьми «настоящими», «новыми»: думаю — с сестрами, Татой и Натой, с В. В. Розановым, с Философовым и с Карташевым; их друг, Философов, тогда раздваивался между «Миром искусства» и Мережковским, тащившим его в «Новый путь»: петербургская группа распалась на снобов художников и на писателей; в «Мире искусства» был дружеский отзыв о книге моей; скоро я стал сотрудником «Мира искусства»: вполне неожиданно.

Так было дело: открывалась выставка «Мира искусства» в Москве; посетитель всех выставок, был, разумеется, я и на выставке этой, пустой почти; тонные, с шиком одетые люди скользили бесшумно в коврах, меж полотнами Врубеля, Сомова, Бакста; все они были знакомы друг с другом; но я был чужой среди всех; выделялася великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева; я его по портрету узнал, по кокетливо взбитому коку волос с серебристою прядью на черной растительности и по розово, нагло безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу, — очень «морде», готовой пленительно маслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе виконта: закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку.

Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с министром; сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг — дерг, пе-

редерг, остывание: черт подери — Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей Павловной, с князем великим Владимиром — запанибрата): маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, шажочки, с шарком бесшумным ботиночек, лаковых. Что за жилет! Что за вязь и прокол изошренного галстука! Что за слепительный, как алебастр, еле видный манжет! Вид скотины, утонченной кистью К. Сомова, коль не артиста, прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и послезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный сегодняшний вкус, предстать: в собственном завтрашнем!

Пока разглядывал я изошренную эту концовку, впечатанную Лансере в послезавтрашний титульный лист, — мне далекую и неприятную, вдруг осенило меня: предложить ей статью свою: «Формы искусства»; и вот безо всяких сомнений, забывши о том, что я — невзрачный студент, подхожу к кругло выточенному «царедворчеству» (избаловали меня: думал, — мне и законы не писаны!).

Вскид серебристого кока, и поза: Нерон в черном смокинге над пламенеющим Римом, а может быть, — камер-лакей, закрывающий дверь во дворец?

Тем не менее я представляюсь:

— «Бугаев».

И тут наглый зажим пухловатой губы, передернувшись, сразу исчез, чтобы выявить стиль «анфана», скорей пухлогубого и пухлощекого ангела (стиль Барромини, семнадцатый век); и с изящностью мима, меняющего свои роли, — изгиб с перегибом ноги назад, с легкой глиссадою, как реверанс, с улыбкою слишком простой, слишком дружеской, он, показав мне Нерона, потом — купидона, изящнейше сделал церемониймейстерский жест *Луи Каторз*:

— «Ах, я счастлив! На днях еще много о вас говорили мы!»

И, как по залам дворца, открывая жезлом апартаменты «Мира искусства», которого мебели — Бакст, Лансере, Философов, взяв под руку, вел к молодому и чернобородому «барину» в строгом пенсне, в сюртуке длиннополом.

— «Ну вот, Александр Николаевич, — позвольте представить вам Белого: он!»

— «Бенуа», — поклонился с отлетом, с расклоном, с изгибом руки Бенуа и повел под полотнище Врубеля: «Фауст и Маргарита».

— «Смотрите, — взмахнул он рукою, — вот титан! Я горюю, что не оценил его в своей «Истории живописи», — он посвящал меня в краски.

Так я был введен в круг сотрудников; и — озирались: кто этот прескромного вида юнец, кого Дягилев и Бенуа мило водят по залам.

Вопрос о статье не решался; была принята: с полуслова:

— «Конечно, конечно, — скорей высылайте, чтобы поспеть с номером!»

С тех пор я стал получать письма Д. Философова с чисто редакторскими замечаниями, с просьбою слать, что хочу; так факт дружбы с Д. С. Мережковским мне составил уж имя среди группы художников «Мира искусства». <...>





В. БРЮСОВ

Д. С. Мережковский как поэт *

1

Трудно оценить и судить писателя, круг деятельности которого еще не завершен. Мы совершенно иначе относимся к «Вертеру», чем те, кто были современниками его первого появления и не знали, что Гете напишет две части «Фауста» и «Западно-Восточный Диван». Первые сочинения Ницше, его «Рождение Трагедии», или «Веселая Наука» получили совершенно новый смысл, после того, как прозвучали речи Заратустры. Фет, затеплив «Вечерние Огни», озарил и преобразил неожиданным и проникновенным светом свои юношеские подражания Гейне и Мюссе. Подобно этому, каждая новая книга Д. С. Мережковского объясняет нам, его современникам, предыдущие, каждая новая фаза его миропонимания расширяет, углубляет, осмысливает более ранние.

При беглом обзоре, Д. Мережковский кажется одним из самых непоследовательных писателей. В первом сборнике своих стихов (1888 г.) он — поэт толпы, ее молочных забот, печалей и радостей, певец милосердия, заступник униженных и оскорбленных. В «Новых Стихотворениях» (1895 г.) он — декадент, эстет, бодлерианец, поклонник Эдгара По, проповедник греха. В «Вечных Спутниках» (1899 г.) и «Юлиане Отступнике» (1899 г.) он — язычник, испытывающий, несмотря на все оговорки, какую-то непобедимую брезгливость к христианству, к галилейству. В исследовании о «Толстом и Достоевском» (1900—2 г.) и в эпосе о «Петре и Алексее» (1905 г.) он дает самую убедительную пропо-

* Прологомены к *предстоящему* Полному Собранию стихов Д. С. Мережковского.

ведь христианства, какая когда-либо была написана на русском языке. В своих позднейших произведениях он выступает уже с суровой критикой религии, остановившейся на Христе, на одном только Втором Лице, не проходящей *через, сквозь* него к Духу. Нет, кажется, такой точки зрения, на которой не стоял бы Мережковский, нет такого философского мировоззрения, которого бы он не защищал со страстностью и убежденностью.

Однажды Мережковский всенародно каялся в своих заблуждениях и словесно бичевал себя с аскетическим смирением. «Я теперь сознаю, — писал он тогда, — как близок был к Антихристу, какую страшную силу его притяжения испытал на себе, когда бредил о грядущем папе-кесаре, царе-священнике как предтече Христа-Грядущего. Но я благодарю Бога за то, что прошел этот соблазн до конца». Признание, конечно, соблазнительное для учеников Д. Мережковского. Учение начинается с веры, но как поверить в слово учителя, если он время от времени свои недавние убеждения объявляет соблазном? Невольно колеблешься, как же принимать его новую проповедь? А вдруг, еще через сколько-нибудь лет, и учение о вере «через» Христа, о религии Святой Троицы, объяснит он «страшной силой Антихристового притяжения»? И закрадывается мысль, не были ли правы те враждебные Мережковскому критики, которые все его проповеди объявляли, в лучшем случае, «минутным увлечением *новыми* словами», а в худшем — рекламным приемом беззастенчивого писателя, обращающегося со своими убеждениями, как Алкивиад со своей собакой?

Однако, стоит несколько пристальнее всмотреться в смену миросозерцаний Мережковского, чтобы увидеть в них как раз противоположное. При всех частных противоречиях, в развитии его идей есть необыкновенная стройность, какая-то математическая логичность. Постепенный ход его мысли хочется изобразить в форме идеально правильной кривой, каждый отрезок которой определяет ее всю. Когда эта кривая будет вычерчена до конца, мы увидим, что все, казавшееся отклонением с пути, было лишь выполнением строгого закона, раскрытием единой незыблемой формулы. Слышав религиозную проповедь Мережковского, начинаешь понимать, почему в первой его книге стояли эпитафии из Святого Писания, казавшиеся столь неуместными там, почему сборник «Символы» открывался стихотворением «Бог». Узнав учение Мережковского о Христе Грядущем, о Христе Славы и Силы, видишь, что это учение с необходимостью включает в себя, как существенную часть, язычество. Наконец, после критики Мережковского исторического христианства, оправдываешь

отношение к «галилейству» его первых книг. От позитивизма и позитивной морали — к возвеличению своего я, к «человекобожеству»; от языческого культа личности — к мистическому, к «богочеловечеству»; от религии Христа Пришедшего, — к учению о Христе Грядущем и далее — к религии Святой Троицы, к Церкви Иоанновой: — все это один путь, неизменно устремленный вперед, в котором есть неожиданные переходы, но нет нигде поворота назад.

Мережковский напоминает, что Гоголь считал главным делом своей жизни одно: «как выставить черта смешным». Но именно это дело оставалось всегда главным и для самого Мережковского, при всех переменах его убеждений. Черт, по определению Мережковского, это — воплощение «смердяковского духа», «лактей» по природе, вечная «срединность» и «серость», «бессмертная пошлость людская. И неустанные переходы Мережковского из одного стана в другой объясняются прежде всего тем, что везде видел он торжество своего врага. Он не мог не почувствовать властного его присутствия и в среде русских либералов-позитивистов, которые в конце 80-х годов, во имя высоких принципов 60-х годов, боялись всякого движения мысли вперед; — и у декадентов, быстро изготовивших прочные и дешевые шаблоны для повседневного употребления; — и в религиозно-философских собраниях, где собирались светские дамы, «интересующиеся» религией, и важные иереи, снисходящие до интеллигенции; — и на митингах всяких прогрессивнейших партий, где всем вменялось в обязанность быть похожими друг на друга; — и, наконец, в последние дни, у «вехистов», которые во многом отталкивались от идей самого Мережковского. И, конечно, если и еще раз, в новых учениках своих, Мережковский вновь увидит знакомый лик Черта, харю Хама, — он опять возьмет свой страннический посох и не побоится еще и еще «нового пути».

Черт есть вечная половинность, полувера, полузнание, полумасонство. Поэтому борьба с Чертом начинается борьбой за полноту, за цельность, за истинную веру, за истинную науку, за истинное искусство. Здесь второе дело, которому никогда не изменял Мережковский: его культурное строительство. Отвергая бывших соратников, отрекаясь от недавних алтарей, Мережковский оставался всегда верен великому (хотя и малому числом) масонству людей истинной культуры, верен алтарю, на котором разные века писали разные надписи: «эллинизм», «возрождение», «просвещение», «знание»... Как член этой общины Мережковский всегда был и остается, может быть, против своей воли, союзником тех, кто понял и оценил сделанное в конце прошлого

века такими знаменосцами, как Ницше, Ибсен, Метерлинк, Уайльд. Мережковский может и часто должен нападать на то, чему они учили, но он понимает, что путь вперед лежит только через те скалистые высоты, на которые завели нас эти отважные «разведчики человечества». Вот почему, между прочим, Мережковский ближе любому «эстету» или «модернисту» (хотя бы они и были враждебны ему по убеждениям), чем многим из своих учеников (напр., иным членам «религиозно-философских собраний»), которые вряд ли способны понять истинный смысл его проповеди.

Наконец, третья характерная особенность всех литературных работ Мережковского — это их общественное значение. Глубоко ошибаются те, которые Мережковского принимают за литератора *par excellence**: напротив, в литературе (включая в нее и поэзию) он всегда видит не цель, но средство для выражения своих идей. В его книгах и статьях этика всегда преобладает над эстетикой, «что» над «как». Повторяя заповеди милосердия Будды (поэма «Будда»), провозглашая Красоту единой надеждой мира («Леда»), вскрывая глубочайшую потребность синтеза язычества и христианства (трилогия романов), — Мережковский в выборе этих тем руководствуется соображениями не художника, но общественного деятеля. Он всегда, в драмах, как в статьях, в стихах, как в фельетонах, стремится не только сказать, но и доказать. «Великая русская литература кончилась, теперь настало великое русское делание», — писал Мережковский. Но суть не в том, кончилась или нет литература, русская и всякая другая, а в том, что сам он жаждет не литературы, а «делания». Он по природе учитель, пророк, деятель, и только в силу какого-то органического недостатка принужден довольствоваться лишь одной формой деятельности: словом писателя. В этом отношении характерно, почти символично, что Мережковскому так пришлось по сердцу (так любовно он повторяет и толкует!) *недоговоренные* слова Гоголя: «мы сде...»

Остается добавить, что Мережковский, хотя ближайшим образом он имеет в виду всегда своих «сограждан», наше русское общество конца минувшего и начала наставшего столетия, — в сущности, обращается со своей проповедью ко всем своим современникам. «Ежели последняя цель христианства, — пишет сам Мережковский, — не дело одного личного спасения, но и спасения всеобщего, всечеловеческого, которое достигается в процессе всемирного развития, то нельзя не признать, что последний

* По преимуществу (фр.).

идеал Богочеловечества достижим только через идеал всечеловечества, т. е. идеал вселенского, все народы объединяющего просвещения, вселенской культуры». Этому идеалу «вселенской культуры» Мережковский не переставал служить ни на одной из стадий своего развития. В этом смысле Мережковский — один из немногих у нас писателей для взрослых. В России особенной заслугой считается быть популяризатором уже кем-то когда-то сказанных истин, и все писатели (как чуть не все журналы с «Миром Божиим» во главе) стремятся писать «для самообразования». При всей почтенности этой педагогической задачи, ревностное выполнение ее всеми просто упразднило бы существование русской литературы. Мережковский — один из двигателей, а не распространителей, он ставит вопросы, а не повторяет старые ответы, он писатель — европейский, а не местный, русский.

2

Мережковский-поэт неотделим от Мережковского-критика и мыслителя. Его романы, драмы, стихи говорят о том же, о чем его исследования, статьи и фельетоны. «Символы» развивают мысли «Вечных Спутников», «Юлиан» и «Леонардо» воплощают в образах идеи книги о «Толстом и Достоевском», «Павел» и «Александр I и декабристы» дают предпосылки к тем выводам, которые изложены Мережковским на столбцах «Речи» и «Русского Слова». Поэзия Мережковского — не ряд разрозненных стихотворений, подсказанных случайностями жизни, каковы, напр., стихи его сверстника, настоящего, прирожденного поэта, К. Фофанова. Поэзия Мережковского не импровизация, а развитие в стихах определенных идей, и ряд сборников его стихов какжутся стройными вехами пройденного им пути.

Каждая из четырех книг, в которых Мережковский собирал свои стихи, очень характерна.

Начинал он («Стихотворения» 1888 г.), подобно Минскому, как ученик Надсона. Одно из характернейших стихотворений первой книги Мережковского говорит нам:

Не презирай толпы! безжалостной и гневной
Насмешкой не клейми их горестей и нужд.

Однако с самого начала Мережковский сумел взять и самостоятельный тон. Когда вся «школа» Надсона, вслед за учителем долгом почитала «нить» на безвременье и на свою слабость, Мережковский заговорил о радости и о силе.

Да, жизнь, смотри: во мгле унылой
 Не отступил я пред грозой,
 Еще померимся мы силой,
 Еще поборемся с тобой...
 Чем глубже мрак, печаль и беды,
 И раны сердца моего,
 Тем будет громче гимн победы,
 Тем будет выше торжество!

С такой же бодростью, с такой же верой в себя произносил Мережковский ответный монолог женщине, отвергшей его любовь:

Смотри: меня зовет огромный светлый мир:
 Есть у меня бессмертная природа,
 И молодость, и гордая свобода,
 И Рафаэль, и Данте, и Шекспир!
 И думать ты могла, что я томиться буду
 Или у ног твоих беспомощно рыдать!

Стихи риторичны, напыщены, но даже это характерно, потому что другие соратники Надсона именно риторики боялись всего больше (хотя и пользовались ею неумеренно, только в несколько ином облиции). Мережковскому *хотелось* риторики, чтобы яркостью и звонкостью ее порвать тот бесцветный, беззвучный туман, в который заволочена была жизнь русского общества 80-х годов.

Вторая книга стихов Мережковского, «Символы» (1892 г.), замечательна разносторонностью своих тем. Пушкин и античная трагедия, Эдгар По и Бодлер, древний Рим и Франциск Ассизский, трагизм повседневного и поэзия города, все то, что должно было через десять-пятнадцать лет занять все умы, заполнить все книги, уже намечено в этом сборнике. То был первый дар Мережковского на алтарь той «вселенской культуры», служителем которой он признает себя и в самых последних своих статьях... В то же время были Мережковским начаты «Вечные Спутники», — «портреты из всемирной литературы».

«Символы» были книгой предчувствий. Мережковский предугадывал в ней наступление иной эпохи, более живой. По своему обыкновению, придавая совершающимся вокруг него событиям титанический облик, он писал:

Грядите, новые пророки,
 Грядите, вещие певцы,
 Еще неведомые миру!

(Наше русское «возрождение» 90-х годов представлялось ему чем-то вроде великого «Возрождения» XVI в., как позднее вели-

кий развал, последовавший за нашей революцией, предощущал он как конец вселенной, как близость «второго пришествия».)

Менее чувствовались в «Символах» религиозные искания Мережковского. Правда, книга открывалась стихами «Бог»:

Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, — в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде
И в глубине моей души...

Но смысл этого признания был, вероятно, темен и для самого автора...

Третий сборник стихов Мережковского, «Новые стихотворения» (1896 г.), гораздо уже по захвату, чем «Символы», но гораздо острее. Успокоенность «Символов» перешла здесь — в постоянную тревогу, объективность более ранних стихов — в напряженный лиризм. В «Символах» Мережковский почитал себя служателем каких-то «покинутых богов»:

Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы...

За годы, прошедшие до появления «Новых стихотворений», Мережковский сам покинул этих богов и говорил о себе и своих соратниках:

Дерзновенны наши речи...
.....
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.

Дерзновенье — главный стимул поэзии Мережковского того времени. Его увлекают образы Титанов, грозящих олимпийцам, Леонардо да Винчи, проникшего «в глубочайшие соблазны всего, что двойственно», Микеланджело, у которого были «отчаянно подобны вдохновенья», Иова, восставившего величайшие хуления на Всевышнего, и в то же время образы отверженности, униженности, одиночества пророка «в пустыне», уничижения мудреца среди «глупцов». Как в «Символах» были намечены те идеи, которыми целое десятилетие жило после того русское общество, так в «Новых стихотворениях» затронуты все темы, которые пышно и полно разработала вскоре школа наших «символистов».

«Новые стихотворения» писались одновременно с романом о Юлиане и проникнуты тем же духом — язычества. В культуре «ве-

ликого веселия Олимпийцев» и в культуре «безгрешности плоти» Мережковский видел тогда спасение от того худосочия, которым страдало и русское общество последних десятилетий и вся европейская культура последнего времени. Назначение «Новых стихотворений» было — звать к радости, к силе, к нагоде тела, к дерзанию духа.

Следующая четвертая книга стихов Мережковского, «Собрание стихов» (1909 г.), появилась почти десять лет спустя. Новых стихотворений в ней очень мало, и это скорее антология, чем новая книга. Но характерный выбор стихов, сделанный автором, придавал ей и новизну, и современность. В свое маленькое «Собрание стихов» Мережковский включил лишь те стихи, которые отвечали его изменившимся взглядам. Старые стихив новом расположении приобрели новый смысл, и несколько стихотворений, написанных за последние годы, озарили всю книгу особым, ровным, но неожиданным светом.

Недавний проповедник воскресших богов, ярый враг галилеян, — Мережковский обратился к христианству. «Красоту», эту последнюю надежду мира, признал он бессильной: лезвие «дерзновения» — слишком ломким; алтарь «всемирной культуры» — лишенным божества. Но «обращение» Мережковского тем отличалось от многих других обращений, что в христианстве хотел он обрести не последнее утешение, но новое оружие, после того как другие оказались недостаточными. На Крест он взглянул как на меч, и озаглавил одну из своих книг евангельскими словами: «Не мир, но меч». Христа Распятого и Грядущего сделал он своим союзником в достижении тех же целей, к которым раньше стремился через кротость Будды, через веселие Олимпийцев, через соблазны Леонардо. Обращение Мережковского было переменой убеждений, но не было изменой.

Лейтмотив сборника — заключительные стихи «молитвы о крыльях»:

Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!

Желанием веры, более чем самую верую, проникнуты все стихотворения книги. «Лгу, чтоб верить, чтобы жить», признается в одном месте Мережковский. Но ложь, о которой он говорит, состоит не в том, что он верой закрывает от себя все страшное в жизни, а, наоборот, в том, что в глубине самой веры усматривает он возможность нового сомнения. И, не без горечи, он так говорит о тех последних обетованиях христианства, которые так потрясли мысль Владимира Соловьева:

Не плачь о неземной отчизне,
И помни, — более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
Не будет в смерти ничего!

«Собрание стихов» вышло в годы перед нашей войной и нашей революцией, когда беспросветность русской действительности заставляла многих повторять молитву Мережковского о мистических крыльях. То была эпоха, когда неожиданный успех имел руководимый тем же Мережковским «Новый Путь», когда «весь Петербург» собирался слушать его же в зале Географического общества на религиозно-философских собраниях, когда одну минуту казалось, что именно в религии падет преграда, разделяющая «народ» и «интеллигенцию». «Символы» и «Новые стихотворения» были книгами предвестий: «Собрание стихов» было книгой сегодняшнего дня... Трагические события 1905—1906 гг. спутали и порвали все нити прошлого...

После «Собрания стихов» Мережковский не издавал больше стихотворных сборников*. Надо желать, чтобы он решился, наконец, соединить в более полном собрании все написанные им стихи. Это будет единственная, в своем роде, летопись исканий современной души, как бы дневник всего того, что пережила наиболее чуткая часть нашего общества за последнюю четверть века. Этот исторический интерес навсегда остается за стихами Мережковского, как бы сурово ни приходилось их критиковать с чисто эстетической точки зрения.

Среди современных поэтов, по преимуществу лириков-индивидуалистов, Мережковский резко обособлен как поэт настроений общих. В то время как Бальмонт, Белый, Блок, даже касаясь тем общественных, «злободневных», говорили прежде всего о себе, о своем к ним отношении, Мережковский, даже в интимнейших признаниях, выражал то, что было, или скоро должно было стать (ибо, по большей части, он шел впереди других), всеобщим чувством, страданием многих или надеждою многих. Подобно Минскому, Мережковский — «поэт гражданский», но тогда как Минский понимал это свое назначение в повторении общих мест, принципов и максим, найденных другими (таков, напр.,

* В 1910 г. книгоиздательством «Просвещение» было повторено «Собрание стихов», изданное т-вом «Скорпион». Нового в изд. 1910 г. лишь поэма «Странные октавы», ранее напечатанная в «Золотом Руне». Проспект «Полного Собрания Сочинений» Д. Мережковского, предпринятого т-вом М. О. Вольф, обещает также только повторение этого тома.

его гимн «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») — Мережковский выполнял свое дело, страстно и настойчиво, уча в стихах тому, что почитал своей истиной. Мережковский на поэзию смотрел как на средство, и это его грех пред искусством; но он пользовался этим средством с великим умением, и употреблял его на цели благородные, и в этом его оправдание.

Следовало бы еще сказать о форме стихов Мережковского... Но это как-то ненужно. Излишне риторичная в его ранних стихах, щеголяющая насильственной упрощенностью в более поздних, она становится истинно простой, ясной, прозрачной в его последних стихотворениях. Но стихи Мережковского из тех, в которых форма не только имеет право, но и должна быть неощутимой, незаметной. Читая его стихотворения, надо не воспринимать их формы, — и такого впечатления Мережковский умеет достигнуть. Там же, где он делает уступку красивости формы, где иногда становится даже виртуозом стиха (как, напр., в стихотворении «Леда»), — это кажется лишним и почти неприятным.





С. ФРАНК

**О так называемом
«новом религиозном сознании» ***

Переживаемое нами тяжелое и в подлинном смысле смутное время характеризуется недостаточно точно, когда в нем отмечают признак общественного утомления или апатии; скорее современное состояние можно было бы определить как состояние болезненного переутомления. Бывает усталость здоровая, бездеятельность, необходимая для того, чтобы силы организма окрепли и подготавливались в покое к новому нормальному обнаружению; но бывает и ненормальное, неврастеническое переутомление, когда человек одновременно чувствует себя и мучительно усталым, и неестественно возбужденным. Обычная производительная и нужная работа не удается ему, и он испытывает неохоту и даже отвращение к ней; но вместе с тем он не может успокоиться, не в состоянии действительно отдохнуть и отрезвиться, чтобы хоть позднее приняться за свой нормальный труд. Напротив, он бросается в разные стороны, выдумывает множество дел, забот и тревог, искусственность которых он втайне сам хорошо сознает, но от которых ему не дает отстать его болезненно-возбужденное состояние. Кажется, такого рода состояние присуще теперь не только отдельным людям и в отдельные моменты, а характеризует всю нынешнюю жизнь нашего «образованного общества».

Все чувствуют, что общественное движение последних лет, которое — как бы о нем ни судить — во всяком случае было настоящим, жизненным делом, ныне кончилось, или, вернее, оборвалось, и притом настолько основательно, что начать его снова в ближайшее время невозможно; для этого нужно отдохнуть, оглянуться на себя, медленно и методично набирать новые си-

* *Мережковский Д. С.* В тихом омуте. СПб., 1908. С. 325.

лы — не только внешние, но и внутренние. Но переутомление так велико и так болезненно, что не хватает сил даже и для того, чтобы сосредоточиться и собраться с силами. Поэтому мало кто готов откровенно сознаться в своей немогости; напротив, за невозможностью найти и выполнить какое-либо подлинно насущное дело, изобретаются множество неслыханных доселе «проблем», усердно раздуваются бури в стакане воды, и глубокий упадок сил, охватывающий весь организм, выражается в ненормально повышенном, лихорадочном умственном возбуждении. Сколько революций было уже возведено и даже осуществлено с тех пор, как заглохло действительное общественное движение, и сколько областей жизни, по-видимому, захвачено этими революциями! Переворот в поэзии, переворот в театре, переворот в любви — и все это с притязанием на жизненное и универсальное значение! Никогда умственная жизнь не была с виду столь кипучей, как теперь, никогда не изобреталось столько новых проблем, никогда мысль не была столь радикальной и свободно-дерзновенной, — и никогда еще не сознавалось так явственно (хотя и неотчетливо), как теперь, что все это — игрушка, забава, дело от безделья, энергия от переутомления.

К числу таких надуманных, искусственно сочиненных дел принадлежит и та новая религиозная политика или политическая религия, которую возвещает небольшая группа литераторов во главе с Д. С. Мережковским. Было бы, правда, несправедливо ставить в один ряд «новое религиозное сознание» с другими сенсациями наших дней — «проблемой пола», стилизацией театра, мистическим анархизмом и т. п.; оно отличается от последних тем существенным обстоятельством, что его проповедники — люди талантливые, образованные и серьезно мыслящие, и что, следовательно, и проповедь их не отдает привкусом бесшабашного хулиганства, который так остро ощущается в других современных учениях. Но, в сущности, на этом различие и кончается. Если оставить в стороне, *кто и как* утверждает, и сосредоточиться лишь на том, что утверждается этим новым движением, то вряд ли его можно признать менее экзотичным и искусственным, чем другие модные новинки современной литературы. Поэтому в отношении того, что в настоящее время письменно и устно провозглашают Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов, невольно испытываешь некоторое двойственное чувство. С одной стороны, талантливость изложения, оригинальность в комбинации идей придают бесспорный интерес их мыслям и заставляют к ним прислушиваться. Пытаясь с помощью религиозного сознания возродить старое революционное народничество, они, по

крайней мере, освежают внешний облик последнего и гальванизируют его труп. Традиционное мировоззрение русской радикальной интеллигенции за последние годы дало глубокую трещину; и каким бы внешним успехом оно еще ни пользовалось, — для более чутких людей ясно, что от него уже отлетела его прежняя живая душа, и что оно держится лишь консервативными силами привычки и общественного мнения. Напротив, религиозный революционизм Мережковского и его единомышленников есть во всяком случае нечто новое, молодое и оригинальное, что может еще многих соблазнить, и с чем, следовательно, поневоле приходится считаться. С другой стороны, однако, непосредственно чувствуется неестественность этого течения, его «литературность», и нетрудно предсказать с уверенностью, что ему суждено скоро и бесплодно исчезнуть, подобно всякой другой модной выдумке. Религиозный революционизм есть бесплотный призрак, за которым не стоит никакая реальная духовная сила; но этот призрак все же способен на короткое время отуманить и увлечь за собой незрелые умы, и потому его нельзя просто игнорировать.

Ход мыслей, которым г-н Мережковский был приведен к своей нынешней позиции, содержит много интересного и верного. Г-н Мережковский убедился, что историческое христианство не вмещает в себе всей полноты религиозной истины: будучи противоположным язычеству и ветхозаветной религии, оно утверждает односторонний аскетизм, бегство от земли на небо, вражду к культурному прогрессу; отсюда он делает вывод о необходимости «третьего откровения», «религии Св. Духа», которая должна сочетать земное с небесным, освятить доселе антирелигиозное или внерелигиозное культурное творчество, примирить религию с мирской жизнью и тем завершить «богочеловеческий процесс». В этом направлении мыслей есть несомненно глубоко верный и насущно необходимый элемент, и Мережковский только выразил на свой лад то, что одинаково чувствовали — тоже каждый по-своему — и Ибсен, и Ницше, и Оскар Уайльд, и некоторые другие: потребность уничтожить старый религиозный и моральный дуализм и заменить его религиозным освящением жизни и культуры*. Но отсюда начинается логический и психологический скачок, совершенный Мережковским в последнее время. Руководимый потребностью отыскать «церковь», которая воплощала бы на земле его новую религию так, как государст-

* В драме Ибсена «Кесарь и Галилеянин» идея «третьего царства» как синтеза между язычеством и христианством, высказана с полной отчетливостью.

венная церковь воплощает историческое христианство, и гипнотизированный событиями русского революционного движения, Мережковский обрел или, вернее, решил обрести эту церковь в русской интеллигенции. Здесь Мережковскому пришлось, прежде всего, натолкнуться на одну, казалось бы, совершенно непреодолимую трудность — именно на традиционный атеистический нигилизм русской интеллигенции, образующий самую характерную и устойчивую черту ее философского мировоззрения. Чтобы обойти эту трудность, Мережковский должен был прибегнуть к гипотезе или фикции, что интеллигенция не осознала ни содержания той религии, которая вдохновляет ее на подвиги, ни даже самого факта своей религиозности. Неверующая, атеистическая русская интеллигенция в действительности, по мнению Мережковского, глубоко религиозна, и бессознательно исповедуемая ею вера тождественна именно с тем «новым религиозным сознанием», которое возвестил Мережковский. Как только это было признано, для Мережковского открылись новые широкие философско-политические перспективы. В фактах текущей политической жизни он увидел проявления вечных религиозных сил, политические партии в его глазах стали мистическими ратями Бога и дьявола, и его собственная религия из мечты и надежды одинокого мыслителя превратилась в непобедимую, по его убеждению, силу русского — а тем самым, и всемирного — культурного развития.

К сожалению, однако, это обретение «почвы» для новой религии, установление теснейшей связи между нею и реальными политическими явлениями искупается ценою измельчания, опошления и даже прямого искажения подлинного религиозного сознания. Чтобы сблизить новую религию с верованиями атеистической интеллигенции, оказалось недостаточным просто постулировать несознанную наличность такой религии в душе русской революционной интеллигенции; для этого стало необходимым положительно приспособить религию к вкусам, склонностям и убеждениям людей, принципиально отрицающих всякую религию. «Религия» русской интеллигенции фактически состоит в ее общественных верованиях; самым ярким выражением господствующего безверия русской интеллигенции является именно то обстоятельство, что общественным формам, как и общественным направлениям, она приписывает абсолютное значение, ибо вне «общественности» она не знает никакой универсальной и самодовлеющей ценности. И вот, сближение с интеллигентским сознанием заставляет Мережковского с своей стороны низвести религию почти на уровень служебного средства «общественно-

го» прогресса. Во всяком случае, религиозные оценки у него настолько уже совпадают с партийно-политическими, что теряют всякое самостоятельное значение. Политические интересы, политические страсти заслонили в его сознании вневременное и сверхэмпирическое религиозное осмысление жизни. Когда божественное или Христово начало всецело отождествляется с революционным движением, а дьявольское или антихристово — с реакцией, когда вся сущность веры усматривается в одной лишь действительности, и притом общественно-политической, то «Бог и дьявол», «Христос и антихрист» становятся простыми кличками для партийных направлений и партийной борьбы. Религия здесь, собственно, уже кончается, ибо религия есть только там, где внешним силам и процессам противопоставляется внутренняя духовная жизнь, — где сохранено сознание, что никакие «земные берега» не могут вместить и точно выразить творчество и ценность высших начал, открывающихся только углубленной в себя человеческой душе.

Эта основная — религиозная — фальшь позиции Мережковского усугубляется еще двумя иными, весьма существенными обстоятельствами. Соединение религии с иррелигиозным и антирелигиозным мировоззрением русской интеллигенции не только невозможно по существу; оно, вдобавок, особенно противоестественно именно в той комбинации, которую защищает Мережковский. С одной стороны, он связывает свое дело с определенным старым укладом русской интеллигентской мысли — с тем традиционным нигилистическим социализмом, который именно в настоящее время находится в состоянии полного разложения. В ту пору, когда дух интеллигенции был жив и творил живые дела, Мережковский игнорировал его или был ему прямо враждебен; теперь же та почва, на которой он пытается основать свою новую церковь, есть не камень, а зыбкий песок. Новое вино нельзя вливать в старые мехи; для того, чтобы влить новые религиозные силы в русское общественное сознание, нужно коренным образом перевоспитать последнее, освободить его от его устаревшей «интеллигентской» формы; в противном случае оно окажется столь же неспособным воспринять «новое религиозное сознание», сколь неспособна оказалась на это господствующая церковь, на которую Мережковский в свое время возлагал такие же надежды.

К этому присоединяется еще одна трудность. Свое «новое религиозное сознание» Мережковский исповедует и возвещает *в старых догматических формах*; переоценка религиозных ценностей выражается у него не в отрицании старых догматов, а в

новом их *толковании*, нисколько не колеблющем всей иррациональной традиционной основы исторического христианства. Свое учение Мережковский считает «религией св. Троицы» и основывает на Апокалипсисе. Но если в настоящее время психологически возможно исповедывать догматическую религию, то только в ее раз навсегда установленном виде; попытка же создать новую религию, удержав всю догматическую часть старой, неминуемо осуждена на неудачу. Между традиционной верой, воспринятой вместе с впечатлениями детства и иррационально внедрившейся в душу, с одной стороны, — и разумно творимой новой верой, которую устанавливает для себя мыслящая личность, неспособная удовлетвориться традицией, — с другой, — нет и не может быть середины. И если мы эту последнюю трудность присоединим к указанным выше, — если мы сообразим, что проектируемая Мережковским религиозно-политическая реформа в конечном счете сводится к тому, чтобы, сохранив в неприкосновенности революционную интеллигентскую душу, вынуть из нее Маркса и атеизм и на их место поставить апостола Иоанна и апокалипсическую религию, — то нетрудно будет учесть всю искусственность и надуманность этой реформы. Русские студенты и курсистки, образующие революционную партию для насильственной борьбы с правительством в целях осуществления пророчества апостола Иоанна — эту картину можно было бы счесть карикатурой, но я не вижу, в чем она отступает от воззрений Мережковского.

Пропаганда такой религиозной революции была бы опаснейшим и гибельнейшим делом, если бы она могла рассчитывать на сколько-нибудь серьезный и реальный успех. Теперь же это есть лишь увлекательная тема для блестящих литературных этюдов Мережковского. И кто хотел бы убедиться, как крупный литературный и художественный талант может обнаруживать тонкое чутье правды и давать эстетическое удовлетворение, даже если он занят доказательством истин, мало отличающихся от суждения: «дважды два есть стеариновая свечка», — тот пусть прочтет последний сборник статей Мережковского «В тихом омуте».





Г. БРАНДЕС

Мережковский

I ХУДОЖНИК

То, что Ибсен в своей драме «Цезарь и Галилеянин» называет «третьим царством», нашло своего апостола в лице одного из наиболее видных представителей молодой России, в лице писателя, замечательного как художник и своеобразного как критик. Этим апостолом является Дмитрий Сергеевич Мережковский. Как истинный славянин, он соединяет в своем лице глубокомысленную пронизательность с туманною мистичностью. Так же, как Толстой и Достоевский, он не удовлетворяется искусством для искусства. Он ощущает в себе религиозного проповедника и не сомневается в том, что именно России достанется удел подарить человечеству мессию будущего, мессию, который разрешит все религиозные искания и сольет воедино Элладу с Палестиной, язычество с христианством, воплотив их в то высшее единство, в котором найдет удовлетворение и сердце и ум.

Его друзья основали в Петербурге религиозно-философское общество, в котором сходятся для обмена мнений представители самых различных направлений, начиная с епископов и кончая вольнодумцами.

После того, как недавно вышел в свет шведский перевод одного из его романов (перевод сделан Е. Вэр) и почти одновременно с этим появился на французском языке его капитальный критический труд (в переводе графа Прозора и С. Перского), Мережковский сразу стал известен европейской читающей публике. Первая книга является частью большого труда, вышедшего из-под пера Мережковского под общим названием «Христос и Ан-

тихрист». Этот труд состоит из трех частей; первые две части представляют романы и носят подзаголовки: «Смерть Богов» и «Возрождение Богов». Концентрируясь вокруг личностей Юлиана Отступника и Леонардо да Винчи, эти произведения трактуют о распаде классического мира и о возрождении его.

Перед нами пока лишь шведский перевод романа о Юлиане Отступнике. Надо полагать, что эта книга в скором времени будет переведена и на все другие европейские языки. Она стоит неизмеримо выше исторического романа Сенкевича «*Quo vadis?*». Если этот последний роман обязан был своим шумным успехом главным образом содействию католической церкви, которой распространение его недаром казалось выгодным, то «Смерть Богов» проложит себе путь к читающей публике силою своей внутренней ценности.

Изображение эпохи отличается уверенностью и силою. Чувствуется, что Мережковский, между прочим, является тонким и ученым знатоком древней Эллады, что он в оригинале читал те латинские и греческие произведения, которые дают ему знание описываемой эпохи. Но он не только изучил источники: он сумел также вдохнуть жизнь в них. Какую полную драматизма, захватывающую сцену он сумел создать из вскользь брошенного замечания Аммиана о тех шпионах, которых содержал Галл, чтобы узнавать о настроении народа по отношению к нему. Все, что Мережковский описывает, производит впечатление виденного, начиная с тех сцен, в которых автор знакомит нас с годами мучительного и запуганного отрочества Юлиана и Галла в Кападокии, и кончая перипетиями пароянской войны, в которой Юлиан обретает смерть. Идя по стопам Ибсена, Мережковский описывает вынужденное ханжество юноши Юлиана, который для того, чтобы читать «Симпозион» Платона, снабжает книгу заглавным листом «Послание св. Павла». С теплым сочувствием автор показывает нам ту горячую восторженность, которую юноша втайне питает к богам и жизни классической Греции, между тем как та ложь, под которой он изнемогает, притворно выказывая христианское смирение, свербит его, как свербила бы льва ослиная шкура.

С несомненною художественною фантазией создана Мережковским Арсиноя, гордая афинянка, которая, благодаря наследству, доставшемуся ей от богатого родственника, является столь же богатой и независимой, как и красивой. Эта молодая ваятельница, подобно женщинам древней Спарты, нагая упражняется на палестре. Она так же, как Юлиан, живет идеалами древней Эллады, но она живет ими открыто и свободно. И она, как более

сильная, является для него гением его скрытых грез. Не кажется нам неестественным и то, что он затем, невольно поддаваясь течению века, подпадает под влияние своей юной чахоточной сестры, принявшей христианство, что она отрекается от своих идеалов, становится отшельницей и, наконец, будучи уже монахиней, чуть не вызывает сомнения в душе императора, находящегося уже в то время на вершине власти и славы.

Мережковский так же, как и Ибсен, особенно сильно подчеркивает то родство, которое существует между Юлианом и галилеянами: как дети своего века и Юлиан и галилеяне склонны к мистицизму и верят в чудеса. Однако Юлиан, когда читаешь его историю у Аммиана, производит впечатление, несомненно более здоровое и языческое, чем то, которое дают нам произведения обоих новейших авторов. Оба они невольно сгущают вокруг его головы тучи романтизма. Ни у одного из них не чувствуется, до чего Юлиан молод и свеж, Юлиан, который, совершив самые великие подвиги, падает тридцати двух лет отроду, еще моложе великого Александра.

Воспитанный христианским миром и сызмала вскормленный христианскими настроениями, русский художник, как, впрочем, и норвежский, отводит в жизни Юлиана отрицательному отношению к христианству гораздо большее место, чем тому «да», которое этот император говорит Дионисию и Аполлону. И этим, полагаем мы, понимание его личности искажается.

Хорошей иллюстрацией в этом отношении является выведенное обоими авторами отношение Юлиана к его супруге, совершенно безразличной ему принцессе, с которой он, по повелению императора, формы ради, сочетался браком. И Мережковский, и Ибсен заставляют Юлиана считать Иисуса своим соперником. У Ибсена Елена в бреду произносит слова, из которых Юлиан заключает, что она отдалась Галилеянину, воображая, что она обнимает его самого в лице его слуги-священника. Здесь она является перед нами пышною женщиною, которая без ведома Юлиана упивается мистикой сладострастия. У Мережковского же, наоборот, в браке с безразличным ей Юлианом она остается девственницей, которая, целомудренно благочестиво посвятив себя в невесты Христа, живет монахиней. Но тут в Юлиане просыпается дьявольское желание один раз предъявить на нее свои супружеские права и таким образом силой лишить небесного жениха его невесты. В обоих случаях великий язычник ненавидит в Галилеянце своего соперника и в обоих случаях ситуации придуманы остроумно. Но классическая древность ничего об этом не знает.

Художник, который стоял бы к язычеству ближе, чем Мережковский и Ибсен, дал бы нам более спокойный и внушающий больше благоговения образ Юлиана.

Такой художник не стал бы также приводить вымышленное восклицание, будто бы произнесенное Юлианом, когда тот упал, пронзенный неприятельской стрелой: «Ты победил, Галилеянин!». Он восклицает это и у русского и у норвежского писателя, но не у Аммиана. Эти слова так же, как приписываемые умирающему Костюшке слова: «*Finis Poloniae!*», выдуманы врагами.

Мережковский воображает, что в культурном отношении он является очень современной фигурой в русской литературе наших дней. Он называет себя литературным и религиозным символистом, подчеркивая, что основным значением слова символизм является стремление объединить или сливать воедино. Он самым поразительным образом соединяет язычество с христианством. Он сам объявляет себя учеником Ницше, но, вместе с тем, он по убеждению своему правоверный христианин — более поразительного фокуса в области мышления не производил никто за последние годы.

Арсиноя в романе Мережковского возражает Юлиану, что нет действительного разлада между Элладой и Галилеей, так как мудрецы Греции близки были великому Галилеянину, любившему детей, и свободу, и веселые пиры, и белые лилии. И в качестве ваятельницы она кончает тем, что моделирует статую, похожую и на Дионисия, и на Иисуса. Таким же образом Мережковский в недавно прочитанной им в Петербурге лекции поразил свою аудиторию заявлением, что Венера и Дева Мария являются очень родственными образами.

В произведении Ницше «О происхождении греческой трагедии», в произведении, явно продиктованном поклонением Дионисию, Мережковский совершенно нелепым образом видит объединяющее языческую и христианскую жизнь звено, а, следовательно, и предзнаменование религии будущего. И если он у Аммиана Марцеллина нашел тот эскиз личности великого императора, который он положил в основу своей крайне тщательно разработанной картины, то это объясняется одною особенностью классического историка-язычника, особенностью, которую Мережковский не без преувеличения выдвигает вперед в заключение своей книги. «Вот уже больше четырех месяцев, как я познакомился с тобой, — говорит Анатолиос, — и я еще не знаю, язычник ли ты или христианин». «Я и сам этого не знаю», — простодушно отвечает Аммиан.

Мережковскому кажется, что сам он сознает, кто он такой. Он воображает себя христианином.

II КРИТИК

Опубликованный Мережковским капитальный труд о Толстом и Достоевском как по глубокому знанию предмета, так и по остроумному проникновению в характерные, но часто не замечаемые частности, значительно превосходит все то, что написано об этих двух людях не-русскими. Однако это обстоятельное исследование не лишено целого ряда грубых недостатков: произвольного подчеркивания наполовину случайных мыслей, которые Мережковский подчас раздувает и приводит в качестве решающих тот или другой спорный вопрос доказательств, нарочитого забывания документов, противоречащих тому, что хочет доказать автор, предвзятых антипатий и симпатий, продиктованных тем запутанным мирозерцанием, которое исповедует Мережковский в качестве славянского мистика.

Хотя критику необходимо некоторое поэтическое дарование, тем не менее, можно в общем сказать, что очень многие качества, полезные поэту, могут спутать и умалить критика, а поэтические качества Мережковского относятся именно к этому разряду.

Мережковский является романтиком национализма. Переливющееся через край национальное чувство умаляет его как критика и делает его суждения ненадежными. По его мнению, от образа действия русских зависит судьба Европы. И как ни жесток его приговор над духовным упадком современной России, он все-таки не сомневается в том, что именно на долю русских выпадет задача поднять культуру Европы и распространить истинную религиозность. В этой именно области, если не теперь, то когда-нибудь его соотечественники должны показать, что если не сделают этого они, то не сделает этого никто. И поэтому главный смысл его произведения сводится к словам: мы или никто!

Не менее спутаны его понятия в области религиозной. Вопреки всему его глубокому знанию греческой культуры, вопреки его стремлению проникнуться культурой ренессанса, вопреки тому, что он довольно глубоко окунулся в философию Ницше, — единственную, очевидно, философию, которую он знает и которую он кстати и некстати приводит, — Мережковский при всей своей модернистской внешности действует на европейского читателя как автор, до того пропитанный византийским христианством,

что его образ мышления и чувствования, даже его художественные приемы кажутся порожденными греко-католическим православием. И подчас даже невтерпеж становится пробираться сквозь дебри его критики.

Вот вы только что с истинным наслаждением следили за остроумным анализом души или стиля, вот вы упивались попадающейся время от времени совершенно неожиданно меткостью суждения, как вдруг вы наталкиваетесь на одно из тех предложений, которые происходят как бы прямо из Византии. И вы ощущаете мучительное разочарование и раздражение от бессодержательного глубокомыслия его. Вот для примера одно из таких предложений в главе о душе в произведениях Достоевского: «Мир, как показал Достоевский, никогда еще не был, если не таким религиозным, то таким созревшим, готовым к религии, как в наше время, и притом к религии уже окончательной, завершающей всемирно-историческое развитие, отчасти исполненной в первом — и предсказанной во втором пришествии Слова».

Когда читаешь подобные места у Мережковского, тогда чувствуешь, что стоит с этой русского, как и с многих современников, лишь соскоблить утонченного эллиниста, чтобы наткнуться на варвара. Его византизм является тою формою, под которою религиозная реакция, отнюдь не современная, но зато модная, выступает в России; это та же религиозная реакция, которая во Франции принимает форму романского католицизма, а в Норвегии форму подогретого деизма и рационального христианства.

Мережковский чувствует антипатию к личности Толстого, симпатию к личности Достоевского, талантам же обоих воздает должное и даже кое-что сверх должного: как русские они ведь первые повествователи мира. Но критика Толстого все время принимает форму нападения, критика же Достоевского невольно получает оттенок защиты. И хотя надо было бы полагать, что симпатия является гораздо более надежным проводником критика, чем антипатия, тем не менее, исчерпывающая критика Толстого часто поднимается у Мережковского на значительную высоту, между тем как о Достоевском работа его не дает ничего особенно нового.

Мережковскому удалось с не достигнутою никем до него твердостью линий изобразить ту любовь к природе, фавноподобное, сатиropодобное упоение природой, которое присуще Толстому, ту безграничную самовлюбленность, которая является основным тоном его личности, его любовь к здоровью, к крепкому телу, к почестям и к патриархально-идиллической жизни в деревне. С любовью Толстого к жизни тесно связана его боязнь смерти, на

которую мы так часто наталкиваемся в его произведениях. Мережковский совершенно справедливо указывает на то, что обращение Толстого, которое, по его собственным словам, произошло лет двадцать тому назад, отнюдь не означает перелома в истории его жизни. Он был и оставался всю свою жизнь бессознательным язычником и сознательным христианином. И разница между обоими периодами его жизни лишь та, что в первый период он подчинял свою сознательную жизнь бессознательной, а во второй — подсознательную сознательной. Но разлад в его душе ощущался во всем.

Этот разлад особенно резко выступает наружу в отношении Толстого к вопросу о собственности, которую он когда-то объявил простым предрассудком, разрушимым столь же легко, как паутина. Он тогда же думал отказаться от всего своего имущества; однако, когда его жена именем детей страстно восстала против этого его плана и даже пригрозила ему тем, что объявит его невменяемым, тогда он подчинился и удовлетворился таким распорядком, при котором он продолжал владеть своими деньгами, лишь закрывая на этот факт глаза и пользуясь комфортом под личиною лишений. Он сам жил в крайней простоте, пользовался, однако, полною свободою, покоем и тишиной для своей работы, носил удобный и своеобразный костюм и всегда пропитанное духами белье, получал обильный вегетарианский стол и наслаждался оживленной семейной жизнью в деревне и в городе.

Толстой страстно разоблачает противоречия буржуазного общества. Но чем ревностнее он возвещает учение о сокращении своих потребностей, тем больше дохода приносят издания его книг. Правда, из Ясной Поляны ежегодно раздается рублей 2—3 тысячи, но сам владелец — миллионер. Это благотворительность, а не христианство. И это отношение Толстого к частной собственности, отношение, столь резко противоречащее его коммунистическому учению, Мережковский делает центральным пунктом при изображении сущности Толстого как человека и гения.

Своею болезненностью эпилептика, своею жизнью в вечной бедности и под гнетом самых жестоких унижений Достоевский является полярною противоположностью Толстому с его крепким здоровьем и обеспеченным материальным положением. Как сын простонародья, он прямая противоположность Толстому-дворянину. Как сибирский каторжник, перенесший всякого рода душевные и телесные страдания, он противоположен Толстому — богатому и счастливому помещику. Как христианин по инстинкту, он противоположен Толстому, пришедшему к христианству

путем трудной борьбы. Между тем как старый блузник из Ясной Поляны всячески старается увернуться от денег, которые являются к нему непрощеными, Достоевский всю жизнь свою прожил в погоне за копеечкой, чтобы покрыть свои долги и обеспечить свое существование, пока, наконец, в самые последние годы его жизни вторая жена его не упорядочила его дела. Между тем как для Толстого смерть является резким и ужасающим пресечением жизни, Достоевский умирает, так сказать, всю свою жизнь, все вновь и вновь переживая тот ужас смерти, который наваял на него в юности произнесенный над ним смертный приговор.

Сердце Мережковского принадлежит Достоевскому. Критик выдвигает вперед все его преимущества и отодвигает на задний план все его недостатки, так что они едва заметны. При скромности Мережковского-художника, при его осторожности в отношении всего, касающегося половой жизни — эта осторожность присуща русской литературе вообще — следовало бы ожидать, что кошмарное (хотя и осторожное) отношение Достоевского к половым переживаниям вызовет в нем тревогу и антипатию. Но многое прощается Достоевскому за то, что он обладает христианским укладом души. Даже преступные в половом отношении черты его фантазии, даже те омуты болезненной похоти, в которые он дает заглянуть своему читателю, трактуются Мережковским с великою снисходительностью. Зато Достоевский справедливо превозносится за тот открытый и широкий взор, которым он обнимал европейскую литературу, между тем как толстовское отрицание самых различных книг и произведений искусства не менее справедливо выставляется на суд читателя.

Противоположность художественных приемов обоих этих писателей блестяще выявляется Мережковским, когда он говорит, что у Толстого, при чуждых его натуре полутонах и недостающем его стилю искусстве, но при той упругой телесности, которую все принимает у него, мы слышим людей потому, что видим их; у нетелесного же Достоевского мы, благодаря мастерскому диалогу, видим людей лишь потому, что слышим их.

Интересно также указание на то, что лишенная всякого содержания мысль Ницше о вечном повторении жизни земли в совершенно той же форме высказана уже чертом в «Братьях Карамазовых»; там черт заявляет, что мир уже повторился, пожалуй, биллион раз. Мережковский особенно наслаждается возможностью привести в связь эти два излюбленные им имени — Ницше и Достоевский.

После тривиальности, вымученное глубокомыслие является худшим пороком критика. Мережковский никогда не тривиален, но слишком часто страдает изысканностью и вымученностью. Неужели его русские читатели действительно считают естественным то, что он упорно сопоставляет Пушкина с Рафаэлем, Толстого с Микеланджело и Достоевского с Леонардо? Надо во всяком случае быть русским, чтобы делать такие сопоставления и наслаждаться ими.





Б. ЭЙХЕНБАУМ

Д. С. Мережковский — критик

I

Д. С. Мережковский как исследователь русской литературы и как ее «тайновидец» — это то, что требует сейчас серьезного, принципиального отпора. Импрессионизм, и в искусстве, и в критике, отжил свое время. Борьба «непосредственности» с «рассудочностью» определила внутренний пафос импрессионизма, создала его идеологию и закончилась полной его победой. Но победа обязывает больше, чем поражение. Оружие, которым побежден враг, должно храниться в Музее, как реликвия. Действовать им же после победы — это и кощунство, и бессилие. *Рассудок* побежден и унижен — тем радостнее и спокойнее должен вступить в свои права *разум*. Интуиция не может ужиться только с рассудком, ее отвергающим; для разума она — желанная сотрудница. О непосредственности можно говорить только до тех пор, пока рассудочность надеется на победу. Если этого нет — надо строить новое.

Мережковский никогда не был импрессионистом настоящим, его менее всего можно упрекнуть в «непосредственности»; он — рассудочен и силлогистичен, он — почти педант, но силлогизмы его — какие-то изменчивые, странно подвижные, точно и не силлогизмы. За ними всегда чувствуется не интуиция, а формула, в них самих мысль не вспыхивает, но тлеет, а между тем они имеют вид неожиданных открытий, озарений, потому что они — мгновенные, без ясных посылок, без соблюдения логических законов. Рассудочность, облеченная в импрессионистическую форму — вот своеобразный метод Мережковского. Недаром он на наших глазах превращается в публицистического критика: публицистика его — рассудочна и тенденциозна, но это едва замет-

но, потому что в критике он — как бы импрессионист. Публицистом трудно быть потому, что в самой практике своей он должен быть глубоко теоретичен, в самой стойкости — многосторонен и подвижен. Для критика — трудность иная: перед ним — вечно меняющийся, вечно живой мир образов, который он должен обфилософствовать, должен почувствовать в их расположении внутренние законы, приводящие их в систему, должен вскрыть их метафизическую сущность. Мережковский соединяет одно с другим, но так, что в каждом исчезает трудность: педантизм свой он скрывает в форме публицистической принципиальности, а критическому анализу сообщает импрессионистическую «легкость в мыслях». Получается нечто и чичиковски-тяжеловесное, и хлестаковски-воздушное одновременно.

Может показаться, что Мережковский возрождает старую нашу критику — недаром читал он лекцию о Белинском. Может даже показаться, что он не Белинским хочет быть, а Добролюбовым или Писаревым наших дней — так много говорит он о «сегодняшней нашей общественности». Но это только кажется. Публицистическая критика Мережковского явилась плодом разложения, и потому она — во сто раз больший грех по отношению к литературе, чем критика 60-х годов. То были, как говорит сам Мережковский, наши «рабочие будни», когда честность обязывала видеть в поэзии лишь праздник. В творчестве Писарева и Добролюбова есть свой внутренний стиль, это — наши примитивы, и, как таковые, они исторически обоснованы и оправданы. За Мережковским и в нем самом — не будни, но пир, почти оргия. Он не только пил новое и хмельное вино русского декаданса, но и сам творил его, сам растил для него виноградники и лелеял сок. Отрицать это Мережковский и не дерзает: мы, говорит он, декаденты, «дети ночи» по преимуществу. И потому те новые будни, та «сегодняшняя общественность», к которой он теперь призывает и ради которой отрекается от «вчерашнего декадентства» — не просто будни и даже не великий пост, смысл которого — подготовить душу к принятию грядущих светлых дней, а что-то другое. Положение Мережковского — очень серьезное, и тем серьезнее, что он его, по-видимому, не понимает. Он хочет избавиться от «вчерашних» болезней — «индивидуализма, одиночества без общественности», хочет «выздороветь» и стать «сегодняшним». Само по себе это желание ничего дурного не знаменует, но оно страшно *обязывает* человека. Каяться в своих грехах труднее, чем совершать их, потому что настоящее, глубокое покаяние требует величайшей искренности, величайшего благородства. Отре-

катся от своего «вчера» легко, но трудно сделать это так, чтобы новое «сегодня» не усомнилось, не заподозрило. Можно очутиться «в страшном промежутке», между «вчера» и «сегодня», если в отречении будет хоть один неверный звук, хоть одно придуманное слово. «Сегодня» радостно принимает новых членов, но оно всегда — строгое, пытлиное, оно всегда вслушивается внимательно в то, *как* отрекаются от своего «вчера». И вот этого-то Мережковский, очевидно, не понимает.

«К Некрасову мы были неправы в нашем декадентстве вчерашнем, — пишет Мережковский, — *будем же неправы и к Тютчеву в нашей сегодняшней общественности*, чтобы восстановить правоту последнюю, понять и соединить обоих». Мне не хочется говорить о том, что формально неправильно такое своеобразное применение гегелевской триады: антитезис должен верить в свою правоту — только тогда возможен синтез. Неправда *должна* быть бессознательной, потому что иначе она — обман, который ни к какой «последней правоте» привести не может. И вот именно *так* нельзя отречься от своего «вчера», а тем более невозможно *так* относиться к новому «сегодня». Каждое «сегодня» верит и *должно* верить (в этом — героизм истории) в то, что ему суждено открыться или создать эту «правоту последнюю», и потому зовет оно к себе и принимает только верующих. А Мережковский, если даже и верит, то только в какое-то неопределенное будущее, в какое-то завтра. Отсюда — его неуважение к «сегодня», несмотря на кажущееся перед ним преклонение. Отсюда же — его легкомысленное отречение от «вчера». Первое проявляется в его «приятии» Некрасова, второе — в отказе от Тютчева и в предпринятом для этого искажении его поэзии.

Мережковский не хочет быть «эстетом», потому что «эстетизм становится пошлостью». Он гордится этичностью русской литературы и готов «жизнь» предпочитать «искусству». Но странно — Некрасова он не решает «сравнивать» с Пушкиным, находя это «эстетическим промахом», а о Пушкине говорит: «Узнав о 14-м декабря, поэт выехал из Михайловского, а когда заяц перебежал ему дорогу, — вернулся обратно. *Не хотел быть мучеником*. У него была иная судьба — и благо ему, благо нам, что он исполнил ее: *мучеников много у нас, Пушкин — один*». Мережковский говорит о зайце, но умалчивает о той сложности, какая была в отношениях между Пушкиным и декабристами. С этими фактами нужно быть очень осторожным, а Мережковский над комментарием не задумывается. «Не захотел быть мучеником» — это, в сущности, оскорбительно для памяти Пушкина, но Мереж-

ковский умеет обезоружить неожиданным комплиментом: «Пушкин — один». Читатель может быть сбит с толку такой умственной эквилибристикой и не заметить, в каком «промежутке» оказался здесь Мережковский. Он хочет быть этичным в самой эстетике, а между тем проявляет в отношении к Пушкину чистейший «эстетизм», так комментируя поступок Пушкина. В своем усердии к этике Мережковский не удержался — и пришлось вернуться к эстетизму: «мучеников много у нас, Пушкин — один». Ведь это — уже не эстетический, а этический промах!

Теперь посмотрим, что такое — Некрасов для «сегодняшнего» Мережковского. Мережковский полагает, что сейчас *«нужно»* говорить о Некрасове, потому что это — «явление в русской литературе единственное, *единственный художник**, соединяющий любовь к народу с любовью к свободе, религиозную правду народную с религиозной правдой всечеловеческой». И дальше: «не мы к нему, а он к нам идет, как будто нежданный, незванный, непрошенный, *хотим-не хотим, а принять его надо*». Признание — замечательно характерное; кажется даже, что здесь обычная «хитрость» Мережковского изменила ему. Не он зовет Некрасова, не он творит это «сегодня», которому будто бы поклоняется — все это наступает на него, «нежданное, незванное, непрошеное». И потому, несмотря на этическую внешность, отношение Мережковского к Некрасову остается неисправимо-эстетическим в самом дурном смысле этого слова. Он не только не решается «сравнивать Некрасова с Пушкиным по силе творчества», но просто не чувствует Некрасова *художником*. Он готов простить Некрасову его «художественные неудачи», которые, замечается мимоходом, «так на виду, что о них и говорить не стоит». Оказывается, что вот именно «единственного *художника*» Мережковский в Некрасове и не признает, *творчества* не приемлет, а приемлет только слова: «Читая это, — говорит он об одном стихотворении Некрасова, — мы об искусстве не думаем: *не до того. Слишком живо, слишком больно***, — этого почти нельзя вынести. И только потом, вспоминая, чувствуем, что это предел искусства, тот край, за который оно переливается, как чаша слишком полная». Очень характерны для «эстетизма» эти — «не до того» и «слишком» и, кстати, очень банальны. «Эстетизм» не исключает этики — он только не желает вступать с нею в соединение, держится в стороне, считая союз с нею унижительным. Мережковский «приемлет» Некрасова только в пределах этики —

* Курсив мой.

** Курсив мой.

к Пушкину он его не пускает, в «художественных неудачах» его не сомневается. Он отнимает у Некрасова то, что было ему дороже жизни — венок артиста; он вырывает из рук его лиру, смягчая это своей обычной хитростью: «Кажется, что у музы Некрасова нет вовсе лиры, а есть только голос... Не играет, а поет; не поет, а плачет». Так что же на самом деле — *поет* или *плачет*? Странно, что после того, как о Некрасове писали Бальмонт, Брюсов, А. Белый * и др., Мережковский повторяет слова Пыпина — «прямо о деле», находя, что «лучше нельзя выразить сущность этой поэзии». За «дело» любить Некрасова не трудно — все его так любили! Пора теперь полюбить его за поэзию, за ритм, пора понять, что он, действительно, «единственный художник». Поклонение Мережковского оскорбительно: «Как же нам не любить его? Каковы мы, таков и он. Если он плох, значит, и мы плохи, но он все-таки наш плоть от плоти, кость от кости, наш единственный. Что же нам делать, если нет у нас другого, лучшего? (!) *Отречься от него, значит от себя отречься*» **. Здесь опять хитрость изменила Мережковскому. Слишком уж ясно видно, что Мережковский Некрасова не любит, а любит себя, что он готов всегда заменить Некрасова «другим, *лучшим*», если только найдется. Это не любовь, а обман.

Если в главе о Некрасове Мережковский банален и даже не всегда умеет прикрыть эту банальность своей «этической» хитростью, то в главе о Тютчеве, за которую Мережковский должен ответить перед судом «нашей сегодняшней общественности», хитрость его достигает своего апогея. Здесь его окрыляет восторг измены, сладость отречения, сладость сознательной несправедливости, неправды и неправоты. Там, в главе о Некрасове, Мережковский скучен, вял, он сам зевает и через силу водит пером, соглашаясь хоть с Пыпиным, чтобы только скорее дотянуть до конца; здесь Мережковский — в экстазе, он — неуправляем, он переходит всякие границы, неистовствует, беснуется и лжет. Оправдание для этого есть: «Трудно больному судить о болезни: так трудно нам судить о Тютчеве, быть к нему справедливым; и может быть, не следует. Быть справедливым, *только* справедливым — значит быть неподвижным. Двигаться — нарушать равновесие, нарушать справедливость. Будем же не только справедливы к Тютчеву, будем любить и ненавидеть его до конца, — иначе

* См. напр., в книге «Символизм» подробное описание некрасовского стихотворения «Смерть крестьянина» со стороны ритма и «словесной инструментовки» (стр. 242—254).

** Курсив мой.

не поймем, а понять его нам *нужно*: понять его — значит выздороветь». Мережковский хочет «двигаться» от «вчерашнего декадентства» к «сегодняшней общественности» — потому к Тютчеву, очевидно, можно и *нужно* быть несправедливым. Мгновенным силлогизмом, прихотливо соединяющим хитрую рассудочность с будто бы наивной непосредственностью чувств, Мережковский находит выход из двух возможных отношений к вещам — справедливого и несправедливого — в несуществующем третьем, разрешая себе быть «не только справедливым», но и «любить и ненавидеть». Это, по тому же силлогизму Мережковского, означает — не только «быть неподвижным», но и двигаться, не только сохранять равновесие, но и нарушать его. Именно таков своеобразный метод Мережковского, именно так работает его мысль, всегда придумывая то «*tertium*», которое «*non datur*»*. Он неподвижен в своей рассудочности, а между тем, если смотреть на него издали, кажется, что он непрерывно движется, меняя сегодня то, во что он вчера верил. Он неизменно уравновешен, а посторонним кажется, что он все время нарушает равновесие. Он всегда — только несправедлив, а иному может показаться, что он любит и ненавидит «до конца». Он совершенно «здоров», потому что умеет быть неподвижным и несправедливым, а хочет другим показать, что всегда болен и всегда надеется «выздороветь». Отсюда — эти замечательные «не только, но и...», отсюда — акробатические силлогизмы, в которых с помощью волшебных тире соединяется несоединимое, отождествляется неотождествимое. При помощи этих тире Мережковский показывает ошеломленным читателям то «*tertium*», которое казалось невозможным, несуществующим. Не существует — можно *выдумать*. И Мережковский выдумывает.

Тютчев, «беспомощный и убогий» в руках такого ловкого фокусника, мгновенно превращается в колдуна, в «зеленого старичка». Мережковский — зоркий, пристальный, «ум скор и сметлив, верен глаз, воображенье быстро». У Тютчева — и комната жарко натопленная, и шуба поношенная, и «ни на одну пуговицу не застегнут, как следует», и предок у него был «хитрый муж» и т. д. Чем дальше, тем быстрее мчится воображение Мережковского, тем легче вылетают слова: Тютчев «успокоился на теплом местечке», в его жизни — «что-то недоброе, неладное, какая-то злая сила». Тютчев бежал от славы, бежал от людей, «только и думал о том, как бы выбежать из России, жил, как все русские

* третьего не дано (лат.).

интеллигентно-безбожники», отрекся «от языка (?!), от родины, от веры отцов», «просидел всю жизнь в халате обломовском, хлопковском, *что-то писал* (?), бросал бумажки в огонь, да вздыхал, глядя, как тлеют они». Можно ли возразить Мережковскому, можно ли спорить с ним? Фокус всегда остается фокусом и никогда не становится чудом; фокусник, как бы ловок он ни был, остается ремесленником, а «тайновидцем» сделаться не может. Кому придет в голову беседовать с фокусником о чудесах? Мережковский понимает, что «толковать» Тютчева по существу — трудно, что это почти всегда «значит превращать алмаз в уголь»; он предпочитает поэтому незаметно для зрителей подменить алмаз — «кристаллами цианистого кали», и фокус обеспечен. В этом жесте — весь секрет главы о Тютчеве. Недаром Мережковский так смеется над Вл. Соловьевым, который, конечно, не решился бы на такой жест: «Мы уже не ошибаемся, как Вл. Соловьев; не примем за поваренную соль кристаллы цианистого кали». Но и мы не ошибемся — не примем Мережковского за «тайновидца» и спорить с ним не станем. Надо только на каком-нибудь примере показать, что Мережковский — фокусник; тем самым обнаружится, что спорить с ним о *тайнах* — бесполезно и просто несоответственно.

Посмотрим, как понимает Мережковский «древний Хаос» Тютчева — то, над чем так много думал Вл. Соловьев и выяснению чего посвятил целую статью, в которой Мережковский ничего, кроме «поваренной соли», не замечает. Мережковский, как новый Сальери, отравляет Тютчева «кристаллами цианистого кали» — какое ему дело до статьи Вл. Соловьева! Тютчев поет о «родимом хаосе» — Мережковский толкует: «если тот мир — хаос, разрушение, уничтожение этого мира, то нет никакой точки опоры для воли, для действия: ухватиться не за что, опереться не на что; за что ни ухватишься, — все тает, как дым; на что ни обопрешься, — все рушится. И делать нечего, — ничего не стоит делать, игра не стоит свеч. Вот почему буддизм — религия бездействия, религия по преимуществу созерцания. Такова религия Тютчева». По Мережковскому выходит, что весь «тот мир» есть сплошной хаос и что хаос значит — «уничтожение». Это просто неверно. Термин «Хаос» (не — хаос!) имеет свою историю и свою теорию — нельзя толковать его в любом направлении. Надо помнить, что Тютчев жил не только «по Хлопову» (дядька Тютчева), но и «по Шеллингу»; надо знать, что поэтическая терминология Тютчева корнями своими уходит в ту почву, на которой возросло творчество немецких романтиков. Фридрих Шлегель писал, что хаос «только ждет прикосновения *любви*, чтобы

развиться в гармонический мир» *. Пусть бы Мережковский возражал против *такого* термина — нет, он сам толкует и сам себе возражает, а неосведомленному читателю может показаться, что Мережковский делает открытие. Хаос — разрушение, уничтожение этого мира, значит — все рушится, значит — «кристаллы цианистого кали». Фокус удался — «такова религия Тютчева».

Каких жестов бояться Мережковскому? «Славобоязнь — человекобоязнь. Славобоязнь — светобоязнь». Отсюда выводится, что Тютчев бежал от людей, боялся света. О последних строках «Осеннего вечера», поистине — самых святых во всей русской лирике:

Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья —

Мережковский пишет: «Любовь к страданию — любовь к злу, к разрушению, к хаосу». А о стыдливости — ни слова. Между тем в главе о Некрасове говорится: «Но что же делать нам, обыкновенным людям, не подлецам и не героям? А то же, что делал Некрасов, — сгорать, *сжигать себя на медленном огне стыда*. Огонь стыда — огонь совести». Замечательно, что огонь *стыда* Мережковский признает, а о *стыдливости* молчит. Он о стыде своем, о «вчерашнем декадентстве», вещает открыто, а страдать от стыда своего не умеет и тем более не понимает, что значит — «возвышенная стыдливость страданья». О политике Тютчева он восклицает: «Что за бессмыслица или что за бессовестность! Кощунство из кощунств, мерзость из мерзостей!» Как бы ни относиться к политическим взглядам Тютчева — нельзя говорить так о прошлом, потому что оно уже принадлежит истории и само отвечать не может. Нельзя произвольно толковать предсмертные слова человека, нельзя писать о последних минутах Тютчева: «Какова жизнь, такова и смерть: в молчании жил, в молчании умер».

* *Ioachimi M.* Die Weltanschauung der deutschen Romantik. Iena: Diederichs, 1905. С. 39. Там же — слова Шлегеля: «Nur diejenige Verworrenheit ist ein Chaos, aus der eine Welt entspringen kann... Die höchste Schönheit, ja, die höchste Ordnung ist denn doch nur die des Chaos», т. е.: «Только такое смешение есть хаос, из которого может возникнуть мир... Высшая красота и даже высший порядок есть поэтому только в хаосе». Так понимал этот термин и Вл. Соловьев, когда писал: «Это присутствие хаотического, иррационального начала в глубине бытия сообщает различным явлениям в природе ту свободу и силу, без которых не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота в природе — это борьба и торжество света над тьмою, но этим необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила» («Вестн. Евр.». 1895. IV).

Фокусник должен знать свое место, свой предел и до настоящих тайн — не дотрагиваться.

В заключение Мережковский невинно спрашивает: «Если сейчас Некрасов и Тютчев так враждебны в нас, то не примирятся ли в детях или внуках наших? Вопрос о нашем будущем не есть ли этот вопрос о соединении Тютчева с Некрасовым?» Мережковский любит противопоставлять «вчера» и «сегодня», чтобы эстетически любоваться этим контрастом, а дело соединения — поручать детям и внукам. К Некрасову — «мы *были* неправы», к Тютчеву — «*будем* неправы». Это — старая его привычка, старая его склонность к «пифизму», о которой писал еще Вл. Соловьев: «У почтенного г-на Мережковского его пифизм или оргиазм выражается только формально — в неясности и нечленораздельности его размышлений». С тех пор положение несколько изменилось — пифизм Мережковского стал менее формальным, но зато более дерзким, более вредоносным. Он не только проникает в «тайны русской поэзии» — он даже пророчествует о детях и внуках наших. А на самом деле Мережковский — в промежутке между «вчера» и «сегодня», между Некрасовым и Тютчевым, между эстетикой и этикой, между публицистикой и критикой, каким-то вечно кающимся в грехах и болезнях своих фарисеем, заносчивым и лицемерным в самом своем покаянии. Пусть отрекается он от своего «вчера» — это его привычка или, может быть, болезнь, но «*наша сегодняшняя общественность*», выслушав его покаяния и оценив приемы отречения, должна резко отграничить себя от него. Кто *так* отрекается, тому верить нельзя. Будем «*только* справедливы» к Тютчеву — этого достаточно, чтобы Мережковского отвергнуть «до конца».





Н. БЕРДЯЕВ

Новое христианство

(Д. С. Мережковский)

I

[Другой тип] (Одно из течений) русской религиозной мысли можно условно назвать новым религиозным сознанием или неохристианством. Для этого типа характерна не жажда возврата в материнское лоно Церкви, к древним преданиям, а искание новых откровений, обращение вперед. В этом течении религиозной мысли пророчество всегда побеждает священство и пророческим предчувствиям отдаются без особенной осторожности, без той боязни произвола и подмена, которая так характерна для Булгакова, свящ. П. Флоренского, Эрнэ и др. Настоящего дерзновения религиозной мысли и здесь нет, но меньше оглядки, больше игры человеческой талантливости. Центральной фигурой в этом типе религиозной мысли является Д. С. Мережковский *. Целое течение окрашено в цвет мерещковщины, принимает его постановку тем, его терминологию, его устроенность. В отличие от Булгакова, более жизненного, с одной стороны, и более умственного — с другой, Мережковский весь вышел из культуры и из литературы.

Он живет в литературных отражениях религиозных тем, не может мыслить о религии и писать о ней иначе, как исходя из явлений литературных, от писателей. Прямо о жизни Мережковский не может писать, не может и думать. Он — литератор до мозга костей, более чем кто-либо. И из литературы, из своей родной стихии, вечно убегает Мережковский к жизни и к сократым

* После написания моего этюда Д. С. Мережковский написал еще много книг, напечатанных и на иностранных языках, но эти книги дают мало нового для характеристики его мирозерцания.

в ней религиозным тайнам, к действию. Никто так не жаждет преодолеть литературу, как литератор по преимуществу Мережковский, никто так много не говорит о действии. Через Достоевского и Толстого открывает Мережковский конец великой русской литературы, ее неизбежный переход к новому религиозному откровению и новому религиозному действию. И открытый им конец литературы он почувствовал как наступающий конец мира, как апокалипсис всемирной истории. С тех пор Мережковский ждет конца и все по-новому и по-новому провозглашает конец. Но темы, поставленные великой русской литературой, всегда для него остаются его исходным пунктом, прежде всего и больше всего Толстой и Достоевский. Над душой Мережковского, по видимому, имеет неотразимую власть пленительность слов и словесных конструкций. Иные слова звучат для него как откровения. Это откровение всегда вторичное, отраженное. Но нужно сказать, что и сами слова обладают большей реальностью, чем это принято о них думать.

Огромное влияние оказал на Мережковского Розанов, его постановка религиозных тем, его критика христианства. Как ни враждебен сейчас Мережковский Розанову, но и доньше не может он освободиться от обаяния розановской религии плоти, и ему импонируют те непосредственные розановские мироощущения, которых нет у него самого. Мережковский некогда провозгласил Розанова русским Ницше. Розанов несомненно предопределил подход Мережковского к христианству, привил ему христианские темы в своей постановке. Розанов органически связан с православным бытом, вышел из него и может мыслить только от него. Он не чувствует веселия духа и подъема, когда нет против него православного священника, нет вокруг него тепла православной плоти. Православная восковая свечечка — родная и близкая Розанову, и он хочет сохранить ее даже в моменты своего антихристового восстания против Христа. Он — церковный человек по своим истокам, и он произносит свою хулу на Христа, неслыханную по дерзости, как свой человек. Это импонирует Мережковскому, такому оторванному от всего церковного, такому далекому от всего православного. Он даже как будто бы впервые знакомится с православием по отрицательной критике Розанова. Он и теперь, после всего длинного своего пути, плохо знает православие и говорит о нем со стороны. Свое религиозное питание и воспитание Мережковский получил на религиозно-философских собраниях, отчеты о которых печатались в «Новом Пути». Там встречался он с представителями православного духовенства, с православными монахами, там слушал вдохновен-

ные речи апокалиптика В. А. Тернавцева, пророчески возвещавшего правду о земле, которая раскроется в хилиазме. На этих религиозно-философских собраниях, которые должны быть признаны очень значительным фактом в нашем религиозно-философском брожении, встречались представители новой культуры с представителями старого православия, и от этой встречи родились новые темы. Вокруг этих религиозно-философских собраний образовалась атмосфера новых религиозных исканий. Но одному Мережковскому удалось создать целую религиозную конструкцию, целую систему неохристианства. Он претворил в своей конструкции и темы Толстого и Достоевского, и религию «плоти» Розанова, и хилиастическую «правду о земле» Тернавцева, и все споры религиозно-философских собраний об отношении христианства к культуре и к земле, и все предчувствия нового откровения. В нем меньше религиозной инициативы, чем у Розанова и Тернавцева, но значение его было основное для интересующего нас типа религиозной мысли.

II

Вся религиозная мысль Мережковского вращается в тисках одной схемы, в эстетически для него пленительном противопоставлении полярностей, тезиса и антитезиса, в мистически волнующем его ожидании синтеза, откровения третьей тайны, тайны соединения полярностей*. Весь Мережковский в антитезах христианства и язычества, духа и плоти, неба и земли, общности и личности, Христа и Антихриста и т. д. и т. д. Мысль Мережковского не сложна и не богата. Как мыслитель он однообразнее и беднее Булгакова. Блестящий литературный талант Мережковского, его дар художественных схематических конструкций, его исключительное умение пользоваться цитатами скрывают бедность и монотонность мысли, маскируют его гностическую неодаренность, его нелюбовь к познанию и его недостаточную философскую подготовку. Он гипнотизирует блестящими словесными антитезами, противоположениями, соединениями и сопоставлениями, которыми и сам загипнотизирован. Романти-

* Для характеристики Мережковского я более всего пользовался его двухтомным трудом «Л. Толстой и Достоевский», его романами, сборником «Не мир, но меч», а из новейших его писаний: «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» и сборник «Было и будет». Романы Мережковского, несмотря на их тенденциозность, все-таки очень интересны.

ческая эстетика Мережковского всегда требует крайностей, бездн, полюсов, пределов, последнего и легко впадает в риторичность, для многих неприятную. Мережковский совершенно не выносит переходного, среднего, для него не существует индивидуального, оттенков, множественного в мире. Он одержим пафосом всемирности, принудительного универсализма, характерного для латинского духа, для римской идеи. Эту жажду всемирного соединения он получил, по-видимому, от Достоевского. Весь мир и всю мировую историю Мережковский воспринимает лишь на полюсах, лишь в аспекте Христа и Антихриста. Все многообразие мировой жизни, вся огромная сфера относительного выпадает из его восприятия, не интересуется его, или насильственно приводится им к полярным безднам. В нем нет и крупицы гетевской мудрости, проникающей в космическую множественность. Мережковский ничему не дает жить самостоятельной жизнью и ничего не считает самоценным. Все обращается в средство для установленных им абсолютных пределов. Отсюда рождается утилитаризм, возвышенно-корыстное отношение к людям, к ценностям, к жизни. Мережковский более насильствен, чем ортодоксальные православные. Он — политик в мистике и мистик в политике по первоначальному своему чувству жизни. Всякое бескорыстное созерцание, всякое интимное творчество ценностей для него невыносимо. Ему совершенно чужда история мистики и гностицизма. Философскими понятиями, философскими терминами он принужден пользоваться, но совершенно безответственно. В религиозной мысли он остается художником-схематиком. По философской культуре, по знанию религиозного и мистического прошлого человечества все течение, связанное с Мережковским, стоит гораздо ниже того типа религиозной мысли, которое я определил бы как возрождение православия. Мережковский влияет преимущественно на тех, которые находятся на первых стадиях религиозного пути и обладают небольшим еще религиозным опытом. Вряд ли возможно его глубокое влияние на людей более религиозно умудренных. Но этим я не хочу отрицать большого значения Мережковского и поставленных им тем.

Вечно стремится Мережковский к синтезу, к третьему, совмещающему тезис и антитезис, к троичности. Все время дает он понять, что в нем заключается третья тайна, выход из двух противоположных тайн, из антитезисов. Все манит Мережковский и соблазняет этой своей тайной, намекает на нее, слегка приоткрывает ее и вновь обволакивает ее туманом, двойственностью, неясностью употребляемых им словосочетаний. Свои тезисы и

антитезисы любит Мережковский связывать с писателями или художниками, которых берет парами. Леонардо да Винчи — тезис, Микеланджело — антитезис; Достоевский — тезис, Л. Толстой — антитезис; Тютчев — тезис, Некрасов — антитезис и т. д., и т. д. Тайна духа и тайна плоти, тайна неба и тайна земли, тайна личности и тайна общности, бездна верхняя и бездна нижняя — в этих противопоставлениях протекает все мышление Мережковского. Все и всех подводит он под одну схему, под один трафарет. Образуется клише, посредством которого почти автоматически находится выход из двух безвыходных тайн в третьей тайне, из двух взаимоисключающих антитез в синтезе самого Мережковского. Настоящей энергии творческой мысли в этом не чувствуется. Синтез Мережковского остается чисто ментальным, формальным, схематическим, бессильным. У него есть задание великого синтеза, вечный призыв к тому, чтобы синтез совершился, надрывный крик о синтезе, но нет самого жизненного и познавательного синтеза. Мережковский очень ментален, но то, что он делает, не есть познание. Своей беспомощности и своему бессилию религиозно синтезировать стоящие перед ним антитезы он придает принципиально мистическую окраску. Он остается в вечном двоении, и это двоение — наиболее характерное, наиболее оригинальное в нем. Ему нравится это двоение, это смешение образа Христа и Антихриста, эта неясность в различении подлинного и обманного. Лица и личины, бытия и небытия. *Тайна Мережковского и есть тайна двоения, двоящихся мыслей, а не тайна синтеза, не тайна троичности.* В самом начале своего религиозного пути, когда Мережковский писал свою работу о Толстом и Достоевском, лучшее из всего им написанного, он пытался синтезировать Христа и Антихриста, Богочеловека и человекобога. Но потом почувствовал, что в христианстве, даже новом христианстве, такой синтез невозможен, и стал убежать от антихристового духа в себе самом. Вот уже (много) лет [десять] убегает Мережковский, от себя и никак не может убежать. Это, конечно, творчески обессиливает его. Некогда эстетически пленился он цезаризмом, мистическим самодержавием и не может освободиться от этого образа. Борьбу с пленившим его образом он принимает за борьбу с мировым злом. Поставленные Мережковским религиозные темы значительны и велики, они волнуют и тревожат. Но бессилие внутренне разрешить религиозные проблемы, творчески раскрыть новое, небывшее, пророческое приводит Мережковского к вечному ожиданию нового откровения Духа, откровения трансцендентного, а не имманентного, к перенесению центра тяжести вовне. Откровение третьего Завета со-

вершится не имманентно, не из глубины человека, не из творческой его энергии, а трансцендентно, извне, над человеком. Мережковский верит в апокалиптическое разрешение всех нерешенных и неразрешимых христианских проблем. Но эта апокалиптическая религия не есть антропологическое откровение, это — апокалипсис — трансцендентный, а не имманентный. И для Мережковского, как и для Булгакова, все трансцендентно, и это литературно выражается в необыкновенной его тенденциозности как художника, мыслителя и публициста. Все у него оказывается заданной со стороны тезой, а не внутренней энергией, не светом из глубины.

III

Мережковский очень пугает ортодоксальных православных своей новой религией третьего Завета. Но, в сущности, он стоит на той же ортодоксально-догматической почве, что и Булгаков, что и свящ. П. Флоренский и многие другие. Его религиозное сознание должно быть отнесено к трансцендентному типу религиозной мысли. Он принимает экзотерически-догматическое христианство, но с меньшими правами и основаниями, чем Булгаков или Флоренский. Он решительный и крайний религиозный материалист, и своим художественно выраженным религиозным материализмом он даже повлиял на современных православных, которые настаивают на святой плоти не менее, чем неохристиане. Подобно Булгакову, Мережковский принимает христианство в его предметной объективизации. Обнаружение вовне он отождествляет с сокровенной сущностью. Подобно Булгакову, Мережковский ищет центра вне сокровенной глубины духа, ищет источника откровений вне имманентного духовного опыта, вне человеческого творчества. Подобно Булгакову, он исходит не из религиозной автономии, не из духовной свободы, не из нового рождения, а из трансцендентной авторитарности. Но эта трансцендентная авторитарность утверждается им произвольно, вне живой связи с преданием, что ставит его в фальшивое и противоречивое положение. Он ждет трансцендентного откровения сверху и извне, а не имманентного откровения из глубины и изнутри, но трансцендентный авторитет у него иной, чем в церковном предании и преемственности. И еще более Булгакова он находится в плену у внешнего, наружного, материально-предметного, феноменального. Подобно Булгакову, не любит и боится Мережковский гнозиса, имманентно-свободного богопознания.

Но он менее Булгакова подготовлен для суждения о религиозном гнозисе, меньше знает. Мережковский не стоит на высоте религиозно-познавательных задач нашей эпохи. Он не сознает имманентной неизбежности обращения к тайнам космической жизни.

Мережковский очень любит противопоставлять созерцанию — действие, гностицизму — прагматизм. Это излюбленная его антитеза, к которой он особенно часто прибегает в последнее время. Старое христианство — созерцание, гностицизм. Новое христианство — действие, прагматизм. Но это противоположение совершенно внешнее и поверхностное. И в старом христианстве было много действия, даже внешнего исторического действия, оно было исторической силой и было слишком приспособлено к истории мира сего. И в новом христианстве должно быть созерцание, ибо само созерцание есть сокровенное действие, преобразование мира. Новое религиозное сознание не может не иметь гностической стороны. Гнозис переводит от внешнего, экзотерического, исторического христианства к христианству мистическому, эзотерическому, внутреннему. Этого сознания Мережковский совершенно лишен. И он обречен на непонимание «исторического» в христианстве. Он приписывает историческому христианству ту духовность, ту созерцательность, которых в нем именно [нет] (мало), и отрицает в нем ту историческую действительность, ту материалистичность и плотскость, которая именно в нем есть. Это смешение — результат гностической слабости самого Мережковского. В критике исторического христианства, которую Мережковский сделал делом своей жизни, нет гностической и мистической углубленности. Он не видит в церковном историческом христианстве «мир», и его ужасает христианский аскетизм, представляющийся ему уклоном к буддийскому небытию. Но в церковном историческом христианстве было слишком много «мира», слишком мало исторического очищения, и к его критике следовало бы подойти именно с этой стороны. Но проблема была сразу же затемнена для Мережковского его исходным религиозным материализмом, очень старым, ветхим материалистическим религиозным сознанием.

IV

Мережковский изначально пленился звуком слова «плоть» и с святой плотью связал самые сладостные, самые интимные и заветные свои упования. Но что разумеет он под плотью, так и ос-

талось невыясненным. «Плоть» многозначна у Мережковского, и он постоянно играет этим пленительным словом. Сама эта многозначность помогает ему. Прежде всего «плоть» для Мережковского означает антитезу аскетическому мироотрицанию, которое он видит в историческом христианстве. «Плоть» есть нижняя бездна, противоположная небу, духу, бездне верхней. Эстетически устанавливаемый антитезис «плоти» есть способ критики исторического христианства. По положительному своему содержанию «плоть» означает и мир, и космос, и землю, и пол, и всю культуру с «науками и искусствами», с любовью и общественностью, и тело, предназначенное к воскресению. Откровение «плоти» есть откровение о земле, о священной общественности, о религиозном смысле культуры, о воскресении тела, умерщвляемого аскетической религией духа. Мережковский в самом начале своих религиозных исканий воспринял христианство, не без влияния Розанова, как религию бесплотной духовности. Критика исторического христианства как религии бесплотной духовности, на первый и поверхностный взгляд, оставляет впечатление большого правдоподобия и фактической верности. Все обличье православия может легко быть воспринято как метафизика духа, отвергающая всякую метафизику плоти, слишком многие факты говорят за это. Но более глубокое проникновение в церковную мистику, в церковную метафизику совершенно сметает противопоставление, делаемое Розановым и Мережковским, и выворачивает поставленную ими проблему наизнанку. Историческое, церковное христианство в гораздо большей степени может быть названо религией плоти, чем религией духа. Религиозный материализм, материализация всех религиозных тайн проникает всю церковную метафизику. Это ясно видно (например) на типе религиозной мысли Булгакова. Историческая Церковь очень озабочена освящением плотской, материальной жизни человечества. Православная Церковь лелеет плоть, святит ее, окропляет святой водой, мажет елеем, создает тепло для плоти, уготовляет воскресение тела. И литургическая и бытовая жизнь Церкви наполнена символическим освящением плоти, телесной жизни человека. Вся метафизика Церкви, и православной Церкви в особенности, утверждает святую телесность, богоматерию, род. Старцы православные всегда были очень внимательны к плотской жизни тех масс народных, которые искали у них утешения и научения*. Они благословляли браки, направляли се-

* См.: «Описание жизни оптинского старца иеросхимонаха Амвросия», протоиерея С. Четверикова.

мейную жизнь, давали советы чисто хозяйственные, где лавку открыть, как дела материальные устроить. [Скорее поражает недостаток «духа», а не «плоти», в научении старцев.] Они учили благообразию «плоти», освящению физиологической и экономической жизни. [Мы уже говорили о необычайной] хозяйствен[ности] Феофана Затворника *. Русский религиозный национализм был результатом этого православного материализма. В историческом христианстве всегда было слишком много, а не слишком мало «плоти», «мира», «земли», исторического и народного. Можно даже сказать, что церковное христианство, открывшееся в истории, было религией рода и плотской родовой жизни. В нем слишком много еще религиозного натурализма, символического освящения природной родовой жизни. Историческое христианство было приспособлением сокровенных тайн Христовых к миру, к природной и исторической жизни, экзотерической демократизацией религии **. Мережковский совсем не хочет знать различия между экзотерическим, материалистическим, наружным христианством и христианством эзотерическим, духовным, сокровенным. Он как будто бы не понимает пневматики в религиозной жизни, духовного как сокровенного, а не как противоположного плотскому. Христианство духа есть сокровенная мистическая традиция в Церкви, идущая от апостольских времен, и оно не есть «историческое» христианство. Христианство плоти, выявленное на плане материальном, есть «историческое» христианство. Историческое христианство всегда было формой религиозного материализма, и Мережковский может оказаться очень ортодоксальным в своем материализме вопреки своим ожиданиям. Религиозную плоть, религиозную материю историческое христианство получило от язычества, от языческого религиозного натурализма. Мережковский все хотел синтезировать христианство с язычеством. Но историческое христианство всегда и было таким синтезированием. В христианстве было не слишком мало, а слишком много языческого. Но остается проблема, возможна ли новая, христианская плоть и в каком смысле тело воскреснет и наследует вечность. Эта проблема стоит перед Мережковским, но совсем им не решается.

У него остается невыясненным, каково отношение религиозной «плоти» к материи в физическом смысле этого слова и к материальному миру. Это вообще неясно в христианстве, и неяс-

* См. его «Начертание христианского нравоучения».

** См. очень интересную книгу Ю. Николаева «В поисках за Божеством. Очерк по истории гностицизма». 1913 г.

ность эта не случайная, а роковая. Религиозный материализм и есть смешение духовной, преображенной «плоти» с плотью материальной, физической. Это смешение одинаково есть и у Мережковского, и у Булгакова, и у старых учителей Церкви. Но ведь та преображенная «плоть», в которой возможно воскресение и которая наследует вечность, не может заключать в себе грубой материи, материальной тяжести и скованности *. Материя не есть субстанция, она есть лишь отношение, функция, лишь временная инволюция в мире, его уплотнение, отяжеление и сковывание вследствие внутреннего раздора в мировой жизни. Материя всегда есть внешнее, а не внутреннее, всегда есть трансцендентная отчужденность. Материя и материальные тела не наследуют вечности, ибо не может наследовать вечность тяжесть, скованность и ограниченность. Все в мире должно пройти через дематериализацию, ибо дематериализация означает освобождение и внутреннее соединение. Печать вечности лежит на форме, а не на материи тела. В форме тела нет тяжести и скованности, в ней просвечивает образ Божий, вечная красота. И в человеческом теле может быть воскресение не материального его состава, не функций природной родовой жизни, а божественной формы тела, его вечного образа в красоте неповторимых индивидуальных выражений. Лишь эта форма плоти, превращающая бесплотный дух в произведение скульптуры и живописи, наследует вечную жизнь. В родовой же, материальной плоти нет ничего от вечности и для вечности, это лишь временный путь духа, лишь момент его инволюции. У Мережковского все это смешано и не выяснено. Иногда кажется, что религиозную проблему духа и плоти он смешивает с проблемой психического и физического. Иногда же кажется, что он смешивает «плоть» ноуменальную с «плотью» феноменальной. И в конце концов все смыслы слова «плоть» смешиваются в игре евхаристической терминологии. Плоть и кровь Христовы, к которым приобщаются в таинстве евхаристии, незаметно смешиваются с материей этого природного мира. От этого смешения Мережковский не может и не хочет освободиться.

Наиболее характерна для Мережковского и для близких ему по духу сектантская, кружковая психология. Эта сгущенная, намагниченная атмосфера вокруг идей Мережковского, эта сверхличная магия и есть, вероятно, самое притягательное, наиболее влияющее. Мережковский никогда не говорит от «я», он всегда говорит от «мы». «Наше», а не «мое» хочет он поведать миру,

* См. книгу католика-модерниста Леруа «Догмат и Критика» с моей вступительной статьей.

открыть истину соборную, а не индивидуальную. Для него существует лишь коллективный, а не личный религиозный опыт. У Мережковского не чувствуется живой связи с исторической Церковью и ее преданием, но в каком-то совсем особенном смысле он крайний церковник, он хочет утверждать Церковь еще более, чем ее утверждают католики и православные. Мережковскому думается, что по-настоящему в христианстве еще не было Церкви, что историческое христианство не соборно, не общественно, что оно — религия личного спасения и личного делания. Церковь откроется только в третьем откровении, Церковь есть лишь у него и у них, у Мережковского и у его близких. Явление подлинной Церкви Христовой, Церкви Духа, может быть лишь результатом нового религиозного опыта, опыта таинственного «мы», обнаружение в мире религиозной общности, миру доньше неведомой. Здесь в Мережковском есть что-то действительно оригинальное, его собственное, есть какая-то его тема. Так остро никто еще и никогда не ставил проблемы религиозной соборности, религиозной общности. Этого нет ни в старом христианстве, православном и католическом, ни в движениях свободно-мистических и сектантских, ни в новейшей теософии и антропософии. Историческое христианство — церковно и соборно, но это совсем не то, чего хочет Мережковский. В церковном христианстве не была решена проблема религиозного человеческого общения и соединения. Церковь, особенно православная Церковь, слишком предоставляет человека индивидуальной его судьбе. Водительство церковное у католических патеров или православных старцев слишком обращено к личности и личному пути. Соборность скорее символична, чем реалистична, она не бого-человеческая и совсем не человеческая. Религиозная тема Мережковского более всего есть у хлыстов, и стремления его даже называли интеллигентной хлыстовщиной. Но я не думаю, что это было укором. В хлыстовстве много тьмы и антихристианских уклонов, но тема его религиозно-[великая] значительная и религиозно-огненная. Это тема об общей жизни в Духе, в коллективном религиозном экстазе. Мережковский отрицает индивидуальный мистический опыт, личные пути духа, личную духовную дисциплину и достижения. Субъект религиозного опыта и религиозных достижений всегда — «мы», некая соборность в Духе, религиозная общность и религиозная община. Личного, индивидуального, творческого почина и религиозного дерзновения Мережковский не допускает и боится. Для него непреложен авторитет Церкви, соборности, но Церковью, соборностью оказывается некое человеческое «мы». Личность может религиозно жить только в «мы», в

религиозной общности, и только там ей открывается истина. Само богообщение для личности возможно лишь через «мы», через религиозное общение с рожденной в Духе общиной. Бог открывается в тайне общения. Это подобно тому, как у французских синдикалистов истинное познание открывается в *action directe* пролетариата. Религиозное общение есть тайнодействие. Со стороны оно непостижимо. Нужно приобщиться к его тайне, быть в нем, чтобы узнать истину. Подобно французским синдикалистам, которые, кстати сказать, оказались идеалистами, разбитыми жизнью, Мережковский — прагматист, религиозное познание дается лишь общественным религиозным действием. Мережковский всегда хочет утверждать последнюю беспомощность, бессилие, раздвоенность личности и ее индивидуальной духовной судьбы. В личности, в человеке, нет Бога, — Бог есть лишь в общности, в человечестве. Мережковскому неприятно всякое духовное восхождение личности, ее углубление и мистическое созерцание. Пусть лучше личность будет в грязи, — тогда она скорее придет к исканию спасения в религиозной общности, в «мы» Мережковского и его единомышленников. К аскетизму Мережковский относится отрицательно и совсем отказывается понять его значение. Аскетическая дисциплина личности лишь укрепляет религиозный индивидуализм. Для уловления душ в сети религиозной общности лучший материал представляют разрыхленные души, для которых все двоится и которые ощущают близость гибели. Мережковский с отвращением относится к ищущим личной чистоты, к облакающимся в белые одежды, к стяжающим себе духовную силу. Лучше грязенькие, черненькие, слабенькие. Они станут чистыми, белыми, сильными в религиозной общности. Сначала — религиозная общность, потом — религиозная личность. Личность должна войти в религиозную общность, в «мы», ничего не имея, и от нее должна все получить. Христос живет лишь в общине, в «мы». Он не живет в личности, в «я». Настало время для явления святой общности, а не святой личности. Серафим Саровский — последний святой. Личные пути духовной жизни изжиты. Время мистических созерцаний, гностических прозрений избранных индивидуальностей прошло. Спасаться нужно вместе или совсем погибать. Для религиозного движения и возрождения вовсе не нужно повышение личности, углубленность и дисциплина духа. Нужно вхождение в религиозную общность, в религиозную общность, приобщение к ее тайне, новое рождение всякого «я» в «мы». Но это «мы», эта религиозная общность остается для всякого «я», для всякой человеческой личности транс-

цендентным авторитетом, ибо имманентно, в глубине своей, «я» не обретает «мы», не раскрывает религиозной общественности. Тут необходим трансцензус, прыжок не в глубину, а вовне.

Мережковский бунтует против внешней, видимой, исторической Церкви, но не хочет идти и путем сокровенной, внутренней, мистической Церкви. Это делает его положение трагически бессильным. Он хочет создать новую Церковь и видит ее зачатки в «мы», в некоем человеческом соединении, человеческом коллективе, в общине, почувствовавшей откровение о святой общественности, святой плоти, о земной правде. Он жаждет новых таинств, старые таинства не удовлетворяют уже его. Временно он остается в положении беспоповцев. Здесь мы подходим к самому центральному в религиозном сознании Мережковского, к самому эзотерическому в нем. Религиозная воля Мережковского или того «мы», к которому он чувствует себя принадлежащим, направлена к откровению религиозной общественности как таинства, нового, неведомого старому христианству таинства, подобного таинству священства или евхаристии. *Религиозная общественность, богочеловеческое соединение есть как бы таинство всеобщего священства или, вернее, новое таинство третьего Завета, и в нем все таинства станут новыми, иными.* Религиозная общественность есть тайна трех в отличие от тайны двух — тайны брака, и тайны одного — тайны личности. Общественность, соединение людей есть троичность, и она раскрывается в религии Троицы. Мережковский, по-видимому, верит, что в мире свершился новый таинственный факт, новое откровение свершилось — явилась религиозная общественность, таинство общественности, общественное священство, новое богочеловечество. Все у него вращается вокруг этого основного факта. И постановка этой темы — единственное оригинальное в нем. Тема эта — не только его личная, не им выдуманная. За этим скрыто чувствование чего-то совершающегося в мире. И потому только и стоит говорить о Мережковском как о типе религиозной мысли. Литературное же обличье Мережковского и его общественные выступления скорее закрывают значительность этой темы, чем открывают ее. Слабость религиозно-общественной утопии Мережковского нужно видеть еще в полном отсутствии сознания связи проблемы общественной с проблемой космической. Он не ставит решения проблемы религиозной общественности в зависимость от космического общения, от космических энергий. Очень вредит Мережковскому и его делу его отрицательное иконоборчество, его отчужденность от непреходящего символического смысла исторического церковного культа. В жизни Церк-

ви он видит лишь экзотерическое, тлеющие ее покровы, и не видит эзотерического, сокровенно пребывающего. Тайинства нельзя создать, нельзя изобрести их. Это не может быть нашим человеческим делом. Можно только глубже постигнуть вечные тайинства и сокровеннее приобщиться к ним. Мережковский же всегда находится на грани какой-то двусмысленной евхаристической игры. Многое в нем оставляет такое впечатление, что вот-вот он примет причастие из собственных рук. Он как будто бы не в том видит задачу религиозного творчества, в чем должно ее видеть. И потому третий Завет у него вступает в соревнование и конкуренцию с вторым Заветом, не исполняет его, а отменяет.

VI

Мережковский вступает на внешний, экзотерический путь к достижению того, что сокровенно, эзотерично, катакомбно. Он абсолютизирует относительное. Он все ищет опоры во внешнем, вне себя, вне глубины духовной жизни, все выбрасывает себя на поверхность. Он всегда смешивает разные плоскости и планы. Сначала пленялся Мережковский самодержавием, не без влияния хилиастической концепции В. А. Тернавцева. В самодержавии хотел он увидеть святую плоть, святую телесность. Потом бежал он от соблазнов мистики самодержавия, как от антихристового духа и пленился революцией*. Революционную общественность начал ощущать Мережковский как святую плоть, святую телесность. Всегда нужно ему соединиться с внешней исторической силой, по существу своему относительной, но принятой им за абсолютную, всегда есть потребность опереться на что-то чуждое себе. Соединение это не может не быть механическим, все равно — будет ли то соединение с самодержавием или революцией, оно никогда не совершается у Мережковского изнутри, из глубины. В этих вечных исканиях опоры извне, в относительном, чувствуется недостаток веры в себя, в свою человеческую глубину, беспомощность и бессилие идти внутренним путем, из глубины творить новую религиозную жизнь. Религиозная общественность не явится в мире оттого, что мы будем соединять свое религиозное сознание с общественностью самодержавной или общественностью революционной. Мережковский слишком воз-

* Это относится к прежнему периоду. В последний период Мережковский склонился к антиреволюционному направлению, и это более ему соответствует.

лагается на то, что он даст революционной интеллигенции религию, а она даст ему общественность. Но так же, как ни от кого нельзя получить той религии, которой не имеешь в себе, ни от кого нельзя получить и той общественности, которой в себе не имеешь. Новая религиозная общественность, богочеловеческое общение в Духе незримо и неприметно приходит в мир. Эта религиозная общественность, это царство Божие непостижимо для мира. Мережковский как будто не хочет видеть того, что таинственное Христово общество каждая возрожденная, вторично рожденная личность человеческая найдет в сокровенной глубине, в плане духа, а не в плане материальном, не в природно-историческом процессе. Он все еще продолжает искать абсолютного в относительном, священного в материальном, в природно-историческом. Он не хочет понять, что в плане природно-историческом, который есть периферия бытия, возможно лишь относительное и среднее, а не абсолютное и конечное, возможна лишь эволюция, а не религиозная катастрофа. Царство Божие недостижимо во внешнем, относительном мире — оно есть преодоление этого мира, выход из него, совершенное преображение. В материальном природном и историческом мире даны лишь символы духа, а не реальности. Внешняя общественность в истории должна быть секуляризована, свободна от трансцендентных религиозных санкций, должна быть средне-относительной, эволюционирующей. Это будет освобождением духа, началом имманентного религиозного освящения общественности. В исторически-телесном не может быть священного в трансцендентном смысле слова. Мистерия христианства должна быть перенесена внутрь, вглубь, ее нельзя принимать лишь объективно-предметно. Мережковский в конце концов приходит к новому религиозному рабству. Он ищет всякой реальности в «мы», потому что лишен сильного чувства реальности «я», сознания собственной существенности [и онтологичности.] Он все хочет получить от религиозной общественности и ничего не несет в нее из глубины человека, личности, «я».

Таинственное, сокровенное отношение личности человеческой и религиозной общественности погружено в совершенную свободу, в неизъяснимую глубину духа, где снимаются все противоположности. Мережковский же авторитетно подчиняет личность религиозной общественности, дух — откровению исторической плоти. В соборном «мы» Мережковского нет человека, творческая природа человеческой личности угашается. Булгаков боится человека по-старому, Мережковский боится его по-новому. В нем есть страшная зыбкость новой, новейшей человеческой ду-

ши, убегающей от своего декаданса, пытающейся укрыться в оборонности от своего человеческого краха. Но религиозная общественность может быть лишь внутренним, а не внешним фактом, она — в подземном, а не в надземном слое. И напрасно Мережковский в поисках ее мечется между общественностью самодержавной и общественностью революционной. Не по плоскости, а по вертикали нужно искать ее. Историческая церковность, историческая государственность, историческая революционность — лишь символическая объективизация того, что происходит в глубине. И в творчестве новой религиозной жизни идти нужно всегда из глубины через себя, а не через самую высокую данность, полученную извне. Мережковский, как и Булгаков, — материалист-трансцендентист. Новая святая плоть Мережковского так же авторитетна, материалистически-трансцендентна, как и старая святая плоть Булгакова. Булгаков ищет религиозного центра у старцев, в недрах православной Церкви как объективной данности, в истинно православной народной жизни. Мережковский ищет религиозный центр в нарождающейся религиозной общественности как объективной данности, [в русской революционной интеллигенции, в революционно-религиозной народной жизни.] Религиозно-общественную активность Мережковский хочет получить со стороны, от других. Он провозглашает религиозно-общественную энергию, которой не имеет. Также и Булгаков провозглашает мудрость старцев, которая не есть его мудрость. Но то, что вызывает во мне религиозное поклонение и благоговение и что не мое, чем я не обладаю, что не из глубины моей добыто, есть авторитет для меня. Нашей религиозной мысли не хватает самостоятельности и твердости нравственного характера, настоящей автономии духа. Слишком велика зависимость от навязанных оценок. Слишком много упадочного и отраженного эстетизма в этих оценках. Разительный пример такого недостатка нравственного характера являет собой отношение Мережковского к левой русской интеллигенции. Он не жил с этой интеллигенцией и не знает ее изнутри. [Он поклоняется ей извне и ставит себя в зависимость от ее традиционных оценок. Он возвращается к старому интеллигентскому типу и хотел бы быть Чернышевским на религиозный лад.] (Так же не свободно его непримиримое отношение к русской революции.) Он восстанавливает старые приемы публицистической критики и забывает свою собственную борьбу за свободу духа и за независимые ценности культуры. Мережковский слишком спасается от своего собственного декадентства, и это делает его несвободным. Но самой интеллигенции он остается чужд и не может помочь ей вый-

ти из кризиса. [Он никогда не привет интеллигенции своего религиозного сознания, потому что слишком зависит от ее спасающей революционно-общественной активности, вызывающей в нем чувство поклонения со стороны.] Влияет лишь тот, кто несет свою правду из глубины и кто свободен. И Мережковский унижается до демагогических приемов, отрекается от своего аристократизма. Так же и Булгаков бессилен повлиять на консервативные церковные круги, так как слишком зависит от них в своих оценках. Очень характерный пример несвободы оценок Мережковского я вижу в его отношении к Л. Толстому, которого он никогда не понимал до конца и не ценил по-настоящему. С внешне-утилитарной точки зрения ему нужно было резко отрицательно отнестись к Толстому и беспощадно критиковать его, когда он был увлечен мистикой самодержавия и исторической церковности, а потом понадобилось без меры восхвалять его и сделать его святым Львом, когда сам увлекся мистикой революции и религиозной правдой интеллигенции. Но сам Толстой с своей великой правдой изобличения лжи всего зримого и внешне-воплощенного остался в стороне.

Проблема трагедии культуры никогда по-настоящему не стояла перед Мережковским. Трагедия эта в том, что религиозное задание всякого творческого акта есть создание новой жизни и нового бытия, новой земли и нового неба, а культурное осуществление его есть лишь создание объективированных и дифференцированных культурных ценностей. Творческий акт пресекается тяжестью этого мира, притягивается вниз, и вместо нового бытия творится картина, поэма, философская книга, правовое утверждение. Вот почему христианская культура и христианская общественность в объективно-природном и объективно-историческом мире есть *contradictio in adjecto*. Вот почему в этом мире невозможна теократическая общественность, консервативная или революционная. Священное в природе и историческом мире — символично, а не реалистично. Абсолютное неприменимо к относительному, потому что оно есть лишь его условное положение. Всякое применение абсолютного к относительному есть или ложная и вредная абсолютизация относительного, или исчезновение, поглощение сферы относительного. Периферия бытия есть относительное, полагаемое изнутри, из глубины абсолютного. Задача создания или отыскания христианской священной культуры, священной общественности, священной плоти есть задача, поставленная чисто трансцендентным сознанием. То, чего хочет Мережковский, должно быть переходом в другое измерение — измерение глубины, а не плоскости, где протекают

процессы природные и исторические. Это также конец природного и исторического процесса, катастрофа духовной жизни, преодолевающая всякую условную и относительную символизацию. Это — новый акт мистерии духа, свершающийся в глубине самой божественной жизни, а не объективный исторический факт, понимаемый трансцендентно-предметно. Тут мы подходим к апокалиптичности Мережковского.

VII

Апокалиптическая настроенность Мережковского, его устремленность к концу имеет симптоматическое значение и так характерна для русских религиозных исканий. Эта апокалиптическая настроенность свойственна величайшим проявлениям русского духа, от русских народных сект до великих русских писателей. Апокалиптические предчувствия нашей эпохи знаменуют мировой кризис, переход к новому космическому периоду. Все приходит к концу в старом мире, на всех линиях выявляется предельное и конечное. Незримо и катастрофически зреет новое сознание, новая жизнь, не выводимая эволюционно из жизни старой. И индивидуальный человек, и все человечество и весь мир переживает апокалипсис, в нем совершается судьба всякого бытия. Но и апокалипсис может быть понят и пережит в сознании трансцендентном, как то было в иудаизме дохристианском и христианском, и в сознании имманентном. Для сознания трансцендентного мир божественный совершенно внеположен, противоположен, за пределами миру тварному, это мир иной, объект благочестивого поклонения твари, конец всего имманентно переживаемого, святая неведомость, вызывающая чувство пассивного ожидания. Трансцендентный апокалипсис провозглашает конец всему имманентному, всему творимому снизу, из недр тварного бытия, и начало бытия извне, издали пришедшего, страшного по своему чуждому величию и подавляющей своей высоте. Для имманентного сознания не существует такой противоположности и внеположности, такой чуждости и далекости мира божественного и мира тварного. Мир тварный есть лишь внутренний момент жизни мира божественного, его проявление, его путь и манифестация. Катастрофический конец мира тварного есть лишь продолжение творческого процесса в мире божественном, новый акт божественной мистерии. В этой мировой драме действуют имманентные божественные энергии. И для имманентного апокалипсиса возможен катастрофический конец этого

мира, момент в божественном бытии, и наступление нового, небывшего, неопределимого эволюцией этого мира. Но имманентный апокалипсис есть лишь свершение мистерии жизни, ее божественной глубины, ее прохождение через мировую смерть для воскресения к новой жизни. Имманентный апокалипсис предполагает творческую активность человека, его собственное откровение. Это не есть пассивное ожидание, не есть пронизанность мистическими токами, это — творческое иступление, переходящее за грани этого мира, творческая трагедия избыточности. Апокалипсис не означает перемены местожительства, переезда в другой город или в другую страну. Апокалиптическая настроенность не должна быть мечтой о прекрасной жизни в другом месте, другом доме или городе. Человек всегда имеет свое местопребывание в недрах божественного бытия, но творческий процесс, происходящий в человеке и с человеком, означает прибыль в самом божественном бытии, истинное рождение человека в Боге, как Его другого,жданного и желанного. И лишь в символической объективации, выбрасывающей глубину вовне, эта божественная мистерия представляется трансцендентно-материальным апокалипсисом. Замкнутого тварного мира, по существу отличного и противоположного божественному миру, не существует, его границы имманентно раздвигаются или сдвигаются, его материальность есть лишь момент уплотнения духовной жизни. Оккультизм совершенно верно утверждает существование других планов космоса и возможность их имманентного познания. Апокалипсисы означают катастрофические моменты космического разложения и сложения. Распадение и распыление всего материального мира может восприниматься как наступление конца мира, как апокалиптическая катастрофа, но в свете имманентного религиозного богосознания это лишь момент божественного космического процесса.

К какому типу должна быть отнесена апокалиптическая настроенность Мережковского? Отсутствие четкости и ясности сознания делают тип его религиозной мысли смешанным. Но преобладают черты трансцендентной апокалиптичности — ожидание конца, откровение света, пришествие из мира горнего, инородного, яростность трансцендентных противоположений. [У Мережковского скорее семитическая, чем арийская настроенность.] В антихриста он верит более, чем в Христа, без антихриста не может шагу ступить. Всюду открывает о антихристов дух и антихристов лик. Злоупотребление антихристом — один из основных грехов Мережковского. От этого антихрист перестает быть страшен. Слишком много говорит Мережковский об ужа-

сах антихриста, и потому никому не страшно. В этих запугиваниях не чувствуется внутренней силы. Не такими путями пробуждается творческая религиозная активность человека, не при такой настроенности человек идет ввысь. У Мережковского встречаем мы все то же характерное русское апокалиптическое недоверие к человеку и человеческому творчеству, все то же возложение всех надежд на мировую катастрофу. Он хочет соединить небо и землю, дух и плоть, мир потусторонний и мир посюсторонний, и это может произвести впечатление зарождения нового, имманентного религиозного сознания. Но никакого соединения у него не достигается, все двойится, противопоставляется, все исключает одно другое и вместе с тем смешивается. Мережковский взвинчивает в себе и в других чувство трансцендентной жути и чувство духовной беспомощности человека. Изнутри, из глубины не льется свет, не почерпается преображающая творческая энергия. Перед новым религиозным сознанием Мережковского не стоит религиозная проблема о человеке.

VIII

Проблема нового религиозного сознания не есть проблема святой плоти или святой общественности, как думает Мережковский, а есть прежде всего проблема человека, проблема религиозной антропологии. Новое религиозное откровение может быть лишь откровением человека и откровением о человеке как божественной ипостаси. Новое откровение будет лишь обнаружением творчества человека. Третий Завет и есть завет человеческого творчества. Откровение третьего Завета нельзя ждать сверху, оно не может быть голосом Божиим, раздающимся в громе, или нисхождением Бога вниз. Откровение третьего Завета — имманентное, его сам Бог ждет от человека. Лишь в собственной глубине и по собственному вольному почину может человек открыть третий Завет, завет Духа. Страшно свободен человек в стоящей перед ним мировой религиозной задаче и предоставлен самому себе. Ему неоткуда ждать помощи, и если бы пришла помощь, то дело его не было бы сделано, откровение человека не совершилось бы*. Мережковский же все ждет нового откровения сверху. Он дерзновенен не в том, в чем нужно дерзновение. Он все чего-то ждет не только сверху, но и со стороны. В этом он походит на Булгако-

* См. мою книгу «Смысл творчества».

ва. Оба обречены на плохую бесконечность ожидания. Никаких санкций сверху и извне для третьего откровения не будет и быть не может. Гарантий нет. Все совершается в последней свободе. Мережковский подходил к этому, но нерешительно. В его творческих утверждениях всегда есть какая-то вопросительность. Он слишком занят отрицательной критикой исторического христианства, временами несправедливой и неверной, и слишком мало творит положительного. У него не только нет откровения о человеке, но и элементарного признания самоценности человека. Религиозная проблема человека не есть проблема общественности и культуры, — она ставится на большой глубине, на глубине самой жизни Божества. Для Мережковского если и есть проблема о человеке, то это всегда проблема мира, а не проблема Бога, частный случай его всегдашней проблемы отношения неба и земли, духа и плоти, христианства и культуры. В этой антитезе человек есть всегда земля, плоть. Когда в начале исканий Мережковского передним стал вопрос о новом христианстве, то он всегда представлял себе его решение как синтез христианства и язычества. В антитезе язычества и христианства языческое и было человеческим. Это одно из основных заблуждений Мережковского. В язычестве человек был еще в природно-родовом состоянии. В христианстве начинается религиозное раскрытие человека как абсолютной ценности. Позже Мережковский хотел исправить свою ошибку и перестал уже возрождать язычество в христианстве. Но что-то исходное в его религиозном пути мешало ему поставить проблему антропоса. Религиозное самосознание человека не загорается на зыбкой и упадочной почве. Призрак декадентского индивидуализма, который в себе самом хочет победить Мережковский, мешает ясности и четкости его антропологического сознания. Реакция против угрожающих провалов этого декадентского индивидуализма, очень всегда преувеличиваемого, закрывает для него сознание религиозной идеи личности. Мережковский так несвободен, так отравлен всякими опасениями и корыстными соображениями, что не может признать никакого самоценного творчества. Он поднимает руку на одного из величайших русских и [мировых] поэтов — Тютчева, превращая его в жертву сведения счетов с самим собой и современными течениями в поэзии. Он с надрывом восхваляет Некрасова и проповедует тенденциозное искусство. Всякий свободный творческий порыв встречает с его стороны вражду и отрицание. Его публицистические статьи делаются все более и более брызжащими. Он поддерживает бессилие личности, не зовет к свободной организации и самодисциплине души.

Мережковский никогда не понимал значения религиозной эмансипации личности в России. Но пора уже закончить период разрыхления русской души. Пора уже перейти к личной религиозной дисциплине, к организации духовной жизни изнутри. Демагогическое взвинчивание обращено к худшим нашим инстинктам. Прошло уже время трепетания перед безднами, с которыми ничего не в силах поделаться дух русского человека. Нам нужно освободиться от идеализации русской истеричности. Сознательная ответственность за судьбу России требует от нас укрепления личности, организации души, внутренней духовной дисциплины, здоровой свободы. [Мережковский славянофил на новый лад и народник на религиозной почве. В русской революционной интеллигенции его пленяют восточные, славянофильские черты.] Он не выводит интеллигенцию на новый путь, который указывается вступлением России в новый период ее исторического существования. [Он сам идет за старым интеллигентским максимализмом и утопизмом, который был порожден исторической отсталостью и безответственностью.]

Д. С. Мережковский — современный, новый человек, человек нашего зыбкого времени. Он сам себя не знает, не знает, что в нем подлинно и онтологично, и что призрачно и нереально. И его не знают. Часто подозревают его в неискренности. Я же думаю, что он по-своему очень искренний человек, ищущий веры и мучающийся, но сама искренность так сложна и запутана в современной душе. Силы веры в нем нет, он скептик, страшющийся смерти, но перед людьми он всегда предстает с догматическими формулами своих исканий веры, всегда напряженных и взволнованных. Не имея дара веры, он не хочет идти и путем познания. Всего более хотел бы он быть пророком новой веры. И свое бессилие осуществить пророческое притязание он прячет за «мы», отрицая возможность появления отдельных пророков. Свои пророчества он облекает в форму вопрошений. Ничего онтологически твердого, крепкого не чувствуется в Мережковском. Людям, слишком любящим реальное, может даже показаться, что его нет, что вот-вот он исчезнет, как мираж. Но таких душ много в наше время. Мережковский самый блестящий и талантливый выразитель тоски этих душ по реальному бытию.

Многое можно понять о Мережковском, читая замечательные стихи З. Н. Гиппиус (Мережковской) и некоторые более значительные ее статьи. [Гиппиус очень значительное, единственное в своем роде явление, не только поэзии, но и жизни.] Ее тоска по бытию, ее ужас холода и замерзания должны потрясти всякого, [кто с любовью всмотрится в черты ее единственного облика,]

Темная безблагодатность Мережковского и Гиппиус, несчастливых странников по пустыням небытия, говорит о страшной покинутости современной человеческой души. Но все-таки люди эти пытаются добыть огонь в ледяном холоде. И те, согретые огнем домашнего очага, довольные и успокоенные, которые с легкостью бросают в них камнем, не христианское делают дело и могут оказаться хуже них. Будем справедливы к Мережковскому, будем благодарны ему. В его лице новая русская литература, русский эстетизм, русская культура перешли к религиозным темам. Он много лет будил религиозную мысль, был посредником между культурой и религией, пробуждал в культуре религиозное чувство и сознание. Эпоха исканий «Нового Пути» принадлежит прошлому, она уже пережита религиозной мыслью. Новые задачи стоят ныне перед религиозным сознанием. В Мережковском и во всем религиозном течении, с ним связанном, есть что-то слишком петербургское, есть петербургский провинциализм, как есть московский провинциализм в Булгакове, Флоренском и др. Религиозные мысли Мережковского рождались в призрачных петербургских туманах. И эти петербургские мысли, как и мысли московские, не возвысились еще до значения общенационального, общенародного. Но в час, когда наступит в России жизненное религиозное возрождение, вспомнят и Мережковского, как одного из его предтеч в сфере [религиозной мысли] литературной.





Вяч. ИВАНОВ

Мимо жизни

I

Д. С. Мережковский в глазах огромного большинства своих современников — писатель уважаемый и именитый, многоученый и многоопытный, очень умный и очень чуждый всем. Он был первым из обособившихся в интеллигенции, кто восхотел «опроститься» до типического, исконного, истого русского «интеллигента», — как встарь интеллигенты искали «опроститься» до «народа». Русский характер, как известно, тяготится культурно-общественным обособлением и склонен спастись от него «опрощением», причем опростившиеся с удивлением узнают на опыте, что среда, казавшаяся им простою, являет в действительности непредвиденную сложность и требует от новопришедшего сложности величайшей, особенно же — верности самому себе. Как некогда опростившиеся интеллигенты не находили народа, так ныне Мережковский не находит интеллигенции; последней же кажется, что она потеряла его. Он легко исступляется, но его считают холодным. Он ежечасно учительствует — внятно, раздельно, весьма наглядно, порой до обидности просто и ясно, подтверждая свои уроки ссылками на канонические писания, жития и предания подлинной интеллигенции, — но его не слышат и не понимают. Мало кто знает, о чем живет и ревнует Мережковский. Вспоминаются его давние мистические идеологии, его «третий завет». Но усилия всей (и уже долгой) последней поры его проповедничества о христианской общественности кажутся бесплодными: ничего не породили они в общественной жизни, ничего не зачали и в общественной мысли. Реальный смысл громогласного и настойчивого призыва так и пребывает безнадежно темным.

Между тем элементы этой проповеди сами по себе вполне удобопонятны. Больше того: если бы Мережковский обращался пря-

мо к народу, а не к тому кругу, который он именует «интеллигенцией», разумея под нею наших крайних левых, душу коих ему страстно хотелось бы обручить с религией, — он был бы, во всяком случае, понят, хотя последовала бы за ним лишь незначительная горсть одинаково настроенных в народ. «Интеллигенции» же до такой «религии» мало дела: она или одушевлена собственным довлеющим для ее задач энтузиазмом и дорожит цельностью как своей тактики, так и своего стиля, — или же ищет просто религии, самой по себе, беспримесной, безусловной, безприкладной, как теоретическая истина. Ищущему нужно сначала обрести самую истину: он уже сам потом усмотрит, как пронизать ею жизнь. Дары Мережковского кажутся одним — непрощенными и, быть может, сомнительными, как дары Данаев, другим — преждевременными и наперед обязывающими, как путеводитель по святым местам для человека, намеревающегося пойти странником куда глаза глядят.

Неудивительно, что Мережковский не находит иной аудитории, кроме случайной и забывчивой. Проповедь, незаметно для проповедника, обращается в признание о собственных исканиях и, следовательно, блужданиях. Он ежечасно вынужден от чего-то отречься, что-то прежнее исправлять, и торжественно провозглашать вместо «нового слова» лишь свое присоединение к тому, что двигало жизнь задолго до него. Поучения Мережковского — непрестанная Каносса его собственного «богоискательства» перед тем, что он чтит, как «религиозную правду безбожной интеллигенции». От положительного смысла поучений не остается ничего, кроме трюизма, что есть и безбожники отвлеченной мысли, живущие, однако, по-божьи, и что с таковыми и верующему похвально сообща творить добрые дела. Но острее тезиса, который нам обещали доказать, так и не проникает в души, за свою неубедительностью, равно явной для верующих и неверующих: что дух Евангелия, усвояемый личностью и обществом, находит свое ближайшее и непременно проявление в действенном и последовательном политическом радикализме.

Для людей, знающих и любящих Мережковского, его религиозно-публицистическое подвижничество — волнующая и грустная загадка. Великая заслуга его — неустанное исповедание веры. Заслуга и громкий клич о том, что вера христианская как бы двуипостасна: одно лицо ее — внутренний опыт, другое лицо — жизненное действие. Нет действия в духе любви Христовой, — нет и подлинной веры; есть таковое, — значит, есть в человеке и почва для веры, а может быть — и ее семя. Из этих неопровержимых положений выводятся поспешные заключения:

русская «общественность», проникнутая столь часто жертвенным пафосом, увенчанная подвигами самоотвержения, есть действие христианской религиозности; вера, не проявленная в освободительном политическом действии, — ложная вера. Логические ошибки этого построения бросаются в глаза; разъяснять их — излишний труд.

II

Проповедуя веру и находя в то же время, что старая вера бездейственна, Мережковский, очевидно, борется за веру новую и действенную; новое откровение должно, очевидно, воплотиться в новом действии. Но если именно действия и не оказывается ни на практике, ни в самой доктрине, вся новизна которой в том, что старому действию навязывается чужеродный ему мотив, — не обязывают ли нас основоположения самого вероучителя к выводу, что его откровение — не откровение и вера его — только жажда веры? Но Мережковский непрестанно исповедует свою веру. «*And Brutus is an honourable man*» *. Я свидетельствую, что не имею ни тени сомнения в правдивости этого исповедания. В чем же тут дело? В чем существо этой загадки, мучительной, как я сказал, для людей, любящих Мережковского? Не следует ли предположить, что в самом акте веры совершилась у него (быть может, бессознательно) какая-то роковая подмена или измена? Быть может, сам он не стал бы отрицать, что какой-то внутренний уклон воли, какое-то глубокое нарушение было им допущено как единственный представившийся ему путь следования Христу. Служение через грех, послушание через ослушание — так нужно было бы означить это антиномическое событие его внутреннего опыта. Я не буду говорить о такой установке религиозного сознания, религиозной совести по существу; но ясно одно, — что такого рода антиномические решения могут притязать на оправдание лишь в том случае, когда они непосредственно осуществляются в трагическом действии; обращаясь в принципиальный призыв, они представляются искажением и подменой. Религиозный императив должен быть категорическим, а не антиномическим по форме; трагедию (сущность которой есть антиномическое действие) можно переживать, но запрещено проповедовать.

* И Брут ведь благородный человек (*англ.*).

Есть, правда, единственное исключение из этого общего логического и нравственного закона: это исключение само христианство. На то оно и безусловно иррационально, антиномично и, поистине, «эллинам безумие». Для него трагическое есть норма. Но лишь для него одного, в его чистой, беспримесной сущности, в его глубочайшем пафосе, сгорающем в переживании единственного Имени, в котором вся истина, вся свобода, весь путь. Но в этой трагической и антиномической сущности христианства дана и его несоизмеримость с каким бы то ни было другим именем или путем, с какою бы то ни было другою правдою, другою свободой. Лишь только к чистой христианской идее, с миром несоизмеримой, но обращенной острием к миру и долженствующей восторжествовать на земле, примешивается что-либо, ей чуждое, — христианство, перестав быть собою самим, перестает быть и трагическим. Сделка с природным порядком жизни дает «христианское» обывательство, с идеею государства — империю Константина Великого или теократию пап. Сделало ли пуританство английскую революцию религиозным действием?.. Поскольку Мережковский действительно христианин, он не имеет права свое личное, случайное и неизбежно временное сопутничество в деле общественном возводить в принципе пути; но он это делает, — и вот, сами спутники его ему не верят.

III

«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Я верю в истинность этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и, если нужно, то за них и пострадать. Такова моя вера».

Выписав этот ответ Желябова на предложенный ему председателем суда в 1881 году вопрос о вероисповедании, Мережковский продолжает:

«Над этими словами никто не задумался. А между тем они не на ветер сказаны. Говоривший заплатил за них жизнью и ведь уж, конечно, знал, что говорит и что делает: знал, какой соблазн в имени Христа и не отрекся от него, не испугался того, что так пугает нас — общего места: религия есть реакция. Захотел соединить революцию с религией. Да, никто над этим не задумался. А, казалось бы, стоило...» *

* Мережковский Д. С. Было и будет. С. 200.

Задумываюсь и вижу, что Желябов излагает свою веру после своего действия, самое же действие отнюдь не ставит под знак религиозного исповедания. Последнего, впрочем, — строго говоря, — в словах его вовсе и не содержится, а есть в них лишь исповедание нравственного закона, который для говорящего тождествен с тем, что он почитает существенным и признает за истину в учении Христовом. Как бы то ни было, он слишком чувствует достоинство и ответственность каждого знамени и имени, чтобы не понимать, что Имя Христа не терпит соединения ни с каким другим лозунгом или именем, кроме личного имени предающегося Христу человека. Как кощунственно сказать: «Христос, ergo реакция», — так же кощунственно сказать: «Христос, ergo революция». Нельзя идти дальше формулы: «Христос — следовательно, подвиг любви». Каков будет этот личный подвиг, о том душа втайне исповедуется Христу. Только в ответ на приглашение высказаться о вере счел Желябов нужным разоблачить внутренний, религиозный голос своей души и тогда объявил всенародно о том, как преломился в его личной душе луч христианского внутреннего опыта. Его дело влилось в общее под импульсом религиозным: вот все, о чем он автобиографически свидетельствует. Его слова обнаруживают столь ясное сознание того, что религия дает иной разрез жизни, чем все формы общественности (формы, заметьте, а не личные дела, из коих слагается общественное дело), что ему, конечно, и в голову не приходило в эти последние свои дни «пугаться общего места, будто религия есть реакция».

А вот Мережковский именно тут не то, чтобы прямо пуглив, а уж очень как-то суетлив, слишком старается от каких-то подозрений огородиться — даже как бы до предательства некоторых родных ему имен и ценностей. И все это, разумеется, ради Христа. Впрочем, и Имени Христа Катя (в новой пьесе Мережковского «Будет радость»), — девушка, несомненно пользовавшаяся духовным руководством автора, — обещает больше не произносить, чтобы и в этом не уподобляться какому-то церковническому черному воронью, долженствующему, без сомнения, символически подтвердить другой тезис автора — о неразрывной связи православия с реакцией. Что же до обещания Кати, то хочется в ответ ей с облегчением воскликнуть: «Наконец-то!»

Думается, что Мережковский о Имени Христа соблазнился. Мало ему было этого единого Имени; полюбил он еще и другое: «Революция», — и захотел соединить оба в одно. Но что такое революция? «Прерывность, внезапность, катастрофичность, не-

предвидимое», — отвечает Мережковский *. Но таковое не имеет и имени, не подлежит ипостазированию... «Прерывное, катастрофичное, внезапное, непредвидимое — в религии называется апокалипсисом, а в общественности революцией», — настаивает Мережковский. Прискорбнейший по последствиям случай логической ошибки, которой имя — *quaternio terminorum!*** Мережковский, несомненно, — апокалиптик, чающий всенародного мистического «движения воды», соборного действия, очистительного и воскресительного обновления, крещения Руси Духом Святым и огнем. Что общего между этим чаянием и историческим началом «революции», понятой как *revolution en permanence****, как непрерывное действие скрытой и лишь временами вулканически заявляющей о себе энергии, истоком которой служит французская великая революция?

Постоянная работа этой энергии и есть «революция», как имя силы, как лозунг, как знамя. Все же прерывное, непредвидимое, апокалиптическое смешивается любителями и влюбленными мистиками с великим демоном, непрерывно действующим в новой Европе, лишь по детскому недоразумению, смешному для жрецов этого демона. Но христианство есть также *revolution en permanence*, непрерывающаяся катакомбная работа, и так же может она заявлять о себе вулканическими общественными движениями. Но под иным знаком совершается христианское перестроение ненавидимого «мира» изнутри, и двум господам вместе служить нельзя.

IV

Да, Мережковский — мучительная для бывших его друзей загадка. Как явно в нем напряженное стремление схватить самое жизненное в жизни, самое сердцевину жизни, как явно его желание пожертвовать всем (например, искусством — слепая, чисто леонтьевская или, по уподоблению его самого, «Агамемнонова»****, но уже отнюдь не Авраамова, жертва!), всем — ради единого на потребу, — и как явно в то же время, что это жизненное ему не дается, что он идет мимо жизни, что его слово ничего

* Было и будет. С. 58 и 66.

** учетверение (ошибка, являющаяся следствием двусмысленного употребления термина) (*лат.*).

*** перманентная революция (*фр.*).

**** Было и будет. С. 148 и 322.

не изменяет в существующих соотношениях общественных и духовных сил, что эта река, обещавшая некогда подводными струями пролиться по жаждающим нашим пажитям и торжественно втечь в некое светлое озеро-море, из волн которого звучат звоны Града, впадает после многих излучин скудным притоком в пообмелевшую реку нашего старого радикального народничества. По крайней мере, таков итог, всенародно и общедоступно подведенный Мережковским своим религиозно-общественным исканиям в новой его пьесе «Будет радость».

Радости от пьесы я не испытал и вокруг себя не видел; недоумение же об источнике и причине этой радости слышал отовсюду. Но так как сам верую, что радость будет, то радовался самому прозвучавшему слову, — быть может, вещему, — хотя и отнюдь не связанному с содержанием глубоко унылой и нудной, хотя умело и — если простить изобилие рассуждений и книжных цитат — искусно скомпанованной драмы, музыкально действующей на душу поэтическими чарами Добужинского и подошедшей, как по мерке, к стилю Художественного театра.

Да и в самом деле, как не загрустить, при виде внутреннего банкротства нашего богоискательства, — того, разумеется, типа, который представлен Катей, — в лице этой чистой и самоотверженной русской девушки, любящей, но от внутреннего надлома уже настолько неспособной к человеческой любви, что она, рыдая и крестя возлюбленного, отпускает его на заведомую и неизбежную гибель? И все эти муки принимает Катя для того, чтобы влиться ручейком в неширокую, но судоходную реку деятельной общественности, ознаменованной, к вящему огорчению приунывшего зрителя, престарелым земским деятелем, благороднейшим и милейшим, но, судя по его быстро наступающей дряхлости и непробужденной старозаветности его умственного склада, — лишь «остальным из стаи славной». У слияния Катина ручейка с рекой общественности воздвигнут автором столб с надписью, изъясняющей принцип объединения между богоискательством и старым народничеством: «чудо у нас с вами одно», — говорит Катя... Это я и называю внутренним банкротством. Ибо, если бы воцарилась в России всякая общественная правда и все обездоленные достигли предписанной ими самими меры благополучия, а дух бы угас, и отняты были у нас внутренние и тайные святыни наши с их животворящими силами, то такое превращение не было бы, в глазах верующего, благодатным чудом Божиим, — из чего следует, что брататься и единиться на чуде без Имени нельзя.

Вся же пьеса, протекающая мимо жизни, в области схематических контрверз, наполовину смытых уже давно и постоянно

смываемых притоком новых энергий, новых личных и групповых самоопределений и, наконец, мировых, все сдвигающих со старого места событий, — кажется запоздалым памфлетом против провозвестника наших величайших и отдаленнейших надежд — Достоевского. Суждение о нем Мережковского таково: «В Достоевском воплотилась вечная, метафизическая сила русской реакции, сила сопротивления старого порядка новому. Не сломив этой силы, не преодолев Достоевского и достоевщины, нельзя идти к будущему. Но, чтобы победить врага, надо встретиться с ним на той почве, на которой он стоит, а почва Достоевского религиозная» *. Религиозная почва Мережковского, во всяком случае, расступается под ним и поглощает его, как трясина; и трудно ему при этих условиях вступать в единоборство с великаном, стоящим на камне. Но возможно другое объединение почвы: можно плясать вокруг стоящего гримасничающей по земле тенью. Впрочем, Федя из новой пьесы, восковая кукла, слепленная из частей Ивана Карамазова, Ставрогина, Кириллова и Свидригайлова, скорее предназначена к пропаганде одного из важнейших учений Достоевского — о внутреннем распаде уединившейся личности. Другое дело — изображение православия, в котором Достоевский знал движение Духа жива. Старец, сменивший в пьесе Зосиму, приказывает ученику красть чужие письма, а ученик старца, Гриша, отличный от Алеши уже тем, что не из монастыря уходит в мир, а из мира в монастырь, — жалкий и мрачный идиот. А мы, прельщенные «метафизиком русской реакции», чуть не целых сорок лет затаенно надеялись, что не напрасну юный питомец Зосимы вышел в мир из стен благословенной обители. Впрочем, дух Алеши в миру творит свое дело втайне; когда он раскроется, — неложная «будет радость». А про пугала пьесы скажем: страшен сон, да милостив Бог.



* Было и будет. С. 282.



Н. БАХТИН

Мережковский и история

1

«Когда в самые черные дни большевистского ужаса, в декабре 1918 г., в нетопленных залах петербургской публичной библиотеки, где замерзали чернила в чернильницах, я просматривал египетские рисунки..., я ничего не понял бы в них, если бы тут же, рядом со мной, не совершался “Апокалипсис наших дней”».

Так, через напряженное изживание современности, раскрылся Мережковскому его Египет — «Бесконечная древность и новизна бесконечная».

Таков всегдашний путь Мережковского: прорасти корнями *из* настоящего *через* настоящее — в былое. Все его творчество — медленное прораствание в глубинные и плодоносные пласты Истории: Россия Александра, Павла, Петра; Италия Леонардо; Эпоха Апостата; теперь — Эгейская культура, и далее — Египет, Вавилон*.

Для него познание прошлого — реальное общение в духе и лестница посвящений.

2

Можно «уходить в прошлое», укрываться в нем от настоящего и грядущего; можно, через историю, искать болезненно-щекочущего ощущения повторяемости — «все это уже было, все повто-

* Тайна трех. Египет и Вавилон. Прага, 1925. Рождение богов. Тутанкамон на Крите. Прага, 1925.

руется»; наконец, можно скопчески-бесстрастно реконструировать, осмысливать и отвлеченно познавать былое.

По слову Вяч. Иванова, «омертвелая память, утерявшая свою инициативность, не приобщает к посвящениям отцов... Дух не говорит больше с декадентом через своих прежних возвестителей, говорит с ним только душа эпох».

Эти «декаденты» — сентиментальные или учено-трезвые фетишисты былого — конечно, увидят в книгах Мережковского лишь ряд произвольных, необоснованных догадок и неточностей.

«Рождение Богов» и «Тайна трех» — написаны не для них.

3

Но, в самом деле, Египет Мережковского есть ли это реально бывший Египет, а его Крит — исторический Крит? Наконец, самое понимание истории как «всемирной мистерии-мифа о страдающем Боге» — может ли оно быть оправдано и обосновано? Или все это — «*der Herren eigner Geist in dem die Zeiten sich bespiegeln*» *, как глумился Фауст?

Более того, все живые приобщения к прошлому — не призрачны ли они? Так античность возрождения, античность Гете—Винкельмана, античность Ницше — все эти концепции последовательно, одна за другой, изблещили свою историческую несостоятельность и свою творческую плодотворность и правоту.

Как понять эту двойственность?

4

Всякое осознание былого (равно в плане личном и историческом) роковым образом неадекватно. Есть какая-то коренная недоступность и невыразимость того, что раз совершилось и отошло в прошлое. Память, как Дельфийский Бог, «не скрывает, не открывает, но лишь знаменует». Поэтому воссоздание прошлого — не обманчиво, конечно, — а символично, условно, по своей природе. Но через символ, через миф, осуществляется *реальное* прикосновение к живой плоти былого, *реально* приемлетя какая-то сила.

* Дух времени — увы — ни что иное,
Как отраженье века «временное» (нем.).

Вот почему подлинное творчество всегда сознает себя как возрождение древней, исконной традиции и кристаллизуется в миф. Таково и творчество Мережковского.

5

В основном и существенном, Мережковский тот же, каким мы знали и любили его когда-то. Но корни его творчества еще глубже ушли в былое, руководящие мотивы по-новому усложнились, соприкоснувшись с новыми средами.

Было бы ненужным и праздным делом спешно выделять из живого многообразия его книг — их схему, их идейный остов. Быть может, главное обаяние Мережковского последних лет — именно в живом нарастании, переплетении, скрещивании многообразных мотивов и тенденций, по законам какого-то ему одному свойственного контрапункта.





Б. ПОПЛАВСКИЙ

По поводу «Атлантиды — Европы»*

Как ужасно от снов пробуждаться, возвращаться на землю, переоценивать все по-будничному. Как отвратительно иллюминанту, очнувшемуся от «припадка реальности», открывать глаза на нереальное, видеть комнату, чувствовать усталость и холод, опять погружаться в страх.

Но как сделать экстаз непрерывным, как жить в экстазе, а не только болеть экстазом? И не потому, что экстаз радость (ибо, если искать радостей, то не лучше ли самых грубых). Нет, экстаз есть правдивая жизнь, экстаз есть долг, и все остальное ложь. То есть те же вещи и события, но вне религиозного их ощущения — пустота и нереальность. Но как сделать экстаз постоянным? Аскеза говорит: постоянно поддерживать его волей, постоянно форсировать его, пусть до грубости, постоянно кричать о святом, постоянно плакать, нарушать все законы приличия. Воззритесь на спортсменов: они, пробегая огромные расстояния или состязаясь на велосипедах, не находятся ли в непрерывном физическом экстазе, каком мучительном и бесполезном, но каком героическом. Может быть Бодлер находился в мистическо-сексуальном экстазе, Пруст в экстазе фобическом, Ибсен в экстазе справедливости, а Чехов в самом глубоком — в экстазе слез. «Ибо тот, кто плачет часто — христианин, тот, кто плачет постоянно — тот святой».

Но не одержимость, нет; экстаз есть нечто мужественное до крайности, стоическое до предела, совершенно произвольное, максимально волевое. И что достигается экстазом? — Им преодолевается страх «Сим победиши». Ибо после известной точки становится возможным осуществить все страшное, все заветное, писать так, как совесть требует, а у мистиков — победить логику — самосохранение ума.

* Д. С. Мережковский. Белград: Изд. «Русские писатели», 1930.

Новая книга Дмитрия Мережковского «Атлантида — Европа» есть как бы такой именно опыт непрерывного интеллектуально-го экстаза. Книга эта вся написана в библейском ощущении эсхатологического страха, угрожающей интонации близкого конца, так что прямо мучительна по временам, до того напряженна и тревожна, что вообще так ценно в Мережковском, этом непрерывном человеке, всегда бодрствующем, всегда действующем. Кажется, что для него все важно, второстепенного нет, за всем раскрывается пропасть и постоянное горение есть долг. И если правильно мое ощущение, что от восхищения своим предметом он в настоящее время переходит к боли предмета, от красоты тайны к ужасу ее, то эта книга — лучшая, самая пронзительная из его книг.

Недаром в «Атлантиде — Европе» столько говорится о мучительном исступлении, о погоне Титанов за ребенком Дионисом, о повальном пифическом и плясовом безумии, некогда охватившем античность и долго не проходившем. Прекрасное описание античных мистерий (в этом отношении книга представляет исключительный систематизирующий интерес) с не устающим пафосом книга доводится до предрассветной тревоги христианства, — и все же не к явленному Христу обращен Мережковский, нет, а к кому-то, стоящему еще у дверей, долженствующему еще явиться — Иисусу неизвестному, Иисусу-Матери-Духу, подобно осеняющему вдруг безумствующего корибанта, неопишимо тихому состоянию прорыва и разрешения в ином, что сам он сравнивает с неизреченно голубым небом, вдруг открывающемся посередине водного смерча в центре бури.

Может в творческом становлении Мережковского уже близко нечто подобное. Атлантида — Европа есть сплошной экстатический монолог, точка, может быть, наибольшего волнения, какое вообще возможно, наибольшего мучения, результат огромного многодесятилетнего раската тревоги, долженствующего разрешиться в какой-то блистательно тихой книге, может быть в обещанном Иисусе Неизвестном. Может быть в некоторой благословляющей интонации после стольких обличений.

Атлантида была первым человечеством, погубленным потопом за язвы пола и убийства Эроса и Ареса — содомию и человеческие жертвы, но возжегшим очаги мистерий на Крите и отсель, во всей догреческой древности. Та же участь грозит и второму человечеству — Европе, если не убоится и не покается.

Но, думаю я, Богу-карателю не противостоит ли экстаз храбрости человека: «Ах, Ты вот как с нами обращаешься, так мы Тебе покажем угрозы»; и здесь начинается экстаз греха, героизм

кощунства, доблесть падения. Ибо как вообще можно «бояться» Бога? Лишь тому, во-первых, кто вообще чего бы то ни было боится, а, главное, боится умереть. И разве можно современное человечество, пронизанное героической метафизикой саморасточения, запугать? Не достаточно ли подумать об автомобильных гонках, почти ни одна из коих не обходится без смертного случая, но и зрители и гонщики, улыбаясь, ее начинают. И кому вообще из доблестных дорого воскресение плоти и даже бессмертие души? Не достаточно ли поблудили, не достаточно ли нагнали, не пора ли поджариваться, не пора ли расточиться, развеяться, ибо жизнь уже закончена в мгновение экстаза и к чему повторение? «Абсолютное счастье, длящееся одну секунду, не больше и не меньше абсолютного счастья, длящегося вечно», говорит Плотин, ибо нет двух абсолютов. И как может вообще новая «германская Европа», героизованная войной, бояться смерти. Состязавшегося в Марафонском беге несколько раз, за те два часа, во время которых он пробегает 42 километра, охватывает совершенно реальное ощущение приближения смерти, страшная боль в груди и в желудке, остановка сердца, головокружение, изнеможение, еще шаг и — смерть, кажется бегущему, но пусть разорвется все, а рекорд будет побит. Но часто эта *défaillance nerveuse* * кончается действительным переутомлением сердца, смертью.

Религиозный экстаз совершенно освобождает от страха — следственно, и от страха Божьего. И не страх Божий необходим, а новое восхищение, «ибо мир движется восхищением», новая любовь нужна, и скорее не могущество Божие приближает к нему сердца, а унижение Божие, распятие Его, жалобное прощение его, *Christus patibilis*, Христос, гностиков терпящий и переносящий все. Ибо не Бог ли еще перед человеком виноват, не ему ли оправдываться. Не Бог ли погибнет в конце от раскаянья, если мир погибнет. И как вообще кто-нибудь сможет в раю райское блаженство вкушать, если в бездне ада останется хоть один грешник и, конечно, ясно для меня, что Христос оставит свой рай и поселится навеки в аду, чтобы мочь вечно утешать этого грешника. Не человеку должно быть страшно, а Богу страшно на небесах, за то, куда идет мир. Но где новое восхищение, Иисус Незвестный? Не в грозном Боге он. Бог этот далек слишком, и не способен возбудить любовь, ибо «вполне благополучен», а на земле в сораспятии Христу, в нищете Господней, в грязи Господней, и в отвратительности Господней, в венерологической лечебнице,

* нервный срыв (фр.).

в Армии спасения, и действительно для многих, вероятно, в поле. Мистической реабилитацией пола полна символистическая литература последних лет от Розанова до Реми де Гурмона (столь антистоична она в этой точке). Она права совершенно, ибо где христианство воплощено, как не между любовниками, говорил Мережковский, не отдают ли они с легкостью друг другу все на свете, не жалеют ли они друг друга бесконечно. (Хотя в душе героической Европы, наоборот, «никакого пола». Бокс, спорт, метафизика, все что угодно — только не пол, всякий боксер перед матчем воздерживается два месяца, иначе верное поражение). Но Мережковский против жалости. Он проповедует некую страшную огненную любовь. Он весь пронизан ожиданием, приближением, ощущением чего-то при дверях. Неизмеримо пробужденнее он, и озареннее всех почти богословов эмиграции (следовательно, и России). Он пишет об огромных вещах, и если бы ему удалось написать будущего Иисуса Неизвестного, так, чтобы можно было Его полюбить (а не ужаснуться Ему). Через него, а не через кого-нибудь из молодых писателей, вернулась бы в Россию религиозная мысль. Ибо кто теперь из молодых, ну, просто, знает столько, сколько он, да и из «православных»? В книге, которая есть действительно европейски-культурное явление, описана тысяча новых открытий современной истории религий (не говоря уж о России, где апокалипсические неучи продолжают читать Дрекса и прочие новинки), и, к счастью (вспомним Розанова о книгопечатаньи), книга огромна и стоит дорого, то есть никто «небрежно рукою не отбросит ее, перелистав». Псы нерадеи ее не прочтут, но тот, кто в комнате тихой уединится с ней, сколько сведений о мистериях, сколько острейших аналогий и блестящих догадок прочтет он, а также высоких мистических отступлений, написанных не писарским кабинетным слогом, а тончайшей прелестью и ядом поэта-декадента. Зелинский, В. Иванов и Мережковский для нас сейчас — три светила по изучению древности (почти три святителя), но первые двое, скорее, успокоены и озарены прошлым, Мережковский же через античность рвется к третьему Завету, к грядущей Матери-Духу. Он мучительнее всех сейчас.





А. КУПРИН

«Иисус Неизвестный»

Д. Мережковский. Иисус Неизвестный (Белград)

Несомненно, эту замечательную книгу должны были бы прочитать истинные философы и глубокомысленные богословы. Дать же о ней отчет могут лишь люди, чья вера в Иисуса Христа и в Евангелие свободна, проста, любовна и полна умилительной благодарности.

Я сам, к сожалению, верую слабо, лениво и наивно; как веруют плотники, солдаты, деревенские бабы и пчеловоды. Потому-то вся задача моей заметки заключается только в том, чтобы своевременно обратить внимание серьезных читателей на эту странную, страшную и нежную книгу, пока она не станет библиографической редкостью, что настанет, в условиях нынешнего русского типографского дела, очень скоро.

«Был ли Христос»; «Неизвестное Евангелие»; «Марк, Матфей и Лука»; «Иоанн»; «По ту сторону Евангелия»; «Жизнь Иисуса Неизвестного»; «Как он родился»; «Утаенная жизнь»; «Назаретские будни»; «Мой час прошел»; «Иоанн Креститель»; «Рыбаголубь»; «Иисус и дьявол»; «Искушение»; «Его лицо (в истории)»; «Его лицо (в Евангелии)».

Вот десять основных глав, составляющих этот огромный труд, совершенный в долгий период времени с тщательностью и с усердием летописца.

И есть в этом творении одна тонкая струя, один как бы давно знакомый аромат, умиляющий поневоле сердце русского читателя. Это незримое ощущение понятного, доброго, простого, близкого Христа; Христа за пазушкой, как говорил Достоевский.





Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

Иисус Неизвестный

Главное достоинство книги Мережковского в абсолютной оригинальности его метода: это не «литература» (литература о Христе — невыносима), не догматическое богословие (никому, кроме богословов, не понятное); это и не религиозно-философское рассуждение — нет, это интуитивное постижение скрытого смысла, разгадывание таинственного «Символа» веры, чтение метафизического шифра, разгадывание евангельских притч, каковыми в конце концов являются все слова и деяния Христа. «Имея уши да слышит» — так оканчивает Христос свои поучения. Это обращение к *духовному слуху*, который слышит потустороннее в посюстороннем слове. Автор обладает этим духовным слухом и показывает читателю: слушай! разве ты этого не слышишь? Правда, у него не «абсолютный слух», есть как будто и ошибки, не все абсолютно убедительно, но он заставляет вслушиваться, иногда даже заслушиваться, постоянно чувствуя потустороннее звучание. Очень редко читатель отклоняет и не приемлет, очень редко автор съезжает на беллетристику и выдумывает. В этой книге он совершенно перерос свою собственную литературу и редко возвращается к своим приемам и шаблонам. Порою он достигает настоящего величия, когда остается верен своему методу.

Вся книга есть, в сущности, медитация над евангельским текстом: что звучит в этом слове? Что сокрыто в этой грандиозной Притче истории? Притчи, по слову автора, — это астрономические параболы, уходящие в бесконечность. Жизнь Христа не рассказывается, она и не может быть иначе рассказана, нежели это сделано в Евангелиях. Но сопоставляются тексты, апокрифы и аграфы, и предания отцов — они даются и показываются так оригинально, так по-новому, что ощущаешь удивление заново, как бы впервые читаешь знакомые слова, иное слышишь за ними, многому изумляешься. Изумляет, конечно, само Евангелие; но

автор умеет показать, что изумительно. Здесь лежит для нас критерий ценности. Начало истинной философии и мистики есть изумление. Потеря изумления есть основное горе ума: неспособность выйти из себя, «из ума», из привычного, известного, установленного, из *позитивизма*. Существует позитивизм церковный, позитивизм богословский, как и позитивизм безбожный, натуралистический. Тому и другому наш автор сознательно противостоит. Он преодолевает их способностью изумления, потусторонним слухом, чувством парадоксальности и неслыханности того, что возвещает Евангелие.

Трудно дать почувствовать «неслыханность» тех слов, которые нам прожужжали уши, и чем громче и чаще возглашает диакон, тем труднее услышать. «Горе наше в том, что за две тысячи лет мы так привыкли к словам Его... что оглохли, ослепли к ним окончательно... Но если б мы могли чуть-чуть отвыкнуть от них... то мы удивились бы, ужаснулись, поняли бы вдруг, что это самые невозможные для нас... самые нечеловеческие из всех человеческих слов». «Снять с Евангелия пыль веков — привычку; сделать его новым, как будто вчера написанным», расковать «церковное Евангелие, закованное в пурпур, золото и драгоценные камни» — вот метод и задача книги, и автор здесь многого достигает. Розанов как-то сказал: несчастье христианства в том, что оно стало риторическим. И можно добавить, что самая убийственная риторика — это проповедь общеизвестных догм или моральных истин любви к ближнему. *Das ganz Andere, Mysterium tremendum* * (Рудольф Отто) — всегда присутствует у Мережковского. В этом смысле определяющим является его замечательное заглавие: «Иисус Неизвестный». Это значит Иисус, которого мир не познал, *не узнал*, не понял, не оценил, не разгадал. Весь метод книги, метод интуитивного разгадывания чудесного, метод изумления — могли бы мы сказать — определяется этим заглавием. Оно направлено против всех тех, кто думает: нам-то Он хорошо известен, против тех, кто взял ключ разума — догматического, исторического, критического.

Мережковский совсем не философ и не богослов и, главное, не хочет этим быть, хотя он и образован, и начитан философски и богословски. Он не хочет быть и «литератором» в этой книге. Кем же он хочет быть? Да просто учеником Христа, и притом любимым учеником, которому доверены особые тайны. Надо признать, *что это право каждого христианина*. В нем нет никакого чрезмерного притязания, наоборот, оно соответствует обещанию Хри-

* Совсем иное, ужасная тайна (нем.).

ста: «И явлюсь ему Сам». Возможность и ценность глубоко личной интуиции любви у того, кто всю жизнь всматривался в Лик Христа, никто не дерзнет отрицать, она подкрепляется словами Оригена: разным людям являет себя Иисус по-разному — каждому является в том образе, какого достоин каждый. Христом допущена и указана молитва уединенно-личная и, с другой стороны, соборно-литургическая — точно так же допустимо постижение тайны Богочеловека посредством личной интуиции и посредством соборной мысли и чувства. Но в своей личной интуиции Мережковский никогда не остается изолированным, самодостаточным, напротив, он привлекает богатый материал других прозрений, ему близких и родственных. Этот материал, нужно признаться, собран и сопоставлен замечательно. Внимание читателя приковано и зачаровано.

Философы и богословы не должны обольщаться: никогда они не получают того доступа к сердцам, который открывается на этом пути. Они всегда, в сущности, понятны (в лучшем случае!) только философам и богословам. Мережковский же обращается ко всем, кто обладает духовным слухом, кто может изумляться таинственному, кто способен переживать трагизм. По нашему времени и это не такая большая аудитория! Но вот что замечательно: философ и богослов, если только он не «книжник и фарисей», найдет для себя в этой книге много ценного. Правдивость и подлинность некоторых интуиций, идущих из сокровенной глубины сердца, не может не поражать. Вот самый яркий пример. Нужно дать постигнуть и пережить смысл главного и центрального символа христианства, символа Царства Божия. Как это делает автор? Он показывает «первые точки Царства Божия, которые теплятся уже и сейчас, как первые звезды в ночи», эти точки видимы иногда в жизни, как отблески рая, как исполнение надежд: «радость вечного свидания любящих», возвращение потерянного рая, потерянной родины, избавление от постыдной тирании человекообразных — «вот, уже всем людям понятное, простейшее начало Царства Божия». Три замечательных страницы (II. 104-III) в ряде образов сразу дают почувствовать, о чем идет речь: тема Царства Божия сразу воспринимается «музыкальным слухом сердца». Мы, философы, выражаем это по-своему, примерно так: христианство есть *религия абсолютно желанного*; Царство Божие есть исполнение всех исконных, «заветных», существенных, абсолютных желаний человека. Дав адекватные образы, очевидные «точки» абсолютно желанного, автор показал звезды царствия во мраке ночи. (По странному закону творчества, каждое подлинное достижение сразу изобличает все не-

подлинное; так и здесь, стихотворение на стр. 111 сразу снижает предыдущее: после слов Апокалипсиса, сентиментальные «одуванчики» недопустимы).

Очень хорошо истолкование чудес: чудо экстаза, превращающее воду в вино; чудо любви и духа, насыщающее пятью хлебами (обратное чудо дьявола — умаление хлебов! это чудо ненависти и материализма); чудо воскресения, чудо восстания против смерти, дающее прорыв в иной мир. Интересна мысль понять чудеса так, чтобы они не превращались в утилитарную магию, чтобы они не были похожи на то чудо, которое было отвергнуто как искушение от дьявола. Ценно указание на то, что Христос бежал от чудес и переживал муку чудес. Мы могли бы истолковать ее как отрицание корыстного пользования чудотворцем.

Заслуживает быть отмеченным прекрасное научно ориентированное и для всех убедительное опровержение всяческих сомнений в исторической реальности Христа. Очень хороши образы апостолов, особенно Петра и Иуды. Верна характеристика Евангелия от Иоанна («полуистория — полумистерия»). Невозможно передать всю муку интересных цитат (напр., парадокс Вельгаузена: «Иисус не был христианином, он был Иудеем») и удачных образов (напр., «чувствуют, что пахнет от Него миром нездешним, как морозом от человека, вошедшего снаружи»). Слабее истолкование «искушения в пустыне», после Достоевского оно ничего не дает. И уже совершенно неприемлем для нашего слуха сочиненный автором «Апокриф об Искушении»: это чистой «литература», и притом такая, которая не может стоять рядом с Достоевским и его «дописывать». Своим импрессионально-романтическим стилем она совершенно выпадает из общего строгого библейского стиля книги. Мы не приписываем себе «абсолютного слуха», но для того, чтобы слышать фальшь, как известно, и не надо обладать абсолютным слухом. Автор сам виноват в том, что дал нам образцы подлинной гармонии, и мы ими проверяем как камертоном.

Недостаточной кажется нам и медитация о «богооставленности», но это уже относится к тайне голгофской трагедии и составляет тему следующего тома. Автору предстоит еще великая задача достойного завершения своего труда. Кого Христос позвал, тот должен дерзать и идти до конца. Пожелаем ему преуспеть, все, им доселе достигнутое, и это нелегко сделать.





И. ИЛЬИН

Мережковский — художник

Первое, что бросается в глаза, это то, что Мережковский — художник, романист и драматург — всегда держится за исторически данный материал. Он всегда занят крупными или великими фигурами истории — Юлиан, Леонардо, Петр, Наполеон, Аменотеп, Павел, Александр — и замечательными, сложными и смутными в духовном отношении эпохами.

Выбрав такое лицо или такую эпоху, он садится прилежнейше за архивную работу, читает первоисточники на нескольких языках, делает выписки и т. д. Эти выписки он приводит затем в своих романах. То он пользуется ими для создания больших живописных панно; то он конденсирует их и придает им форму выдуманного им самим дневника одного из героев романа, дневника, которого тот никогда и не писал; то он пользуется ими для сочинения фантастических разговоров или афористических заметок и т. д. Один из критиков Мережковского подсчитал, например, что из тысячи страниц его романа «Леонардо да Винчи» или «Воскресшие боги» — не менее половины приходится на такие выписки, материалы и дневники.

Однако это совсем не значит, что эти исторические романы можно рассматривать как фрагменты научно-исторического характера. Это невозможно потому, что Мережковский совсем не желает знать и устанавливать исторические факты; добытым материалом он распоряжается без всякого стеснения; и если бы кто-нибудь захотел судить о Макиавелли, Петре Великом или Александре Первом по Мережковскому — то он совершил бы величайшую неосторожность. Мережковский как историк — выдумывает свободно и сочиняет безответственно; он комбинирует добытые им фрагменты источников по своему усмотрению — заботясь о своих замыслах и вымыслах, а отнюдь не об исторической истине. Он комбинирует, урезает, обрывает, развивает эти

фрагменты, истолковывает и выворачивает их так, как ему целесообразно и подходяще для его априорных концепций. Так складывается его художественное творчество: он вкладывает в историю свои выдумки, и тасует и колдует в ее материале, заботясь о своих построениях, а совсем не об исторической правде; или, иначе, — он укладывает, подобно Прокрусту, историческую правду на ложе своих конструкций — то обрубит неподходящее, то насильственно вытянет голову и ноги. Вследствие этого великие исторические фигуры, со всеми их дошедшими до нас следами, словами и чертами — оказываются в руках Мережковского вешалками, чучелами или манекенами, которыми он пользуется для иллюстрации своих психологически-диалектических открытий. Являясь как бы прешествником великого гения наших дней, призванного прозирать в жизнь всех исторических гениев, — я имею в виду пресловутого Эмиля Людвига, читая которого, стыдишься за него, что ему несколько не стыдно выдумывать свои выдумки, — Мережковский тоже считает себя призванным художественно трактовать жизнь гениев и титанов и, конечно, обращаться с ними запанибрата.

Итак: он злоупотребляет историей для своего искусства и злоупотребляет искусством для своих исторических схем и конструкций. И в результате его история совсем не история, а литературная выдумка; а его искусство слишком исторически иллюстративно, слишком эмпирически-схематично для того, чтобы быть в художественном отношении на высоте. Одно это обстоятельство освещает нам строение его художественно-творческого акта.

Беллетрист, который до такой степени ищет опоры в исторических данных, фигурах и материалах, который до такой степени льнет к эмпирическим фактам истории и так нуждается в них, — может быть легко заподозрен в том, что ему нелегко дается работа творческого воображения, что он не справляется ни с образным составом своих произведений, ни с драматическим и романическим фабулированием. Ему, по-видимому, совсем не так легко облекать сказуемое им предметное содержание в эстетические образы и картины, объективировать помыслы в живые фигуры и следить за их имманентным развитием, за их поступками и судьбами. Хотелось бы прямо спросить — в порядке нащупывающего эстетического анализа — а что у таких писателей герои их произведений объективируются ли настолько, чтобы иметь пластически законченный душевно-духовный характер, совершать поступки и проходить убедительный для читателя лично-художественный путь?

Эстетическая функция образного фабулирования состоит у художника прежде всего в акте пластически зрелой телесно-душевно-духовной объективации — в убедительной и верной себе скульптурной лепке живого образа, героя или героини. Художник вылепливает из своего и чужого, исторического и фантастического пластилина — новое прометеево чадо, в котором он сам пребывает, и в то же время законченно его от себя отделяет и дает его образ как законченно-самостоятельную фигуру; и творческая воля и власть художника должны быть достаточны для того, чтобы выдерживать объективную самостоятельность героев, с одной стороны, а с другой — пребывать в героях, драматически творя изнутри своею волею их решения и их поступки. Фабулировать — творить фабулу романа — значит волевым образом приводить в движение и совершать имманентный закон художественно созданных образов.

Художественный анализ произведений Мережковского убедил меня в следующем: функция воли в его художественном акте чрезвычайно слаба. Это выражается прежде всего в безмерном прибегании к исторической фабуле, хотелось бы сказать, к биографии каждого данного исторического лица. Затем — в выборе художественно обрисовываемых героев: так, Юлиан Отступник или совсем не действует или из какого-то слепого упрямства пытается действовать в безнадежном направлении; Леонардо да Винчи совсем не совершает поступков; драматическая ситуация Александра Первого и заговорщиков-декабристов состоит в том, что они не умеют и не могут действовать; художественно воссоздать образ Наполеона Мережковский не сумел — вышла неубедительная и натянутая биография; Петр Великий — волевой титан — вышел у него отвратительным, свирепым зверем; а в эпопее крито-египетской — мы находим только пассивно страдающих героев и не способных к действию людей. Итак: в художественном акте Мережковского — воля представлена почти всегда *безволием*; волевые герои — свирепы и зверски; их почти нет — прочие безвольны.

Но и функция волевого отбора — у Мережковского-писателя — абсолютно не на высоте: протяженно-сложенность его романов свидетельствует отнюдь не о размерах его фабулирующей силы, а о неумении строго и четко выбирать только то, что художественно необходимо. Мережковский-писатель не имеет отцеживающей, отбрасывающей, конденсирующей волевой власти — его романы только выиграли бы от сокращения — в них плещется море художественно-ненужного — в них по крайней мере половина художественно-обходима и является литературным бал-

ластом. Поучительно сравнить его в этом отношении с Чеховым, у которого объективированные герои безвольны и беспоступочны — воли *творимой* нет, а субъективно-творческая функция отбора находится на чрезвычайной высоте — воля *творящая* исключительна.

* * *

Обратимся теперь к силе воображения у Мережковского. Художественное воображение Мережковского имеет свои, совершенно определенные границы. По своей основной установке Мережковский — человек чувственного опыта и чувственного воображения (экстравертированный субъект, прикованный к показаниям тела и материальным образам). Но всего замечательнее то, что прикованный к наружному, чувственному, материально-земному, он страстно, болезненно страстно интересуется и занимается — по крайней мере, умом, отвлеченной мыслью — теми проблемами, которые по силам только интровертированной душе, углубленной, ушедшей в свои колодцы и оттуда созерцающей мир по-духовному.

Как человек внешне-чувственный, Мережковский владеет только тем, что он видит — материальными обликами земного мира; его ослепляет, его чарует пространственно-пластический состав мира и образов; больше всего ему говорят скульптура, архитектура и живопись — и притом не в их тонком, глубоком, сокровенно-духовном значении, но в их выявленном, материально-линеально-перспективно-красочном составе. Внешнее внешних искусств — вот его стихия. Мережковский — мастер внешне-театральной декорации, большого размаха крупных мазков, резких линий, рассчитанных не на партер и не на ложу бенуара, а на перспективу подпотолочной галереи; здесь его сила; это ему удается. То, что он рисует — это как бы большие кинематографические стройки, преувеличенные оперные декорации, гигантские сценические эскизы, или макеты для взволнованных массовых сцен разыгрывающихся на фоне античных городов или гор средиземного бассейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он подкупает их силу воображения, выписывая им роскошные аксессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египетских пейзажей, — почерпывая материал для них не столько в природе, сколько в обломках и остатках развалин и музеев.

И если попробовать расспросить его ценителей и почитателей о том, что же им собственно нравится у Мережковского, что имен-

но так хорошо у него, то обычно получаешь два ответа: «грандиозно» и «красиво» — не глубоко, не значительно, не прекрасно, — а только грандиозно и красиво. И действительно, красочные картины декоративного ансамбля ему нередко и весьма удаются — ну, как у Семирадского, у Рубенса, у Паоло Веронезе, иногда у Тициана или Бронзино. Например: солдатский бунт в военном лагере Юлиана Отступника; парад легионов во время грозы; вакхическое шествие кесаря Юлиана со жрецами, с чернью и пантерами; процедура одевания герцогини Беатриче Моро во Флоренции; охота и хозяйство герцога Моро; полет ведьм, колдунов и оборотней на гору Брокен, постепенно превращающийся в языческую вакханалию; Саванарола во Флоренции, сожигаемый на костре; придворный бал и наводнение в Петербурге при Петре Великом и т. д.

Если читать это как бы издали, с галерки, или прищурясь, чтобы не придирааться и не замечать деталей; если осматривать эти картины так, как озираешь театральные декорации — где важно только общее впечатление, взятое издалека, где нельзя и нелепо фиксировать в бинокль Цейса использованные лоскутья доски, куски картона и т. д. — тогда можно получить зрительно-фантазийное наслаждение. Но если надеть настоящие эстетические очки, то как только поставишь и не снимешь внутренние художественные требования, — вдруг видишь себя перед пустой и холодной стряпней, которая может лишь очень условно претендовать на значение; она никак не может сойти за главное или заменить его; она остается только декорацией — выписанной с преувеличенным, перенапряженным импрессионизмом и от времени до времени прерываемой аффектированной аллегорией или нарочитым, выдуманным безвкусием (см., например, «Петр и Алексей», т. IV, стр. 244). И когда вникнешь в такие картины — то видишь, что все это не более, чем эффективная декорация.

Экстравертированная природа романиста выражается в том, что он в своих описаниях держится за ткань внешних чувственных образов, *их* описывает, *ими* занимает свое и читательское воображение, а к душевно-духовной, внутренней жизни своих персонажей и героев подходит через внешнее. Читатель все время видит себя засыпанным конкретно-чувственными единичными деталями, внешними штрихами и подробностями, которые он в конце концов не может ни исполнить, ни использовать, ни оценить, и наконец начинает давиться и задыхаться. И все это всегда статически взятые, изолированные штрихи — навязывающиеся внешнему глазу, уху, обонянию, вкусу. Эти черточки, эти единичные мазки удаются Мережковскому особенно не тог-

да (как это бывает у Бунина), когда он описывает красоту природы, но тогда, когда он описывает человеческие мерзости — в уличной жизни, в кварталах черни, в человеческих болезнях, во внешнем виде отвратительных уродов и т. д.: уличные ссоры и драки, рев и вонь; визг и вопли, несущиеся из публичного дома; вой прокаженного старика, который жалуется на судьбу и скребет свои белые корки и т. д. Словом — выражаясь собственными словами Мережковского: «Зловонное дыхание черни — запах людского стада».

Вот пример такого описания: вот казнят брата кесаря Юлиана, кесаря Галла — предательски, потихоньку, наскоро, в палатке, чтобы солдаты его легионов не могли спасти его; голова его отрублена — надо ее унести: «Не за что было ухватить гладкую выбритую голову. Мясник сначала сунул ее под мышку. Но это показалось ему неудобным. Тогда воткнул он ей в рот палец, зацепил и так понес ту голову, чье мановенье заставляло некогда склоняться столько человеческих голов». Сцена в высшей степени характерная для кисти Мережковского — который всегда готов угостить себя и читателя отвратительными подробностями, душераздирающими деталями, реалистическими совершенно ненужными тошнотворными описаниями — с тем, чтобы сейчас же истолковать их глупому читателю символически или аллегорически. И один читатель потрясается и приковывается, внешняя мерзость мира пробивает наконец его носорожью впечатлительность; а другой читатель морщится от отвращения — «зачем это нужно, когда это в художественном отношении не необходимо?». Понятно, что такими описаниями легко поразить и разбередить душу читателя, но очень трудно описать и осветить внутреннюю жизнь своих героев.

Здесь поучительно сравнивать Мережковского не с мастерами и ясновидцами *внутреннего* опыта (Достоевским, Шмелевым), а с мастером чувственной живописи — с Буниным. Бунин — человек природы, естества, инстинкта и чувственного видения: он берет человека извне и с необычайной силой и наглядно точностью показывает через внешние проявления его — жизнь его инстинкта. Мережковский совсем не человек природы и живого естества. Напротив: трудно было бы найти другого такого беллетриста, который был бы настолько *чужд природе*, или даже *противоприроден*. Мережковский совсем не целен в своем внутреннем инстинктивном укладе — подобно Бунину. Напротив, он совершенно раздвоен, сломлен, он носит в самом себе некое темное лоно и любит объективировать его и тогда играть с ним; в этом преимущественно и проходит все его литературное

творчество. Его любимый эффект состоит в том, чтобы описывать некий якобы мистический мрак, внезапные переходы из темноты к свету и наоборот; при этом подразумевается и читателю внушается, что там, где есть мрак, там уже царит жуть и страх; и где человеку жутко и темно, там есть уже что-то «мистическое».

Наподобие этого — творит и живет и сам Мережковский. Он носит в себе расколотую, расщепленную душу: мрачно пугающее и пугающееся воображение; и холодный, диалектически-самодовольный рассудок. И слишком часто читатель чувствует, что ведет его, Мережковского, — именно рассудок. Рассудок анализирует, расчленяет, противопоставляет: получается формальная диалектика — А и не А; Мережковский чувствует себя в своей тарелке, он успокаивается только тогда, когда он устанавливает *дихотомию* — две противоположные стороны, — как будто бы некое непримиримое противоречие; установив его, он начинает блуждать вокруг него, играть им, многозначительно подмигивая при этом читателю; он думает, что от этого противоположения родится что-то значительное, глубокое, мистическое, и сам начинает вести себя, как некий мистический жрец. Начинается диалектическое священнодействие; противоречия непримиримы — тело мира разрывается, трагедия и мрак, и вдруг луч света — жрец мистически подмигивает и дает знать, что дело поправимо, что **А и не А** — где-то в последнем счете суть *одно и то же*. «Мужчина или женщина?» — Противоречие. Разрыв. Мрак и ужас. — «Ничего». Мужчина есть женщина. Женщина есть мужчина. Тайна. Откровение. Исцеление. «Добро или зло?» — Противоречие. Разрыв. Трагедия мира. — «Ничего». Добро есть не что иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог и диавол — одно и то же. Христос есть Антихрист. Антихрист есть Христос. Тайна мира разоблачается. Откровение. Примирение. Исцеление. «Бог или человек?!» — Бог есть человек. Человек есть бог. Мудрость. Глубина. Озарение.

Нужды нет, что у сколько-нибудь честно думающего и искренно чувствующего читателя — делается ощущение головокружения, корабельной качки, тошноты; и больше того: смуты, соблазна, отвращения. Нужды нет, что это противоестественно и противодуховно. Это Мережковского не смущает и не огорчает; напротив — тут-то он и наслаждается своим мнимым глубокомыслием, почерпнутым из соблазнительнейших сект и ересей Древнего Востока; тут-то он и упоется своими псевдомистическими играми. Натура раздвоенная и неисцеленная; натура сломленная и в самой сломленности своей ищущая сладостных утех, Мережковский выдумывает и вынашивает свои диалектические

загадки, вываривая их сначала в рассудке, потом в живописующем воображении, приклеивая их или пытаясь вдохнуть их своим героям и их земной судьбе. Эти диалектические тайны — его гомункулы. Он и сам гомункулезная натура, — вечно выдумывающая свои рассудочные ужасы, для того, чтобы живописно изобразить их в эффектно-декоративных панно.

Вот главное затруднение его художественного акта, вот камень его преткновения: Мережковский экстравертированный живописец, у которого нет ни способности, ни мужества принять себя как такового, жить из цельного инстинкта, творить из него, раскрывая его — и не посягать ни на какое мистическое глубокомыслие; и в то же время он рассудочный выдумщик, который носится отвлеченной мыслью над водами непонятной ему интровертированной души и над ее проблемами и размышляет об этих тайнах и проблемах в отвлеченном, гомункулообразном порядке — выдумывает о них, *никогда не проживши в них*, и борется с безнадежной, непосильной задачей — разгадать и описать интровертированную жизнь гения не изнутри, а снаружи, по внешним деталям и по эффектным декорациям. Как только Мережковский пытается ухватить жизнь человеческого инстинкта и описать ее, перед нами встают раздвоенные натуры — мужчины, которые не могут быть и стать мужчинами, и женщины, которые не хотят быть женщинами; томящиеся фигуры — проблематические души — несчастные недотепы — противоестественные комбинации.

Томление этих безвольных душ с поврежденным инстинктом (как Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, фараон Ахенатон в «Мессии») — Мережковский пытается истолковать и использовать в религиозном смысле и направлении, и притом по схеме:

Христос или Антихрист

Отец или сын — в мистическом отношении...

И так выясняется, что Юлиан Отступник — Антихрист, и притом благородный Антихрист, привлекательный; что Леонардо да Винчи — сразу и Христос, и Антихрист; а фараон Ахенатон (явно гермафродитская натура) — Христос, у которого, однако, не хватает храбрости признать себя Христом.

Из всего этого возникает своеобразная, сразу и большая и соблазнительная, половая мистика; мистика туманная и в то же время претенциозная; мистика сладостно-порочная, напоминающая половые экстазы скопцов или беспредметно-извращенные томления ведьм. У внимательного, чуткого читателя вскоре на-

чинает осаждаться на душе больная муть и жуть; чувство, что имеешь дело с сумасшедшим, который хочет выдать себя за богоспосещенного пророка. Читатель начинает томиться подобно этим больным героям, — но по-своему: то отвращением, то тоскою, то скукою; жаль этих больных и отвратительно; и в то же время не веришь ни им, ни в них — ибо чувствуешь, что они — порождение искусственно выдуманной абстракции.

Беспомощно стоит Мережковский перед простою и классическою тайною человеческого инстинкта, как перед неразрешимою для него загадкою, и создает искусственную, мертвую, диалектическую схоластику. Ибо сущность схоластики состояла в том, что люди пытались отвлеченно умствовать о том, что им не было дано в опыте, так, как если бы это все-таки было дано им каким-то рационалистическим, априорным способом. Так Мережковский и остается беспомощно стоять перед тайнами человеческой души, в качестве умственного рассудочника.

Правда, там и сям ему удается остро и тонко подметить своим экстравертированным глазом точный и меткий внешний образ и художественно его использовать. От времени до времени у него всплывают такие сочно набросанные, обычно мимолетные, фигуры — меткие, зло очерченные, поверхностно намеченные типологические кроки; всплывают и навсегда исчезают — так, что потом они больше не появляются, и не знаешь, зачем он их показывал. Но как только Мережковский берется за большую фигуру и за сколько-нибудь более сложную психологию — так читатель видит себя как бы в пустом темном поле, на котором он с трудом и опасением различает и нащупывает темные дыры и ямы; спотыкаясь, скользя, почти на четвереньках он въезжает в них и видит, что художник, взявшийся ему это показать, сам в полной беспомощности, фонарь его не светит, он предал, покинул читателя, — хотя и продолжает делать мину знатока и говорить громким авторитетным голосом.

Если при этом у Мережковского имеется какой-нибудь исторически подлинный материал — как для Леонардо или Петра — тогда читателю позволяется сшить кое-как эти исторические лоскутья своим собственным воображением; материал вываливается, — и читатель беспомощно пытается выполнить вместо романиста, за него — невыполненный им художественный синтез. Если читатель пытается это сделать, тогда он скоро замечает, что романист *своей* работы предварительной просто не выполнил; мало того, что романист со всей своей априорно-рассудочной диалектикой просто *мешает* ему в этом деле: вдруг романист, следуя своей диалектической схеме, — все делит на противополож-

ности, извлекает из души Леонардо да Винчи — безнравственного садиста (надо показать, что он-де антихрист); а потом вдруг Леонардо да Винчи предстает добрейшим и нежнейшим человеком, который все прощает, все понимает и живет в божественном (надо показать, что он Христос). И первое столь же неубедительно, сколь и второе; и то и другое — нехудожественная выдумка — схема вместо живой души — логические абстракции вместо гениального духа.

Если же подлинного исторического материала мало — как от Юлиана, Ахенатона — то все распадается на куски: Мережковский берет внешнюю историю Юлиановых поступков; подставляет под поступки соответствующие свойства — как схоластики делали: спит человек — значит, у него спательная сила (*vis dormitiva*), питается — значит, у него есть питательная способность (*vis nutritiva*), и т. д. — и приписывает эти свойства своему герою. Но живой синтез этих свойств, художественно законченная скульптура характера — *не* создается; нити тянутся к центру — и не встречаются в нем; центр остается пустым, под знаком вопроса; и герой распадается на куски, на отдельные художественно-психологически не связанные деяния, с которыми читатель не знает, что начать — ворох неожиданных черт, свойств, настроений — бессвязный агрегат состояний, слов и поступков.

Мережковский вообще не создает и не дает своему читателю — единую душевно-духовную скульптуру героя; зрело объективированный личный характер; пластику души, завершение индивидуальности; создание воображающего видения. То, что может дать внешнее наблюдение и умственное обобщение, — он дает. Но то, что должно дать художественное отождествление, — индивидуализация, персонификация, связующая множество в закономерное и необходимое единство, — он не дает совсем.

Великие люди, — а он вместе с Эмилом Людвигом любит их толковать и себя через них показывать — оказываются у Мережковского не людьми и не великими. Это какие-то пустые бочки, расставленные искусным фокусником, из коих можно вынуть все, что угодно, стоит только заранее вложить это туда; а на бочке написано — гений — такой-то! Всегда безнадежная попытка выдумать жизнь гения в отвлеченной умственной реторте и выдать этого гомункула за живую, глубокую, Богу предстоящую душу, — ибо гениальность всегда есть особое трепетное предстояние души Богу — так, что через это предстояние Господь входит в душу, обитает в ней и говорит из нее. Внимательное чтение, изучение и исследование привело меня к тому выводу, что Мережковский совсем не представляет себе, как думает, чувству-

ет, любит, воображает, исследует *гениальный* и *умный* человек; что ему это в опыте не дано от природы а приобрести это опытом он не смог и не сумел.

Мало того, живой процесс другой души — ему вообще не доступен, он знает только свою душу — отвлеченно умствующую рассудком и бесплодно-сладостно томящуюся инстинктом. Вот пример: в романе «Воскресшие боги» — он приводит сочиненный им самим дневник одного из учеников Леонардо — Джиованни Больтраффио. Этого Больтраффио он сам описывает как глупца, путаную убогую голову, маленького труса, не способного ни к какой самостоятельной мысли. И вот в дневнике этого глупого путаника Мережковский вносит, в качестве мыслей самого Больтраффио — все то, что на протяжении веков думали и рассказывали разные люди о Леонардо да Винчи — между прочим и умные люди, умные зрелые мысли, которых современник Леонардо совсем и не мог иметь — тем более этот глупец. Больтраффио, на самом деле, исторически не был глупцом, картины его обнаруживают и чувство формы, и мысль, и грацию. Мережковский делает из него глупца. Пусть. Но у глупца — психологически — неизбежно будут одни глупые мысли.

Однако психология, психика, целостный организм души совсем не интересуют Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души. Душа героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, как знает. И это для Мережковского характерно, определяюще. Поэтому у него люди часто совершают поступки и произносят слова, которые не соответствуют ни их возрасту, ни их характеру. Автору это сейчас нужно — и это вставляется... Что? Нехудожественно? А ему нравится... Каждый герой становится как бы пустым портфелем, в который автор вложит — сортируя свои огромные материалы и бесчисленные выписки — то, что больше никуда не устраивается и не помещается. Однако для таких описаний, как церковный собор, происходящий в присутствии Юлиана Отступника — этот образ портфелей еще слишком невыразителен. Автор исчисляет там много ересей, такое множество, что он не может создать столько живых лиц по числу этих ересей. Тогда он делает следующее: он пользуется лицами, как карточками для каталога ересей; шел епископ такой-то — его ересь была вот в чем, шел священник такой-то — с такою-то ересью и т. д. Потом все они начинают на соборе галдеть и драться — каждый владеет якобы истиной; все

срамят в побоище свою мнимую очевидность — и победителем остается Юлиан.

Замечательно, что читателю никогда не удастся полюбить героев Мережковского — Мережковский не вчувствуется в своих героев, не вчувствует в них и своих читателей; не любя показывает нелюбимое и не вызывает к нелюбимому никакой любви. В художественном акте Мережковского много внешнего чувственного любования красотой, много нервного аристократического отвращения к уродству; и никакой любви ни к кому. Любовь у Мережковского распалась на сентиментальность и жестокость, выражаясь в терминах научного психоанализа — на мазохистическую и садистическую компоненту. А в любви — даже осталась холодною; холодно восторгаясь внешней красотой, холодно и зло отвращается от вони, грязи и уродства — и не светит своим героям любовью и не греет их. Это не живые люди, заставляющие петь, плакать, любить и молиться вместе с ними, — а теоретически-патологические загадки, которые надо диалектически разгадать.

И когда Мережковский описывает садистические деяния своих героев, то злые дела не открывают читателю пути в душу злого героя — психологически все пусто и мертво; а на делах и настроениях диалектический ярлык — Антихрист. А вот все расплылось в сентиментальное безволие, в беспоступочную немощную доброту, в сладость беспредметного умиления — и опять нет художественного синтеза; а на делах и состояниях героя ярлык — Христос. И вот весь спор между язычеством и христианством вырождается в взаимные перекоры: вы, христиане, — бесхарактерные, безвольные, сентиментальные недеятели, — и, по Мережковскому, язычники в этом правы; а вы, язычники, — жестокие, бесчеловечные, быкобойцы и человекоубийцы, — и, по Мережковскому, христиане в этом правы. Но на самом деле ни благородная жестокость, ни животная жалость и сентиментальность — не есть любовь.

Однако это не последнее основание, не самая глубокая причина, мешающая читателю полюбить героев Мережковского. Последнее основание в том, что Мережковский сам не любит своих героев — ибо он во всем любит только себя и свою отвлеченную диалектику. Именно поэтому — он не бережет своих героев, не ценит их, не гордится ими, не ликует с ними и не плачет. Замечательно, что он их всегда компрометирует. Да, да — именно — компрометирует. Все, за что он берется, описывая, показывая, раскрывая — он всегда в последнем счете компрометирует и губит; все — будь это человеческий образ, идея или религия. Все,

чего он коснется — вдруг увядает, блекнет, вступает в состояние тления и гниения, разлагается, растекается в стоячее, злоуханное болото или повертывает к читателю отвратительное, порочное лицо. Помните, как у Гоголя в «Страшной мести» — колдуну кажется, что все оскаливает ему зубы в страшном, непонятном смехе. Или как у Овидия — бог Вакх приговорил царя Мидаса к тому, что все, чего он коснется, будет превращаться в золото. Так, кажется мне, некий страшный демон приговорил Мережковского к тому, что все, чего он коснется, будет предаваться соблазнительному тлению и гниению. Понятно, что эдакое любить невозможно. И понятно, что с какой тревогой многие из нас услышали, что Мережковский — вообще не познавший самого себя и не ведающий ни своих границ, ни своих недугов — взялся писать книгу о Христе Иисусе. И тревога наша была не напрасна: два тома, написанные им, полны духовного соблазна.

Так и в романах его. В тот миг, когда вы соглашаетесь художественно вчувствоваться в душу Юлиана Отступника — понять его настроение и поверить, что он борется за свою святыню, ибо он верит в своих богов, — выясняется, что он в них не верит; вы учуяли в нем доброту, чувствительное сердце — он совершает отвратительную свирепость. И так во всем. Вы видите, что доброта не только слаба, но что она предназначена впасть в идиотизм. Храбрый — честолюбец, своекорыстен, жаден; верующий — неискренен и не верует; искренний человек искренен, но именно поэтому он есть хищное животное и т. д. Вы начинаете озираться — и искать себе точку опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочувствовать, полюбить — и вдруг вы убеждаетесь, что у Мережковского *всё* двусмысленно и фальшиво; все двусветно, двулично, скользко — все холодно и гладко, как тело ужа; все соблазнительно, смутно, неверно — по средневековому выражению, все есть *skandalum* — скандальный соблазн. Все — душевное, духовное, умственное — таково, что невольно начинаешь молиться — не введи же меня в искушение — и откладываешь книгу.

Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов — суть неустойчивые, колеблющиеся, смутные времена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные. Христианство уже победило, но язычество еще не изжито — вон он, языческий разврат, укрывшийся в христианстве, а вон суцая добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии — язычество возрождается, а христианство в лице католицизма вырождается до корня. Соблазн проснулся за каждым кустом; добро оказывается злом, зло есть добро. А вот эпоха просвещения и языческого класси-

пизма вламывается в Россию при Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха смуты и соблазна, — там истинное вожденное пастбище для Мережковского. Мережковский есть ненасытный лакомка соблазна, он великий мастер искушения, извращения и смуты.

Вот примеры тезисов и образов, вечно выдвигаемых им в романах, — а его романы и образы его всегда суть лишь иллюстрации к тезисам: в мире нет никакого зла; если кто говорит — нет никакого бога, то это тоже хвала Господу; кто служит ангелу зла, тот мудр; это хорошо, когда женщины публично показываются голыми; злодей должен иметь ангельски-благочестивое лицо; все хорошо, все свято — и так далее, без конца. При каждом таком утверждении, при каждом двусмысленно-соблазнительном образе, читатель невольно спрашивает себя: как? что? почему же это так? как это понять? это парадокс? или, может быть, я неверно прочел? что это, надо понять прямо, как сказано, или это ирония? или аллегория? или просто кощунство? или прямо мерзость? Нет, нет. Так и понимать надо, как сказано. Ложное истинно. А истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот благочестивая, искренне верующая христианка — от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря — он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие — тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца, или не стыдись. От руки найденного идола — совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое — «из почтения к Богоматери». Человек имеет две ладанки — с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к Распятию, — а в распятии внутри у него Венера. Чистейшая кровь Диониса — Галилеянина.. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку — это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва — на колдовское заклинание. Христос — Митра. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение.

Изумленно следишь за этими образами и провозглашениями. Откуда они? Зачем? Куда ведут? И почему русская художественная критика, русская философия, русское богословие десятилетиями внемлет всему этому — и молчит? Что же на Мережковском сан неприкосновенности?..

Теософия это? Но тогда это искажено, выдуманно, ложно. Искусство это? Но тогда это искусство, попирающее все законы художественно прекрасного. Религия это? Нет — это скорее безверие и безбожие... Если совокупить это все вместе, то получится некая единая атмосфера — атмосфера больного искусства и большой мистики; некое духовное болото, испаряющее соблазн и смуту.

Что же означает всеевропейская популярность Мережковского? Ведь Мережковский считался самым серьезным кандидатом на премию Нобеля. Но чего же стоит тогда европейская слава? Ведь она сама есть больной туман. Она, по-видимому, родится от отсутствия религиозной и художественной очевидности. Но тогда и судьба ее будет зависеть от восхода духовного солнца. Ибо взойдет солнце духовной очевидности — и все осветится верно, и больная слава растает, как туман.

Мережковский не одинок и в этих своих соблазнительных блужданиях. И я верю, что когда над Россией взойдет духовное солнце — то все будет пересмотрено в духе и все найдет свое верное место.





Г. АДАМОВИЧ

Мережковский

Имя Мережковского неразрывно связано с тем умственным, душевным или просто культурным движением, которое возникло в России в конце прошлого века. У движения этого есть несколько названий: есть кличка, ставшая презрительной, — «декадентство», есть уклончивое, неясное имя — «модернизм», есть определение литературное — «символизм». Критики не раз уже устанавливали разницу между этими понятиями и объясняли, в чем, например, декадентство не было символично, а символизм не был упадочен. Но разделением этим не особенно повезло. Да и сплетение между отдельными ветвями одного и того же дерева было так тесно, что трудно было в этих узорах разобраться. Одна, единая творческая энергия вызвала в девяностых годах литературное оживление... Только, конечно, были среди тогдашних литераторов люди с узкой, ограниченной душой, с узким умом и были другие, внесшие в движение духовную серьезность, напряжение и широту.

Узость олицетворял Брюсов. Может быть, именно потому он был на первых порах так удачлив. Именно потому он легко, без сопротивления с чьей бы то ни было стороны, завладел положением «мэтра»: Брюсов был и понятнее, и заносчивее других, и, в сущности, ограничивался культуртрегерством. «Раньше писали плохие стихи, — будем, господа, учиться поэтическому мастерству у отвергнутых великих учителей и будем писать стихи хорошие». — «У нас толкуют все больше о мужичках и о земстве, а на Западе в это время творится новое искусство, — будем же и мы внимательны к этому новому искусству»... Это легко было усвоить, это сулило легкий успех, Брюсов знал, чего хотел, — и завоевание власти оказалось для него делом пустячным. Но никогда он власти подлинной, над всем движением, не имел, и впо-

следствии произошел не бунт против его тирании, а просто восстановление порядка в литературных делах. Выяснилось, что, кроме просветительной миссии, Брюсов ни на что не вправе претендовать, что сознание его бедно, а кое в чем и порочно, несмотря на пышные слова. Произошло это не теперь, а лет сорок тому назад, еще в то время, когда брюсовский стихотворный дар едва-едва начинал ссыхаться и вянуть. Если не ошибаюсь, в 1910 году, в памятном споре о поэтическом «венке» или «венце». Вячеслав Иванов и Андрей Белый почтительно, но твердо указали Брюсову на его место в новой русской словесности. Брюсов сделал *bonne mine au mauvais jeu* *, заявил, что поэтом, «только поэтом», он и хотел быть всю жизнь и даже принял под свое тайное покровительство возникшие на его, брюсовской, суженной платформе течения, вроде акмеизма и футуризма. Но уязвлен остался он навсегда.

В сущности, культуртрегером был и Мережковский. Он тоже «открывал Европу» — причем начал это раньше Брюсова. Это он, возвращаясь как-то из-за границы в Россию, ужаснулся нашей «уродливой полуварварской цивилизацией» и задумался о «причинах упадка русской литературы». Мережковский только что услышал о диковинном новом мудреце Ницше, будто бы окончательно «переоценившем ценности», только что заучил наизусть стихи Верлена, прекрасные, но без малейшего отзвука «гражданской скорби», и после этого, раскрыв какой-то отечественный толстый журнал на очередной статье Скабичевского, пришел в отчаяние... Но, конечно, этими чертами Мережковский не исчерпывается, — и даже такое привычное соединение слов, как «культурная роль», звучит в применении к нему несколько поверхностно и нелепо. Ну, разумеется, культурная роль была! Но разве в ней дело? Было нечто другое, гораздо более важное и существенное. Несмотря на весь свой европеизм, Мережковский писатель типично русский, — как типично русской была вся «его» линия модернизма, с Блоком и Андреем Белым, многим ему обязанным.

* * *

Можно по-разному оценивать русскую литературу дореволюционного периода. Можно упрекать ее в отступничестве от классических русских традиций, или отмечать ее стилистическую и эмоциональную несдержанность, или осуждать ее за некоторую

* хорошую мину при плохой игре (фр.).

туманность замыслов... Но вот что все-таки бесспорно: она имела какое-то магическое, неотразимое воздействие на поколение, да, именно на целое поколение. Пусть это было поколение «больное», как его нередко характеризовали тогда и как характеризуют теперь в советской России, употребляя другие термины, но оставляя тот же смысл. Пусть оно было слишком городским и несло в себе все последствия разрыва с природой, всегда тяжелые и губительные. Пусть даже в самом деле можно найти объяснение его настроениям в политических и социальных условиях эпохи — пусть! Но все-таки это было очередное русское поколение, и едва ли оно было настолько хуже других, чтобы о нем говорить не стоило. Нет, вспоминая честно, без всякой рисовки, но и без самоуничтожения, то, что занимало «русских мальчиков» — по Достоевскому — в предвоенные и предреволюционные годы, хочется сказать, что сквозь иные слова, иные образы они думали приблизительно о том же, о чем думают все люди в шестнадцать или двадцать лет. Был и жар, и порыв, и восторг. А с литературой была у них связь какая-то такая кровная, страстная, жадная, что о ней теперешним двадцатилетним «мальчишкам» и рассказать трудно. Вероятно, происходило это потому, что юное сознание всегда ищет раскрытия жизненных тайн, ищет объяснения мира, — а наша тогдашняя литература обещала его, дразнила им и была вся проникнута каким-то трепетом, для которого сама не находила воплощения. Нет, не так мы раскрывали «Весы», как раскрывают какой-нибудь журнал теперь, не для того только, чтобы прочесть «интересную» повесть или «недурные» стихи: нет, нам казалось, что вот-вот что-то важнейшее будет объяснено, что-то должно измениться, и на этих страницах мы это увидим. Даже если и знаешь теперь, что жажда утолена не была, обиды не остаются. Напротив, остается только благодарность.

Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого оттенка предреволюционной русской литературы, — и это-то и показывает, насколько мало характерно для него поверхностно-капризное западничество с Верленами, Уайльдами, а то даже и Пшибышевским. Без Мережковского русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова, и именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту. Книга о Толстом и Достоевском оправдывает поход на Скабичевского: ради переложения французских сонетов на русский лад ломать стулья, пожалуй, не стоило, но ради этого стоило. Тут было возвращение к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще. Границы расширились не только на словах, но и на деле, а, главное, не только гео-

графически, но и творчески. Кстати, книга эта имела огромное значение, не исчерпанное еще и до сих пор. Она кое в чем схематична, — особенно в части, касающейся Толстого, — но в ней дан новый углубленный взгляд на «Войну и мир» и «Братьев Карамазовых», взгляд, который позднее был распространен и разработан повсюду. Многие наши критики, да и вообще писатели, не вполне отдают себе отчет, в какой мере они обязаны Мережковскому тем, что кажется им их собственностью: перечитать старые книги бывает полезно.

* * *

Однако это прошлое, это — история, исторические заслуги.

Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, мало кто за всю его долгую жизнь был и близок к нему. Было признание, но не было порыва, влечения, даже доверия, — в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия.

Мережковский — писатель одинокий.

Трудно найти другое слово, которое отчетливее выразило бы существеннейшие его черты и положение его в русской словесности. Было во внутреннем облике Мережковского что-то такое печальное, холодное и, вместе с тем, отстраняющее, что рано или поздно пустота вокруг него должна была образоваться. Да, влияние он имел в начале века огромное. Роль играл самую видную. Но ни влияние, ни роль не исключили одиночества. Одиночество было глубже. Оно могло и до старости Мережковского прекрасно уживаться с какими угодно спорами, соображениями, выступлениями, речами, полемиками. Взглянешь, бывало, со стороны, — как будто активнейшая деятельность. Вслушаешься в тон слов, написанных или сказанных, все равно, — и сразу чувствуешь, как все это прирожденно, органически непоправимо «вне»... Нелегко определить, вне чего. Естественно было бы сказать «вне жизни», но как некогда было спрошено «что есть истина?», так можно спросить себя: «что есть жизнь?» Разве то, что так явно волновало Мережковского — не жизнь? Разве жизнь — это только какие-нибудь желтые пеленки Наташи Ростовской, а все эти догадки, намеки, воспоминания, пророчества и обещания, хотя бы и самые отвлеченные, — нечто другое?

Нет, оставим в покое расплывчатое, все покрывающее понятие о жизни. Но если случайно вспомнился Толстой, то на примере его можно кое-что пояснить... Толстой, в самом деле, менее, чем кто бы то ни было, — «вне». Толстой всегда и во всем — со

всеми людьми. Мережковский — единственный из больших русских писателей последнего времени, полностью обошедшийся в своем духовном развитии без Толстого. У других — отчужденность обманчива, поверхностна. При жизни Блока, например, могло бы показаться парадоксальным утверждение прямой зависимости «декадентского» поэта от Толстого, и Толстой, конечно, расхохотался бы над «Ночными часами», как хохотал над Бодлером и Ибсенем. Но нравственная преемственность очевидна — и уже скорее поверхностна связь Блока с Владимиром Соловьевым. В разных формах зависимость от Толстого можно обнаружить, при сколько-нибудь пристальном внимании, почти у всех, только не у Мережковского. Здесь — несомненный разрыв, и даже не разрыв, а какое-то постоянное игнорирование, переходящее в глухую вражду. Нередко, когда читаешь Мережковского, кажется, что он именно с Толстым спорит, как бы ни был далек от него, и именно с ним сводит какие-то давние, скрытые счеты.

Кстати: замечательный рассказ о посещении Мережковским Ясной Поляны, — рассказ, который я слышал несколько раз от З. Н. Гиппиус. По-видимому, сцена эта врезалась ей в память.

Толстой вечером, после общей беседы, поклонившись гостям и пожелав им спокойной ночи, остановился в дверях, и вполоборота, пристально и внимательно, своими пронизывающими, глубоко запавшими глазами поглядел на Мережковского. «Мне даже сделалось жутко, — вспоминала Зинаида Николаевна. — Чего это он на Дмитрия так смотрит?»

Позволю себе догадку: Толстой смотрел на Мережковского с любопытством, как жадный, ненасытный художник, встретивший что-то такое, чего до тех пор видеть ему не приходилось. Безотчетно он, может быть, уже и подыскивал слова, эпитеты: «Как бы его получше описать». В гениальной своей обычности, как удесятеренный в жизненной силе средний человек, он изучал редкое исключение, чувствуя, вероятно, неодолимую, тихую, упорную в нем вражду. Не могло быть иначе, по глубокой розни натур. Приблизительно то же изображено на какой-то старинной гравюре, где встречается день с ночью.

* * *

С Мережковским можно было говорить о чем угодно. О неизбежности войны, о последней статье Милюкова, о большевиках или Гитлере, о том, поняли ли французские трагические поэты

греков и устарел ли Чаадаев... Беседа неизменно находилась на известном, довольно высоком уровне, и люди в общении с ним незаметно для самих себя «подтягивались». Предметы же бесед бывали самые различные.

Однако, если разговор был действительно оживлен, если было в нем напряжение, рано или поздно сбивался он на единую, постоянную тему Мережковского — на смысл и значение Евангелия. Пока слово это не было еще произнесено, спор оставался поверхностным, и собеседники чувствовали, что играют в прятки.

Мережковский, конечно, думал о Евангелии всю жизнь и шел к «Иисусу Неизвестному» через все свои прежние построения и увлечения, издалека глядя в него, как в завершение и цель. Иногда бывали зигзаги, со стороны не совсем понятные, — например, один из его последних зигзагов: наполеоновский, — но в сознании Мережковского они едва ли были отклонениями. Наоборот, все должно было внести ясность в единственно важную тему и подготовить рассказ и размышление о том, что произошло в Палестине девятнадцать столетий тому назад. Нет писателя, который был бы больше односторонним, чем он. Ему не приходилось ни обуздывать себя, ни бороться с «впечатлениями бытия»: жизнь для него — не то, что есть, а то, что должно быть. Он готов был бы повторить: «тем хуже для фактов», если бы нашел что-либо не укладывающееся в его схематически-стройные — что-то уж слишком стройные! — исторические догадки. Да он и видел лишь то, что к схемам его подходило, так что недоразумений или трудностей не возникало.

Удивительно в его отношении к Евангелию, в его истолковании Евангелия то, что он лишает эту книгу ее человечности. Не случайно, вероятно, в его «Иисусе Неизвестном» с такой щедростью разбросаны реалистические подробности: это — уступка, подачка, может быть, даже хитрость. Мережковскому нужно затушевать основные черты своего замысла, и он вводит в рассказ житейский колорит, чтобы не так пронзителен был идущий от всего сочинения холодок. Кажется, на первый взгляд, что близость к людям сохранена, даже подчеркнута. Но Евангелие больше не за что любить, несмотря на декоративные «одуванчики у ног» и прочие украшения. Евангелие перенесено туда же, в какое-то недоступное «вне», и даже догмат спасения провозглашен с тех же высот не столько как обещание, сколько как непреложный, обязательный приговор. Еще бы немного, и может захотеться «вернуть билет» христианству, — если только действительно это и есть христианство!

«Что я делал на земле? Читал Евангелие». Это одно из тех признаний Мережковского — в «Иисусе Неизвестном» — где особенно верно и точно он выразил самого себя, свой творческий склад и тон.

Но разве истинный христианин, каким себя Мережковский всегда считал *, может только читать Евангелие? Разве Евангелие можно вполне, «до конца» понять, ограничиваясь чтением его? Мережковский, вероятно, оговорился: едва ли стал бы он настаивать, что чтение он готов признать главным делом в жизни. Не случайно, однако, оговорился он именно при этом, именно так... Суждения торопливые, без проверки высказанные, обычно выдают сами себя небрежным, торопливым подбором слов. А это ведь сказано с длительным отзвуком, с прекрасной и строгой простотой, до которой Мережковский вовсе не всегда поднимается. Очевидно, мысль взволновала его, и безотчетно всем своим существом он ответил ей: да, это так! Да, читал Евангелие, хотел бы всю жизнь только читать и думать о нем! И хотя книга эта вся обращена к делу, хотя только в «делании» раскрывается величие ее скромности, бессмертье ее идейной скудости, ни на что другое, кроме чтения, не осталось ни времени, ни сил. Книга была прочитана, десятки, сотни раз перечитана, но не «проросла». Послушный сын ни на один день не оставил отца, не отправился, как тот, другой, посмотреть, что творится там, за отцовскими полями и рощами, и не узнал радости возвращения и прощения.

Розанов, хорошо знавший Мережковского, внимательно к нему присматривавшийся, сказал о нем: «Мало кто из русских писателей принял в душу свою столько печали, как он». Это очень верно. Печаль у Мережковского какая-то изначальная, природная, противоречащая всей его метафизике. Спасение обеспечено, финальная гармония неизбежна, тайны все разгаданы, казалось бы, остается только радоваться и ликовать, каковы бы ни были временные жизненные невзгоды! Но если действительно «стиль — это человек», Мережковский в будущих свершениях и торжествах был как будто не вполне уверен. Смысл слов у него — один, тон слов — совсем другой, но смысл ведь можно выдумать какой угодно, а тон приходит сам собой.

* Как-то он, помню, сказал, комментируя скудость откликов на последние свои книги: «Мне обидно не за себя... мне за Него обидно!..» — вполголоса, почти рассеянно, как нечто совсем естественное и обычное.

* * *

Чем дальше и непринужденнее углубляется Мережковский в свои метафизические дебри — о тайне ли Трех, об отношении ли Отца к Сыну, — тем чаще вспоминает одно имя: имя Смердякова.

Кто не склонен за ним в его экскурсиях следовать, тот Смердяков: «Про неправду написано!» Кто колеблется, кто сомневается — Смердяков. Нет для Мережковского большего удовольствия, чем поиздеваться над человеческим рассудком, над «малым разумом», которому противопоставляет он «мудрость», готовую на любую сделку с фантазией. Надо, значит, полагать, что при сотворении человека Бог не собирался разумом его надеяться. Разум, очевидно, дан человеку коварным дьяволом.

Впрочем, это спор старый. Мережковский, конечно, ответил бы, что надо сделать выбор между Христом и Его врагами, что «мудрость» — за Христа, «разум» — против, что при таких условиях терпимости нет... Что же, допустим! Но неужели Мережковский не видел трудности веры в наше время, горестной ее недоступности для многих искренних и природно религиозных людей? «Ум ищет божества, а сердце не находит». Бывает и наоборот: сердце ищет, ум не находит. А начать браниться, так прекратятся и поиски.

Если бы это было так просто, как предлагает Мережковский: «Не хочу больше ни в чем сомневаться, принимаю легенду за достоверность, верю в чудеса и таинства... и перестаяю быть Смердяковым!» Но одного желанья мало. Ум, злополучный «малый разум», достаточно униженный и потрепанный в последние десятилетия, пожалуй, и пошел бы на компромисс, но остыла кровь для веры, — для настоящей прежней веры, для готических соборов, для крестовых походов, для видений, для открытого и общего исповедания потусторонних тайн, — и как-то слишком светло и пустынно сейчас в мире для всего этого. Светает, ночное вдохновение иссякло, пора очнуться, оглядеться вокруг, дать место трезвым заботам, простым, пусть и сравнительно плоским мыслям. Оттого христианство и в опасности. А Мережковский — его защитник, своими насмешками и бранью отталкивает от него людей, которые в задумчивости остановились на полдороге...

«Не в морали дело, — как будто говорит он в каждом слове, на каждой странице своего “Иисуса”, — мораль — придаток, следствие, вывод, все дело — в метафизике».

Ну, что же — допустим и это! Согласимся для упрощения спора, что христианство — прежде всего метафизика, и только за-

тем — мораль. Но ведь, все-таки, оно *и* мораль. Спаситель ведь был и Учителем.

Отчего же Мережковский радуется всякому поражению и посрамлению евангельской морали, ликует всякий раз, когда кровь отвечает кровью и злу зло? Отчего так мило его сердцу насилие? Отчего с наибольшим во всей книге упоением рассказывает он о том, как Иисус выгнал торговцев из Храма и как свистал, как извивался в руках Его хлыст? Как мог он написать такие слова, хотя бы и по адресу «овладевших миром негодяев»: «О, если бы знать, что бич Господень ударил по лицу хоть одного из них, какая это была бы отрада!»

Эта «отрада» звучит таким мучительным диссонансом, таким диким взвизгом в истолковании евангельских текстов, что разлада невозможно выдержать. Может быть, толстовское «непротивление» — не христианство. Но и это — наверно, наверно не христианство, в тысячу раз еще меньшее христианство, нежели то, что проповедовал Толстой.

Непротивление, разумеется, неразрывно связано с идеалом анархическим, и вне этого идеала теряет всякое значение. Как бы изворотливы ни были государственно мыслящие комментаторы Евангелия, им, однако, никак не затушевать того факта, что поразившие Толстого слова значатся в священном тексте черным по белому, — и, может быть, именно такие факты побуждают виднейших современных исследователей, в особенности вышедших из католичества, утверждать — вопреки Ренану, — что евангельское учение рассчитано было вовсе не на века, а на несколько дней или месяцев, остающихся до конца света... В позиции Мережковского смущает не самый призыв к «сопротивлению», — призыв неизбежный, если мир не кончился и кончатся не собирается, — а совсем другое: некое довольно-таки легковесное «есть упоение в бою», радостное согласие на схватку вместо трагического сознания ее неотвратимости. Смущает то, что однажды, на эту скользкую дорогу став, человек уже делается неспособен отличить, где бич Господень и где просто бич, никакого касательства ни к Провидению, ни к предустановленной гармонии не имеющий. Мережковский говорит о «благочестивых мошенниках и глупцах, о всех, кто ударившему их в правую щеку подставляет другую, не свою, а чужую». В этой подозрительно-иронической фразе кроются не столько обиды за несчастных «других», сколько заботы о том, чтобы вообще никаких щек не подставлять. И начинается спор с Христом, — совершенно так же, как в соловьевских «Трех разговорах», где набожный, но как будто сошедший с ума, ослепший, оглохший автор не видит и не

понимает, с Кем он, собственно говоря, через голову Льва Толстого, так изящно, остроумно и блестяще полемизирует. «Перед пастью дракона и Крест и Меч — одно». Пожалуй! Беда-то только в том, что при господстве таких настроений дракон начинает мерещиться человеку всюду, и меч он неизменно держит при себе. «На всякий случай», так сказать.

* * *

Розанов был всегда «другом-врагом» Мережковского — как сам Мережковский выразился, — и можно, не слишком далеко уходя от темы, вспомнить его «Темный лик». Есть в этой замечательной книге чье-то частное письмо, насколько помнится, без имени автора, написанное вечером в Страстную субботу. Есть в письме слова о «белых платьницах, из которых скоро вырастают».

Письмо очень печальное. Пишущий знает, что сейчас запоют заутреню, будет ясная весенняя ночь, люди соберутся в церковь для прославления величайшего из чудес, будут пылать свечи, будут белеть эти милые девичьи «платьница», символ доверчивости и невинности. А если чуда не было? Если надеяться не на что? Если впереди только смерть? Если и тогда, *там*, все кончилось одной только смертью?

Нечего закрывать себе глаза на истинное положение вещей. Нечего уверять, что самый такой вопрос для христианина бессмыслен или — по Мережковскому — «кощунственен и нелеп». Он был «кощунственен» и «нелеп» в первые века христианства, но после того, что люди с тех пор передумали и узнали, после всего, в чем они разочаровались, вопрос этот перестал быть не только нелепым, но даже и кощунственным. Нельзя, разумеется, считать его обязательным, неотвязным. Но уж если он пришел в голову и начал смущать, слабость была бы именно в том, чтобы от него отмахнуться, — кощунство, мол, да и только! Последний оплот христианства — именно в тех, кто не только вопрос этот знает, но и не колеблется в ответе на него. Последние, вернейшие друзья Основателя христианства — те, кто заранее согласен на бескорыстный, никаких загробных блаженств не сулящий подвиг: на сохранение полной верности, даже если бы надо было отказаться от самых дорогих надежд христианства. Даже если нет в христианстве той победы над смертью, которую оно обещает.

«Кощунство, нелепость!» — чуть ли не вопит Мережковский. Если это так — возмущается он: «Величайший в мире так обманул себя, как никто никогда не обманывал!» Нелепостью стано-

вится тогда для него самое содержание Евангелия. В сущности, если вдуматься, Мережковский предъявляет Христу ультиматум: «Быть тем, кем признали Его верующие». Если верующие ошиблись — все рухнет и принятое ими учение превращается в «роковую ошибку». Те же, кто готов был умереть с Умершим, даже без уверенности, что их ждет воскресение с Воскресшим, те — презренные отступники, предатели, трусы, лжецы: нет такого бранного слова, которое Мережковский нашел бы для них слишком жестоким.

Не раз слышал я рассуждения Мережковского на все эти темы, — и до того, и после того, как нашел их в «Иисусе Неизвестном». Иногда и на публичных собраниях в «Зеленой лампе» угрожал он «отступникам и предателям», — что бывало почти всегда тягостно, несмотря на его несравненное красноречие: эстрада, звонок председателя, скучающие дамы в первом ряду, нервничающий «предыдущий оратор», которому, как водится, не дали хорошенько высказаться, а Мережковский будто на очередном вселенском соборе, ораторствует о таких вещах, о которых надо и можно думать, но как-то неудобно устраивать дебаты. Оратор, еще раз скажу, он был такой, какого за всю жизнь слышать мне не приходилось: доклады, заранее приготовленные, читал он скучновато, но порой, под конец вечера, когда его, бывало, раззадорят или взволнуют, говорил так, что, казалось, остается простым смертным только «внимать арфе серафима». Но все-таки это была игра, представление, как всякое публичное собрание, — и лучше было бы играть на другие темы, по другому поводу!

Однако тут возможны разногласия, и не стоит сейчас в их рассмотрение вдаваться. Слушая Мережковского, случалось — а, перечитывая его, случается и поныне, — недоумевать: неужели он в самом деле так непоколебимо убежден в том, что провозглашает? неужели нет и не было у него сомнений? и если были, то не может же он не понимать, чем он рискует? не может не понимать, от чего отрекается, если сомнения оказались бы основательными? Но даже с глазу на глаз спросить Мережковского о чем-либо подобном было бы невозможно. Он замахал бы руками и стал бы повторять все те же слова: нелепость, кощунство, предательство.

* * *

В этих заметках нет претензии ни на систематичность, ни на полноту, как нет в них и сколько-нибудь законченной характеристики Мережковского.

Было бы, однако, ошибкой остановиться на разногласиях, поставить после них точку, не сказав ни о чем другом, более общем, трудно поддающемся точному определению. Должен добавить, что это «общее» сложилось в моей памяти скорее под впечатлением от встреч и разговоров с Мережковским, чем от его книг. В давних его книгах было, конечно, много ценного, хотя и относятся они к области «исторических заслуг». В книгах эмигрантского периода ценного меньше, и самое стремление Мережковского соединить в них науку с красотами поэзии не удовлетворит ни подлинных ученых, ни сколько-нибудь требовательных поэтов...

Но человек он был удивительный, совершенно не похожий на других людей, внутренне обособленный, странный до крайности, — чем, конечно, и было вызвано его одиночество. Случалось с ним мысленно, безмолвно — не только устно или печатно — спорить, случалось даже негодовать на него, обещать самому себе расстаться с ним «вечным расставаньем»... Много было на это причин, помимо тех, которых я только что коснулся. Но потом случалось и спохватываться, самого себя упрекать: было все-таки в Мережковском что-то подкупающее и нельзя было этого не чувствовать!

До старости он пронес, может быть, сберег от «декадентства», которое оттого-то и пришлось ему по вкусу, — брезгливость к оплотнению, к «ожирению» души, инстинктивную враждебность к грубоватой житейской беззаботности, острый слух ко всему тому, что расплывчато, в ницшевском смысле слова можно назвать музыкой. Мережковский по некоторым своим чертам был очень русским человеком. Но был он и безотчетно непримирим к некоторым чертам, — увы! тоже типично русским: помню, когда-то раскрыл он книгу, стал читать вслух что-то в таком приблизительно стиле: «Ну, батенька-с, хлопнем-ка еще по одной... с селедочкой-то, а?» и отшвырнул книгу с дрожью внезапного отвращения. Его «анти-батенькин» внутренний склад был так очевиден, что наши отечественные рубахи-парни и души нараспашку всех типов неизменно шарахались от него, как от огня. Однажды Мережковский с явным сочувствием сказал о Чаадаеве, что это был первый русский эмигрант, — очень метко, очень глубоко! Но эмигрантом прирожденным был-то, в сущности, и он сам, потому что — независимо от политического строя — было всегда ему в России как-то неуютно и страшновато, а если где и дышалось ему легко, то лишь в Петербурге, куда не все неискоренимо русское, в «батенькиной» духовной тональности, и доходило.

Но это-то в нем и прельщало. Блок, человек, видевший все недостатки Мережковского, но — в отличие от Андрея Белого — человек твердый, верный, без лукавства и готовности кого угодно высмеять, — записал в дневнике, что после одного собрания ему хотелось поцеловать Мережковскому руку: за то, что он царь «над всеми Адриановыми». Запись эту нетрудно расшифровать, — потому что многим из знавших Мережковского хотелось иногда тоже поклониться ему и поблагодарить. За что? Не только за прошлое. За пример органически музыкального восприятия литературы и жизни. За стойкость в защите музыки. За постоянный, безмолвный упрек обыденщине и обывательщине, в какой бы форме они ни проявлялись. За внимание к тому, что одно только и достойно внимания, за интерес к тому, чем только и стоит интересоваться. За рассеянность к пустякам, за постепенное, неизменное увядание в обществе, которое пустяками бывало занято. За грусть, наконец, которая «чище и прекраснее веселья» и все собой облагораживает.

Слова как будто неясные. Но то, что было в Мережковском лучшего — и что почувствовал Блок, — не вполне ясно тоже. Формальная точность выражений могла бы оказаться в воспоминаниях о нем обманчивой и увести от него совсем далеко.





М. АЛДАНОВ

Д. С. Мережковский

Некролог

О каждом человеке нетрудно написать некролог обычного типа, — с надлежащими прилагательными в надлежащих степенях. Обычай подобных некрологов очень стар и очень хорош. Но именно о Д. С. Мережковском *так* писать не хочется. В громадном большинстве случаев краткие строки некролога навсегда завершают то, что о человеке пишется: больше о нем никто писать не будет, — кончено. Тогда действительно *de mortuis...* * Однако Дмитрий Сергеевич был явлением исключительным: писать о нем будут долго, он имеет на это достаточно прав.

Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культуры, — один из ученейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! (из писателей, видевших Достоевского, теперь остается в живых один А. А. Плещеев). Д. С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно «Леонардо да Винчи», в разных переводах можно было найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной — очень большой — идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, — чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о «последователях». Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого

* О мертвых [либо хорошо, либо ничего] (*лат.*).

же из русских писателей были последователи? Едва ли не у одного Толстого, да и то лишь как у автора «Так что же нам делать». Но другие русские писатели к этому и не стремились, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды.

— «Я был молод, — вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, — мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки. Говорю ему, бывало, о “слезинке замученного ребенка”, которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мне, посмотрит на меня своими ясными, не насмешливыми, но немного холодными, “докторскими” глазами и промолвит: “А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку, — превосходно готовят — да не забудьте, что к ней большая водка нужна”. Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о селянке».

Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: «Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святине. Зато его слова доньше — как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями».

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно, — каялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д. С. Мережковский считал религиозность основной, главной и драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых «русских» писателей России, никак не укладывался в его основное положение. — «Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу

только, что религиозное движение, о котором вы пишете, — само по себе, а современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя», — писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года. В другом, позднейшем письме, написанном за год до его смерти, он на предложение войти в редакцию «Мира Искусства» дал следующий ответ: «Как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время, как я давно растерял свою веру и только с недоумением оглядываюсь на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Дмитрия Сергеевича и ценю его и как человека и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы, если б и повезли, то в разные стороны».

Однако так же трудно было Д. С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой. Не могу возлагать за это ответственность ни на тех, ни на других. Имели тут значение некоторые особенности таланта Д. С. Мережковского (и даже, если угодно, его стиля), а главное, те весьма неожиданные практические выводы, которые он нередко делал из своих идей. Так, достаточно сказать, что одну из своих главных философско-политических работ он закончил когда-то словами: *Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть гибель России как самостоятельного политического тела* и на ее воскресение как члена вселенской Церкви, теократии». В любой стране «политическая карьера» человека, который печатно высказал бы такую надежду, могла бы считаться конченной. В России «политическая карьера» Мережковского после этих слов не кончилась — только потому, что она фактически никогда и не начиналась. Помимо безответственности была в этих словах и непоследовательность: если бы их автор был последователен, то он в октябрьских событиях 1917 года и в том, что за ними последовало, должен был бы, собственно, усмотреть великую радость. Как все мы, он радости не усмотрел.

Не буду говорить о политической деятельности Мережковского в эмиграции, особенно в самое последнее время. Не буду говорить отчасти и потому, что мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С-ча с его идеями практическими. Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот «приводный ремень» от меня неизменно ускользал. Быть может, сам он его чувствовал вполне ясно. Однако и в этом мы уверены быть не можем, так как его религиозно-философские мысли оставались

неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга «Толстой и Достоевский» положила начало новейшей русской критике. Так называемые «формалисты» ему обязаны очень многим, хоть они об этом не говорят и хоть он по всему своему умственному укладу был чрезвычайно от них далек. Если Н. Н. Страхов первый поставил на должную высоту Толстого, то Мережковский первый, с чрезвычайной пронизательностью и остротой, понял и объяснил его художественные приемы (точнее, часть его художественных приемов). В ту пору, когда большая часть русской критики била земные поклоны перед художественным гением Максима Горького, Мережковский писал: «Тем простодушным критикам, которые сравнивают Горького как художника с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым, Достоевским, все равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а русская критика — хозяйскую дочку Машеньку в светло-голубом платье с двухаршинным хвостом, которая слушала и восхищалась: “Ужасно я всякий стих люблю, если складно”. — “Стихи вздор-с”, — возразил Смердяков. — “Ах, нет, я очень стишок люблю”, — ласкалась Машенька». — Но и как критик Д. С. был неровен. «Конь бледный» показался ему великим произведением искусства: «Если бы меня спросили сейчас в Европе, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я указал бы на “Конь бледный”». — Он нашел в произведении Ропшина «классическую простоту», «горную ясность»! Все же, думаю, его в этом случае *подкупила* тенденция романа, совпавшая, по крайней мере отчасти, с теми практическими выводами, которые в *тот момент* сам он делал из своего философского учения. У Д. С. Мережковского вдобавок всю жизнь была слабость к тому, что можно называть «литературной политикой». Вероятно, тогда какой-либо сложный замысел этой политики был связан с возвеличением «Коня бледного».

Эта любовь к литературной политике, кажется, была почти чужда большей части русских классических писателей (ее, например, просто трудно было бы себе представить у Лермонтова или у Толстого). Из писателей современных ее не было и нет у Бунина, Зайцева, Куприна. Очень сильна она была у Горького, у Ходасевича. Как бы то ни было, где бы Д. С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди совершенно чуждые

идеям Д. С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был «текучий» и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы.

Полагалось поругивать даже «Леонардо», — одну из не столь уж многочисленных русских книг, ставших общеизвестными на Западе. А. И. Герцен писал в 1869 году своей дочери: «Вчера мы все обедали у Гюго... Старик очень мил. Саша (А. А. Герцен. — М. А.) судит по-студенчески, в Гюго есть сумасшедшие стороны, — но неужели он может думать, что можно владеть умами во Франции с 1820-х годов до 69 — даром!». Эта, в общей форме верная, мысль может быть отчасти отнесена и к знаменитой книге Д. С. Мережковского: ее читают больше сорока лет на очень многих языках, — «даром» такого не бывает. Как исторический романист Д. С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и исторической правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнение о религиозном характере *всей* русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова «религиозный характер» не очень определены: когда нужно, под ними понимают «общественное служение», и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о «светлом приятии жизни» (Пушкин), о «любви и жалости к людям» (тот же Чехов). Но Д. С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше. Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны, — их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист «божьей милостью». Чтобы не быть голословным, приведу лишь

несколько его строк: «К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. — М. А.) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя — и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами». Так до него писали немногие.

Работник он был необыкновенный. Трудился всю жизнь, не отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь очень редко позволял себе две-три недели отдыха, где-нибудь в теплых краях. Его считали чисто книжным человеком, — А. И. Куприн с юмором говорил, что природа вызывает в Мережковском ужас. Это было неверно. Д. С. по-настоящему обожал юг, солнце, море и в пору своих «каникул» наслаждался ими необыкновенно. В этой обстановке он становился особенно мил и привлекателен.

Личное обаяние, то, что французы называют *charme*-ом, у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д. С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о «самом главном» (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской земли.





Мих. ЦЕТЛИН

Д. С. Мережковский (1865—1941)

Уход из жизни старого русского писателя, который после смерти Горького пользовался бесспорно наибольшей мировой известностью, обязывает нас оглянуться на его долгий, и теперь уже завершённый, литературный путь. Литературный, а не жизненный. Он сам сказал о себе: «Для меня литература — вторая жизнь, не менее глубокая, чем первая». Мы склонны думать, что эта вторая жизнь и была для него первой, самой главной. Он был из тех писателей, для которых писать тоже самое, что дышать.

Не приходится удивляться, что литературное наследство, оставленное им, велико. Уже в Собрании его сочинений, вышедшем в 1912 году, было 15 томов. С тех пор это количество по меньшей мере удвоилось.

Мережковский не раз подчеркивал внутреннее единство всего, что он писал. Он утверждал, что книги его — это «одна книга, только для удобства изданная в отдельных томах», и что тема этой книги — роль христианства в современной жизни.

В сущности, то же самое мог бы сказать о себе почти каждый большой писатель. Сочинения Толстого или Достоевского тоже и, может быть, в большей мере, — одна книга, разделенная на отдельные томы. Они связаны личностью их авторов, стилем, который ведь и «есть сам человек», основными темами, только более запрятанными, закутанными в волшебные покровы искусства... Но, будучи правильным и для других, такое утверждение Мережковским единства его книг верно по отношению к нему.

Как же писалась Мережковским эта единая книга? Как развивалась им его единая тема?

Он начал, как многие, со стихов, но никогда не был истинным поэтом. Первый сборник его стихотворений (1888 г.) был типичной книгой гражданской лирики тех лет, многие стихотворения в нем были посвящены Надсону. Вторая книга, вышедшая через

четыре года, несмотря на свое название «Символы» не должна быть принята за одну из книг зарождавшегося тогда символизма. Правда, Мережковский опубликовал почти одновременно с «Символами» большую статью «О причинах упадка и новых течений в современной литературе», которая действительно была первой *profession de foi* * новой школы. Он в те годы мог казаться одним из адептов нового течения — декадентом, эстетом и ницшеанцем. Но он никогда не был глубоко связан с символистами. Взоры его были обращены не к модным поэтам Запада, которыми увлекались русские их последователи, а к великим классикам мировой литературы — к Монтеню и Марку Аврелию, Флоберу и Сервантесу, Пушкину и Фету... Им он посвящал очень необычные для того времени очерки, собранные им в 1896 году в прекрасную книгу «Вечные спутники».

Символисты долго оставались малоизвестной группой, замкнувшейся в т. н. «башне из слоновой кости». Они были эстетамы, чуждыми вопросам общественности и морали, политики и религии. Казалось бы, что и Мережковскому суждено было оставаться писателем для немногих. Но его интересы были другие. В иной, преображенной форме, это были снова те же вопросы этики, общественности, вечной правды и правды на земле, которые в позитивистическом облачении издавна владели душами русских читателей. Мережковский не меньше, чем Добролюбов или Михайловский, отрицал эстетизм, искусство для искусства; он в новой религиозно-философской одежде возрождал идейность и тенденцию. И на этом пути к нему пришла сначала русская, а потом и европейская слава. Эту славу ему принесла его историческая трилогия «Христос и Антихрист», и особенно второй роман «Леонардо да Винчи», вышедший в 1896 году. Книги имеют свою судьбу: эта имела судьбу блестящую! Она была переведена на бесчисленные языки и разошлась в сотнях тысяч экземпляров. Если бы между Россией и Европой существовала литературная конвенция, то автор «Леонардо» никогда не знал бы нужды.

И, однако, роман этот — не лучшая из книг Мережковского. Исторический роман — жанр, вообще, несколько искусственный и небесспорный. Мережковский не обновил его формы и методов. Но он вложил в свои романы много труда и знания эпох, о которых он пишет: Греции времени Юлиана Отступника, Италии Ренессанса, Петровской России. Насколько это знание было глубоким, можно судить по одному из немногих новых приемов, введенных им: по придуманным автором дневникам действующим

* символ веры (*фр.*).

щих лиц. Подражание дневнику невозможно, разумеется, без интимного знания данной исторической эпохи.

Недружелюбные критики сравнивали эти романы с Сенкевичем и особенно с «*Quo Vadis*» *. Едва ли можно придумать упрек более несправедливый! Романы Сенкевича красочны, декоративны и полнокровны. Но в них нет никакой идейности или духовности. Между тем Мережковский не стремится к живописности, его романы бледней и схематичнее, он художник, как бы помимо воли. Для него романы — только удобная форма, чтобы выявить антиномии и проблемы собственного духа, только своеобразные и длинные притчи или апологи. Он вкладывает в уста своих героев свои собственные мысли. Но рожденные в духовном горении, из духовной проблематики, эти романы хранят печать духовного благородства. Вероятно, это и пленяло столько читателей.

Все помнят, конечно, их основную проблему. Мережковский знал и любил Элладу, свидетельством чего остались его переводы Эврипида и Софокла. Он любил искусство и красоту, он был, вероятно, даже не чужд обожествлению, фетишизму искусства, распространенному среди символистов. Но он был также с юных лет верующим христианином. Для иллюстрации силы и глубины этих двух его настроений приведем две кратких цитаты. Вот отрывок, заканчивающий описание Акрополя в «Вечных спутниках»: «Я пишу эти строки ночью, при однообразном шуме дождя и ветра в моей петербургской комнате. На столе у меня лежат два осколка настоящего древнего камня из Парфенона. Благородный пентеликонский мрамор все еще искрится при свете лампы. И я смотрю на него с суеверной любовью, как благочестивый паломник на святыню, привезенную из далекой земли». А вот другой отрывок об его экземпляре Евангелия: «маленькая в 32-ую долю листа в черном кожаном переплете книжечка. Судя по надписи пером — 1902 год — она у меня 30 лет. Я ее читаю каждый день и буду читать, пока видят глаза, в самые яркие дни, в самые темные ночи, счастливый и несчастный, больной и здоровый, верующий и не верующий... Что положить со мною в гроб? ее. С чем я встану из гроба? с ней. Что я делал на земле? читал ее»...

Такие слова не обманывают. Да, обе стихии эти были сильны в душе Мережковского. Вполне ли самостоятельно пережил он трагедию их противоречия? На него, вероятно, оказал влияние замечательный русский писатель, который с силой, никем до него не достигнутой, выявил «Темный Лик» Христа, т. е. всего, что в

* «Камо грядеши» (лат.).

христианстве отрицает жизнь, гасит краски. Писатель этот, Розанов, искал душевных противоядий в Библии, в ее религии плоти и рождения, в древних культах Востока. Мережковский же в древней Элладе и в Итальянском Возрождении.

Как связана у Мережковского его идеология и умозрение с его литературой, как невозможно их разделить — видно по тому, какую роль во всем его творчестве сыграла та гегелевско-гераклитовская философия развития посредством противоречий, на которую он натолкнулся, ища выхода из собственных противоречий. Эта философия, которая в форме, т. н. диалектического метода (тезиса, антитезиса и снятия, преобразования их в новом синтезе) играет столь большую роль в марксизме, была воспринята Мережковским со всею одностороннею страстностью, на которую он был способен. В ней он нашел свой основной религиозно-философский метод, содержание своего философствования и даже, вдобавок, и свой литературный метод и стиль. Можно сказать, что он нашел себя! Во всей своей последующей литературной деятельности он в форме и в содержании своих писаний постоянно применял эту гегелевскую триаду. Она пронизывает всю огромную массу его писаний.

Одновременно со своей трилогией Мережковский сделал другую попытку построения той же триады: тезиса-эллинизма, антитезиса-христианства и чаемого синтеза в книге о «Толстом и Достоевском» (1899 г.). Толстой — художник-язычник, «ясновидец плоти», Достоевский — христианин, «ясновидец духа», будущая «религия Третьего Завета», снимающая, преобразующая эти противоречия — такова несложная схема книги. Но не в ней Мережковский достиг вершины своего творчества. Исходя из этой упрощенной антитезы, он дает тонкий, исполненный силы и блеска анализ личности, творчества, религии этих двух великих писателей, подобного которому не дал никто ни до ни после него. И все это изложено в связном и увлекательном повествовании, все вдвинуто в мастерски очерченные историко-литературные рамки. Эти огромных два тома можно сравнить с готическим собором, где сразу охватываешь взором монументальные общие линии здания и любишься вместе с тем на его резные ажурные детали.

В «Толстом и Достоевском» Мережковский дал классический образец нового рода критики, критики философской. К этому роду примыкают и другие его замечательные работы — «Гоголь и черт», «Лермонтов». Не ко всем писателям можно применить этот метод, его могут выдержать только самые подлинные и глубо-

кие. Мережковский стремится к основе, к ядру личности писателя, где, как одно целое, зарождаются и форма и содержание его произведений.

Но главную массу его писаний составляют не критика, а публицистика. Многообразными путями — через изучение русской истории, где от Петровской эпохи он перешел к Александровской, — через тех писателей, которые как Достоевский и Гоголь сосредоточены на проблеме России, Мережковский приближался к этим, вначале чуждым ему вопросам — революции, общественности, русского будущего, и они постепенно овладевали им... Снова он писал исторические романы, но уже на русские темы. Пожалуй, в них еще больше тенденции и проповеди, чем в «Трилогии». Критика встретила их сурово, в особенности за трактовку декабристов в «Александре I» и «14 декабря». Она упрекала автора в историческом невежестве. Это несправедливо: Мережковский историю знал, но она, как прежде, была для него *ancilla theologiae**, служанкой высшей правды. С историческим материалом обращался он свободно, считая допустимым, к примеру, вкладывать в уста героев слова, сказанные ими в более позднее или более раннее время, цитаты из документов к ним не относящихся и, разумеется, свою собственную религиозную философию!

Изучая русскую историю, Мережковский написал две трагедии: «Петра и Алексея» и «Павла I». Кажется, что он их не столько создал, сколько открыл в документах. В них мало выдумки, кроме выдумки идеологической. Но, после пушкинского «Бориса» они в своей сдержанной силе — лучшие, вероятно, исторические трагедии на русском языке.

Другие его публицистические писания облечены в форму редкую и несвойственную русской литературе, в форму, для которой даже не имеется соответственного русского слова, а именно «эссея». Мережковский лучший, после Розанова, русский эссеист.

«Эссеи» Мережковского по большей части построены на антитезах. Эти антитезы иллюстрируются цитатами, которыми он оперирует с необыкновенным мастерством. Иногда, правда, тезис и антитезис преобразуются, «снимаются» в синтезе только словесном. Эта дало повод недружелюбному критику назвать Мережковского «Наполеоном цитат». «Эссеи» его написаны языком точным и чистым, никогда не безразличным, а насыщенным чувством и страстью. Но в блестящей отполированности его фразы есть блеск стали или мрамора, что и дает иногда обманчивое

* служанка богословия (лат.).

впечатление холода. Иногда фраза его полна гневной и режущей иронии. Но чего у него действительно нет, это игры оттенков чувства и мысли, того юмора, который отличает английских эссеистов, создателей этого жанра.

В быстрой последовательности, одна за другой появлялись в второй половине десятых годов эти книги религиозно-философской публицистики: «Не мир, но меч», «Больная Россия», «Достоевский — пророк русской революции», «Грядущий Хам». В них Мережковский уже не реакционер, каким он был в «Толстом и Достоевском», где он вслед за Достоевским утверждал положительное религиозное значение русского самодержавия. Он становится революционером, но пытается обосновать революцию на религии, если не на православии, то на будущей религии, «третьего Завета». Вместе с тем растет его антидемократизм или, вернее, — антимассовые и антимещанские настроения, близкие к тем, которые впоследствии развивал испанский мыслитель Гомез де ла Серна. Его книга «Грядущий Хам» навлекла на Мережковского особенно много упреков и вражды. Правда, нападающей стороной часто являлся он сам, резко критикуя тогдашних кумиров русской интеллигенции — Горького, Леонида Андреева и даже — и тут наиболее несправедливо — Чехова.

В нашу задачу не входит оценка содержания публицистики Мережковского. Мы хотели бы только и на ней показать те черты его личности, которые помешали ему, несмотря на свои дарования, стать вровень с великими писателями русской литературы.

В том предисловии к Собранию его сочинений, из которого мы уже цитировали утверждение Мережковского о единстве его книги, он говорит также и о другой, присущей им по его мнению, черте, — их органичности. Указывая на противоречия в своих книгах, Мережковский говорит: «Если бы я был проповедник — я поспешил бы устранить или спрятать их. Если бы я был философ, я постарался бы довести свою мысль до окончательной ясности, чтобы единое в многообразии светило, как луч в кристаллах. Но я только описываю свои последовательные внутренние переживания. Как ни соблазнительно совершенство кристаллов, следует предпочесть неправильный противоречивый рост растения. Я ничего не хотел строить, я хотел расти и растить».

Поразительно, как пронизательный критик чужих произведений бессилён увидеть объективно самого себя. Увы, среди массы нападков, которым подвергался Мережковский, упреки в искусственности его схем, в абстрактности его построений больше всего приближались к истине. Только приближались, потому что

обычно они смешивались с укорами несправедливыми, в холодном бессердечии и головном характере его писаний...

Именно в ответ на эти упреки, Мережковский и утверждал, что предпочитает неправильный рост растений правильности кристаллов. Между тем в его сочинениях бросается в глаза именно эта симметрическая правильность кристаллов, только без их холода.

Мы не помним, было ли уже сделано критиками Мережковского это сравнение. Но несомненно — таким он им представлялся. В одной из Андерсеновских сказок мальчику Каю попадает в глаз осколок заколдованного злым Троллем зеркала. От этого он все в мире начинает видеть искаженным, сердце его леденеет, и он занимается тем, что из ледяных кубиков складывает слово «Вечность».

И Мережковский всю свою жизнь тоже складывал из каких-то прекрасных кристаллов слово «Вечность». Но, в противоположность андерсеновскому Каю, у него в груди было не ледяное, а горячее, страстное и пристрастное сердце. На мир и людей он смотрел не с равнодушием, а с любовью и ненавистью, с волнением и надеждой. Но так случилось, что он был устроен, создан иначе, чем другие люди. Трагедия его была в том, что он был внутри себя, для себя иным, чем представлялся другим. То, что другим казалось игрой в ледяные кубики, было для него самым важным делом его жизни, то, что казалось холодными умствованиями, было для него подвигом духа, то, что казалось симметрией кристаллов, он переживал как органический рост.

В этом своеобразии его духовного склада, в этой особенности его личности лежала разгадка его литературной судьбы. Он страстно жаждал добра и правды и вызывал к себе ненависть и вражду. Он поражал глубиной своих прозрений, но иногда казался слепым и смешным, как человек наталкивающийся на близкие предметы. Среди людей живущих мгновением и временным, сегодняшним днем и интересами минуты, он жил вечным, глубокими умозрениями и абстракциями. И в то же время он не был отвлеченным философом, а хотел вмешиваться в самую гущу жизни. Это порою было смешно. Как если бы человек искал дорогу не по указаниям прохожих, не по надписям и названиям улиц, а по компасу и звездам. Мережковский был именно таким человеком. Поэтому общее его направление поражает правильностью, порой он может казаться человеком, обладающим необыкновенным прозрением, но часто он блуждает и ошибается больше, чем другие люди.

Кратко, хотя бы в двух словах, мы хотим напомнить о его литературной деятельности в эмиграции. Самое замечательное было им уже написано в России, было уже позади. Но он продолжал много и неустанно работать. Он вернулся к интересам, вероятно, внушенным ему его другом и учителем юности Розановым, — к Древнему Востоку. В результате этого изучения Мережковский написал два новых романа из времен Крита и Эгейской культуры, а также Египта Тутанхамона. Но, как есть отдаления, недоступные самым сильным телескопам, так есть эпохи истории по отдаленности уже недоступные взору художника. Романы не удалось. Другие книги, внушенные тем же изучением («Атлантида», «Тайна Трех»), были интереснее. Эти книги написаны не связным изложением, как он писал прежде, а отрывками, афоризмами, и это не облегчало, а скорее затрудняло их чтение и, может быть, объяснялось некоторым ослаблением оформляющей силы. Но в них много глубокого и значительного. Еще более оригинальна его большая работа о «Иисусе Неизвестном», дающая в свете того же изучения, действительно новый, неизвестный образ Христа. Затем последовали еще книги, посвященные ряду святых и религиозных мыслителей. Не все они на его прежнем уровне, но во всех них живет по-прежнему его ищущий, благородный дух. Порой кажется, что в них стареющий писатель, как бы прощаясь с ними перед смертью, обошел, посетил духовно всех тех, кого любил, кому поклонялся в течение своей долгой жизни: от Франциска Ассизского до... Наполеона, тоже бывшего одним из его «кумиров», которого он изображает, к удивлению читателя, почти святым.

Пишущий эти строки унес с собой два образа умершего писателя, каким он видел его незадолго до французской катастрофы. Вот он идет по узкой улице Пасси с женой. Он весь согбен возрастом, который гнет человека к земле, как бы ни был высок его дух, как бы ни были устремлены вверх его взоры. Маленький, сухонький старик, идущий медленной стариковской походкой. Уже близка весна, но на нем тяжелая старомодная шуба, выцветшая и сохранившаяся от лучших времен. Он и жена кажутся хрупкими, словно фарфоровыми на этой улице, среди спешащих прохожих. Они должны перейти через улицу и робко остановились перед потоком автомобилей и велосипедистов. Зинаида Николаевна прижимает к себе руку мужа, словно успокаивает его. Как они слабы и заброшены в этом людском потоке, эти два стареющих писателя.

Другой образ: небольшая, душная аудитория. Кто-то напал на одну из любимых идей Дмитрия Сергеевича и он возражает. Как

выпрямилась его фигура. Как звонок голос. Как сильна и обаятельна мысль и речь, как блестят совсем молодые глаза! Он был одним из лучших ораторов-мыслителей, и силу мысли, высокое напряжение духа он сохранил до глубокой старости. Пусть этот, второй образ писателя не будет забыт новыми поколениями!





3. ГИППИУС

Дмитрий Мережковский

<фрагмент>

Мне особенно трудно писать об этих годах жизни Дм. С-ча и нашей, потому что я как раз в это время никакой последовательной записи не вела, кроме отрывочной, в первые месяцы после нашего приезда в Париж. Но мне помогут работы Дм. С-ча, сохранившиеся оттиски его даже мелких газетных статей, моя память и, наконец, неуклонная прямизна линии, которую вел Д. С. как в своих писаниях, в публичных выступлениях, так и в жизни. Ею, этой линией, определялись наши схождения и расхождения с теми или другими людьми, она же была подчас причиной все растущей тяжести этой нашей изгнаннической жизни.

Польский удар, крушение наших первых надежд, потеря главного помощника и друга, — все это не могло не произвести впечатления на Д. С. Но перенес он неудачу нашу мужественнее, чем я, и с сохранившимися надеждами смотрел вперед. Свое малодушие я не хочу оправдывать, но отчасти оно объяснимо: в Польше я могла принимать участие я общем деле, привыкла к постоянной работе (у меня даже был целый отдел пропаганды) постоянно, изо дня в день, писала в нами основанной газете «Свобода»; во всяком случае, при том ощущении «пламенного долга» для всякого помогать борьбе с большевиками, с каким мы бежали, я все-таки что-то делала. Теперь же, в Париже, деланье целиком ложилось на плечи одного Дм. С-ча. Помимо своих собственных работ, он мог выступать публично, мог писать во французских газетах; есть ли там, и какая, русская пресса, — мы не знали; но «нашей» газеты нет, и я предчувствовала, что мне там просто нечего будет делать, и даже помогать Дм. С-чу я не видела, как могу? К этому прибавлялась вечная мысль об оставшихся в аду моих близких, да и тревога за покинувшего нас друга и помощника,

Д. Ф., который попал в глупые (это уже я знала) и опасные лапы Савинкова. Надежду Д. С-ча, что друг наш скоро сам рассмотрит С-ва и вернется к нам, я не разделяла; признаюсь, считала ее даже невниманием со стороны Дм. С-ча к характеру и свойствам Д. Ф. Не разделяла и надежд его встретить помощников и серьезных хотя бы сочувственников делу нашему среди русских, новых или старых, эмигрантов. Достаточно слышали мы о новых, а старые... Бунаков с женой уже давно убежали из России, — в Париж, конечно. Но и его теперь мы уже знали достаточно. И его партию (с-ров), ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, — «все такие, как негодяй Чернов», — и где он был, *в лучшем случае*, как бы пленником. Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость. Он все-таки казался нам человеком... симпатичным, но — какие же можно было возлагать на него надежды!

Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела, благодаря заботам о ней прежней нашей горничной. Она служила у нас еще в те годы, когда жили мы на Théophil Gautier, вышла замуж, но, когда мы приезжали потом на нашу *piéd à terre* в Passy, неизменно к нам возвращалась, до последнего раза, весной 14 года. Во время войны я деньги за квартиру еще посылала (квартира, по условию между нами, была моя) — но со дня революции пересылка была невозможна. Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений. Это была, конечно, удача: ведь там оставалось много книг, разные бумаги, записи, письма... Но как все-таки больно и страшно было в нее въезжать теперь, когда все было иное и мы сами — иные, ведь мы эмигранты... Да и никогда не любила я эту квартиру, предчувственно, может быть.

Впрочем, не стоит останавливаться на мелочах, как ни неприятно это ощущение *перекошенности* окружающего: как бы то — и совсем не то.

Мои мрачные настроения и предвидения я скрывала, конечно, от Дм. С-ча, не желая нарушать бодрость его духа перед новой задачей. Да и было тут, кроме того, много моего личного, меня касающегося. Если я не видела, что буду делать я, — перед ним было много работы. Мне даже хотелось, чтобы Польша стала для него совсем как отрезанный ломоть, чтобы и откликов оттуда к нему не доходило. Это оказалось невозможным ни в первые дни нашего Парижа, ни в первые месяцы (острое время, паденье Врангеля) ни, пожалуй, целый еще год... когда после перерыва произошла в 23-м году эта отвратительная катастрофа с Савинковым. Меня с Дм. С., а как задела Д. Ф-ва! но к нам его не возвратила.

Слишком поздно... О ней я расскажу в свое время. Теперь, чтобы исчерпать первые отклики Польши, приведу несколько кратких моих парижских записей конца 20 г., м. б. 21—22, — я бросила потом записывать что-либо.

Париж, 14 ноября (1920)

Врангель *весь* провалился. Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Вр., будто бы, уже в Константинополе. Чего и следовало ожидать. Но вот, что любопытно... как трагический фарс: вчера бедная Евг. Ив. (жена Савинкова) приносила два письма от него, будто бы из-под Пинска. В обоих самое бодрое настроенье: «...Я уверен, что мы дойдем до Москвы...». «Крестьяне знают, что мы идем за Россию не царскую и барскую...». «В окрестных деревнях 3 тысячи записались добровольцами...». «А “Рангель” (по выговору крестьян) непременно провалится...». Кроме последнего — ото всего несет захолустной глупостью. Это Савинков с м-м Деренталь и с разбойником Балаховичем «дойдут до Москвы!» Может, и «дойдут»... или доведут их. Что может быть другое? Не так, и не такой смехотворный отряд дойдет до Москвы. У б-ков армия, пушки... За них — Англия... Франция еще как будто против... но «как будто», да и что она может? Погрязает в абсурдах: признает Врангеля — и поощряет польский мир. Большевики и не скрывали, что мир с Польшей их устраивает, — надо покончить с Врангелем.

Ну, дойдет очередь до Польши? Продала себя — даже не за золото, а за б-цкие и английские золотые обещанья.

Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с б-ками Ллойд Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они «научать Европу уму-разуму», как только что объявил Троцкий. А под конец прочтат они и всех своих союзников самих...

16 ноября

Всесметающая лавина большевиков под личным командованием Троцкого (главнокомандующий товарищ Бронштейн) уже в Севастополе. Это лишь первая реализация варшавской дряни (мира) в Риге.

Д. Ф. не пишет ни строки. Ждет вестей от м-м Деренталь и Савинкова из Москвы? Я ему писала, и здесь скажу, что знаю и с чего мы с Д. С. не возвратимся. Наша прямая, почти грубая линия пониманья, которую мы вывезли «оттуда», проста и — непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и

даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами *новой* России (не с лозунгами одних «не», как у Савинкова), 2) при непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.

Вот — и больше ничего. Остальные детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что все данные южные наступления бесплодны. От этого знания и пошла вся наша Польша, и все, все... От этого же знания мы не сомневались, что б-ки лопнут при первом ударе Польши. Это и случилось в 7 верстах от Варшавы... Так называемое «чудо на Висле». Чему удивляться бы, как «чуду» — это униженным, после того, просьбам Польши мира у большевиков. Одно объяснение: приказ Европы. И Польша не смела послушаться. Ну, ладно. Время-то идет. Как бы его — для себя — Европа не пропустила...»

25 ноября

Письмо от Д. Ф. (через Petit). начинающееся так: «Сегодня написал Борису (Сав.), категорически требуя приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг...» (!) Вот свидетельство, что Дима (Д. Ф.) абсолютно не понимает степени непопулярности здесь С-ва. Он, если у него кто и был, успел всех от себя оттолкнуть. Недаром я еще в Польше писала: «наверно он, приехав, уже сжег за собой корабли, даже шляпки. Никого, боюсь, за ним в Париже нет». А Дима и о сию пору ничего не понимает. Пишет еще, что «положение невероятно трудное. Пилсудского травят... А он, — прибавляет Дима, — в мир не верит, но войны вести не может». (Не приказано? думала я). «Нахохлившийся больной орел»; по словам Димы. Не пишет, однако, о том, что мы узнали сегодня: украинцев бьют, а за Балаховича большевики принялись вплотную, остатки его накануне ликвидации. Вот тебе и Москва! Англия — накануне «признания», поэтому, думается, на Польшу *сейчас* они не полезут.

17 декабря

На днях приехал сюда посланцем от Савинкова его подручный Дима (Д. Ф.). Как странно мне это писать! Неужели и Дима — «оборотень»? Савинкова мы еще могли не сразу понять, он, может, и не оборотень, а всегда был таким... пустым местом. <...> Дмитрий, как за него боролся, каким всегда видел (и до сих пор, считая его соединение с Сав. временным несчастьем!) Значит, он

был собой, не тем, каким обернулся, когда «инкрустировался в Савинкова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти лет совместной жизни! «Мне не нужны помощники, — сказал однажды Савинков, при мне, Дм. С-чу, в Варшаве, — мне нужны исполнители!» Это было так глупо (ведь даже и думая это — глупо говорить!), что мы промолчали. И вот Дима поступил в «исполнители», — и чьих приказов? Ослеп и сделался «оборотнем».

Живет он где-то в гостинице, приходит к нам изредка. Рассказывает мало, мы знаем только, что дело, за которым он приехал — достать денег для интернированного в Польше отряда Савинкова—Балаховича («я уверен, что мы дойдем до Москвы!») — Это дело не удалось.

Вчера Дима не был даже на первой лекции Дм. С-ча в Salle Danton. Много народу, слушали внимательно. Лекция, конечно, по-французски. (Потом она вошла первой статьей в книгу Д. С-ча «Царство Антихриста», под заглавием «Европа и Россия»).

На днях «посланец» С-ва уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. «Неблагословенность наших дней»... Еще бы! А что будет дальше!

Отсюда я начинаю просто рассказ о нашей эмигрантской жизни, записи мои, с откликами о Польше, прекращаются. В дальнейших, тоже отрывочных и кратких, кое-что о Варшаве и варшавянах отмечено, и даже весьма немаловажное, но все это я введу в рассказ. Манерой дневника передавать не буду.

В Париже мы встретили немало старых знакомцев русских, немало и новых. Некоторых «новых» эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России, или видели мельком, — Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. А с таким большим писателем как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе. Был тут и не виденный нами раньше Милюков (Д. Ф. как близкий сотрудник газеты «Речь» знал его в Петербурге хорошо). Он еще не сделался тогда владельцем недоброй памяти «Последних Новостей», но газета уже выходила: ею заведывал Гольдштейн, адвокат, защищавший когда-то Дм. С-ча на его суде за «Павла I». Оказалась тут и еще одна русская газета, «Общее дело», сразу пришедшаяся Дм. С-чу больше по вкусу. Редактором был старо-новый, или ново-старый эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне — до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках. К боль-

шевикам он был «непримирим», а потому газетные статьи свои начал писать Д. С. в «Общем Деле» (как и я).

Но не для газетных же статей так стремился Дм. Серг. в Европу. Статьи — дело попутное. Я поистине удивлялась заряду его энергии в это время в Париже. Все люди, казалось ему, на что-то самое нужное нужны, причем он верил, что не могут они не быть вместе, не чувствовать правды, которую чувствует он: слишком она явная, бесспорная. Он начинал понимать, что европейцы, французы, не так-то скоро и легко уразумеют, что такое большевизм. Но в русских не сомневался. Да, сказать по правде, в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество — старшее поколение — внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду, все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Дм. Серг. еще затеял, у нас, какое-то сообщество на религиозных основах: но, в обычном (или даже необычном) увлечении своем, собрал вместе людей, по существу, для этого неподходящих, почему из затеи ничего и не вышло. В то же время, отчасти благодаря его блестящим публичным выступлениям, отчасти потому, что имя его (особенно по роману Léonard de Vinci) было во Франции известно, а приехавший откуда-то, где что-то творилось, он был «новинкой» — мы с ним стали попадать, как в Варшаве, к разным «контессам»; раньше, когда жили в Париже, мы туда не ходили, да ими (как и они нами) не интересовались. Но французские литературные круги были нам теперь почему-то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекосилось (это мы переместились, но куда — еще не успели понять).

Из ранее не знакомых нам эмигрантов ближе всех был нам старик Чайковский. Он был в начале года с Савинковым в Варшаве, потом ездил один к Деникину (когда тот погибал). С Савинк. он разошелся, без ссоры, кажется, — но не любил о нем говорить. Принадлежал он к старшему поколению революционеров-народников (обычно жил в Лондоне, где года через два-три и умер). Его поколение, казалось, было самое атеистическое. Я многих современников его еще застала в Петербурге и писала о них, называя, впрочем, их атеизм, в отличие от атеизма последующих, материалистического, — атеизмом романтическим. Эти «последующие», революционеры, и вообще всякие «левые», без различия партий, сохранили свою, — по меткому названию Д. Ф., — «богобоязнь» — неприкосновенно, несмотря ни на что, до конца жизни. Из этого правила были исключения: тогда «левый» бросался в православие, вообще делался прозелитом, крестился, если

был еврей; а то даже делался священником. Но Чайковский не был ни романтик, ни клерикал, а настоящий религиозный человек. Мало того: его христианство окрашивалось чем-то новым: он говорил о троичности, о Духе, притом без всякого условного догматизма. Не мертвыми устами повторял эти догматы, т. е. не как статьи закона, — он не был прозелитом. Чувствовался в нем, конечно, моралист старого закала, отвычка от России, незнакомство с ней в последние годы... Но религиозность его была самая подлинная и не банальная, что при его возрасте и биографии казалось даже удивительным.

В Париже в это время существовало Русское Издательство, которое так и называлось Изд-во Полнера-Чайковского. Д. С. и я в него, конечно, тотчас же попали (Полнера мы знали еще по Петербургу). Там был издан роман Д. С-ча «14 Декабря» и одна книжка моих рассказов, выбранных из нескольких книг, изданных в России, и здесь, в Париже, найденных мною у знакомых.

Рассказывать жизнь нашу по годам очень трудно, почти невозможно, да м. б. и ненужно: она скорее укладывается в пятилетия. Я буду отмечать, конечно, что было в «первое» время, но было ли то или другое в 21 г., было ли оно в 22-м — это я могу спутать, если даты не важны. Годы событий более или менее значительных я, конечно, знаю. Не особенно значителен, но любопытен был наш (эмигрантский) обед с Эррио и другими французами в Интернациональном Клубе, по почину давнего знакомого нашего проф. Поля Бойэ — в зиму 1920—1921 года.

Кроме нас и Бунина был там, из русских, не помню кто, помню только молодого Алексея (Алешку) Толстого, который был тогда тоже «эмигрант», и даже бывал у нас и у других. Кстати, чтобы к этому типу уже не возвращаться, скажу здесь, что это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, *je m'en fichiste**, при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую Мысль» (в 10—11 году), я отметила его первую вещь, — писателя, никому не известного. Но потом в России мы с ним так и не встречались, и что он делал, где писал — мы не знали. Но, должно быть, он не дремал и, если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в СПб-ском моем дневнике отмечен, как один из абсурдов во время войны 14-го года, посылка правит. делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый, почти невидимый «Алешка» и — старый знакомец наш, бывший секретарь Рел.-Ф. Собраний, Ефим Его-

* вертопрах (*фр.*).

ров; когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся в «Новом Времени» Суворина, и которого милый В. Тернавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация» — осталось навеки неизвестным.

Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что место сие не злчное и, в один прекрасный, никому не известный день, исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам, и др. С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал — неизвестно еще, как был бы встречен; но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел — и при Ленине, и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званьи эмигранта; встреч с этим сословием он, конечно, избегал, — с честными кругами.

Тогда, в 20—21 году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность, — как от нее без опыта избавиться?

На том обеде в Интернациональном Клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были речи; говорил, кажется, только Дм. Серг. и Эррио (м. б. ошибаюсь, но помню этих двух). Из русских и некому было выступать: Бунин французским языком не владеет и вообще не оратор. Что говорил Дм. С. — в точности я не помню, но можно себе представить. Речь Эррио была самая любезная, благожелательно-обещающая: «*on ne vous lachera pas*» * — несколько раз повторял он (французы такие способные ораторы!). После обеда Д. С. и я говорили-болтали с присутствовавшими французскими журналистами и писателями. Помнится, был там критик из Temps, кажется, и Henri de Regnier, высокий, тихий, седовласый.

Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня...»

— Да что же вам простить? — удивилась я.

— Простите... что я существую.

Сказал неожиданно, экспромтом, забавно... Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли.

К тому же первому времени Парижа относятся завязавшиеся связи Дм. С-ча с молодым французским издательством Roche-

* вас не оставят (фр.).

Bossard. Там издан был, прежде всего, наш сборник «Царство Антихриста», «14 Декабря» Дм. С-ча и еще другие его книги. Потом мой роман «Чертова Кукла» (еще до войны переведенная на французский язык), и должен был выйти второй роман, как бы продолжение первого, вышедший перед войной в Москве, но я уступила очередь Бунину: он тогда только что начинал печататься по-французски, и нам с Дм. С. хотелось, чтоб он выпустил не одну, как думал Bossard, а сразу две книжки. (Замечу в скобках, что эта моя очередь так и не пришла: роман совсем не вышел. Очень скоро у нас наступила крайняя нужда в деньгах, Bossard кончился. Дм. С. стал продавать, за что попало, свои книги другим издателям, а я в газетах зарабатывала такие гроши, что заплатить сразу 1000 Шевремону за перевод мы сочли неблагоприятным.)

Так, довольно смутно, со встречами новыми и старыми, прошла эта первая зима. На лето мы, по совету многих, поехали в Висбаден, оккупированный тогда французами. Там было очень хорошо, — как всегда на немецком курорте. Оккупация ничего не нарушала, население (побежденной страны) было совершенно спокойно, без всякой вражды к оккупантам, даже когда по улицам с музыкой проходили войска победителей.

В Висбадене Дм. Серг. вплотную занялся Египтом — для давно намеченной книги. Мы посетили тамошнюю прекрасную библиотеку. Дм. Серг. пришел в восторг от увесистых фолиантов с рисунками в красках, которые он там нашел. По неумению работать часами где-либо, кроме своей собственной комнаты, он должен был бы от них отказаться, если б не любезность культурного директора библиотеки, который предложил присылать ему выбранные книги на дом. И в дальнейшем служитель привозил нам эти книги — так они были громоздки — на тачке, а жили мы в отеле на горе, над Висбаденом, на Нероберге.

Целые дни после рабочего утра Дм. С. проводил в густых лесах, кольцом окружающих Нероберг. Признавался мне, что часто даже забывает, что лес этот — «чужой». И правда: так же лес этот был глух, темен, почти дремуч, как иной русский, так же и пахло в нем, — листом палым, грибной сыростью, лягушками невидимыми, свежестью и прелью...

В Висбадене мы получили первую весть, через Варшаву, о моих сестрах. Они живы! Какое было облегченье! К осени — известие, что умер Блок. Подробности его страшной смерти мы еще не знали. Но уже многое видели, что позволяло их угадывать. И я тут же задумала серьезно написать о нем, и мы стали с Дм. С. постоянно о Блоке говорить. Д. С. очень любил его, несмотря на слу-

чавшиеся между ними споры. Они, между нами и Блоком, всегда кончались благополучно.

В августе в Висбаден приехал Бунин с женой и поселились в том же отеле, на Нероберге. С Буниным, как я уже сказала, мы не встречались лично в России. Он был москвич, а талантливые писанья его, которые мы, конечно, знали и ценили, были как-то не в том течении последнего петербургского периода, в котором находились мы. Теперь, встретившись в Париже, мы сблизились как разделяющие ту же «юдоль» изгнанничества, притом одинаково (почти) относящиеся к России и совершенно одинаково к большевикам. Но он был человек особого склада, ранее нами близко не виданного — среди писателей петербургских и наших кругов вообще, — а потому особенно меня заинтересовал. И вот, я помню, в Нероберге, после ужина, всякий вечер я начинаю с ним бесконечные беседы в моей большой комнате, стараясь рассмотреть его сердцевину, чем он живет, что думает, чему на службу отдает свой талант. Интерес к «человеку», к «личности» вечно толкает меня к таким выяснениям себе того или другого, а если, в конце концов, они мне не удавались вовсе, или я ошибалась и создавала себе образ неправильный (что случалось часто), это уж просто у меня «талантишку не хватило», по выражению Д. Ф. А бескорыстных стараний всегда было много.

Относительно Бунина я, впрочем, поняла, — по тогдашней моей записи, что «он весь в одних ощущениях, но очень глубоких». И далее прибавлено: «Никогда не забуду, как он читал это потрясающее письмо из Совдепии, подписанное кровью матерей (буквально)».

Это письмо Дм. С. получил как раз в Висбадене. Обращение «ко всему миру» нескольких (больше 20-ти, кажется) женщин из сов. России, с непередаваемо сильной просьбой, мольбой спасти не их, а их детей, которым грозит духовная и телесная смерть. «Возьмите их отсюда, из этого ада! Мы погибаем, погибли, но это все равно, мы молим весь мир спасти детей наших!» Подписи были сделаны действительно кровью, некоторые углем. Д. С. потом напечатал это письмо, действительно страшное в русской газете «Общее дело».

Казалось, мы уж ко всему привыкли, замозолилась душа. Но это письмо не могли мы читать без ужаса. А что же «мир», к которому обращались эти матери? Д. С. сделал много, чтобы вопль этот не остался ему неизвестным. А мир... да ничего. Просто ничего.

В Бунине, казалось мне, при его тончайших ощущениях окружающей внешности, есть все-таки внутренняя нетонкость по-

ниманья личности, — человека. Кроме того, и в литературе (или шире) он, при большом его таланте, имеет какую-то границу понимания. Он слишком в прошлом. Это я видела в разговорах наших о Блоке. Он его не чувствует ни как человека, ни как поэта. Мне это было жаль.

В Висбадене мы познакомились с Кривошеиным. Министр, не успевший сделаться министром перед революцией, как слишком «либеральный», по мнению Николая II и, главное, царицы. А его очень прочили. Но, конечно, умеренный либерализм его ничего бы не спас. Да и было поздно.

Потом, когда Бунины уже уехали, в Висбаден приехал Гессен из Берлина, редактор уже там основанной газеты «Руль». Дм. С. и я — мы писали в ней несколько раз, Гессен относился к нам недурно, через год издал даже мою книжку последних стихов, но в общем нам было не по дороге: Гессен — партиец, к. д. (мы его знали в Петербурге), газета «Руль» — умереннее, чем в начале Милюковские «Последние Новости». В Висбадене (он остановился там же, в Нероберге) в беседе с нами, он сказал как-то: — Не могу простить себе, что в начале, только что приехав в Берлин из советской России, я был — за интервенцию!

А так как Д. С. и я, мы были и в начале, и в конце, и всегда «за интервенцию» — то мы этой беседы и не продолжали.





В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

Мережковский, его идеи

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1940)* — был человек выдающихся дарований, большого литературного таланта, напряженных религиозных исканий, жадно впитывавший в себя все ценные течения современной и античной культуры. Широкое образование, постоянно им наполняемое, делало из него, правда, не ученого, а только дилетанта, но дилетанта высокого качества: Мережковский перечел и изучил бесконечно много книг и специальных исследований, всюду, однако, беря то, что ему нужно, что соответствует его темам. Одна из лучших книг, написанных им, носит характерное заглавие «Вечные Спутники», — здесь собраны его превосходные, часто тончайшие старые этюды о «вечных спутниках», о мировых гениях в области литературы. Мережковский действительно всегда обращен к этим «вечным спутникам», но он остается при этом всегда самим собой, — и именно это и мешает ему быть тем, чем ему очень хочется быть, мешает ему быть настоящим историком. Во всех своих книгах, в которых так много настоящих *bons mots*, удачнейших формул, он всегда *заслоняет собой* того, о ком он пишет.

Мышление Мережковского движется в антитезах, в острых противопоставлениях, — но главная его тема определяется *религиозным противлением* «историческому» христианству. Мережковский чувствует в себе «новое» религиозное сознание, так как

* Из сочинений Мережковского, оставляя в стороне его чисто литературные произведения и его многочисленные произведения по истории религии, как «Рождение богов», «Атлантида и Европа» и др. его исторические монографии — мы должны отметить: 1) «Вечные спутники» (Петербург, 1899); 2) «Толстой и Достоевский» (Т. I и II. Петербург); 3) «Грядущий Хам» (Петербург, 1906); 4) «Не мир, но меч» (Петербург, 1908).

в его душе христианство уживается с влечением к античности, к античной культуре. Если Розанов критиковал «историческое» христианство во имя Ветхого Завета, то Мережковский исходит из противопоставления христианства и античности. К этому противопоставлению Мережковский сводит все трудности «исторического христианства», но под влиянием Вл. Соловьева у него позже присоединяется еще искание «христианской общности».

По мысли «Мережковского, «историческое» христианство (т. е. Церковь) отжило свой век, оно было *односторонним* выражением христианского благовестия — ибо не вместило в себя «правды о земле», «правды о плоти». Односторонний аскетизм свойственен христианству по самому его существу: «аскетическое, т. е. *подлинное* христианство, — пишет Мережковский *, — и современная культура *взаимно непроницаемы*». Это отождествление христианства с аскетикой ** нужно Мережковскому, чтобы осмыслить «новое религиозное сознание», — ибо только это последнее и может духовно удовлетворить его. «Отныне, — однажды писал он *** — должна раскрыться во всемирной истории... правда не только о духе, но и о плоти, не только о небе, *но и о земле*». Это было, можно сказать, навязчивой идеей у Мережковского, — ему нужно «новое откровение» ****, к Церкви же как «исторической» форме христианства ему трудно привыкнуть. Отсюда у него не только усиленный акцент на «аскетической неправде» в христианстве, но отсюда и упрямое утверждение «мистической связи самодержавия и православия» *****. Для Мережковского православие настолько слито с русской государственностью, что он просто *забывает* о православии в других странах.

В упомянутых в 1-ой главе Религиозно-Философских Собраниях (инициатива которых принадлежала именно Мережковскому и его единомышленникам) эти два мотива — отождествление исторического христианства с аскетическим отвержением или даже «уничтожением» плоти и убеждение в «мистической» связи самодержавия и православия — повторялись на все лады. С особенным блеском и вдохновением эти темы развивал в своем докладе Тернавцев, яркий и талантливый религиозный мысли-

* «Не мир, но меч». С. 29.

** «Плоть была уничтожена (!) в христианстве». — Там же. С. 28—29.

*** «Грядущий Хам». С. 123.

**** Там же. С. 184.

***** «Не мир, но меч». С. 113.

тель. «Наступает время, — говорил он, — открыть сокровенную христианскую *правду о земле...* общественное во Христе спасение и религиозное призвание светской власти» *. Все это очень характерно как признание *религиозной (хотя и односторонней) правды в секуляризме* (т. е. «правды о земле»); секуляризм и историческое христианство мыслятся здесь как два *полюса одной антиномии, друг друга обуславливающие*. Преодоление этой антиномии мыслится здесь лишь в синтезе ее противоположных начал, и здесь и Мережковский, и Тернавцев, и другие жили романтическими настроениями Вл. Соловьева о «свободной теократии». «Безнадежной противообщественности христианства» ** Мережковский противопоставляет «освященную общественность», которую он часто мыслит уже в тонах анархизма ***. Поэтому Мережковский готов считать «историческое христианство» *бесцерковным*, ибо расцветшая в историческом христианстве «религия уединенной личности» **** не есть вовсе Церковь. «Христианство есть только чаяние и *пророчество* о Богочеловечестве, о Церкви, но само явление Церкви совершится за *пределами христианства*» *****.

Отсюда понятна и любимая схема Мережковского (и под его влиянием и других религиозных искателей этой эпохи — напр., Бердяева в ранний период его религиозной философии) о «Трех Заветах». «Первый Завет — религия Бога в мире; второй Завет Сына — религия Бога в человеке — Богочеловека; третий — религия Бога в человечестве — Богочеловечества». «Отец воплощается в Космосе; Сын — в Логосе; Дух — в соединении Логоса с Космосом, в едином соборном вселенском Существо — Богочеловечестве».

Таковы «чаяния и пророчества» Мережковского и его группы. Это — типичная религиозная романтика, окрашенная очень ярко в «революционно-мистические» тона.

Но рядом с этим «революционно-мистическим возбуждением» религиозный процесс, шедший пока «под спудом» в русском обществе, имел и другую форму — гораздо более выдержанную в тонах религиозного и исторического реализма. Уже в сборнике

* См. протоколы Рел.-Фил. Собраний в журнале «Новый Путь» (1902—1903 г.), а также в отдельном издании.

** «Не мир, но меч». С. 33.

*** «Утверждение *новой религиозной безгосударственной общественности* и есть новое религиозное сознание...». — Там же. С. 207.

**** Там же. С. 37.

***** Там же.

«Проблемы идеализма» (1902 г.) мы находим очень яркое выражение *морального идеализма*, зовущего к духовной трезвости и выводящего на пути серьезного, трудового преобразования жизни. Еще ярче и сильнее эти мотивы прозвучали в замечательном сборнике «Вехи» (2-ое издание в 1909), где наиболее яркой была статья о. С. Булгакова «Героизм и подвижничество». От мистического самоупоения, от безответственной мечтательности и расплывчатых исканий авторы статей в этом сборнике звали к труду, к «подвигу», к историческому реализму...

Мы не будем входить в анализ статей, помещенных в указанных двух сборниках, — тем более, что почти со всеми авторами, принимавшими участие в этих сборниках, нам придется иметь дело в ближайших главах. Обратимся теперь поэтому к изучению построений отдельных философов — и прежде всего к тем двум мыслителям, которые ближе других связаны с религиозно-философским возбуждением, только что очерченным нами: мы говорим о Н. А. Бердяеве и Л. И. Шестове.





Ю. ТЕРАПИАНО

«Воскресенья» у Мережковских и Зеленая Лампа

На 11-бис улицы Колонель Бонне в Пасси (фешенебельный квартал Парижа) у Мережковских была квартира, сохранившаяся за ними еще с тех времен, когда они наезжали в Париж из Петербурга.

В беженском положении эта квартира оказалась для Мережковских подарком судьбы: сохранилась библиотека с дореволюционными книгами и журналами, а также архив, в котором, разбирая его по временам, они находили много любопытного.

Каждое воскресенье (я познакомился с Мережковскими в мае 1926-го года), вплоть до трагической весны 1940 г., за исключением отлучек Мережковских из Парижа, от 4 до 7 часов пополуночи у них происходили традиционные собрания писателей.

Бывали все представители так называемого «старшего поколения»: Г. Адамович, М. Алданов, И. Бунин, Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, В. Вейдле, Б. Зайцев, Г. Иванов, К. Мочульский, С. Маковский, Н. Оцуп, И. Одоевцева, Н. Теффи, Л. Шестов, М. Цетлин, В. Ходасевич, Н. Берберова, Г. Федотов, И. Фондаминский-Бунаков и другие.

Но постоянный кадр «воскресений» составляло «младшее поколение» — поэты и писатели, начавшие литературную работу уже в эмиграции.

Включая сюда Г. Адамовича, Г. Иванова, Н. Оцупа и И. Одоевцеву, к постоянным посетителям «воскресений» принадлежали: Н. Бахтин, В. Варшавский, Б. Дикой-Вильде (расстрелянный немцами во время оккупации по делу «Музея Человека»), Б. Закович, Л. Зуров, И. Голенищев-Кутузов, А. Головина, Л. Кельберин, Д. Кнут, Г. Кузнецова, А. Ладинский, В. Мамченко,

Ю. Мандельштам, Б. Поплавский, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Софиев, П. Ставров, А. Штейгер (когда он бывал в Париже), Л. Червинская, Ю. Фельзен, С. Шаршун и другие.

Мережковские всегда интересовались новыми людьми. Если кто-нибудь из еще не известных им «молодых» выпускал книгу или обращал на себя внимание талантливым выступлением на каком-нибудь литературном собрании, существовал «закон», в силу которого «новый человек» должен быть представлен Мережковским на рассмотрение.

З. Н. Гиппиус усаживала его около себя и производила подробный опрос: каковы взгляды на литературу и — самое решающее — как реагирует «новый человек» на общественные, религиозные и общечеловеческие вопросы.

Подобный допрос иногда заставлял смущаться и отвечать невпопад некоторых талантливых, но застенчивых молодых писателей. Случалось, что какой-нибудь находчивый эрудит, поверхностный и безответственный, пожинал лавры на двух-трех воскресеньях. Но Мережковских не так-то легко было провести: через несколько встреч тайное становилось явным и овцы отделялись от козлиц.

Быть с Мережковскими — отнюдь не означало повторять их слова и разделять их взгляды. За «воскресным столом» постоянно возникали оживленные споры — каждый отстаивал свое. Случалось, что по тому или иному вопросу в меньшинстве оставались Мережковские.

Иногда Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна рассказывали о прошлом — о литературной их жизни тех времен, о людях — Розанове, Сологубе, Блоке, Андрее Белом и т. д. Для большинства «зарубежного поколения» Петербургский период был уже сказочной страной и молодежь очень любила слушать такие рассказы.

Мережковский занимал на «воскресеньях» председательское место за большим столом, З. Н. Гиппиус — в центре, по правую руку от Мережковского. Чаем и угощением бесменно заведовал В. А. Злобин, секретарь Мережковских. Почетные гости (если таковые были) усаживались около Мережковского, но тогда разговоры не всегда бывали интересными. В обыкновенное же время на край стола перекочевывали «метафизики».

Мережковский постоянно жил в кругу своих идей. Он писал книгу за книгой — «Атлантиду», «Иисуса Неизвестного», «Данте» и «Лики святых». Ему порой интересно было узнать реакцию других на тот или иной тезис своих писаний; кроме того, темы его книг возбуждали столько вопросов, что и «метафизи-

ки» и Мережковский во время таких бесед забывали о сакральных семи часах, и беседы их требовали вмешательства Зинаиды Николаевны.

Около Гиппиус шли разговоры о литературе, о поэзии, об «общих идеях». Она, естественно, была в курсе всех литературных событий и происшествий. Обсуждали только что вышедшие книги, номера «Современных Записок», «Чисел» и других журналов, статьи в «четверговых» (литературных) газетах, делились впечатлениями о собраниях и литературных вечерах; — Гиппиус говорила метко, остроумно, интересно. Чаще всего, к концу «воскресенья», разговор становился общим — на какую-нибудь серьезную тему. Если не было спора, после окончания беседы, переходили в гостиную — сколько там было окончаний разговоров за все эти годы! Обычно, после «воскресенья» участники их гурьбой шли в излюбленное кафе неподалеку от дома, где жили Мережковские, делиться впечатлениями и доканчивать разговоры. Кафе это в обычное время посещалось шоферами с ближней стоянки автомобилей-такси, поэтому оно у нас называлось «извозничьим кафе» — место, до сих пор многим памятное.

Воскресенья у Мережковских в течение всех предвоенных лет были одним из самых оживленных литературных центров; они принесли большую пользу многим представителям «младшего поколения», заставили продумать и проработать целый ряд важных вопросов и постепенно создали своеобразную общую атмосферу. После смерти Мережковских в этом смысле осталась пустота и новые попытки создать что-либо, подобное «воскресеньям», окончились неудачей, т. к. заменить Мережковских и их умение вносить столько непосредственного интереса в собеседования было уже некому, и круг «воскресений» постепенно распался.

Вторым предприятием Мережковских, рассчитанным уже на гораздо более широкие круги, являлась «Зеленая Лампа».

Мережковские решили создать нечто вроде «инкубатора идей», род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов — «воскресения», и постепенно развить внешний круг «воскресений» — публичные собеседования, чтобы «перебросить мост» для распространения «заговора» в широкие эмигрантские круги.

Вот почему с умыслом было выбрано и самое название «Зеленой Лампы», вызывающее воспоминание петербургского кружка, собиравшегося у Всеволожского в начале 19-го века, в котором участвовал Пушкин.

На первом открытом собрании «Зеленой Лампы» В. Ходасевич сделал историческое сообщение на эту тему.

Первое собрание «Зеленой Лампы» состоялось 5 февраля 1927 года в помещении Русского торгово-промышленного Союза.

Стенографические отчеты о собраниях «Зеленой Лампы» напечатаны в журнале «Новый Корабль».

Первые доклады сделали: М. О. Цетлин — «О литературной критике», З. Н. Гиппиус — «Русская литература в изгнании», И. И. Бунаков-Фондаминский — «Русская интеллигенция как духовный Орден» и Г. В. Адамович — «Есть ли цель у поэзии?».

Аудитория первых лет существования «Зеленой Лампы» была очень чувствительной, очень нервной, обмен мнений между представителями двух поколений переходил иногда в жаркие споры, речи прерывались репликами с мест. Но за всем этим чувствовалась жизнь. Жизнь завелась сама собой в «Зеленой Лампе», несмотря на умышленно-отвлеченную литературную тематику первых собраний. Я всегда удивлялся тому, с каким упорством, с какой настойчивостью Мережковские отстаивали свою «Зеленую Лампу», подбирая докладчиков, ободряя колеблющихся, скептиков — колеблющиеся и скептики, конечно, нашлись с самого начала.

— Что там! Собрания как собрания, очередной парад литераторов, болтовня! — Но Мережковские упорствовали. Многие впали у них в немилость — временную или постоянную (Ходасевич) — за отношение к «Зеленой Лампе».

Был период, когда «Зеленая Лампа», сами Мережковские, а также некоторые участники «Зеленой Лампы» состояли как бы под запретом. Даже на отчеты о «Зеленой Лампе» было наложено вето. Бывали курьёзы: так, одна газета помещала отчеты о собраниях «Зеленой Лампы», но ее сотрудник, как будто нарочно, пересказывал говорившееся под комически-неверным углом зрения.

Конечно, не все посетители «Зеленой Лампы» (аудитория на больших вечерах состояла иногда из нескольких сот человек) были склонны всерьёз заниматься идеями, интересовавшими Мережковских и их ближайших сотрудников. Но, так или иначе, в течение всего предвоенного периода парижской эмиграции, «Зеленая Лампа» не переставала привлекать к себе внимание публики. Некоторые собеседования, по ее желанию, приходилось продолжать в течение двух или трех собраний.

Лучший способ познакомить читателей послевоенных лет с атмосферой «Зеленой Лампы» и с кругом ее идей — это предоставить слово самой «Зеленой Лампе». <...>

К сожалению, в том же 1928 году журнал «Новый Корабль» вынужден был прекратиться, нигде стало печатать отчеты и весьма ценный для будущих историков литературной жизни эмиграции материал о собраниях «Зеленой Лампы» за все последующие годы остался неопубликованным.





Ю. ТЕРАПИАНО

Дмитрий Мережковский: взгляд в прошлое

То, что я могу сказать здесь о Мережковском, будет, конечно, неполно и может коснуться только некоторых, наиболее интересных для нас сторон его творчества.

Мережковский многопланен, сложен в смысле своих концепций, а также в силу огромного количества историко-религиозных данных, которыми он постоянно оперирует («полководец цитат!»); он порой зыбок, потому что его прозрения в таких случаях опираются лишь на вспышки его личной интуиции, а не на какие-нибудь объективно доказуемые положения, но в то же время, несмотря на весь его «гностицизм» и книжность, — прост в основном: «Верую, Господи, помоги моему неверию!».

Он любил утверждать существование духовных реальностей, с негодованием и со всей силой своего темперамента нападая на равнодушных, потому что равнодушие, «мещанское благодушие» (для которого Бог, Бессмертие и Страшный Суд, как говорил он, «хотя, может быть, и правда, но, откровенно говоря, не интересны! Библия? Скучная книга. Библия, — для скучных людей!») хуже, чем самый яростный атеизм или явное богоборчество...

Тайна судьбы человеческой души, точнее — не одной «души», а «духо-плоти», и мучительная надежда на возможность преображения — тема Мережковского.

Такая постановка вопроса обнаруживает в нем, прежде всего, мыслителя христианского.

Именно в качестве христианина Мережковский отталкивается от всех нехристианских представлений о человеке и утверждает христианскую концепцию: человек не есть дух или лишь «душа», он есть целостность духа, души и тела, т. е. «духо-плоти».

Весь древний мир — не только эллинизм, но почти весь Древний Восток, не говоря уже об индусских воззрениях, — утверждал свое отношение к человеку в виде учения о преобладании души и духа над телом.

Истинный человек есть бессмертная духовная сущность, «высшее Я», а тело — только тень и временное одеяние этого «Я», — утверждал древний мир. Говорить о каком-либо бессмертии тела, — просто глупость, а мечтать о возможности воскресения — величайший абсурд.

Только в Египте — и то, вероятнее всего, в Древнем и Среднем царствах — предполагалась какая-то форма существования души в каком-то теле за гробом, в блаженных полях Иалу, куда направлялись праведники, оправданные Озирисом на загробном суде. Но чем больше развивалась египетская культура, тем сильнее становился скептицизм и тем отвлеченнее и спиритуальнее делались взгляды на судьбу человека за гробом. Только «Ка», двойник человека (или его двойники — их заупокойные египетские тексты насчитывают иногда до шестнадцати), оставался около мумии, погребенной в замурованной навеки гробнице. Высшие же начала человека, так же, как и в других спиритуальных концепциях древнего мира, — душа «Ба» и дух «Ху» — «возносились в небо». Египтологам, впрочем, еще до сих пор не ясно, как именно понимали египтяне погребальный ритуал, совершавшийся над покойником, обряды «воскрешения» мумии — открывания рта, ушей и т. д., после чего покойник считался «воскрешшим во Озирисе», но во всяком случае это «воскресение» еще далеко от христианской идеи воскресения.

О преображении мира после Страшного Суда и о (предшествующем ему) воскресении умерших учат только две религии: зороастризм (маздеизм) и христианство. Обе эти религии возвещают полное преображение Земли и населяющих ее живых существ после Суда:

И будет новая земля
И новое небо...

С точки зрения научной, мессианство, понимаемое духовно, а не в виде посланного Иеговой политического и военного вождя еврейского народа, а также учение об эсхатологии, т. е. о конце этого мира и возникновении после Суда и всеобщего воскресения — были заимствованы евреями у персов.

Так или иначе, воззрение на человека как на духо-плоть и ожидание преображения мира — характерная особенность этих двух религий.

Поэтому совершенно неверно распространенное мнение, что Мережковский будто бы ставил знак равенства между всеми «заветами», подчеркивая во всех наличие одной и той же правды.

Только в смысле *пророчеств о пришествии Сына* он находится в согласии с учением древности, но в смысле *учения о человеке* — в полном разладе.

Представление индусов (а через них — орфиков и других эллинских тайных учений) о перевоплощении душ казалось Мережковскому не только не нужным, но даже еретическим, вредным. Он слышать не хотел о «ревоплощенцах».

В представлении Мережковского, судьба мира проходит через три основных этапа, через три эоны: Отца — Бога-Творца, Бога Ветхого Завета; Сына — Христа, эон, длящийся и ныне; а затем должен открыться «Третий завет» — завет Духа, имеющий выявить полноту христианского откровения.

Идея «Третьего Завета» в первый раз сформулирована калабрийским монахом Иоахимом де Форье, предшественником Св. Франциска Ассизского.

Первый завет — жизнь под законом; второй — под благодатью — Царство Сына; и Царство Духа — жизнь в полной любви.

В понимании Мережковского, Христос, освятив плоть, посредством своего воскресения и победы над адом сделал возможным немедленное приближение «конца истории», лежащей в плоскости дурной бесконечности, а также и раскрытие нового эона — преобразования мира, но люди в большинстве, даже иудеи, не поняли Его и не пошли за Ним, отдалив таким образом на неопределенное время возможность наступления Конца.

Таким образом, Мережковский был устремлен из прошлого, через настоящее, к будущему. Ненавидя и отбрасывая идею «плоской», по его словам, материалистической эволюции, он хотел наступления взрыва, переворота, духовной революции, — как сказано в предании, в одном из «логиа аграфа»:

«Если не перевернетесь (не изменитесь), не можете войти в Царство Божие».

Верил ли он? Думаю, что в Бога он всегда верил. Поэтому, вопреки репутации, установившейся за ним еще в России, Мережковский *богоискателем* не был, т. к. быть богоискателем означает искать Бога, т. е. еще не иметь Его, не верить в Него.

Но, веруя в Бога, Мережковский мучительно и напряженно *искал Христа*, которого хотел понять и познать Его, вместо того чтобы, подобно Савлу, ощутить Его на пути в Дамаск — позабыть хотя бы на время о разуме и отдаться чувству.

Мне кажется, именно поэтому в религиозных концепциях Мережковского столько напряженности и внутренней неразрешенности. У него везде — буря, и нигде нет тишины.

Поэт, критик, исторический романист, мыслитель... Вряд ли есть основание останавливаться на стихах Мережковского, хотя он начал как поэт. Было время, когда некоторые его стихи — «По горам, среди ущелий темных», «Леда» или самоутешение отвергнутого: «...Есть у меня и гордая свобода... И Рафаэль, и Данте, и Шекспир...» (не имея под рукой текста, цитирую по памяти) — читались на всех журфиксах и студенческих вечерах, читались с пафосом, с завыванием, с какой-то характерной в то время нечуткостью.

В эмиграции, в журнале «Новый Корабль» и еще кое-где, Мережковский напечатал несколько стихотворений, трогательных своим религиозным ощущением, но с точки зрения поэзии — слабых.

Зато Мережковский-критик до сих пор не устарел, и многие его критические статьи остаются в силе и по сегодня. Он первый, после долгого упадка нашей критики, поднял ее на европейский уровень, придал ей глубину, указал новые пути в смысле подхода к исследованию внутреннего мира поэтов и писателей.

«Вечные спутники», анализ творчества Толстого и Достоевского, «Гоголь и черт» и ряд других критических работ Мережковского по заслугам могут быть названы ценнейшими книгами.

Но все же критика не была главным призванием Мережковского, по существу он был писателем и мыслителем.

В смысле оценки Мережковского-писателя, автора исторических романов, между современниками до сих пор нет согласия. Одни критикуют его стиль и манеру изображать исторические персонажи, другие не согласны с философским содержанием его романов.

Между эпохой Мережковского и современностью есть глубокое расхождение, но особенно в тех кругах, где восстают на философию Мережковского, сказывается прежде всего упадок культурного уровня современности, по сравнению с уровнем дореволюционной России. Ответственность зачастую падает на слушателей, на читателей, уже не способных мыслить на том уровне, на каком мыслил (даже в эмиграции) Мережковский.

Сказанное не означает, что вся религиозная проблематика Мережковского, его понимание «Трех Заветов» и, особенно, учение о Царстве Духа должны быть приняты без критики, но все же духовное наследие Мережковского, его вклад в сокровищницу философско-религиозной мысли значителен.

От целого ряда вопросов, поставленных Мережковским, например, идеи об Иисусе Неизвестном, т. е. еще непонятом и непознанном, о предтечах — предшественниках будущего Завета Духа и т. д., нельзя отказываться с легкостью — ничего, мол, здесь нет нового и значительного.

Духовный путь Мережковского начался с его знаменитой трилогии. В начале ее, в «Юлиане Отступнике» и даже в «Леонардо да Винчи» Мережковский еще не знает окончательно, с кем он. С духом свободы? С древней языческой мудростью, как его герой, цезарь Юлиан? Или с какой-то новой, смутно ощущаемой, еще не вполне ему открывшейся истиной?

В «Леонардо да Винчи» этот вопрос еще более осложняется.

«Воскресшие боги» — языческая философия, языческая наука, языческое искусство выходят из-под спуда, из-под земли, и вместе с ними — кто? Кто «Он»: Ангел-Денница, Люцифер Светоносный, восставший на тьму и мрак Яльдоваофова мира, т. е. на творца этого низшего мира, «земли», по учению гностика Базилида? Кто Он — Антихрист? Просто дьявол, председатель средневековых шабашей, с которым борется инквизиция, соблазнившая Джиованни, ученика Леонардо да Винчи? Теза и антитеза — те самые «теза и антитеза», о которых Мережковский будет твердить «сорок лет», со всей ясностью появляются в «Леонардо да Винчи».

Помимо антитезы явной, люциферической, есть там и скрытая антитеза — колдовства, шабаша и черных месс.

Кассандра, олицетворяющая служительницу языческого света и знания, посланница «воскресших богов», вдруг превращается в ведьму и вместо Вакха служит «мэтру Леонардо», дьяволу, председателю средневековых шабашей.

Да и сам великий художник Леонардо (какое многозначительное совпадение имен, к тому же подлинных, а не придуманных Мережковским!) — человек странный, и недаром он так подозрителен для инквизиторов. Кто он? Антихрист? Просто неверующий гениальный ученый, предшественник атеистов нашего времени? Или же Леонардо — предтеча имеющего наступить некогда Царства Духа, провозвестник Третьего Завета?

Чей опыт самому Мережковскому ближе, с кем он? Откуда у него самого такие колдовские знания, верна ли идея о превращении античных богов в дьяволов, а вакханалий — в бесовский средневековый шабаш?

Следует отметить также, что с чисто литературной точки зрения «Леонардо да Винчи» является самой удачной книгой Мережковского во всей серии его исторических романов. Образы

Леонардо, его учеников, герцога Мора, ведьмы Кассандры и других, а также общая атмосфера тогдашней Италии очень удались Мережковскому. Сам он тоже считал «Леонардо да Винчи» лучшим из своих исторических романов.

Писал он его в Италии, переезжая с места на место по следам Леонардо да Винчи. Впоследствии даже итальянцы удивлялись, как это иностранец мог так верно почувствовать самый дух Италии.

Загадочная личность Леонардо да Винчи, его двоящееся недоговариваемое отношение к Богу и восстающая из-под земли языческая красота и мудрость на фоне христианства в понимании Савонаролы, и полет Александра Борджиа, шабаш колдунов и ведьм, ужасы инквизиции и непрерывных войн — как нельзя лучше гармонировали с таким же не вполне определяющимся состоянием души самого Мережковского.

Небо вверх — небо вниз,
Звезды вверх — звезды вниз,
Что наверху — то и вниз,
Если поймешь — благо тебе! —

вспоминает Кассандра слова «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста.

А ученик Леонардо, Джиованни, мучается и никак не может понять, с кем его учитель — с Богом или с дьяволом?

Гибнет Савонарола, сжегший в числе прочих «суетных произведений мира сего» «Леду» Леонардо да Винчи, гибнет его покровитель, герцог миланский Моро, гибнет незаконченная статуя Сфорца в Милане, которую так и не успел отлить художник, отличавшийся чрезвычайной медлительностью, гибель угрожает «Тайной вечере», написанной на сырой стене. Сам Леонардо, после падения Моро, нигде не находит для себя места на родине, эмигрирует и умирает на службе у французского короля, уступив ему перед смертью «Джоконду».

Не столь удачным, как «Леонардо да Винчи», был третий роман трилогии — «Петр и Алексей». Здесь Мережковский, во-первых, увлекся примером большинства наших писателей, кроме Пушкина; Петр у него — в черных, излишне черных тонах, а сам Мережковский как будто предпочитает его реформам прежнюю Московскую Русь с ее историческим православием, и даже «старую веру».

Царевич Алексей, принесенный Петром в жертву новой России, вызывает большую симпатию у Мережковского; писатель передовой тогда, в ту эпоху, Мережковский сделался сторонником антипетровской реакции.

Как мы знаем, в промежутке между написанием «Леонардо да Винчи» и «Петра и Алексея» многое переменялось в самом Мережковском. После «Леонардо да Винчи» начинается его обращение к христианству, эпоха религиозно-философских собраний и затем «Религиозно-философского общества».

Трилогия в целом, несомненно, лучшее из всего, что было дано Мережковским в области исторического романа. Его последние произведения написаны менее вдохновенно, в них нет того метафизического воздуха, конфликта тезы и антитезы, Христа и Антихриста, которые составляют основу трилогии.

А ведь именно метафизика и поднимала трилогию над уровнем обыкновенных исторических романов!

За намек на участие Александра I в заговоре против Павла Мережковский подвергся неприятностям со стороны правительства, и это усилило в нем оппозиционные настроения. В дореволюционные годы и он, и Зинаида Гиппиус считались писателями, настроенными весьма либерально, и только после захвата власти большевиками оба они стали эволюционировать в обратном направлении. Но разлад с некоторыми левыми кругами дореволюционной России наметился у Мережковского еще задолго до революции. Причиной тому были его религиозно-философские концепции и особенно поворот к христианству, что в ту эпоху понималось, как подозрительная связь и кругами реакционеров и мракобесов. Этим и объясняется многое в нападках на Мережковского со стороны некоторых авторов.

Кроме того, некоторые были несогласны и с «богоискательством» Мережковского, вменяли ему в вину его якобы слишком литературное, поверхностное отношение к этим вопросам. Были и прямые измены друзей, например Андрея Белого, говорящего о Мережковском недоброжелательно и зло в своих воспоминаниях. Правда, Блок, вначале так же, как и Белый, бывший близким другом Мережковских, после тоже отошел от них, смущенный тем, что «они всегда говорят о несказанном» (т. е. делают предметом разговора за чайным столом то, о чем на людях нельзя говорить), но от личных выпадов против Мережковских, не в пример Белому, Блок воздержался.

Так же и в эмиграции Мережковского упрекали в холодности и книжности, в стремлении казаться пророком, в претензии быть духовным учителем, в неискренности, в скрытой несерьезности, в эгоизме, в отсутствии любви к людям и так далее, и так далее. Кое-что в этой критике, вероятно, попадало в цель, кое в чем Мережковский был действительно виноват — так, например, в нем была какая-то доля игры, но чаще всего, будучи сосредото-

чен на своих мыслях, он задевал тем, что смотрел «куда-то поверх собеседника», а это — обижало. Не стеснялся также Мережковский и в возражениях своим противникам на диспутах «Зеленой Лампы» — этого ему не прощали.

Однако, если мы вспомним стиль его эпохи, т. е. эпохи декадентства и символизма, с общей тогда для всех поэтов и писателей и даже обязательной позой — поэт — «маг», «священнослужитель красоты», «учитель»; то, что говорили и писали тогда и Вячеслав Иванов, и Валерий Брюсов, и Федор Сологуб, то Мережковский окажется среди них не таким уж «красующимся».

К тому же, если в разговорах «о несказанном» и была доля позы, то все же интерес к этим вопросам Мережковский сохранял всю жизнь, даже после революции, даже в эмиграции, когда эти темы уже перестали быть модными и «рентабельными», в смысле отношения читателей.

Подобно другим писателям, Мережковский сначала с энтузиазмом принял Февральскую революцию, но вскоре при виде начавшейся разлуки на фронте и в тылу его охватил ужас.

Дневники Зинаиды Гиппиус, тогдашние статьи Мережковского, их попытки найти в Керенском «настоящего человека» свидетельствуют об этом.

Еще и раньше, до революции, после 1905 года, Мережковский почувствовал верно и, можно сказать, пророчески страшную сущность грядущей русской революции и ее мировое значение. В предисловии к французской книге «Царь и революция», в 1907 году, Мережковский писал: «С русской революцией рано или поздно придется столкнуться Европе, не тому или иному европейскому народу, а именно Европе как целому. Мы горим, в этом нет сомнения, но что мы одни будем гореть и вас не подожжем, так ли это несомненно? Мы — ваша опасность, ваша язва, жало сатаны или Бога, данное нам в плоть. Вы еще от нас пострадаете... Еще Бакунин предчувствовал, что окончательная революция будет не народной, а всемирной. Русская революция — всемирная. Когда вы, европейцы, это поймете, то броситесь тушить пожар. Но берегитесь: не вы нас потушите, а мы зажжем вас».

После Октябрьского переворота Мережковские оказались в ожесточенной оппозиции советской власти. Известен разговор с Блоком Зинаиды Гиппиус. Она отказалась «общественно» пожать руку Блоку, стоявшему за сотрудничество с большевиками, пожалала «только в личном порядке».

В воспоминаниях Андрея Белого, написанных значительно позже этой эпохи и содержащих немало угодничества перед вла-

стями предержающими Советской России, уход Мережковского в эмиграцию представлен как следствие того, что советская власть не пожелала признать Мережковского первым писателем России, что, конечно, есть ложь. Обычная, истерическая лживость Белого заставила его в то время клеветать не только на Мережковского, но и на Блока.

Многие за границей осуждали Мережковского за его увлечение Пилсудским, Муссолини и в самом конце жизни, в 1941 году, Гитлером. Если смотреть на Мережковского, считая его ответственным за его политические увлечения, то, конечно, здесь необходимо сурово обвинить его, как многие и делают. Но суд этот не прав, если принять во внимание психологию Мережковского. Он вовсе не склонен был безгранично восторгаться диктаторами и их политическими программами, а искал совсем другого. Он ощущал себя предтечей грядущего Царства Духа и его главным идеологом. Иными словами, в его представлении они должны были нуждаться в нем, а не он в них. Диктаторы, как Жанна д'Арк, должны были исполнять свою миссию, а Мережковский — давать директивы. Наивно? Конечно, наивно в плане истории, но в метафизическом плане, где пребывал Мережковский, «наивное» становится мудрым, а «абсурдное» — самым главным и важным; так верил Мережковский.

Муссолини, который на предложение Мережковского выступить немедленно в крестовый поход против большевизма — «предельно дьявольского зла в мире», ответил, что не Италии же, с ее ограниченной военной мощью, начинать борьбу с могучей советской армией, «в плане дурной бесконечности», как заявил потом Мережковский, «был прав, но в плане метафизическом — оказался маловером».

Так рассказывал на одном из «воскресений» у себя в доме Мережковский, вернувшись из второй, неудачной поездки в Италию.

«Я сначала подумал, что Муссолини — воплощение духа земли и провиденциальная личность, а он оказался обычным политиком-материалистом — пошляк!» — воскликнул Мережковский.

Таким же «обыкновенным политиком-пошляком» раньше оказался Пилсудский, а потом Гитлер. Все они думали об «истории», т. е. о «дурной бесконечности» и не умели видеть «конца истории». А Мережковский, который только и жил метафизикой, никак не мог понять, что другим людям она совершенно чужда, и в каждом новом очередном вожде подозревал такого же, как и он, метафизика.

Вот почему и в прошлом Мережковский так же увлекался Наполеоном, видя в нем «атланта с двумя душами — ночной и дневной», Промыслом соединенного с судьбами России.

В книге о Наполеоне Мережковский, быть может, хотел самому себе уяснить, каким должен быть «мировой вождь», и ради этого опыта готов был поступиться многим.

Мережковский соглашался терпеть «наполовину христианскую» идею Наполеона, не требуя от него, чтобы эта идея сделалась вполне христианской.

Последними историческими романами Мережковского являются «Тутанхамон на Крите» и «Мессия».

Открытие гробницы Тутанхамона, наделавшее столько шума, вероятно, явилось внешним поводом для обоих романов. Кроме того, образ Ален Хотена IV, или Ахенатона, объявившего культ единого бога Атона в конце 18-й династии Египта, дал Мережковскому возможность изобразить предтечу Христа.

Тутанхамон, вступивший на престол после Ахенатона, ставший на сторону жреческой партии, защищавший прежнюю веру, умер молодым человеком лет восемнадцати, Мережковский же изобразил его почему-то уже пожилым человеком.

«Тутанхамон на Крите» — последняя удача Мережковского в области исторического романа.

Он всегда умел как-то особенно хорошо ощущать средиземноморскую атмосферу, верно схватил в ней характерную черту — устремленность к движению, к полету, в отличие от египетской тяжести и монументальности, картины критской жизни у него прелестны. Зато «Мессия», действие которого происходит в Египте, — полная неудача.

Сам фараон Ахенатон и все другие египтяне (кроме критянки Джо) ему совершенно не удалось, евреи вышли схематичными, и все они, рассуждая в духе героев «Петра и Алексея», похожи скорее на русских бояр и раскольников, чем на исторических египтян и евреев, если верно, что евреи были уже в то время «так давно» в Египте.

«Мессия» был последним историческим романом Мережковского. После него Мережковский открыл новый этап своего творчества книгой «Тайна Трех».

Для того, чтобы определить жанр таких книг, как «Тайна Запада. Атлантида—Европа», «Иисус Неизвестный», «Павел и Августин», «Франциск Ассизский», «Жанна д'Арк», «Данте» и еще не опубликованная «Св. Тереза Малая» (закончив которую Мережковский скоропостижно скончался), — не существует еще точного технического термина.

Лучшей характеристикой каждой книги является ее основная идея: «духовный и моральный кризис как причина гибели древней Атлантиды, урок для нас». «Почему во время пришествия Христа не наступило преобразование мира?», «Люди, которые были предтечами третьего Завета Царства Духа» — и так далее. Книги эти до сих пор еще не получили должной оценки и беспристрастного разбора их — это дело будущего.





А. БЕНУА

Мережковские

На елку домой мы не опоздали, но, если память нам обоим не изменяет, то успели мы в последний момент. Праздник получился особенно радостный благодаря именно нашему приезду. Папа, не имевший вообще обыкновения явно выражать свои чувства, все же был видимо растроган, Катя, быть может, меньше (как-никак наш приезд прибавлял к ее домашним заботам новые), зато все шесть «Лансерят», и особенно оба старших, т. е. Женя и Коля, ставшие за последние годы нашими ближайшими друзьями*, каждый по-своему выражал восторг.

С нашего приезда в дом (на нашей половине, но не замыкаясь от остального) возобновились приемы, иногда довольно многолюдные; старый наш рояль звучал не только под робкими упражнениями моих племянниц, но и под пальцами тогда еще вполне виртуозной Ати**. И уж с первого дня, после раздачи зарубежных подарков, начались наши рассказы о всем виденном и пережитом. Папу особенно трогали мои впечатления от милой его сердцу Италии, в которой он прожил, будучи пенсионером Академии, целых пять лет, принадлежавших к самым счастливым в его жизни; Женю Лансере особенно воспламеняли мои описания средневековых соборов Майнца, Вормса, Страсбурга; но и братья Альбер, Люля-Леонтий и Миша, каждый имел о чем спросить, каждый реагировал на свой лад на мои восторги, раз-

* И Женя и Коля нас называли просто по имени: Шура и Атя, напротив, все четыре девочки, из которых старшей, Соне, было тогда четырнадцать лет, а младшей, еще не ходившей в гимназию, Зине — всего девять, величали нас «дядей» и «тетей» и были с нами на «вы».

** Живо запомнилось, как именно тогда она увлекалась «Сильвией» Делиба, и я наслаждался, слушая ее из другой комнаты.

глядывая кипы приобретенных мной фотографий и мои зарисовки в альбомах.

Такие собрания в папином кабинете бывали почти каждый вечер, раза три в неделю ко мне приходили наши друзья — все те же верные: Нувель, Сомов, Бакст, Философов и Дягилев, и тогда наши собеседования, нередко очень возбужденные, происходили в моем кабинете у передне, и лишь к чаю группа молодежи выходила в столовую. Когда же мы созывали менее интимным знакомых, то под такие «рауты» предоставлялась и гостиная, где происходило угощение чаем, сладостями и фруктами.

Таких «раутов» за период между нашим возвращением и общим переездом на дачу состоялось несколько, и особенно мне запомнились те, на которых присутствовали наши новые знакомые, постепенно затем превратившиеся в друзей: Д. С. Мережковский, его жена Зинаида Гиппиус, двоюродный брат последней, тогда еще студент — Владимир Васильевич Гиппиус, а кроме того Анатолий Половцев с женой и И. Е. Репин, который в те годы очень благоволил ко мне и как будто возлагал на меня особые надежды.

С Д. С. Мережковским я познакомился как раз в доме А. В. Половцева, занимавшего тогда видный пост в «Кабинете его величества» и принимавшего по воскресеньям в своей обширной казенной квартире в нижнем этаже флигеля Аничкова дворца. Анатолий Васильевич был тощий, еще не старый, но уже совершенно облысевший и чуть курносый господин со светлой бородкой, с пенсне на носу. Мережковский находил в нем большое сходство с китайцем. Меня познакомил с ним дядя Миша Кавос еще в 1890 г. на одном из спектаклей мейнингенцев. Но сразу мое знакомство с Половцевым не имело продолжения, и только в 1893 г., когда у нас в семье пошли обсуждения того, «чем мне быть» и когда я выразил желание: «Уж если где-нибудь служить, то только по музейной части», то Зозо Россоловский, также близко знавший Половцева, возымел мысль, что именно он может быть мне полезен, как «важная шишка» в министерстве двора и к тому же как человек к искусству не безразличный. После того, как Зозо по этому поводу имел разговор с Половцевым и тот выразил полную готовность быть мне полезным, я и отправился с тем же Зозо на один из его дневных журфиксов. Половцев пленил меня своей любезностью, но из его «покровительства» в дальнейшем ничего не вышло (да он вряд ли всерьез где-либо обо мне хлопотал), но бывать у него было приятно, так как там можно было встретить немало интересных людей и даже всяких «знаменитостей». Так, на одном из вечерних собраний у Половцева художник Н. Н. Ге

читал о Толстом, на другом князь Сергей Михайлович Волконский сделал доклад о своем американском путешествии, что тогда было чем-то весьма диковинным.

Во время одного из первых моих посещений Половцева я, пришедший раньше других, беседовал с хозяином, как вдруг в кабинет без доклада быстрыми шагами вошел не старый, но какой-то «очень неказистый», скромно, почти бедно одетый, очень «щуплый» человек, поразивший меня тем, что он как-то криво держался и, хотя не хромал, все же как-то «кренил» в одну сторону. Поразило меня и то, что Половцев принял его с особенным вниманием. Фамилии я не расслышал, но из разговора догадался, что передо мной поэт Мережковский, о котором тогда уже начали говорить и роман которого «Юлиан Отступник» только что стал выходить в одном из толстых журналов. Лично я уже слышал о Мережковском еще в 1890 г. — от его тогдашних поклонниц, сестер Лохвицких, и в период моей дружбы с младшей из них, шестнадцатилетней Надей, ставшей впоследствии известной писательницей под всевдонимом Тэффи*. Однако сам я еще ничего из произведений Мережковского не читал и скорее был убежден против этого «русского символиста» и «декадента». Здесь же Мережковский в беседе с Половцевым сразу меня пленил всем своим энтузиазмом и своими многообразными знаниями, выливающимися в пламенной и ярко красочной речи. Ничего подобного я до того не слышал. Беседа вертелась именно вокруг Юлиана, и потоком лившиеся слова Мережковского вызывали картины упадочной Греции, борьбы христианства с язычеством. Меня поразило при этом какой-то оттенок прозелитизма, который звучал в его словах. Он чему-то как будто *учил*, к чему-то *взывал*, что-то тоном негодующего пророка *громил!* Слышать в кабинете чиновника министерства двора (от Половцева я узнал впоследствии, что Мережковский ожидал чего-то похожего на то, что и я от него ожидал) столь будоражившие речи было очень и очень странно. Половцев хоть и вторил им, хоть и пробовал отвечать в таком же тоне, однако, видимо, был несколько смущен, и временами, при всей своей прециозности, чуточку шокирован, особенно когда Мережковский касался религиозных вопросов, о самом Христе отзываясь с совершенной свободой.

* Кстати сказать, Надежда Александровна Лохвицкая-Тэффи даже сочинила в 1890 г. в мою честь небольшое шуточное стихотворение, в котором прославляла некий мой «подвиг», а именно то, что я пешком прошел от Петербурга до самой «Ораниенбаумской Колонии», где семья Лохвицких нанимала дачу рядом с той, в которой жил мой брат Альбер.

Независимо от меня, но почти одновременно, с Мережковским познакомился и Дима Философов, однако каждый из нас скрывал от другого такое интересное знакомство. Обнаружилось же оно, когда я с Димой встретился у самих Мережковских, живших тогда где-то на Пантелеймоновской или на Симеоновской улице *. Притащил я тогда с собой и Валечку Нувеля. Дима же не смог скрыть своего недовольства, увидав нас, пробившихся как бы контрабандой в область, которую он считал, в отличие от нашей «общей художественной», специально *своею* и для других недоступной.

Не могу сказать, чтобы это тогдашнее первое посещение Мережковских оставило во мне приятное впечатление. Это была пора характерного *fin de siècle* **, прециозность и передовитость которого выражалась в культе (на словах) всего порочного с примесью всякой мистики, нередко роднившейся с мистификацией. В частности, Дмитрий Сергеевич как-то особенно любил сопоставлять слова «г'ех» (он не совсем ясно произносил букву «р») и «святость», «порок» и «добро». Особенно же озадачила нас супруга Мережковского «Зиночка Гиппиус», очень высокая, очень тощая, довольно милостивая блондинка с постоянной «улыбкой Джоконды» на устах, но неустанно позировавшая и кривлявшаяся; была она всегда одета во все белое — «как принцесса Греза». Не успели мы с Валечкой с ней познакомиться, как она бухнулась на коврик перед топящимся камином и пригласила нас «возлечь» рядом; первый ее вопрос отдавал безвкусной прециозностью: «А вы, господа студенты, в чем декаденствуете?» Окончательно же я был изумлен, когда в эту же гостиную Мережковских вошел мой почтенный дядя Миша Кавос, а Зинаида Николаевна бросилась ему навстречу: «Миша пришел! Хорошо, что пришел! А у нас новые декаденты! Послушаем, что они замышляют!» Михаил Альбертович со своей стороны немало был удивлен встретить у очага Сивиллы, с которой, господь ведает почему, он был на *ты*, своего родного племянника, да еще в компании с тем молодчиком, который имел свойство особенно раздражать его своим апломбом, своей претензией на всезнайство и скороспелостью своих мнений.

Кроме нас, хозяев, дяди Миши, его близкого друга С. А. Андриевского собралось в тот вечер у Мережковских немало наро-

* Через год они переехали в дом князя Мурузи, удивлявший Петербург своей «арабской» архитектурой. Здесь они прожили много лет, впоследствии же переехали на Сергиевскую, близ Таврического сада.

** Конец века (*франц.*).

да — исключительно мужчин. Среди них меня особенно заинтересовал молодой поэт Владимир Гиппиус и мрачнейшего вида человек, не покидавший за весь вечер своего стула в углу у окна и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом до тех пор, пока, обидевшись на что-то, он не разразился какой-то отповедью в несколько истерических тонах. То был поэт Федор Сологуб, о котором я до того не имел никакого понятия, но стихи которого мне необычайно понравились и даже взволновали, когда он тут же прочел ряд их — без того, чтобы о том особенно просили, — точно воспользовавшись случаем высказаться. Прочел он их глухим, «загробным» голосом, отрывисто выбрасывая слова. Стихи были мрачнейшие, но необычайно красивые и убедительные. Уже когда все сидели за чаем с беспритязательной закуской, явился из театра господин очень гордого вида, горбоносый, совершенно бритый (что тогда было скорее редкостью), в застегнутой на все пуговицы жакетке. Он сразу стал с безапелляционной авторитетностью излагать свои мысли, и этим самым (а также своим каким-то чужеземным акцентом) мне очень не понравился. То был «философ» Флексер, впоследствии главным образом прославившийся под псевдонимом «Волынский» в качестве балетного критика и идеолога. Но в те дни о балете в серьезном обществе не полагалось говорить, а общая беседа велась вокруг философа Ницше и его рокового безумия. Идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде того, как впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда). Их разбирали на все лады, и из-за них споры часто приобретали ожесточенный характер: особенно если часть споривших исповедовала своего рода «ницшеанскую религию» и могла (подобно супругам Мережковским) с полным правом считаться правоверными ницшеанцами.

Флексер-Волынский был принят у Мережковских с оттенком особой интимности. Он даже, кажется, жил тогда у них, и они втроем около того же времени совершили путешествие по Италии, что и вдохновило зоила Буренина на один из его фельетонов определенно пасквильного характера. В нем он не постеснялся намекнуть на сплетню, ходившую тогда по городу. Было ли в самом деле что-нибудь предосудительное, я не знаю, но Зиночка тогда позировала на женщину роковую и на какое-то «воплощение греха» и была не прочь, чтоб ореол сугубой греховности горел вокруг ее чела. Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то, что в другом супружестве могло создать весьма натянутые отношения, но точно поощрял в жене те ее «странности», которые могли оправдать прозвище «белой дьяволицы», данное ей чуть

ли не им же самим. Ходил даже анекдот, будто, войдя как-то без предупреждения в комнату жены и застав ее в особо оживленной беседе с Волынским, он отпрянул и воскликнул: «Зина! Хоть бы ты запирала дверь!»

Вскоре у нас у всех (включая Левушку Бакста, который позже нарисовал с Зинаиды Николаевны очень схожий портрет) установились самые дружественные отношения с Мережковскими. Это дошло даже до того, что, когда весной мы, молодые Бенуа, стали себе искать дачу, то наш выбор пал на большущий каменный дом с башней, стоявший у самой дороги из Ораниенбаума в Ижору, — и это только потому, что Мережковские уже успели себе снять неподалеку дачу в «Колонии». Однако из этого ничего не вышло. Сестра Катя не пожелала селиться так далеко от Ораниенбаума, от лавок, от железной дороги, да кроме того ей едва ли могло нравиться столь близкое соседство с Мережковскими, что наверное привело бы к особенно частым приемам и соответствующим расходам. <...>

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО. КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ

Д. Философову целиком принадлежит честь создания в «Мире искусства» отдела, посвященного вопросам философического и религиозно-философского порядка; он же всячески стремился этот отдел расширить, что происходило не без сопротивления со стороны прочих членов редакции, включая сюда и Дягилева. С другой стороны, было бы ошибкой считать, что этот отдел возник исключительно по личному желанию Философова, и еще большей ошибкой, что тут действовало какое-либо угождение известному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным запросам многих из нас, в том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы все были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятившими себя подобным же поискам. Отсюда получилось привлечение в сотрудничество по журналу четы Мережковских, Минского, Перцова, Шестова, Тернавцева и в особенности Розанова; отсюда же и образование «Религиозно-философского общества», которого названные лица (и я в их числе) были членами-основателями и собрания которого стали сразу привлекать к себе не только самых разнородных лиц из «мирян», но и многих духовных. То была пора, когда в православном духовенстве стало намечаться стремление к известному обновлению и к освобожде-

нию от гнетущего верноподданничества и от притупляющей формалистики. Именно с целью войти в контакт с духовными пастырями и в надежде, что это сближение поможет нам во многом (и в самом главном) разобраться, были предприняты шаги, среди которых одним из самых важных, казалось нам, было личное знакомство с петербургским митрополитом Антонием.

Испросив через Тернавцева (состоявшего на службе в святейшем Синоде) аудиенцию, мы в один прекрасный вечер и отправились небольшой группой в Лавру, где наша разношерстная и для тех мест весьма необычная компания была принята с видимым любопытством. Участвовали в этой поездке супруги Мережковские, Тернавцев, Минский. Розанов, Философов, Бакст и я. Д. С. Мережковский и Минский изложили его высокопреосвященству наши вожеления и надежды, и главную среди них надежду на то, что духовные пастыри не откажутся принять участие в наших беседах. Запомнилось, как, между прочим, до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под благословение — и как это производить, лобзать или не лобзать руку иерея, а после аудиенции более всего разговору было о поразившем нас белом клобуке с бриллиантовым крестом и о красоте и величественно-ласковой осанке митрополита Антония. В общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит обещал свою поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом настроении, в котором полагается быть после одержанной победы или после выдержанного экзамена. Отмечу еще, что в нашей группе двое были евреи (Минский и Бакст), один «определенно жидовствующий» — В. В. Розанов, один католик — я. Впрочем, ни я, ни Бакст в течение всей беседы не открывали рта или, вернее, открывали его только для того, чтобы отпивать превосходного чаю из тяжелых граненых стаканов и закусывать разными сдобными кренделями, сайками и плюшками. Зато, пока другие были заняты разговором, мы с особым любопытством разглядывали все вокруг нас. Митрополит был один, без каких-либо сопровождающих.

Происходило это наше «сретение» зимой, при свете довольно тусклых, по углам горевших ламп. Его высокопреосвященство принимал нас в просторной гостиной митрополичьих покоев, куда нас провел молодой монах по довольно внушительной парадной лестнице, через большой зал в два света, сохранивший декорозу XVIII в., и через ряд ужасно неудобных и типично «казенных» хором. Митрополит занял место в углу тяжелого дивана красного дерева. Мы расположились по массивным, неповоротливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый цвет-

ной скатертью. По натертым до зеркального блеска полам лежали узкие половички-дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями, что усиливало впечатление старинности и провинциальности. Не помню, были ли по стенам картины, но возможно, что где-то висел портрет государя, а также развешаны изображения предшественников митрополита Антония.

Первые собрания нового общества, возникшего при благосклонном «попустительстве» властей (после полученного в установленном порядке утверждения) происходили в помещении имп. Географического общества, находившегося тогда в доме министерства народного просвещения на Театральной улице — насупротив Театрального училища. Под наши собеседования была отведена довольно большая и узкая комната, во всю длину занятая столом, покрытым зеленым сукном. По стенам висели карты, а в углу на мольберте чернела большая квадратная доска — вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за этим «залом заседаний» служила буфетом, где можно было получить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен мнений в менее официальном тоне. Впрочем, и самые доклады не всегда носили строго-формальный характер. Неизменно «смирненную строгость при любовном внимании» выражали два епископа, ставшие членами «Религиозно-философского общества»; зато среди других участников и особенно среди случайных гостей попадались и весьма придирчивые, иногда и вовсе бестактные «забияки». Тут можно вспомнить еще раз и о выступлении Висеньки, мишенью коего были обыкновенно попы.

Сначала (пожалуй, весь первый год) эти собрания на Театральной улице, возбуждавшие сразу общественный интерес, были очень «содержательны», и за этот период они получили для многих участников большое значение. Однако с течением времени они стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на который обречены всякие человеческие общения, хотя бы основанные с самыми благими намерениями. Мне лично становилось все более и более ясным, что тут, как и во всем на свете, дело складывается не без участия Князя Мира сего — иначе говоря, не без вмешательства какой-то силы мрака, всегда норовящей ввести души людские в соблазн и отвлечь их от всего подлинно возвышающего. Каково же было мое изумление, когда я удостоверился в «реальном» присутствии бесовского начала!

Дело в том, что из-за помянутой черной классной доски в углу зала выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Меня это заинтересовало, но доска находилась на другом конце зала и по-

чему-то я не сразу отправился взглянуть, что это такое. Все же я, наконец, через несколько недель пробрался и заглянул за доску, и тут меня обуял настоящий ужас! Передо мной стояло гигантского роста чудовище, похожее на тех чертей, которые меня преследовали в моих детских кошмарах и какие были изображены на лубочных картинках, представлявших «Страшный Суд». У этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все тело было покрыто густой черной шерстью. Из оскаленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали длинные рога. Страшнее же всего были выпученные глазищи идола, с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол, вероятно, когда-то привезенный из глубокой Монголии или Тибета какой-либо научной экспедицией Географического общества. Может показаться странным, что я придал такое значение своему «открытию», но в тот момент я действительно испугался, исполнился ужаса, не лишённого мистического оттенка. Чудовищное безобразие этого дьявола было передано прямо-таки с гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то притаившегося наблюдателя — показалось мне до жути *уместным*. Оно наглядно символизировало то самое, что мне начинало мерещиться, выслушивая длинные, безнадежно топчущиеся на месте прения и присутствуя при схватках, в которых было меньше и меньше искания истины и все больше и больше самого суетного софистского тщеславия. Удивительно, что на моих друзей этот дьявол не произвел того же впечатления, и только Д. С. Мережковский, тоже начинавший тогда переживать известное разочарование в том, что, согласно его замыслам, должно было открыть путь к перерождению русской религиозной жизни, — только он, когда я его свел за доску, на минуты выразил крайнее изумление, а затем, привычным жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не радостно воскликнул: — «Ну, разумеется! Это — он! Надо было ожидать, нечего и удивляться...»

* * *

Постепенно увлечение нашей основной группой религиозно-философскими собраниями стало ослабевать и интерес к тому, что говорилось (именно говорилось) в собраниях, — падать. Но интерес к самим обсуждавшимся вопросам едва ли не становился при этом еще более жгучим. Было сделано и несколько попы-

ток каким-то «более домашним», более интимным образом войти в религиозное общение как между нами самими, так и с церковными людьми. Из последних на меня особенно сильное впечатление произвел архимандрит Антонин из Александро-Невской Лавры, которого как-то вечером привел к Мережковским Тернавцев. Впечатление это было как внешнего, так и внутреннего порядка. Поражал громадный рост, поражало прямо-таки демоническое лицо, пронизывающие глаза и черная, как смоль, не очень густая борода. Но не менее меня поразило и то, что стал изрекать этот иерей с непонятной откровенностью и прямо-таки цинизмом.

Память не сохранила подробностей, но главной темой его беседы было общение полов и греховность этого общения, и вот Антонин не только не вдался в какое-либо превозношение аскетизма, а напротив, вовсе не отрицал неизбежности такого общения и всяких форм его. Это вовсе не преподносилось с оттенком какого-либо тривиального юмора, строгий тон и оттенок чего-то даже научного не покидали этого нашего неожиданного осведомителя. Естественно, вся личность Антонина в высшей степени заинтересовала тогда наш кружок, однако мне кажется, что его посещение так и осталось единственным.

Из попыток найти собственные, не зависящие от церкви, пути к духовному обновлению мне особенно запомнилась одна. Это происходило опять-таки у Мережковских. Дмитрий Сергеевич предложил вместе читать Евангелие и, получив общее согласие, тут же, не откладывая, стал нам читать случайно открывшееся место. Однако, хоть читал он с проникновенным чувством и даже не без умиления, хоть читаемое производило впечатление неоспоримой подлинности, за которой мы и обратились к Священной книге, подходящего настроения не получилось, и потому показалось совершенно уместным и своевременным, когда «Зиночка» самым обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту обывательщину, воскликнула: «лучше пойдемте пить чай». Замечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл из настроения («навинченного»? надуманного?); лишь Философов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать, что на этом пути мы бы наконец все же обрели нечто истинное. Философов был вообще тогда убежден, что и под историческим христианством лежит *насильственное* воздействие над собой, известное самовнушение группы лиц, что все дело в создании известной *традиционности*, хотя бы «источник традиции» и не обладал полнотой подлинности и убедительности. Вокруг как раз этого его убеждения у нас велись самые горячие споры.

Припомню и еще один аналогичный случай. То было тоже нечто вроде «форсирования благодати», но эта попытка имела уже определенно кощунственный уклон и грозила привести к какому-либо «безобразию», если не к постыдному юродству и к кликушеству. Собрались мы тогда у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отельной комнате. Снова в тот вечер Философов стал настаивать на необходимости произведения «реальных опытов» и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечере, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот «подвиг унижения и услужения» Христа, и тут же предложили приступить к подобному же омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно «залопотал»: «Да, непременно, непременно это *надо* сделать и надо сделать сейчас же». Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, «очень соблазнительная Ева», должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее «белые ножки» ему захотелось увидеть, а может быть и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то «свального греха», во всяком случае, промелькнул над нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов (может быть, и Нувель, если только он тогда был среди нас). Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше.

В заключение приведу еще один случай, аналогичный с моим «открытием Дьявола» в помещении Географического общества. Этот случай характерен для наших тогдашних настроений, но, может быть, и кроме того здесь можно увидеть не простую игру случая, а нечто, над чем следовало бы призадуматься. Сидели мы в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем горизонте) — на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь до *самой важной* — а именно до веры и до «движущей горами» силы ее. Очень вдохновенно говорил сам Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддакивал. Вообще же настроение у всех было «благое», спокойное и ни

в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди темной ночи: «да будет свет», то свет и явился бы. Однако, *в самый этот миг*, и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: «с нами крестная сила, с нами крестная сила!», причем при отблеске очага я видел, как Василий Васильевич быстро-быстро крестится. Когда же свет снова сам собой зажегся, то Дмитрий Сергеевич произнес только: «Это знамение», Розанов заторопился уходить, а Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все повернуть в шутку и даже высмеяла нас за испуг.





В. А. ЗЛОБИН

Д. С. Мережковский и его борьба с большевизмом

I

В предвоенной, большевизантствующей Европе Д. С. Мережковский своим антибольшевизмом, да еще на христианской основе, был не ко двору.

Не ко двору был он и при Гитлере — не как антикоммунист и даже не из-за своего христианства, с которым «Propaganda Staffel» * на худой конец еще могла бы, морща нос, примириться. Но совершенно для нее неприемлемо было отношение Мережковского к России, его неколебимая вера в ее национальное возрождение.

О неколебимости этой веры немцы знали (кому знать полагалось) по еще довоенным статьям Мережковского (следили за русской зарубежной прессой пристально) и по его публичным выступлениям. Но и во время войны Мережковский своих взглядов не скрывал. Что немцы могут найти в них что-либо предосудительное, ему и в голову не приходило.

Его книги были запрещены во всех немцами занятых странах, не говоря уже о самой Германии, где его знаменитый «Леонардо» продавался из-под полы. Исключение было сделано для одной Франции, но чисто теоретическое. Произведения Мережковского французские издатели покупали, но не печатали — из-за «недостатка бумаги».

Одну книгу, впрочем, — «Europe face à l'URSS» ** — издательство «Mercur de France» каким-то чудом выпустило умудрилось — в самом конце оккупации.

* «Ведомство пропаганды».

** «Европа смотрит на СССР».

Это было новое, переработанное и дополненное издание давно распроданной антикоммунистической книги «Le Règne de l'Antichrist» *. В него вошли нашумевшие в свое время «Открытые письма» Мережковского к «сильным мира сего», в том числе письма к папе Пию XI, и ряд статей, разоблачающих подпольную работу большевиков в Европе.

Ныне это издание — библиографическая редкость. Не оттого, однако, что оно распродано, а исключительно благодаря усердию французских коммунистов, целиком его уничтоживших вскоре после освобождения Парижа от немцев.

Расправа — не менее решительная — ждала и автора. К нему на его парижскую квартиру, 11-бис Авеню дю Колонель Бонне, явилось несколько вооруженных пулеметами мрачного вида личностей, перепугавших насмерть консьержку. Но Мережковского в живых уже не было, и «мстители» ретировались несолоно хлебавши.

Вообще, коммунистической «Немезиде» с Мережковскими не везло. Ускользнула от ее карающей десницы и З. Н. Гиппиус, расправа с которой должна была произойти 15 октября 1945 г., т. е. через шесть недель после ее смерти.

II

На этом коммунисты, однако, не успокоились. Началась по-смертная травля Мережковского. Но травили его, главным образом, не как антикоммуниста. Зазорного в этом, даже по тем временам, не было ничего. Скорее — наоборот. После того, как большевики начали хозяйничать в своих «зонах» и распространять свое влияние на Балканах, особенно же после захвата ими Чехословакии, союзники поняли, что метод и режим советский от национал-социалистического мало чем отличается и что, если уж выбирать, преимущество не на стороне большевиков. Сказал же Бевин с трибуны парламента в бытность свою министром иностранных дел в кабинете Этли: «Единственная разница между Гитлером и Сталиным — это, что Гитлер уже мертв».

Таким образом, травля Мережковского за его непримиримость к советской власти могла бы, при всеобщем раздражении против надоевших до смерти большевиков, дать результат обратный, например третье издание «Europe face à l'URSS». С этим надо было считаться и действовать осторожно. А с другой стороны, как

* «Царство Антихриста».

Мережковского обезвредить? Чем? Обвинить его в сотрудничестве с немцами? В антисемитизме? Но ведь этому, кроме дураков и невежд, не поверил бы никто.

Однако выбора у коммунистов не было. Да и время шло. И вот в «Честном слоне» начала появляться то одна заметка, то другая. (Этот «Слон» — юмористический большевистский листок, издававшийся в освобожденном от немцев Париже, был вскоре самими же большевиками прекращен за свое, даже на их вкус, чрезмерное подхалимство.)

В одной из этих заметок говорилось, что Мережковский «сманивал молодежь на службу в гестапо». Другая гласила: «За смертью писателя Мережковского французское военное министерство прекратило начатое против него дело по обвинению в шпионаже».

Шпионаж подразумевался, конечно, в пользу Германии. Что можно было на это ответить? Ну и прекрасно, что прекратило. А было бы еще лучше, если бы это дурацкое дело не затевали бы вовсе. Что же до сманивания в гестапо молодежи, то этому не верили сами коммунисты. Несколько позже в нью-йоркском «Новом русском слове» были напечатаны о Мережковском воспоминания ныне покойной Н. А. Тэффи. Что в них правда, что — вымысел, решит беспристрастный суд истории. Сама Тэффи многое из сказанного ею о Мережковском в следующей своей статье — о З. Н. Гиппиус — смягчает (речь все о том же «германофильстве» и «антисемитизме»). Но главное не в этом, главное — в общем впечатлении от статьи. Она вызывает — не может не вызывать — у тех, по крайней мере, кто Мережковского знал и читал, прежде всего — недоумение. Ведь если Мережковский действительно был таким, каким его изображает Тэффи, то совершенно непонятно, как мог такой, скажем, «кретин» написать ну хотя бы «Юлиана», не говоря уже о других, более значительных произведениях. Представить себе это так же трудно, как представить себе, например, что автор «Божественной комедии» — Смердяков.

III

На первой же своей парижской публичной лекции против большевиков, 16 декабря 1920 г., Мережковский, обращаясь к Европе, сказал: «Народам иногда прощается глупость, а иногда и подлость. Но глупость и подлость вместе — никогда. То, что вы

с нами делаете, подло и глупо вместе. Это вам никогда не простится».

Подло и глупо было невмешательство Европы в так называемые «внутренние русские дела». И вот добрая ее треть — ныне под властью большевиков. Не простилось соединение глупости с подлостью и Гитлеру, поставившему знак равенства между большевиками и русским народом. Вот с этим губительным соединением глупости и подлости, чем бы и когда бы оно антибольшевистскому делу ни грозило, Мережковский борется всею силою своего таланта и отдает этой борьбе последние двадцать лет жизни.

Его парижской лекции предшествует ряд выступлений в Польше на разнообразные темы. Но какова бы ни была тема, цель неизменно одна — свержение советской власти.

В 21-м году, во время начинающегося в России голода, он получает оттуда подписанное кровью письмо от группы русских женщин, несчастных матерей, умоляющих вывезти их детей из России, вырвать их из рук советских палачей — не только их накормить, но и спасти их души. Сколько бы Европа ни посылала хлеба в Россию, он до голодающего населения не дойдет.

Мережковский, который думает не иначе, публикует это «страшное письмо» — действительно страшное, — как он его называет в иностранной прессе. Фритьоф Нансен, ходатай по делам большевиков, усиленно в то время хлопочущий о предоставлении им европейских кредитов, прочтя то письмо, которое он, кстати, страшным не находит, отвечает, что готов, во имя человеколюбия, содействовать помощи голодающим, но вне всякой политики. Мережковский за этот его «аполитизм» на него обрушивается.

Чтобы понять атмосферу того времени, надо вспомнить, что большевики тогда признаны Европой еще не были, всячески этого признания добивались, и что запятнавший себя сношением с ними из среды русской эмиграции изгонялся. Вот отчего, когда комиссаром по беженским делам был Лигою Наций назначен Нансен, это назначение было встречено русскими эмигрантами приблизительно так же, как было бы встречено бежавшими из гитлеровской Германии евреями назначение над ними комиссаром видного наци.

«Мы Вас, г. Нансен, не выбирали, — пишет ему в открытом письме Мережковский. — Если б нас спросили, то вряд ли наш выбор пал бы на ходатая того “правительства”, из-под власти которого мы бежали. Но мы бесправны и обязаны терпеть, кого бы ни назначили. Если б вместо Вас назначили Кашена, мы стерпели бы и его».

Сам по себе аполитичный, чисто гуманитарный акт помощи голодающим при наличии в России большевистского правительства терял весь свой аполитизм и всю свою гуманитарность, становился этапом на пути признания Европой большевиков *de jure*. Это и сами большевики, и противники их понимали отлично. Оттого-то и спор между ними из-за отправки в Россию продовольствия был так горяч, и вопли большевиков о помощи становились все громче и наглее.

На пощечину Мережковского Нансен не отвечает. Ему на подмогу большевики выпускают Горького, который обращается к миру с воззванием о спасении «миллионов русских жизней». Известный немецкий писатель Герхарт Гауптман попадает на удочку и отвечает Горькому, что его призыв будет услышан не только немецким, но всеми народами.

Мережковский пишет открытое письмо Гауптману. С величайшим терпением объясняет почтенному писателю, что такое большевизм, чем он угрожает миру, кто такой Горький, что он сделал с русской интеллигенцией, а главное, что за Горьким — Ленин и что помощь, о которой Горький взывает, — помощь не России, а трещащей по всем швам советской власти. Русской компартии и ГПУ.

Единственный результат — меры, принятые Комитетом помощи голодающим по доставке продовольственных посылок адресатам непосредственно, с собственноручной обратной распиской, без вмешательства большевистского распределительного аппарата. На ход мировой истории это, однако, не влияет ни в малейшей степени. Но зато чревато последствиями совершившееся, увы, признание Европой большевиков...

IV

Что оно неизбежно — почти не было сомнений уже после поездки в Россию Герберта Уэллса и его книги «Россия во мгле». В этой книге знаменитый английский писатель утверждает, что, хотя большевики и ужасны, и коммунизм — глупость, никакое другое правительство в настоящее время в России невозможно, и советует эмигрантам поскорее с большевиками примириться.

Слишком явно, что тут Уэллс говорит то, чего от него ждет подготовляющий признание большевиков Ллойд Джордж («Торговать можно и с каннибалами» — его знаменитая фраза). Но что Уэллс, это «первый соучастник каннибаловых пиров», как его называет Мережковский, на стороне Советов — неверно. Он во-

обще ни на чьей стороне — нигде. Безответствен и беспринципен, и в этом — достойная пара Горькому.

«В том, что произошло и происходит сейчас в России, — говорит в своей книге Уэллс, — большевики так же виноваты, как австралийское правительство». Эта фраза, достойная не то что Горького, а такого большевизантствующего сноба, как Бернард Шоу (не тем будь помянут), Ллойд Джорджу тоже как нельзя более на руку.

Отвечая на совет Уэллса «примириться с большевиками», Мережковский рассказывает, как в Москве несколько человек детей, в возрасте от 10 до 14 лет, убили и съели своего товарища. Зачинщик, десятилетний мальчик, не проявил на суде ни малейшего раскаяния, а лишь сказал, что человеческое мясо на вкус «сначала — ничего, а потом пахнет».

«Не кажется ли Вам, — спрашивает Уэллса в открытом письме Мережковский, — что примиренье с большевиками, которое Вы нам так горячо рекомендуете, тоже «сначала — ничего, а потом пахнет»?

Но, подобно Бодлеру, тщетно пытавшемуся доказывать своей собаке, давая ей нюхать флакон с духами, что хороший запах приятнее дурного, Мережковский был бессилен удержать Европу в ее влечении к большевизму. Ей нравится «аромат Сталина».

Между тем «каннибалы», еще не будучи признаны, но в признании уверенные, начинают наглеть. В тот же день, когда «Известия» печатают излияния Эррио по поводу советских «достижений», где он между прочим заявляет: «Президент Пуанкаре просил меня передать советскому правительству свою признательность», в этот же самый день Луначарский, на съезде работников печати, произносит речь, в которой говорит: Франция поняла, что с этим бандитом Пуанкаре она далеко не уедет. Она послала нам другую важную птицу, Эррио, который, посовав свой нос туда-сюда, уже телеграфировал, что наша власть крепка. Пусть, однако, эти буржуи поторапливаются: прежде, чем начать отхватывать куски пожирнее, они могут взлететь на воздух от революционного взрыва.

V

Но и после признания большевиков Мережковский борьбу с ними не прекращает. Он разоблачает их подпольную работу в Европе, не устает повторять истины, «ставшие, — как он говорит, — банальными прежде, чем они стали понятными».

Одна из таких истин — невозможность большевиков порвать свою связь с коминтерном (или с коминформом, что одно и то же), отказаться от всемирной революции и пропаганды, какие бы они ни давали на этот счет обещания. Верить этим обещаниям — величайшая глупость, тем более, что своих планов большевики не скрывают, даже если и распускают для видимости эти почтенные учреждения.

«Некоторые факты современности, — говорит Мережковский в статье о подпольной работе большевиков во Франции, — до того невероятны, до того абсурдны, что невольно начинаешь подозревать у их авторов состояние безумия».

И он приводит один из таких фактов:

«В один прекрасный день, по не вполне для самого себя понятным причинам, правительство мирной и процветающей страны открывает свои двери группе иностранных террористов. Те не скрывают, что их главная, даже единственная цель — подготовка террора и что намеченная жертва именно эта страна. Тем не менее, правительство этой страны, не довольствуясь обычным приемом, окружает заговорщиков почестями и вниманием, дарит им дворец в центре города и, чтобы облегчить им работу по подготовке переворота, ставит их под защиту дипломатической неприкосновенности».

«Что сказали бы мы, — спрашивает в заключение Мережковский, — если б услышали историю вроде этой несколько лет тому назад? Думаю, что мы даже не нашли бы ее забавной ввиду ее полной неправдоподобности и совершенного абсурда».

«Впрочем, правительства европейских стран, — замечает он в другой статье на ту же тему, — не то чтобы не отдавали себе отчета в происходящей на их глазах и с их попустительства подрывной работе большевиков, но они пребывают перед этой злоеющей картиной, точно зачарованные, в состоянии полной прострации, и единственная их забота — это скрыть от страны грозящую ей опасность».

В 1922 году, во время конференции в Рапалло, распространяется слух о переговорах Святого Престола с представителями советского правительства о заключении конкордата. Газеты печатают отчеты о рауте и фотографиях, на которых папские кардиналы сняты пьющими с советским комиссаром по иностранным делам Чичериним за здоровье Ленина. Мережковский обращается к Пию XI с письмом, в котором не может скрыть своего возмущения.

На святой земле Италии, — пишет он в этом письме, — служители Западной Церкви, рукой, касавшейся Св. Даров, пожи-

мают окровавленную руку величайших в мире убийц и святотатцев. Ведают ли, что они творят?» Мережковский предупреждает папу, что, если «дело тьмы» совершится, конкордат между Святым Престолом и интернациональной бандой, именующей себя «русским советским правительством», будет подписан, соединение церквей, о котором мечтали лучшие русские умы, станет навсегда невозможным. В конце он выражает надежду, что Бог этого ужаса не простит — наместник Христа, благословляющий царство Антихриста.

В ответ на это аббат Шарль Кене, секретарь архиепископа парижского монсеньора Шапталя, издает против Мережковского совершенно непристойную по грубости брошюру. Если не знать, кто ее автор, то можно подумать, что это — член какой-нибудь погромной организации, вроде «Союза русского народа», а никак не лицо, принадлежащее к просвещенному кругу католического духовенства. Но Рим с этим не считается и возводит аббата Кене в кардинальский сан.

Конкордат, однако, не подписан. Но Мережковский себя не обманывает. Он понимает, что его вмешательство тут ни при чем.

IV

«Мировая совесть! Мы с Вами кое-что о ней знаем», — восклицает Мережковский в открытом письме Эмилю Бюре, редактору парижской газеты «L'Ordre», в ответ на его просьбу высказаться по поводу обращенного к «мировой совести» воззвания группы русских писателей в России.

И он подводит итог своей антибольшевистской деятельности. Он рассказывает, как в 20-м году, вырвавшись живым из могилы, он с наивностью думал, что «мировая совесть» молчит только оттого, что правда о России не известна и что стоит эту правду открыть, как мир, содрогнувшись и возмущившись, кинется тушить пожар — не русский, а свой, спасти — не Россию, а себя от общей гибели.

«И я призывал, вопил, умолял, заклинал, — признается он. — Мне даже стыдно сейчас вспомнить, в какие только двери я не стучался. Меня отовсюду выпроваживали с позором, даже не как назойливого нищего, а как последнего дурака, который не может утешиться о пропаже своих “серебряных ложек”, украденных во время пожара...»

«И вот, в лоне вашей европейской свободы, перед зрелищем ужасающего равнодушия, с каким вы относитесь к собственной

гибели, я задышался, как задыхаются заключенные в “пробковых камерах” Чека. Вы, наверно, ужаснетесь моей неблагодарности, но я иногда спрашиваю себя, какая из двух “пробковых камер” хуже — наша или ваша?»

В начале 30-х годов всеми признанные большевики становятся «баловнями Европы», Мережковский продолжает с ними борьбу, но его голос сквозь стены «пробковой камеры» до мира не долетает. Иностранная пресса больше Мережковского не печатает или требует от него статей не политических. А издания русские, где он продолжает писать и где появляются его статьи против большевиков, самые значительные иностранцам недоступны. Ни одна из этих статей ни на один европейский язык не переведена.

Что он здесь, в Европе, кончит свои дни в «пробковой камере», от которой его не избавит даже смерть, — этого себе представить Мережковский, при всей живости своего воображения, не мог. Но катастрофу, вторую мировую войну, он предчувствовал, когда еще как будто ничто ее не предвещало. Ему даже казалось, что эта катастрофа будет гибелью Человечества — новой «Атлантидой». В 23-м году, отвечая на анкету швейцарского ежемесячника «La Revue de Genève» о «будущем Европы», он в его январской книжке печатает краткую, но очень яркую статью. Если опустить обычные в таких случаях оговорки, надежды и комплименты, то будущее Европы выражается для Мережковского одним словом: антропофагия.

Но сейчас об этом страшном пророчестве лучше не вспоминать. Как сказала еще в начале первой мировой войны З. Гиппиус:

В часы неоправданного страданья
И нерешенной битвы
Нужно целомудрие молчанья
И, быть может, тихие молитвы.





Б. ЗАЙЦЕВ

Памяти Мережковского. 100 лет

Время идет, время — проходит. Сто лет было бы теперь Дмитрию Сергеевичу.

Когда юношей встретился я с ним впервые — через книгу, — был он вовсе не стар, но писатель уже известный. Книги эти: «Вечные спутники», «Толстой и Достоевский». Первая — литературные очерки, все о «настоящих», действительно спутники вечные. Сервантес, Марк Аврелий, Гете, Ибсен, Флобер мой драгоценный, великий Достоевский и еще другие, все это — его раннее писание. Написано блестяще, сухо, сдержанно и очень по-другому, чем писали тогдашние писатели в толстых журналах. (Провинции никогда не было в Мережковском. Один из первых проветрил он восьмидесято-девяностые годы, символисты доделали, маловато осталось от Скабичевских, да и Михайловский стал историей.) Проветривание связано было с тем, что Мережковский внутренне воспитывался уже и на Европе — в образе ее истинной культуры, — а доморощенности в нем никакой не было.

Думаю, что книгой, резко повернувшей понимание двух наших великанов, был огромный труд «Толстой и Достоевский». Вот за него останусь навсегда и особо благодарен покойному, столь одинокому, хотя и знаменитому Дмитрию Сергеевичу.

Я был студентом, начинающим писателем московским с Остоженки и Арбата, когда довелось прочесть эту книгу. Оказалась она для меня неким событием — ее чтение было частью моей жизни. (И как Бога благодарю, что имел возможность часами уходить в то, что привлекало ум и душу!)

Не перечитывал с тех пор этого «Толстого и Достоевского», да несколько и боюсь перечитывать: так много времени ушло, так изменился сам, так изменилась жизнь, что и не хочется, чтобы изменилось впечатление. Но вот оно осталось. Многих, не меня одного, эта книга сдвинула. Не то чтобы фигуры действующих

лиц выросли — они и так были огромны, без Мережковского. Но он передвинул их по-новому, осветил, оценил, получилось ярче и еще убедительней.

Некая схема в писании его и тогда чувствовалась: «Тайновидец плоти», «Тайновидец духа» — Мережковский любил такие вещи. «Бездна вверху, бездна внизу» — все же противопоставление что-то давало, даже и очень яркое. Обе фигуры получили особый оттенок (но и ярлык, конечно).

Сколько помню, Достоевского выдвигал он с большим созвучием и сочувствием внутренним, чем Толстого. Оно и понятно. Как бы ни относиться к духовности Мережковского, начала природного, земляного и плотского в нем уже очень мало, пожалуй, совсем не было. Оба они — и он, и Зинаида Гиппиус — так и прошли через всю жизнь особыми существами, полутенями, полупризраками (в литературе. В жизни бывали, он особенно, иногда очень «жизненными»).

* * *

Личная встреча произошла позже, но тоже в начале века.

Мы ездили иногда с женой из Москвы, где жили, в Петербург, по литературным делам. Друг наш Георгий Чулков, основатель «мистического анархизма», вводил нас в петербургский литературный круг самоновейший, сильно выдвигавшийся на смену прежней интеллигенции. Чулков редактировал «Вопросы жизни», где Булгаков и Бердяев особенно выделялись (журнал явился на смену «Нового пути» Мережковского, но Мережковский и тут сотрудничал).

Чулков жил в огромной квартире журнала, там же и Ремизов с женой — считался он «секретарем редакции». (Воображаю, что за секретарь был Алексей Михайлович!) С этим секретарем, а вернее, с крошечной дочерью его Наташей и связано первое зрительное впечатление от Мережковского и знакомство с ним.

Вхожу в комнату Ремизовых — комната большая, большое кресло, в нем маленький худенький человек, темноволосый, с большими умными глазами, глубоко засел. А на коленях у него ребенок, девочка, едва не грудная, он довольно ласково покачивает ее на своей тощей интеллигентской ножке, чуть ли не мурлыкает над ней. Картина! Мережковский и колыбельная песенка. Верно, раз за всю жизнь с ним такое произошло. (Только недоставало, чтобы он пеленки Наташе менял.)

Тут же и Алексей Михайлович, худощавый, в очках, и могучая Серафима Павловна. Шестьдесят лет прошло, а как вчераш-

нее помнится. И до сих пор непонятно, какая связь могла существовать между крохотным беззащитным младенцем, полустихией еще, и бесплотно-поднебесно-многодумным Мережковским. Но вот случай выпал. Конечно, только случай.

Вторая встреча в другом роде, у Федора Сологуба, на ужине где-то на Петербургской стороне или на Васильевском острове, не помню.

Сологуб был в то время известным, но не столь еще прошумевшим писателем, как позже. Служил инспектором в городском училище и жил в нем, в казенной квартире, с сестрой.

И квартира сама большая, старомодная, с фикусами в горшках, рододендронами, столовая с висячей неяркой лампой и тусклой хозяйкой, старой девой, лампадки, кислотовато-сладкий запах — все слишком уж мало шло к таинственному хозяину, автору разных дьяволических штучек, загадочных мальчиков и «Мелкого беса».

Федор Кузьмич казался старше своих лет, совсем лысый, водянистые серьезные глаза, пенсне, розоватые поблескивающие щеки (на одной крупная бородавка), неторопливые движения. Речь отрывистая, краткая. Сумрачный облик, соответственный писанию его. Но как хозяин очень гостеприимен. Кроме Мережковского, за столом сидели Кузмин, Ауслендер, может быть — Гржебин, Нарбут, Сомов, Чулков и я, оба с женами. Станным образом Федор Кузьмич все время был на ногах в тусклой этой комнате (где хорошо бы поселиться сологубовским «недотыкомкам»), медленно обходил гостей и приговаривал загробным голосом:

— Кушайте, господа, кушайте! Прошу вас, кушайте!

Сестра его, бесцветная женщина с гладко зачесанными назад волосами, чуть не примасленными, если и проявляла какую-то деятельность, то предварительную, кухонно-кулинарную. Сейчас скромно помалкивала — куда уж там разговаривать наравне с Мережковским, бездной вверх и вниз.

За кофе Дмитрий Сергеич что-то перешептывался с Гиппиус, поглядывая на нас с женой. Зинаида Николаевна нас разглядывала, наводя свой лорнет, как дальнобойное орудие. Мы были москвичи, в некоторой степени провинциалы, и вообще новички.

Мережковский завел общий разговор, характера, конечно, возвышенного, религиозно-философского. Гиппиус вдруг перебила его:

— Дмитрий, погоди... (У нее была манера — даже на публичных выступлениях мужа вмешиваться, будто сбивая его. Но все

это входило в их семейный обиход, точно она его поддразнивала и вносила тем некую пряность в мудрствования.) Погоди, я вот хочу спросить Зайцева.

Дальнобойное орудие вновь было наведено на меня. За ним виднелся изящный, трудно забываемый облик, с огромными глазами, лицо несколько поддурмяненное, худые тонкие руки. Облик высокомерный, слегка капризный, совсем особенный...

«Дмитрий» покорно замолчал. Своим слегка тягучим голосом — в нем было отчасти коварство, отчасти желание прозакламеновать заезжего, — все с тем же лорнетом у глаз, задала она мне в упор вопрос, с видимым желанием «срезать».

Не помню в точности, как она выразилась. Был там только Христос и какая-то мушка. Как бы, по-моему, Христос поступил с мушкой, ползшей по скатерти — что-то вроде этой чепухи.

Неожиданно для себя я вдруг внутренне вскипел и ответил с почти неприличной резкостью юного, замкнутого самолюбия, почувшего ловушку, — ответил вроде того, что самый тон вопроса в отношении Христа считаю кощунственным, — и еще что-то в этом духе (с мужеством отчаяния, когда человек бросается вниз головой со скалы).

Но голова не разбилась, а эффект получился неожиданный: и Дмитрий Сергеич и сама Гиппиус весело рассмеялись. Отпора мне никакого не было — нечего и связываться с младенцем.

— Пейте, господа, кофе, пейте, — невозмутимо-погребально говорил Сологуб, прохаживаясь вдоль стола. — Пейте кофе!

* * *

Позже приходилось слышать Мережковского в Москве на открытых выступлениях. В Историческом музее маленькая его фигура перед огромной аудиторией, круто подымавшейся вверх, наполняла своим голосом все вокруг. Говорил он превосходно, ярко и полупророчески. Некая спиритуальная одержимость влекла его. Это было и суховато, как бы без влаги, но воодушевление несомненное. Нет, не пророк, конечно, но высокоодаренное и особенное существо, вносящее неповторимую ноту. Мимо не пройдешь. Не зажжет, не взволнует и не умилит, но и равнодушным не оставит. Большой оратор, большой литератор, но никак не Савонарола.

Выходили в это время и некоторые замечательные книги его — «Леонардо да Винчи», «Гоголь и черт». Леонардо — вроде исторического романа. Но именно «вроде». Настоящим художником, историческим романистом (да и романистом вообще) Мережков-

ский не был. Его область — религиозно-философские мудрствования, а не живое воплощение через фантазию и сопереживание. Исторический роман для него — в главном — повод высказывать идеи. Но вот «Леонардо да Винчи», при всей своей книжности, местами компилятивности, все же вводил в Италию, в Ренессанс, просвещал и затягивал. Помню, зачитывался я этим «Леонардо» — проводником в милую страну.

Это было время так называемого религиозного возрождения в России, вовлечения интеллигенции в религию. «Религиозно-философские собрания» в Петербурге, где светские типа Карташева, Мережковского, Гиппиус и других встречались на диспутах с представителями церкви. Замечательная полоса русской духовной культуры. Время Мережковского и Гиппиус, Булгакова, Бердяева, Франка, сборников «От марксизма к идеализму», «Смены вех», предвоенный и предкатастрофный подъем духа, прерванный трагедией революции, но перенесенный в зарубежье. Тот подъем и того духа, который породил Сергиево Подворье, Богословский Институт, Студенческое Христианское движение. (Подумать о христианстве в студенчестве моей молодости в России! Тогда надо было быть народником или марксистом, а уж какое там христианство. — *Gaudeamus igitur*, московские студенты с Козихи, выпивка на Татьянин день, требование конституции... — тут не до Мережковских и Гиппиус, не до Бердяевых и Булгаковых.)

Слабость Мережковского была — его высокомерие и брезгливость (то же у Гиппиус). Конечно, они не кричали — вперед, на бой, в борьбу со тьмой — были много сложнее и труднее, но и обращенности к «малым сим», какого-либо привета, душевной теплоты и света в них очень уж было мало. Они и неслись в некоем, почти безвоздушном пространстве, не совсем человеческом. Это не уменьшает, однако, высоты их идейности.

Теперь очень принято говорить о начале века как о Серебряном веке литературы русской. Взгляд правильный. Можно добавить: и культуры религиозно-философской. И в этой области надо сказать о Мережковском и Гиппиус, где были они петелами предутренними. От большой публики тогдашней далекие. Да одинокие и сейчас. Не зря некогда собиравшаяся меня срезать Зинаида Николаевна сказала о себе («себе» — значит и о Мережковском):

Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

В предвоенные и предреволюционные годы Мережковские были настроены очень лево. Но Октябрьская революция и ком-

мунизм вовсе им не подходили. Как почти вся взрослая литература наша того времени, очутились они в эмиграции.

Как и некогда в Петербурге, в Париже вели трудническо-литературную жизнь в своем Пасси, на улице Colonel Bonnet, в двух шагах от Бунина, Ремизова, да и от той rue Claude Lorrain, где мы с женой жили. После дня работы — писания, чтения, выходили они вместе гулять — Дмитрий Сергеич старенький, сгорбленный, в еще петербургском зимнем пальто с заслуженным вытертым воротником. Зинаида Николаевна с неизменным лорнетом. Высокая, тонкая, с прекрасными глазами русалочьими, под руку с мужем. А он, согнувшийся, едва брел. Но по части писания остался неутомим. В это время был уже автором многочисленных книг. И трилогия «Христос и Антихрист», и «Грядущий Хам», и о декабристах, Александре I, Павле — все позади.

Теперь занимался разными Тутанхамонами, Египтом, Атлантидой. Писал о великих святых, и об «Иисусе Неизвестном», и о Данте. И так же оставался знаменито-одиноким.

В Париже мы встречались, но нечасто и поверхностно — в литературном салоне М. С. Цетлиной, иногда бывали и у самих Мережковских.

Но ближе и чаще пришлось видеть их в Белграде, на съезде эмигрантских русских писателей в 1928 году.

Меня поселили в одном с ними отеле, и нередко я к ним заходил. Тут воздух был уже иной, чем некогда в Петербурге. И Дмитрий Сергеич и Зинаида Николаевна держались гораздо проще, естественней и приветливей, она в особенности. (На днях нашел я у себя книгу ее стихов с надписью 1942 года «...в знак нашей старой и неизменной дружбы» — это уж не Христос и мушка.) Странно, но получилось, что сблизила несколько чужбина. Хотя чужбина эта — Сербия — была весьма благосклонна. Сам Мережковский высказал это однажды у себя в комнате отеля за чайным столом.

— Первый раз в эмиграции чувствую себя не отщепенцем и парией, а человеком.

Действительно, в Югославии к нам относились замечательно. Тон задавал король Александр (учившийся некогда в Петербурге, говоривший по-русски, на русской культуре воспитанный). Но и сами сербы все же славяне, другая закваска, не латинская. Что-то свое. Наш Немирович-Данченко (Василий Иванович), старейший группы нашей, некогда был корреспондентом русской газеты в освободительной войне 1877 года, здесь же под Белградом сидел в окопах. Он сербами расценивался теперь, как некий фельдмаршал от журналистики дружественной.

Мережковский был для них, конечно, как и для русской провинции, неким заморским блюдом, очень уж на любителя. Куприн проще, доступнее, без бездн и Антихристов, с ним можно было (и занятно) заседать по «кафанам», подпаивать его и быть с ним запанибрата. Мережковский капли вина не пил. Для Куприна капля — ничто.

Помню вечер-банкет у министра народного просвещения. Мережковский сидел в центре, за главным столом, рядом с министром. Слева от министра, тоже рядом, Гиппиус.

Были речи. В некий момент встал и Мережковский (на этот раз Зинаида Николаевна не перебивала его и вообще не мешала). Маленький, худенький, но подтянутый, в смокинге, говорил он хорошо, все же не с таким подъемом, как некогда в Москве, но возвышенно, о борьбе с коммунизмом. Без Антихриста не обошлось. Сербь слушали почтительно, но отдаленно.

Вдруг в дальнем конце столов произошло некое движение, тяжело отодвинут стул, к нашему столу, сбоку, приближается нетвердой походкой человек с красным лицом, взъерошенными волосами, останавливается прямо против Мережковского и министра и начинает говорить. Александр Иванович Куприн! За день достаточно утешился сливовицей и пивом в «кафанах», но у него тоже есть идея насчет большевиков — тоже и он оратор. Ничего, что говорит Мережковский. Можно вдвоем сразу, дуэт. Мы тоже не лыком шиты.

Даже сосед мой, достойнейший епископ Досифей — Царство ему Небесное! (впоследствии мученически убиенный), — не может не улыбаться.

Но недолго оказался дуэт. Из тех же глубин, куда засадили Куприна (по неблагонадежности его), вынырнули здоровые веселые молодцы, весело отвели его на галерку. Он не сопротивлялся. Мережковский продолжал плавать в стратосфере. Куприна же, вероятно, отвели в какую-нибудь «кафану». Во всяком случае, в тылу у нас стихло. Мережковский кончил спокойно.

* * *

Через двенадцать лет настали жуткие времена. «Нашествие иноплеменных». Париж сначала сильно опустел. Остались больше всего консьержки. Позже многие возвратились. Мережковские жили по-прежнему на Colonel Bonnet в Пасси. В сумрачные эти годы принимали они по воскресеньям, и об этих скромных дневных чаях осталось хорошее воспоминание — уголок мирной культуры среди кипевшей брани.

Встречал гостей Злобин, секретарь Мережковских. Зинаида Николаевна подымалась с дивана в гостиной, где лежала до нас с папиросой и томиком французским в руках. Лениво подходила к кабинету Мережковского, лениво и протяжно кричала ему:

— Дмитрий, выходи! Пришли.

В столовой собирались понемногу литераторы — более молодого поколения — Адамович приходил, Оцуп, Терапиано, тихая Горская, иногда мы с женой, Тэффи, еще другие. Хозяиничал Злобин. Через несколько минут выходил, сторбившись, Мережковский — маленький, пошаркивая теплыми туфлями, позевывая, с таким видом, будто говорил: «Ну, вот опять пришли», — но все же руки пожимал довольно вежливо. («Зову, но не настаиваю».)

Злобину, вдруг хозяйственно, почти повелительно и громко: — Володя, есть пирожные?

Володя разливает чай. За столом он главнокомандующий. На нем вообще держится весь жизненный оборот Мережковских: как заправские писатели дореволюционных времен, сами они вполне в этом беспомощны, как дети. (Чтобы увериться, что чайник закипел, Зинаида Николаевна подымала крышку и через лорнет рассматривала, бурлит ли вода.)

Дмитрий Сергеич все утро, до завтрака, писал своих Францисков, Августинов, или читал. Лени в нем ни малейшей. Восьмой десяток, но он все «на посту», как прожил жизнь с книгами своими, так с ними и к пределу подходит. Теперь оба они много мягче и тише, чем во времена Петербурга и Сологуба. Зинаида Николаевна чаще приветливо беседует с моей женой и меня не только не задирает, но держится просто и сочувственно. Дмитрий Сергеич трет себе виски после дневной дремы, заводит разговор, конечно, выспренный, но безобидный.

Так доживали они свои дни в Пасси, на улице Colonel Bonnet. Тут написал он раздирательную книгу о св. Иоанне Кресте (St. Jean de la Croix). Долгий путь от «Вечных спутников», «Юлиана Отступника», но всегда плывет, всегда надземный, к небесам лицом, хоть и пирожными интересуется.

Раз, утром зимним, вышел он в кабинет, сел в кресло перед топившимся уже камином — думал ли о св. Иоанне Кресте или о чем житейском? Бог весть. Но когда прислуга вошла поправить уголь в камине, он сидел как-то уж очень неподвижно в глубоком кресле этом. Встать с него самому не пришлось. Сняли другие.

На следующий день пришли мы поклониться ему прощально — он лежал на постели, худенький, маленький, навсегда замолкший.

Помню хмурое утро январского дня 1941 года — полутьму храма на Дарю, отпевание «раба Божия Дмитрия». Было в церкви нас человек пятнадцать. Хоронили знаменитого русского писателя, известного всей Европе.

* * *

Зинаида Николаевна тяжело переносила его уход. Я думаю! Всю жизнь вместе — ведь ни одного письма не сохранилось ее или его к ней: они никогда не расставались. Незачем и писать.

А пережила она его на четыре года. И на том же кладбище Sainte Genevieve des Bois успокоилась она, где и он, в той же могиле. Небольшой стоит там памятник, как бы часовенка. И никаких цветов, никаких знаков внимания от живых. Одиноко жили, одиноко и ушли.





В. ИЛЬИН

Памяти Дмитрия Сергеевича Мережковского

1865—1941

Что Д. С. Мережковский занимает одно из самых высоких мест на Пинде *Русского Ренессанса*, да и вообще в истории современной культуры — и не только русской, но и мировой — в этом трудно сомневаться. Но что ни он, ни его по заслугам прославленная супруга — поэтесса и критик Зинаида Гиппиус не были свободны от радикально-интеллигентской мути — в этом тоже не приходится сомневаться. Это связано с одним характерным свойством эпохи, в которую жил и писал Д. С. Мережковский вместе со своей супругой, как и эпохи непосредственно им предшествующей — пресловутых шестидесятих годов. Свойство это В. В. Розанов, очень близкий к супругам Мережковским и ко всему их течению, едко наименовал в своей «Метафизике христианства» — «несчастной книжностью, несчастной интеллигентностью», а в другом месте — еще ядовитее и лаконичнее: «листы шуршат»...

Очень большая одаренность, огромная начитанность и ученость, с которой может сравниться, пожалуй, только ученость Валерия Брюсова, да и то не всегда и не во всех сферах литературно-философских и гуманитарно-исторических знаний, где Д. С. Мережковский был настоящим энциклопедистом самой высокой марки, сделали его *высококвалифицированным специалистом романсированных биографий* и даже *целых полос в истории культуры* и в *истории вообще*. Приняв же во внимание его всегдашнюю склонность к *символизму* (он был вообще одним из величайших русских и мировых символистов), его большой литературно-эстетический дар и обладание очень характерным повествовательным приемом, который он удачно варьировал сообразно сюжету, — не приходится удивляться тому, что из него

выработался первоклассный и острый эссеист-критик, немного в духе Реми де Гуромон (вообще повлиявшего в России, о чем еще ничего не было сказано), только гораздо глубже и талантливее его и без характерной галльской салонной болтливости.

Помимо В. В. Розанова, и другие понимавшие дело и пронизательные люди указывали на совершенно особый и очень большой грех, специфический грех «духовно-эпикурейского» или, что еще хуже, снобического подхода к самым трудным и опасным, к самым рискованным темам философии, историософии и богословия, как вера-неверие, Бог-диавол, Христос-антихрист и др., — и все в порядке книжных антитез и сопоставлений, со включением революции и реакции, Достоевского и Толстого, Петра и Алексея, слога на — «Быти Петербургу пусту» и т. д. в этом духе. Ни Д. С. Мережковскому, ни З. Н. Гиппиус долгое время в голову, по-видимому, не приходило, что такие темы отнюдь не литературно-эстетические игрушки для «Зеленой Лампы», а в высшей степени жуткие и ответственные темы, за которыми стоит судьба не только отдельного народа, но целых наций и государств, поколений и всего рода человеческого в вечности.

И только когда выяснилось (да и то отчасти) для обоих знаменитых супругов, что слову письменному и устному, и даже помышлению дана *свершительная реализующая и материализующая сила*, что «о волке речь, а волк навстречь», и что не напрасно сказано Тютчевым:

О, бурь уснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!

— тон их стал по-настоящему трагический.

Подобно Тютчеву, Боратынский был тысячекратно прав, заклиная готовый разбушеваться и открыть бездну хаос *молчанием*, как правы были Пифагор и отцы исихасты-молчальники, видевшие нечто невыносимо страшное в злоупотреблении словом.

...Молчу! Боюсь я,
Чтоб пальцы, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя.

И отрываясь, полный муки,
От музыки, ласковой ко мне,
Я говорю — до завтра, звуки,
Пусть день умолкнет в тишине.

И это по той таинственной причине, что

Любовь Камен с враждой фортуны —
Одно.

В. В. Розанов усмотрел и некую роковую «неправду» и опасность в литературе... Этого не могли и, главное, не захотели понять З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский: отношение в них Камен и Фортуны было глубоко двусмысленным...

Я не хочу этим сказать, что супруги Мережковские и особенно сам Дмитрий Сергеевич впадали в галльскую болтливость. Отнюдь нет! Да и «острый галльский смысл» и «сумрачный германский гений» порою знали, как обращаться со словом, не впадая ни в эстетство, ни в болтливость, ни в безответственное снобирование. Но, как правило, такое *чистое* отношение к слову встречается в высшей степени редко. И когда встречается, то это надо ценить и приветствовать, ибо сила такого отношения к слову равносильна силе молитвы.

Как нам уже не раз приходилось констатировать, центральные фигуры русского символизма, даже не враждебные религии, как-то далеко от ее подлинных корней и особенно от корней христианства. Частично это было связано с еще длившимися слепотой и глухотой типично интеллигентского типа, частично — с впадением в прелесть, но только не в области реального прохождения мистического пути, как это было у древних еретиков (Симона Мага, Манеса, Монтана, разных форм гностицизма и др.), но, главным образом, в области литературной, поэтически-артистической, метафизической и иной в этом роде. Здесь очень характерен именно для людей типа Д. С. Мережковского разрыв между фантазированием головного и искусственного типа о наступающей религии Св. духа, о «Третьем завете» — и настоящим, подлинным учением о Св. Духе таких гениальных отцов Церкви как преп. Симеон Новый Богослов и православных мыслителей как Отец Павел Флоренский и Отец Сергей Булгаков. И все же, ни этот детский лепет не проникшего в тайны патологии богословски незрелого ума, ни эти сухие и в то же время сентиментальные рассуждения интеллигента на совершенно новые темы не могут опорочить устремленный к будущему взор, склоненное для уловления шепотов вечности ухо, что несомненно было у Д. С. Мережковского и чем наделил Творец эту своеобразную натуру большого книжника — говорим на этот раз в похвальном смысле слова...

Теперь — несколько слов о его жизненном пути, прежде чем опять обратиться к его творчеству.

Отец Димитрия Сергеевича был *дворцовым управляющим*, он же сам всю жизнь прожил в С.-Петербурге, представляя типич-

но столичное явление, и притом явление *имперской столицы*. Она избавила его — как и В. Соловьева — от смехотворного безвкусного провинциализма интеллигентщины. Без столицы, без Петербурга не видать бы обоим света во всех смыслах этого слова.

Почувствовав, особенно в непосредственной близости своей блестящей супруги поэтессы и их *brillant second** — Философова, что поэзия — не по нем, Д. С. Мережковский ушел в эрудитную прозу, эссеизм и в критику. И это ему удалось!

За короткий промежуток времени: 1896—1905, т. е. всего только за 9 лет, он написал сделавшие его мгновенно знаменитыми не только для России, но очень скоро и для Европы и всего мира, романы сложной трилогии, внутренне органически между собою связанные единством религиозно-исторического замысла. Здесь мы уже в астрономическом отдалении как по темам, так и по выполнению от какой бы то ни было радикальствующей интеллигентщины и в полном разгаре Русского Ренессанса. Для русской читающей публики, одичавшей на шестидесятничестве и на бытовом романе, это была настоящая революция, или, если угодно, — «контрреволюция», с точки зрения радикальщины, особенно коммунистического толка. Итак, трилогия Мережковского построена согласно следующему плану:

I часть — *Христос и Антихрист*. Этой теме посвящены два романа: *Смерть богов — Юлиан Отступник*.

II часть — *Воскресшие боги*. Этой теме посвящен один увесистый том, своего рода бессмертный перл: *Леонардо да Винчи*.

III часть — *Антихрист*. Это — грандиозная и грозная эпопея новой русской истории — *Петр и Алексей*.

Через всю трилогию проходит в разных ракурсах и вариациях одна и та же тема, более или менее легко улавливаемая. Это, в сущности, монотема, роднящая Мережковского с В. В. Розановым, хотя Розанов в чисто литературном смысле гораздо индивидуальнее и острее. Мережковский — просто отличный писатель и сверх того ученый эрудит, добывающийся нужных ему эффектов путем изучения данной темы и ее тщательной проработки и разработки. Конечно, нередко он достигает и очень больших, чисто художественных эффектов. Но *своего* языка, от альфы до омеги *своего*, у него нет, или его очень мало и притом нехарактерного, в то время как у Розанова, постоянного участника собраний организованных супругами Мережковскими, очень его ценившими, — все было свое до последней запятой... У Д. С. Мережковского — великолепный литературно отделанный

* блестящий второй (англ.).

и до максимума «культурный» язык, чрезвычайно приятно читающийся, но которому нетрудно подражать. У Розанова — глубоко личное явление, совершенно неповторимое и неподражаемое, как цвет глаз, форма носа, или тембр голоса. По этой причине хорошему складу романсированной биографии в порядке литературной отделки у Мережковского, да и у З. Гиппиус, можно и даже должно учиться. Розанова же не может повторить даже такой его верный и талантливый ученик, как Виктор Шкловский. Но зато между темами, не всеми, конечно, но магистральными, у В. В. Розанова и Д. С. Мережковского — особенно в «Трилогии» — есть удивительные, так сказать, «параллелизмы», а то и совпадения, очень характерные для переживаемой эпохи, особенно в связи с кризисом культуры и Церкви, в связи со всем тем, что «выплыло» на дебатах Второго Ватиканского Собора, и по поводу этих дебатов. Вопрос ведь идет вот о чем: имевшие уши слышать — не услышали, мало того, отвратили свои уши и не захотели слушать как раз те, кому о том особенно ведать надлежало. И это — все тот же вечный роковой вопрос о причинах *«неудачи христианства»* и об ответственности за эту *«неудачу»*. Ведь христианство — *тема богочеловеческая*, не в книжно-школьном (схоластическом) смысле, но в смысле жизненно насущном: или люди независимо от внешней конфессии возьмутся всерьез осуществлять *идею Христову*, или *человечество исчезнет с лица земли и, вообще, пропадет в космосе*.

Драгоценно у Д. С. Мережковского и в его собраниях, где блистали Розанов и Тернавцев, *святое беспокойство* по поводу того, что надвигалось на мир. Это Н. А. Бердяев выразил как *выполнение силами зла того, чего не хотели выполнить силы добра*, по этой самой причине оказавшиеся под *угрозой извержения во тьму крошечную*. Незаметным образом этими мотивами оказались буквально переполнены страницы *трилогии* Д. С. Мережковского. Но тайный голос о тайной угрозе, о которой мы только что сказали и что услышал некогда один Достоевский, а потом в своем погибшем толковании на Апокалипсис В. А. Тернавцев и В. В. Розанов (особенно в «Апокалипсисе нашего времени»), кажется, не был вполне понят и услышан самим автором трилогии, на страницах которых этот голос запечатлелся. Конечно, совершенно прав С. Л. Франк, говоря, что в этой великолепной трилогии, до сих пор вполне сохранившей свежесть и жгучий интерес, показана борьба между языческим и христианским религиозным идеалом, между «*религией плоти*» и чувственной красоты и аскетической «*религией духа*». Все это так. Но это не то, что видел в своих произведениях сам их автор. Впрочем, нередко «*дети*»

(произведения) далеко перерастают по своему значению и по способности говорить «неизреченными глаголами» своих отцов-авторов...

Прав С. Л. Франк и когда отмечает, что в дальнейших своих произведениях, под влиянием революционного брожения 1905 г., Д. С. Мережковский начал проповедывать «новое религиозное сознание» — апокалиптическую «религию Св. Духа», в большевицкой же революции 1917 г. усмотрел признак «грядущего Антихриста». Интересно здесь отметить, что в ту же эпоху первой революции 1905 г. и между двумя революциями Н. А. Бердяев пишет свое блестящее «*Новое религиозное сознание*» (СПб., 1907), улавливая несомые благодатию Св. Духа, почти никем не замечаемые лучи *Света невечернего*, что в еще большей степени улавливали отец Павел Флоренский (см. «*Столп и утверждение Истины*», письмо пятое «*Утешитель*»), а за ним и отец Сергей Булгаков (тогда еще светский профессор). Но как пророчески верно вещал гений отца Павла Флоренского, характерное свойство *Третьей ипостаси* — это *производить разрывы и катастрофы благодатного порядка в мире, где действует естественная непрерывность*, те разрывы и *сверхмутации* (или «*метамутации*»), *радикальные перемены, которые мы теперь именуем явлениями святости и чудесами*, а также *обожением*, что мы едва улавливаем, и для чего нет ни слов, ни звуков. Это некогда явится как *невечерний день Господень*, один намек на который наполняет наши сердца несказанной *сверхэротической сладостью*, ибо это есть *брачная вечеря Агнца, переход обручения в брак, реализация евхаристических обетов и пасхальной радости*.

Именно в намеках на это — главная заслуга *Трилогии* Д. С. Мережковского и других его произведений — и в еще большей степени «*Столпа и утверждения истины*» и некоторых *софиологических произведений отца Сергея Булгакова*. Все эти люди жили и духовно питались *исихастическим богословием* и *лучами несозданного Фаворского света*, излучавшегося *Преподобным Серафимом, типичным эсхатологическим и пневматологическим святым, наделенным к тому же всеобъемлющим пророческим даром...*

Но для Мережковского, как и для всей почти интеллигенции, быть может, свет это был невыносимо ярок. Ибо есть и *невыносимая и нестерпимая красота*. Несомненно, эта красота Своим явлением убьет мерзостное безобразия сатаны и аггелов его, а *избранных спасет*.

Да, «*красота спасет мир*». Блажен Достоевский, которому дано было узреть это и изречь это.

И мы здесь на этих страницах не можем не ублажить память Д. С. Мережковского, которому дано было сквозь радикально-интеллигентский мусор узреть и исповедать, и в меру сил изложить нечто верное. И опять повторим: «*Дух дышит, где хочет*».

Это и есть сияние центрального солнца в творческом деле Д. С. Мережковского, деле не малом. Прочее же — спутники.

Однако и среди этих «спутников» мы усматриваем очень крупные достижения, без которых Д. С. Мережковский не только не был бы тем, чем он стал, но сам Русский Ренессанс выглядел бы в очень ущербленном виде. Сюда надо прежде всего отнести очерки, посвященные Гоголю («Гоголь и черт»), — перл своего рода такой же крупный, как и очерк, посвященный тому же писателю Валерием Брюсовым («Испепеленный»). Ведь вся левацкая критика, до коммунистической включительно, по сей день показывает свою бездарность и пошлость именно на теме Гоголя.

Другой перл критического эссеизма, оставленный Д. С. Мережковским в назидание тем, кто хотел бы научиться писать настоящую литературную критику, это — блестящий сборник «Вечные спутники». Можно смело сказать, что только благодаря «Московскому Художественному Театру» и книге Д. С. Мережковского русская читающая и пишущая публика получила представление о том, что такое литературно-театральный символизм. Да и не только русская: не забудем, что Запад имеет свою «великую клоаку» — достаточно напомнить отношение Георга Брандеса к Ибсену и Шекспиру.

Годы 1906, 1907, 1908 и далее были у Д. С. особенно плодотворными в смысле критики и эссеизма. За это время появились работы о Толстом, Достоевском («Достоевский — пророк русской революции» — блестящий этюд, мало чем уступающий этюду «Гоголь и черт») и по-настоящему пророческая книга «Грядущий Хам». Впрочем, такие блестящие работы как «Вечные спутники» (1897) и «Религия Толстого и Достоевского» (1902) появились уже одновременно с «Трилогией» и одновременно с нею писались. Плодовитость поразительная, — особенно если принять во внимание качество, творческую новизну и все то необыкновенное для своего времени, свежее еще и для нашей эпохи, что явил Д. С. Мережковский. Таково было чудо, связанное с отходом от интеллигентщины.

Пророчество Д. С. Мережковского о *Грядущем Хаме* и о коммунизме в России как царстве *Антихриста* (1919, год эмиграции супругов Мережковских и Философова) вполне удалось именно по причине разрыва с интеллигентским прошлым, которое помешало Мережковскому в молодые годы стать тем, чем он

был и по своему громадному дару, и по призванию. Ибо Хам и Антихрист не только омерзительно уродливы, но и бездарны.

Вот что с необычайной чувствительностью, возвышающей над «классовостью» и «партийностью» (мещанство революционеров и революционность мещанства), уловил Д. С. Мережковский в «Грядущем Хаме» до «октября» и в «Антихристе» — после октября, уже совершенно в порядке гневного пафоса такого пророка нашего времени как Леон Блуа.

Д. С. Мережковского скорее всего придется признать более или менее приближавшимся к Церкви гностическим мыслителем о религии. Это видно из «Иисуса Неизвестного» и из «Тайны Трех» (вещей очень эрудитных, великолепно написанных и читающихся с упоением). Из всего этого внутренне-духовного конфликта можно только сделать пока один вывод: тема святости, ее сущность, подлинно церковное христианство находятся на такой высоте и глубине, до которой недохватывают мерки какого бы то ни было академизма — ученого или аристократического, даже самого свободного мыслительства и самого свободного артистизма.

Впрочем, Мережковский, что называется, «свободный артист», свободный мыслитель и никому, кроме Господа Бога, не обязан давать отчета ни в своих мыслях, ни в своих действиях — разве только по линии академических знаний и артистического совершенства. А в этом направлении дела его обстоят блестяще.

Единственное, по поводу чего история может потребовать отчета у самого Д. С. Мережковского и у его супруги, это их не то что терпимость, но даже благосклонность в отношении к «светлым личностям», пошлость и бездарность которых им должна была бы быть ясной более, чем кому-нибудь другому, ибо речь здесь идет именно об элитном писательстве и утонченном эссеизме, где такого рода промахи и попустительское молчание вовсе недопустимы.

Однако здесь виновна была Зинаида Гиппиус больше, чем Д. С. Мережковский, что видно уже из ее полемики с Александром Блоком против Аполлона Григорьева и Фета за Белинского, где прославленная поэтесса отлично знала, что делала: она ведь поступала согласно интеллигентскому символу веры, продолжая на людях носить интеллигентский мундир.

В обряд крещения, существующий в Православной Церкви, входит отречение от сатаны и всех дел его, дуновение на «проклятейшего» и плевков на него. Психологически и, еще более, пневматологически, то есть в плане чисто духовном, это вполне понятно и дьяволом заслужено: ведь и сам дух тьмы есть самое

полное и окончательное отвержение *духа любви*, составляющего внутреннее Существо Божие, то есть хулу на Духа Святого, хулу, которая по слову Господа не прощается ни в этом веке, ни в будущем.

Почему же, милые Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна, вам, большим мастерам мыслеобразов и художества, было легче плюнуть в Столыпина, стремившегося избавить Россию от такой язвы как община, чем в Михайловского или Писарева, из которых один совершенно откровенно прославлял серость и скудость, а другой — скудоумие и уродство? Почему? Вам было много дано — с вас многое и взыскивается. Впрочем, не только с вас — и это в ваше оправдание. Нельзя слишком сурово судить почившего писателя и его яркую супругу. В начале их деятельности на заре Русского Ренессанса такое восстание было просто невозможно, ибо вся пишущая и читающая Россия за редкими исключениями предалась бессмыслице, безвкусице и злодейским умыслам против своей родины, да и против всего самого ценного, чем оправдан и украшен человек, словом, была полна хулы на Святого Духа.

Страшно сказать? Да, невыносимо страшно... «Дивись, мой сын, могуществу беса» — будем мы еще не раз повторять эти жуткие слова из гоголевского «Портрета».

У людей даже такого калибра как Вл. Соловьев, супруги Мережковские, Бердяев, Булгаков и др., руки были связаны, языки и мысли заколдованы, «как в страшном непонятном сне», — говоря языком Пушкина. Легко было говорить о «параличе русской Церкви» со времени Петра Великого, тем более, что здесь была своя частичная правда. Но сказать что-либо в этом духе о русской революционно-радикальной интеллигенции было совершенно невозможно: мысли были усыплены кошмарами, язык был в смоле, руки — в свинцовых перчатках. Так было и с супругами Мережковскими, и поделаться они ничего не могли. А разве не то же случилось и с властью? *И взят был удерживающий...*

Вполне «расколдовались» Мережковские от действия смрадных испарений «великой клоаки» лишь в год их эмиграции, то есть в 1919 году. Да и то — совсем ли? «Плоды» были ими выброшены окончательно и безоговорочно. А «цветочки» и «корешки»? Судя по последним произведениям Д. С. Мережковского, — дошло и до этого (слава Богу). Но с каким трудом совершалось это очищение...

А между тем, стоит прочесть некоторые места из книги «Религия Толстого и Достоевского», чтобы сразу же убедиться в том, что философ, или, лучше, метафизик русской литературы

Д. С. Мережковский стоит так высоко, как в этой специальности до него еще никто не стоял, и где он, далеко обогнав Влад. Соловьева, по сей день — *великий учитель*.

Речь идет о кризисе исторического христианства, давно уже — может быть, с первых веков, — подготавливавшимся манихейством, монтанизмом и монофизитством, — т. е. *ложным спиритуализмом и обскурантизмом* на почве этого псевдоспиритуализма. И нетрудно понять, что тут у Мережковского общая тема с Розановым. В сущности, на этой труднейшей диалектике духа и плоти застрял и Второй Ватиканский Собор, не догадавшись, о чем, собственно, идет речь. И сам собой напрашивается вывод в том смысле, что стоило только талантливому русскому писателю и мыслителю-метафизику отойти от «светлых личностей», как немедленно мысль его достигает таких высот и глубин, что он превращается в учителя, которому многокультурный и многоученный Запад может только внимать, да и то с поправкой на недопонятую глубину русского учителя.

Достаточно написать «Тайну Трех» или «Атлантиду» или «Гоголь и черт» — это и будет панацеей против «клоаки»... И мы прославляем здесь Д. С. Мережковского как творца или одного из крупнейших творцов этой панацеи. Он в конце концов «оставил младенческое» (в дурном значении недомыслия, что приводит к мелкой бесовщине), сделался «взрослым» (в хорошем, «павловом» смысле) и стал за Бога против безбожия, за Христа против антихриста, за свободу против рабства, *одесную Сына человеческого против стоящих ошую, против левого князя бесовского*. Это символ, кстати сказать, старый, как мир, и потому несомненно и выбранный Самим Сыном человеческим. И в великом кризисе, *поразившем и Церковь*, о котором говорит св. ап. Павел, Д. С. Мережковский своим свободным решением занял место с *духовным сиянием против бездушной бездуховной тьмы, с преп. Серафимом против богомерзких Фотия и Пифонта*, серный дух которых и по сей день иные готовы считать веянием Св. Духа.

Говоря о Св. Духе, Д. С. Мережковский мог ошибаться в частностях, но главный и центральный путь он видел хорошо, настолько хорошо, что мог стать и указчиком, и учителем.

Теперь стало видно вполне, что путь, ведущий от «левого князя», надо искать не вправо, но *ввысь*. Мережковский сделал это во второй период жизни своей и своего творчества — и за это ему честь, слава и вечная память. Но есть еще нечто высокое и труднодостижимое, где он стяжал себе венец нетленный: это ему, главным образом, принадлежит слава и честь преодоления *социально-политических «право-левых» критериев в аксиологии*, то есть

в учении о ценностях. И не только в философии и в искусстве, но и в отношениях людей друг к другу. Кажется, первый из наших мыслителей и писателей Д. С. Мережковский, а с ним некоторые из нас, в том числе и пишущий эти строки, твердо стали на той позиции, что освобождение от лево-революционной тирании и связанной с нею тирании общих мест и банальностей, вроде контраверз «прогрессизма», революционности и проч., надо искать не в противоположном направлении на той же плоскости, *но в иной плоскости и в ином плане ценностей*. Это значит, что надо спастись не от левизны в правизну и от правизны в левизну, не от коммунизма в фашизм и от фашизма в коммунизм, не от наклонной плоскости к плоской наклонности, не в стороны, *но ввысь и «по нормали»*. Ибо, не говоря уже о математической символике, к которой нас приучили — и не без успеха для дел духа — о. Павел Флоренский и К. Ф. Жаков, *для человека нормой надо признать и исповедать нормаль от того места, где стоят его ноги*: взоры и голова должны быть направлены *ввысь*. И нам хорошо известно, что о. Павел Флоренский, В. В. Розанов, супруги Мережковские, В. А. Тернавцев составили особое ядро духовного комплекса, лозунг которого можно формулировать жизнерадостным духовно-космическим восклицанием молодой (и первой по-настоящему гениальной) пьесы Ибсена «Комедия любви»:

На волю, ввысь, на солнечный простор!

Д. С. Мережковского в экстаз привело заклятие Мефистофеля Фаустом именем *«трижды светящего Света»* (то есть *именем Пресвятой Троицы*):

Erwarte nicht
Das dreimal glüende Licht
(Не жди трижды светящего Света,
Не жди сильнейшего из моих искусств)

— и Мефистофель не выдержал, обличил себя, приполз к ногам человека, которого стремился погубить, — и не успел в этом.

Нам известно, что это место было одним из любимейших Д. С. Мережковского. Но Церковь дала формулу вполне совершенную, и ею мы теперь почтим великого писателя и мыслителя-критика, ибо на его панихиде пелась именно эта формула:

«Свят еси, Отче безначальный, собезначальный Сыне и Святый Душе. Просвяти нас, верою Тебе служащих, и вечного огня исхити».

Д. С. Мережковский, конечно, знал, и по личному опыту внутреннего делания, и из бесед с о. Павлом Флоренским, что *«три-*

цание Троицы есть геенна». Это можно показать и путем логико-математическим, что и сделали о. Павел Флоренский и пишущий эти строки.

Право-левый подход есть всегда подход сниженный, иногда до крайней степени и часто независимо от учености и степени умственного развития «подходящего». Это испытали на собственном опыте такие мыслители и авторы как Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский и др. Например, у Н. А. Бердяева вконец этим были испорчены такие интересные по замыслу, а частью и по выполнению книги как «О рабстве и свободе человека», и, частично, некоторые его другие труды. Этим же была испорчена первая половина творчества супругов Мережковских, — да и второй досталось... Тем же подходом, иногда прорывающимся, были у Дмитрия Сергеевича испорчены такие книги как «Достоевский — пророк русской революции» и оценка Розанова, с которым даже последовал разрыв.

Но уж кому-кому, а именно Д. С. Мережковскому более всего оказался понятным с превеликим трудом добытый лозунг, который со временем, несомненно, станет лозунгом всей России (воскресшей) и, может быть, всего мира: *не вправо и не влево, но ввысь*.





Н. БЕРБЕРОВА

Курсив мой

<фрагмент>

Я помню ярко, как они вошли: открылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Господину с бородкой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме — лет сорок пять. Но я не сразу узнала их. Вас. Ал. Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуфразе, выждал пока закрылись двери, затем продолжал. Все головы повернулись к вошедшим. Винавер (это было в большой гостиной Винаверов) привстал, затем опять сел. По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение. Кто они? — подумала я: на несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще раз взглянула на него: прежде, чем узнать ее, я узнала его, меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так молодо, а ведь ей было в то время под шестьдесят! Это были Мережковские.

Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза (ставшие к старости косыми), она играла лорнеткой, слушая Маклакова, который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который «не шел» к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Шелковый, полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны, ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. Бунин, смеясь, говорил, что у нее в комод лежат сорок пар розовых шелковых штанов и сорок розовых юбок висит в платяном шкафу. У

нее были старые драгоценности, цепочки и подвески; и иногда (но не в тот первый вечер) она появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она несомненно искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной.

Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался нечасто, а когда рассказывал смешные истории (например, как однажды в Луге у Карташева болел живот), то рассказывал их вполне серьезно. Что-то было в нем сухое и чистое, в его физическом облике; от него приятно пахло, какая-то телесная аккуратность и физическая легкость были ему свойственны, чувствовалось, что все вещи — от гребешка до карандаша — у него всегда чистые, и не потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему, ни к ним не пристают пылинки.

Гостиная Винаверов была одним из «салонов» русского литературного Парижа в 1925—26 годах (М. М. Винавер умер в 1926 году). Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры — с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек тридцать, и не только «знаменитых», как Маклаков, Милюков, Мережковские, Бунин. Бывали и «подающие надежды», молодежь из монпарнасских кафе, сотрудники понедельничной газеты «Звено», которую издавал и редактировал Винавер (он кроме того издавал и редактировал в то время «Еврейскую трибуну» и был автором книги воспоминаний «Недавнее»). Известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать (ежедневную, газетную) — Милюков издавал и редактировал «Последние новости», а Винавер — литературное приложение к газете.

После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнеткой, и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятное. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой.

Они жили в своей довоенной квартире, это значит, что, выехав из советской России в 1919 году и приехав в Париж, они от-

перли дверь квартиры своим ключом, и нашли всё на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах, встречались с людьми своего поколения (сходившего во Францию на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом.

— Потом мы им всем надоели, — говорил Дмитрий Сергеевич, — и они нас перестали приглашать.

— Потому что ты так бестактно ругал большевиков, — говорила она своим капризным скрипучим голосом, — а им всегда так хотелось их любить.

— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами (он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция — ужасно интересный опыт, в экзотической стране, и их не касается. И что, как сказал Ллойд Джордж, торговать можно и с каннибалами.

Вечерами она сидела у себя на диване, под лампой, в какой-нибудь старой, но всё еще элегантной кацавейке, куря тонкие папироски или, приблизив работу к глазам, шила что-то (она любила шить), поблескивая наперстком на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате.

— Где мои кусочки? — спрашивала она, роясь в лоскутках.

— Где моя булочка? — спрашивала она за чаем, приближая к себе хлебную корзинку. В. А. Злобин ставил перед ней чашку.

— Где моя чашка? — и она обводила невидящими глазами стены комнаты.

— Дорогая, она перед вами, — терпеливо говорил Злобин своим умиротворяющим, веским тоном. — А вот и ваша булочка. Ее никто не взял. Она ваша.

Это была игра, но игра, которая продолжалась между ними много лет (почти тридцать), и которая обоим была необходима.

Потом открывалась дверь кабинета, и Д. С. входил в столовую. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о чем-нибудь, что было бы неинтересно. З. Н. часто спрашивала, говоря о людях:

— А он интересуется интересным?

Д. С. интересовался интересным, это было ясно с первого произнесенного им слова. Он создал для себя свой мир, там многого не доставало, но то, что ему было необходимо, там всегда было. Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, всё остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки, всё было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто

не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях. Иногда всё это было только подводным течением в его речах, которое в самом конце вечера вырывалось наружу:

— ...и вот потому-то мы тут! — Или:

— ...и вот потому-то они там!

Но чаще вся речь была окрашена одним цветом:

— Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?

Она думала минуту.

— Свобода без России, — отвечала она, — и потому я здесь, а не там.

— Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но... — и он задумывался, ни на кого не глядя, — на что мне собственно нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?

И он замолкал, пока она искала, что бы такое сказать, слегка ироническое, чтобы в воздухе не оставалось этой тяжести и печали.

Время от времени она принималась расспрашивать меня о моем петербургском детстве, о прошлом. Я не любила говорить, я больше любила слушать. И тогда говорила она. И какая-то смутная тайна чувствовалась в ней, тайна, дававшая ей всю ее своеобразность, и тайна, дававшая ей всё ее страдание.

Она болезненно любила свою мать. Все четыре сестры (братьев не было) болезненно любили свою мать. Она единственная из сестер вышла замуж, три другие остались в девушках, две — в советской России, и за одной из них когда-то ухаживал Карташев и собирался жениться, но вмешался Д. С., и свадьба не состоялась. Эти две женщины оказались во время войны (в 1942 году) в Пскове у немцев, и З. Н. пыталась списаться с ними. Они, вероятно, погибли при немецком отступлении. Это были те Тата-Ната, о которых Белый писал в своих воспоминаниях. Третья сестра была высохшая, полуумная Анна Николаевна, состоявшая «при соборе» на улице Дарю (автор книги о житии Тихона Задонского), одна из тех, что чистят образа, чинят ризы и бьют поклоны.

Анна иногда забегала к З. Н., сидела на краю стула и беспокойно молчала. Племянника же Д. С. и его жену я никогда у них не видела. Это был сын старшего брата Д. С., Константина Сергеевича, автора книги «Земной рай», утопии 27-го века. Он родился в 1854 году, был профессором Казанского университета, автором нескольких научных книг, но в начале нашего столетия он был судим за соращение малолетней и сослан в Сибирь. Сын его

был человек довольно замечательный, изобретатель всевозможных вещей — от усовершенствованной мины до губного карандаша, не пачкающего салфетки. Ни он, ни жена его, видимо, никогда у Мережковских не бывали.

Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поцеловать Д. С. руку, когда я слушала его, говорящего с эстрады, собственно всегда на одну и ту же тему, но трогающего, задевающего десятки вопросов, и как-то особенно тревожно, экзистенциально ищущего ответов, конечно никогда их не находя. Из его писаний за время эмиграции всё умерло — от «Царства Антихриста» до «Паскаля» (и «Лютера», который, кажется, еще и не издан). Живо только то, что написано им было до 1920 года: «Леонардо», «Юлиан», «Петр и Алексей», «Александр I и декабристы», да еще литературные статьи, если читать их в свете той эпохи, когда они были написаны (на фоне писаний Михайловского и Плеханова). Из стихов его и десятка нельзя отобрать, и всё-таки это был человек, которого забыть невозможно. «Эстетикой» он не интересовался, и «эстетика» отплатила ему: новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно.

В З. Н. тоже не чувствовалось желанья разрешать в поэзии формальные задачи, она была очень далека от понимания роли слова в словесном искусстве, но она, по крайней мере, имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты и того меньше: Бальмонт был поэтом пятнадцать лет, Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна всё та же невозможность эволюции, какая видна была в ее современниках, то же окаменение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвлении человека.

Я тоже вижу сейчас, что в Гиппиус было многое, что было и в Гертруде Стайн (в которой тоже несомненно был гермафродитизм, но которая сумела освободиться и осуществиться в гораздо более сильной степени): та же склонность ссориться с людьми и затем кое-как мириться с ними, и только прощать другим людям их нормальную любовь, в душе всё нормальное чуть-чуть презирая и, конечно, вовсе не понимая нормальной любви. Та же черта закрывать глаза на реальность в человеке и под микроскоп класть свои о нем домыслы, или игнорировать плохие книги расположенного к ней (и к Д. С.) человека. Как Стайн игнорировала Джойса и не приглашала к себе людей, говоривших о Джойсе,

так и З. Н. не говорила о Набокове и не слушала, когда другие говорили о нем. Стайн принадлежит хлесткое, но несправедливое определение поколения «потерянного» (как бы санкционирующего эту потерянность); З. Н. считала, что мы все (но не она с Д. С.) попали «в щель истории», что было и неверно, и вредно, и давало слабым возможность оправдания в слабости, одновременно свидетельствуя о ее собственной глухоте к своему веку, который не щель, а нечто, как раз обратное щели.

Было в ней сильное желание удивлять, сначала — в молодости — белыми платьями, распущенными волосами, босыми ногами (о чем рассказывал Горький), потом — в эмиграции — такими строчками в стихах, как «Очень нужно!» или «Всё равно!», или такими рассказами как «Мемуары Мартынова» (которые никто не понял, когда она его прочла за чайным столом, в одно из воскресений, кроме двух слушателей, в том числе — меня. А Ходасевич только недоуменно спросил: венерическая болезнь? — о загадке в самом конце). Удивлять, поражать, то есть в известной степени быть экзгибиционисткой: посмотрите на меня, какая я, ни на кого не похожая, особенная, удивительная... И смотришь на нее иногда и думаешь: за это время в мире столько случилось особенного, столько непохожего ни на что и столько действительно удивительного, что — простите, извините, — но нам не до вас!

К ним ходили все или почти все, но лучше всего бывало мне с ней, когда никого не было, когда разливался в воздухе некоторый лиризм, в котором я чувствовала, что мне что-то «перепадает». Я написала однажды стихи на эту тему о «перепадании» и напечатала их, они оба вероятно прочли их, но не догадались, что стихи относятся к ним. Вот эти стихи:

Труд былого человека,
Дедовский, отцовский труд,
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд

Вы проносите пред нами,
Вы идете мимо нас.
Мы, грядущими веками,
Шумно обступили вас.

Не давайте сбросить внукам
Этой ноши с ваших плеч,
Не внимайте новым звукам:
Лжет их воровская речь.

Внуки ждут поры урочной,
Вашу влагу стерегут,

Неразумно и порочно
Расплескают ваш сосуд.

Я иду за вами тоже,
Я, с протянутой рукой,
Дай в ладонь мою, о Боже,
Капле пасть, хотя б одной!

Полный вещей влаги некой
Предо мной сейчас несут
Девятнадцатого века
Нескудеющий сосуд.

В 1927 году З. Н. посвятила мне стихотворение «Вечная женственность» (рукопись с посвящением хранится у меня, вместо названия поставлены буквы В. Ж.), оно вошло в ее книгу «Сияния» (1938 г.) без года, без посвящения и под названием «Вечноженственное». А когда мы жили летом в Каннэ, в Приморских Альпах, где жили и Мережковские, и виделись ежедневно, то еще одно (я привожу его здесь впервые):

Чуть затянута голубое
Облачными нитками,
Луг с пестрой козю
Блестит маргаритками.
Ветви по-летнему знойно
Сивая олива развесила.
Как в июле всё беспокойно,
Ярко, ясно и весело...
Но длинны паутинные волокна
Меж колокольчиками синими...
Но закрыты высокие окна
На даче с райским именем.
И напрасно себя занять я
Стараюсь этими строчками:
Не мелькнет белое платье
С лиловыми цветочками.

Октябрь, 1927.

А еще через год я прожила у них три дня, в Торран, над Грассом, и она подарила мне листок с тремя стихотворениями, написанными в эти дни. Эти стихи удивили меня, они показали мне неожиданную неясность ее ко мне и тронули меня. Два из них, под названием «Ей в горах», вошли в книгу «Сияния», а третье напечатано не было. На моем листке они называются «Ей в Торран».

1.

Я не безвольно, не бесцельно
Хранил лиловый мой цветок,
Принес его длинностебельный
И положил у милых ног.

А ты не хочешь... Ты не рада...
Напрасно взгляд твой я ловлю.
Но пусть! Не хочешь, и не надо:
Я всё равно тебя люблю.

2.

Новый цветок я найду в лесу,
В твою неотвечность не верю, не верю.
Новый лиловый я принесу
В дом твой прозрачный, с узкою дверью.

Но стало мне страшно, там у ручья,
Вздрыгнул туман из ущелья, стылый...
Только, шипя, проползла змея,
И я не нашел цветка для милой.

3.

В желтом закате ты — как свеча.
Опять я стою пред тобой бессловно.
Падают светлые складки плаща
К ногам любимой так нежно и ровно.

Детская радость твоя кратка,
Ты и без слов сама угадаешь,
Что приношу я вместо цветка,
И ты угадала, ты принимаешь.

Торран, 1928.

В Торран к Мережковским я поехала из Антиб на автобусе. Ходасевич болел, мы тогда жили с В. В. Вейдле и его будущей женой на даче. Торран — место в горах, высоко-высоко, в Приморских Альпах, и там, в старом замке, Мережковские снимали один этаж. В самой башне была наскоро устроена ванная; кругом замка стояли сосны, черные, прямые, и за ними, на высокой горе, напротив окон столовой, видны были развалины другого замка, — ...который был построен тогда, когда еще не был написан «Дон Кихот», — возвестил мне Д. С. при встрече. Спать меня положили в узкой, длинной комнате, в квартире хозяев замка, и там стояли на полках книги XVII и XVIII веков, на палец покрытые пылью.

Днем мы ходили гулять, вдоль ручья, который шумел и прыгал по камням, и Д. С. говорил, глядя, как водяные пауки стараются удержаться изо всех сил, чтобы не быть унесенными, работая ножками:

— Зина! Они против течения! Они совсем как мы с тобой!

Ручей поворачивал, успокаивался, тихонько журчал, убегая, и Д. С. опять говорил, но уже ни к кому не обращаясь:

— Лепечет мне таинственную сагу про чудный край, откуда мчится он, — и внезапно останавливался и начинал вспоминать, как они когда-то жили под Лугой (где у Карташева болел живот), так что нетрудно было догадаться, что «чудный край» для него мог быть только один на свете.

Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: какие же могут быть письма, если не расставались ни на один день? Помню, как на его отпевании в русской церкви на улице Дарю, она стояла, покачиваясь от слабости на стройных ногах, положив руку на руку Злобина, и он, прямой и сильный, и такой внимательный к ней, неподвижный, как скала, стоял, и потом повел ее за гробом. И как года через полтора на деньги французского издательства был на могиле Д. С. поставлен памятник, с надписью: «Да придет Царствие Твое!» и каждый раз, когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слегка картавящий на обоих «р», восклицающий это заклинание, в которое он вкладывал особый, свой смысл. <...>





А. БАХРАХ

Померкший спутник

Вспоминаю, как, будучи еще гимназистом старших классов, я получил на Рождество в подарок от моего деда собрание сочинений Мережковского, заключенное в огромную коробку из претолстого картона. Я и сейчас вижу ее перед глазами. Кажется мне, что она вмещала свыше 20 томов. Я почти захлебывался от радости, потому что перед Мережковским преклонялся. Его трилогию «Воскресшие боги» я успел прочитать еще до получения подарка, а его «Вечные спутники» были как бы моей настольной книгой.

Затем, как видится на отдалении, «пролетел» совсем куцый отрезок времени, и все вверх тормашками перевернула революция. Из полуголодного Петербурга, с превеликими трудами получив «заграничные паспорта», с родителями устремились мы в сытый «гетманский» Киев, а через некоторое время очутились в эмиграции. И вот в Париже, весной 21-го года, на каком-то многочленном собрании, приуроченном к едва завершившимся кронштадтским событиям, довелось мне впервые увидеть самого Мережковского. Выступал он среди прочих ораторов, из которых запомнился мне только степенный Карташев и сморщенный Бурцев.

Мережковский, маленький, тщедушный, красногубый, в своем выступлении точно острыми шпагами пронзал невидимых противников. Речь его была способна взволновать, хотя в его как будто заранее заученных жестах и модуляциях голоса был приметен легкий налет театральности. Но кому это мешало!

Тогда он, кажется, впервые во всеуслышание словно прожужжал так пришедшийся по вкусу аудитории и сопровождаемый громом аплодисментов лозунг — «Мы не в изгнании — мы в послании». Собственно, все его выступление было развернутым комментарием к этим эффектным словам. Не знаю только, вспом-

нил ли он, сойдя с трибуны, свои собственные строки, одни из немногих запоминающихся из его поэтического наследия: «Держновенны наши речи, / Но на смерть обречены...».

Потом издали мог видеть чету Мережковских. Каждый день в определенный час их можно было встретить в одной из аллей, ведущих к Булонскому лесу. Если было прохладно, он устремлялся быстрыми шажками, словно стараясь вынырнуть из необычайно длиннополой шубы отнюдь не парижского покроя. Издали казалось, что Гиппиус в каком-то экстравагантном туалете — одеваться со вкусом она никогда не умела — словно одергивает своего супруга и удерживает его стремительность.

А познакомился я с ними позже в самом изысканном из парижских литературных «салонов», у милейших Ц. Как иногда бывает, несмотря на еще не стершийся пиетет к «спутнику» моих юношеских лет, с первого взгляда, с первого незначущего рукопожатия я ощутил в нем что-то для меня неприятное, даже в каком-то смысле отпугивающее. Вероятно, из-за этого первого, и, в конце концов, совершенно необоснованного впечатления, я так и не стал посетителем его «воскресников», точнее журфиксов его жены, так как на них «хозяйкой дома» была она и только она. Сам Мережковский был почти на правах гостя.

В знаменитой в анналах русской литературы квартире на «рю де Колонель Бонне» мне случалось побывать не больше двух-трех раз, но я запомнил, что эта квартира резко отличалась от жилищ всех других русских литераторов Парижа. Да это и немудрено — Мережковские снимали свою квартиру с «доисторических» времен, довольно безалаберно обставили ее в стиле модерн с ирисовыми разводами и — случай почти единственный — после революции прибыли в Париж с ключом от входной двери в собственную квартиру.

Но дело было, конечно, не в устаревшем к тому времени «югендшtile». Мне было как-то почти неловко наблюдать сидевших вокруг чайного стола гостей, в большинстве моих приятелей, которые здесь точно преображались, пыжились, чтобы «прыгнуть выше головы» и щегольнуть каким-нибудь «неизданным» парадоксом. Впрочем, то, что говорилось, едва ли могло вдохновлять Мережковского; можно было подумать, что и за чайным столом, среди гостей, он продолжает думать о своем и только о своем, и едва ли кто-либо из присутствующих ему по-настоящему близок.

Мне была не по душе и направленная на меня лорнетка хозяйки дома, которая своими прищуренными глазами словно хотела разглядеть своего собеседника насквозь. Впрочем, вероятно, я

пристрастен — делала она это без всякого умысла, просто по близорукости, которую часто преувеличивала, как преувеличивала свой дурной слух. Недаром Бунин говорил, что у нее все с расчетом, что просто она ничего не делала, просто не писала даже дневник, всегда с каким-то затаенным вторым... десятым смыслом.

Всегда ли? Адамович не раз говорил, что провести вечер с Гиппиус с глазу на глаз бывает на редкость «уютно и питательно», когда не надо говорить о высоких материях, а можно поболтать о том, о сем, вспоминать старое или посудачить о «младом племени» воскресных сборищ. Всего этого Мережковский не терпел. Он был книжником, вероятно, не мог бы отличить клен от дуба или рожь от овса. Его мир замыкался полками его библиотеки, а собственные его книги были нафаршированы умело подобранными цитатами из малодоступных источников, которые он талантливо скреплял «междущитатными мостиками», так или иначе вставляя между строк разговор о «двух безднах» — бездне вверху и бездне внизу. Ирония была ему чужда, анекдотов он не выносил да едва ли был способен понять их соль. Он разгорался только при обсуждении какой-нибудь метафизической темы, тут он мог даже вспыхнуть. Недаром Блок говорил о нем как об «отвлеченном» человеке, а с годами эта отвлеченность только крепла.

В Париже нельзя было восстановить некогда на шумевшие «религиозно-философские собрания», не было епископа Сергия, чтобы на них председательствовать, придавая им вес, не было Победоносцева, чтобы их запретить. На худой конец, была придумана «Зеленая лампа», но ее пушкинское название никак не вязалось с ее сущностью. В переполненном преимущественно дамами зале на заседаниях «Лампы» говорили о «смысле жизни» или, лучше сказать, о вещах, о которых лучше думать, чем наспех ораторствовать.

Вероятно, вся личная неудовлетворенность Мережковского происходила от того, что он всегда был чрезмерно одинок; приобрел знакомых, но едва ли имел друзей. Он не переставал твердить о «безднах», а едва ли многие хотели заметить, что эти бездны скрыты в нем самом.

Теперь, на известном расстоянии, когда оба они отошли в лучшие миры, я все яснее понимаю негодование Бунина, вызванное весьма настойчивыми предложениями четы Мережковских подписать нотариальное (неприменно нотариальное) соглашение о дележе шкуры убитого медведя, сиречь о дележе нобелевской премии, ежели паче чаяния шведский золотой дождь прольется на одного из них. Бунин не совсем зря говорил, что от «витания в небесах» до хождения к нотариусу шаг невелик!

А ведь теперь становится все более очевидным литературный рост Бунина и угасание Мережковского. Даже может показаться странным, что когда-то их ставили, так сказать, на одну доску и в литературной «табели о рангах» причисляли к одному разряду.

Конечно, нельзя зачеркнуть роль Мережковского в культурном возрождении России начала века, роль вполне замечательного «культуртрегера». Нелепо забывать значение этого «запойного игрока в символы», как о нем очень метко сказал Розанов. Достаточно просмотреть статьи или письма того же Розанова, Блока, Белого, Бердяева, Шестова, Ремизова, любого представителя «серебряного века», чтобы в этом убедиться, чтобы ощутить удельный вес Мережковского. Но, как падающая звезда, он ярко осветил русское небо и погас. Погас именно тогда, когда очутился в «изгнании», не достигнув того (да это было и немислимо), чтобы быть в «послании».

Можно поэтому понять, что теперь, когда точно из рога избылиа сыпятся переиздания всяких русских книг, часто никому не нужных, никто не подумал о переиздании Мережковского, даже лучшего и, вероятно, наиболее непреходящего в его литературном наследии исследования о Толстом и Достоевском, о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа». Впрочем, оговорюсь, в Англии была переиздана его книжечка о Пушкине, собственно, заключительная глава его «Вечных спутников». Она вызывает теперь чувство недоумения, так как почти сплошь основывается на подложных воспоминаниях Смирновой, той, которая «шутки злости самой черной писала прямо набело». Но эти воспоминания — и в этом едва ли можно сомневаться — были сочинены ее дочерью, которая ни за что, ни про что вкладывала в уста Пушкина разговоры о бессмертии души и об «обаянии зла». Мало того, по словам Мережковского, псевдо-Смирнова разоблачала «то, что мы, так сказать, видя — не видели, слыша — не слышали», а в придачу повествовала об оценке Пушкиным «Трех мушкетеров», увидевших свет через четыре года после дуэли на Черной речке!

Можно ли удивляться, что современному читателю невдомек знакомиться с романами Мережковского, в которых действуют приодетые в костюмы эпохи, искусно расставленные манекены, все как на подбор произносящие софизмы в духе самого автора, да еще с обилием — часто чуть раздражающих — фраз, лишенных подлежащего.

Можно легко поверить Бунину, который рассказывал, что как-то на ночь принялся за чтение монографии Мережковского о Данте, на какой-то странице заснул, а проснувшись, возобновил прерванное чтение и не сразу обратил внимание на то, что Данте за

ночь превратился в Наполеона. Оказалось, что он взял со своего ночного столика другую книгу Мережковского, но строй фразы, словарь, ритм повествования были настолько однотонны, что он не сразу заметил свою оплошность.

В одном из стихотворений Мережковского есть строка: «Холод утра — это мы». Это подлинно пронзительные слова, за которые ему многое зачтется. Но знал ли он, когда ему их нашептывала его Муза, что трудно было придумать более точное автобиографическое признание. Да, именно «холод утра — это мы», «мы» потому, что ведь не скажешь «это я!».





И. ОДОЕВЦЕВА

На берегах Сены

<фрагмент>

Ту зиму, зиму 1925—1926 года, мы с Георгием Ивановым проводили в Ницце.

Из Парижа Георгий Адамович писал нам, что он постоянно бывает у Мережковских, и что они, как когда-то в Петербурге, возобновили свои «воскресенья», игравшие немалую роль в революционной литературной жизни.

Я еще в детстве увлекалась трилогией Мережковского — «Петром и Алексеем», «Юлианом Отступником» и особенно «Леонардо да Винчи». Читала я и «Александр Первый», «Гоголь и черт», «Толстой и Достоевский». Видела на сцене и «Павла I», до революции находившегося под запретом.

Знала я, конечно, и стихи Зинаиды Гиппиус. Они мне не очень нравились своей рассудочностью и, главное, тем, что она писала о себе в мужском, а не в женском роде.

Все же я знала наизусть два ее стихотворения. Первое очень любил Блок:

Окно мое высоко над землей,
Высоко над землей.
Я вижу только небо с вечернею зарей,
С вечернею зарей —

с его качающимся ритмом, с его редко свойственной Гиппиус музыкальностью и неожиданно прелестным концом, таким характерным для всегда и всем недовольной Гиппиус:

Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

И второе:

Единый раз вскипает пена
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет — любовь одна...

Читала я, конечно, и Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус), беспощадного критика, ведущего суд и расправу над современной прозой и поэзией.

Антон Крайнего боялись не меньше, чем самого Брюсова. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде: «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин» и тому подобными вежливыми характеристиками писателей.

На похвалы Антон Крайний был чрезвычайно скуп. Даже о «Стихах о Прекрасной Даме» Блока он отозвался более чем сдержанно.

О Зинаиде Гиппиус в Петербурге ходили всевозможные легенды, как, впрочем, обо всех знаменитых писателях и писательницах.

Рассказывали, что она выходила на сцену в белом хитоне с распущенными длинными рыжими волосами, держа лилию в руках, и молитвенно произносила:

Я сам себя люблю как Бога.

Рассказывали, что она требует, чтобы все ее бесчисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывала их на цепочку, висевшую в изголовье ее кровати.

Видела я и прославленный портрет Бакста, где она изображена в черном трико, казавшемся в те далекие годы фантастически неприличным и скандальным.

Мне не раз в Петербурге приходилось слышать во время моих чтений стихов восхищенные восклицания пожилых представительниц художественной богемы:

— Совсем наша Зина!

Хотя, судя по ее портрету, я ничем не была похожа на нее.

О Мережковском я знала, что он всемирно знаменит, дома ходит в ночных туфлях с помпонами, пишет четыре часа в день, каждый день, что бы ни случилось, остальное время проводит в бесконечных дискуссиях с Розановым, Булгаковым, а главное — с Философовым и Зинаидой Гиппиус.

Адамович писал нам, что З. Н. Гиппиус выразила желание познакомиться с Георгием Ивановым и мной, и мы, не долго думая, собрались и поехали в Париж.

И вот мы на 11-бис, рю Колонель Боннэ, у Мережковских.

Вполне буржуазный дом, вполне буржуазная, хотя и очень скромная и бескусно обставленная квартира с многотомной библиотекой. Мережковский всегда и всюду первым делом обзаводился библиотекой. Он не мог и дня прожить без книг. В разговоре он постоянно цитировал древних и средневековых авторов. Его недаром называли «полководцем цитат».

Квартира была снята Мережковским еще задолго до войны, чтобы во время приездов в Париж не приходилось — «ведь это так неудобно» — жить в отеле. «И как она теперь пригодилась! Ведь в Париже квартирный кризис. Что бы мы стали делать, если бы у нас ее не было?»

Чаепитие почему-то происходит в это воскресенье не в столовой, а в смежной с нею гостиной, за небольшим столом. Гости сидят вокруг него двойным кольцом.

Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него — попеременно — то меня, то Георгия Иванова.

Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом — очень неудобно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль *jeune fille de la maison* *, находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрестному вопрос-допросу: «что, как и зачем, а если нет — то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается — интересуется. Если не всем, то все же главным — спасением России и поэзии.

Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается.

Нет, она совсем не похожа ни на портрет Бакста, ни на воображаемый портрет, созданный мною по рассказам о ней. И она ничем не похожа на меня. Абсолютно ничем. И слава Богу!

* девушка в доме (франц.).

Впрочем, одним она все же схожа, со своим воображаемым портретом — страстным желанием нравиться, «будить повсюду восхищение», сквозящим в каждом ее жесте, в каждом слове, лениво и капризно произносимом ею.

Да, она могла снимать с рук своих поклонников обручальные кольца.

Я спрашиваю себя: уж не потребует ли она и у Георгия Иванова его обручальное кольцо?

Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой». «Женщина — безумная горячка» — еще и сейчас правильно сказано о ней. Но «зеленоглазая наядка»... Как он мог?..

У нее мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы... Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, старомодную прическу с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть, большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все ее собственные. Она до последних дней сохранила длинные, густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими.

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на груди большая ярко-зеленая роза и кораллово-красная ленточка на шее.

Я разочарованно гляжу на нее. В ней что-то неестественное, даже немного жуткое. Она чем-то — не знаю чем — о, только не красотой — смутно напоминает мне Панночку Вия.

Но, может быть, я несправедлива к ней и слишком строга?

У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых туфельках и стройная, изящная фигура.

Может быть, надо только привыкнуть к ее гриму, к ее маскарадному наряду, к ее жеманно-ленивой манерности и лорнету? Может быть, она действительно могла казаться когда-то «зеленоглазой наядой»?

Нет, я еще не могу правильно судить о ней. Я не доверяю первым впечатлениям. Я перевожу взгляд на сидящего рядом с ней Георгия Иванова, и по выражению его лица мне сразу становится ясно, что он-то уже подпал под ее шарм, что он уже покорен ею. А ведь он очень строго судит о людях и понравиться ему трудно. Возможно, я ошибаюсь. И я действительно в тот день ошибалась, судя о ней. Никогда я так неправильно, так несправедливо не судила — ни о ком, как в ту первую встречу о Гиппиус.

Но смягчающее мою вину обстоятельство — ни у кого «внешнее» и «внутреннее» так не расходились и даже, казалось, не враждовали друг с другом.

Я видела всегда только ее внешнее. О ее внутреннем я ничего не знала и даже не догадывалась, какое оно...

Я перевожу взгляд на Мережковского. Он-то по крайней мере совсем, точь-в-точь, как мне его описывали — маленький, худой, сутулый до сгорбленности, с поразительно молодыми, живыми, зверино-зоркими глазами на старом лице, обрамленном интеллигентской бородкой.

Вот он встает. Ему понадобилась в разгаре спора, для цитаты, какая-то книга, и он мелкими, бесшумными шажками идет за ней в кабинет.

Да. Он совсем точь-в-точь такой. Для полного сходства не хватает только помпонов на синих войлочных туфлях. Но где в Париже найти туфли с помпонами?

Он возвращается, держа раскрытую книгу в руках и убедительно произнося непонятную мне греческую цитату.

Он весь сверкает и горит вдохновеньем. Слова его пенятся, плещут и льются водопадом. Я за всю жизнь не встречала никого, умеющего так говорить и импровизировать.

Никого, за исключением Андрея Белого, тоже рассыпавшегося блесками, искрами и брызгами в яростном водовороте слов и образов, — он, как на качелях взлетающий на доказательствах, рушившийся в бездну отрицания и закруживающий, как на карусели, слушателя, до отупения, до головокружения, до невозможности спорить, до безоговорочного принятия всего и согласия со всем, что с неистовым красноречием утверждает Андрей Белый.

Впрочем, у Мережковского была черта, отсутствовавшая у Андрея Белого, — умение концентрироваться и постоянное, никогда не ослабевающее устремление всех мыслей и воли к одной цели: к созданию Царства Духа, к преображению души.

Сейчас он спорит с чисто юношеской запальчивостью и жаром о дате смерти какого-то неизвестного мне фараона с сидящим рядом с ним худощавым брюнетом — с Юрием Терапиано, как мне услужливо сообщает устроившийся во втором круге за моей спиной очень длинный и длинноволосый, сидящий молодой поэт Антонин Ладинский, как он мне представился, по-военному щелкнув каблуками.

Здесь, за исключением Адамовича и Оцуца, Георгия Иванова и меня, почти все «молодые поэты». Молодые не столь годами, как творчеством. Все они начали печатать свои стихи уже в эмиграции.

Всех их я вижу впервые. Я обвожу их взглядом, перескакивая с одного незнакомого лица на другое, запоминая лишь ка-

кую-нибудь деталь — серьезный, сосредоточенный вид Терапиано, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злобина, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина.

Все они, вместе с Гиппиус и Мережковским, Адамовичем и Оцупом, сливаются в одну картину. Ее надо непременно запомнить. Ее нельзя забыть. Ведь это одно из самых интересных и значительных событий, что сейчас происходит в эмиграции, — «воскресенье» на рю Колонель Боннэ.

Зинаида Николаевна уже перестала наводить на меня лорнет. Она подносит чашку кофе к губам, прислушиваясь к тому, что говорит Мережковский.

Перед ней стоит маленький кофейник. Пить кофе полагается только ей одной. Остальные, независимо от их вкусов, о которых никто не осведомляется, довольствуются чаем.

— Нет, Димитрий. Я не согласна! — вдруг громко, капризным тоном заявляет она, прерывая страстную тираду Мережковского.

«Я не согласна» — фраза, наиболее часто — кстати или не совсем кстати — произносимая ею. Утилитарная, ширпотребная фраза, паспарту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее:

— Я не согласна с Эйнштейном! или — с Бергсоном! или — с Алдановым! или — со Степуном!

Иногда, по глухоте — она из кокетства старается скрывать ее — не расслышав, о чем спрашивают, отвечает: — А я не согласна!..

И чаще всего ее ответ производит магическое действие.

Так, например, молодой поэт, робея и смущаясь, задает ей вопрос:

— Зинаида Николаевна, вы читали мои стихи в «Звене»?

И она роняет капризно-кокетливо:

— Нет. Я не согласна.

Спрашивающий в смущении замолкает. Стихи его, должно быть, не понравились Зинаиде Николаевне, неизвестно почему. Но не стоит настаивать. Ведь она любит повторять афоризм: «Если надо объяснять, то не надо объяснять». И он не решается требовать объяснений.

Сейчас я впервые слышу от нее ее знаменитый протест, о котором мне когда-то рассказывал еще Гумилев в Петербурге.

Я вся превращаюсь в слух. Я хочу знать, с чем она, собственно, не согласна, мне хочется услышать парадоксальные выводы и доводы ее блестящего, острого, не женского ума.

Нет, все-таки женского — ведь ведьма — женщина. Троицкий писал когда-то: «Я не верю в существование нечистой силы (цитирую по памяти). Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю, — вспомнил Зинаиду Гиппиус». И тут же отдает дань ее исключительному уму.

Но послушать Зинаиду Николаевну мне в тот день не удается.

Ко мне близко наклоняется сидящий за мной Антонин Ладинский и шепчет мне в самое ухо:

— Какой ваш любимый цветок?

Я поворачиваюсь и чуть не стукаюсь лбом о его лоб.

— Что?

— Какой ваш любимый цветок? — повторяет он. — Я уверен, что роза. Правда? Я угадал?

Переход от рассуждений об Атлантиде к любимому цветку так неожиданно фантастичен, что я с трудом удерживаю смех.

А он, наклонившись ко мне, ждет моего ответа.

Верно, он, глядя на меня, подумал: «Бедненькая, сидит, молчит и скучает, слушая непонятное. Надо ее занять подходящим разговором», — и, как телеграфист, гуляющий по железнодорожной платформе со станционной барышней, задал мне галантный, доступный моему пониманию вопрос.

Я киваю.

— Вы правильно угадали — роза!

Он широко улыбается, прикрывая рот характерным жестом, и произносит:

— Я был уверен. Вы сами похожи на белую розу!

Я не успеваю поблагодарить его за такой оригинальный комплимент.

Зинаида Николаевна встает, и все за ней. Прием окончен. Шум отодвигающихся стульев. Все подходят прощаться с Зинаидой Николаевной. Подхожу и я.

— Надеюсь, вы будете постоянно бывать у нас. Каждое воскресенье, — любезно и капризно тянет она. — С вашим мужем мы уже сговорились. Он обещал. А вы?

И я, краснея от удовольствия:

— Обещаю, Зинаида Николаевна.

Да, я тогда, в то первое «воскресенье» у Мережковских, еще не могла правильно судить о Зинаиде Гиппиус.

Я многое в ней не разглядела и не поняла. Я не разглядела даже, что у ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло, что это не лорнетка, а единственный в своем роде пред-

мет — монобль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу.

В те далекие годы монобли еще были в ходу — их носили изящные старики и снобистские молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монобле или с моноблем была совершенно немислима.

Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монобль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем как надеть перчатки.

Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице совершенно необычайное зрелище.

Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой — тогда такие китайцы еще встречались, — на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих.

Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед.

Я и сама, встретив их впервые, не смогла не остановиться, пораженная их видом.

Они шли под руку — вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона — тогда носили маленькие «клоши», надвинутые до бровей, — с моноблем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому — орденом Саввы II степени.

Король Александр Сербский пожаловал Гиппиус Савву II степени, а Мережковскому того же Савву, но I степени, что ею было принято не без некоторой обиды. Мережковский, впрочем, никогда о своем Савве I степени не вспоминал и никогда не надевал его, не в пример Зинаиде Николаевне, не расстававшейся со своим орденом, как с любимой игрушкой.

Они ежедневно обходили небольшую часть Булонского леса, называемую Парк де ля Мюэтт, а потом, тоже по раз навсегда заведенному ритуалу, шли пить кофе в кафе на площади, садясь всегда за один и тот же столик.

В кафе их хорошо знали. Не только гарсоны, но и постоянные посетители. Знали, что это *deux grands écrivains russes* * и к ним относились с должным уважением.

И во время прогулки, и в кафе они говорили, не умолкая. Они всегда находили интересную для них тему и горячо обсуждали события двадцатилетней давности и происшествия сегодняшнего дня. Они как будто не чувствовали ни «груза времени», ни даже границ между жизнью и смертью. О живых и мертвых они говорили совершенно одинаково. Для них мертвые, наравне с живыми, действовали и участвовали в их беседах.

— Нет-нет, — повторяла Зинаида Николаевна, — я не согласна с Яковом Петровичем. Ему кажется, что он всегда прав и что он пишет хорошо. А по-моему —

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа —

просто плохо. Почему писатель должен быть нервом народа? И какой такой «нерв народа»? Один нерв?.. И дальше: что это значит? —

Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Поражен — удивлен? Или поражен — от поражения — то есть не понести поражения? — И, пожимая капризно плечами: — Не понимаю. И понимать не хочу. А Яков Петрович спорит. Он ведь всегда доволен собой, «своим обедом и женой».

Она говорит «спорит», а не «спорил». Спорил больше чем тридцать лет тому назад. Но для Зинаиды Николаевны Полонский не умирал, он по-прежнему ее собеседник. И с ним, как и с другими, игравшими какую-нибудь роль в ее жизни, встреченными ею на длинном жизненном пути, она продолжает споры-разговоры.

С того первого нашего «воскресенья» я бывала на 11-бис Колонель Боннэ почти каждое воскресенье. Зинаида Николаевна очень подружилась с Георгием Ивановым. Она часто приглашала его к себе вечером и просиживала с ним до «глубины ночи», с глазу на глаз, и он ни разу не отказался навестить ее. Даже когда я бывала больна, и он никуда из дома не выходил, для Зинаиды Николаевны он делал исключение.

Правда, мне и в голову не приходило попросить его не ходить к ней. Я знала, что эти вечерние посещения доставляют ему большое удовольствие.

* Два больших русских писателя (фр.).

Мережковские вели размеренную по часам жизнь. Зинаида Николаевна ложилась поздно, проводя полночи в писании писем, дневника, стихов, рассказов и статей, и вставала очень поздно. Ее утро было занято «обрядностями туалета». К ним она относилась крайне серьезно и добросовестно, никогда не забывая произвести над своим лицом все то, что могло «réparer de l'âge l'irréparable outrage» *.

Она выходила из своей комнаты только к завтраку, уже вполне одетая, причесанная, подкрашенная и подтянутая.

Мережковский ложился рано, вставал рано и работал все утро до завтрака.

После завтрака они шли гулять в любую погоду — в холод и дождь, считая прогулку не менее необходимой, чем сон и пищу.

Они оба курили. Но не больше раз навсегда положенного числа папирос и только после завтрака. О лечении и гигиене у них были свои особые, довольно странные понятия.

Так, например, на мой совет поехать летом в Виттель или в Виши Мережковский в ужасе замахал на меня руками:

— Бога побойтесь. Смерти вы нашей хотите, что ли? Минеральная вода — яд!

И Зинаида Николаевна поддержала его:

— Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев. — И тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот. — Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала:

— Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось...

Ларошфуко в своих «Максимах» утверждает, что «существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает». И это, к сожалению, правильно. В особенности у нас, русских и особенно в художественных и литературных кругах.

Тэффи, «великая умница-остроумница», как ее называл Бунин, со свойственным ей юмором прерывала надоевшие ей политические споры, без которых не обходился ни один эмигрантский обед:

— Довольно! Теперь займемся очередными литературными делами, поговорим о романах, о том, кто с кем разводится, кто на ком собирается жениться, и кто кому с кем изменяет.

* «обратить вспять необратимое время» (фр.).

И действительно, среди писателей почти не существовало ни одной супружеской пары, не разводившейся, не вступавшей по нескольку раз в новый брак. Даже Михаил Осоргин, героически решившийся перейти, для женитьбы на Рахили Григорьевне, в еврейство, и тот не выдержал, не избежал общей участи — развода.

Но брак Гиппиус — Мережковский опровергает утверждения Ларошфуко. Это был поистине «восхитительный брак».

Вернувшись из Италии, куда они ездили по приглашению Муссолини, Зинаида Николаевна на одном из «воскресений» делаясь своими «итальянскими впечатлениями», рассказывала между прочим и о мелких, неизбежных неприятностях. О том как они забыли в Риме ключи от своих чемоданов и обнаружили это, только приехав уже не помню в какой город:

— Так досадно и глупо. Так утомительно. Нам пришлось возвратиться в Рим. И сколько денег стоило. Туда и обратно два билета в спальном вагоне.

— Но почему же не поехал Димитрий Сергеевич один? Почему вы, Зинаида Николаевна, тоже ездили? — недоумевали слушатели.

Она только плечами пожимала.

— Ну нет! Совершенно невозможно. Немыслимо! Чтобы мы хоть одну ночь провели не вместе? Этого за всю нашу жизнь не было. И надеюсь, никогда не будет.

Они так до самой смерти Димитрия Сергеевича и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей об всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе они как будто переменились ролями — Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский — женским. В ней было много М — по Вейнингеру, а в нем доминировало Ж. Она представляла собой логику, он — интуицию.

Они вели непрерывно дискуссии и споры, опровергая друг друга. Со стороны это казалось чрезвычайно странным. В особенности, когда эти споры происходили на собраниях «Зеленой лампы».

Зинаида Николаевна, всегда усаживавшаяся на эстраду рядом с выступавшим Мережковским, чтобы чего-нибудь не пропустить, не недослышать, вдруг прерывала его речь капризами:

— Нет, я не согласна, Димитрий. Ты ошибаешься. Это совсем не так! — После чего сразу же закипала яростная словесная дуэль, оба противника скрещивали шпаги и наносили друг другу искусные и жестокие удары.

Слушатели замирали от изумления. Некоторые из них даже считали, что это подстроено, что это «трюк» для придачи занимательности выступлениям Мережковского. Разве можно поверить, что Мережковский публично ссорился с Гиппиус? И чем же это кончится, если это не подстроено? Чем?..

А кончалось это обычно так же неожиданно, как и начиналось. Высказав с предельной резкостью все свои доводы, Мережковский сразу превращался в любящего мужа, нежно и заботливо брал Гиппиус под руку, помогая ей сойти с эстрады:

— Осторожно, Зина, ступенька. Не оступись! — подводил ее к месту в первом ряду, усаживал ее и бережно поправлял лисицу, спустившуюся с ее плеча, осведомляясь: — Тебе не холодно? Не дует, Зина? Не принести ли тебе шубку? Не простудись.

И она, улыбаясь, благодарила его.

— Нет, хорошо. Спасибо, Димитрий, — и приготавливалась слушать следующего оратора.

Заседания «Зеленой лампы»...

«Зеленая лампа», безусловно, одно из замечательнейших явлений довоенной эмиграции.

Она была задумана на «воскресеньях» на 11-бис, Колонель Боннэ, с каждой неделей становившихся все более интересными и многолюдными. Теперь на «воскресеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой, и Фондаминский, и Бунин, и Керенский, и Варшавский, и Шаршун, и Тэффи, и Шестов, и Бердяев... Кто только не посещал «воскресений»? Всех не перечесать.

На «воскресеньях» обсуждались общественные, политические, литературные и религиозные вопросы, чаще всего под свойственным Мережковскому «метафизическим углом зрения».

Отвергал Мережковский только разговоры, общепринятые за чайным столом, — о здоровье, о погоде и тому подобном, и немедленно пресекал их возмущенным возгласом:

— Обывательщина!

Вскоре выяснилось, что «воскресенья» становятся чем-то вроде «инкубатора идей», каким-то тайным обществом или заговором. И Мережковский, и Гиппиус, одержимые страстью «глаголом жечь сердца людей» и владеть их умами, решили расширить

поле своей деятельности, перенести дебаты-дискуссии, в которых из столкновений мнений должна была рождаться истина, из их столовой на «общественную арену». Расширить круг «тайных заговорщиков», перебросить мост в толщу аморфной эмиграции и заставить ее приобщиться к истине.

Название «Зеленая лампа» напоминало о тайном кружке Всеволожского. В нем участвовал и Пушкин.

Теперь, через столько лет, мне кажется, что Мережковские мечтали создать что-то вроде Pugwash*, о котором столько пишут и говорят сейчас. Не интернациональный и не научный, а эмигрантский писательско-философско-религиозный. Как и нынешний Pugwash, являющийся некоей доброй оккультной силой, «Зеленая лампа» должна была спасти если не весь мир, то по крайней мере Россию и ее филиал — эмиграцию.

Что эмиграцию надо спасти не только от «обывательщины», но и от гордыни и самоунижения, от отчаяния и потери веры в будущее, что надо ей помочь организоваться духовно и управлять ею, было для Мережковского несомненным. Всем этим с помощью «заговорщиков воскресников» и должна была заняться «Зеленая лампа».

«Зеленая лампа» начала свое существование 5 февраля 1927 года.

В день открытия В. Ф. Ходасевич объяснил собравшимся, чем была «Зеленая лампа» во времена Пушкина. После чего был прочитан первый доклад, сопровождавшийся прениями, сразу, как и доклад, произведшими на слушателей сильное впечатление отсутствием академичности и необычной страстностью, горячностью и парадоксальными мыслями, высказываемыми не только Мережковским, но и большинством «заговорщиков».

Так, во время одного из первых заседаний молодой поэт Давид Кнут заявил, что литературная столица России теперь не Москва, а Париж, чем, конечно, вызвал бурные дебаты и реплики с места.

Доклады следовали один за другим. Гиппиус говорила о «Русской литературе в изгнании», Фондаминский-Бунаков — о «Русской интеллигенции как о духовном ордене», Адамович — о том, «есть ли цель у поэзии», и так далее, и так далее.

«Зеленой лампой» заинтересовались широкие круги эмиграции. Многие стали «добиваться чести» попасть на ее заседания. Для этого требовалось письменное приглашение. Правда, дававшееся без особых затруднений.

* Пагуошское движение за мир, разоружение и международную безопасность.

Аудитория первых лет существования «Зеленой лампы» была повышено нервной, верившей в то, что с такой страстью проповедовал Мережковский. Она выражала свое одобрение взрывами аплодисментов, а несогласие и протест — криком и топотом ног.

Мережковский, в особенности в ответах оппонентам, когда он импровизировал, а не произносил заранее подготовленную и продуманную речь, достигал необычайной силы и даже магии. Да, именно магии, не нахожу другого слова.

Казалось, что он вырастает, поднимается все выше и выше, отделяется от земли. Голос его звенел, широко открытые глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сквозь стену, туда, в ему одному открытое будущее, которое он так пламенно описывал очарованным, околдованным, боящимся перевести дух слушателям.

Тогда он действительно казался пророком, и слушатели свято верили, что он «носитель мысли великой».

«Зеленая лампа» заставила многих слушателей (слушателей действительно бывало много, особенно когда заседания происходили в зале «Плейель») серьезнее и лучше понять происходящее и — что не менее важно — самих себя.

«Воскресенья» и «Зеленая лампа» воспитали ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но и ясно высказывать свои мысли. Ведь большинство воскресных «заговорщиков» выступали с докладами, предварительно обсуждавшимися на 11-бис, рю Колонель Боннэ, и принимали участие в прениях.

Из всех посетителей «воскресений», кажется, только я одна ни разу не прочла в «Зеленой лампе» доклада, никогда не участвовала в прениях и даже с места не подавала реплик. Все же я, по настойчивому требованию Мережковского, выступила один раз на большом вечере «О любви», двойном вечере в зале «Плейель».

Слушателей собралось на такую интересную для всех тему видимо-невидимо.

Не скрою, что я, как, впрочем, большинство французских ораторов, написала свою речь и выучила ее наизусть, не раз старательно прорепетировала перед зеркалом жесты и мимику. И неожиданно «блеснула красноречием» — ко всеобщему удивлению.

Мережковский даже заявил на последовавшем после вечера «О любви» «воскресенье», что «речь Одоевцевой была лучше всех». Что, конечно, никак не соответствовало истине. Просто он был удивлен, что и я могу что-то сказать, что-то соображаю. Моя внешность и мой тогдашний легкомысленный вид как будто противоречили этому.

Сам Мережковский произнес на первом вечере блестящую речь:

— Миром правят Нейкос и Филотес, Распря и Дружество — учит Эмпедокл. Или — противоположное, созвучное: Эрос и Эрис, Любовь и Ненависть, Мир и Война. Язва убийства — война: язва рождения — Содом. Пол с войной пересекается... Кровь сначала загорается похотью, а потом льется на войне...

— Благодарю Тебя, Господи, что я никого не родил и никого не убил. В этой, несколько странной для непосвященных молитве, русский ученик Платона, Вл. Соловьев, соединяет эти две язвы в одну...

— И я поэтому с Соловьевым! — воскликнул Мережковский, ударяя себя в грудь.

Не обошлось и без курьеза. На втором из этих вечеров выступила Тэффи — ведь это был полный парад-алле и смотр всех, посещавших «воскресенья».

Тэффи, должно быть сознавая всю ответственность предпринятого ею дела, взялась за него даже слишком глубокомысленно и написала целый ученый доклад — об аскезе.

Когда она в нарядном красном платье появилась на эстраде, в зрительном зале все радостно встрепенулись и заулыбались — наконец-то можно будет посмеяться!

И действительно, с первой фразы Тэффи об аскезе, с первой, с трудом произнесенной ею греческой цитаты раздался то тут, то там смех. Должно быть, некоторым слушателям показалось, что это все очень забавно и остроумно, а они одни не понимают такого тонкого юмора. И они на всякий случай стали смеяться.

Тэффи, разложив перед собой большие листы, исписанные ее крупным, неровным почерком, торопливо читала, напрягая голос, чтобы перекричать смех, свой длиннейший обстоятельный доклад. Начала она с языческого аскетизма, всесторонне разобрала египетский монахизм и его три стадии, приведя ряд греческих и латинских цитат.

Она, наконец, после подробного описания жизни св. Антония, сделанного Апаназом (в ней должное место было отведено и свинье св. Антония), перешла к различным мифам, посвященным отцам-пустынникам. О том, как львы похоронили св. Павла в пустыне, о том, как лев — должно быть, уже другой, не из компании тех львов-могильщиков — уступил св. Мальку свою пещеру, о крокодиле, переправившем на своей спине какого-то пустынника через Нил, о картине Веласкеса, изображавшей ворона, принесшего спорящим монахам-аскетам, забывшим среди мо-

литв и споров о Боге подкрепиться монастырской трапезой, хлеб. Теперь хохотал уже весь зал.

Бедная Тэффи все же мужественно дочитала свой ученый доклад. Дочитала до самой последней точки, не пропустив ни одной цитаты.

И слушатели устроили ей грандиозную овацию.

— Ах, уж эта Надежда Александровна! Ну кто, кроме нее, может придумать такое смешное? — восторженно повторяла седая дама меценатской внешности, отбивая свои пухлые, украшенные бриллиантами руки. — Ах, до чего, до чего смешно! Даст же Бог такой талант человеку!

Тэффи вошла в артистическую красная, краснее своего красного платья, и, остановившись на пороге, развела руками:

— Слышали? Я когда-то, еще до революции, написала рассказ об аптекарском ученике Котомке, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хохочут. «Покажи им Венеру Милосскую, так они, наверное, лопнут от смеха», — рассуждает он про себя. Вот и я сейчас моего Котомку разыграла. — Она швырнула рассыпавшиеся листы на пол. — А сколько мне труда и времени эта проклятая аскеза стоила! Нет, в первый и последний раз в жизни читаю доклад. Дайте лимонаду. Даже горло пересохло.

В антрактах Гиппиус, улыбаясь, объясняла подходившим к ней, что ей доклад Тэффи многое открыл.

— Я благодарна Надежде Александровне. Очень благодарна. Я поняла то, чего раньше не понимала, не хотела понять. — И, понизив голос, полушепотом: — Не об аскезе, нет. Я впервые из-за Тэффи оценила здравый смысл дедушки Крылова, поняла, что и он бывает прав. Да еще и как:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник.

Гиппиус и Тэффи не очень симпатизировали и охотно критиковали друг друга, конечно, за глаза.

Но Тэффи все любили. И читатели, и знакомые, и друзья. Я никогда никого не встречала, относившегося к ней плохо. Тогда как Гиппиус многие терпеть не могли. Ее не мог терпеть, прямо ненавидел даже очаровательный Андрей Седых, один из самых милых и добрых людей эмиграции. Правда, она действительно скверно поступила по отношению к нему.

В 30-х годах «Зеленая лампа» уже не горела ослепительно и не проливали яркого света на эмиграцию, освещая ее совесть, душу, ум. Все, не исключая Мерезжковского и Гиппиус, чувство-

вали, что «заговор» не удался, хотя они и не сознавались в этом не только публично, но даже самим себе.

Некоторые участники «Зеленой лампы» покинули ее. Так, ушел Ходасевич. Уход Ходасевича был воспринят очень болезненно — Ходасевич был одним из ярких лучей «Лампы». Уход его стал считаться «изменой», и отношения между ним и Гиппиус — Мережковским охладились навсегда.

Все же «Лампа», все более сокращая круг своей деятельности, просуществовала до самой войны. Роль ее была значительно большей, чем принято считать. Конечно, она не достигла цели, к которой стремились Мережковский и Гиппиус. Все же она оставила по себе светлую память и сформировала умы целого ряда молодых поэтов. Кроме всего прочего, «воскресенья» и «Зеленая лампа» являлись настоящей школой красноречия.

Когда-то, еще на берегах Невы, в «Живом слове» я слушала лекции Кони по ораторскому искусству и принимала участие в практических занятиях, руководимых Кони. Но обмен мыслей и мнений на «воскресеньях» и в «Лампе», хотя там и не преподавались правила красноречия, достигал несравненно больших результатов, чем лекции и практические занятия Кони.

Общепризнанный лучший оратор эмиграции Георгий Адамович многому научился в «Лампе» и в бесконечных дискуссиях с Мережковским. «Зеленая лампа» всячески старалась привлечь к себе внимание, в особенности в последние годы своего существования. Так, уже в 1936 году «Зеленая лампа», «Возрождение» и варшавская газета «Меч» — в обеих газетах сотрудничали Мережковский и Гиппиус — устроили «всезарубежный конкурс» на историческое драматическое произведение. Премированное драматическое произведение обещали поставить в варшавском театре и напечатать в газете «Возрождение». Кроме того, автор должен был получить диплом.

Но с этим конкурсом получился «скверный анекдот»: первый приз, после многих месяцев, был присужден драме «Государь», — из эпохи итальянского Ренессанса, о чем сообщалось в газете «Меч». Написала ее шестнадцатилетняя эмигрантка, жившая в Сирии. Она, как она потом сама мне рассказывала, находилась только под большим влиянием Мережковского и Макиавелли и написала свою драму, помня о них.

Когда до нее дошла ошеломившая ее весть о том, что ей присужден первый приз, она, как древняя Рахиль, села на песок пустыни, благословила облака и поблагодарила Бога за ниспосланную ей славу.

Но время шло — день за днем, неделя за неделей. Ее лично никто ни о чем не осведомлял. Тогда она наконец решилась написать в варшавский «Меч», ответивший ей более чем необычайно: «Вас действительно премировали. Но Вашу драму поставить невозможно из-за множества костюмов. Поэтому высылаем Вам, в виде премии, том Фонвизина и диплом с печатью».

Том Фонвизина и похвальный лист — как в школе при переходе из класса в класс — вот и все, что получил молодой автор, думавший, что уже завоевал славу.

Драма «Государь» не была напечатана в газете «Возрождение» — неизвестно почему. Ведь «обилие костюмов» не могло помешать напечатать ее.

Результатом этого конкурса было только то, что русская эмиграция лишилась замечательно талантливой писательницы. Она после такой обиды стала писать не только по-русски, но и по-французски. Теперь она один из лучших — если не лучший — автор «научной фантастики», — Наталия Энненберг.

Все же через много лет как утешение она узнала от Цурикова, что Мережковский как-то сказал ему: «Моя лучшая ученица — маленькая девочка из Сирии». При мне однажды Мережковский, жалуясь, что у него нет последователей, поправил самого себя:

— Кроме одной, до чего одаренной, прелестной, большеглазой девочки. Я ее фотографию видел. Но ведь она живет в Сирийской пустыне. Вот бы ее к нам выписать!

Уже после войны, в Париже, Наталия Энненберг услышала чрезвычайно фантастическое объяснение этого дела. Якобы жюри, так как пьесы были подписаны не именами авторов, а их девизами, решило, что она принадлежит перу... самого Мережковского! Но, вскрыв конверт с девизом и убедившись в своей ошибке, жюри решило, что ни ставить драму никому не известного подростка, ни публиковать ее в «Возрождении» нет никакой надобности. Довольно девочке и тома Фонвизина.

Не думаю все же, что жюри могло быть настолько наивным и считать возможным, чтобы Мережковский посылал свои произведения на конкурс. Должно быть, существует другое объяснение. Но факт остается фактом — из-за этого конкурса еще одна замечательная писательница не стала украшением русской литературы.

Георгий Иванов был бессменный председатель собраний «Зеленой лампы», Гиппиус и Мережковский тогда уже, после выхода его сборника стихов «Розы», провозгласили его первым русским поэтом. Мережковский даже сделал ему надпись на «Атланти-

де» — «Лучшему поэту современности». Да, Георгий Иванов был очень близок с ними, особенно с Гиппиус. Я же никогда ни с Гиппиус, ни с Мережковским не сближалась, хотя всегда оставалась с ними в самых лучших отношениях и усердно посещала «воскресенья» и собрания «Зеленой лампы».

Меня не так интересовали идеи, высказываемые на 11-бис, рю Колонель Боннэ, как сами Гиппиус и Мережковский. Я не переставала удивляться им обоим. Вид Мережковского, в особенности в дни, когда ему нездоровилось и он казался особенно бледным, изможденным и тщедушным, всегда заставлял меня вспоминать чье-то определение Жозефа Жубера: «Он был только душой, встретившей хилое тело, душой, сумевшей подчинить себе это хилое тело...» Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его не только светилась в его глазах, но как будто просвечивала через всю его телесную оболочку.

У Зинаиды Николаевны, напротив, душа как будто пряталась где-то глубоко в теле и никогда не выглядывала из тусклых, затуманенных глаз.

Она была чрезвычайно (некоторые даже находили — чрезмерно) умна. Хотя я никогда не понимала, как можно быть «чрезмерно умной». По всей вероятности, она была гораздо умнее Мережковского (как многие утверждали). Но и тут я не берусь судить — ведь ум состоит из стольких разнообразных и часто противоречивых элементов, что суждение об уме не может не быть субъективным. Все зависит от того, что считаешь главным в уме.

Зинаида Николаевна была совершенно лишена энтузиазма, вдохновения и способности восхищаться чужими мыслями. У Мережковского же страсть к восхищению выражалась иногда даже комично.

Так, например, ведя как-то беседу с молодым поэтом Заковичем, он вдруг весь насторожился, встрепенулся, протянул к нему руку и воскликнул:

— Совсем как Тертуллиан! Будто не Закович, а Тертуллиан говорит! Зина, нет, ты только послушай! Послушай!

Но Закович, недавно лишь приведенный Поплавским на «воскресенья», скромный и застенчивый молодой поэт, так смутился, что не мог больше связать и двух слов, и только испуганно оглядывался на Поплавского.

После этого случая Мережковский долгое время называл Заковича Тертуллианом.

— Придет сегодня Тертуллиан? — спрашивал он, выходя из своего кабинета к уже собравшимся в столовой гостям. Он всегда

выходил с опозданием, тогда как Зинаида Николаевна с самого начала приема, то есть с четырех часов, уже занимала свое место за чайным столом.

Мережковский был очень, даже чересчур снисходительным к своим собеседникам, преувеличивал их ум и знания и часто находил особую значительность и глубину в самых обыкновенных мыслях и словах, если только они, по Мережковскому, касались метафизики, и он мог оттолкнуться от них, как от трамплина, перелететь в четвертое или в энное измерение, рассыпаясь фейерверком идей.

Глубину, мудрость, мистику он видел часто там, где их вовсе не было, — так он однажды неожиданно обнаружил их и во мне. В то воскресенье почему-то решили читать стихи, что не было принято. Стихи читали и о стихах говорили с Зинаидой Николаевной группировавшиеся около нее и не принимавшие участия в дебатах с Мережковским.

Но тут устроили «всеобщий день поэзии», и все присутствующие, не исключая и самого Мережковского, должны были участвовать в нем.

День поэзии происходит в гостиной, поэты выходят на середину комнаты и читают стоя. Я сижу на диване рядом с Зинаидой Николаевной в ожидании своей очереди.

— Вы не застали, — говорит она, — эпохи, когда Димитрий Сергеевич гремел как поэт. Всякие «Сакья Муни», «Песни шута» и тому подобное. Гремел, но гром-то был бутафорский. И до чего он иногда громыхал. О какой-то своей изменнице, еще до меня. Я до слез смеялась. Вот послушайте... И она скандирует с комическим пафосом:

Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих, когда со мной шута
Играла ты в любовь и все потом разбила.
Не я, а ты в отчаянье немом
Рыдала бы теперь горючими слезами.

— А публике, представьте, нравилось, и критике тоже. И его переводы, Бодлера, например, были под стать:

Голубка моя, умчимся в края,
Где все, как и ты — совершенство! —

Он приспособил Бодлера для шарманки. И все шарманки эту «Голубку» играли. Мне было стыдно за него.

Она прижимает палец к губам.

— Сейчас Димитрий Сергеевич. Давайте слушать.

Мережковский, держа тетрадку в руке, быстро семена ногами в синих войлочных туфлях, становится спиной к окну — маленький, сутулый.

Я мысленно переношу его в Петербург конца XIX века, на эстраду громадного, бурлящего и кипящего зала, переполненного студентами и курсистками, и стараюсь представить себе, как он произносил:

Бог, великий Бог лежал в пыли —

и овации, которые там устраивали ему.

Он перелистывает страницы тетрадки и с какой-то застенчивой полуулыбкой, не свойственной ему, начинает читать — очень скромно, очень просто и совсем хорошо. И стихи его очень простые, очень скромные и совсем хорошие. Музыкальны, легки и даже чуть-чуть трогательно-наивны. О каких-то странниках-паломниках и о прелестной северной русской весне. Они чем-то отдаленно напоминают мне Сологуба.

— Вам нравится? — спрашивает шепотом Гиппиус.

— Очень.

Она кивает.

— Слава Богу, это совсем не то, что прежде. Но теперь это никому не нравится. Дмитрий Сергеевич уже давно перестал печатать свои стихи.

После Мережковского читает Гиппиус. С места, сидя на диване. Нараспев. Ясно, сухо, вразумительно, без привычных капризных ноток в голосе:

Какая-то лягушка (все равно)
Свистит под небом черновлажным
Заботливо, настойчиво, давно...
А вдруг она о самом важном?

Лягушку мы все знаем наизусть. Хотя аплодировать не полагается, Зинаиде Николаевне все же аплодируют, и это ей явно приятно.

Поэты сменяют поэтов. И о каждом из них Гиппиус — она одна — говорит несколько слов. Она хвалит Адамовича, Мамченко, Терапиано за стихи «В день Покрова» и, конечно, Георгия Иванова.

Голубоватый идет солдат,
Как этот вечер, голубоват, —

нараспев выкрикивает один из молодых поэтов.

Зинаида Николаевна наводит на него свой монокль-лорнет и громко шепчет:

— А по-моему, еще лучше было бы: «как этот вечер, глуповат».

Все смеются. Молодой поэт смущается и не хочет продолжать.

— Вздор, — заявляет Гиппиус, — вы не салонная поэтесса, чтобы обижаться. — И без всякой последовательности продолжает: — Ко мне раз явились в Петербурге просить стихи для салонного женского альбома, а я им ответила: по половому признаку не объединяюсь! — И кивает в сторону молодого поэта: — Ну, читайте. Не ломайтесь.

Наконец очередь доходит и до меня. Я выхожу на середину гостиной, еще не решив, что буду читать. Я уже совсем не та, что на берегах Невы. Я уже не живу стихами и для стихов и не ношу больше банта. Здесь и то, и другое было бы неуместно и даже смешно.

Здесь стихами интересуются одни поэты, и то эгоистично, даже эгоцентрично — своими собственными стихами. А читателям стихи в лучшем случае безразличны и не нужны.

Русские в эмиграции — и в Берлине, и в Париже — совсем не то, что в Петербурге. Я не узнаю их. И не нахожу с ними общего языка.

Сколько раз я в первый год, в Берлине, хотела вернуться к себе домой. Домой, в Петербург. Нет, мне совсем не нравится «заграница». Ни Берлин, ни даже Париж.

К тому же, и это очень странно, для меня в эмиграции время как будто пошло назад, вспять. Я как будто неожиданно помолодела. Из поэта настоящего, поэта, возраст которого не играет роли, я тут превратилась в «молоденькую поэтессу» и «молодую романистку», как меня постоянно величали в прессе. И что уж совсем дико — я так и оставалась «молодой поэтессой» и «молодой романисткой» бесконечно долго, чуть ли не до окончания войны. Со мной в эмиграции случилось обратное, чем с гадким утенком в сказке Андерсена. Гадкий утенок там превратился в лебедя, я же, напротив, из «лебедя» превратилась в «гадкого утенка».

Вот и сейчас, стоя посреди гостиной, я чувствую, что слишком высоко поднимаю голову и держусь слишком самоуверенно для «гадкого утенка». Я все еще не могу привыкнуть ко всеобщему равнодушию, окружающему меня здесь.

Что мне читать? Ведь здесь никто не знает и не любит моих стихов. Только не слишком длинное. Скоро Рождество — значит, это пойдет.

И я начинаю с моими прежними интонациями, паузами и жестами, как когда-то на берегах Невы:

Белым полем шла,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
На земле и на небе радость —
Сегодня Рождество...

Окончив, я возвращаюсь к дивану и сажусь рядом с Зинаидой Николаевной. Она наводит на меня свой лорнет-монокль и улыбается мне.

— Я не ждала, что вы так хорошо умеете выступать. Так независимо и гордо. Я сама когда-то выходила на сцену, как в тронный зал. Будто я — королева, а слушатели — мои подданные. Я никогда не кланялась на аплодисменты, я принимала их как должное. Пусть себе хлопают, раз им хочется. Я не достаивала слушателей вниманием.

К дивану подходит Димитрий Сергеевич и берет меня за руку.

— Я никак не предполагал, — взволнованно говорит он, — в вас такой глубины, такого мистического прозрения. Невероятно! Необъяснимо!

Я чувствую, что сейчас и я буду названа Тертуллианом, или Франциском Ассизским, или святым Бернардом. А может быть, даже Данте.

— Но ведь это совсем банально. Это все только бутафория, и дешевая... — протестую я. — Направо добро, налево зло... Это все рифмованная чепуха.

— Тогда еще замечательнее, раз вы сами не сознаете, что создали. Это... это прямо невероятно.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, и больше не спорю. Сейчас, сейчас он провозгласит меня Франциском Ассизским.

Но Зинаида Николаевна неожиданно вмешивается.

— Как это у вас? Выползет черепаха, пролетит летучая мышь? Да? И что змея появляется — хорошо. У меня тоже когда-то было стихотворение про змею.

Я такая добрая, добрая,
Как ласковая кобра я...

— Зинаида Николаевна, прочтите, пожалуйста, о ласковой кобре, — прошу я. И она не заставляет себя долго просить, к общему, и главное — моему удовольствию.

Мережковский, слушая ее, забывает о моей «небывалой глубине и мистическом прозрении», и слава Богу.

Зинаида Николаевна медленно, грациозно встает с дивана.

— А теперь пойдем чай пить. Давно пора.

И все переходят вместе с нею в столовую и усаживаются вокруг стола.

Владимир Ананьевич Злобин, как всегда, ловко и быстро наливает и разносит чай, успевая в то же время любезно предлагать гостям бисквиты и сдобные булочки, как будто он, а не Зинаида Николаевна здесь хозяйка — очень внимательная хозяйка.

Разговор становится общим. Сегодня, исключение из правила, рассуждают только о стихах. Георгий Иванов проникновенно приводит цитату из Лермонтова, своего любимого поэта, восхищаясь ею:

В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом...

— Чушь! — перебивает его опоздавший на «День поэзии» Бахтин и, гордо закинув рыжеволосую голову, безапелляционно заявляет: — Лермонтов — бездарность!

Меня такое заявление Бахтина не задевает и не удивляет. Я привыкла к его эксцентричным выпадам. Не далее как в прошлое воскресенье он заявил во всеуслышание, что «Евангелие просто пустая книга, которой безумно повезло».

Но молодые поэты дружно и возмущенно хором протестуют, перекрикивая друг друга.

— Зина, посмотри, сколько он сахара кладет! — неожиданно среди шума и гула спорящих раздается возглас Мережковского. Указательный палец его вытянутой через стол руки указывает прямо на Георгия Иванова, действительно, как всегда, положившего пять кусков сахара в свою чашку чая.

Зинаида Николаевна поворачивает голову к Георгию Иванову, занимающему свое обычное место возле нее, с правого слышащего уха.

— Очень правильно делает, — говорит она одобрительно. — Необходимо хоть немного подсластить нашу горькую жизнь и наш горький чай. Ведь как скучно: и разговоры, и чай, и обед, все одно и то же. Каждый день. Не только в Париже, но и прежде, там, в Петербурге, еще до революции. Всегда одно и то же, говорили, ели и пили. Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннородому и длинноволосому иерарху Церкви: «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!» Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины.

— Это как у Свифта? Жареные ирландские младенцы? — спрашиваю я.

Зинаида Николаевна недовольно щурится.

— Свифт? — недоумевающе тянет она. — При чем тут Свифт? Я вообще его никогда не читала!

Я удивлена. Я спрашиваю:

— Даже «Гулливера»? Неужели? Никогда?

Но она делает вид, что не слышит. Я испортила своим неуместным вопросом о Свифте эффект «жареного младенца». Она недовольно щурится и неожиданно обращается к Злобину:

— Чай пить, правда, скучно. Володя, достаньте из буфета нашего «*moine miraculeux*» *.

Ликер «*Le moine miraculeux*» — единственный ликер, признаваемый Мережковскими. Они приписывают ему какие-то чудодейственные целительные свойства.

Но пьют его на 11-бис, рю Колонель Боннэ только по большим праздникам, и то не все гости, а лишь избранные, по одной рюмочке, не больше. И сейчас, как всегда, Зинаида Николаевна указывает, кого следует угостить «чудодейственным монахом».

— Володя, налейте рюмку Георгию Викторовичу Адамовичу, Георгию Владимировичу (Иванову), Виктору Андреевичу (Мамченко), Юрию Константиновичу (Терапиано). И Бахтину.

Остальным — в том числе и мне — «монаха» не полагается. Я, впрочем, все равно отказалась бы от него. Я еще не научилась пить ни ликеры, ни водку. Но раз мне не предлагают, то и отказываться не приходится. Как и обижаться не приходится.

В прихожей раздается звонок. Злобин идет открывать.

Зинаида Николаевна прислушивается, вытянув шею, к доносящимся из прихожей голосам.

— Это Александр Федорович, — объясняет она. — Он сегодня обедает у нас. — И спрашивает: — Который час? Разве уже так поздно?

Уже восемь часов. Мы непозволительно засиделись. Все разом встают. Как всегда, Зинаида Николаевна и Мережковский идут провожать гостей.

В прихожей Керенский. Он успел снять пальто и поправляет галстук перед зеркалом.

Я впервые вижу Керенского так близко. Я знакома со многими знаменитыми людьми, но с таким знаменитым человеком, как он, мне еще не приходилось встречаться. С таким знаменитым —

* «Чудодейственный монах» (фр.) — название ликера.

был ли кто-нибудь знаменитее Керенского весной и летом 1917 года?

Правда, с тех пор прошло десять лет, но мне кажется, что отблеск его прошлой славы все еще окружает его сиянием.

Он здоровается с Зинаидой Николаевной, с Мережковским, и со всеми «воскресниками», даже с теми, кого, как меня, он видит впервые, крепким рукопожатием.

Рукопожатия. Я вспоминаю, что ему пришлось носить правую руку на перевязи в июле 1917 года после тысяч рукопожатий. Неужели таких же крепких, как сейчас?

Пожимая руки, он бросает властно и отрывисто, как будто отдает приказания: «Здравствуйте! Как поживаете? Рад с вами познакомиться».

Прищуренные глаза, как две щели на большом, широком, массивном лице. Густые серо-стальные волосы бобриком и какая-то военная выправка, хотя он до своей головокружительной карьеры был штатским — петербургским помощником присяжного поверенного Сомова.

Мне кажется, что, несмотря на свой громкий голос и резкие движения, он очень застенчив. Хотя вряд ли он кому-нибудь сознается в этом, даже себе.

Он чрезвычайно близорук, но из непонятого кокетства не желает носить очки или пенсне. Вместо очков он пользуется, как мне рассказывали, лорнеткой. Мужчина с лорнеткой для меня так же немыслим и невероятен, как женщина с моноклем.

Но вот они — женщина с моноклем и мужчина с лорнеткой, должно быть, единственные на свете — стоят здесь рядом передо мной.

Керенский действительно достает из бокового кармана пиджака тоненькую дамскую лорнетку. В памяти моей всплывают строки Кузмина о маркизах:

Кто там выходит из боскета
В жилет атласный затянутый?
Стекла блеснули его лорнета...

Да, стекла лорнета Керенского блестят, но Керенский совсем не похож на маркиза.

Лорнетка кажется особенно хрупкой, игрушечной в его увесистом кулаке. Он подносит ее к глазам, и от этого его массивное, широкое лицо принимает какое-то странное, жалкое выражение — не то стариковское, не то старушечье.

Лорнеткой, правда, как я слыхала, он на улице не пользуется, хотя по близорукости ему и очень трудно обходиться без нее.

Он не узнает знакомых, не отвечает на поклоны. О нем рассказывают, что он однажды, быстро переходя улицу Пасси — он всегда ходит очень быстро, всегда спешит, — натолкнулся на автомобиль и, приподняв шляпу, вежливо извинился: «Пардон, мадам». Но это, конечно, анекдот.

Я внимательно, во все глаза разглядываю его. Ведь это тот самый Керенский, воплощавший свободу, тот самый, кого боготворили толпы, тот самый, под чьей фотографией красовалась подпись:

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Если бы я вела дневник, я в тот вечер, вернувшись домой, записала бы на чистой странице: «Сегодня я познакомилась с Керенским». И поставила бы точку.

Но я не вела дневника. Эту первую встречу с Керенским я записала в своей памяти. Без комментариев.

— Человек почти всегда добивается того, о чем мечтает, чего страстно желает, беспрестанно, днем и ночью, во сне и наяву, — каждую минуту. Например, «как я хочу получить Нобелевскую премию», — убежденно произнес на одном из «воскресений» на 11-бис, рю Колонель Боннэ Дмитрий Сергеевич Мережковский.

О том, что он страстно желает получить Нобелевскую премию, знали все посетители «воскресений». Мережковский не скрывал, а даже, скорее, подчеркивал свое желание. Он считал, что Нобелевская премия по справедливости должна быть присуждена ему и он один достоин ее.

— Бунин? Но разве можно считать Бунина серьезным конкурентом? Он просто бытовик, бытописатель, надоедливо и скучно фотографирующий скучные мелочи существования вперемежку с надоевшими всем давно закатами, снегопадами, дождливыми вечерами и заходами солнца. Кому это нужно? Кому это интересно? «Жизнь Арсеньева»? — безмерно растянутое описание молодости никчемного дворянского недоросля, к тому же перегруженное описаниями природы. Ну, еще два-три томика всяких нудных рассказов и хваленая «Деревня». — Ее Мережковский, о чем он любил поминать, так и не мог одолеть. — Каждый раз засыпал от скуки на двадцатой или тридцатой странице, как ни старался. Пришлось бросить, — он вздыхал с притворным огорчением и добавлял: — Все же я постоянно держу эту самую «Деревню» на ночном столике — на случай бессонницы. Великолепно помогает!

Нет, положи руку на сердце, Мережковский не считал Бунина серьезным конкурентом:

— Ведь не совсем же идиоты судьи, не слепые же кроты они! Разве можно сравнивать меня и Бунина?!

И все же его тревожили и беспокоили слухи о кампании, ведущейся в пользу Бунина. В ней участвовало столько «именитых» эмигрантов с Густавом Нобелем и Конжунцевым во главе. Да и среди писателей не все были сторонниками Мережковского, хотя бы тот же Алданов, ведущий яростную кампанию в пользу Бунина среди своих «иностранных коллег», — не только французов, но и шведов.

Быть вполне уверенным, что Нобелевская премия достанется ему, а не Бунину, Мережковский все же не мог и считал, что лучше обеспечить себя на всякий случай.

Однажды, весной 1932 года, Мережковский на одном из «воскресений» предложил Бунину (Бунин, Вера Николаевна и Галина Кузнецова во время своих наездов в Париж из Грасса изредка навещали «воскресенья» Мережковского):

— Давайте, Иван Алексеевич, заключим пакт. Если мне достанется Нобелевская премия, я вам отдам половину, если вам — вы мне. Поделим ее пополам. Застрахуемся взаимно. Тут, в присутствии их всех, — он обвел взглядом сидящих за столом. — Дадим друг другу честное слово, что поделим премию.

Но Бунин решительно покачал головой.

— Ну уж нет, Дмитрий Сергеевич. Не согласен. Заранее заявляю — делиться и не подумаю. Вам присудят — ваше счастье. Мне — так мое.

Мережковский на минуту весь даже съежился, глаза его и все лицо поблекли и затуманились, будто в нем погас свет, освещавший его изнутри.

Он, по-видимому, никак не ожидал такого решительного резкого отказа на свое великодушное (ведь премия, по всей вероятности, достанется именно ему) предложение.

— Воля ваша, — проговорил он хрипло, превозмогая обиду. — Боюсь только, что вы пожалеете, и очень, что так опрометчиво...

Но Бунин, удобнее откинувшись на спинку зеленого кресла, широко и свободно взмахнул рукой.

— Ну, что там гадать на кофейной гуще. Поживем — увидим. А связывать себя обещаниями я всегда терпеть не мог. И страховок не признаю, — и закончил убежденно: — А в звезду свою я верю!

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским на

«воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

— Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. Ответный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

— Не был принят. Не удостоился лицезреть, — уверяла Зинаида Николаевна. — Понятно — зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам Бунин», во всем сиянии и блеске своего величия и славы...

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша вступил, держась необычайно прямо, ново-нобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами выражало царственную, высокомерную благосклонность.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривала вошедших сквозь стекла своего лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

— Поздравляю, — добавив после короткой паузы: — И завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свои лорнет.

— Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна, — растягивая слова, произносит она, — верно, страшно дорого стоило? — улыбка в сторону Галины Кузнецовой. — И на вас тоже... С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое... Садитесь возле

меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавого передразнивания.

— Здравствуйте, здравствуйте. Страшно приятно вас видеть.

Галина Кузнецова садится возле меня. Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными, грустными глазами и тихо вздыхает:

— Ах нет, Ириночка, совсем не так чудесно, как вам кажется, — это было очень утомительно. И беспокожно. Новый год мы встретили в поезде. На обратном пути Иван Алексеевич хотел непременно в Германии заехать к Степуну. Я простудилась. И там...

Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает.

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Недолет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель. Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль *jeune fille de la maison* — в угощение «высоких гостей» — чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером «*moine miraculeux*».

Из прихожей быстро входит известный художник X., останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

— Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав, должно быть, наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

— Иван Алексеевич! — вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рыв-

ком кидается к Бунину: — Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления... От всего сердца...

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, — неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь.

Я смотрюсь в зеркало в предпоследний раз и, как всегда перед отходом, недовольна собой. Всегда что-нибудь не так — или шляпа, или волосы, или платье, или выражение моего лица. Какой у меня сегодня нелепый вид.

Потом я об этом забуду, но сейчас я совсем не нравлюсь себе. Надо торопиться, я опять, как всегда, опаздываю. Я еду на коктейль к своим французским друзьям, они просили не опаздывать. Я ищу перчатки. Георгий Иванов уже снял с вешалки мою шубку и подает ее мне.

— Непременно приезжай в «Зеленую лампу», ты уже в прошлый раз не была. Прямо в «Лампу», если задержишься там. И позвони мне, чтобы я не ждал напрасно дома. Непременно. Ты ведь знаешь, как я беспокоюсь о тебе.

Да, знаю, отлично знаю. Он вечно беспокоится обо мне. Зря беспокоится.

— Хорошо, хорошо, приеду в «Лампу», хотя мне и не очень хочется, — обещаю я, надевая шубку. И в эту минуту звонит телефон.

— Вот, меня уже и вызывают. Скажи, что я уже уехала.

Он, кивнув, берет трубку.

— Алло? Алло? — до меня доносятся какие-то щелкающие звуки, но слов я разобрать не могу.

— Что? что? Повтори, — кричит Георгий Иванов срывающимся от волнения голосом. — Что случилось?

Нет, это не мои французские друзья. Что-то случилось. Но что?

Я в недоумении жду, не решаясь уйти, не узнав, в чем дело.

Наконец он вешает телефонную трубку.

— Только что убили президента, — говорит он. — Убил русский. Боятся, что начнется избиение русских. Ты никуда не поедешь — опасно. Я с ума сойду от страха, если ты уедешь.

Русский убил президента? Будут громить и убивать русских? Готовят Варфоломеевскую ночь? Да, уезжать мне действительно нельзя. И я соглашаюсь остаться. Георгий Иванов благодарит меня:

— Слава Богу, хоть ты благоразумна. Спасибо. А как быть с «Лампой»?

Снова звонит телефон. Это Оцуп. Он уже знает и в ужасе. Что нас всех ждет? Но он сегодня должен читать доклад в «Лампе». Состоится ли заседание или его отменяют?

— Решай, ведь ты председатель «Лампы».

— Надо отменить, — говорит Георгий Иванов, — но я один, без Димитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны, решать никак не могу. А у них нет телефона. Я ведь только липовый, номинальный председатель.

Телефон продолжает беспрерывно звонить. Звонит Адамович, Фельзен, звонят знакомые, интересующиеся «Лампой». И все в один голос:

— Отменить, слишком опасно. Ты (или вы) как постоянный председатель можешь (или можете) и без Мережковского.

Но Георгий Иванов не согласен.

— Я пойду к нему. Ведь мне с Франклин до Колонель Боннэ совсем близко. А ты сиди тихо и жди меня. Я скоро вернусь.

Но я не хочу оставаться одна.

— Нет, я пойду с тобой.

Он не сразу соглашается, но я настаиваю, и он, как почти всегда, уступает мне.

— Хорошо, только не говори по-русски и вообще молчи.

И вот мы идем по гудящей и кипящей, обыкновенно такой буржуазно чинной и тихой улице Пасси. «...» — ясно доносится до меня. Я вздрагиваю. Неужели это о нас? Нет, это о русских вообще. Георгий Иванов ускоряет шаг. Мы почти бежим, но никто в толпе не обращает на нас внимания.

И вот мы уже входим в дом Мережковских. Дверь открывает горничная.

Мережковский стоит на пороге гостиной бледный, с перекошенным лицом и как будто еще больше сторбившийся.

— Конец мира наступает, — торжественно произносит он, поднимая руку, — апокалиптический конец. Страшный...

Но Георгий Иванов сразу перебивает его.

— Димитрий Сергеевич, надо отменить «Лампу». И как можно скорее, ведь уже половина шестого.

— Отменить? — возмущенно говорит Мережковский и смотрит на него. — Отменить? Но ведь это будет просто историческое заседание — в день убийства президента русским! И ведь все надо соборно обсудить. И решить, как в дальнейшем действовать. Нет, отменить невозможно. Это был бы просто позор, преступление. Опасно? Что же, что опасно, — отмахивается он от доводов Георгия Иванова. — Мы не презренные трусы. Мы должны исполнить наш долг.

Георгий Иванов оглядывает пустую гостиную.

— А где Зинаида Николаевна? Что она думает?

Мережковский, уже подхваченный волной вдохновения, уносящей его за облака, снова сразу возвращается на землю.

— Она тоже считает, что необходимо отменить «Лампу». Она пошла вниз все узнать, убедиться в настроении, на улицу, прощупать пульс жизни. Она сейчас вернется и все расскажет. Тогда и решим.

— А Владимир Ананьевич где?

— Он с утра уехал в Ампер к больному знакомому.

Мы садимся с ним на диван и ждем, слушая неубедительные уверения Мережковского о необходимости сегодняшнего исторического заседания «Лампы».

Проходит полчаса, а Зинаида Николаевна все не возвращается.

Георгий Иванов смотрит на часы.

— Что же это? Где она? Не случилось ли с ней чего? — спрашивает он встревоженно.

Его тревога передается Мережковскому.

— Она так неосторожна, могла вступить в разговор, заспорить с французами. Она так потрясена, не могла усидеть дома, так захвачена этим чудовищным убийством...

Проходит еще полчаса.

Георгий Иванов встает.

— Я пойду вниз, поищу ее.

— Невероятно, неправдоподобно, я просто умираю от беспокойства, с ума схожу, — говорит Мережковский. — Идите, Георгий Владимирович. Идите.

Звонок. Георгий Иванов открывает дверь.

В прихожую несвойственной ей быстрой и резкой походкой входит совершенно расстроенная Зинаида Николаевна. Даже перья на ее большой, криво сидящей шляпе как-то необычайно топорщатся.

— Ну что? Что ты узнала? — кидается к ней Мережковский. — Отчего ты так долго? Что случилось?

Но она, не отвечая ему и не здороваясь с Георгием Ивановым, возмущенно кричит:

— Все, все испортила! Все перешить надо! И юбка коротка, и рукава узки. И складок мало! И ко вторнику готово не будет!

...А заседание «Лампы» в тот вечер все же отменили.

Мережковский говорил, что биографии писателей и поэтов, как и воспоминания о них, чаще всего превращаются не в цветы,

а в тяжелые камни, падающие на их могилу, придавливающие ее. Что о поэтах и писателях должны писать только поэты и писатели, и то далеко не все. И тут часто такие биографии и воспоминания становятся памятниками не тем, о ком они пишутся, а авторам их: Я и Толстой. Я и Пушкин. Я и Блок. Я и русская поэзия. В подтверждение права выдвигать себя на первое место приводятся письма своих друзей и почитателей.

— Не смейте писать обо мне! Не смейте приводить моих писем! — восклицал он, в порыве вдохновения потрясая рукой. — Запрещаю! Не вколачивайте меня в гроб! Я хочу жить и после смерти.

И все-таки я нарушаю этот запрет.

Но не для того чтобы «вколотить его в гроб», а для того чтобы помочь ему жить в сердцах читателей таким, каким он был, а не таким, каким он кажется многим. Очистить, защитить его от клеветы и наветов.

Это нелегко. Трудно спорить с утверждающими, что он был «чудовищно эгоистичен и эгоцентричен», что он никого на свете не любил и не уважал, кроме «своей Зины», что ему на все и на всех было наплевать, только бы он и она могли пить чай — это казалось ему справедливым и естественным.

Да, он считал и ее, и себя исключительными людьми, для которых «закон не писан». Мораль — для других-прочих, для обыкновенных, а они могут поступать, как для них выгоднее и удобнее.

Удобства он чрезвычайно ценил. Его поступки совсем не должны совпадать с его «высокими идеалами» и могут идти вразрез с ними.

Как-то на одном из «воскресений» он допытывался у Адамовича, как тот мог написать хвалебную статью об одном из явно бездарных писателей:

— Неужели он правда нравится вам?

Адамович всячески старался отвертеться, уверяя, что в конце концов тот, о ком он писал, в сущности, не так уж плох. Но Мережковский не унимался, и Адамович, выведенный из себя, вздохнул и сознался:

— Просто из подлости, Димитрий Сергеевич. Он мне не раз помогал.

Мережковский радостно закивал:

— Так бы и говорили! А то я испугался, что он вам действительно нравится. А если из подлости, то понятно, тогда совершенно не о чем говорить. Мало ли что из подлости можно сделать!

Вот этим «из подлости» и объясняется его поведение во время войны, его так называемая измена России — «гитлерство», речи по радио и прочее.

На самом деле все это делалось только «из подлости» и не касалось его действительных взглядов и чувств. Мережковские жили тогда, как и мы, в Биаррице, постоянно встречались с нами, и я могла наблюдать за всеми стадиями его якобы превращения из ярого ненавистника Гитлера в его поклонника.

Положа руку на сердце, утверждаю, что Мережковский до своего последнего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненавидя и презирая его по-прежнему.

В спорах с Георгием Ивановым, считавшим, как и Черчилль, что «хоть с чертом, но против большевиков», Мережковский называл Гитлера «маляр, воняющий ножным потом».

Кстати, меня удивляет это его невероятное презрение к Гитлеру: он считал его гнусным, невежественным ничтожеством, полупомешанным к тому же.

А ведь он всю жизнь твердил об Антихристе, и когда этот Антихрист, каким можно считать Гитлера, появился перед ним. — Мережковский не разглядел, проглядел его.



КОММЕНТАРИИ

А. Л. Волинский

Символы (Песни и поэмы)

Впервые: в журнале «Северный вестник». 1892. № 4. Печатается по кн.: *Волинский А.* Борьба за идеализм. СПб., 1900. С. 365—371.

Волинский Аким Львович (Хаим Лейбович Флексер; 21 апреля (3 мая) 1861, Житомир — 6 июля 1926, Ленинград) — критик, историк театра.

С. 29. *...небольшой томик стихотворений* — Д. С. Мережковский. Стихотворения (1883—1887). СПб., 1888.

С. 30. *Графиня Лида так и писала Надсону* — см.: *Иванова Е.* История одной переписки (С. Я. Надсон и графиня Лида) // Альманах библиофила. М., 1989. № 25. С. 175—186.

В. П. Буренин

Критические очерки

Впервые: «Новое время», 1893, 22 января, № 6071. Написано в связи с выходом книги Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы» (СПб, 1893).

Буренин Виктор Петрович (22 февраля (6 марта) 1841, Москва — 15 августа 1926, Ленинград) — литературный и театральный критик, поэт.

С 1876 г. печатался в газете «Новое время», где выступал против декадентов.

В. П. Буренин

Литературные эпигоны (Г-н Мережковский)

Впервые: «Новое время», 1913, 22 ноября и 6 декабря, № 13 542, 13 556.

М. О. Меньшиков

Клевета обожания (А. С. Пушкин)

Впервые: Книжки Недели. 1899. № 10. С. 178—213. Печатается по кн.: Меньшиков М. О. Критические очерки. СПб., 1902. Т. 2. С. 136—174.

Меньшиков Михаил Осипович (25 сентября (7 октября) 1859, Новоржев Псковской губернии — 20 сентября 1918, Валдай) — писатель, журналист, критик.

- С. 55. ...*статья его о Пушкине* — имеется в виду статья Д. С. Мережковского «А. С. Пушкин», открывающая сборник: *Философские течения в русской поэзии* / Сост. Перцов П. СПб., 1896.
- С. 60. *Прочь, непосвященные* — восклицание жреца из шестой песни «Энеиды» Виргилия.
- С. 63. ...*писаревскую ошибку* — речь идет о статье Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» (1865), в которой он пытался развенчать Пушкина как «устарелого кумира».
- С. 66. *Был гневен, полон гордости ужасной...* — А. С. Пушкин. «В начале жизни школу помню я...» (1830).
- С. 67. *Пушкинская формула Петра* — А. С. Пушкин. О дворянстве (1830—1835).
- С. 72. *Оставь герою сердце!* — А. С. Пушкин. Герой (1830).

В. В. Розанов

Среди иноязычных (Д. С. Мережковский)

Впервые: Мир искусства. 1903. № 7—8 (июль—август). Печатается по журналу «Новый путь» (1903. № 10. Ноябрь), где автором сделаны небольшие изменения и добавлен подзаголовок.

Розанов Василий Васильевич (20 апреля (2 мая) 1856, Ветлуга Костромской губ. — 5 февраля 1919, Сергиев Посад Московской губ.) — писатель, критик, философ, публицист.

С Мережковскими Розанов познакомился в 1897 г., они ввели его в круг «Мира искусства». Среди многочисленных статей Розанова о Мережковском — «Серия недоразумений» (Новое время. 1901. 16 февраля), «Заметка о Мережковском» (Мир искусства. 1903. № 2. Хроника), «“Свои люди” поссорились...» (Новое время. 1908. 21 апреля), «Представители “нового религиозного сознания”» (Русское слово. 1908. 13 сентября), «В Религиозно-философском обществе» (Новое время. 1909. 23 января), «Трагическое остроумие» (Новое время. 1909. 9 февраля), «Мережковский против “Вех”» (Новое время. 1909. 27 апреля), «Погребатели России» (Новое время. 1909. 19 ноября), «О радости прощенья» (Весы. 1909. № 12), «И шутя, и серьезно...» (Новое время. 1911. 31 марта), «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский» (Новое время. 1914. 25 января) и др., а также рецензии на книги Мережковского — «Вечные спутники» (Новое время. 1899. 31 марта), «Любовь силь-

нее смерти» (Исторический вестник. 1902. № 3), «Петр и Алексей» (Новое время. 1904. 5 января; 1905. 28 апреля). Немало высказываний о Мережковском, которого Розанов хорошо знал, содержится в его «Опавших листьях», «Мимолетном» и других книгах.

- С. 83. ...*двух романов, только что переведенных на английский язык*. — В 1901 г. в Лондоне и Нью-Йорке издан английский перевод Герберта Тренча романа Мережковского «Смерть богов», а в 1902 г. в Париже вышел французский перевод С. М. Перского романа «Воскресшие боги».
- С. 84. *Он посетил знаменитые Керженские леса* — описание этой поездки см. в статье З. Н. Гиппиус «Светлое Озеро» (Новый путь. 1904. № 1—2).
- С. 90. *Притча о десяти девах* — Мф. 25, 1—14.
Притча о богатом и Лазаре — Лк. 16, 20—31.
- С. 92. «*Дай вложить персты и осязать*» — Ин. 20, 24—29.
- С. 93. «*Вся Им быша и без Него ничто же бысть*» — Деяния 17—28.
- С. 94. *Колокольчики мои...* — из одноименного стихотворения А. К. Толстого (1840-е гг.).
- С. 96. *Шепот, робкое дыханье...* — из одноименного стихотворения А. А. Фета (1850).
- С. 101. «*История цивилизации*» — книга английского историка Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии» (1857—1861), переведенная в «Отечественных записках» в 1861 г. (отд. изд. — 1863—1864).

В. В. Розанов

Трагическое остроумие

Впервые: Новое время. 1909. 9 февраля.

- С. 104. «*Мережковский*» — статья А. Блока в газете «Речь» 31 января 1909 г.
«имени Господа Бога твоего не произноси всуе» — Исх. 20, 7.
- С. 105. «*нигде же никто видел*» — Ин. 1, 18.
...закон устройства Святого Святых — Исх., 26.
- С. 106. «*белые дьяволицы*» — античные статуи, извлекаемые в Италии из земли (см. первую главу романа Мережковского «Воскресшие боги»).
«из-под куста таинственно кивает головой» — М. Ю. Лермонтов.
«Когда волнуется желтеющая нива...» (1837).

Л. Шестов

Власть идей

Впервые: Мир искусства. 1903. № 1—2. С. 77—96. Печатается по кн.: Шестов Л. Собрание сочинений. СПб., 1911. Т. 4. Апофеоз беспочвенности. С. 253—294.

Эпиграф из стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии» (1874) в переводе В. Я. Брюсова. Рецензия Шестова на 1 том книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» в «Мире искусства», 1901. № 8—9.

Шестов Лев (псевдоним Льва Исааковича Шварцмана; 31 января (12 февраля) 1866, Киев — 20 ноября 1938, Париж) — философ и критик. С 1919 г. в эмиграции в Париже.

- С. 110. «*даль свободного романа сквозь магический кристалл...*» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин, VIII, 50.
- С. 112. *О вкусах — либо хорошо, либо ничего* — реплика поручика Шамраева в чеховской «Чайке» (д. 1), в которой соединены две латинские поговорки: «о вкусах не спорят», «о мертвых либо хорошо, либо ничего».
- С. 115. *Победители при Седане* — т. е. немцы, разгромившие 1—2 сентября 1870 г. во время франко-прусской войны армию французского маршала М. Э. Мак-Магона при городе Седан.
- С. 120. *божественная беспочвенность* — см. работы Фр. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1871), «Сумерки кумиров» (1889). «*Антихрист*» (1888), «*Сумерки идолов*» («Сумерки кумиров», 1889) — поздние сочинения Фр. Ницше, написанные с позиций «по ту сторону добра и зла».
- С. 122. «*Тьмы низких истин...*» — А. С. Пушкин. Герой (1830).
- С. 123. «*Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше*» — книга Л. Шестова, вышла в 1899 г. по рекомендации Вл. Соловьева.
- С. 132. *Риторике сломай ты шею!* — П. Верлен. Искусство поэзии. Пер. В. Я. Брюсова.
В сердечной простоте беседовать о Боге... — Г. Р. Державин. Памятник (1795).

Ф. Сологуб

О Грядущем Хаме Мережковского

Впервые: Золотое руно. 1906. № 4. С. 102—105.

Сологуб (псевдоним Тетерникова) *Федор Кузьмич* (17 февраля (1 марта) 1863, Петербург — 5 декабря 1927, Ленинград) — прозаик, поэт, критик.

К. И. Чуковский

Д. С. Мережковский (Тайновидец вещи)

Впервые: газета «Речь». 1907. 14 (27) октября. № 243 под названием «О Мережковском». В той же газете 25 января 1909 г. статья К. Чуковского «Мережковский и Лермонтов». Печатается по кн.: *Чуковский К.* От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики. 2-е изд. СПб., 1908. С. 183—200.

Чуковский Корней Иванович (псевдоним Николая Васильевича Корнейчукова; 19 (31) марта 1882, Петербург — 28 октября, 1969, Москва) — писатель, критик, детский поэт, переводчик.

- С. 140. *Чаадаев в «Телескопе»* — первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, опубликованное в журнале «Телескоп» (1836, № 15), за которое автор объявлен сумасшедшим и лишен права печататься.
Антон Крайний в «Весех» — статья З. Н. Гиппиус (под псевдонимом Антон Крайний) «Человек и болото» опубликована в журнале «Весы». 1907. № 5. Перепечатана в кн.: Антон Крайний (З. Гиппиус). Литературный дневник (1899—1907). СПб., 1908.
- С. 141. *«Былое—Грядущее»* — литературно-научно-политический журнал, издававшийся в Москве в 1907—1908 гг.
- С. 143. *алтабас* — род парчи, затканной золотом.
камка — старинная шелковая цветная ткань с узорами.
крестовая комната — в древней Руси так называли приемную комнату, где находились иконы.
панагия — нагрудный знак православных епископов, носимый на цепочке.
крабица — ларец для хранения ценностей.
вощанка (вощаница) — небольшой сосуд из воска.
кассия — коричное дерево, кора и плоды этого дерева.
- С. 144. *«нетовцы»* — (нетовщина, Спасово согласие) — секта беспоповщины, возникшая в Поморье в XVII в.
иапис — яшма.
- С. 145. *...только что видели у Зайцева* — в книге К. Чуковского «От Чехова до наших дней» статье о Мережковском предшествует статья «Борис Зайцев».
- С. 150. *...отмечает Андрей Белый* — статья А. Белого «Мережковский. Силует» напечатана в газете «Утро России». 1907. 5 (18) октября. № 28 (позднее вошла в его книгу «Арабески». М., 1911).
«В обезьяньих лапах» — статья Мережковского о Л. Андрееве в «Русской мысли», 1908. № 1. Вошла в его кн. «В тихом омуте» (1908).

А. Г. Горнфельд

Г-н Мережковский и черт

Печатается по кн.: *Горнфельд А.* Книги и люди. Литературные беседы. СПб.: Жизнь, 1908. Т. I. С. 273—282.

Горнфельд Аркадий Георгиевич (18 (30) августа 1867, Севастополь — 25 марта 1941, Ленинград) — литературовед, критик, переводчик.

П. Б. Струве

Спор с Д. С. Мережковским

Впервые: газета «Речь». 1908. 24 февраля. № 47 и 18 марта. № 66. Статьи Струве представляют собой ответ на опубликованные в той же

газете статьи Мережковского «Красная шапочка» (24 февраля 1908) и «Еще о “Великой России”» (16 марта 1908), которые вошли в книгу: *Мережковский Д. С.* В тихом омуте. СПб., 1908. Статьи Струве публикуются по кн.: *Струве П.* Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905—1910 гг.). СПб., 1911. С. 109—127.

Струве Петр Бернгардович (26 января (7 февраля) 1870, Пермь — 26 февраля 1944, Париж) — историк, философ, критик, публицист. С 1920 г. в эмиграции.

Н. М. Минский

Абсолютная реакция. Леонид Андреев и Мережковский

Впервые — Наша газета. 1908. 16 марта. Печатается по кн.: *Минский Н.* На общественные темы. 2-е изд. СПб., 1909. С. 206—239.

Минский Николай Максимович (настоящая фамилия Виленкин; 15 (27) января 1856, с. Глубокое Виленской губ. — 2 июля 1937, Париж) — поэт, драматург, философ. С 1890-х годов сложные отношения связывают его с семьей Мережковских-Гиппиус (см. дневник З. Гиппиус «Contes d'amour. Дневник любовных историй» в кн.: *Гиппиус З.* Дневники. М.: Интелвак, 1999. Т. 1).

- С. 173. ...*статьи Мережковского об Андрееве* — статья Мережковского «В обезьяньих лапах» в «Русской мысли» (1908. № 1) вошла в сборник статей Мережковского «В тихом омуте» (СПб., 1908).
- С. 176. ...*анархист Савва, «взрывающий Бога»* — имеется в виду драма Л. Н. Андреева «Савва» (1906).
- С. 180. ...*Розанов упрекал Андреева в парадоксальности* — речь идет о статье В. В. Розанова «Л. Андреев и его “Тьма”» в газете «Новое время». 1908. 25 января (перепечатана в кн.: *Розанов В. В.* Собрание сочинений. О писательстве и писателях. М., 1995).
- С. 182. ...*Пророк русской революции* — статья Мережковского в журнале «Весы». 1906. № 2 и 3.
- С. 185. ...*«плоть желает — противного духу...»* — Гал. 5, 17.
- С. 187. ...*В. Соловьев сам своими глазами видел... черта* — стихотворение «Черти морские меня полюбили»...

В. А. Базаров

Христиане Третьего Завета и строители Башни Вавилонской

Впервые в кн.: Литературный распад, СПб., 1909, С. 5—38. Печатается по кн.: *Базаров В.* На два фронта. СПб.: Прометей, 1910, С. 167—211.

Базаров Владимир Александрович (наст. фамилия Руднев, 27 июля (8 августа) 1874, Тула — 16 сентября 1939, репрессирован) — философ, литературный критик, публицист.

А. А. Блок

Мережковский

Впервые: газета «Речь». 1909. 31 января. Печатается по кн.: Блок А. Собрание сочинений. В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 360—366.

Блок Александр Александрович (16 (28) ноября 1880, Петербург — 7 августа 1921, Петроград) — поэт. Рецензировал книги Мережковского «Вечные спутники. Пушкин» (1906) и «Собрание стихов» (1910).

- С. 242. *...посмотрите, где он стоит* — А. Блок цитирует статью В. Розанова «Окончание “трилогии” г. Мережковского» в газете «Новое время». 1905. 28 апреля. № 10470.
- С. 244. *...о «двух безднах»* — «верхней» и «нижней» бездной Мережковский называл духовную и телесную сущность человека.
в одном рассказе А. Белого — «Аргонавты» в книге Ан. Белого «Золото в лазури». М., 1904.
...оглянуться назад, как Орфей — в греческой мифологии Орфей спустился в подземное царство, чтобы вывести оттуда свою умершую жену Эвридику, но нарушил запрет — не смотреть на жену прежде, чем войдет в свой дом, и Эвридика тут же исчезла в царстве смерти (Овидий. Метаморфозы, X).
- С. 245. *...таких критиков, как, например, Базаров* — о книге Мережковского «Не мир, но меч» В. Базаров (В. А. Руднев) написал статью «Христиане Третьего Завета и строители Башни Вавилонской» в сборнике «Литературный распад». СПб., 1909. Кн. 2.
...«слезинка ребенка» — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. 5, гл. 4.
«без русского языка и русской революции не сделаешь» — Д. Мережковский. В обезьяньих лапах // Русская мысль. 1908. № 1.
- С. 246. *«мистическое хулиганство»* — Д. Мережковский. Мистические хулиганы // Свободные мысли. 1908. 28 января. Перепечатано в книге Мережковского «В тихом омуте».
...говорит о луче, о мече, пронизывающем мрак — из статьи Мережковского «Борьба за догмат» (Речь. 1908. 14 декабря).
...«бледные радуги» — из статьи Мережковского «Петербургу быть пусто» в газете «Речь». 1908. 21 декабря.
- С. 247. *Без веры давно...* — Д. Мережковский. Веселые думы (1902).

Эллис

О современном символизме, о «черте» и о «действе»

Впервые: журнал «Весы». 1909. № 1. С. 75—82.

Эллис (Кобылинский Лев Львович, 1879, Москва — 17 ноября 1947, Локкарно, Швейцария) — поэт-символист, критик. С 1911 г. жил в Италии и Швейцарии и в Россию не вернулся.

- С. 248. «Цель поэзии — поэзия!» — А. С. Пушкин. Письмо В. А. Жуковскому 20-е числа апреля 1825 г. Пушкин добавляет: «как говорит Дельвиг (если не украл этого)».
- С. 250. *Неведомого еще Бога* — Деяния апостолов, 17, 23. Надпись на одном из афинских храмов, увидев которую апостол Павел объявил, что, еще не зная христианского Бога, афиняне уже почитали Его. «мистические хулиганы» — см. комментарии к статье А. Блока «Мережковский».
- С. 251. «*Ессе homo*» («Се человек») — исповедь Фр. Ницше, опубликованная посмертно в 1908 г. Источник выражения — слова Пилата о Христе (Евангелие от Иоанна, 19, 5).
- С. 252. «*Покрывало Изиды*» Г. Чулкова — опубликовано в журнале «Золотое руно». 1908. № 5 (отд. изд. — М., 1909).

А. Белый

Мережковский

Печатается по кн.: *Белый А.* Луг зеленый. М., 1910. С. 134—151.

Белый Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева; 14 (26) октября 1880, Москва — 8 января 1934, Москва) — прозаик, поэт, критик. Ранние статьи Белого о Мережковском собраны в его книге «Арабески» (М., 1911).

А. Белый

Начало века (отрывки)

Главы из кн.: *Белый А.* Начало века. М.; 1990. С. 192—218 (также главы «Профессора, декаденты», «Я полонен», «Хмурые люди»).

- С. 267. «*От слова — к действию...*» — пересказ заключительной мысли книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский».
- С. 268. *И господа и дьявола...* — В. Я. Брюсов. З. Н. Гиппиус (1901). *Ирбит* — город в Пермской губернии, известный проводившейся в нем с XVII в. одной из крупнейших ярмарок России, занимавшей второе место по объему торговых операций после Нижегородской.
- С. 269. *...для заведования отделом иностранной политики* — в 1903 г. Брюсов опубликовал в журнале «Новый путь» несколько своих статей о современной политике. *...на Литейном* — в квартире Мережковских на Литейном, 24, кв. 27 неоднократно останавливался Ан. Белый.
- С. 271. *...в лекции «Настоящее и будущее русской литературы»* — лекция прочитана А. Белым в Петербурге 17 января 1909 г. (см.: *Белый А.* Луг зеленый. М., 1910).
- С. 272. *Мне нужно то, чего нет на свете* — З. Гиппиус. Песня («Окно мое высоко над землею...») (1893).
- С. 273. *...статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в «Мире искусства»* — очевидно, речь идет о статье Вл. С. Соловьева «Особое

чествование Пушкина» (Вестник Европы. 1899. № 7), в которой содержится резкая критика пушкинского номера «Мира искусства» (1899. № 13—14), в том числе статей В. Розанова, Д. Мережковского, Н. Минского и Ф. Сологуба.

...слово «вечность» из льдинок — мотив из сказки Андерсена «Снежная королева» (рассказ седьмой).

С. 274. ...саблю нацепит и в гусары пойдет — имеется в виду повесть Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835).

...закрывала даже Мариинский театр — 9 января 1905 г. Мережковский был уполномочен собранием в Вольно-экономическом обществе сорвать вечернее представление в Мариинском театре Петербурга в знак протеста против расстрела демонстрации и траура по убитым на Дворцовой площади.

...сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан — имеется в виду сборник статей на французском языке «Царь и революция» (Париж, 1907), в котором приняли участие Мережковский, Гиппиус и Философов.

...из окон квартиры на Сергиевской — с 1913 г. Мережковские жили в квартире на Сергиевской ул., д. 83.

С. 275. Фонарики-сударики горят себе, горят... — И. П. Мятлев. Фонарики (1841).

...Тата, Ната — младшие сестры З. Н. Гиппиус Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна Гиппиус.

С. 277. «дидискалос» — учитель, наставник (греч.).

С. 278. Булакский музей — музей египетских древностей в Каире, где хранится мумия фараона Рамзеса II. А. Белый побывал там в марте 1911 г.

С. 279. «Пахарь» — иллюстрированный сельскохозяйственный ежемесячник, издававшийся в Москве в 1904—1906 гг. писателем С. Ф. Шарповым.

«Кремль» — политическая и литературная газета (с 1913 г. журнал-газета), издававшаяся в Москве с 1897 по 1917 г. историком Д. И. Иловайским.

«Уймитесь, волнения страсти» — романс М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова Н. В. Кукольника.

С. 280. Приходи путем знакомым... — В. Я. Брюсов. Призыв (1900). Опубликовано в «Золотом руне». 1906. № 1.

С. 282. ...через три года — рецензия З. Н. Гиппиус на «Стихи о Прекрасной Даме» А. Блока в журнале «Новый путь». 1904. № 12.

Единый раз вскипает пеной... — З. Гиппиус. Любовь — одна (1896).

С. 283. ...письмо к Мережковскому — опубликовано в сокращении в «Новом пути» под заглавием «По поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский»» (1903. № 1; подпись: Студент-естественник).

С. 284. Доклад Мережковского — доклад о Гоголе был прочитан в Историческом музее (Москва) 17 февраля 1902 г.

С. 286. Подколесин сбежавший — Н. В. Гоголь. Женитьба. II, 21.

- С. 288. *И лестница все круче...* — В. Я. Брюсов. Лестница (1902).
Вот почему нам ночь страшна! — Ф. И. Тютчев. День и ночь (1839).
- С. 289. *...где жили на даче они* — летом 1908 г. Мережковские жили на даче в Суйде (южнее Гатчины), и в августе у них гостил А. Белый.
- С. 291. *...так упал Розанов* — история о том, как В. В. Розанов упал со стула во время лекции В. С. Соловьева описана в «Письме в редакцию» Розанова (Новое время. 1900. 29 февраля; подпись: Мнимо упавший со стула).
- С. 292. «*Биржовка*» («Биржевые ведомости») — политическая и коммерческая газета, издававшаяся в Петербурге с 1880 по 1917 г.
«*Северный курьер*» — газета, выходившая в 1899—1900 гг. в Петербурге.
- С. 294. *Ты пойми: мы — ни здесь, ни — тут...* — З. Гиппиус. Петухи (1906).
...выставка «Мира искусства» — открылась 15 ноября 1902 г. и продолжалась до 1 января 1903 г.
...я его по портрету узнал — портрет С. П. Дягилева работы Ф. А. Малявина (1902).
- С. 295. «*анфран*» — дитя, ребенок (*фр.*).
Луи Каторз — Людовик XIV, король Франции.
- С. 296. «*История живописи*» — книга А. Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке» (1902).

В. Я. Брюсов

Д. С. Мережковский как поэт

Впервые: рецензия на «Собрание стихов» Д. С. Мережковского в «Русской мысли». 1910. № 12. В расширенном и переработанном виде в кн.: Брюсов В. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912. С. 54—64, по тексту которой печатается.

Брюсов Валерий Яковлевич (1 (13) декабря 1873, Москва — 9 октября 1924, Москва) — поэт, прозаик, критик, переводчик. Среди его выступлений о Мережковском рецензии на драмы «Павел I» (Весы. 1908. № 6), «Будет радость» (Утро России. 1916. 4 февраля), статьи «Разгадка или ошибка? (Несколько замечаний по поводу статьи Д. С. Мережковского о Тютчеве)» (Русская мысль. 1914. № 3). Под псевдонимом «Аврелий» Брюсов написал статьи о Мережковском: «Новое знаменательное движение (По поводу лекции Мережковского)» (Русский листок. 1902. 22 февраля), «Новая ересь» (Там же. 1902. 7 июня), «Черт и хам» (Весы. 1906. № 3—4).

С. 298. *...как Алкивиад со своей собакой.* — «У Алкивиада была собака, удивительно красивая, которая обошла ему в семьдесят мин, и он приказал отрубить ей хвост, служивший животному главным украшением. Друзья... рассказывали Алкивиаду, что все жалеют собаку и бранят хозяина, но тот лишь улыбнулся в ответ и сказал: “Что ж, все складывается так, как я хочу. А хочу я, чтобы афиняне болтали именно об этом, — иначе как бы они не сказали обо мне чего-нибудь

похуже» (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961. Т. 1. С. 277).

- С. 299. «*как выставить черта смешным*» — имеется в виду письмо Гоголя С. П. Шевыреву 15 (27) апреля 1847 г. из Неаполя.
- С. 300. «*Великая русская литература кончилась, теперь настало великое русское делание*». — В книге «Л. Толстой и Достоевский» Мережковский писал: «Конец русской литературы, то есть великого русского созерцания, есть начало великого русского действия» (Полное собр. соч. В 17 т. СПб.; М., 1912. Т. 9. С. 248).
- С. 304. «*Не мир, но меч*» — Мф. 14, 43.
- С. 306. «*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*» — Начало «Гимна рабочих» Н. М. Минского (1905). По поводу строки «Мир возникает из развалин, из пожарниц» в этом стихотворении, Мережковский писал: «“Из развалин, из пожарниц” ничего не возникает, кроме Грядущего Хама».
- «*Старинные октавы*» — поэма Мережковского, впервые напечатанная в журнале «Золотое руно». 1906. № 1—4.

С. Л. Франк

О так называемом «новом религиозном сознании»

Печатается по кн.: Франк С. Л. *Философия и жизнь*. СПб., 1910. С. 338—346.

Франк Семен Людвигович (16 (28) января 1877, Москва — 10 декабря 1950, близ Лондона) — философ. В 1922 г. выслан за границу.

- С. 309. «*Кесарь и Галилеянин*» (1873) — драма Г. Ибсена о Юлиане-отступнике, в которой утверждается грядущий синтез духовного и плотского начала в истории человечества.

Г. Брандес

Мережковский

Печатается по кн.: Брандес Г. *Собрание сочинений*, СПб.: Просвещение, 1913. Т. 19. С. 313—325.

Брандес Георг (4 февраля 1842, Копенгаген — 19 февраля 1927, там же) — датский литературный критик, проявлявший глубокий интерес к русской литературе (автор статей о И.С. Тургеневе, Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском, М. Горьком).

Б. М. Эйхенбаум

Д. С. Мережковский-критик

Впервые: журнал «Северные записки». 1915. № 4. С. 130—138, по тексту которого публикуется. Статья написана в связи с выходом кни-

ги Мережковского «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев». Пг., 1915.

Эйхенбаум Борис Михайлович (4 (16) октября 1886, Красный, Смоленская губ. — 24 ноября 1959, Ленинград) — историк литературы.

Н. А. Бердяев

Новое христианство (Д. С. Мережковский)

Впервые: Русская мысль. 1916. № 7. Печатается по кн.: *Бердяев Н.* Собрание сочинений. Париж, 1989. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. С. 487—515. Изменения, внесенные Бердяевым в 1944 г., когда готовил сборник своих работ (издание не было осуществлено), обозначены круглыми скобками, а текст оригинала заключен в квадратные скобки.

Бердяев Николай Александрович (6 (18) марта 1874, Киев — 23 марта 1948, Кламар, близ Парижа) — философ, литератор, публицист. Среди его работ о Мережковском: О новом религиозном сознании // Вопросы жизни. 1903. № 9, перепечатано в кн.: Бердяев Н. *Sub specie aeternitatis*. СПб., 1907; Мережковский о революции // Московский еженедельник. 1908. 25 июня. № 49, перепечатано в кн.: *Бердяев Н.* Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910 (о книге «Не мир, но меч»); Преодоление декадентства // Московский еженедельник. 1909. № 19. В 1922 г. выслан за границу.

С. 340. *Книга католика-модерниста Леруа — Леруа Э.* Догмат и критика. Пер. с фр. Вступ. статья Н. А. Бердяева. М., 1915.

С. 351. ...*поднимает руку на... Тютчева... восхваляет Некрасова* — Д. С. Мережковский. «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (СПб., 1915).

Вяч. Иванов

Мимо жизни

Печатается по кн.: *Иванов Вяч.* Родное и вселенское. Статьи (1914—1916). М., 1917. С. 75—84. Статья впервые появилась в газете «Утро России» в 1916 г.

Иванов Вячеслав Иванович (16 (28) февраля 1866, Москва — 16 июня 1949, Рим) — поэт, философ, переводчик. С 1924 г. в эмиграции в Италии.

С. 356. *И Брут ведь благородный человек* — У. Шекспир. Юлий Цезарь. III, 2. Пер. М. Зенкевича.

С. 358. «*Будет радость*» — пьеса Мережковского, изданная в Петрограде в 1916 г. (издательство «Огни»).

С. 359. «*движения воды*» — Ин. 5, 3.

Н. М. Бахтин

Мережковский и история

Впервые: журнал «Звено». Париж. 1926. 24 января. № 156. С. 3—4.

Бахтин Николай Михайлович (20 марта (1 апреля) 1894, Орел — 9 июля 1950, Бирмингем, Англия) — философ, критик, поэт. С 1920 г. в эмиграции.

С. 363. «Дух времени, — увы — не что иное...» — И. В. Гете. Фауст. Ч. I, сц. 1. Пер. Н. А. Холодковского.

Б. Ю. Поплавский

По поводу... «Атлантиды — Европы»

Впервые — журнал «Числа». Париж. 1930. № 4. С. 161—165. Статья написана по поводу книги Мережковского «Тайна Запада. Атлантида — Европа». Белград, 1930 (Русская библиотека).

Поплавский Борис Юлианович (24 мая (6 июня) 1903, Москва — 9 октября 1935, Париж) — поэт, прозаик. С 1920 г. в эмиграции.

С. 365. «Сим победиши». — Римский император Константин Великий в 312 г. накануне сражения увидел на небе крест с греческой надписью «Сим знаменем победиши». Он одержал победу и под влиянием чудесного видения прекратил преследования христиан, обьявив христианство государственной религией. Выражение употребляется как «уверенность в успехе при твердой вере в правильность избранного пути».

А. И. Куприн

«Иисус Неизвестный»

Впервые: газета «Возрождение». Париж. 1932. 27 октября. № 2704. Рецензия на кн.: *Мережковский Д.* Иисус Неизвестный. Белград, 1932. Т. 1 (Русская библиотека). Том 2 вышел в 1933 г., том 3 — в 1934 г.

Куприн Александр Иванович (26 августа (7 сентября) 1870, Наровчат, Пензенская губ. — 25 августа 1938, Гатчина, под Ленинградом) — писатель-прозаик. С 1919 г. в эмиграции.

Б. П. Вышеславцев

Д. Мережковский. Иисус Неизвестный

Впервые: журнал «Современные записки». Париж. 1934. № 55 (май). С. 430—434. Рецензия на первые два тома книги Мережковского (третий том вышел в 1934 г.).

Вышеславцев Борис Петрович (1877, Москва — октябрь 1954, Женева) — философ, публицист, критик. В 1922 г. выслан за границу.

И. А. Ильин

Мережковский-художник

Лекция «Творчество Мережковского», прочитанная 29 июня 1934 г. в берлинском Русском научном институте. Частично опубликована в кн.: Русская литература в эмиграции. Сборник статей / Под ред. Полторацкого Н. П. Питтсбург, 1972. С. 177—190.

Ильин Иван Александрович (28 марта (9 апреля) 1883, Москва — 21 декабря 1954, Цюрих) — философ, публицист, критик. В 1922 г. выслан из России.

С. 374. *...афористических заметок* — имеется в виду роман Мережковского «14 декабря» (1918).

С. 386. *...как у Овидия* — Овидий. Метаморфозы. Кн. XI, 85—193.

Г. В. Адамович

Мережковский

Начало статьи (до звездочек) впервые в газете «Последние новости». Париж. 1935. 5 декабря. № 5369. Печатается по кн.: *Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 41—62. Переиздание: СПб., 1993. С. 26—37. Статья Адамовича о Мережковском опубликована также в «Современных записках». 1934. № 56.

Адамович Георгий Викторович (7 (19) апреля 1892, Москва — 21 февраля 1972, Ницца) — поэт и критик. Эмигрировал в 1923 г.

С. 390. *...в памятном споре о поэтическом «венке»* — имеются в виду полемические статьи: *Иванов Вяч.* Заветы символизма (Аполлон. 1910. № 8); *Брюсов В.* О «речи рабской», в защиту поэзии (Там же. № 9); *Белый А.* Венок или венец (Там же. № 11).

«причинах упадка русской литературы» — книга Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной литературы» (СПб., 1893).

«гражданской скорби» — в «Бесах» Ф. М. Достоевского Степан Трофимович Верховенский «раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами “гражданскую скорбь”, то есть просто в хандру» (ч. I, гл. 1, II).

С. 391. «русские мальчики» — имеется в виду роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», одна из книг которого называется «Мальчики».

С. 392. «что есть истина?» — Ин. 18, 38.

С. 393. «Ночные часы» — сборник стихов А. Блока, выпущенный издательством «Мусажет» в 1911 г.

...о посещении Мережковским Ясной Поляны — Д. Мережковский и З. Гиппиус приезжали к Л. Н. Толстому 11—12 мая 1904 г.

наполеоновский — имеется в виду книга Мережковского «Наполеон» (Белград, 1929).

- С. 395. «*Мало кто из русских писателей...*» — Адамович цитирует запись из первого короба «Опавших листьев» о Мережковском: «Я думаю, из писателей, писавших в России (нельзя сказать “из русских писателей”), было мало принявших в душу столько печали» (*Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 190*).
- «*стиль — это человек*» — выражение из речи французского естествоиспытателя Жоржа Бюффона, произнесенной им 25 августа 1753 г. при избрании его в члены Французской академии.
- С. 396. «*Ум ищет божества, а сердце не находит*» — А. С. Пушкин. Безверие (1817).
- С. 397. «*есть упоение в бою*» — А. С. Пушкин. Пир во время чумы. «*Три разговора*» — В. С. Соловьев. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе (1900).
- С. 398. ...о «*белых платицах, из которых скоро вырастают*» — *Розанов В. В. Темный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911. С. 107* (гл. «Нужда в скорби»).
- С. 399. ...«*внимать арфе серафима*» — А. С. Пушкин. «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).
- С. 400. ...в *нищиеанском смысле слова* — Фр. Ницше называл музыку «дочь одиночества». В широком смысле слова — музыка возникает при осознании одиночества.
- С. 401. *царь «над всеми Адриановыми»* — в письме В. Н. Княжнину 9 ноября 1912 г. А. Блок писал: «Мережковский более одинок, чем кто бы то ни было, — и по сей день, и все мы знаем, что он нес и вынес на своих плечах. И, право, мне, не понимающему до конца Мережковского, легче ему руку целовать за то, что он — царь над Адриановыми, чем подозревать его в каком-то самовосхвалении, совершенно ему не нужном и его не касающемся». Сергей Александрович Адрианов (1871—1942) — критик, публицист, переводчик.

М. А. Алданов

Д. С. Мережковский

Некролог впервые опубликован в «Новом журнале». Нью-Йорк. 1942. № 2. С. 368—373.

Алданов (настоящая фамилия: Ландау) *Марк Александрович* (26 октября (7 ноября) 1886, Киев — 25 февраля 1957, Ницца) — прозаик, драматург, публицист. С 1919 г. в эмиграции.

- С. 403. «*Так что же нам делать*» — статья Л. Н. Толстого, распространявшаяся в рукописях с 1885 г. и вызвавшая многочисленные отклики в России и за рубежом.

...в статье о посмертном издании писем Чехова — Мережковский Д. С. Суворин и Чехов // Русское слово. 1914, 22 января / о 3-ем и 4-ом томах Писем А. П. Чехова.

«слезинка замученного ребенка» — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. 5. Гл. IV.

- С. 404. *В другом... письме* — письмо А. П. Чехова С. П. Дягилеву 13 июля 1903 г.
- С. 405. «*Конь бледный*» (1909) — повесть Б. В. Савинкова. Статья Мережковского об этой книге опубликована в газете «Речь» 27 и 28 сентября 1909 г.
- С. 406. *Герцен писал в 1869 году своей дочери* — письмо Н. А. Герценой 4 сентября (23 августа) 1869 г. из Брюсселя.

Вассиан Косой (кн. Патрикеев, ум. 1545) — русский церковный и политический деятель, публицист, которому приписывалось «Послание заволжских старцев» с требованием снисхождения к еретикам.

М. О. Цетлин

Д. С. Мережковский (1865—1941)

Впервые — журнал «Новоселье». Нью-Йорк. 1942. № 2 (март).

Цетлин Михаил Осипович (1882, Москва — 1946, Лондон) — поэт, критик. Печатался также под псевдонимом «Амари». В эмиграции с 1920 (?) г.

- С. 414. *В одной из Андерсеновских сказок...* — имеется в виду сказка Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844).

З. Н. Гиппиус

Дмитрий Мережковский

Публикуется заключительный раздел кн.: *Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 295—308. Написано в 1943 г. Автор обозначает близких ей людей инициалами: Д. С. — Дмитрий Сергеевич Мережковский, Д. Ф. — Дмитрий (Дима) Владимирович Философов.

Гиппиус Зинаида Николаевна (8 (20) ноября 1869, Белев, Тульская губ. — 9 сентября 1945, Париж) — поэт, прозаик, критик, мемуарист. В эмиграции с 1920 г.

- С. 420. — пропуск в оригинальном тексте парижского издания.
- С. 421. *...на первой лекции Дм. С-ча* — 16 декабря Мережковский прочитал первую лекцию в Париже «Большевизм, Европа и Россия».
- С. 424. *С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя* — в октябре 1921 г. А. Н. Толстой переехал из Франции в Берлин, договорившись о сотрудничестве в сменовеховской газете «Накануне», что эмиграция расценила

как открытый переход на сторону большевистской власти. Летом 1923 г. А. Толстой переехал в СССР.

С. 426. «*Общее дело*» — ежедневная газета, издававшаяся в Париже В. Л. Бурцевым в 1918—1934 гг.

С. 427. «*Руль*» — ежедневная газета, издававшаяся в Берлине И. В. Гессеном (при ближайшем участии А. И. Каминки и В. Д. Набокова) в 1921—1931 гг.

«*Последние новости*» — ежедневная газета, выходившая в Париже в 1920—1940 гг. Редактор П. Н. Милюков.

В. В. Зеньковский

Мережковский, его идеи

Глава из кн.: *Зеньковский В. В.* История русской философии. Париж, 1950. Т. 2. Печатается по переизданию: Л., 1991. С. 56—59.

Зеньковский Василий Васильевич (4 июля 1881, Проскуров, ныне Хмельницкий — 5 августа 1962, Париж) — философ, богослов, историк русской мысли и литературы. С 1919 г. в эмиграции.

Ю. К. Терапиано

«Воскресенья» у Мережковских и Зеленая Лампа

Печатается по кн.: *Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 43—48.

Терапиано Юрий Константинович (9 (21) октября 1892, Керчь — 3 июля 1980, Ганьи, близ Парижа) — поэт, критик. С 1920 г. в эмиграции.

С. 435. «*Новый Корабль*» — литературный журнал, выходивший в Париже в 1927—1928 гг. (вышло четыре номера) под ред. В. Злобина, Ю. Терапиано и Л. Энгельгардта. В своей книге «Встречи» Ю. Терапиано перепечатал IV беседу («Русская интеллигенция как духовный орден», по поводу речи И. И. Бунакова) и V беседу (Есть ли цель у поэзии?) из последнего номера журнала.

...одна газета помещала отчеты о собраниях — очевидно, имеется в виду газета «Последние новости», печатавшая отчеты о собраниях «Зеленой лампы».

Ю. К. Терапиано

Дмитрий Мережковский: взгляд в прошлое

Печатается по кн.: *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 22—32.

С. 438. «*И будет новая земля...*» — Откр. 21, 1.

- С. 445. ...*поездки в Италию* — 4 декабря 1935 г. Мережковский имел 15-минутный разговор с Муссолини.

А. Н. Бенуа

Мережковские

Впервые в кн.: *Бенуа А. Мои воспоминания*. Нью-Йорк, 1955. Печатаются отрывки из глав 5 и 35 четвертой книги по изданию: *Бенуа А. Мои воспоминания*. В 5 книгах. 2-е изд. М., 1990. Кн. 4—5. С. 46—49, 288—293.

Бенуа Александр Николаевич (21 апреля (3 мая) 1870, Петербург — 9 февраля 1960, Париж) — художник, теоретик и историк искусства. С 1926 г. в эмиграции в Париже.

- С. 451. ...*и для других недоступной* — имеется в виду интерес Д. В. Философова к религиозным вопросам.
- С. 452. ...*совершили путешествие по Италии* — путешествие весной 1896 г. во время работы Мережковского над романом «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи».
- С. 453. ...*очень схожий портрет* — портрет З. Н. Гиппиус сделан Л. С. Бакстом в 1906 г. и находится в Третьяковской галерее.

В. А. Злобин

Д. С. Мережковский и его борьба с большевизмом

Впервые: журнал «Возрождение», 1956. № 53. С. 108—114.

Злобин Владимир Ананьевич (июль 1884, Петербург — 1967, Париж) — поэт. С 1920 г. в эмиграции.

- С. 468. *В часы неоправданного страданья* — З. Н. Гиппиус. Тише! (1914).

Б. К. Зайцев

Памяти Мережковского. 100 лет

Впервые: Русская мысль. Париж. 1965. 30 ноября и 2 декабря.

Зайцев Борис Константинович (29 января (10 февраля) 1881, Орел — 26 января 1972, Париж) — прозаик, критик, переводчик. С 1922 г. в эмиграции.

- С. 473. *Слишком ранние предтечи...* — Д. С. Мережковский. Дети ночи (1896).

В. Н. Ильин

Памяти Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865—1941)

Впервые: журнал «Возрождение». Париж. 1965. № 168 (декабрь). С. 36—45.

Ильин Владимир Николаевич (1890—1974) — критик, богослов. В эмиграции с 1920 (?) г.

- С. 479. «*Быти Петербургу пусту*» — см. статью Мережковского «Петербург быть пусту» в газете «Речь» 21 декабря 1908 г.
О, бурь уснувших не буди... — Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной...» (1836).
...Молчу! Боюсь я... — Е. А. Баратынский. «Люблю я вас, богини пенья...» (1844).
- С. 480. «*острый галльский смысл*» и «*сумрачный германский гений*» — А. Блок. Скифы (1918).
- С. 482. *Второй Ватиканский собор* — проходил в 1962—1965 гг. был созван папой Иоанном XXIII (завершил работу при Павле VI) для «обновления» католической церкви в связи с изменившимися в мире условиями.
- С. 486. «*как в страшном непонятном сне*» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VI, 28.
- С. 488. «*трижды светящегося Света*» — И. В. Гете. Фауст. Ч. I. Рабочая комната Фауста.

Н. Н. Берберова

Курсив мой (отрывок)

Впервые в кн.: *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, 1972. Печатается по кн.: *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. В 2 т. 2-е изд. Нью-Йорк, 1983. Т. 1. С. 277—286 (глава четвертая).

Берберова Нина Николаевна (26 июля (8 августа) 1901, Петербург — 26 сентября 1993, Филадельфия) — писательница, критик, мемуарист. В эмиграции с 1922 г.

- С. 491. «*Звено*» — литературная газета, выходившая в Париже с 1923 по 1925 г., в 1926—1928 гг. журнал. Редакторами были М. М. Винавер и П. Н. Милюков.
«Еврейская трибуна» — еженедельный журнал, посвященный интересам русских евреев. Выходил в Париже в 1920—1924 гг.

А. В. Бахрах

Померкший спутник

Печатается по кн.: *Бахрах А.* По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж, 1980. С. 28—32.

Бахрах Александр Васильевич (1902—1987) — критик, мемуарист. В эмиграции с 1920 г.

- С. 499. ...*свыше 20 томов* — в 1914 г. И. Д. Сытин выпустил в Москве «Полное собрание сочинений» Д. С. Мережковского в 24 томах.
 ...*кронштадтским событиям* — речь идет о восстании в марте 1921 г. матросов и солдат в Кронштадте против большевистского режима и тирании коммунистов на флоте. Зверски подавлено М. Н. Тухачевским по распоряжению В. И. Ленина.
 «*Мы не в изгнании — мы в послании*» — эти слова Мережковского, сказанные в 1921 г., приводит также Р. Гуль в своей книге «Я унес Россию». Нью-Йорк, 1984. Т. 1. С. 127.
- С. 500. *Дерзновенны наши речи...* — Д. С. Мережковский. Дети ночи (1896).
 ...*у милейших Ц.* — очевидно, речь идет о Марии Самойловне Цетлин (1882—1977) и Марке (Михаиле) Осиповиче Цетлине (1882—1946), издававших в Париже в 1923 г. альманах «Окно».
- С. 501. ...*«отвлеченном» человеке* — А. Блок писал матери 23 февраля 1909 г.: «Ужасно они (Мережковские) отвлеченные люди».
- С. 502. ...*«запойного игрока в символы»* — выражение из статьи В. Розанова «Среди иноязычных» (Мир искусства. 1903. № 7—8).
 ...*в Англии была переиздана его книжечка о Пушкине* — брошюра Мережковского «Пушкин» (из «Вечных спутников»), изданная в 1971 г. в Лечуорте (Англия).
 ...*воспоминания Смирновой* — «Записки» А. О. Смирновой, вышедшие в двух частях в 1895 и 1897 гг., являются фальсификацией, составленной ее дочерью.
 «*шутки злости самой черной писала прямо набело*» — А. С. Пушкин. В альбом А. О. Смирновой («В тревоге пестрой и бесплодной...») (1832).
 «*Холод утра — это мы*» — Д. С. Мережковский. Дети ночи.

И. В. Одоевцева

На берегах Сены (отрывок)

Впервые в кн.: *Одоевцева И.* На берегах Сены. Вашингтон, 1983. Печатается по кн.: *Одоевцева И.* На берегах Сены. М., 1989. С. 35—66.

Одоевцева Ирина Владимировна (Гейнике Ираида Густавовна; 15 (27) июля 1895, Рига — 14 октября 1990, Петербург) — поэт, прозаик, мемуарист. В 1922 г. выехала за границу. В 1987 г. вернулась в Россию.

- С. 504. *Окно мое высоко над землей...* — З. Гиппиус. Песня (1893).
- С. 505. *Единый раз вскипает пена...* — З. Гиппиус. Любовь — одна (1896).
 ...*«Стихах о Прекрасной Даме» Блока* — рецензия З. Гиппиус на эти стихи Блока напечатана в журнале «Новый путь». 1904. № 12. С. 271—284.
- С. 512. *Писатель, если только он...* — Я. П. Полонский. В альбом К. Ш... (1871).

- С. 513. *«существуют хорошие браки, но восхитительных браков не бывает»* — максима 113 Франсуа де Ларошфуко в пер. Э. Линецкой: *«Бывают удачные браки, но не бывает браков упоительных»*. (М., 1974).
- С. 514. *Вернувшись из Италии...* — Мережковские ездили в Италию в декабре 1935 г.
- С. 520. *«Меч»* — еженедельная газета, выходившая в Варшаве в 1934—1939 гг.
- С. 527. *Это как у Свифта?* — имеется в виду памфлет Дж. Свифта «Скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и, напротив, сделать их полезными для общества» (1729).
- С. 529. *«Кто там выходит из боскета...»* — М. А. Кузмин, в «Саду» (1907).
- С. 530. *Его, как первую любовь...* — Ф. И. Тютчев. 29-ое января 1837 («Тебя ж, как первую любовь...»).
- С. 532. *Бунин недавно вернулся из Стокгольма* — 1 января 1934 г. Бунин вернулся из Стокгольма после получения Нобелевской премии и остановился в Париже в гостинице «Мажестик».
- С. 536. *А заседание «Лампы» в тот вечер все же отменили.* — Собрание «Зеленой лампы» с обсуждением темы «О современных общественно-религиозных исканиях в России» намечалось на 6 мая 1932 г., но в связи с убийством участником белого движения П. Горгуловым французского президента П. Думера было отменено.

ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ О Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМ

- Авдеев А.* «Царевич Алексей» // Театр и жизнь. Берлин, 1922. № 10. С. 7.
- Адамович Г.* «Александр I» // Звено. Париж. 1926. 28 февраля.
- Адамович Г.* «Мессия» // Звено. 1926. 14 ноября.
- Адамович Г.* На лекциях Д. Мережковского // Звено. 1927. 13 февраля.
- Адамович Г.* По поводу заметки Д.С. Мережковского // Звено. 1927. 13 марта.
- Адамович Г.* «Тайна Запада» // Иллюстрированная Россия. 1931. № 11. С. 22.
- Адамович Г.* Мережковский // Современные записки. 1934. № 56. С. 284—297; то же в кн.: *Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.
- Адамович Г.* Мережковский // Последние новости. 1935. 5 декабря.
- Адамович Г.* «Павел — Августин» // Последние новости. 1937. 10 июня.
- Адамович Г.* «Жанна д'Арк» // Последние новости. 1938. 8 декабря.
- Адамович Г.* «Франциск Ассизский» // Последние новости. 1938. 30 июня.
- Алданов М.* «Рождение богов» // Последние новости. 1924. 19 сентября.
- Алданов М.* «Тайна Запада» // Современные записки. 1931. № 46. С. 489—491.
- Алданов М.* Д. С. Мережковский. Некролог // Новый журнал. 1942. № 2. С. 368—373. Подпись: М. А.
- Аргус.* Д. С. Мережковский и русская интеллигенция // Возрождения. 1929. 9 мая.
- Б. Г.* Мережковский // Для Вас. Рига. 1935. № 51.
- Б-ий.* Поход на Москву (Беседа с Д. С. Мережковским) // Свободные мысли. Париж. 1920. 1 ноября.
- Бахрах А.* Померкший спутник // Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж, 1980. С. 28—32.
- Бахтин Н.* Мережковский и история // Звено. 1926. 24 мая.
- Баян.* Мережковский — Гиппиус // Время. Берлин. 1925. 16 февраля.
- Б/п.* Большевизм и еврейство (Беседа с Д. С. Мережковским) // Варшавское слово. 1920. 13 марта.
- Б/п.* Как прошло в Париже чествование Д. С. Мережковского // Сегодня. Рига. 1935. 20 декабря.
- Б/п.* Польский доклад о Д. С. Мережковском // Сегодня. 1937. 23 февраля.
- Б/п.* «Рождение богов» // Время. 1925. 8 июня.

- Б/п.* Томас Манн о Шмелеве и Мережковском // Возрождение. 1926. 12 августа.
- Б/п.* У Д. С. Мережковского в Париже // За свободу! Варшава. 1924. 19 мая.
- Б/п.* Чествование Д.С. Мережковского 14 декабря в Париже // Иллюстрированная Россия. 1935. № 52.
- Б/п.* «Четырнадцатое декабря» // Зарницы. Константинополь. 1921. № 15.
- Безобразов С. (еп. Кассиан).* «Иисус Неизвестный» // Путь. 1934. № 42. С. 80—87.
- Биццлли В. М.* «Франциск Ассизский» // Русские записки. 1938. № 11. С. 199—200.
- Вакар Н.* «Мессия» // Последние новости. 1926. 6 февраля.
- Варшер Т.* О пребывании Д. С. Мережковского в Риге // Сегодня. 1935. 11 января.
- Вейдле В.* «Тайна Запада» // Возрождение. 1931. 8 января.
- Велипольская-Яновская М.* Письмо к Д. С. Мережковскому // Свобода. Варшава. 1920. 1 августа
- Владин А.* Как живет и работает Д. С. Мережковский // Иллюстрированная Россия. 1926. № 12. С. 9.
- Волковыский М.* «Франциск Ассизский» // Сегодня. 1938. 14 июня.
- Вольский А.* Мистика, политика и хлеб насущный (К лекции Д. С. Мережковского «Распятый народ») // Варшавское слово. 1920. 27 марта.
- Вышеславцев Б.* «Иисус неизвестный» // Современные записки. 1934. № 55. С. 430—434.
- Гл. Д.* «Царство Антихриста» // Новая русская жизнь. Гельсингфорс. 1921. 17 августа.
- Гиппиус З.* Он и мы. Главы из воспоминаний о Д. С. Мережковском // Новый журнал. 1950. № 23, 25; 1951. № 25.
- Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951.
- Голенищев-Кутузов И.* Мережковский и Запад // Возрождение. 1932, 21 января.
- Горный С.* Мережковский и Бенуа («Царевич Алексей») // Театр и жизнь. 1922. № 10. С. 3—4.
- Гофман М.* «Наполеон» // Руль. 1929. 8 мая.
- Гриф.* Томас Манн о русских писателях // Руль. 1926. 4 августа.
- Д. К.* «Тайна трех» // Дни. 1925. 13 декабря.
- Даль А.* «Тайна трех» // Возрождение. 1928. 26 апреля.
- Даманская А. Ф.* «Тайна трех» (немецкий перевод) // Числа. 1930. № 1. С. 230. Подпись: А. Д.
- Демидов И.* «Тайна трех» // Современные записки. 1926. № 28. С. 479—483.
- Демидов И.* «Иисус Неизвестный» // Последние новости. 1932. 10 ноября.
- Дроздов А.* «Четырнадцатое декабря» // Русская книга. 1921. № 5. С. 13—14.
- Е. Р.* Две бездны (На лекции Д. С. Мережковского) // Общее дело. 1920. 18 декабря.
- Зайцев Б.* «Иисус Неизвестный» // Возрождение. 1932. 18 декабря.

- Зайцев Б.* Памяти Мережковского // Русская мысль. 1965. 30 ноября, 2 декабря; то же в кн.: *Зайцев Б.* Мои современники. Лондон, 1988.
- Зайцев К.* Мережковский о Наполеоне // Возрождение. 1927. 29 января, 3 февраля.
- Зеньковский В.В.* Мережковский, его идеи // Зеньковский В. В. История русской философии. Париж, 1950. Т. 2.
- Злобин В.* О «Тайне трех» Д. Мережковского // Новый дом. 1926. № 1. С. 32—35.
- Злобин В. Д. С.* Мережковский и его борьба с большевизмом // Возрождение. 1956. № 53. С. 108—114.
- Злобин В.* Литературный дневник (Мережковский) // Возрождение. 1959. № 90. С. 137—139.
- Злобин В.* Последние дни Мережковского и З. Гиппиус // Возрождение. 1958. № 81. С. 121—139.
- Иванов П. К.* «Франциск Ассизский» // Путь. 1939. № 58. С. 66—71.
- Ильин В. Н.* Дмитрий Сергеевич Мережковский // Вестник русского христианского движения. 1965. № 79.
- Ильин В. Н.* Памяти Дмитрия Сергеевича Мережковского // Возрождение. 1965. № 168. С. 36—45.
- Ильин И. А.* Мережковский-художник (1934) // Русская литература в эмиграции. Сб. статей / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 177—190.
- Иноземцев В.* «Наполеон» // Возрождение. 1929. 19 сентября.
- Кадашев В.* «Рождение богов» // Возрождение. 1925. 8 июня.
- Корин.* Наш путь в Россию (Лекция Д. С. Мережковского) // Дни. 1927. 19 декабря.
- Курприн А.* «Иисус Неизвестный» // Возрождение. 1932. 27 октября.
- Литовцев С. (Поляков).* Мережковский и голодные // Голос России. Берлин. 1921. 19 августа.
- Лоло (Л. Г. Мунштейн).* Д. С. Мережковскому // Сегодня. 1935. № 345.
- Лосский Н. О. Д. С.* Мережковский // Лосский Н. О. История русской философии. Париж, 1954.
- Лот-Бородина М.* Церковь забытая. По поводу книги Д. Мережковского «Иисус неизвестный» // Путь. 1935. № 47. С. 71—86.
- Лукаш И.* «Наполеон» // Возрождение. 1929. 28 марта.
- М.* «Тайна трех» // Сегодня. 1925. 12 сентября.
- Маковский С.* «Царевич Алексей» // Общее дело. 1921. 16 марта.
- Маковский С.* «Мессия» // Возрождение. 1928. 28 июня.
- Мандельштам Ю. Д. С.* Мережковский // Возрождение. 1935. 5 декабря.
- Мандельштам Ю.* К юбилею Мережковского // Иллюстрированная Россия. 1935. № 50. С. 6—8.
- Мандельштам Ю.* «Павел — Августин» // Возрождение. 1936. 21 ноября.
- Мандельштам Ю.* «Павел» // Круг. Париж, 1937. Т. 2.
- Мандельштам Ю.* «Франциск Ассизский» // Возрождение. 1938. 3 июля.
- Мандельштам Ю.* «Жанна д'Арк» // Возрождение. 1938. 16 сентября.

- Мельников В. Низменный духоискатель // Новь. Таллин. 1935. № 8. С. 132—134.
- Мирский Б. Молот ведьм // Воля России. Прага. 1923. № 5. С. 62—67.
- Мочульский К. В. «Франциск Ассизский» // Современные записки. 1938. № 67. С. 463—464.
- П. Ш. «Четырнадцатое декабря» // Руль. 1921. 12 июня, 30 октября.
- Пахмус Т. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус как авторы сценариев // Новый журнал. 1987. № 167. С. 215—218.
- Пиленко А. Лекция Д. С. Мережковского // Последние новости. 1920. 18 декабря.
- Пильский П. «Наполеон» // Сегодня. 1929. № 164.
- Пильский П. Спасение или конец? О новой книге Д. С. Мережковского «Иисус Неизвестный» // Сегодня. 1933. № 262. Подпись: П. Трубников.
- Пильский П. Гибнущему миру. Новый второй том книги Д. С. Мережковского «Иисус Неизвестный» // Сегодня. 1933. № 262. Подпись: Ф. Стогов.
- Пильский П. Предостережение о гибели. Новая книга Мережковского «Иисус Неизвестный». Т. 2. Часть 2. // Сегодня. 1934. 5144. Подпись: Р. Вельский.
- Пильский П. О Мережковском (заметка) // Сегодня. 1935. 14 декабря.
- Пильский П. Святой, близкий нам. Д. Мережковский. «Павел» // Сегодня. 1936. № 224.
- Пильский П. Святой интеллигент («Павел») // Сегодня. 1936. № 276. Подпись: П. Трубников.
- Пильский П. Пятое колесо в телеге. Д. Мережковский. «Франциск Ассизский» // Сегодня. 1938. № 163. Подпись: Р. Вельский.
- Пильский П. Хвостатые. О новой книге Д. Мережковского «Жанна д'Арк» // Сегодня. 1937. № 229. Подпись: Р. Вельский.
- Пильский П. Заветы мертвых («Данте») // Сегодня. 1939. № 235.
- Поплавский Б. «Тайна Запада» // Числа. 1930. № 4. С. 161—165.
- Раевский Г. «Мессия» // Последние новости. 1927. 13 января.
- Рыбинский Н. «Рождение богов» // Новое время. Белград. 1925. 3 октября.
- Салтыков А. «Тайна Запада» // Возрождение. 1930. 10 апреля.
- Салтыков А. «Иисус Неизвестный» // Возрождение. 1934. 22 марта.
- Слоним М. «Четырнадцатое декабря» // Воля России. 1921. 26 мая.
- Слоним М. Литература эмиграции // Воля России. 1925. № 4. С. 185—188.
- Струве Г. Мережковский // Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1956. С. 85—93, 253—256.
- Таманин Т. (Манухина Т.). «Рождение богов» // Последние новости. 1925. 9 июля.
- Терапиано Ю. «Иисус Неизвестный» // Числа. 1933. № 9. С. 214—216.
- Терапиано Ю. «Павел и Августин» // Современные записки. 1937. № 65. С. 441—443.
- Терапиано Ю. Д. С. Мережковский — «Воскресенья» у Мережковских и Зеленая Лампа // Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк, 1953. С. 22—48.

- Терапиано Ю.* Дмитрий Мережковский: Взгляд в прошлое. — Конец Мережковских // Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 22—32, 93—97.
- Третьяков В.* «Рождение богов» // Сегодня. 1925. 20 июня.
- Троцкий И.* Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? // Сегодня. 1930. № 360.
- Тыркова-Вильямс А.* Рец. на книгу З. Гиппиус «Дмитрий Мережковский» // Возрождение. 1952. № 20. С. 175—178.
- Федоров Вас.* Точка над і (Ответ Д. С. Мережковскому) // Меч. Варшава, 1934. № 15/16. С. 9—11.
- Фельзен Ю.* У Мережковских — по воскресеньям // Сегодня. 1930. 3 августа.
- Х-ш А.* «Царевич Алексей» // Голос России. 1922. 12 мая.
- Ходасевич В.* О Мережковском // Возрождение. 1929, 18 августа.
- Цетлин М.* О новом романе Мережковского «14 декабря» // Современные записки. 1921. № 5. С. 254—262.
- Цетлин М.* «Рождение богов» // Последние новости. 1924. 29 января.
- Цетлин М.* «Тайна трех» // Последние новости. 1926. 24 июня.
- Цетлин М.* «Мессия» // Последние новости. 1927. 6 октября.
- Цетлин М.* «Наполеон» // Современные записки. 1929. № 40. С. 539—542.
- Цетлин М.* Д. С. Мережковский (1865—1941) // Новоселье. 1942. № 2.
- Чижевский Ж.* Рец. на «Избранные статьи» Мережковского // Новый журнал. № 111. С. 288—289.
- Шульгин В.* Еще об Иуде Искариотском // Русская газета. Париж. 1925. 1 марта.
- Ъ.* Большевизм, Европа и Россия (Беседа с Д. С. Мережковским) // Общее дело. 1920. 8 декабря.
- Эрисман В.* Роман Мережковского «Рождение богов» // На чужой стороне. 1925. № 9. С. 283—285.
- Я. Л.* «Данте» // Русские записки. 1939. № 20/21. С. 203—204.
- Яблоновский А.* Навязчивые идеи // Сегодня. 1927. № 37.